



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для итомков на библиотечных полках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иередает в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все иометки, иримечания и другие заиси, существующие в оригинальном издании, как наиминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредирияли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заирсы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.

Мы разработали иrogramму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заирсы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заирсы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического распознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.

В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доилнительные материалы ири иомощи иrogramмы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих определить, можно ли в определенном случае исиользовать определенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает и пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск и этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com>

P. S. Libr. 620. 5 (1905)

G. N.

Hebrew Literature Society

310-312 Catharine Street

Philadelphia, Pa.

Language

Book

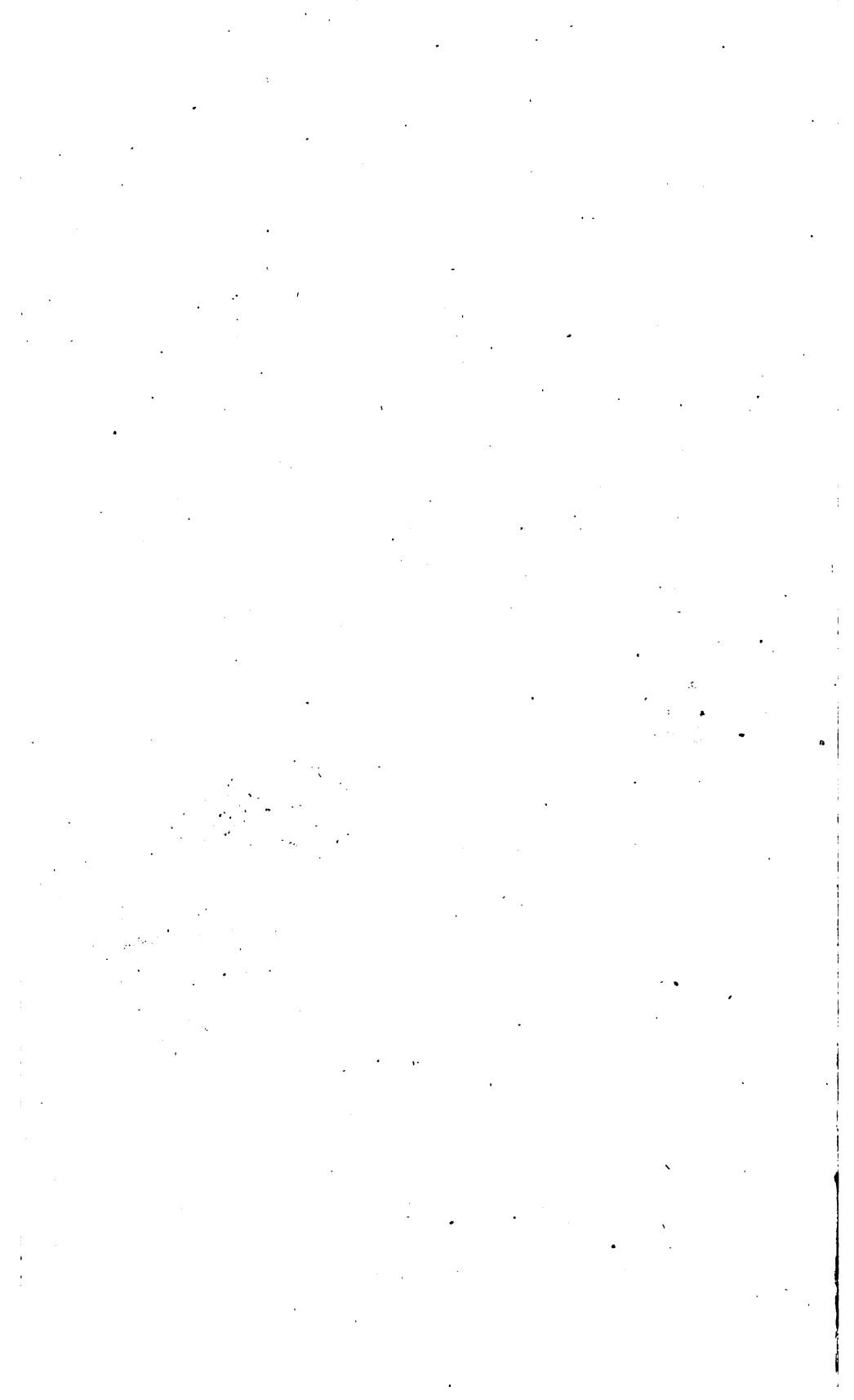
Accession No. *856*

Bought with the income of
THE
SUSAN A. E. MORSE FUND
Established by
WILLIAM INGLIS MORSE
In Memory of his Wife



H. Library

1905



ЯНВАРЬ.

697
1905.

РУССКОЕ БОГАТСТВО

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ и НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

№ 1.



С.ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. М. Клобукова, Лиговская ул., д. 34.

1905.

1
PSlow 620.5 (1905)



Morse 4



СОДЕРЖАНИЕ:

СТРАН.

1. Враги. Рассказъ. <i>Д. Айзмана</i>	3— 21
2. «Задачи жизни» у Ибсена. <i>А. Е. Рылько</i>	22— 56
3. Про новое. Рассказъ. <i>С. Елпатьевская</i>	57— 86
4. Сонъ. Стихотворение <i>П. Я.</i>	86— 87
5. Литературно-художественная критика Н. К. Михайловского. <i>А. Красносельского</i>	88—132
6. Памяти Н. К. Михайловского:	
** Стихотворение <i>С. Синегуба</i>	133
** Стихотворение. <i>А. Гуковского</i>	133—134
7. Н. К. Михайловский, какъ публицистъ-гражданинъ. <i>Н. Кудрина</i>	135—179
8. Аликаевъ камень. Рассказъ. <i>А. Погорялова</i>	180—208
9. Терзания совѣсти. Рассказъ. <i>А. Стриндберга</i> . Переводъ S. W.	209—239
10. ** Стихотворение. <i>Г. Галиной</i>	239
11. На старой дорогѣ. Стихотворение <i>В. Башкина</i> .	240
12. Труженики. Романъ <i>А. Киллланда</i> . Переводъ К. И. Саблиной (Въ приложении).	1— 48
13. Галлерей современныхъ французскихъ знаменитостей. Жюль Гэдъ. <i>Н. Кудрина</i>	1— 42
14. Изъ Англіи. <i>Діонео</i>	43— 65
15. Вѣ законѣ. Къ исторіи цензуры въ Россіи. <i>Сергѣя Ефремова</i>	66—104
16. Брандмейстеръ Осиповъ. <i>А. Петрищева</i>	104—127
17. Случайныя замѣтки: Новая „Ковалевщина“ въ Костромѣ. <i>Вл. Кор.</i> —В. И. Ковалевскій и семейное начало въ дворянскомъ банкѣ. <i>О. Б. А.—Продолженіе дѣла ген. Ковалева и д-ра За-</i>	

(Ом. на оборотѣ).

бусова. О. Б. А.—Гомельская судебная драма. Вл. Кор.	127—141
18. Новые книги:	
Война и душа народа. Стихотворения П. В. Борисенка.— Н. Н. Вильде. Катастрофа.—Генрих Ибсенъ. Полное со- брание сочинений.—К. Скальковский. За годъ.—Бруно Эмилия Кенигъ. Черные кабинеты въ Западной Европѣ.— Главные дѣятели и предшественники судебной реформы.— Дѣль Хмѣлевский. Патологический элементъ въ личности и творчествѣ Фр. Ницше.—Геральдъ Геффдингъ. Фило- софскія проблемы.—Климатология въ связи съ климатоте- рапіей и гигиеной. А. Класовскаго.—С. А. Котляревскій. Ламенз и новѣйший католицизмъ.—Сборникъ чтеній съ волшебнымъ фонаремъ въ школѣ и дома.—Новые книги, поступившія въ редакцію	142—165
19. Хроника внутренней жизни. 9 января въ Петер- бургѣ. Вл. Короленко.	166—178
20. Отчетъ конторы редакціи журнала «Русское Бо- гатство».	178—180
21. Объявленія.	180—188

Издания редакции журнала „РУССКОЕ БОГАТСТВО”.

(С.-Петербург—контрора редакции, Баскова ул., 9; Москва—отделение
конторы, Никитские Ворота, д. Гагарина).

По независящимъ отъ редакціи обстоятельствамъ „Политика“ С. Н. Южакова не могла появиться въ этомъ № „Русского Богатства“.



АНГЛИЙСКИЕ СИДУЭТЫ. Ц. 1 р. 50 к.

Владимир Короленко. ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Книга I. Десятое изд. 1903 г.—403 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Въ дурномъ обществѣ.—Соня Макара.—Лѣтъ шумѣть.—Въ ночь подъ свѣтлый праздникъ.—Въ подсѣльственномъ отдѣлении.—Старый звонарь.—Очёрки сибирскаго туриста.—Соколинецъ.

ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Книга II. Шестое изд.—411 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Рѣка играетъ.—На затмѣніи.—Атъ-Даванъ.—Черкесь.—За иконой.—Ночью. Тѣни (фантазія).—Судный день (ромъ Юпуръ). Малорусская сказка.

ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Книга III. Третье изд. 1905 г.—349 стр. Ц. 1 р. 25 к.

Огоньки.—Сказание о Фасрѣ, Агриопѣ и Менахемѣ, смѣшегуды.—Парадоксы.—„Государевы ямщики“.—Морозъ.—Послѣдній лучъ.—Марусяна замѣтка.—Мгновеніе.—Въ облачный день.

ВЪ ГОЛОДНЫЙ ГОДЪ. Наблюденія, размышенія и замѣтки. Пятое изд.—379 стр. Ц. 1 р.

СЛѢПОЙ МУЗЫКАНТЪ. Этюдъ. Десятое изд.—200 стр. Ц. 75 к.

БЕЗЪ ЯЗЫКА. Рассказъ. Третье изд. 1904 г.—218 стр. Ц. 75 к.

Н. Нудринъ. ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ. Второе изд. 1903 г.—612 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Отъ автора.—I. Народъ и его характеръ. Психология француза. Французское краснорѣчіе. Цезаризмъ и роль личности во Франции XIX в. Ренегаты и герои убѣжденія.—II. Общественные классы. Французское крестьянство. Несчастный богачъ и счастливые бѣдняки. Безработные. Жизнь и идеалы четвертаго класса во Франции.—III. Наука, литература и печать. Соціология человѣка-звѣря. О марксизмѣ вообще, по поводу франц. марксизма въ частности. Натурализмъ на службѣ у утопіи. Французская пресса.—IV. Борьба реакціи и прогресса въ идейной и политической сферахъ. Современное «чертобѣсіе». Шовинистская и клерикальная реакція. Дѣло Дрейфуса (Торжество военщины). Идейное пробужденіе. Ренискій процессъ и его міровой характеръ. Еврейскій вопросъ и антисемитизмъ во Франціи. Французский парламентаризмъ и его критики. Эволюція политическихъ партій. Сто лѣть взаимныхъ отношеній буржуазіи и пролетариата.

Ек. Лѣткова. ПОВѢСТИ и РАЗСКАЗЫ. Томъ I. Второе изд. 1903 г.—311 стр. Ц. 1 р.

Мертвая зѣбы.—Лушка.—Горе.—Счастье.

— ПОВѢСТИ и РАЗСКАЗЫ. Томъ II. Второе изд. 1903 г.—314 стр. Ц. 1 р.

Отдыхъ.—Чудачка.—Бабы слезы.—Праздники.—Лишняя.

— ПОВѢСТИ и РАЗСКАЗЫ. Томъ III. Изд. 1903 г.—316 стр. Ц. 1 р.

Рабъ.—Оборванная переписка.—На мельницѣ.—Облачко.—Безъ фамиліи. (Софья Петровна и Таня).

Л. Мельшинъ. ВЪ МИРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ. Записки бывшаго каторжника. Томъ I. Третье изд. 1903 г.—386 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Въ преддверіи.—Шелаевскій рудникъ.—Ферганскій оренокъ.—Одиночество.

— ВЪ МИРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ. Томъ II. Второе изд. 1902 г.—402 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Съ товарищами.—Кобылка въ пути.—Среди сопокъ.—Post-scriptum (отъ автора).

— ПАСЫНКИ ЖИЗНИ. Рассказы. Второе изд. 1903 г.—367 стр. Ц. 1 р.

Юность (изъ воспоминаній неудачницы).—Пасынки жизни.—Чортовъ яръ.—Любимцы каторги.—Искорка.—Не доказанная правда.—На китайской рѣкѣ.—Ганя.

— ОЧЕРКИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Изд. 1904 г.—406 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Пѣвецъ гуманной красоты (Пушкинъ).—Муза мести и печали (Некрасовъ).—Чудеса «вседневнаго міра» (Фетъ).—На высотѣ (Тютчевъ).—Пѣвецъ «тревоги юныхъ силъ» (Надсонъ).—Современные миниатюры (Гг. Минскій, Андреевскій, Фругъ, Льдовъ, Фофановъ, Коринфскій, Чюмина, Облеуховъ, Бальмонтъ, Брюсовъ, Тань, Соловьевъ, Allegro, Федоровъ, Бунинъ, Лохвицкая, Щепкина-Куперникъ, Галина). О ста-ромъ и новомъ настроеніи.

Н. Н. Михайловскій. СОЧИНЕНИЯ. Шесть томовъ. Изд. 1896 г. Цѣна каждого тома 2 р.

Томъ I. 1) Предисловіе. 2) Что такое прогрессъ? 3) Теорія Дарвина и общественная наука. 4) Аналогический методъ въ общественной науцѣ. 5) Дарвинизмъ и оперетки Оффенбаха. 6) Борьба за индивидуальность. 7) Вольница и подвижники. 8) Изъ литературныхъ и журнальныхъ замѣтокъ 1872 и 1873 гг.

Томъ II. 1) Преступленіе и наказаніе. 2) Герои и толпа. 3) Научныя письма. 4) Патологическая магія. 5) Еще о герояхъ. 6) Еще о толпѣ.

7) На вінській всесвітній виставці. 8) Ізъ літературнихъ и журналъ-выхъ замѣтокъ 1874 г. 9) Ізъ дневника и переписки Ивана Непоми-нящаго.

Томъ III. 1) Філософія історії Луї Бланя. 2) Віко и его „новая наука“ 3) Новий історикъ єврейскаго народу. 4) Чо такое счастье? 5) Утопія Ренана в теорія автономії личности Дюринга. 6) Критика утилітаризму. 7) Записки Профана.

Томъ IV. 1) Жертва старой русской истории. 2) Идеализмъ, идеопоклонство и реализмъ. 3) Суздалцы и суздальская критика. 4) О литературной деятельности Ю. Г. Жуковского. 5) Карль Марксъ перед судомъ г. Ю. Жуковского. 6) Въ перемежку. 7) Письма о правдѣ и неправдѣ. 8) Літературные замѣтки 1878 г. 9) Письма къ ученымъ людямъ. 10) Житейская и художественная драмы. 11) Літературные замѣтки 1879 г. 12) Літературные замѣтки 1880 г.

Томъ V. 1) Жестокій талантъ. 2) Гл. И. Успенский. 3) Щедринъ. 4) Герой безвременья. 5) Н. В. Шелгуновъ. 6) Записки современника: I. Независимость обстоятельства. II. О Писемскомъ и Достоевскомъ. III. Нѣчто о лицемѣрахъ. IV. О пориографіи. V. Мѣдные лбы и изрѣнныя души. VI. Послушаемъ умныхъ людей. VII. Три мизантропа. VIII. Гибель торжествующей любви и нѣсколько мелочей. IX. Журнальное обозрѣніе. X. Торжество г. Циона, чреда образованности и проч. XI. О пѣкоторыхъ старыхъ и новыхъ недоразумѣніяхъ. XII. Все французъ гадить. XIII. Смерть Дарвина. XIV. О доносахъ. XV. Забытая азбука. XVI. Гамлетизированные пороссята. 7) Письма посторонняго въ редакцію „Отечественныхъ Записокъ“.

Томъ VI. 1) Вольтеръ-человѣкъ и Вольтеръ-мыслитель. 2) Графъ Бисмаркъ. 3) Предисловіе къ книгу объ Иванѣ Грозномъ. 4) Иванъ Грозный въ русской литературѣ. 5) Палка о двухъ концахъ. 6) Романческая история. 7) Политическая экономія и общественная наука. 8) Дневникъ читателя. 9) Случайные замѣтки и письма о разныхъ разностяхъ.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ и СОВРЕМЕННАЯ СМУТА. Томъ I. Издание второе. 1905 г. — 504 стр. Ц. 2 р.

Мой первый литературный опытъ. „Разсвѣтъ“. „Книжный Вѣстникъ“. Братья Курочкины, Ножинъ, Благословъ, Писаревъ, Демерть, Минаевъ. — „Гласный судъ“, „Современ. обозрѣніе“, „Отеч. Записки“. — Некрасовъ. — Романъ „Борьба“ и статья „Что такое прогрессъ“. Салтыковъ, Елисеевъ, Успенский, Некрасовъ, какъ человѣкъ — Фетъ о Салтыковѣ. Изъ переписки и дневника Шелгунова. Шелгуновъ и Поздышевъ. „Історія новейшей русской литературы“ А. М. Скабичевскаго. — П. Д. Боборыкинъ и его отношеніе къ „Отеч. Запискамъ“. — Въ одной изъ толстовскихъ колоній. Изъ прошлаго и насто-ящаго Л. Н. Толстого. Полемика съ нимъ И. И. Мечникова. — Личная воспоминанія о гр. Толстомъ. Толстой и г. Мечниковъ, какъ гигиенасты. О естественномъ и неестественномъ. О задачахъ науки. О будущемъ женщинъ и женскаго вопроса. Люди, владѣющіе первомъ и первымъ владѣмые. Двоякаго рода эпигоны. Г. Сементковскій о нашемъ недавнемъ прошломъ. — Книга о книгахъ. Воспоминаніе объ одному маленькому человѣкѣ. Письмо К. Маркса. Кающіеся дворяне. Идеали и идолы. Ошибки исторической перспективы. „Черезъ сто лѣтъ“ Беллами и „Крушение цивилизаций“ Бужильбера. — О г. Розановѣ и его отказѣ отъ наслѣдства. О мозаичности культуры. Славянофилы, „Моск. Вѣдомости“, „Гражданинъ“ и благонамѣренность. Изъ поездки по Волгѣ и изъ исторіи русской цензуры. — Г. З. Елисеевъ.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ и СОВРЕМЕННАЯ СМУТА. Томъ II. Издание 1900 г. — 496 стр. Ц. 2 р.

Оптимистический пессимистический тонъ. Марксъ Нордау о выро-жденіи. Декаденты, символисты, маги и проч. Русское отраженіе франц. символизма. О разныхъ типахъ празднословія. Объ исторической кри-тицѣ. Отрывокъ изъ романа „Карьера Оладушкина“. Основы народ-ничества г. Юзова. — Памяти Тургенева. О народничествѣ г. В. В. Братство народовъ. — О молодости. О гг. П. Ковалевскомъ и Сениковѣ.

P. Sloane 630. 5 (1905)

G. N.

Hebrew Literature Society
310-312 Catharine Street
Philadelphia, Pa.

Language

Book

Accession No. 856

Bought with the income of
THE
SUSAN A. E. MORSE FUND
Established by
WILLIAM INGLIS MORSE
In Memory of his Wife



H... Library

1905

Къ свѣдѣнію гг. подписчиковъ.

1) Контора редакціи не отвѣтаетъ за аккуратную доставку журнала по адресамъ станцій желѣзныхъ дорогъ, гдѣ нѣть почтовыхъ учрежденій.

2) Подписавшіеся на журналъ черезъ книжные магазины—съ своими жалобами на неисправность доставки, а также съ заявленіями о перемѣнѣ адреса благоволять обращаться непосредственно въ контору редакціи—*Петербургъ, уг. Спасской и Басковой ул., д. 1—9.*

Книжные магазины только передаютъ подписаныя деньги въ контору редакціи и не принимаютъ никакого участія въ доставкѣ журнала.

3) Жалобы на неисправность доставки, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, направляются въ контору редакціи не позже, какъ по полученіи слѣдующей книжки журнала.

4) При заявлѣніи о неполученіи книжки журнала, о перемѣнѣ адреса и при высылкѣ дополнительныхъ взносовъ по разсрочкѣ подписной платы, необходимо прилагать печатный адресъ, по которому высылается журналъ въ текущемъ году, или сообщать его №.

Не сообщающіе № своего печатнаго адреса затрудняютъ наведеніе нужныхъ справокъ и этимъ замедляютъ исполненіе своихъ просьбъ.

5) При каждомъ заявлѣніи о перемѣнѣ адреса въ предѣлахъ Петербурга и провинціи слѣдуетъ прилагать 25 коп. почтовыми марками.

6) При перемѣнѣ петербургскаго адреса на иногородній уплачивается 1 р.; при перемѣнѣ же иногороднаго на петербургскій—65 к.

7) Перемѣна адреса должна быть получена въ конторѣ не позже 15 числа каждого мѣсяца, чтобы ближайшая книга журнала была направлена по новому адресу.

8) Лица, обращающіеся съ разными запросами въ контору редакціи или въ Московское отдѣленіе конторы, благоволять прилагать почтовые бланки или марки для отвѣтовъ.

Къ свѣдѣнію авторовъ статей.

1) На отвѣтъ редакціи по поводу присланной статьи, а также на случай возврата обратно рукописи должны быть приложены марки.

2) Непринятія рукописи, обратная пересылка которыхъ не была оплачена, возвращаются заказной бандеролью съ наложенными издержками стоимости пересылки.

3) Рукописи, доставленныя въ редакцію до 1903 г. и не востребованные обратно до 1-го декабря 1904 г., уничтожены.

4) По поводу непринятыхъ стихотвореній редакція не ведеть съ авторами никакой переписки, и такія стихотворенія уничтожаются.



ВРАГИ.

Разсказъ.

I.

Въ концѣ февраля шестнадцатилѣтній мальчикъ Мотька бродилъ по окраинѣ городка, неподалеку отъ лѣсныхъ складовъ, и сумрачно думалъ о томъ, что сегодня надо работу найти во что бы то ни стало.

День былъ тусклый, гнилой и мертвый, и если бы художнику вздумалось изобразить разстилавшійся передъ Мотькой пейзажъ, ему пришлось бы употреблять одни только сѣрые да черные цветы. Уродливые лачужки стояли въ беспорядкѣ, какъ попало, и стѣны ихъ, когда-то выбѣленныя, немногимъ свѣтлѣе были полусгнившихъ, разоренныхъ крышъ. Жалкія строенія эти глядѣли какъ-то особенно хмуро и печально, и, казалось, они въ тупой дремотѣ грезятъ устало обѣ избавительницѣ-смерти, о порѣ, когда, наконецъ, они рухнутъ, разсыпятся и превратятся въ плотную мусорную кучу. Въ лачугахъ и подлѣ нихъ было тихо и мертво, какъ и на старомъ кладбищѣ, лежавшемъ по ту сторону огромной замерзшей лужи, какъ и въ сумрачномъ полѣ, разстилавшемся позади кладбищенской ограды.

И чѣмъ-то страннымъ и цѣлѣпымъ казался убѣгавшій вглубь поля строй телеграфныхъ столбовъ: кто въ этомъ несчастномъ, подавленномъ краѣ станеть пользоваться телеграфомъ? А тамъ, въ тѣхъ сторонахъ, гдѣ людямъ живется свободно и хорошо, кто заинтересуется здѣшней тоской и умираніемъ?..

Мотька беспокойно поглядывалъ впередъ, и тяжелая душа—о заработкахъ, о хлѣбѣ—ни на минуту не оставляли его.

Отецъ Мотьки, музыкантъ Менахемъ, умеръ осенью, и юлодой мальчикъ былъ теперь единственнымъ кормильцемъ семьи, ея защитой и надеждой. Съ озабоченностью, съ угрюзостью старого, много испытавшаго человѣка, добывалъ онъ

ей пропитаніе. Заработать что-нибудь малярнымъ дѣломъ въ тяжелую зиму этого памятнаго неурожайнаго года нельзѧ было,—никто въ городѣ не строился, никакого ремонта не производилось. И другую работу, сколько-нибудь вѣрную и продолжительную, также трудно было найти. Каждый заработка, какъ бы малъ онъ ни былъ, по недѣлямъ выслѣживался десятками нуждавшихся...

Въ эту мрачную зиму нищета въ городѣ была неслыханная, и она возростала съ каждымъ днемъ. Люди съ измученными больными лицами, оборванные, почти босые, осаждали съни „богачей“, робко плакали и причитали, молили подобострастно и униженно, и иногда, выведенныe изъ себя, въ остервенѣніи, разражались истерическими проклятиями и угрозами...

Богачи ходили смущенные, испуганные, теряли голову, не знали, что дѣлать. Больше тысячи бѣдняковъ надо было кормить ежедневно, а средствъ не хватало и для двухъ сотъ.

И Мотькина семья голодала тоже. Но время отъ времени молодой маляръ приносилъ двугривенный или полтинникъ, приносилъ хлѣбъ или кувшинъ молока, и тогда на окружавшихъ его высохшихъ дѣтскихъ лицахъ появлялось выраженіе праздничное, радостное.

— Какъ-нибудь зиму промаемся, а ужъ весной, Богъ дастъ, дѣла пойдутъ лучше,—говорилъ Мотька своей матери Хасѣ. — Начнутся постройки, будетъ работа... Въ клубѣ ремонть, въ городской управѣ... Я разсчитываю Розѣ купить на выплату чулочно-вязальную машину... Это дѣло недурное! Бенюмена, пока что, отдамъ въ талмудъ-тору, а для Берчика возьму учителя, въ гимназію готовить...

— Что это ты, Господь съ тобой?—съ тайнымъ умиленіемъ восклицала Хасѣ.

Гимназія для Берчика, шустраго, видимо очень способнаго десятилѣтняго мальчугана, была лучшей мечтой Хаси. И бѣдная женщина сладко замирала, когда, закрывая глаза, рисовала себѣ своего птенца въ синемъ мундирчикѣ... Отчего бы Берчику и вѣ учиться? Онъ хуже другихъ, что ли? Не такъ уменъ, не такъ красивъ, какъ другіе? Одѣть его, какъ слѣдуетъ, обмыть хорошенько, подкормить съ мясицѣ, другой,—еще получше другихъ будетъ. Прямо—генеральское дитя!

— Непремѣнно въ гимназію! — задумчиво говорилъ Мотька. Пусть будетъ образованный. Учителя возьму, книги стану покупать, за все буду платить... На части разорвусь, носомъ землю пахать стану, а его въ люди выведу! — воспламеняясь, добавлялъ онъ.

Увы! свою преданность братишкѣ и готовность разорваться для него на части Мотькѣ пришлось доказать еще задолго до пріисканія работы,—и совсѣмъ не покупкой книгъ и не приглашеніемъ учителей...

Берчикъ заболѣлъ скарлатиной: надо было его спасать.

Двѣ недѣли Мотька не смыкалъ глазъ, бѣгая по докторамъ, по „благодѣтелямъ“, по благотворительнымъ учрежденіямъ... Откуда-то онъ приносилъ и чай, и ромъ, и лѣкарства, и топливо, и даже ванну гдѣ-то добылъ... На Хасю нашло тупое отчаяніе. Она ни во что не вмѣшивалась, ни въ чѣмъ не помогала сыну, сидѣла въ холодныхъ сѣняхъ и дико водила глазами. А Мотька дѣйствовалъ такъ дѣловито, такъ энергично и неутомимо, что, не смотря на ужасныя условія, отстоялъ таки умиравшаго брата. И когда впослѣдствіи Хася очнулась нѣсколько и пришла въ себя, она смотрѣла на своего первенца съ тайной робостью, съ безконечнымъ почтеніемъ,—какъ на свыше посланного ей хранителя и защитника.

Да и въ собственныхъ своихъ глазахъ Мотька стала съ тѣхъ поръ выше и важнѣе. Онъ понялъ еще яснѣе, какъ необходимъ онъ семье...

II.

— Эге, маляръ, это ты?

Мотька вздрогнулъ и обернулся.

Передъ нимъ стоялъ огромнаго роста человѣкъ въ длинной шубѣ и большой бобровой шапкѣ. Это былъ владѣлецъ пивовареннаго завода, чехъ Кубашъ. Въ прошломъ году, весной, Мотька сумѣлъ такъ ему угодить, что получилъ приглашеніе заходить на пивоварню „каждый разъ“ и пить пива „сколько угодно“. Но потомъ случилось такъ, что Кубашъ заподозрилъ Мотьку въ кражѣ у дворника Анисима трехъ рублей и жестоко его избилъ. И оттого, завидѣвъ теперь обидчика, Мотька затрепеталъ всѣмъ тѣломъ и въ ужасѣ сталъ пятиться назадъ.

— Слушай,—продолжалъ чехъ, стараясь изобразить на своемъ гладкомъ, бритомъ, съ короткими сѣдоватыми бачками лицѣ ласковую улыбку.—Ты, маляръ, тово... Обидѣль я тебя, понапрасну обидѣль... Деньги-то рѣжій Митричъ укралъ, пильщикъ... Потомъ все въ точности раскрылось...

— Ага! — издали вскричалъ Мотька, и глаза его торжествующе засверкали.

— Анисимъ, дуракъ, зналъ, кто укралъ, да молчаль... выдавать не хотѣль... А потомъ... когда... ну, вотъ когда съ

тобой это вышло, пришелъ и рассказалъ... Ну, ты ужъ тово... Ты маляръ хороший, я знаю. Лѣтомъ буду строить флигель, непремѣнно тебѣ работу дамъ, непремѣнно.

— Я-жъ вамъ божился, что я не воръ!

— Ну, что ужъ... кто тебя зналъ... Дѣло прошлое, не вернешь... Жалѣю, а не вернешь... А теперь тебѣ работы не надо?

Мотька молчалъ и хмуро поглядывалъ на чеха.

— У меня на пивоварнѣ ледники набиваются; ступай, если хочешь, на рѣчку ледь колоть.

Мотька продолжалъ молчать. Брать работу у обидчика было тяжело...

— Сорокъ копѣекъ въ день.

Кубашъ распахнулъ шубу, досталъ большие стальные часы и, поглядѣвъ на нихъ, добавилъ:

— Теперь двѣнадцатый часъ; ну, это ничего, я тебѣ зачути за день... Работы на недѣлю хватить.

Мотька стоялъ въ отдаленіи и нерѣшительно озирался.

— Да ужъ ступай, чего тамъ, — настаивалъ Кубашъ. — Знаешь, въ Лозахъ, позади мостковъ. Тамъ ужъ увидишь: люди работаютъ... Скажешь, я прислалъ... Ступай, ничего...

— Хорошо, я пойду, — хриплымъ голосомъ, черезъ силу, пробормоталъ Мотька.

И, поклонившись Кубашу, онъ скорымъ шагомъ сталъ перерѣзывать поле.

Вѣтеръ дулъ съ юга, сырой и рѣзкій. Морозъ упалъ совсѣмъ, верхушки кочекъ слегка оттали, и идти было трудно: нога скользила и то и дѣло попадала въ рытвины. Мотька шагалъ межой и смотрѣлъ впередъ себя, гдѣ, verstахъ въ двухъ, за буроватой полосой сухого и мертваго камыша, прятались кривыя извины широкой рѣки. По черной и крутой дорогѣ, подлѣ телеграфныхъ столбовъ, медленно тащились нагруженныя льдомъ подводы. Лошади были измученные, жалкія, и карабкались онѣ съ великимъ трудомъ, вытягивая впередъ свои несчастныя головы, уродливо выгибая спины и выыхая цѣлнѣя туши сѣраго, мутнаго пара. Временами, окончательно выбившись изъ силъ, онѣ останавливались, и тогда извозчики принимались ихъ бить ногами и кнутовищемъ, въ животъ и по головѣ, и оглашали угрюмую пустоту дикимъ и мучительнымъ крикомъ...

— Ничего не подѣлаешь, — думалъ Мотька, приближалась къ камышамъ. — Надо смириться, работать на Кубаша. Онъ все-таки хороший человѣкъ. Другой обидить и никогда не признается, что сдѣлалъ это понапрасну. Вотъ, напримѣръ, — мусю Цыпоркесь: этотъ еще пожаловался бы въ часть и кричалъ бы по всему городу, что я его обокралъ. А Кубашъ

воть сегодня за цѣлый день заплатить... сорокъ копѣекъ... Ну, и славу Богу! Работы, говорить, на недѣлю будетъ. Что-жъ, это деньги: заплачу за квартиру и еще полъ-мѣшка картошки куплю... Дѣти совсѣмъ изголодались... Таки спасибо Кубашу, ей-Богу, спасибо...

И, насвистывая отъ удовольствія, Мотька стала спускаться къ камышамъ.

Рѣка, саженъ полтораста въ ширину, вся сплошь затянута бѣлесоватой ледяной корой. Только въ самой серединѣ тянулось большое прямоугольное темное пятно. Въ этомъ мѣстѣ ледъ былъ уже сколотъ, и вода, сдавленная съ четырехъ сторонъ, ходила въ полынѣ мелкой рябью, сумрачная и сердитая. Она упорно билась о свою крѣпкую раму и неустанно рокотала, зловѣще и многоизначительно... Ближе къ противоположному берегу, покатому и заросшему чахлымъ лознякомъ, стоялъ рядъ черныхъ, ветхихъ баржъ, а нѣсколько влѣво отъ лозняка тянулись огорода, и среди нихъ острымъ горбомъ чернѣла одинокая землянка. Все въ этомъ мѣстѣ было уныло, бѣдно и пусто, и на много верстъ вокругъ не видно было живого существа. Только посреди рѣки, неподалеку отъ темной проруби, стояли три человѣка и вяло постукивали ломами объ ледъ.

Одного изъ нихъ Мотька узналъ еще издали. Это былъ дворникъ Анисимъ, необыкновенно смирное, безсловесное созданіе,—тотъ самый дворникъ Анисимъ, у которого украшенъ былъ кисеть съ тремя рублями. Теперь на Анисимѣ были бурыя валенки и облѣзшая баранья шапка съ наушниками. Двухъ товарищѣй его Мотька тоже, какъ будто, встрѣчалъ. У одного была густая желтая борода и такие же желтые всклокоченные волосы. Онъ былъ невысокъ ростомъ, но широкъ въ плечахъ, кряжистъ и, видимо, очень силенъ. Но лицо было одутловатое, желто-сѣрое, какъ у человѣка съ очень большой печенью. Одѣть онъ былъ въ какую-то женскую клѣтчатую фуфайку, перехваченную въ поясъ синимъ платкомъ, и въ свѣтло-сѣрый котелокъ съ обломанными полями. Лѣтъ ему можно было дать около сорока. Въ человѣкѣ этомъ Мотька скоро узналъ „рыжаго Митрича“,—того самаго, который укралъ у Анисима деньги, и за проступокъ котораго молодой мальяръ такъ жестоко поплатился.

Подлѣ Митрича толокся тщедушный, сѣденкій старичокъ, въ безмѣрно широкомъ, рваномъ армякѣ и въ лаптяхъ.

Ты, Ягоръ, ты Ягоръ, ты Ягорушка,
Золотая, золотая ты головушка...—

весело и быстро пѣлъ онъ, приплясывая и постукивая себя небольшими кулачками по сѣдой головѣ...

— Богъ въ помощь, землячки! — крикнулъ Мотька, приблизяясь.

— Здорово! — Егорушка пересталъ плясать и дружелюбно уставился на Мотьку. — Здравствуй, малецъ!.. Прогуляться вышелъ? По бульвару пройтись?

— Пособлять пришелъ... Меня къ вамъ Кубашъ въ товарищи прислалъ.

— Вотъ лиходѣй!

Егорушка хлопнулъ себя по бедрамъ и радостно взвизгнулъ.

— Въ товарищи? Вотъ это, братуха, въ аккуратъ выходить, подъ кадрель... Насъ тутъ всего трое, танцевать-то и неспособно... Бери, братуха, ломъ, да и становись сюды... Митричъ, слыхалъ? — обратился онъ къ желтобородому: — вотъ кумпаньонъ къ намъ пришелъ.

Митричъ медленно отвелъ въ сторону ломъ и сумрачно посмотрѣлъ на Мотьку.

— Канпаньонъ? — тусклымъ, простуженнымъ басомъ прокричѣлъ онъ. — Какой онъ мнѣ канпаньонъ, иродово съмѧ?

Брови у Егорушки вдругъ вздернулись кверху, глаза расширились и округлились. Съ наивнымъ непониманіемъ огляделъ онъ Митрича, потомъ Мотьку, потомъ снова Митрича...

— Ты чего это такъ? — не то съ любопытствомъ, не то съ беспокойствомъ воскликнулъ онъ. — Ну, чего ты, га? Ну, зачѣмъ?

— А вотъ затѣмъ, — отрубилъ Митричъ. — „Канпаньонъ“!.. Пархъ, а не канпаньонъ.

Въ голосѣ его слышалась глубокая ненависть и презрѣніе, а по выражению глазъ и по движенію фигуры было видно, что онъ не прочь бы дать новому компаньону по затылку. Мотька растерянно посмотрѣлъ на этого крѣпкаго, сильнаго человѣка — и послѣшно отошелъ къ Егорушкѣ...

— Экій ты, Митричъ, га! — съ веселой и вмѣстѣ тревожной ласковостью заговорилъ стариkъ. — Лиходѣй вѣдь ты, га?.. Ей, право, лиходѣй!.. Ну, чего серчаешь? Чего къ мальчишкамъ присталъ?

— Сводочь онъ! — зарычалъ Митричъ, и глаза его злобно сверкнули подъ нависшими желтыми бровями. — Зачѣмъ сюда прильзъ, жидуга проклятый?

— Я къ вамъ не лѣзу... я васъ не трогаю, — заговорилъ изъ-за спины Егорушки Мотька. И голосъ его, вообще тонкий и слабый, звучалъ теперь, какъ у десятилѣтняго мальчика. — Я вамъ не мѣшаю... Меня прислалъ господинъ Кубашъ.

— Ну, вотъ что, — торопливо подхватилъ Егорушка, и мальчишко, бурое лицо его озарилось дѣтски-радостной улыбкой.

кой.—Прислали тебя работать—ты и работай. Работай себѣ, знай, и не разговаривай. Экій ты какой!.. Не понимаешь дѣла.. Когда тебя прислали, такъ ты, стало быть, исполняй... А ты разговаривать. Тутъ, братъ, разговору не надо, тутъ сурьезно надо...

Личико Егорушки сдѣлалось вдругъ дѣловитымъ и важнымъ.

— Потому ледъ это... Его колоть надо. Ну и... и все... Ступай, братуха, на тотъ берегъ, къ огороднику, бери ломъ и валяй... Нечего тутъ...

— Ахъ ты, египетскій! — съ сердцемъ проворчалъ Митричъ, принимаясь снова за работу. — Приползъ, нечистая сила! Онъ тебѣ всюду вползетъ!

— Вползеть, это правильно,—примирительно согласился Егорушка.

— Сейчасъ тутъ рѣка, поле, степь — чисто, свободно... А приперь вогъ этакій—Симъ, Хамъ и Яфетъ, все сразу и прокоптить!

— „Прокоптить“!—подхватилъ Егорушка и отъ удовольствія топнулъ лаптѣмъ. — Это вѣрно, что прокоптить. Ей право! Виши сказалъ! А?! Прокоптить! Ахъ, лиходѣй!

— Племя нечистое.

— О? Нечистое?

— Хуже нечистаго: Іуды, кровососы анаемскіе...

Егорушка посмотрѣлъ на Мотьку.

— Эхъ, мальчионка,—сочувственно прокряхтѣлъ онъ,—видишь ты! Вотъ дѣла-то... Дѣла-то, говорю, вотъ какія. А ты ступай, пока что, за ломомъ, ступай, братуха, нечего тутъ.

. Мотька обвелъ испуганнымъ взглядомъ и своего врага, и своего защитника, и сохранявшаго все время полное безмолвіе Анисима, и потомъ тихонько, осторожно ступая, поплелся по льду на другой берегъ, гдѣ въ круглой землянкѣ хранились нужные для колки льда принадлежности.

— И чего отъ меня хотеть этотъ разбойникъ,—думалъ онъ,—что я ему сдѣлалъ? Такая ужъ наша еврейская доля.

И Мотька сталъ думать о томъ, что его преслѣдовали всю жизнь. Вотъ на эту самую рѣку прибѣгалъ онъ купаться въ дѣствѣ, и русскіе мальчики жестоко били его и не выпускали въ воду... Когда онъ, выкупавшись, выходилъ изъ воды, они швыряли въ него пескомъ и грязью, и онъ вынужденъ бывалъ снова лѣзть въ рѣку. Мальчишки швыряли опять и опять, въ теченіе получаса и больше, и онъ весь синѣлъ отъ холода, коченѣлъ и трясся; а мальчишки издѣвались надъ нимъ и хохотали, завязывали въ туго „сухари“ рукава его рубахи и смачивали ихъ въ рѣкѣ, чтобы сдѣлать еще болѣе труднымъ распутываніе узловъ...

Плаваль Мотька неумѣло. Онъ беспорядочно и неловко ударялъ по водѣ сжатыми кулаками, и товарищи говорили, что онъ „мѣсить булки“. И этимъ неумѣньемъ его русскіе мальчики тоже пользовались и часто „топили“ его, пригиная къ рѣчному дну... Постоянныя преслѣдованія, постоянная мука!.. Когда, четыре мѣсяца назадъ, отца Мотьки на черныхъ носилкахъ несли на кладбище, какой-то извозчикъ кричалъ во всю глотку: „Жидъ сдохъ, Хайка осталась. Ступай, Хайка, въ казарму, солдатъ вкуснѣе жида“... А прохожие поощрительно смѣялись...

III.

Мотька вернулся къ мѣсту, гдѣ кололи ледъ, и, устроившись подлѣ Егорушки, принялся за работу.

— Гепъ, гепъ, гепъ! — передразнивалъ его Митричъ, суетливо и неуклюже раскачиваясь всѣмъ тѣломъ.—Гепъ... дохлая морда...

— Ты, мальчонка, не такъ,—училъ Мотьку Егорушка:—гляди-ко сюда, сюда гляди! Ты вотъ какъ: прямо ломъ подымай, да внизъ яво и бухай!.. Да ты не спѣши, не спѣши... Гляди-ко суды, вотъ: расссъ!.. расссъ!..

— Ахъ, вей!—кричалъ Митричъ, хватаясь за воображаемые пейсы.—А ловко тебя Кубашъ отколотиль, да, видно, мало. Небось, опять деньги станешь красть... Жиды на это дѣло мастера здоровые!

При этихъ словахъ, сосредоточенный Аникимъ прервалъ работу и вытаращилъ глаза. Минуты двѣ смотрѣлъ онъ на Мигрича пристально, напряженно, словно соображая что-то... Потомъ, не проронивъ ни слова, слегка отвернулся и опять стала дѣйствовать ломомъ.

— Кербеле, копекесь,—продолжалъ Митричъ,—три рубля у человѣка уперь, а потомъ—„зачиво нападеніе“!..

Мотька молчалъ и дѣлалъ видъ, будто ничего не слышить. Егорушка добродушно балагурилъ и всячески старался отвести вниманіе и краснорѣчіе Митрича къ другимъ предметамъ. Дѣлалъ онъ это, однако же, съ большой осторожностью, видимо побаиваясь своего желтобородаго товарища и заискивая въ немъ. Онъ громко смѣялся его остротамъ, иногда и повторялъ ихъ, съ восхищеніемъ, не всегда, впрочемъ, свободнымъ отъ притворства, причмокивалъ губами и притопыналъ лаптѣмъ.

— Жидовская нація — самая подлющая!—докладывалъ Митричъ.

И мысль эту онъ развивалъ подробнѣ и обстоятельно.

Онъ былъ, видно, грамотенъ; тупыя человѣко-ненавистническія фразы изъ уличныхъ газетокъ перемѣшивались съ темнымъ бредомъ невѣжественнаго, одичалаго человѣка, и получалось что-то такое безсмыслицо-алобное, гнетущее и тревожное, что наивная душа Егорушки и смущалась, и хмурилась... Егорушка любилъ веселье, любиль побалагурить, посмѣяться и попѣть, а Митричъ преподносилъ ему мрачныя разсужденія о зловредности и гнусности жидовъ. И Егорушкѣ было неспокойно, тяжело и непріятно, онъ жалѣлъ „страдающаго изъ-за жидовъ“ православнаго человѣка, и ему хотѣлось бы его отъ жидовъ обронить и за него отомстить, но въ то же время ему какъ-то жаль было и жида, тѣмъ болѣе жаль, что въ длинныхъ разсужденіяхъ Митрича бѣдной головѣ его смутно чуялось что-то нескладное, неправильное и „неподходящее“...

— Э-и-эхъ! — какъ-то неопределенно, со странной печалью, кряхтѣлъ онъ, когда Митричъ толковалъ ему объ употребленіи евреями христіанской крови. Онъ косился на Мотьку, бросаль недовольные, но робкіе взгляды на Митрича и какъ-то особенно гулко и часто стучалъ своимъ ломомъ объ ледь. Печаль и досада переполняли его сердце...

Но когда Митричъ переходилъ къ передразниванію евреевъ, къ куплетамъ вродѣ

А жа ними вбокъ
Молодой жидокъ,—

онъ вдругъ веселѣлъ и прояснялся. Онъ даже принимался подтягивать Мигричу и, бросая время отъ времени дружеское и ободряющее слово безмолвно работавшему Мотькѣ, крякалъ радостно и весело, какъ утка, въ знойный день попавшая въ ручей.

Мотька ни единymъ словомъ не отзывался на всѣ эти глумленія.

Сердце его ныло и дрожало, злоба закипала въ немъ. Крѣпко стискивались зубы, и минутами душила потребность броситься на обидчика и избить его... Но Мотька былъ такъ тщедушенъ и слабъ... и съ утра ничего не ъль... и дома его заработка ожидали голодныя дѣти...

— Онъ, кажется, никогда не перестанетъ, — въ тоскѣ говорилъ себѣ Мотька.

А Митричъ, дѣйствительно, не выказывалъ намѣренія перестать.

Пріѣхали извозчики, стали нагружать на телѣги ледь, и произошелъ короткій перерывъ. Но вотъ телѣги, скрипя и раскачиваясь, уѣхали, и Митричъ опять принялся за свое... Его, видимо, бѣсило, что Мотька отмалчивается, и онъ ста-

новился все болѣе и болѣе злымъ. Уже онъ не передразнивалъ евреевъ и не пѣлъ обидныхъ куплетовъ,—обидныхъ, но все же, большей частью, добродушныхъ,—а свирѣпо ругался и временами угрожалъ...

— Ну, что дѣлать, что дѣлать?—мысленно стоналъ Мотька.— Когда Богъ уже благословилъ и работа нашлась, такъ вотъ тебѣ, такой извергъ случился... И завтра опять это же самое будетъ, и послѣ завтра то же...

— А чтобы онъ пропалъ!—отъ всего сердца взмолился онъ.

— Австріякъ, тотъ, братцы мои, самымъ лучшимъ манеромъ съ жидами со своими справился,—объявилъ Митричъ.— Всѧль да всѣхъ на мерзлый островъ въ Ледовитый океанъ и посадилъ.

— Ахъ, лиходѣй!—одобрилъ Егорушка. И, желая перемѣнить тему разговора, политично спросилъ:—А какая у австріяка форма? Амуниция, значить, какая у яво будетъ, амуниция?

— Не хотимъ, говорять, жидовскаго духа — и шабашъ. Ступай на ледяной островъ... Ни солнца тамъ, ни дерева, ни травки, ни огня,—ничего не видать! Ледъ да бѣлые медведи. Молись себѣ своему жидовскому Богу!

— Богъ-то одинъ,—задумчиво произнесъ Егорушка.

— Богъ одинъ, да вѣра разная.

Егорушка помолчалъ.

— Ну, а тово... а уѣхать оттѣда, съ острова, развѣ нельзя?—заинтересовался вдругъ Анисимъ.

— У-у-уѣхать?.. Хо-хо-хо... Онъ те уѣдетъ!

Выцвѣвшіе глаза Митрича злорадно забѣгали.

— А миноноски на чо? Кругъ острова шестнадцать штуки миноносокъ стоять, караулять, чутъ кто съ мѣста тронулся—сейчасъ стопъ! Тутъ ему и крышка... Половина жидовъ на острову уже передохла... а доктора разсчитали, что черезъ семь годовъ ни слуху, ни духу отъ нихъ не останется.

Вѣтеръ дулъ теперь сильнѣе, мѣнялъ направление и становился суше. Онъ обжигалъ Мотькѣ лицо, упорно разворачивалъ полы его куртки и билъ его по тонкимъ, одѣтымъ въ парусиновые штаны, подогнувшимся ногамъ. Даже усиленныя дѣйствія ломомъ не могли побѣдить холода и не въ состояніи были сообщить гибкость коченѣвшему тѣлу. Мотька весь дрожалъ. Жестокія слова Митрича мутили его,—точно въ уши и въ сердце ему заколачивали длинные гвозди... Онъ бросалъ косые взгляды на Митрича, на его толстый, мокрый растреланными, желтыми волосами затылокъ и крѣпко стискивалъ зубы. Онъ дрожалъ уже не отъ одного

холода: негодование и ненависть вызывали въ немъ частое и мучительное трепетаніе.

— И плодущіе же, сволочи! — продолжалъ Митричъ. — Нѣ надо и сусликовъ. Вотъ, примѣрно, этотъ самый пархъ, что сюда приперъ: ты думаешьъ, онъ у своего батьки одинъ? Чорта съ два! Сходи-ка къ нему домой, — небось, тамъ ихъ дюжина пѣлая. А то и двѣ...

— Это какъ Господь, — сумрачно нахмутившись, пояснилъ Егорушка. — Господу народъ надобенъ...

— „Надобенъ“... Понимаешь ты!.. А вотъ кабы я надѣжидами главный командиръ былъ, выпустилъ бы я такой указъ, чтобы маленькихъ жиidenять за ноги да объ стѣнку. Хопъ — и нѣту! Хопъ — и нѣту!.. Вотъ и къ этому бы халдею заглянулъ, — счетъ бы имъ тамъ подвелъ правильный...

„Извергъ, катъ!“ — тихо шепталъ Мотька. И при этомъ самъ становился злымъ и жестокимъ. Онъ представлялъ себѣ, съ какимъ удовольствиемъ онъ ударилъ бы изо всей силы Митрича по лицу... Разъ ударилъ бы, и два раза, и три раза... Былъ бы, пока не хлынула бы кровь, пока не окоченѣлъ бы этотъ мерзкій и злой языкъ...

И уже не было радости въ его душѣ, не было въ ней и безцѣльной жалобы, а все выше и выше поднималась жажда мести и крѣпла потребность расплаты. Ноздри у Мотьки яростно раздувались, глаза горѣли, и щеки дергались въ мелкой и непрестанной судорогѣ...

Митричъ, сосредоточенно возясь, шагахъ въ сорока, съ огромной льдиной, прерваль на время свои приставанія къ Мотькѣ и всѣ ругательства адресовалъ къ непокорявшійся тяжелой глыбѣ. И Мотькѣ это было непріятно. Теперь ему изздѣвательства Митрича были нужны. Они были ему нужны для того, чтобы довершить происходившую въ немъ работу, чтобы довести злобу до ярости, до безумства и швырнуть его — тщедушнаго, голоднаго, измученнаго мальчика — на этого тяжелаго, костистаго и грязнаго здоровяка... Все въ немъ кипѣло и бурлило, хотя и не въ такой еще степени, чтобы расправу начать сейчасъ же. Нужно было новое раздраженіе, необходима была еще новая, послѣдняя обида, чтобы головъ разума и подлаго разсчета замеръ окончательно, чтобы сердце загорѣлось со всѣхъ сторонъ.

Митричъ побѣдилъ, наконецъ, свою льдину. Послѣднимъ усилиемъ онъ приподнялъ ея край, подсунулъ подъ него ломъ и вытихнулъ тяжелую глыбу наверхъ.

— Тыфу, бей тебя сила Божія! — проворчалъ онъ, отставивъ прочь ломъ и туже стягивая служившій ему поясомъ синій вязаный платокъ. — Заморился, прямо бѣда!.. А ты, послушай-ка, какъ тебя тамъ, свиное ухо? Дай-ка табачку!..

Въ глазахъ Мотьки моляней сверкнула какая-то дикая улыбка. Ломъ выпалъ изъ его руки, весь онъ мгновенно выпрямился.

— Холеру я тебѣ дамъ, прохвость!

Слова эти проозвучали рѣзко, отчетливо и звонко,—точно тяжелымъ молотомъ ударили въ тонкую серебряную доску.

Митричъ удивленно поднялъ голову.

— Чего?

— Прохвость!.. Мучитель!.. Извергъ!...—истерически кричалъ Мотька:—За что ты меня мучишь?.. Да я теббя, кровопійцу... уббью!

И, поднявъ кверху длинныя, худыя руки, онъ ринулся впередъ.

На одно мгновеніе, всѣхъ — и Митрича, и Анисима, и Егорушку—охватило полное оцѣпеніе.

То, что происходило передъ ними, было такъ странно, такъ неожиданно и невѣроятно, что они не могли вѣрить глазамъ. Ошеломленные, они не проронили ни звука. И тяжелую, сумрачную тишину, царившую надъ скованной рѣкой, надъ мертвымъ слоемъ камышей и надъ пустыннымъ, мерзлымъ берегомъ, раздирая лишь пронзительный, дикий вопль Мотьки. Словъ Мотька не произносилъ никакихъ, и то, что вылетало изъ его груди, было лишь безсмысленнымъ, ровнымъ и рѣжущимъ ревомъ раненаго на смерть, уже изнемогающаго, истекающаго кровью, но сильнаго яростью и бѣшенствомъ животнаго. Животное это неслось впередъ, къ тому, кто его ранилъ, неслось затѣмъ, чтобы быть раненымъ вторично, еще ужаснѣе,—но и затѣмъ также, чтобы отомстить и въ послѣднемъ предсмертномъ усилии уничтожить растерзать убийцу-врага!

— Лиходѣй!.. Ахъ, лиходѣй!.. — завижалъ вдругъ Егорушка. И, подбѣжавъ къ Митричу, онъ обхватилъ его руками. Широкимъ армякомъ своимъ онъ прикрылъ Митрича всего—и этимъ, повидимому, разсчитывалъ оградить его отъ нападенія Мотьки и предотвратить бѣду.

Однако же, катастрофу предупредилъ не онъ, а Анисимъ.

Безмолвныи дворникъ проворно подскочилъ къ Мотькѣ, схватилъ его за шиворотъ, приподнялъ на попль-аршина надо льдомъ и, не проронивъ ни слова, какъ котенка, понесъ въ сторону.

— Пусти!—захлебываясь, рычалъ Мотька:—Пусти, сволочь!

Онъ былся и извивался всѣмъ тѣломъ и стучалъ кулаками и ногами по Анисиму, куда попало. Но дворникъ держалъ его крѣпко. Онъ какъ-то такъ ловко обнялъ своего пѣнника, что сковалъ ему и руки, и ноги, и тотъ могъ теперь вадрагивать и колыхаться однимъ только туловищемъ.

Оттащивъ Мотьку сажёнъ на двадцать, онъ опустилъ его на ледъ и, ставъ впереди, какъ пугало на огородъ, горизонтально раздвинулъ руки.

— Стой тутъ!.. — вяло проговорилъ онъ. — Стой... стой, а то буду бить...

Мотька мутными, непонимающими глазами глядѣлъ на Анисима, на стоявшихъ впереди Митрича и Егорушку. Куртка его разстегнулась; лѣвая пола, въ борьбѣ съ Анисимомъ, распоролась до самаго рукава, и вѣтеръ рвалъ ее и трепалъ, какъ флагъ. Анисимъ, продолжая держать правую руку въ горизонтальномъ положеніи, лѣвой добылъ изъ кармана трубку. Устроивъ трубку во рту, онъ опустилъ и другую руку и, орудуя уже обѣими, сталъ застегивать Мотькину куртку. Мотька безучастно смотрѣлъ на дѣйствія дворника и вертѣлъ головой то вправо, то влево. Онъ точно не сознавалъ того, что случилось, и точно искалъ чего-то...

— Скажешь мамкѣ, — бормоталъ Анисимъ, подергивая оторванную полу,— мамка запшеть...

И вдругъ Мотька задрогнулъ, какъ-то странно ахнуль, и слезы обильно полились по его озабытымъ щекамъ.

А Егорушка, между тѣмъ, схватилъ за обѣ руки Митрича, подпрыгивалъ, семенилъ ногами и, взволнованно заглядывая пріятелю въ лицо, таинственно и внушительно шепталъ:

— Не обижай, не обижай, Митричъ, мальчионку!.. Что будешь дѣлать?.. Жиденокъ онъ, жидъ... а нельзя... нельзя обижать...

Онъ хлопалъ себя руками по бедрамъ, вздрагивалъ плечиками и удивленно озирался.

— Вишь, дѣла какія, а?.. Вѣдь лиходѣи вы, а? Ей-право, лиходѣи, ей-право... А обижать нельзя... не надо...

Митричъ молчалъ.

Отвернувшись отъ того мѣста, гдѣ находились Анисимъ и Мотька, онъ сурово смотрѣлъ себѣ подъ ноги и дышалъ часто и тяжело. Онъ стоялъ неподвижно, какъ и его воткнутый между двумя льдинами ломъ, и лицо его было жалто, а глаза тусклы и прищурены. Что происходило въ этомъ человѣкѣ? Все ли еще сковывало его огромное изумленіе? Или его душило оскорблѣнное самолюбіе? Или зашевелилась въ немъ совѣсть — онъ созналъ свою вину, и ему было стыдно этого горестно трепетавшаго надъ мерзлой равниной, безпомощнаго дѣтскаго плача?..

Митричъ молчалъ. Ротъ его перекосился, желтые усы и борода тихо вздрагивали.

И то, что преобладало въ этой темной, огрубѣлой душѣ, вылилось, наконецъ, въ хрипломъ, полномъ желѣзной увѣренности возгласѣ:

— Постой, Иуда! Я еще съ тобою расправлюсь... Не я буду—не утоплю!..

IV.

Минутъ черезъ десять все надъ рѣкой затаихло и примолкло, и всѣ четверо опять взялись за работу. Работали хмуро, нехотя, не думая о дѣлѣ. Мысли были о другомъ,—о томъ, что только что произошло, о томъ, чѣмъ случившееся должно завершиться, и настроеніе у всѣхъ было темное, тревожное, выжидавшее.

Больной и тусклый день, между тѣмъ, кончался. Холодные, грязно-свинцовы тона сгущались, заполняли унылую глубину и какъ бы надвигали ее на берега. И глубина эта не была плотной и непроницаемой, какъ въ позднія сумерки, а дрожала полупрозрачная и легкая, и напряженный глазъ могъ еще различать въ ней какія-то неясныя очертанія. Несколько и смутность, вмѣстѣ съ царившимъ вокругъ нѣмыми безмолвіемъ, заключали въ себѣ что-то жуткое, что-то беспокойное и злое, и томило неотступное желаніе, чтобы поскорѣе уже спустилась ночная чернота и похоронила всѣ эти вѣроломныя и мрачныя тѣни.

Митричъ стоялъ спиной къ Мотькѣ, тупо глядя на собственный ломъ, и размышлялъ. Онъ далъ торжественное обѣщаніе, взялъ на себя обязательство, а легкое ли дѣло его выполнить? Тоже вѣдь и за жиленка, будь онъ трижды проклятъ, отвѣтъ давать надо...

Митричъ злобно плюнулъ.

— А и конфуза отъ парха принять нельзя тоже, — продолжалъ онъ свои размышленія. — „Кровоїца... я тебя убью...“ ахъ, идолъ!.. Ну, что ты ему скажешь!.. Кабы гдѣ мелкое мѣсто, можно бы его, черта, столкнуть. Пусть свое жидовское пузо пополошетъ... Да вотъ нѣту такого, вездѣ примерзло... А въ полынью бухнуть—глубоко очень, потонеть. Что тогда будешь дѣлать?..

— Ты Ягоръ, ты Ягоръ, ты Ягорушка, — вполголоса началъ было Егорушка. Но Аникимъ, вынувъ изо рта трубку, молча подержалъ ее въ рукѣ и снова вложилъ межъ зубами. И Егорушка мгновенно прервалъ свое пѣніе, тяжко завздыхалъ и стала оттаскивать въ сторону льдину...

А у Мотьки къ этому времени все его возбужденіе прошло. Не было и тѣни безстрашія въ душѣ, не было и смеки на отвагу. Онъ чувствовалъ себя въ опасности, чувствовалъ себя пришибленнымъ, несчастнымъ, беспомощнымъ. Чѣо будетъ? Вѣдь этотъ ужасный человѣкъ не простить. Вѣдь благополучно дѣло не кончится. Если бы не было такой великой

нужды въ заработка, Мотька бросилъ бы работу и ушелъ. Но теперь какъ же ее бросить? Другой вѣдь не найдется. А тутъ работы на цѣлую недѣлю... И потомъ, вѣдь отъ этого разъяренного, жестокаго человѣка, все равно, не спрячешься: не здѣсь—въ другомъ мѣстѣ, а ужъ онъ отомстить!

Длинный прямоугольникъ, освобожденный отъ ледяной коры, чернѣлъ, какъ огромная могила, и вода въ немъ, встревоженная вѣтромъ, подкатывалась къ самымъ ногамъ Мотьки съ глухимъ, угрожающимъ рокотомъ... И Мотька страшно было смотрѣть на эту живую, грозную черноту, а еще страшнѣе было оглянуться назадъ, гдѣ стоялъ Митричъ. Ему все чудилось, что ужасный человѣкъ этотъ крадется къ нему... Вотъ онъ подошелъ... совсѣмъ близко... Слышно шлепанье его ногъ, слышно звяканье обѣ ледѣ лома... Онъ злобно и сипло рычѣть, бѣть Мотьку ломомъ прямо по головѣ, и сталкивается въ воду, и тошнить его...

Что будетъ? Что будетъ? Какъ оставаться въ сосѣдствѣ съ этимъ лютымъ человѣкомъ? О, если бы съ нимъ что-нибудь случилось! Если бы онъ вдругъ заболѣлъ... умеръ... Что-жъ, вѣдь бываетъ иногда, что человѣкъ умираетъ вдругъ, сразу... Или если бы его убило... Вотъ, когда нагружали подводу, большая льдина сползла съ самаго верха и ушибла Анисиму ногу. Если бы льдина упала не на Анисима, а на Митрича, и упала бы не на ногу, а на голову, смерть была бы вѣрная... О, если бы его убило...

Мотька въ этотъ день не ъѣлъ съ утра; отъ непривычной и непосильной работы ломило ему всѣ кости; холодъ сковывалъ члены. И страданія физическія, соединяясь съ мукою душевной, доводили его до полубезсознательного состоянія; въ темномъ, коченѣвшемъ мозгу мысль тускнѣла и замирала, и только временами вспыхивала все одна и та же неизѣмѣнная мольба: „о, если бы его убило!..“

V.

Ночь приближалась. Пустынная даль исчезала въ тяжеломъ сумракѣ, и уже трудно было отличить, гдѣ кончается ледъ рѣки и начинается берегъ, а черная землянка огородника почти совсѣмъ слилась съ темнымъ фономъ покатыхъ баштановъ. Далеко-далеко, у длинныхъ и уже незамѣтныхъ мостковъ, гдѣ зимовалъ потерпѣвшій осенью крушеніе пароходикъ, зажегся фонарь, и отъ этой желтой лучистой точки здѣсь на льду, гдѣ работали изаябшіе, голодные, усталые люди, все вдругъ сдѣлалось еще болѣе тоскливымъ, еще болѣе недружелюбнымъ и несчастнымъ.

— Ребятушки, милые, пора кончать! — закричал Егорушка.—Ай не пора? Пора! Ей-право, пора! Тащи струментъ къ огороднику, волоки!..

Ты Ягорь, ты Ягорь, ты Ягорушка,
Золотая, золотая ты головушка!—

запѣль онъ, вскидывая на плечо ломъ.

— Пойдемъ, братцы, къ огороднику, выпьемъ по косушкѣ, по косушечкѣ, по подружечкѣ... Пойдемъ, лиходѣи, пойдемъ... Эхъ, дѣла! Назябся я, страхъ какъ, вѣдь какъ назябся я, ей-право!..

Мотька стоялъ въ сторонѣ, а вѣтеръ билъ его и рвалъ, и снѣгъ, который началъ идти, садился къ нему на голову и на сгорбленную спину.

Слова Егорушки до него не долетѣли, и онъ не зналъ, что можно уже кончать, что надо отнести инструментъ къ огороднику. Онъ стоялъ, не двигаясь, глядя впередъ и ни о чёмъ не думая, вѣдь какомъ-то забытьи...

Очнулся онъ только тогда, когда впереди, шагахъ въ пятидесяти, показалась вдругъ широкая, плотная фигура Митрича.

Желтобородый человѣкъ шелъ прямо на Мотьку, шель спокойно, не торопясь, заложивъ одну руку за синій платокъ, а въ другой держа на перевѣсъ тяжелый, длинный ломъ...

— Ой!.. Это онъ ко мнѣ... убивать... топить...—огиennыми языками промчалось въ мозгу Мотьки. И быстро пролетѣла у него мысль о матери, о дѣтяхъ.

— Люди!.. Анисимъ!.. Егорушка!..

Но вопля его никто не слыхалъ... Ибо вопля никакого и не было: окоченѣвшія уста Мотьки были плотно сомкнуты, а кричало одно только охваченное ужасомъ сердце...

Анисимъ сѣ Егорушкой, ничего не подозрѣвая, неторопливо шли по берегу, подымаясь къ землянкѣ огородника. И къ той же землянкѣ направлялся Митричъ, но вмѣсто того, чтобы огибать узкую, длинную, примыкавшую къ черной проруби полосу недавно образовавшагося тонкаго и непрочнаго льда, онъ, для сокращенія пути, шелъ прямо че-резъ эту полосу... И стоявшему у темной и глубокой проруби на смерть испуганному, оцѣпенѣвшему Мотькѣ показалось, что врагъ его идетъ къ нему...

Мотька весь скрючился, согнулся, лѣвой рукой стянуль на груди куртку, правую поднялъ вверхъ, какъ бы для защиты.

Прошло мгновеніе, другое...

И вдругъ случилось нечто странное, что-то такое, чего Мотька не сумѣлъ сразу понять.

Того, кто на него шелъ, отъ котораго онъ ждалъ муки и смерти,—вдругъ не стало.

Раздался рѣзкій, сухой трескъ, затѣмъ — какое-то странное хлюпанье... и хриплый крикъ, и стонъ, и опять хлюпанье...

И цѣлая вереница необычайныхъ, непонятныхъ и страшныхъ звуковъ забилась и затрепетала надъ безмолвной равниной: взлетали вверхъ фонтаны брызгъ и мелкихъ кусковъ льда, и межъ ними странно и быстро ворочалось что-то широкое, черное...

Поднятая кверху рука Мотьки упала, застывшее лицо дрогнуло.

— Провалился!.. Тонетъ!..

Точно кто-то ударилъ его сзади, по темени и по затылку.

— Тонетъ!.. Спасите!..

И вдругъ Мотька рванулся и побѣжалъ.

Окоченѣлыми, нерагибающимися ногами мчался онъ впередъ, противъ вѣтра, скользя и шатаясь... Вотъ уже несется онъ по длинной полосѣ темнаго, неокрѣпшаго, всего два дня назадъ образовавшагося льда. Ледъ этотъ трещалъ и гнулся, какъ тонкая пароходная сходня, и вода подъ нимъ хлюпала и билась, и мѣстами, сквозь трещины, пропступала на верхъ и тихо разливалась широкими, темными пятнами...

— Держись, держись!—какимъ-то страннымъ, не своимъ, а совершенно новымъ, смѣлымъ, звонкимъ голосомъ кричалъ Мотька, напряженно глядя впередъ, на то мѣсто, гдѣ барахтался Митричъ.—Я помогу!.. Держись!..

Но тонкая ледяная скатерть вдругъ злобно заскрежетала подъ нимъ, и лѣвая нога его провалилась. Онъ сильно дернулся ногой. Сапогъ, задержанный льдомъ, остался въ водѣ, и Мотька, босой, помчался дальше.

А впереди фонтаны брызгъ уже не вадымались, и не лѣтели больше кверху обломки льда. Мелькалъ только среди черной воды и сѣрыхъ льдинъ широкій синій поясъ утопавшаго, и чуть свѣтлѣла его крупная, обросшая желтыми волосами голова. Слышно было тяжелое плесканіе, и, не сливаясь съ нимъ, со страшной отчетливостью бился прерывистый, молящій стонъ:—Православные... голубчики... спасите...

— Держись, не бойся! — кричалъ Мотька, подбѣгая къ самому краю льда.—На!.. Хватай... держись крѣпко!..

Онъ быстро сорвалъ съ себя куртку, ухватилъ ее за рукавъ и, взмахнувъ высоко надъ головой, прыгнулъ на воду, къ Митричу.

— Хватайся за куртку... я поташу...

Митричъ какъ-то странно закружился и вытянулся. До куртки, мутнымъ, блесковатымъ пятномъ распластавшейся на черной водѣ, оставалось аршина два разстоянія... Ми-

тричъ забарахтался, стараясь подплыть, но силы покидали его: падая, онъ острѣмъ лома поранилъ себѣ шею. Теперь кровь обильно лилась изъ раны, окрашивая воду темнѣмъ багрянцемъ.

— Родненькій... голубчикъ... — прошепталъ Митричъ, узная Мотьку: — прости, Христа ради!..

— Держись, хватайся!.. Ну, хватайся же!..

Мотька выдернулъ изъ воды куртку и опять плюхнулся на воду. Теперь она была отъ утопавшаго всего на аршинъ. Митричъ протянулъ къ ней руки, но водой ее относило въ сторону. Тогда Мотька сталь на колѣни, отвелъ лѣвую руку назадъ и, машинально ища пальцами, за что бы ухватиться, всѣмъ корпусомъ перегнулся къ Митричу и въ третій разъ бросилъ ему куртку. Отъ сильныхъ движений Мотьки ледъ подъ нимъ поддался и затрещалъ, и на него хлынула вода...

Мотька вскочилъ и сдѣлалъ шагъ назадъ. Но въ эту минуту желтое пятно на водѣ судорожно сверкнуло и погрузилось... И Мотька весь затрепеталъ. Онъ высоко поднялъ обѣ руки и съ размаху бросился въ воду.

Крѣпко и со злобной радостью охватила вода его тощее, хилое тѣло, съ силой ударила по худому лицу. Мотька отвѣтилъ ударами, — яростными, дикими. Онъ билъ воду руками, ногами, дробилъ плававшія по ней сѣрыя льдины и рѣзалъ ее своею узкою грудью. Онъ плавалъ теперь такъ же плохо и неумѣло, какъ и въ дѣствѣ, когда прибѣгалъ на эту же рѣчку купаться и когда „мѣсилъ булки“. Но физическая усталость дѣлала теперь его работу еще болѣе трудной... Онъ билъ воду руками, растрачивая безъ надобности незначительные остатки своихъ небольшихъ силъ, и дѣлалъ какіе-то сложные, удлинявшіе путь зигзаги. Вскорѣ онъ все же добрался до широкаго, черно-багроваго пятна, среди котораго тусклымъ, кругомъ свѣтлѣла вновь вынырнувшая голова Митрича.

— Не бойся!.. Не бойся!.. Не утонешь...

Мотька протянулъ впередъ лѣвую руку, схватился за синій платокъ, которымъ былъ опоясанъ Митричъ, и, дѣйствуя одной правой рукой и ногами, поплылъ. Багровое пятно около головы Митрича разорвалось и вытянулось въ узкую полосу.

— Доплыvемъ... Не бойся!..

Оба подвинулись шага на два. Но синій платокъ на Митричѣ вдругъ развязался, тихо скользнулъ, и Митричъ, отъ потери крови впавшій въ обморочное состояніе, сталь быстро погружаться. Мотька успѣлъ, однако же, схватить его за фуфайку, и отчаянное баражтанье началось снова...

Брызги подымались бѣлой тучей, падали на Мотьку, на

его лицо, ослепляли его, кололи, жгли. Снизу была въ лицо черная вода, и она вливалась въ ротъ, и Мотька захлебывался и давился. Намокшая одежда облекла тѣло, увеличивала его тяжесть и затрудняла движенія. Грунное тѣло Митрича, безмолвное и окаменѣвшее, тянуло назадъ, внизъ... Мотька цѣпко, тонкими пальцами держалъ полу его фуфайки и плылъ. Но плылъ онъ не въ одномъ какомъ-нибудь определенномъ направлени—къ краю проруби, къ сплошной массѣ крѣпкаго и прочнаго льда,—а кружился и барахтался, какъ попало, и почти не двигался съ мѣста. Силы его падали. Правое плечо стало ломить и жечь, какъ если бы его насквозь проткнули раскаленнымъ желѣзомъ. Мотька дѣйствовалъ теперь почти однѣми только ногами. Но и ноги ослабѣли, и ихъ стала сводить судорога. Онъ не могъ уже бороться, замеръ — и погрузился... Новый послѣдній запасъ силы пролился, однако, въ его мышцы — и онъ выплылъ, извлекая на поверхность и Митрича. Большая трехугольная льдина тихо качалась передъ его лицомъ. Онъ ухватился за ея край и навалился на нее грудью. Нѣсколько мгновеній льдина поддерживала его. Но потомъ стала медленно пригибаться и вдавливаться въ воду. Грудь Мотьки соскользнула, и льдина, освобожденная, отошла въ сторону, приняла опять горизонтальное положеніе и спокойно остановилась. Мотька потянулся къ ней, опять стала бить ногами, но въ лѣвомъ колѣнѣ пробѣжала вдругъ невыносимо-острая боль, — точно сразу выдернули изъ него всѣ кости — и нога осталась скрюченной. Глаза Мотьки уже ничего не различали, вода свободно входила къ нему въ ноздри и въ ротъ. Митричъ, какъ гранитная глыба, тянуль внизъ. И оба они опять погрузились...

Вверху по-прежнему грозно рокотала черно-багровая вода, а большая, сѣрая льдина безучастно дремала въ сторонѣ...

Д. Айзманъ.

„Задача жизни“ у Ибсена.

(Объ Ибсенѣ и о „хмурыхъ людяхъ“ Чехова).

„Жизненная задача“. — Эти два слова формулируютъ суть жизни для избраниковъ художественного творчества Ибсена.

Ярль Скуле („Претенденты на корону“), провозгласившій себя королемъ Норвегіи XIII столѣтія, предлагаетъ своему другу-сократнику Ятгейру отказаться отъ своего призванія скальда и жить только для него, короля Скуле, жизненной задачи: овладѣть Норвегіей, отнявъ ее изъ рукъ признанного уже народомъ законнаго короля Гакона: „Будь мнѣ сыномъ! Ты получишь отъ меня въ наслѣдіе корону Норвегіи, получишь всю страну, если согласишься быть мнѣ сыномъ, жить ради моей жизненной задачи и вѣрить въ меня“.

Скальдъ отвѣчаетъ отказомъ. Онъ говоритъ, что не можетъ пожертвовать своими „несложеными еще пѣснями“, которыхъ для скальда „всегда самыя сладкія“. — Скуле находить противорѣчіе между этимъ отказомъ и той готовностью „охотно пасть первымъ“ за мятежнаго короля, которую скальдъ только что обнаружилъ при извѣстіи объ опасности. Скальдъ отвѣчаетъ: „Человѣкъ можетъ пасть изъ-за жизненной задачи другого; но, если онъ остается живъ, онъ долженъ жить ради своей собственной“.

Смерть скальда въ первомъ же сраженіи разрѣшила по своему вопросу о „несложившихся пѣсняхъ“, но всетаки отказаться отъ нихъ, этихъ „самыхъ сладкихъ“ пѣсень, скальдъ Ибсена не хотѣлъ и не могъ... Жить можно только для своей собственной и при томъ свободно избранной „жизненной задачи“. Это—основной мотивъ въ творчествѣ Ибсена.

Для Шекспира „задача жизни“ составляла только частную тему, разработанную въ „Гамлете“. Для Ибсена это — универсальная тема. Изъ „задачи жизни“ онъ сдѣлалъ солнце, вокругъ котораго, какъ центра психологического притяженія, вращается человѣческая жизнь... Только безъ астрономическаго равновѣсія. Его замѣняетъ очень часто тяжелая борьба съ другими властными вѣяніями человѣческой души. Должны быть удовлетворены и

совѣсть, которая перестала быть „коренастою“, какъ у древнихъ викинговъ, которые грабили, жгли, убивали, а затѣмъ „веселились какъ дѣти“; и чувство справедливости, которое у современ-наго культурнаго человѣка можетъ превращаться порой въ „из-нурительную лихорадку справедливости“, и чувство невольной отвѣтственности за грѣхи предковъ; и, наконецъ, должны быть удовлетворены тѣ темные факторы, которые заложены въ человѣкѣ самой природой и фатально сказываются въ его наслѣдственной организаціи, физической и духовной.. Ибсеновское солице жизни—центръ притяженія, но не центръ равновѣсія. Зачастую около него, для героевъ Ибсена, концентрируются тяжкія муки неустранимаго душевнаго разлада съ самимъ собой.— И всетаки они ищутъ своей „задачи жизни“, и, когда она на лицо, находятъ возможнымъ жить.

Иногда они идутъ къ своей задачѣ съ веселой, молодой бодростью, напѣвая, подобно Фальку („Союзъ молодежи“):

Пусть мой чеинъ
Станеть добычей бушующихъ волнъ..
Не дрогну я, любо мнѣ мчаться!

Иногда они вправѣ сказать, подобно немецкому поэту:

Назвавши тягчайшія скорби,
Тебѣ назовутъ и мою...

потому что задача жизни, ради которой они живутъ, подобно Бранду, требуетъ отъ нихъ тяжелыхъ и мучительныхъ жертвъ. Иногда найденная задача жизни осуждаетъ ихъ на непрестанную борьбу съ своей собственной совѣстью, потому что ихъ „задача“ требуетъ отъ нихъ, какъ отъ Сольнесса, жертвъ не своимъ только, а и чужимъ счастьемъ... Но всетаки они и при этихъ условіяхъ находятъ возможнымъ жить: лишь бы была для нихъ ясной ихъ „задача жизни“... Кризисъ для героевъ Ибсена начинается только тогда, когда оказывается, что ихъ задача жизни или психологической самообманъ, или непосильная тяжелая ноша, или, наконецъ, по тѣмъ или инымъ причинамъ, невозможная и неосуществимая идея. Жизнь становится въ этомъ случаѣ ненужною, лишнею, и неудачники Ибсена быстро сводятъ съ нею окончательные расчеты.

При такихъ условіяхъ естественно, что для героевъ Ибсена ихъ „жизненная задача“ является своего рода абсолютомъ, не отчуждаемой и не подлежащей размѣну цѣнностью.

Но понятно и другое. Понятно, что для героевъ Ибсена — въ частности для героевъ современныхъ пьесъ Ибсена — „задача жизни“ слишкомъ нерѣдко осложняется элементомъ трагедіи.

II.

Въ судьбѣ Гакона, норвежскаго короля XIII столѣтія, о ко-
торомъ упоминалось выше, трагический элементъ совершен-
но отсутствуетъ: о немъ не можетъ быть и рѣчи.—Въ исторической
дали семи вѣковъ Ибсену посчастливилось найти правдоподоб-
ную сказку дѣйствительности—человѣка, который совершенно не
знаетъ, что значить чувствовать себя раздвоеннымъ и у котораго
наличность огромной задачи жизни, требующей тяжелыхъ жертвъ,
сказывается только въ исключительномъ подъемѣ душевныхъ
силъ.

Сущность драмы („Претенденты на корону“) такова.—Коро-
левская власть въ рукахъ Гакона, который, однако, владѣеть ею
по волѣ не всей Норвегіи. Власть оспариваются у него нѣсколько
претендентовъ, которые подвергаются сомнѣнію, между прочимъ,
королевское происхожденіе Гакона.

Гаконъ—король „будущей“ Норвегіи. Въ Норвегіи XIII сто-
лѣтія, только что спаянной изъ отдѣльныхъ, чуждыхъ и взаимно-
враждебныхъ государствъ, онъ долженъ создать единый *норвеж-
ской народъ*, сплотивъ въ одно цѣлое и „трондзевъ“, и ихъ искон-
ныхъ враговъ „викенцевъ“.

Гаконъ вѣрить въ себя и въ то, что за нимъ помощь Божья.
Поэтому, чтобы избавить Норвегію отъ страданій междоусобной
войны, онъ предоставляетъ вопросъ о коронѣ, которую носить,
рѣшенію „Божія суда“ и народнаго голосованія. И то и дру-
гое кончается въ его пользу. „Божій суд“—испытаніе раска-
леннымъ желѣзомъ, которому добровольно подвергается вдова
предпослѣдняго короля и мать Гакона,—устанавливается, въ гла-
захъ народа, королевское происхожденіе Гакона, и народное со-
браніе вновь признаетъ его королемъ единой Норвегіи.—Счастье
продолжаетъ благопріятствовать Гакону, и всѣ его соперники
одинъ за другимъ гибнутъ и исчезаютъ, кроме одного самаго
сильнаго—ярла Скуле, бывшаго опекуна Гакона... Скуле храбръ и
даровитъ, властолюбивъ, но честенъ. Скрѣпя сердце, онъ при-
зналъ бы, быть можетъ, власть Гакона, если бы у послѣдняго не
было еще одного затаеннаго и умнаго врага. Это—епископъ
Николай. Судьба сыграла съ нимъ злую шутку: вложила въ
него жажду власти, дала способности государственного человѣка
и правителя, но не дала способностей солдата. Всѣ сраженія, въ
которыхъ онъ принялъ участіе, не оставляли мѣста сомнѣнію,
что Николай Арнессонъ (имя епископа)—не воинъ, что онъ—
„трусъ“. Но—не солдатъ, значитъ—и не король, какъ это ни
нелѣбо кажется „трусу“, чувствующему себя созданннымъ для
роли короля—гражданскаго правителя. Въ результатѣ онъ пре-

вращается въ епископа, который бессильно грезить до самой смерти о коронѣ и ненавидитъ Гакона, какъ человѣка, которому дарована физическая возможность сдѣлать то, что подсказываетъ внутренній голосъ и призваніе. Но именно поэтому Гаконъ не долженъ имѣть конечнаго успѣха, поскольку это во власти епископа.—Съ этой цѣлью послѣдній внушаетъ Скуле, что судь Божій ничего не доказалъ въ вопросѣ о происхожденіи Гакона, кромѣ факта добросовѣстнаго убѣжденія со стороны его родной матери, которая могла не подозрѣвать подмѣны ея ребенка, а между тѣмъ эту подмѣну возможенъ и вѣроятенъ по условіямъ первыхъ лѣтъ жизни Гакона. Это епископъ доказываетъ Скуле за нѣсколько минутъ до своей смерти... Возможенъ, но не несомнѣнъ. Честолюбивый, но честный Скуле не можетъ ни отказаться отъ короны, составляющей его „задачу жизни“, ни рѣшиться взять ее силой *по праву...* Наконецъ, рѣшается, но отсутствіе твердой вѣры въ себѣ и въ свое право приводитъ къ пораженію: онъ никогда не можетъ „сжечь всѣ мости кромѣ, одного“, какъ это дѣлаетъ уравновѣшенный Гаконъ,—не можетъ, въ силу этого, воспользоваться самой благопріятной комбинаціей, когда обстоятельства дѣлаютъ удачу возможной... Душевный разладъ норвежскаго Гамлета—полководца разрѣшается смертью... Не найдя въ себѣ силы жить ради своей „задачи“, измученный Скуле рѣшаеть умереть ради торжества объединительной идеи Гакона, которую онъ самъ признаетъ „истинно-королевскою“. „Нельзя жить, повторяетъ онъ слова своего друга-скальда, ради жизненной задачи другого, но можно за нее пастъ“.

Драма изобилуетъ художественными подробностями. Фигуры „пасынковъ Божихъ“—Скуле (такъ называетъ его Гаконъ) и епископа—превосходно оттѣняютъ „счастливѣшаго человѣка“—короля Гакона, которому судьба и природа дали все то, что раздѣлили у пасынковъ. Онъ живѣть въ неизмѣнномъ сіяніи своей истинно-королевской идеи. Онъ нашелъ въ ней одновременно и жизненный стимулъ, и верховный критерій поведенія. Вопросъ о жертвахъ, разъ рѣчъ идетъ объ его „задачѣ“, не содержитъ въ себѣ никакихъ мучительныхъ привнесеній ни для Гакона, ни для окружающихъ; даже для тѣхъ, счастьемъ которыхъ ему приходится жертвовать, его поведеніе просто и понятно. Онъ удаляетъ правителемъ на далекую окраину своего ближайшаго друга, отсылаетъ въ почетное изгнаніе свою родную мать, только что выдержанную „испытаніе желѣзомъ“ для подтвержденія его правъ на корону... Потому что, говорить онъ, около короля (такого, какъ онъ) не должно быть никого, кто слишкомъ ему дорогъ.—Даже та, которую онъ взялъ въ королевы Норвегіи, для него только мудрая совѣтница и дочь побѣженного соперника, которую нужно было взять въ жены. Что она любить его, что въ ея глазахъ неудачи отца—не неудачи отца, а торжество ея мужа,—

все это онъ видить, но ничего не замѣчаетъ: все это слишкомъ далеко отъ него и скользить по душѣ, не оставляя прочного слѣда.

По началу пьесы Гаконъ, въ изображеніи Ибсена, настолько жестокъ и прямолинеенъ въ своихъ дѣйствіяхъ, что читатель не можетъ освободиться отъ впечатлѣнія, что дѣло здѣсь не только въ сияющей задачѣ, а и въ изрядной черствости души... Только когда читатель убѣждается, при дальнѣйшемъ ходѣ событий, что Гакону жаль своего могучаго и опаснаго соперника, что ему тяжело осудить его на смерть и онъ колеблется это сдѣлать, пока тотъ самъ не кладетъ конецъ колебаніямъ, отдавши свирѣпое приказаніе убить сына Гакона—младенца: „убить гдѣ бы онъ ни встрѣтился — убить на тронѣ, убить передъ алтаремъ, убить на груди у матери“, только тогда, когда читатель вѣдѣтъ съ Гакономъ переживаетъ его радость, что осужденный на смерть Скуле всетаки имѣть возможность спастись — эту возможность оставляетъ самъ Гаконъ — образъ Гакона становится человѣчески—привлекательнымъ, и читателю дѣлается яснымъ, что не душевная черствость создаетъ видимую прямолинейность Гакона, а только исключительный характеръ и исключительные размѣры его „жизненной задачи“. Онъ прямолинеенъ потому, что убѣденъ, что онъ „избранникъ Божій“; прямолинеенъ потому, что не знаетъ коллизіи между внутреннимъ призваніемъ и голосомъ совѣсти... Все, что могли ему дать природа и счастье, онъ получилъ. И все, что получилъ, все сосредоточилъ на одномъ помыслѣ... И совѣсть спокойна даже тогда, когда онъ переступаетъ, „во имя Божіе“ — на порогъ церкви — черезъ трупъ Скуле, соперника, жаждавшаго власти не ради Норвегіи, а для самого себя — хотя и по праву.

Какъ видѣть читатель, Ибсену понадобились полу-сказочные условія, чтобы помирить душевное равновѣсіе и преслѣдованіе на проломъ поставленной себѣ „задачи жизни“. Понадобились жизненные условія Норвегіи XIII-го столѣтія. Но и при этихъ условіяхъ художественная задача Ибсена оказалась, какъ мы видѣли, достаточно трудной и сложной. Чтобы сдѣлать своего однодумца-короля психологически возможнымъ и понятнымъ для читателя, Ибсенъ долженъ былъ прибѣгнуть, такъ сказать, къ отрицательной манерѣ письма. Онъ выдвинулъ на первый планъ Скуле и епископа и сравнительно на второмъ планѣ оставилъ центральное по смыслу пьесы лицо — Гакона. Съ особой силой и рѣзкостью подчеркивая душевную драму у „насынковъ Божихъ“, Ибсенъ заставляетъ читателя руководиться чувствомъ контраста и угадывать то душевное равновѣсіе и покой, которые составляютъ силу и счастье Гакона. Для вѣдь ясно, что Гаконъ не можетъ быть — по отсутствію причинъ — ни измученнымъ Скуле, ни озлобленнымъ епископомъ. Его портретный контуръ — образъ Гакона

не больше, какъ контуръ — становится для васъ заполненнымъ, значительнымъ и правдивымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ для васъ ощущительно ясно, какъ, въ сущности, онъ мало возможенъ (не „мало вѣроятнъ“) и отъ какой путаницы условій зависитъ то, что называется спокойнымъ человѣческимъ счастьемъ, даже и при наличности „истинно-королевской идеи“.

Аналогичный образъ увѣренного обладателя жизненной задачи Ибсенъ создалъ и при современныхъ условіяхъ. Это — Джонъ Габріэль Боркманъ, бывшій директоръ банка, разорившій вкладчиковъ незаконнымъ расходованіемъ средствъ банка, ради торжества своихъ идей „освободить миллионы“ изъ нѣдѣръ рудниковъ и „благодѣтельствовать десятки, сотни тысячъ людей“. Судебный приговоръ, осудившій его на пять лѣтъ тюремы, не измѣнилъ его глубокаго уѣждѣнія, что онъ имѣлъ право такъ поступить, какъ поступилъ, слушаясь своего „непобѣдимаго призванія“, и онъ все ждетъ, что къ нему вернутся, станутъ „ползать“ передъ нимъ и „умолять“ взять снова банкъ въ свои руки..

Въ изображеніи Ибсена получился, однако, *виновный* банковскій дѣлецъ, а не привлекательный Гаконъ въ обстановкѣ XIX столѣтія.—Оно и понятно: чтобы шестое напроломъ въ пре-слѣдованіи своего „непобѣдимаго призванія“ не имѣло отталкивающаго характера, нужна „истинно-королевская“ идея,—нужно, чтобы „задача жизни“, подобно задачѣ норвежскаго короля XIII столѣтія, имѣла исключительно высокую моральную цѣнность, ясную для непосредственнаго чувства читателя. Иначе читатель будетъ реагировать на причиненіе страданій другому только какъ на неоправдываемый моральный чувствомъ проступокъ.

Съ своимъ Гакономъ Ибсенъ могъ обратиться къ *непосредственному* чувству читателя. Освободить родную страну отъ братоубийственныхъ междуусобицъ и создать изъ нея одно общее отечество для вчерашнихъ враговъ—идей, внутренняя цѣнность которыхъ ясна и бесспорна для всякаго, и читатель отвѣчаетъ на художественный образъ опредѣленной, исторически сложившейся эмоціей положительного характера... Не то съ Боркманомъ. „Освободить миллионы“, спрятанные въ земль въ видѣ рудъ; на освобожденіе миллионы построить фабрики, которые будутъ работать „и днемъ, и ночью“; захватить въ свою власть „всѣ копи, водопады, каменоломни, дороги и пароходныя линіи по всему миру“... Все это очень красиво и интересно, какъ технический замыселъ (конечно, фантастический), но все это не бесспорная „истинно-гражданская“ идея; не та всеобъемлющая идея, которая способна захватить читателя, безъ теоретическихъ разъясненій и умственныхъ усилий; не та ясная, бесспорная и чарующая идея, ради которой простительны всякия жертвы. И потому читатель

не въ состояніи отозваться на грезы Боркмана относительно работающихъ днемъ и ночью фабрикъ сочувственной эмоціей радостнаго характера, которая могла бы покрыть собою естественную отрицательную реакцію на тѣ жертвы чужими благополучіемъ, которыхъ разрѣшаетъ себѣ, безъ всякихъ колебаній, Боркманъ... Вѣрно, скорѣе, обратное: непосредственное чувство все, что отзы-вается такъ называемымъ „дѣломъ“, окрашивается, по традиціи, въ невыгодную для „дѣльца“ сторону прежде даже, чѣмъ выясняются соціальные качества красиво задуманного „предпріятія“... Вотъ почему, повинуясь своему непосредственному чувству (а къ нему только и можетъ обращаться художникъ), читатель *не можетъ* разрѣшить Боркману требовать отъ другихъ жертвы, подобно тому, какъ онъ способенъ это сдѣлать относительно Гакона, и для него (читателя) Боркманъ остается только банко-вымъ дѣльцомъ, виновнымъ въ нарушеніи довѣрія вкладчиковъ, а отнюдь не героемъ своей жизненной задачи, переживающимъ тра-гическую коллизію между нею и объективными условіями жизни.

III.

Для героевъ современныхъ пьесъ Ибсена жизненная задача, какъ было замѣчено, очень нерѣдко связана съ тяжелой внутрен-ней драмой. Это, однако, не измѣняетъ отношенія къ ней ни Ибсена, ни его героевъ. „Красота и счастье находятся гдѣ-то въї жизни“, говоритъ въ одномъ мѣстѣ Чеховъ. Ибсенъ корен-нымъ образомъ расходится въ этомъ отношеніи съ нашимъ пи-сателемъ. Правда, счастье—хрупкая и рѣдкая вещь: съ этимъ и онъ вполнѣ согласенъ. Но красота — красота не изгнана изъ жизни; она возможна даже въ мелочахъ жизни. Вмѣстѣ съ энер-гіей жить она создается наличностью „жизненной задачи“, хотя бы по размѣрамъ эта задача была очень далекой отъ „истинно-королевской“... Но создается вмѣстѣ съ тѣмъ—зачастую—и вну-тренняя драма. У современныхъ героевъ Ибсена не только нѣть однодумности и внутренняго равновѣсія короля Гакона, но, оче-видно, и не можетъ быть. Слишкомъ сложна стала жизнь, а совѣсть, которая еще у Гакона была достаточно „коренастую“, стала „слишкомъ мягкою“. Современному культурному — въ на-стоящемъ смыслѣ этого слова — человѣку нужно удовлетворить слишкомъ многими требованиями, выдвинутыми эволюціей чело-вѣческаго духа. Вѣдь очень часто удовлетворить *своей* жизненной задачѣ—значить растоптать, какъ это дѣлаетъ „во имя Божіе“ Гаконъ, жизненную задачу другого, такую же законную, такую же субъективно цѣнную, какъ моя. Въ этомъ отношеніи все преиму-щество на сторонѣ древнихъ викинговъ: они, какъ простую воду, пили медъ и крѣпкое вино, но и какъ простую воду —

или человеческую кровь. Эти представители пережитого прошлого могли съ легкимъ сердцемъ идти напроломъ, относясь къ окровавленнымъ трупамъ и враговъ, и друзей, какъ къ простой законной подробности жизни.

Но время „коренастой“ совѣсти прошло, и жизнь пошла по другому руслу.

Вся история сложилась въ сторону развитія морального чувства, повышенія цѣнности жизни и счастья одного въ глазахъ другого и, следовательно, въ сторону „мягкой“ совѣсти.

Современному герою Ибсена нужно удовлетворить не только голосу призыва и голосу чести, какъ старымъ викингамъ, но и большинству чувству отвѣтственности за себя (Сольнессы), за своихъ предковъ (Росмеръ) и даже за особо благопріятныя условія, въ которыхъ проходитъ его личная жизнь (Фельдбо въ „Союзѣ молодежи“).

Каково отношение къ этому процессу смягченія „коренастой“ совѣсти со стороны самого Ибсена? Для многихъ онъ пѣвецъ „коренастой“ совѣсти и обличитель „мягкой“: онъ не прочь былъ бы видѣть возрожденіе первой и исчезновеніе—ради счастья личности—второй... Это несомнѣнное недоразумѣніе. Въ пьесахъ Ибсена есть обладатели такой здоровой совѣсти, есть жаждущіе такой здоровой совѣсти, но въ конечномъ результатѣ вопросъ о ней разрѣшается далеко не такъ просто—въ смыслѣ устройства совмѣстнаго существованія на началахъ звѣриныхъ.

Въ этомъ отношеніи представляетъ особый интересъ „Росмергольмъ“. Напомнимъ содержаніе этой драмы.

Росмеръ — потомокъ стариннаго рода; бывшій пасторъ. Его предки—все „корректные и честные люди“—представители такъ называемыхъ патріархальныхъ возврѣній, считали нужнымъ держать окружающее населеніе въ подчиненіи и моральной приниженнности. Подъ вліяніемъ перемѣнившагося міросозерданія, Росмеръ дѣлаетъ себѣ задачу жизни изъ искупленія исторической вины своихъ предковъ. Всѣмъ своимъ вліяніемъ — и личнымъ, и какъ потомка Росмеровъ—онъ долженъ воспользоваться для духовнаго освобожденія приниженныхъ его предками людей. Въ его мечтахъ они живутъ уже „радостными аристократами духа“ въ противоположность мрачнымъ аристократамъ духа его предкамъ. Этотъ переворотъ въ душѣ консерватора-пастора совершился подъ вліяніемъ одаренной дѣвушки Ревекки Вестъ. Духовная эманципація населенія—это собственно ея мысль. Она задумала провести ее въ жизнь руками Росмера (это одна изъ обычныхъ формъ, въ которыхъ отливается „задача жизни“ у женщинъ Ибсена) и нашла возможность укрѣпиться въ его домѣ, его семье (Росмеръ женатъ)... Скоро отношенія осложняются страстнымъ чувствомъ Ревекки къ Росмеру. Жена Росмера — хороший, но консервативный по складу ума человѣкъ — стоитъ, очевидно, на

дорогѣ Ревекки: Ревекки-борца и еще больше Ревекки-женщины.

Въ результатѣ Ревекка, которая сознательно культивируетъ въ себѣ то, что называется „безстрашною волей“, рѣшаѣтъ сдѣлать „выборъ между двумя жизнями“ (Росмера и его жены) и доводить жену Росмера до сознанія, что для мужа она тажелая помѣха. Какъ преданный и любящій человѣкъ, та находить выходъ въ самоубийствѣ.

Дорога къ счастью личному и къ выполненію двойной „задачи психії“ открывается, но вмѣстѣ съ тѣмъ и закрывается. Росмеръ узнаетъ разными путями, что его жена покончила съ собой не въ припадкѣ безумія, какъ онъ полагалъ, а сознательно жертвуя собой; узнаетъ и тѣмъ самымъ теряетъ и вѣру въ свою способность „перерождать“ людей, и состояніе „безвинности“, въ которомъ онъ находилъ до сихъ поръ необходимую ему бодрость духа... Но это отнюдь не вызываетъ бурного протеста со стороны виновницы всего—Ревекки. Она сама уже не прежняя, не „безстрашная“. Подъ вліяніемъ совмѣстной жизни съ Росмеромъ, гипнозъ безстрашія утратилъ силу (вмѣстѣ съ чувствомъ бурной страсти). Она невольно поддалась очарованію утонченной душевной организаціи своего друга (онъ остался для нея только другомъ: это высшее, что цѣнитъ въ ихъ отношеніяхъ Росмеръ). Она признается въ своей винѣ относительно его покойной жены и признается, что она не въ силахъ была ваять счастье для нихъ обоихъ, которое она такъ „безстрашно“ завоевала, потому что у нея исчезла, по ея словамъ, „прежняя, безстрашная воля, которая хотѣла освободиться... у нея теперь нѣть больше силы — нѣть положительной силы“.

Росмеръ. Какъ объясняешь ты, что съ тобой произошло?

Ревекка. Мировоззрѣніе Росмеровъ или, вѣрнѣе, твое мировоззрѣніе—заразило мою волю.

Росмеръ. Заразило?

Ревекка. И сдѣлало ее больной. Поработило ее законамъ, которые прежде не имѣли для меня значенія. Ты и жизнь съ тобой облагородили мою душу.

Нравственный кризисъ, осложненный утратой вѣры въ свѣтлившую обоимъ задачу жизни, разрѣшился новымъ двойнымъ самоубийствомъ Ревекки и Росмера.

Такимъ образомъ „хилая“ совѣсть въ глазахъ Ревекки является результатомъ привнесенія въ человѣческую жизнь какого-то высшаго начала, которое „заражаетъ“ совѣсть, дѣлаетъ ее „больной“, но вмѣстѣ съ тѣмъ является чѣмъ-то безспорнымъ и облагораживающимъ душу. Перенесеніе морали старыхъ викинговъ въ современную жизнь невозможно не только по объективнымъ, но и по субъективнымъ причинамъ. Хилый совѣстю и обреченный на бездѣйствіе Росмеръ вамъ воетаки — повидимому, и

Ибсену — ближе, чѣмъ даже Гаконъ съ своей коренастой совѣстью и „истинно-королевской идеей“. Быть можетъ, виновать въ этомъ присущій современному человѣчеству культь человѣческаго страданія. Давно уже вся коллективная жизнь живетъ наслѣдствомъ страданія лучшихъ. Въ концѣ концовъ, это страданіе лучшихъ для разума стало не только прочнымъ залогомъ возможности общаго счастья, но и почти синонимомъ этого счастья. Получилось странное противорѣчіе въ душевномъ укладѣ, въ силу котораго современный человѣкъ, жаждущій покоя и счастья, мало понимаетъ спокойную красоту Венеры или, если угодно, понимаетъ ее съ какимъ-то мучительнымъ чувствомъ укора; но понимаетъ Мадонну, которая знаетъ, что Сынъ ея будеть распять на крестѣ... Этотъ культь страданія, какъ страданія, отмѣтилъ, кажется, Гейне. По его словамъ, умирающей собакѣ страданія придаютъ сходство съ человѣкомъ.

Но мы отклонились въ сторону. Какъ бы ни объяснять исчезновеніе коренастой совѣсти, фактъ тотъ, что ея у современныхъ людей нѣтъ; она замѣнилась до странности болѣе цѣнной — „хилою“ совѣстью. А эта „хилая“ совѣсть очень часто стонть на дорогѣ, когда человѣкъ пытается идти напроломъ къ своей жизненной задачѣ... *). И не только, когда онъ виновенъ — какъ Ревелька и до извѣстной степени Росмерь — въ юридическомъ смыслѣ этого слова, но и тогда, когда никакой вины по существу нѣтъ и человѣкъ только „безъ вины виноватъ“ въ своихъ собственныхъ глазахъ.

IV.

Едва ли не самымъ обездоленнымъ въ этомъ отношеніи является „Строитель Сольнессъ“. У него есть задача жизни, по своимъ размѣрамъ не уступающая задачѣ Гакона.

Символический „строитель“ въ области человѣческаго духа, онъ въ началѣ своей дѣятельности, по традиціи (онъ — бывшій крестьянинъ), строилъ въ качествѣ вышшаго, на что онъ способенъ, церкви и колокольни**). Но церкви и колокольни безсильны дать

*) Крупное значеніе вопросовъ о большой совѣсти и чести въ драмахъ Ибсена отмѣтилъ еще покойный Н. К. Михайловскій. Насъ интересуютъ эти элементы только въ отношеніи ихъ къ основной задачѣ — разъясненію вопроса о „жизненной задачѣ“ и ея роли.

**) Въ первый періодъ духовнаго строительства Сольнессъ опирается на базу религіозныхъ вѣрованій (постройка церквей и колоколеній); во второй — перестраиваетъ жизнь, внося въ нее благополучіе, но не выходя изъ сферы прямыхъ и конкретныхъ нуждъ людей (постройка уютныхъ домовъ и очаговъ); въ третій — перестраиваетъ повседневную жизнь, внося въ нее идеальный элементъ (постройка домовъ съ башнями); въ четвертый — превращаетъ идеальную въ самостоятельную цѣль жизни (воздушные замки на камен-

человѣку то, что ему больше всего нужно, — красоту человѣческаго счастья; они только прибѣжища для человѣческаго несчастія. „Строитель“ рѣшается измѣнить традиціонному строительству. Отнынѣ онъ будетъ строить только сѣвѣтлая, уютная жилища для людей, красивыя и веселыя гнѣзда „для дѣтворы, ихъ матерей и отцовъ“. Съ увѣреннымъ вызовомъ „строитель“ обращается къ Богу, которому служилъ „съ такимъ честнымъ и теплымъ чувствомъ“: — „Слушай, Всемогущій! Съ этихъ поръ и я хочу быть свободнымъ строителемъ. Въ своей области. Какъ Ты въ своей. Я никогда не буду больше строить церкви. Только жилища для людей“. И такъ же, какъ раньше, когда онъ строилъ церкви и колокольни, его строительная дѣятельность сопровождается успѣхомъ; дальше больше: его почти „преслѣдуется“ успѣхъ, какъ другихъ преслѣдуютъ несчастіе и горе... Но этотъ неизмѣнныи успѣхъ не приноситъ ни покоя, ни счастья. „Строитель“ вѣчно помнить о тѣхъ жертвахъ, которыхъ связаны — не для него, къ сожалѣнію — съ перемѣной въ его строительной дѣятельности. Въ однѣхъ жертвахъ онъ не повиненъ, какъ не повиненъ, по существу, въ болѣзни и бездѣтности своей жены. Память, однако, не перестаетъ связывать эти несчастія близкаго человѣка съ его первымъ успѣхомъ. Его женѣ такъ легко и привычно жилось въ старомъ домѣ отцовскихъ возврѣній. Домъ былъ снаружи похожъ на „большой мрачный и безобразный ящикъ“, но внутри было „очень хорошо и уютно“.

Сольнессу страстно хотѣлось, чтобы этотъ домъ сгорѣлъ и далъ ему случай построить первый настоящій домъ. И домъ дѣйствительно сгорѣлъ, сгорѣлъ по чистой случайности, — не въ силу его попустительства. На его мѣстѣ Сольнессъ выстроилъ то, что хотѣлъ, и на желанной постройкѣ создалъ себѣ славу лучшаго „строителя“. А для его жены послѣдствіемъ пожара была болѣзнь, смерть близнецовыхъ ея, которыхъ она сама кормила и потеря на всегда надежды быть матерью. Сгорѣло ея міросозерданіе; сгорѣли „кружева“ *) жизни, передававшіяся изъ поколѣнія въ поколѣніе, сгорѣли „куклы“ *) ея дѣтскихъ воспоминаній и традиціонныхъ вѣрованій. Алина (жена Сольнесса) признается, что,

номъ фундаментѣ). Вліяя на міоразумѣніе окружающихъ и жены, онъ со здаетъ въ ихъ душѣ „пожары“ и гибель всего, съ чѣмъ они сроднились, чѣмъ жили и были счастливы. Новое міоразумѣніе не даетъ (многимъ) того покоя и счастья, которое давали старыя религіозныя возврѣнія. — Вотъ общий смыслъ символовъ въ пьесѣ (Какъ извѣстно, Ибсенъ вложилъ въ пьесу много подробностей о себѣ, какъ писатѣль).

Само собой разумѣется, что драма Ибсена имѣеть характеръ общаго символа, и въ лицѣ Сольнесса мы вправѣ видѣть всякаго новатора, всякаго реформатора, „задача“ которого требуетъ жертвъ во имя идеала.

*) Мы уясняемъ символы. (Въ подлинникѣ — дѣйствительныя „кружева“ и „куклы“).

когда около нея не было мужа, она никогда не разставалась съ этими старыми „куклами“, и ихъ она оплакиваетъ такъ же неутѣшно, какъ своихъ двухъ малютокъ...

„Пожары“ очень часто предшествуютъ „строительству“ и, нужно думать, „строитель“ видѣлъ не одинъ такой, какой изуродовалъ жизнь его жены. Но тутъ послѣдствія пожара слишкомъ на глазахъ. Слишкомъ близкій человѣкъ (припомните выраженіе Гакона: „около короля не должно быть никого, кто слишкомъ ему дорогъ“) утратилъ навсегда то, чѣмъ живъ самъ Сольнессъ, и жена его за-живо стала „мертвою“, по его выраженію. Когда юная энтузиастка Гильда, во время бѣѣды внезапно спрашивается: „Теперь вы думаете о ней“ (объ Алинѣ)? Онъ отвѣчаетъ: „Да. Больше всего объ Алинѣ. Потому что у Алины... у нея тоже было свое жизненное призваніе. Совершенно такъ же, какъ у меня... Но ея призваніе должно было быть разбито, уничтожено, оттѣснено, для того, чтобы мое повело къ своего рода великой побѣдѣ“, и на недоумѣвающіе вопросы Гильды, „волнуясь и нѣжно“—по авторской ремаркѣ—разъясняетъ сущность „задачи жизни“, какъ она представлялась его женѣ: „Ростить дѣтскія души, Гильда! Воздвигать ихъ такъ, чтобы они могли рости въ уравновѣшенности и благородныхъ, прекрасныхъ формахъ. Чтобы изъ нихъ вышли прямая взрослая души. Вотъ къ чему у Алины было призваніе... и все это пропало безъ употребленія... навѣки... Точь въ точь какъ пещель послѣ пожара“.

Во всемъ этомъ онъ, конечно, не виноватъ, если пользоваться терминологіей юристовъ, но для себя самого онъ виноватъ—виноватъ уже потому, что *хотѣлъ* этого символического пожара.

Къ этому присоединяются (у Ибсена драма всегда сложная) еще и сомнѣнія, возникшія у Сольнесса относительно внутренней цѣнности его задачи жизни. — Гаконъ чувствовалъ себя избраникомъ божіимъ; Сольнессъ чувствуетъ себя бунтовщикомъ, вгавшимъ на себя всю отвѣтственность за успѣхъ. И вотъ люди, слѣдя его совѣтамъ, строятъ дома, но не хотятъ имѣть на этихъ домахъ ничего, что уходило бы въ высъ къ небу *), подобно старымъ колокольнямъ и церквамъ. Въ концѣ концовъ, оказывается, что, если не давали счастья эти старые прибѣжища людей, то не больше дали и его символические дома безъ башенъ. Онъ чувствуетъ, что все дѣло можно поправить надстройкой этихъ башенъ, но жизненная усталость сказывается и его надорванныхъ силъ уже недостаточно. Съ другой стороны, его „задача жизни“ обошлась ему слишкомъ дорого (по его выраженію), чтобы онъ могъ добровольно уступить ее другому, который оттѣснить стараго „строителя“, оставивъ въ его жизни только одну перенесенную муку. Онъ готовъ—на этотъ разъ уже сознательно—растоптать чужое

*) Символь идеального элемента въ повседневной жизни.

призваніе, лишь бы не пріобрѣсти въ лицѣ Рагнара (его помощника) возможнаго замѣстителя — талантливаго замѣстителя — въ „строительствѣ“. Противорѣчіе между поведеніемъ, основной идеей его строительства и его „задачей жизни“ *) онъ сознаетъ, конечно, когда говорить (по ремаркѣ Ибсена, „подавленнымъ голосомъ и съ внутреннимъ волненіемъ“):

„Слушайте внимательно, что я вамъ скажу, Гильда. Все, что миѣ дано создавать, строить, воздвигать, все прекрасное, уютное, свѣтлое... возвышенное (ломаетъ руки)... все это я долженъ искушать. Платить за это. Не деньгами, а человѣческимъ счастьемъ. И не только своимъ, но и чужимъ... И каждый Божій день я долженъ видѣть, какъ плата все заново вносится. Все вновь, все вновь... вѣчно вновь!“ Но практическое послѣдствіе этого—только усиленіе душевнаго разлада. Когда при немъ говорятъ объ его счастьѣ, онъ слушаетъ это „съ мрачной улыбкой“, по ремаркѣ Ибсена, и разъясняетъ это „счастье“ Гильдѣ: „...люди называютъ это счастьемъ! Но я вамъ скажу, какъ ощущается это счастье! Я ощущаю его, какъ болѣное място на груди, лишенной кожи. И вотъ являются помощники и слуги и снимаютъ куски кожи у другихъ людей, чтобы закрыть мою рану! Но раны этой не зажить. Никогда... никогда! О, если бы знали, какъ иногда это жжетъ и рѣжетъ!“

Устранить душевный разладъ, парализующій „строительство“ Сольнесса беретъ на себя Гильда.—Въ принципѣ она представитель „коренастой“ совѣсти, какъ и Ревекка. Если она и заставляетъ Сольнесса сдѣлать все, что хочетъ для себя Рагнаръ, то только потому, что поступить иначе недостойно ея строителя; потому что—въ принципѣ—она не хочетъ считаться ни съ чѣмъ горемъ, разъ дѣло идетъ о „строительѣ“ и его „задачѣ“. „У васъ слишкомъ мягкая совѣсть“, говоритъ она Сольнессу, „такъ сказать, нѣжная. Не выносить ударовъ, не можетъ ни поднять, ни нести ничего тяжелаго“. И на вопросъ Сольнесса: „Какою же должна быть совѣсть, если можно спросить?“ отвѣчаетъ: „У васъ мнѣ бы лучше всего хотѣлось, чтобы совѣсть была... ну... очень крѣпкая“.

Она настаиваетъ на томъ, чтобы Сольнессъ закончилъ все, что задумалъ 10 лѣтъ тому назадъ. Онъ долженъ побороть свои сомнѣнія, принижающія его силы, долженъ чувствовать себя, какъ встарь, долженъ подняться на „головокружительную высоту“, а затѣмъ онъ долженъ, вмѣстѣ съ нею, приняться за осуществленіе его идеи: за постройку единственнаго, въ чемъ можетъ жить человѣческое счастье—„воздушные замки“ человѣческихъ идеаловъ „на каменномъ фундаментѣ“ **) дѣйствительныхъ нуждъ, ни съ ейми и ни съ чѣмъ (въ своемъ прошломъ) не считаясь.

*) Неуловимый переходъ между тѣмъ, что называется „проступкомъ“ и тѣмъ, что составляеть „подвигъ“, вообще близкая для Ибсена тема,

**) Отныне идеаль не „пристройка“ къ жизни, а самостоятельная цѣль.

Попытку подняться на „головокружительную“ высоту требований юной девушки ободренный Сольнессъ дѣлаетъ: счастливо поднимается, вѣнчаетъ вѣнкомъ свой символический домъ съ высокой башней, „ходящей въ небо“, но силь удержаться у него не хватаетъ; онъ падаетъ и разбивается на смерть.

Н. К. Михайловскій называлъ Сольнесса „изъдѣннымъ совѣствомъ человѣкомъ“. Это совершенно точное опредѣленіе его душевнаго состоянія. И причина, какъ мы видимъ, въ томъ, что ему съ самого начала не свѣтить его „истинно-строительская“ идея—такъ же, какъ Гакону свѣтила его „истинно-королевская“, когда онъ посыпалъ свою мать въ почетное изгнаніе. Для Гакона его „истинно-королевская“ идея была одновременно и стимуломъ, и верховнымъ оправданіемъ. Не было никакой другой задачи, которая могла бы сравниться съ его задачей и всякая должна была уступить „во имя Божіе“. У Сольнесса такого объективнаго масштаба нѣтъ. Онъ умѣетъ цѣнить задачи только съ объективной точки зрѣнія. „У нея тоже было свое жизненное призваніе. Совершенно такъ же, какъ и у меня,“ говорить онъ о женѣ.—Между тѣмъ задача Сольнесса обладаетъ несомнѣнной объективной цѣнностью. Ею же живетъ Гильда и изъ морального содѣствія Сольнессу дѣлаетъ свою собственную „задачу жизни“.

Что касается Гильды, въ принципѣ — какъ мы видѣли — она готова ничѣмъ не стѣсняться: дебатируя вопросъ о крѣпкой и нѣжной совѣсти, она говорить Сольнессу: „...Да почему мнѣ и не быть хищной птицей! Почему и мнѣ не выходить на добычу? Захватить ту добычу, которая мнѣ нравится? Развѣ я могу запустить въ нее свои когти? И удержать ее?“ Но лишь только приходится столкнуться съ живымъ человѣческимъ горемъ, какъ дѣломъ ея рукъ, и она превращается въ „хилаго человѣка“, не чувствуя, напр., въ себѣ способности добить злополучную жену Сольнесса, отнявъ у нея Сольнесса, хотя бы и въ интересахъ будущихъ „воздушныхъ замковъ“.. „Я не могу поступить некорочно съ человѣкомъ, котораго я знаю“, признается она Сольнессу. „Не могу отнять... чего нибудь“...

Таковы взаимныя отношенія между „задачей жизни“ и совѣствомъ у современныхъ героевъ Ибсена. Имъ не достаетъ того, что было въ пору полу-звѣриныхъ отношеній между людьми и что безвозвратно исчезло въ силу „облагороженія“ человѣческой природы. Они уже не способны идти напроломъ къ намѣченной цѣли—спокойные, ясные и уравновѣшеніе, не смущаясь чужими страданіемъ, подобно старымъ викингамъ. Задача жизни можетъ порою превратить ихъ жизнь въ тяжелое испытаніе. Но все же они будутъ жить, будутъ знать, для чего живутъ и для чего страдаютъ,—пока имъ сіяеть ихъ задача жизни.. Пока она сіяеть, они не „лишніе“ люди. Они только мучащіеся люди.

V.

Мы переходимъ къ анализу душевной драмы у лишихъ людей Ибсена.

„Лишие“ люди—это, конечно, „не приспособленные“ къ жизни или „не приспособившіеся“. Обыкновенно въ словѣ „лишній“ слышится извѣстный укоръ по отношенію къ тѣмъ, которые не сумѣли приспособиться. Объ Ибсенѣ вѣрно было бы сказать обратное.

Какъ психологъ, онъ считаетъ счастье крупнымъ факторомъ не только дѣйствительного, но и морального характера: по Ибсену „радость облагораживаетъ“ (Росмерь), а „горе дѣлаетъ человѣка злымъ и суровымъ“ (Альмерсъ въ „Маленькомъ Эйольфѣ“). Тѣмъ не менѣе авторскія симпатіи его всего менѣе принадлежать людямъ, которые спокойны и счастливы въ силу присущей имъ нетребовательности, и ни къ кому онъ такъ жестко и пренебрежительно не относится, какъ къ приспособившимся и приспособляющимся—при всякихъ условіяхъ жизни. „Онъ никогда не хочетъ большаго, чѣмъ можетъ“, иронически отзыается объ одномъ изъ своихъ единомышленниковъ неудачникъ Брендель въ „Росмергольмѣ“, и симпатіи Ибсена явно на сторонѣ этого неудачника, въ итогѣ всей своей жизни нашедшаго только „тоску по великому Ничто“, какъ онъ шутить на свой счетъ передъ смертью. Въ глазахъ Ибсена люди, которые никогда не хотятъ того, чего не могутъ, никогда, конечно, не могутъ быть безполезными; но за то не въ нихъ и источникъ творческихъ силъ, создающихъ будущее; не въ нихъ залогъ этого будущаго и не въ нихъ причина неизбѣжности роста человѣческаго духа и пересозданія жизни на иныхъ началахъ.

Для этого нужны его неуравновѣшенные люди съ беспокойною душой, которые должны неустанно искать и найти... Извѣнія вербуются „Строители“, если свою чудотворную жизненную задачу имъ посчастливится найти. Но изъ нихъ же пополняются и ряды лишихъ людей, если имъ это не удастся... Кто-то сказалъ, что всякий человѣкъ въ чёмънибудь нибудь геніаленъ, только онъ случайно не напалъ на то дѣло, которое обнаружило бы его геніальность.

Героевъ Ибсена то же невѣдѣніе держитъ вдали отъ ихъ „жизненной задачи“, на которую они полностью могли бы отдать свои силы и на которой они могли бы развернуться въ дѣйствительную свою величину. Узелъ ихъ личной драмы всегда въ этомъ удаленіи. У однихъ это удаленіе имѣтъ хроническій характеръ непрерывнаго состоянія; у другихъ результатъ болѣе или менѣе случайной комбинаціи вѣнчихъ условій, разрушившихъ

жизненную „задачу“, которая была или—иногда—казалось, что она была. Психологическая особенность и тѣхъ и другихъ—въ изображеніи Ибсена—это, что они отчетливо сознаютъ свое положеніе и степень его безысходности, отчетливо сознаютъ, чего имъ не хватаетъ и что дѣлаетъ ихъ „лишними“ въ ихъ собственныхъ глазахъ.. Не въ глазахъ читателя, для которого они остаются и въ томъ и другомъ случаѣ психологически цѣннымъ материаломъ, не реализованнымъ жизнью, какъ она, по тѣмъ или инымъ причинамъ, сложилась. Для читателя они не лишніе, а желанные, но для самихъ себя они несомнѣнно лишніе: „тринадцатые за столомъ“, по выражению Грегера въ „Дикой уткѣ“.

Принять жизнь, какъ простой фактъ существованія въ роли „тринадцатаго“, они не могутъ, даже пытаясь это сдѣлать, какъ пыталась Гедда Габлеръ. Остается выходъ, съ которымъ нельзя примириться, но который логически понятѣй и для нихъ, и для читателя: „добровольно“ уйти и перестать быть „тринадцатымъ“... Такъ они и дѣлаютъ. Такъ развязываютъ свою внутреннюю драму Росмеръ и Брендель въ „Росмергольмѣ“; такъ исправляетъ ошибочное рѣшеніе своей „задачи“ злополучный Грѣгеръ въ „Дикой уткѣ“, такъ разрѣшаетъ вопросъ о себѣ блестящая неудачница Гедда Габлеръ.

Эта послѣдняя является типичнымъ лишнимъ человѣкомъ—„хроникомъ“, который всю свою короткую жизнь прожилъ безъ задачи жизни, по личнымъ условіямъ не могъ ея имѣть и напрасно пытался заполнить душевную пустоту эстетическими суррогатами жизненной задачи—внѣшнимъ блескомъ жизни и красотой ея отдельныхъ подробностей и мелочей. Жажда настоящаго и крупного не покидаетъ ея (по настоящему живеть она развѣ только нѣсколько часовъ, когда ждетъ духовнаго возрожденія любимаго человѣка) до момента „красиваго“ выстрѣла въ високъ—непремѣнно въ високъ. Подчеркивая эту ультра-эстетичность Гедды вплоть до способа, какимъ надо покончить съ собой, Ибсенъ отнюдь не дѣлаетъ изъ нея прозелитку эстетизма ради самого эстетизма.

Образъ тоскующей и непроизвольно жестокой Гедды Габлеръ далъ бы намъ очень цѣнныи материалъ для анализа драмы у лишнихъ людей Ибсена, но онъ очень сложенъ и вдобавокъ въ немъ слишкомъ много спорныхъ подробностей (напримеръ, элементъ несомнѣнной „преступности“*) въ поведеніи Гедды Габлеръ), которыхъ нельзя устранить въ нѣсколькихъ словахъ, сказанныхъ мимоходомъ. Разсчитывая вернуться къ „Геддѣ Габлерѣ“ въ отдельномъ очеркѣ, пока ограничимся о ней сказаннымъ и перейдемъ къ другимъ „тринадцатымъ“.

*) „Преступность“ въ пьесахъ Ибсена подвергается очень своеобразному толкованію, поскольку рѣчь идетъ о богато одаренныхъ людяхъ.

VI.

Съ фактической стороны душевного кризиса у владѣльца Росмергольма мы уже знакомы. Пока драма развернулась перед нимъ только въ половину и для него остается неизвѣстною роль Ревекки въ самоубійствѣ жены, жить для Росмера тяжело:—потеряно „состояніе радостной безвинности“, которое усиливало его работоспособность, но тяжесть была еще въ мѣру силъ. Умная и любящая Ревекка знаетъ это и неизмѣнно напоминаетъ Росмеру, что у него есть для чего жить. „О, не думай ни о чёмъ, кроме твоей прекрасной задачи“. Она знаетъ, что въ этихъ сло-вахъ онъ найдетъ достаточную точку опоры для жизни, хотя бы и не „радостной“. Но положеніе рѣзко мѣняется, когда Росмеръ узнаетъ изъ устъ самой Ревекки, что самоубійство его жены въ дѣйствительности не самоубійство; что пѣной ея жизни самый близкій ему человѣкъ хотѣлъ обезпечить успѣхъ ихъ общей „задачи жизни“ и ихъ собственное счастье. Тогда кризисъ у Росмера приобрѣтаетъ рѣшительный характеръ. Росмеръ потерялъ послѣднєе, что у него оставалось: вѣру въ свою способность перевоспитывать и передѣлывать людей, т. е. въ свою „задачу жизни“. Если Ревекка, съ которой онъ цѣлые годы прожилъ, для лучшія, завѣтныя мечты, не поддалась вліянію, то какъ съ можетъ разсчитывать подчинить своему вліянію другихъ—чужихъ ему людей? заставить ихъ силою своего авторитета и мораль-наго воздѣйствія *) передѣлать свою жизнь, приниженнюю мрачными Росмерами, на новыхъ началахъ, достойныхъ человѣка? Онъ перестаетъ вѣрить въ это, и сторонникамъ сохраненія въ непри-косновенности доброго старого времени, нетрудно вырвать у него согласіе — оставить жизнь въ покой, какъ она есть. Задача его жизни, въ которую онъ вложилъ свое лучшее я, больше не су-ществуетъ и тѣмъ самымъ для него безвозвратно

О жизни поконченъ вопросъ...

Вотъ діалогъ между нимъ и Ревеккой (Ревекка собирается уѣхать изъ дома Росмера, и онъ считаетъ нужнымъ предупре-дить ее, что возможные случайности имъ „уже давно“ преду-смотрѣны и Ревекка отъ нихъ въ материальномъ отношеніи „обеспечена“). Ревекка возражаетъ, что это лишнее).

Ревекка. Ахъ, Росмеръ, ты проживешь дольше, чѣмъ я.

Росмеръ. Представь ужъ мнѣ распорядиться моей жалкой жизнью.

*) Какъ мы видѣли, это—одно изъ существенныхъ (по замыслу Ибсена) орудій при осуществленіи задачи Росмера.

Ревекка. Что это значитъ? Не думаешь же ты о томъ...

Росмеръ. Нашла бы ты это страннымъ? Послѣ печального жалкаго пораженія, которое я потерпѣлъ! Я, который хотѣлъ осуществить задачу своей жизни... и вотъ сдѣлался перебѣжчикомъ раньше даже, чѣмъ началась битва!

Ревекка. Возобнови борьбу, Росмеръ! Ты увидишь, что побѣдишь,—если ты попытаешься. Ты облагородишь сотни, тысячи душъ. Только попытайся.

Росмеръ. О, Ревекка! Я не вѣрю уже больше въ задачу моей жизни.

Росмеръ оказался неправъ: въ действительности Ревекка, какъ мы видѣли, „переродилась“ подъ его вліяніемъ, и онъ могъ вѣрить въ свою „задачу жизни“... Но ему нужно было чувствовать это, нужно было весомѣнное доказательство, которое было бы сильнѣе совершившаго Ревеккой преступленія. Такое доказательство Ревекка могла дать только въ моментъ ихъ двойнаго самоубийства.

Въ томъ же „Росмергольмѣ“ есть еще неудачникъ — бывшій учитель Росмера, Брендель. Эта вводная фигура, мало обрисованная и недостаточно ясная, повидимому, должна оттѣнить, что въ роковомъ исходѣ душевной драмы Росмера не слѣдуєтъ ничего относить насчетъ его темперамента. Хотя Росмеръ, какъ и всѣ его предки, „никогда не смеется“, — а Брендель, наоборотъ, всегда смеется: — даже свою „тоску по великому Ничто“ онъ мотивируетъ только въ шуточной формѣ, прося Росмера одолжить ему „парочку отжившихъ идеаловъ“, которыхъ ему не достаетъ, — но результатъ утраты „парочки идеаловъ“ тотъ же, что и у Росмера.

Впервые съ Бренделемъ мы встрѣчаемся въ домѣ Росмера. ПоRemarkѣ Ибсена, Брендель одѣтъ, какъ „обыкновенный бродяга“.

Какъ всегда, небрежный въ передачѣ конкретныхъ подробностей положенія, Ибсенъ останавливаетъ свое вниманіе только на психологической обрисовкѣ. Въ этомъ отношеніи для читателя выясняется, что Брендель стоитъ на поворотѣ своей жизни: ему кажется (не совсѣмъ такъ или — вѣрѣю — совсѣмъ не такъ, какъ это кажется Росмеру), что наступило уже „бурное время“ и для сѣдого бойца мысли и слова пришла пора настоящаго дѣла... Но практическій дѣятель — тотъ самый Моргенштадтъ (онъ — редакторъ мѣстной газеты), который „никогда не хочетъ большаго, чѣмъ можетъ“, скоро вернуль сѣдого идеалиста на землю, уяснивъ ему малую рыночную цѣну его „отжившихъ идеаловъ“ — именно здѣсь, на родинѣ его юношескихъ мечтаній... И Брендель, которому легко было занять у старого ученика, при первомъ же свиданіи послѣ многолѣтней разлуки, „крахмальную сорочку“ и

сюртукъ и „пару порядочныхъ сапогъ“, не хочетъ пережить необходимость занимать „парочку отжившихъ идеаловъ“. Вспоминая по контрасту свое первое появление у Росмера съ наружной внѣшностью „обыкновенного бродяги“, онъ резюмируетъ разницу между тѣмъ, что было, и тѣмъ, что есть, въ слѣдующихъ словахъ: „Когда я вступилъ въ этотъ залъ послѣдній разъ, я стоялъ передъ тобой (Росмеромъ), какъ достаточный человѣкъ и похлонывалъ себя по карману“... А теперь онъ — „банкротъ“, „голъ, какъ соколь“ и представляетъ „свергнутаго короля на грудѣ пепла своего сгорѣвшаго дворца“.

Такимъ образомъ и этотъ сѣй неудачникъ, какъ только сгорѣлъ его дворецъ, не хочетъ больше выносить жизнь, обездѣненную крушениемъ его личной „задачи жизни“, и „добровольно“ уходить изъ нея, какъ и всѣ неудачники Ибсена.

VII.

Мы остановимся еще на одномъ варіантѣ о лишнемъ человѣкѣ. Это — Грегеръ въ „Дикой утѣ“, такъ ненужно изувѣченной символизмомъ. Полутно мы получимъ отвѣтъ на одинъ вопросъ, который самъ собой останавливаетъ читателя *) Ибсена: какъ, въ концѣ концовъ, относится къ *правдѣ* этотъ углубленный въ человѣка писатель, если въ одной своей вещи („Столпы общества“) онъ провозглашаетъ устами Лоны: „свобода и правда — вотъ столпы общества!“ а въ другой („Дикая утка“) устами скептика врача — совершенно обратное: „стимулирующій принципъ — ложь жизни“.

Мы легко убѣдимся, что въ дѣйствительности противорѣчія нѣтъ. Для самого Ибсена и для избранниковъ его творчества *правда* — верховный критерій жизни. Они жаждутъ этой правды — истины и правды-справедливости, почти какъ страстотерпцы. „Врагъ народа“ Штокманъ, не задумываясь, отвѣчаетъ на упрекъ, что своимъ разоблаченiemъ истины онъ можетъ подорвать благосостояніе родного города: „я такъ люблю свой родной городъ, что желалъ бы лучше видѣть его разореннымъ, чѣмъ процвѣтающимъ на почвѣ лжи“. Для Штокмана правда выше всего. Но вѣдь та же самая правда не можетъ позволить Ибсену, какъ психологу, скрыть, что это *не для всѣхъ* такъ, что иногда „правда“ налагаетъ на человѣка такую тяжелую ношу, что при малыхъ душевныхъ силахъ съ ней не справиться: она не подниметь, а придавить. — Такимъ образомъ философія „Дикой утки“ не противорѣчіе съ общей идеей Ибсена о „правдѣ“, а дополненіе. Н. К. Михайловскій отмѣтилъ, какъ особенность писательской

*) У насъ этотъ вопросъ былъ, въ извѣстной мѣрѣ, вопросомъ дня, когда ставилась „Дикая утка“ на сценѣ Московскаго Художественнаго театра.

манеры Ибсена, что онъ часто беретъ „одни и тѣ же движенія человѣческой души (прибавимъ: важнѣйшія), только въ различныхъ комбинаціяхъ“. Для этого онъ прибѣгаетъ къ „симметричнымъ“ положеніямъ, которыхъ должны подчеркнуть и рѣзче выдвинуть все существенное. Эта „симметричность“ построений часто вредитъ художественности впечатлѣнія,— когда она рѣзко и неотступно преслѣдуется—такъ сказать—читателя (например, въ „Сѣверныхъ богатыряхъ“). Для художественного разясненія вопроса о „правдѣ“ въ жизни, Ибсенъ прибѣгнулъ къ тому же приему „симметричныхъ“ построений, но обѣ пары симметричныхъ фигуръ: Лоны и Грегерса, Берника и Гіальмара онъ размѣстилъ въ двухъ разныхъ пьесахъ: въ „Столпахъ общества“ и въ „Дикой уткѣ“. Благодаря этому, выиграла художественность впечатлѣнія: аналогія не навязывается, а естественно раскрывается мысли читателя, но за то является возможностью просмотрѣть ее, какъ это мы и видѣли на фактѣ мнимыхъ противорѣчій у Ибсена.

И Лона („Столпы общества“) и Грегерсъ („Дикая утка“) заются одной и той же цѣлью: имъ нужно, чтобы окружающая жизнь была цѣликомъ основана на „правдѣ“. У близкихъ имъ обоимъ лицъ жизнь основана какъ разъ обратно — на кривдѣ. Они и становятся прежде всего объектомъ для ихъ нравственного воздействія. Оба добиваются желанного устраненія внѣшихъ проявленій кривды. Но результатъ совершенно различный въ зависимости отъ того, къ кому они адресовались со своими требованиями устранить кривду. Лона имѣла дѣло съ человѣкомъ крупнаго масштаба (Берникъ); Грегерсъ имѣлъ дѣло съ жалкимъ человѣкомъ (Гіальмаръ). Поэтому первая, въ концѣ концовъ, произноситъ знаменитую побѣдную фразу: „свобода и правда — вотъ столпы общества!“ а второй долженъ молчать, когда при немъ говорятъ, что скрасить жизнь Гіальмаровъ можетъ только одна „ложь“ (иллюзія).

Такъ какъ драма въ душѣ „лишняго“ человѣка—Грегерса—станетъ рельефнѣе отъ сопоставленія съ торжествующей Лоной, то мы и станемъ разматривать ихъ параллельно.

VIII.

Богатый судостроитель, дѣлецъ и общественный дѣятель—консулъ Берникъ когда-то былъ на пути къ разоренію. Больше, чѣмъ когда-либо, онъ нуждался въ довѣріи согражданъ, потому что въ переводѣ на языки денежныхъ отношеній „довѣріе“ значить „кредитъ“: пусть припомнить читатель, какъ Гейне-школьникъ изводилъ своего учителя, упорно переводя слово „вѣра“ французскимъ словомъ—„le credit“. И въ это самое время съ Берни-

комъ приключается любовная история въ жанрѣ того же Гейне. Если откроется, что герой ея Берникъ, это подорвѣтъ его солидную репутацію въ глазахъ дѣлового и ханжескаго общества (Ибсенъ очень нерѣдко изображаетъ въ такихъ краскахъ „культурное“ общество своей родины). Спасаетъ его другъ Іоганнъ, который бремя „скандала“ принимаетъ на себя и на свое имя. Онъ уѣзжаетъ на неопределѣленное время въ Америку вмѣстѣ съ Лоной, бывшей (тайно) невѣстой Берника: послѣдній прѣдпочелъ ей—ради спасенія своей промышленной фирмы, пережившей три столѣтія—нелюбимую дѣвушку, но съ крупнымъ состояніемъ. Отъѣздъ обоихъ освободилъ Берника отъ всякихъ тревогъ и далъ ему возможность встать на ноги. Свѣдѣнія о затрудненіяхъ финансовыхъ обстоятельствахъ старинной фирмы, хотя и сдѣлались постояніемъ молвы, но нашли себѣ легкое объясненіе въ слухѣ, что скрывшійся Іоганнъ обокралъ кассу своего друга. Берникъ слуха не поддерживаетъ, но и не отвергаетъ, пользуясь выгодами такого положенія.

Къ началу пьесы Ибсена, и Лона, и Іоганнъ возвращаются изъ Америки и встрѣчаются въ Бернике даровитаго дѣльца и уважаемаго общественнаго дѣятеля... Своей Лонѣ Ибсенъ придалъ много чертъ, напоминающихъ ея современницу — русскую нигилистку шестидесятыхъ годовъ. Та же небрежность въ костюмѣ, то же отсутствіе заботы о внѣшней привлекательности, такая же рѣзкость языка вплоть до возраженій: „къ чорту эту глупую исторію“ и та же фанатичная преданность правдѣ. Угловатая рѣзкость въ поведеніи Лоны переплетается у Ибсена въ своеобразное гармоничное цѣлое съ обычными особенностями его женщины: съ чувствомъ требовательнаго поклоненія любимому человѣку и высокой опѣнкой нравственнаго элемента въ любви мужчины и женщины. По пьесѣ оказывается, что за 15 лѣтъ разлуки старая любовь Лоны къ Бернику не „заржавѣла“, говоря словами пословицы. И вѣнѣ родины, и послѣ разрыва онъ остался для нея тѣмъ, чѣмъ былъ—„героемъ ея юности“, заслоненнымъ и затемненнымъ главою „дома Берниковъ“, который долженъ по необходимости ежедневно и ежечасно притворяться, молчать и скрывать *).

Естественно, что „задача жизни“ для нея прежде всего отлилась въ заботу о нравственномъ освобожденіи любимаго человѣка. Еще въ Америкѣ, когда она узнала отъ Іоганна, что Берникъ малодушно согласился взвалить на своего друга послѣдствія „скандала“, она „поклялась себѣ“ освободить его отъ безчестящихъ воспоминаній. „Я поклялась себѣ,—говорить она впослѣдствіи,— герой моей юности долженъ свободно и правдиво

*) По пьесѣ Лона права: позорные для Іоганна обвиненія не забыты, и память о нихъ заботливо культивируется сплетниками мѣстнаго общества.

стоять передъ всѣми! Ганниболова клятва не могла, конечно, утратить силу отъ того, что Лона, по своемъ возвращеніи, узнаетъ, что „герой ея юности“ ради себя и „дома Берникова“ 15 лѣтъ не мѣшалъ клеветнической молвѣ называть своего великодушнаго друга *воромъ*. Подъ вліяніемъ общаго положенія вещей, Лона рѣшительно становится на сторону „героя ея юности“ въ борьбѣ противъ главы уважаемой торговой фірмы.

„Все твое величіе поконится на выскомъ болотѣ—и ты вмѣстѣ съ нимъ“,—говоритъ Бернику Лона.—„Я задумала помочь тебѣ пріобрѣсти твердую почву подъ ногами“. Она требуетъ отъ Берника, чтобы онъ открыто признался въ своихъ проступкахъ, очистилъ имя Іоганна отъ клеветы и тѣмъ самымъ пріобрѣлъ „твердую почву подъ ногами“, т. е. правду. Берникъ отказывается. У него и Лоны разное пониманіе „правды“. Для первой сознаніе своей правоты нужно, какъ гарантія внутренней свободы и чувства обезпеченности отъ возможныхъ случайностей; для второго все дѣло разрѣшается тѣмъ, что онъ чувствуетъ за собой *право* на все, чѣмъ онъ фактически пользуется. „Какъ, чтобы я добровольно пожертвовалъ своимъ семѣннымъ счастьемъ и своимъ положеніемъ въ обществѣ!“ — восклицаетъ онъ. А на вопросъ послѣдней: имѣеть ли онъ *право* на это счастье, отвѣчаетъ, что имѣетъ, такъ какъ „въ теченіи пятнадцати лѣтъ (разлуки) ежедневно зарабатывалъ себѣ частицу этого права пра-
вильной жизнью и той пользой, какую приносилъ“. Однако, рядъ событий выясняетъ Бернику, какъ онъ не „свободенъ“ въ дѣ-
ствительности и до какой степени онъ можетъ пасть въ *своихъ собственныхъ глазахъ* при защищать своего „величія“... И когда ему уже ничто, по вѣшности, не угрожало: Лона намѣренна вернула ему всѣ компрометировавшіе его документы, — онъ рѣ-
шается исполнить то, чего требовала Лона. Въ мгновеніе обще-
ственного честоводанія его, какъ заслуженнаго и безукоризненнаго человѣка, онъ разъясняетъ истинную роль Іоганна въ его жизни и свою вину передъ нимъ... Лона торжествуетъ.

Ея „задача жизни“ завершилась успѣхомъ. Ложь изгнана. Герой ея юности стоитъ передъ всѣми „свободно и правдиво“.

Мы значительно отклонились въ сторону отъ лишнихъ людей Ибсена и слишкомъ надолго, быть можетъ, вернулись, къ—не „лишнимъ“ людямъ. Но мы считаемъ, что пока вопросъ о правдѣ въ міроразумѣніи Ибсена не будетъ достаточно выясненъ, до тѣхъ поръ „Дикая утка“ не освободится отъ неясности, а въ такомъ случаѣ драма въ душѣ послѣдняго лишнаго человѣка, которымъ мы займемся, не станетъ отчетливой и доступной анализу.

Въ „Дикой уткѣ“ Грегеръ такой же фанатикъ „правды во всѣмъ“, какъ и Лона, но имѣеть онъ дѣло не съ крупномас-
штабнымъ Берникомъ, а съ ничтожнымъ говоруномъ Гіальмаромъ. И это однѣ опредѣляетъ неудачный исходъ задачи жизни Грегера.

IX.

Фактическая основа драмы въ „Дикой уткѣ“ слѣдующая.

Заводчикъ Верле зналъ, что планъ, по которому его компаньонъ совершаеть вырубку купленного лѣса, невѣрнъ, но не мѣшаль операциі, которая могла быть очень выгодной. Когда, наконецъ, вмѣшался въ дѣло судъ, оказался виновнымъ одинъ только компаньонъ Верле, лейтенантъ Эк达尔ъ. Только онъ и пострадалъ, разоренный и обезвѣщенный приговоромъ суда. Верле оказался совершенно въ сторонѣ отъ рискованной операциі: въ глазахъ общества, даже въ глазахъ семьи обвиненнаго Экдала, онъ является не виновнымъ, а пострадавшимъ лицомъ: его доброе имя, по чужой винѣ, чуть было не подверглось судебному опороченію. Отношеній къ семье Экдала Верле не прервалъ, но придалъ отношеніямъ характеръ покровительства. Это дало ему возможность использовать нищету и позоръ Экдалей какъ нельзя удобнѣе, когда обстоятельства сдѣлали для Верле неизбѣжнымъ удаленіе изъ дома его экономки, чтобы „прикрыть грѣхъ“. Въ качествѣ необходимаго мужа онъ намѣтилъ сына своего бывшаго компаньона Гіальмара и безъ труда добился, что послѣдній на Гинѣ (имя экономки) женился, не догадываясь объ ея прошломъ и очень довольный свадебнымъ подаркомъ Верле—денежной помощью на устройство фотографіи. Относя это, также какъ платную переписку, которую контора Верле обеспечила бывшему лейтенанту, за счетъ доброты сердца завода, недалекій Гіальмаръ чувствуетъ къ нему искреннюю признательность.

„Счастье“ улыбнулось ему и съ другой стороны. У него есть „прекрасная задача“. Въ дѣйствительности онъ ни на какую задачу жизни не способенъ, но ему создаль иллюзію такой задачи некто Реллингъ, благожелательный скептикъ и врачъ по профессії. По его глубокому убѣжденію, чтобы переносить жизнь, ее надо скрасить „ложью“, и въ качествѣ такой лжи онъ внушиаетъ Гіальмару вѣру въ его творческія способности, въ будущее изобрѣтеніе въ дѣлѣ фотографіи, которое онъ непремѣнно сдѣлаетъ, вернувъ имъ своей семьи прежній почетъ и уваженіе. И Гіальмаръ, простодушный болтунъ, искренно счастливъ настоящимъ человѣческимъ счастьемъ. Онъ говоритъ товарищу своего дѣтства Грегерсу, сыну Верле: „Передо мной днѣмъ и ночью стоять моя задача жизни“.

Грегерсъ—идейный антагонистъ Реллинга. Если для этого между „ложью жизни“ и человѣческими „идеалами“ такая же разница, какъ „между тифомъ и гнилой горячкой“, то для Грегерса, какъ и для Лоны, не понятна самая возможность существованія

безъ „твёрдой почвы подъ ногами“—правды въ человѣческихъ отношенияхъ.

„Если бы я могъ выбирать, то я лучше всего хотѣлъ бы быть быстроногой собакой... Да необыкновенно проворной собакой, такой, которая ныряетъ за дикими утками *), когда они идутъ внизъ и зарываются въ траву и тину!..“ Это говоритъ о себѣ самъ Грегерсъ, слушая рассказъ бывшаго лейтенанта, страстнаго охотника, о дикихъ уткахъ, которые, когда ранены, всегда „идутъ ко дну, глубоко, какъ могутъ... зарываются крѣпко въ траву—и во всю эту чертовщину, которая лежитъ тамъ, и никогда уже не показываются назадъ“.

Такъ же, какъ и для Лоны, для Грегерса характерно общее стремленіе быть спасающей „быстроногой собакой“. Въ этомъ его общая задача жизни, и содержаніе „Дикой утки“ только частный случай изъ жизни Грегерса, пріобрѣвшій особое значеніе, благодаря вѣкоторымъ обстоятельствамъ.

Дѣло въ томъ, что Грегерсъ чувствуетъ себя непоправимо виновнымъ передъ Гіальмаромъ: и за отца, и за себя. Въ свое время онъ „предчувствовалъ“ исходъ сотрудничества Верле и Экдаля, но предупредить у него не хватило смѣлости. Когда катастрофа разразилась, Грегерсу остается реагировать на нее только упреками совѣсти. „Тебя я долженъ благодарить за то, что изнываю отъ терзаній нечистой совѣсти“, говоритъ онъ своему отцу... И вотъ Грегерсу улыбается возможность загладить, хоть отчасти, и вину отца, и свое малодушіе. Онъ узнаетъ обстоятельства, при которыхъ женился обманутый его отцомъ Гіальмаръ, и приходитъ въ ужасъ за друга своего дѣтства, вѣрия, за тотъ привлекательный образъ, который жилъ въ его виноватой памяти съ тѣхъ поръ, какъ они разстались (16—17 лѣтъ назадъ). Въ сценѣ съ отцомъ, упрекая послѣдняго во всемъ, что тотъ сдѣлалъ, Грегерсъ восклицаетъ: „И онъ (Гіальмаръ) сидѣть теперь съ великой довѣрчивой дѣтской душой, живѣть подъ одной кровлей съ такой женщиной и не знаетъ, что то, что онъ называетъ своей семьей, основано на лжи!..“ Не менѣе удручаешь Грегерса та вялость, съ которой его другъ реагируетъ на удары жизни. И вотъ онъ задумываетъ возвратить Гіальмара, какъ это

*) Значеніе символовъ въ пьесѣ.—Грегерсъ полагаетъ, что Гіальмаръ является какъ разъ такою дикою уткой, которая пошла ко дну, завязла въ тинѣ (несчастныхъ обстоятельствъ жизни) и рвется изъ нея, но не въ силахъ вырваться безъ чужой помощи (собаки). Грегерсъ и долженъ быть такой „собакой“ для всѣхъ гибнущихъ „утокъ“. Въ этомъ его задача жизни.—По отношенію къ Гіальмару онъ, однако, впалъ въ ошибку. Гіальмаръ—дикая утка другого типа, давно забывшая, что такое „настоящая дикая жизнь“ (на началахъ правды и достоинства), способная жить въ неволѣ, вполнѣ удовлетворяющаяся корзиной, въ которую посажена, и способная даже „жирѣть“ на готовыхъ кормахъ. (Такая „дикая утка“ фигурируетъ въ пьесѣ Ибсена въ качествѣ „дѣйствующаго лица“)... Корень драмы въ этой ошибкѣ Грегерса.

удалось Лонѣ относительно Берника. Никакой вѣтнай помѣхъ своему намѣренію онъ не видѣть. Жена Гіальмара, какъ убѣдился потомъ Грегерсъ, оказалась простой, но по своему хорошей, любящей женщиной, преданной Гіальмару и стойко выносящей всѣ печали жизни впроголодь. Правда, Грегерсъ уже не разъ приходилось убѣждаться, что его „идеальные требования“, какъ выражается Реллингъ, не встрѣчаютъ сочувствія со стороны придавленныхъ жизнью людей, но ему такъ хочется видѣть себя хоть разъ торжествующимъ въ своей задачѣ жизни и такъ хочется загладить вину, такъ хочется считать Гіальмара способнымъ перенести кризисъ и выйти изъ него съ удовлетворенными силами, нужными для перестройки жизни,—что онъ и дѣйствительно видѣть въ Гіальмарѣ то, что хочетъ видѣть: человѣка съ „величиемъ, дѣтской душой“, а не празднаго болтуна и никчѣмнаго человѣка.

Для человѣка, утомленного жизнью, какимъ является въ пьесѣ Грегерсъ, созданный имъ самимъ миражъ принялъ формы реальной задачи жизни. Онъ будеѣть правъ,—жизнь, наконецъ, свела его съ человѣкомъ, которому правда и подвигъ окажутся нужными—больше всего... „Я ужъ постараюсь вытянуть тебя на поверхность,—ободряетъ онъ своего друга,—потому что я тоже нашелъ себѣ задачу жизни“. Вытянуть на поверхность—значитъ пробудить въ немъ дремлющія силы; вызвать въ душѣ спасительный кризисъ. Вызвать—полнымъ раскрытиемъ правды, дать возможность пережить чувство совершеннаго „подвига“ и затѣмъ фактически помочь Гіальмару перестроить свою жизнь на хорошихъ, честныхъ началахъ труда и любви къ виноватой... Вотъ „задача“, которая на нѣсколько дней освѣтила усталую и сумеречную жизнь Грекерса... „Вѣдь въ мірѣ иѣтъ другого столь же высокаго подвига, какъ простить согрѣшившему и любовью поднять его до себя“, неизмѣнно убѣждаетъ Гіальмара Грекерсъ.

Положение вещей обострилось еще однимъ контрастомъ... Среди окружающихъ, съ которыми долженъ былъ прожить свою жизнь Грекерсъ, нашелся, наконецъ, одинъ, который по собственному почину, устранилъ „ложь“. Это—его собственный отецъ, безъстыдный, но умный человѣкъ. Ему „правда“ оказалась нужна. Онъ овдовѣлъ, освободился отъ Гины и теперь женится на женщинѣ тоже съ „прошлымъ“. Чтобы обеспечить себя и свое счастье отъ всякаго страха въ будущемъ, они сразу раскрываютъ свое „прошлое“ одинъ относительно другого. И это только укрѣпляетъ ихъ будущій союзъ.

Грекерсъ не можетъ допустить и мысли, что его другъ мелочиѣ и въ духовномъ отношеніи ниже его отца. Но онъ оказался ниже.

Переображеніе оказалось миражемъ. И „подвигъ“ тоже—со всѣмъ подъемомъ нравственныхъ силъ, на который разсчитывалъ Грекерсъ. Когда прошлое жены открылось, его другъ остановился

мыслью не на искушающихъ вину обстоятельствахъ (т. е. совместной жизни, тяжесть которой лежала на Гинѣ), а только на самой винѣ. Унижение въ прошломъ стало явнымъ, но не смѣнилось—для Гіальмара—надеждой на иное будущее.

Не оказалось ни силъ, ни энергіи, о которыхъ мечталъ Грегеръ... Итакъ, вместо торжества, новое крушение задачи жизни Грекерса... И больная совѣсть не излѣчена, и задача жизни разбита: „Если вы правы, а я ошибаюсь,—говорить Грекерсъ Реллингу,—тогда не стоитъ и жить на этомъ свѣтѣ.“

Реллингъ. О, жизнь на этомъ свѣтѣ можетъ быть и недурной, если только настъ оставать въ покой господа, вторгающіеся къ намъ съ идеальными требованиями.

Грекерсъ (смотритъ передъ собой). Въ такомъ случаѣ я радъ, что мое назначеніе таково, какъ оно есть.

Реллингъ. Смѣю спросить—каково ваше назначеніе.

Грекерсъ (собираясь уходить). Быть 13-мъ за столомъ.

Реллингъ. Чортъ вамъ повѣрить!..

Но Ибсенъ несомнѣнно „повѣрить“ своему лишнему человѣку. Повѣрить, что „тринадцатымъ“ онъ не станетъ жить.

Какъ видѣть читатель, никакого диссонанса въ отношеніи Ибсена къ „правдѣ“ человѣческихъ отношеній нѣтъ. Для его сильныхъ, одаренныхъ людей, правда признается высшимъ благомъ и на страницахъ „Дикой утки“, какъ и во всѣхъ произведеніяхъ... И правда, и „задача жизни“.

X.

Но что же представляетъ собою эта всеобъемлющая „задача жизни“ въ толкованіи Ибсена? Каково ея конкретное содержаніе?

Ибсенъ не связываетъ этого содержанія съ какой-нибудь определенной категоріей душевныхъ движений человѣка. Для него задача жизни такой же „постоянный законъ съ непостояннымъ содержаніемъ“, какъ и вообще всѣ повелительные нравственные законы, направляющіе жизнь человѣчества при перемѣнныхъ условіяхъ времени и мѣста. Содержаніемъ „задачи жизни“ можетъ быть истинно-королевская идея Гакона; можетъ быть освободительное строительство Сольнесса; можетъ быть проповѣдь суроваго, определенного, но не спокойнаго душой Бранда. Но содержаніе можетъ не выходить и за предѣлы обыденной жизни. Если у жены Сольнесса, какъ мы видѣли, жизненной задачей было выростить въ своихъ дѣтяхъ „прямыхъ взрослыхъ душъ“, выростить ихъ „въ уравновѣшенноти и въ благородныхъ, прекрасныхъ формахъ“, то для Марты *), сестры Бер-

*) „Столпы общества“.

ника, вся жизненная задача исчерпывалась сначала исправлениемъ проступка въ тайнѣ любимаго человѣка: воспитаніемъ брошенной дѣвочки, въ которой она видѣла вмѣсть съ моловой—дочь Іоганна отъ „скандальной исторіи“, а потомъ, когда эта пѣль была достигнута, вообще въ заботахъ о безпризорныхъ дѣтяхъ. Для Эллиды („Женщина съ моря“) задача еще обыденнѣе: будучи мачихой, замѣнить мать для дѣтей资料 of her husband.

Но есть одна непреложная особенность въ „задачѣ жизни“ по Ибсену. Она должна быть свободной: свободно избранной—на свою собственную ответственность“. Она должна быть взята на себя совершенно добровольно. Иначе это будетъ уже не „задача жизни“, а урочная работа, опредѣленная тюремнымъ уставомъ. Сообразно съ этимъ, то, что вавалили на плечи человѣка вицениа условія и личная ошибка, никогда не можетъ стать задачей жизни, какъ ее понимаетъ Ибсенъ. Но не по виценимъ признакамъ этой обузы, а только по внутреннимъ—по отсутствію во взятой на себя обузѣ признаковъ нравственной свободы. Тѣ же самыя обязанности, которыхъ такъ тяготятъ, когда они невольно взяты, могутъ быть легко носимы, когда они взяты вольно. Иллюстраціей этого основного свойства Ибсеновской „задачи жизни“ служитъ „Женщина съ моря“.

Совѣстная жизнь супруговъ Вангель готова рухнуть: ею тяготится Эллида, вторая жена доктора Вангеля. Не потому, что ее не любять въ новой семье или она сама не любить мужа и его дѣтей—двухъ дѣвушекъ на возрастѣ... Женщины у Ибсена часто томятся сознаніемъ, что бракъ для нихъ быть не свободнымъ союзомъ свободныхъ людей, а самопродажей, въ качествѣ женщины, за заботы о нихъ мужа. Такое сознаніе тяготитъ и Эллиду, хотя фактической правды въ ея терзаніяхъ нѣть... Но самое тяжелое для нея, это—мысль, что она несвободна во всемъ, что она должна дѣлать. Такъ какъ „Женщина съ моря“, съ нашей точки зрѣнія, представляетъ особый интересъ, то мы позволимъ себѣ привести фрагментъ слѣдующій діалогъ между Эллидой и Вангелемъ:

Эллида. Слушай же, Вангель... намъ нельзя дольше обманывать себя самихъ... и другъ друга.

Вангель. Развѣ мы это дѣлаемъ? Мы обманываемъ себя!

Эллида. Да. Или во всякомъ случаѣ, мы скрываемъ истину. Потому что вѣдь истина... настоящая, прямая истина... состоитъ въ томъ... что ты явился и купилъ меня.

Вангель. Купилъ!.. Ты говоришь... купилъ!

Эллида. Ахъ, вѣдь я была ничѣмъ не лучше тебя. Я согласилась на торги. Я продала себя тебѣ.

Вангель (бѣзъненно взглянувъ на нее). Эллида... и у тебя хватаетъ сердца называть это такъ?

Эллида. Но развѣ же можно называть это иначе! Ты не могъ

болье выносить пустоты въ твоемъ домѣ. Ты стала искать себѣ жены.

Вангель. И матери для дѣтей, Эллида!

Эллида. Можетъ быть, и это—между прочимъ. Хотя... ты не зналъ вѣдь, гожусь ли я къ этому. Вѣдь ты только видѣлъ меня... и раза два разговаривалъ со мной. Я стала тебѣ привиться и...

Вангель. Назови это, какъ думаешь!

Эллида. А я... Вѣдь я была такъ беспомощна и такъ одинока. Что же тутъ удивительного, что я согласилась на сдѣлку, когда ты предложилъ взять на себя заботу обо мнѣ!

Вангель. Увѣряю тебя, дорогая Эллида, что я вовсе не такъ смотрѣла на это. Я честно спросила тебя, согласна ли ты дѣлить со мною и съ дѣтьми, то немногое, что у меня было.

Эллида. Да, ты правъ. Но я все же не должна была принимать этого! Ни за какія блага въ мірѣ не должна я была принимать этого. Не должна была продавать себя! Лучше самая тяжелая работа... лучше нищета при свободѣ и по собственному выбору!

Вангель. Значитъ, тѣ 5—6 лѣтъ, которыя мы провели вмѣстѣ, ничего не стоять въ твоихъ глазахъ?

Эллида. О, вовсе нѣть, Вангель! Мнѣ было у тебя такъ хорошо, какъ только можно желать. Но я не свободно вступила въ твой домѣ. Вотъ въ чемъ дѣло!

„Не свободно“ вступила. Въ устахъ Эллиды это значить, что между ея душевнымъ строемъ и ея поведеніемъ нѣть внутренней свободной и самоопредѣлившейся связи.

Въ одной фантастической сценѣ Перъ Гинтъ оказывается среди троллей, которые его поучаютъ разницѣ между человѣкомъ и троллемъ: для послѣднихъ правило: „будь доволенъ собой“, а для первого законъ: „будь самимъ собой“. „Быть довольнымъ собой“ значить принимать жизнь, какъ она есть. „Быть самимъ собой“ значить создавать свою жизнь по собственному „усмотрѣнію“ (слова Росмера).

Душевный разладъ Эллиды и опредѣляется невозможностью, въ силу допущенной ошибки, „быть самой собой“, т. е. вступить въ жизнь, повинуясь только своему собственному внутреннему влечению. Вся ея жизнь опредѣлилась фактомъ замужества, и она навсегда утратила возможность выбрать себѣ „задачу жизни“. Задачу жизни для нея должно замѣнить то, къ чему принудили ее случай и ошибка. Эллида не можетъ освободиться ни отъ чувства тяжелой вины передъ собой, ни отъ чувства какой-то невозвратной потери—потери „несложившихся пѣсень“, которыхъ, по словамъ Ятгейра, всегда бываютъ „самыми сладкими“. То обстоятельство, что ея мужъ, какъ она не сомнѣвается, связанъ съ ней искреннимъ и честнымъ чувствомъ; тотъ фактъ, что отъ нея

ждутъ заботы и ласки дочери этого хорошаго человѣка,—все это только усиливаетъ боль въ душѣ, не заглушая самой тоски по утраченномъ „возможномъ“ счастій. „Быть можетъ, вотъ гдѣ задача“ (фактическое содержаніе задачи),—говорить она, когда узнаетъ, съ какой скрытой нѣжностью относится къ ней ея падчерица Гильда (будущая Гильда въ „Строитель Сольнесса“), но все же не можетъ заглушить щемящее чувство „утраченного“. „О, не думай,—говорить она мужу,—что не бываетъ минутъ, когда я вижу миръ и спасеніе въ томъ, чтобы бѣжать душой къ тебѣ... И бороться со всѣми притягивающими и пугающими меня силами. Но я не могу этого. Нѣтъ,—я не могу.“

Власть неизвѣстнаго—того, что могло бы быть, если бы ошибка не лишила свободы—Ибсенъ символизировалъ въ лицѣ „неизвѣстнаго“, который является въ пьесѣ—таинственнымъ, неяснымъ, но реальнымъ лицомъ и доводить терзанія Эллиды до высшей степени напряженія. Наконецъ, она не въ силахъ бороться съ собой и просить Вангеля возвратить ей свободу („Отдай мнѣ назадъ всю мою свободу“), чтобы она могла идти, не считаясь больше съ принудительной властью „случайныхъ“ обязательствъ. Душевный кризисъ, символизируемый въ появлѣніи на сценѣ неизвѣстнаго, заставляетъ ее добиваться расторженія тягостной „сдѣлки“, пока еще не поздно. „Теперь онъ (неизвѣстный—символъ невынужденной жизни) является и предлагаєтъ мнѣ... единственный и послѣдній разъ начать жизнь сначала... жить моей собственной истинной жизнью... жизнью, которая пугаетъ и влечетъ... и отъ которой я не могу отказаться. Не могу добровольно!“

Честный и любящій Вангель считаетъ съ своей стороны преступленіемъ „расторгнуть сдѣлку“, обрекши Эллиду всѣмъ случайностямъ неизвѣстнаго. Онъ готовъ прибѣгнуть, хотя бы къ силѣ, лишь бы удержать ее... Все это „ты можешь“... возражаетъ Эллида. „Для этого у тебя есть и власть, и средства!.. Но души моей... всѣхъ моихъ мыслей... всѣхъ моихъ влечений и стремленій... ты не можешь сдержать! Они будутъ стремиться и мчаться... къ неизвѣстному... которое ты закрылъ для меня!“—говорить Эллида.

Безысходность положенія становится очевидной и для Вангеля. Души и мыслей, дѣйствительно, нельзя удержать. И какъ врачъ, и какъ любящій человѣкъ, Вангель рѣшается на неизбѣжное...

Съ расторженіемъ Вангелемъ „сдѣлки“ въ состояніи Эллиды происходитъ немедленный переломъ въ благопріятную сторону. Кризисъ обострился увѣренностью, что Вангель не возвратить свободу женѣ. Когда Вангель съ тяжелымъ усилиемъ, но все же рѣшается сказать: „И потому... потому я теперь же... уничтожаю сдѣлку... Можешь выбирать свой путь въ полной... полной сво-

бодъ,—Эллида, по ремаркѣ Ибсена, „съ минуту смотритъ на Вангеля, широко раскрывъ глаза, не произнося ни слова“... Она уже свободна. Ея прежняя жизнь въ семье Вангеля стала объектомъ свободного выбора; она больше не фактъ, который нужно принять не споря. Ничто не затемняетъ больше въ сознаніи дѣйствительнойѣнности тѣхъ людей, съ которыми ее связала „ошибка“. Оставить ихъ оказывается для Эллиды невозможнымъ, и она остается съ ними, но уже „по собственному выбору и подъ своей отвѣтственностью“.

Счастливый Вангель задаетъ ей вопросъ: „А неизвѣстное... не влечеть тебя болѣе?“ Эллида отвѣчаетъ отрицательно: „Не влечеть и не пугаетъ. Я получила возможность взглянуть на него... пойти къ нему... если бы захотѣла. Теперь я могла избрать его. Теперь я могла отказатьться отъ него“. Отвѣчаетъ она отрицательно и на вопросъ, что собственно опредѣляло ея тосклившую неуравновѣшеннность. „Не знаю“, говорить она и утверждаетъ только фактъ, что Вангель примѣнилъ единственное средство, которое могло помочь ей: „Да, дорогой мой, вѣрный Вангель, теперь я возвращаюсь къ тебѣ. Теперь я могу сдѣлать это. Теперь я вду къ тебѣ свободно... добровольно и подъ своей отвѣтственностью“.

„Задача жизни“ стоитъ теперь передъ Эллидой во всей очевидности—та самая, которую она раньше не „замѣчала“, выражаясь словами Эллиды. Когда Вангель начинаетъ вслухъ мечтать, какъ въ дальнѣйшемъ сложится ихъ совмѣстная жизнь—жизнь вдвоемъ, Эллида вносить поправку. Вотъ этотъ диалогъ:

Эллида. И для нашихъ дѣтей, Вангель.

*Вангель. Нашихъ! *)*.

Эллида. Тѣхъ, которыхъ еще не принадлежать мнѣ... но которыхъ я сумѣю сдѣлать моими“.

Докторъ Вангель оказался хорошимъ врачомъ: благодаря его проницательности на свѣтѣ стало одной счастливой жизнью больше, однимъ лишнимъ человѣкомъ—меньше.

Мы остановились на „Женщинѣ съ моря“ съ особой подробностью, такъ какъ находимъ въ ней глубокое и тонкое освѣщеніе такой стороны въ человѣкѣ, которая меньше всего бросается въ глаза и которая, быть можетъ, больше всего раскрывается, почему счастью ведется счетъ на дни и на часы даже и тѣми, у которыхъ въ жизни есть „счетъ счастья“... Если бы не символизмъ, который мѣшаетъ читателю и заставляетъ видѣть символъ даже тамъ, где Ибсенъ говорить безъ всякихъ иносказаний, и если бы не экскурсія въ область научной психологіи и миро-

*) Курсивъ Ибсена.

выхъ „тайнъ“,—„Женщина съ моря“ была бы по-истинѣ художественнымъ откровеніемъ *). Не говоря уже о насы, „русскихъ, создавшихъ крылатыя слова объ „ежовыхъ рукавицахъ“.

Итакъ вотъ-что по Ибсену нужно человѣку, чтобы чувствовать себя человѣкомъ. Нужна задача жизни, центрирующая его душевныя силы. Нужна задача жизни свободно избранная,—избранная подъ своей личной отвѣтственностью. Внѣ этихъ условій жизнь можно только переносить,—кто можетъ переносить.

XI.

Нашей непосредственной задачей было изслѣдованіе одного изъ основныхъ мотивовъ творчества Ибсена.

Но русскому читателю невозможно остановиться на этой чисто литературной сторонѣ вопроса. Передъ нимъ встаетъ естественно, хотя, быть можетъ, неожиданно, нашъ собственный вопросъ о лишнихъ людяхъ. Вездѣ возможны лишніе люди, и Ибсенъ думаетъ, что они никогда не исчезнутъ: обѣ этомъ позабочится усердный поставщикъ драмъ — жизнь, какъ она сложилась, слѣдя своимъ противорѣчивымъ законамъ.

Но мы, русскіе — какъ цѣлое, сумѣли сдѣлать „лишнихъ“ людей привычными для глаза и обеспечили себѣ первое мѣсто по проценту „лишнихъ“, какъ обеспечили его по проценту слѣпыхъ и умирающихъ.

Трудно представить себѣ двухъ писателей болѣе разныхъ, чѣмъ Ибсенъ и нашъ Чеховъ. Одинъ говорить о родныхъ ему людяхъ и другой тоже говорить — съ такой искренностью и такой душевной болью — о близкихъ ему людяхъ! Но одного — виа родины слушаютъ, какъ своего писателя; другого слушаютъ

*) Чтобы избѣгнуть упрека въ произвольномъ толкованіи роли „Неизвѣстнаго“ въ пьесѣ Ибсена, оговоримся, что есть и иное толкованіе, не совпадающее съ нашимъ. Именно, по Швейцеру, Ибсенъ въ своей драмѣ „рисуетъ присущую человѣку чувственность, заглушающую въ его душѣ голосъ божественныхъ вѣлѣній, въ видѣ своего рода морскаго чудовища, въ лицѣ чужеземца, вліяніе котораго на героянію драмы тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе се отдаляетъ отъ него гнетъ обстоятельствъ“. („Скандинавское творчество новѣйшаго времени“; этюдъ, приложенный къ „Истории скандинавской литературы“ Горна. Стр. 337). Но это явное недоразумѣніе, такъ какъ самъ Ибсенъ, устами Вангеля, даетъ разъясненіе того, что именно онъ символизировалъ въ „Неизвѣстномъ“... Пытаясь разъяснить душевный процессъ у Эллиды, создавшей почву для драмы, Вангель, въ концѣ пьесы, говорить Эллидѣ: „твоё влеченіе къ нему... къ этому иностранцу... все это было лишь выраженіемъ пробудившагося въ тебѣ и выросшаго стремленія къ свободѣ. Вотъ и все“.

Очевидно, что никакой рѣчи о „чувственности“ не можетъ быть. Ибсенъ самъ далъ то толкованіе, которое мы положили въ основу анализа душевной драмы у Эллиды.

сь отънкомъ недоумѣнія (чтобы не сказать больше), какъ слушаютъ доклады путешественниковъ въ географическихъ обществахъ, когда не вполнѣ вѣрятъ точности сдѣланныхъ наблюдений. — У одного чувствуются люди, ведущіе упорную борьбу за свою жизнь; у другого чувствуется только настроение неудачной борьбы: чувствуется побѣдительница — жизнь, а сами побѣжденные съ ихъ душевными ранами остаются какъ-то недоступными для точного изслѣдованія... Одинъ — по манерѣ скульптора въ старомъ стилѣ, хотя и новаторъ по стремленіямъ: его фигуры отчетливы и рѣзки зачастую; у другого — только намеки на рельефъ и контуры расплывчаты, какъ у Родена. — Одинъ стремителенъ въ своемъ творчествѣ: его драмы цѣлый „водоворотъ“; другой ровенъ, какъ русскія степные реки. — Одинъ все передумалъ, другой все перечувствовалъ, но перечувствовалъ въ какихъ-то тискахъ мысли и сердца.

Быть можетъ, впрочемъ, это-то и заставляетъ думать о нихъ вмѣстѣ. По началу контраста. Заставляетъ вслѣдъ за энергичными строителями жизни Ибсена и не менѣе энергичными его „лишними людьми“ вспомнить о „хмурыхъ людяхъ“ русскихъ „сумерекъ“.

„Каждый человѣкъ созданъ для своего дѣла и цѣль его жизни — это рай его. Онъ неуклонно долженъ къ ней идти, хотя бы между нимъ и ею лежалъ широкій океанъ“ („Брандъ“).

Русскихъ людей отъ ихъ задачи жизни, мало-мальски крупной, всегда отдѣлялъ широкій океанъ, въ родѣ того, о которомъ говоритъ Брандъ. Но всегда находились смѣлые люди, которыхъ океанъ не пугалъ; они уходили изъ нормальной жизни, жили на-проломъ — подъ своей собственной ответственностью и погибали... Даже среди героеvъ Чехова есть „неизвѣстный человѣкъ“, которому символъ вѣры Бранда понятенъ.

Но вѣдь это все то, что называется „подвигомъ“ и чemu нѣть мѣста въ обыденной жизни и для силъ средняго человѣка. Что же они должны были дѣлать — средніе люди, если имъ случалось хотѣть больше, чѣмъ они могутъ? Если имъ нужно была, какъ Эллндѣ, хотя и маленькая, но свободно избранная, подъ своей ответственностью, задача жизни?..

...Они пополняли ряды „хмурыхъ людей“ Чехова... Объ этихъ злополучныхъ людяхъ сложилось представление, какъ о „пустозвонныхъ говорунахъ“, нытикахъ и „неврастеникахъ“, ни къ чemu органически не пригодныхъ. Это, однако, справедливо только въ томъ случаѣ, если справедливо и относительно лишилъ людей Ибсена.

Что нужно хмурымъ людямъ русскаго писателя? — „Я вѣрю, слѣдующимъ поколѣніямъ будегъ легче и виднѣе, къ ихъ услугамъ будетъ нашъ опытъ. Но вѣдь хочется жить независимо отъ будущихъ поколѣній и не только для нихъ. Жизнь дается одинъ разъ, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется

играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется драматизировать историю, чтобы та же поколения не имели права сказать про каждого изъ насть: то было ничтожество, или еще хуже того. Я вѣрю въ цѣлесообразность и въ необходимость того, что происходит вокругъ, но какое мнѣ дѣло до этой необходимости, зачѣмъ пропадать моему „я“?

Подобно Норѣ Ибсена жаждетъ этотъ „неизвѣстный человѣкъ“ чуда, огромнаго чуда: „Что если бы чудомъ настоящее оказалось сномъ, страшнымъ кошмаромъ, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своей правдой?.. Сладкія мечты жгутъ меня и я едва дышу отъ волненія. Мнѣ страстно хочется жить, хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, какъ сводъ небесный“ („Разсказъ неизвѣстнаго человѣка“). Иногда мечта о невозможномъ чудѣ пріобрѣтаетъ характеръ вѣры въ возможное чудо. „Знаете, я съ каждымъ днемъ все болѣе убѣждаюсь, что мы живемъ наканунѣ величайшаго торжества, и мнѣ хотѣлось бы дожить, самому участвовать“ („Три года“—Ярцевъ). Но участвовать хмурымъ людямъ приходится совсѣмъ въ другомъ, и ихъ тяготить ложь и безобразіе жизни—не въ отдѣльныхъ проявленіяхъ, а какъ общій неустранимый признакъ колективной жизни, въ которой они должны участвовать. „Я человѣкъ отъ природы неглубокій,—говорить о себѣ герой разсказа „Страхъ“,—и мало интересуюсь вопросами, какъ загробный міръ, судьбы человѣчества, и вообще рѣдко уношусь въ высь поднебесную. Мнѣ страшна, главнымъ образомъ, обыденщина, отъ которой никто изъ насть не можетъ спрятаться. Я неспособенъ различить, что въ моихъ поступкахъ правда и что ложь, и они тревожатъ меня, я сознаю, что условія жизни и воспитаніе заключили меня въ тѣсный кругъ лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, какъ ежедневная забота о томъ, чтобы обманывать себя и людей и не замѣтить этого, и мнѣ страшно отъ мысли, что я до самой смерти не выберусь изъ этой лжи“. Изъ безобразной, ничѣмъ *неприкрашенной* лжи... У Чехова есть маленький символический разсказъ: „Знакъ восклицательный“. Маленький чиновникъ неожиданно убѣждается, что на свѣтѣ существуетъ восклицательный знакъ; наводить у своей жены, которая „недаромъ 7 лѣтъ въ пансіонѣ была“, справку о смыслѣ этихъ невѣдомыхъ знаковъ. Оказывается, что смыслъ грамматической есть: жена еще не забыла, что „этотъ знакъ ставится при обращеніяхъ, восклицаніяхъ и при выраженіяхъ восторга, негодованія, радости, гнѣва и прочихъ чувствъ“. Открытие оказалось ошеломляющимъ. „Сорокъ лѣтъ писалъ онъ (чиновникъ) бумаги, написалъ онъ ихъ тысячу, десятки тысячъ, но не помнить ни одной строки, которая выражала бы восторгъ, негодованіе или что нибудь въ этомъ родѣ“. И маленькаго чиновника мучаетъ до

таллюцинацій этотъ „восхлипателный знакъ, безъ котораго и жизнь, и онъ сдѣлялись „пишущей машиной“.

Развѣ все это не то же, чего жаждутъ энергичные герои Ибсена?

Въ противность Ибсену, который всегда является въ роли часовщика: разыскивающимъ, какое именно колесико перестало правильно работать въ душѣ его неудачниковъ: чувство „безвинности“, чувство „отвѣтственности“, чувство „долга“, чувство правды, переходящее въ „изнурительную лихорадку справедливости“, жажды и внутренней свободы и самоопределенія и т. д.—Чеховъ передаетъ только фактъ и созданное имъ настроение, отказываясь отъ анализа, какой именно психологической факторъ сдѣлалъ его хмурыхъ людей хмурыми, и что именно должно измѣниться въ ихъ личной жизни—какое колесико нужно перемѣнить въ ихъ душевномъ строѣ, чтобы они перестали себя чувствовать хмурыми и лишними. Самое большое, что онъ говорить о нихъ, это—что они не виноваты, хотя чувствуютъ себя виноватыми, чувствуютъ себя той травой въ „Степи“, сожженной солнцемъ, „страницу пѣсни“ которой слушалъ Егорушка. „Въ своей пѣснѣ она, полумертвая, уже погибшая, безъ словъ, но жалобно и искренно убѣждала кого-то, что она ни въ чёмъ не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она увѣряла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощенія и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя“.

Пѣсня травы—пѣсня хмурыхъ людей Чехова. Имъ тоже (сравните „Разсказъ неизвѣстнаго человѣка“: почти тождественные *) выраженія) хочется быть „красивыми“, имъ хочется прожить жизнь „бодро, осмысленно, красиво“, хочется „дѣлать исторію“, но какое-то солнце „выжгло ихъ понапрасну“, и имъ, какъ и травѣ, „невыносимо больно, грустно и жалко себя“.

Что же выжгла жизнь въ этихъ близкихъ Чехову людяхъ? Отвѣтъ — конечно, не исчерпывающій — мы находимъ у Ибсена. Сравнивая его лишнихъ людей и хмурыхъ людей Чехова, мы убѣждаемся, что наши ненужные люди только варіантъ на общечеловѣческую тему о людяхъ, лишенныхъ задачи жизни,—но варіантъ въ самобытной формѣ. Въ самомъ дѣлѣ, если человѣку для бодрой и сильной жизни нужна, какъ абсолютное условіе, задача жизни свободная, свободно избранная, избранная подъ своей отвѣтственностью,—то, очевидно, что у насъ не можетъ не быть массового произ-

*) Мы подчеркиваемъ это совпаденіе, въ виду сдѣланныхъ уже попытокъ истолковать Чехова, какъ художника, для котораго символъ вѣры исчерпывается словами: люди дуры, потому что дуры, и никто въ этомъ не виноватъ, кромѣ нихъ самихъ.

водства лишнихъ людей.—Можетъ ли быть рѣчъ о „свободномъ выборѣ“ задачи жизни для тѣхъ, кто хотѣлъ бы—хоть немножко хотѣлъ бы,—чтобы жизнь была „свята, высока и торжественна, какъ сводъ небесный“? Задача жизни свободно избираема только для тѣхъ, кто равнодушенъ къ такимъ вещамъ. Но тогда неудивительно, что мы фабрикуемъ лишнихъ людей сотнями, что русская жизнь создала такого исключительного художника, какъ Чеховъ, и обезпечила его художественнымъ материаломъ на всю жизнь!

Единственное, что самобытно въ этихъ десяткахъ незамѣтныхъ драмъ, въ нѣсколькихъ словахъ, рассказанныхъ Чеховымъ, это—что хмурые люди не знаютъ, отъ чего они страдаютъ и не могутъ указать „единственного средства“, подобно Эллидѣ, которое могло бы имъ помочь.

Представители „умѣренности“ не разъ указывали, что русские хмурые люди не „занимаются дѣломъ“^{*)}). Указывали на примѣръ „здоровыхъ людей“ за рубежомъ, которые занимаются тѣми же мелкими дѣлами, которыхъ невозвратны и для хмурыхъ русскихъ людей; занимаются, потому что они здоровы, а не дряблы... Въ этомъ будто бы вся суть нашей хмурости—въ томъ, что мы не способны здорово относиться къ жизни... Вопросъ, однако, въ томъ, что люди, ставимые въ примѣръ „хмурымъ“, все, что дѣлаютъ,—дѣлаютъ свободно, не подъ давлениемъ. Надъ ними не виситъ сознаніе подневольного выбора, не виситъ „притягивающая“ власть того, что нужно и что невозможно. Что это не наша самобытная болѣзнь, не наследственная болѣзнь русской души,—порукой въ этомъ общечеловѣческія драмы Ибсена. И мы выльчимся отъ этой болѣзни такъ же внезапно, какъ выльчилась Эллида. И хмурые люди такъ же точно возьмутъ на себя черную работу, которой тяготились, когда она была для нихъ обузой факта... Для этого нужно то „единственное средство“, которое примѣнилъ Вангель: нужно, чтобы свобода нравственного выбора и самоопределѣнія перестала быть достояніемъ только тѣхъ героевъ русской жизни, которые осмысливались уходить въ „широкій океанъ“ и тамъ погибали; она должна стать достояніемъ массовой нормальной жизни, въ которой гибнущіе теперь герои займутъ мѣсто „строителей“ домовъ съ башнями, „ходящими въ небо“, и „воздушныхъ замковъ на каменномъ фундаментѣ“, въ которыхъ только и можетъ, по Ибсену, жить „настоящее человѣческое счастье“.

А. Е. Рѣдѣно.

^{*)} Напомнимъ, что Эллида тоже не „занимается дѣломъ“ у Ибсена.

Про новое ПРО НОВОЕ *).

Рассказъ.

Изъ дневника стараго нотаріуса.

Да, я хочу писать про скучу, такъ какъ скучка была главнымъ настроениемъ моей жизни, взрослой жизни. Вотъ полгода я сижу прикованный къ креслу, мои ноги не ходять и—доктора говорять—никогда не будутъ ходить,—я хотѣль воспользоваться своимъ большимъ свободнымъ временемъ, чтобы написать, не мудрствуя лукаво, о моей жизни и о той жизни, которая шла рядомъ со мной,—написать про скучу русской жизни, откуда она „пошла и стала есть“...

И вотъ прошло три мѣсяца, и только теперь я рѣшился, наконецъ, писать. Когда я оглянулся назадъ и сталъ подводить итоги, оказалось, что жизни-то и не было. Были дни, были отдѣльные факты, были, такъ сказать, случаи изъ жизни, а жизни не было. Не было жизни, какъ чего-то связнаго, послѣдовательнаго, гдѣ прошлое есть вчерашній день настоящаго, а сегодняшній—завтра будущаго. И не только въ моей личной жизни. Ну что же!—сложилась она не очень складно и связно, быть можетъ, по моей винѣ,—но и въ той жизни, которая шла мимо меня, вообще въ жизни. И что мнѣ писать о себѣ? Довѣренности, запродажныя записи, купчія крѣпости, духовныя завѣщанія, опять довѣренности, опять купчія... Понедѣльникъ, вторникъ, среда, пять лѣтъ, десять лѣтъ, цѣлыхъ тридцать лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ я сѣлъ за столъ нотаріуса, въ тотъ самый день, когда Генрихъ Осиповичъ прибивалъ рядомъ со мной вывѣску надъ своей аптекой... Да, тридцать лѣтъ!.. И выговариваю я это не съ испугомъ, а съ удивленiemъ, недоумѣнiemъ: куда они ушли? Мнѣ хочется вспомнить. Довѣренности, крѣпостные акты, ду-

* Было другое заглавіе: „Про скучу“. Оно было зачеркнуто и болѣе свѣжими чернилами написано: Про новое.

ховных завещаний, клубы, имянины, похороны, кто-то приходил, кто-то уходил. Всё мы же сходились и виделись, разговаривали, спорили... А что мы говорили, про что спорили,—не помню. Я напряженно всматриваюсь в прошлое, вслушиваюсь в те забытые голоса и вспоминаю одно—анекдот. И когда я вспоминаю кого-нибудь, съ кемъ я десять, пятнадцать лѣтъ игралъ въ винтъ, когда вспоминаю тѣхъ людей, съ которыми встрѣчался на имянинахъ и свадьбахъ, я вспоминаю анекдоты, анекдоты, которые тѣ люди любили рассказывать. Я теперь вижу, что и разговоры наши имѣли форму анекдотовъ,—связные разговоры такъ быстро утомляли насъ,—и если, бывало, вѣтъгаль кто-нибудь съ оживленнымъ лицомъ въ наше скучающее общество, мы все знали, что онъ принесъ новый анекдот—и оживлялись, и нетерпѣливо спрашивали:

— Ну что?—И любили мы въ газетахъ „смѣсть“ и „разные разности“, и мы смѣялись надъ мужиками, когда они отмѣчали періоды своей истории:—„это было еще до первой холеры“...—и сами не замѣчая того, такъ же отмѣчали наше лѣтосчислѣніе:—„это было еще при полиціймейстерѣ Храповѣ“...

Да, да я теперь вспоминаю—были только анекдоты. И то, что писалось и пропагандировалось въ газетахъ, представляется мнѣ теперь въ формѣ анекдотовъ, жалкихъ, вульгарныхъ анекдотовъ. Помню анекдот про несгораемыя крыши для мужицкихъ избъ... Какъ насъ, хмурыхъ людей, оживлять принесенный кѣмъ-нибудь новый анекдотъ, такъ, въ это хмурое время, оживились газеты. Изъ газеты въ газету перекатывалась несгораемая крыша, и была въ ней государственная миссія и основывались или предполагалось основать учебные заведенія для преподаванія несгораемыхъ крышъ... А потомъ, какъ и въ напѣмъ обществъ, анекдотъ сдѣлался старымъ и скучнымъ, появился новый анекдот—древонасадженіе. И это уже старый анекдотъ. А потомъ борьба съ дѣтской смертностью... И не то, что не было истории, все горѣли крестьянскія крыши и вырубались лѣса и вымирала дѣтская Россія,—это была настоящая, подлинная история, совершенно связная и послѣдовательная, но преломлялась она въ зеркаль русской жизни только въ формѣ анекдотовъ. И сколько такихъ анекдотовъ можно вспомнить за тридцать лѣтъ моей жизни!

Быть можетъ, тамъ, въ центрахъ, въ то время, какъ я сидѣлъ въ своей конторѣ нотаріуса, шла жизнь, дѣлалась история, развивалось дурное или хорошее, но нѣчто связное, послѣдовательное... Быть можетъ... но пока она доходила къ намъ, въ нашъ городъ, она разрывалась по дорогѣ на клочки

и приходила къ намъ въ разорванномъ видѣ только въ формѣ анекдотовъ, помню,—довольно однообразныхъ, однотонныхъ анекдотовъ.

— А вы знаете, онъ укралъ?—привозилъ возвращавшійся изъ Петербурга обыватель новый анекдотъ и говорилъ, кто „онъ“ и что укралъ, и сколько...

— Били...—И опять пріѣхавшій обыватель рассказываетъ, гдѣ били, кого били и сколько народу избили.

Иногда анекдотъ выросталъ до скандала кричащаго, жестокаго, и люди какъ будто пробуждались и начинали кричать и шумѣть, но такъ скоро шумъ кончался и скандалъ становился обыкновеннымъ старымъ анекдотомъ. И вотъ, я стараюсь вспомнить эти анекдоты за тридцать лѣтъ и только вспоминаю, что кто-то воровалъ, кого-то били... И, быть можетъ, только одна эта однотонность анекдотовъ и даетъ нѣчто связное и послѣдовательное, какой-то своеобразный видъ исторіи.

Даже литература...

Я кладу перо и думаю, долго, мучительно думаю. Знаютъ ли въ Петербургѣ, какъ любимъ литературу мы, одинокіе люди, въ нашихъ одинокихъ, заброшенныхъ углахъ? Не я одинъ, я знаю,—вездѣ есть такие любители, и какъ онъ глубоко неправъ, Шедринъ, когда писалъ: „Читатель почитывается“... Знаютъ ли они, съ какой жадностью раскрывается только что полученная книжка любимаго журнала? Янюхаю ее,—да, нюжу. Я разрѣзываю въ срединѣ книжку и втягиваю въ себя этотъ странный, непровинциальный запахъ, еще не исчезнувшій запахъ типографіи, печатнаго дѣла. И клубъ отмѣняется въ тотъ день, и читается „книга“, и мы пріобщаемся къ культурѣ. Да, да, и это совсѣмъ не смѣшно, это такъ и есть, такъ какъ для насъ, провинциальныхъ любителей литературы, она—вся радость русской жизни, вся надежда, въ ней концентрируется, въ ней развивается единственно связное, послѣдовательное теченіе русской жизни,—будущее ея.

И вотъ книжка только что разрѣзаннаго журнала лежитъ на моихъ колѣняхъ, и я все думаю, думаю. Мнеъ тяжело думать одному, и я начинаю спрашивать себя—ужь было ли то, что было 30 лѣтъ тому назадъ? И я ѿду съ своимъ кресломъ въ столовую, къ моей сестрѣ и говорю ей:

— Ты не помнишь, что они тогда пѣли?

Она все помнить, потому что пѣли наши младшіе братья и сестры, которымъ она замѣнила мать, и поднимаетъ очки на лобъ и говоритъ мнѣ:

— Развѣ ты забылъ? — Саша любилъ „Полоса-ль ты,

моя, полоса"…—Суровое лицо моей сестры становится добре, и она говорить:

— Ася все пѣла: „Укажи мнѣ такую обитель”…

Значить это было, я тоже помню. И мы говоримъ про Сашу, который тогда рѣшилъ, что докторскій дипломъ отдалаеть отъ народа, а фельдшерскій приближаеть, и потому съ пятаго курса бросиль медико-хирургическую академію и поступилъ фельдшеромъ въ глухой уѣздъ на востокѣ Россіи и тамъ долго работалъ, пока не умеръ отъ тифа. И суровое лицо сестры совсѣмъ доброе, и слезы блестятъ на суровомъ лицѣ.

Да, это все было. Я уѣзжаю въ свою комнату и все вспоминаю и Сашу, и Асию, и ту молодежь, которая собиралась у нихъ, у меня же въ домѣ, и тѣ журналы, которые они читали, и тѣ споры, которые велись при мнѣ.

Да, превыше всего община, а въ переднемъ углу мужикъ сидѣлъ. За тѣмъ же столомъ фабричный человѣкъ сидѣлъ, и полна была горница трудящагося люда… И были долгъ, совѣсть, жалѣющая любовь и покаяніе. И перестройка всего міра, чтобы людямъ жилось просторно въ мірѣ, и борьба на всѣ фронты за достиженіе самаго высокаго, самаго полнаго счастья для всѣхъ людей, на всѣ вкусы… А потомъ оказалось, что у нась, въ Россіи, слишкомъ много большихъ дѣлъ и въ этомъ зле, и нужно забыть про большія дѣла, а дѣлать маленькия и крыть Россію маленькими несгораемыми крышами.

А потомъ стали говорить, что не нужно ничего перестраивать,—все само перестроится, и не нужно биться ни на какіе фронты, а нужно перестраивать только самихъ себѣ и удаляться отъ зла. А потомъ община оказалась самымъ страшнымъ зломъ, и мужика изъ горницы выгнали, а посадили туда фабричного рабочаго, и въ томъ, что писалось, чувствовались и злоба, и презрѣніе, и ненависть къ мужику за то, что онъ мужикъ и не дѣлается фабричнымъ рабочимъ. А потомъ и такъ случилось, что о долгѣ передъ народомъ, о совѣсти и любви стало не совсѣмъ приличнымъ говорить въ передовомъ обществѣ, и слово „жалость“ сдѣлалось запорнымъ словомъ. И все это называлось переоцѣнкой всѣхъ цѣнностей.

Удивительнѣе всего, что все это были люди безродные и, когда имъ говорили, что у нихъ есть отцы и родня, Саши и Аси, они обижались и говорили, что они отказываются отъ всякаго родства, отъ всякаго наслѣдства, и говорили со злобой и негодованіемъ люди внутренней перестройки, „фабричные люди противъ народныхъ людей“.

И безродные люди приходили и уходили, и все отказы-

вались отъ наслѣдства, все переоцѣнивали всѣ цѣнности. И забывались тѣ вѣкія главы новѣйшей русской исторіи, 60-е и 70-е года, и то первое и самое важное, что написано было въ тѣхъ главахъ.

Мы, любители русской литературы, знали и слѣдили за тѣмъ связнымъ и послѣдовательнымъ теченіемъ, которое отправлялось отъ прошлаго и шло въ будущее и неуклонно стремилось къ тому, чтобы не умирали русскія дѣти, какъ мухи, и чтобы всѣмъ было просторно и свѣтло жить въ Россіи. Но такъ часто эта связная и послѣдовательная исторія прерывалась безродными анекдотами.

Случайно, но всетаки мнѣ приходилось встрѣчать за тридцать лѣтъ и въ нашемъ городѣ представителей всѣхъ этихъ анекдотическихъ теченій, и, къ удивленію, всѣ они оказывались незлобными людьми, все это были чудеснѣйшіе, превосходнѣйшіе люди, и, къ удивленію, въ нихъ были всѣ тѣ же цѣнности и долгъ, и совѣсть, и жалость. Только они—русскіе люди, дѣти несвязной русской исторіи, только думали они анекдотами, чувствовали анекдотически. Должно быть, это особенность русской жизни, безродной русской исторіи. Было неизвѣстно, что деянь грядущій намъ готовить, и то, что онъ готовилъ, было неожиданностью для дня настоящаго.

Я вспоминаю: вѣдь было же земство, городское самоуправление, вспоминаю судъ, народное образованіе... Да, именно вспоминаю. Вспоминаю, какъ они явились, какими были, когда были молоды, когда все это—и судъ, и земство, и народное образованіе, все это отливалось въ одну форму и вставало изъ русской жизни цѣльнымъ, одухотвореннымъ, какъ статуя изъ бѣлаго мрамора,—она такъ выпрямила тогда русскихъ людей... Да, вспоминаю—какъ низkie, грязные негодяи сорокъ лѣть ломали руки и тѣло прекрасной статуи, какъ плевали въ бѣломраморное лицо и какъ постепенно та статуя, которая выпрямляла когда-то насъ, обломанная, изуродованная постепенно возвращалась къ той глыбѣ безформенного камня, изъ котораго она вышла.

Однажды я испугался, и тогда начался мой ретроспективный взглядъ. То было, когда появилась книга—это недавно было, кажется называлась она „О вредѣ тѣлесныхъ наказаний“. Говорять,—я увѣренъ въ этомъ—написали ее, толстую книгу, умные люди, чудеснѣйшіе, превосходнѣйшіе люди съ прекраснѣйшими намѣреніями, а я испугался. И сейчасъ помню, какъ приносили ее мнѣ, и я не могъ развернуть ее. Думаль,—вдругъ я прочитаю, что тѣлесное наказаніе вредно, что пороть людей противно совѣсти, что порка розгами человѣка по обнаженному тѣлу унижаетъ его

человѣческое достоинство,—вдругъ тамъ окажется статистика, свидѣтельства отъ разума, историческая справки? Такъ и не развернуль... Вѣдь сорокъ лѣтъ прошло съ той весны, съ того освобожденія, а черезъ сорокъ лѣтъ появилась книга о вредѣ тѣлеснаго наказанія... Да. И вотъ тогда-то мнѣ и стало страшно. Тогда показалось мнѣ, что никакихъ нѣть статуй и мрамора, а въ результатѣ сорока лѣтъ опять то же старое, воюющее, растрескавшееся пушкинское корыто, предъ которымъ сидѣть старуха, вызывавшая золотую рыбку, а на днѣ корыта, какъ свидѣтельство о корытѣ, толстая книга о вредѣ тѣлесныхъ наказаній для русскихъ людей.

19... года.

Я возвратился къ старинѣ, къ эпосу. Я читало Гомера, жизнеописанія Плутарха, полюбилъ и перечитываю библію,—то, что я такъ давно не развертывалъ. Мнѣ нравится то связное и послѣдовательное, не анекдотичное, что есть въ старыхъ сказаніяхъ, гдѣ все такъ ясно, такъ невозмутимо просто, всѣ и все имѣютъ свои опредѣленныя мѣста, нравится эпической тонъ, съ которымъ разсказывается и жестокое, и трогательное, что происходит въ жизни. Миръ ушелъ отъ меня съ своей суполовкой и своими анекдотами, для меня осталось мое кресло и четыре комнаты моего домика на окраинѣ города и окно моей спальни, изъ котораго видна изгородь переулка, и за переулкомъ, такъ близко, домикъ Скрипки, старого сибирскаго исправника, съ которымъ я когда-то учился въ гимназіи, и люди—немного людей, которые толкуются около меня. И газета не такъ жадно развертывается и не всегда прочитывается. Я возвратился къ эпосу.

Ко мнѣ приходитъ Федоръ, мой дворникъ, самый близкій теперь ко мнѣ человѣкъ,—онъ одѣваетъ меня, раздѣваетъ, поднимаетъ на своихъ сильныхъ рукахъ мое грузное тѣло и, когда онъ въ добромъ расположеніи духа, то вывозить меня въ креслѣ въ садикъ—„прогуляться“, какъ выражается онъ. Глазъ у него подбитъ, лѣвая половина лица распухла, онъ говорить, что его зовутъ въ полицію.

— Что это такое у васъ?—спрашиваю я про его глазъ.

— То жъ ночью... Парубки пришли изъ-за рѣчки, ну, мы ихъ били.

И на мое недоумѣніе разъясняетъ, что пришли парубки изъ-за рѣчки къ дѣвушкамъ нашей слободки, и потому надо было ихъ бить.

— Тоже наши дивчата... — убѣжденno говорить Федоръ.

Я напоминаю ему, что мѣсяцъ назадъ онъ ночевалъ въ полиціи послѣ того, какъ забрался къ дивчатамъ другой слободки—къ чужимъ дивчатамъ.

Федоръ пріятно улыбается и говорить:

— Мы и тогда ихъ били. Воны дурные.

Я смотрю на него и восхищаюсь нетронутымъ эпосомъ, которымъ вѣть отъ него, какъ отъ дикаря, который находилъ, что хорошо все то, что онъ взялъ, и дурно то, что у него взяли. На немъ сапоги, мои почти новые охотничыи сапоги, и я говорю:

— Хорошіе у васъ сапоги, Федоръ!

— Эге, сапоги добри...—И любезно показываетъ мнѣ ярко вычищенные голенища и новыя подметки,—лицо его эпически ясно, и никакъ не укладывается въ моей головѣ слово „воръ“. — Если я напоминаю Федору, что даль ему пять рублей на покупки и что нужно получить съ него два рубля сдачи, онъ любезно шарить въ своихъ карманахъ, бѣжитъ въ дворницкую и приносить мнѣ два рубля,—если я скоро вспоминаю. Если же проходить недѣльная или десятидневная давность, онъ уже считаетъ себя обиженнымъ и возмущается, и я конфужусь за мое требование сдачи.

— Вы зачѣмъ взяли доху у Скрипки?—вспоминаю я вчерашній инцидентъ. Вчера былъсосѣдъ мой Скрипка и жаловался, что у него пропала доха, и нашель онъ ее черезъ мѣсяцъ въ моей дворницкой, на кровати Федора, гдѣ она изображала матрацъ. Лицо Федора полно негодованія, онъ сыплеть яркими колоритными ругательствами по адресу скаженаго Скрипки и объясняетъ, что доха лежала—думаю, съ основанія города единственная въ немъ — на нашемъ дворѣ, у забора, и что онъ пыталъ у разныхъ свѣдущихъ людей, откуда явилась доха, и никакъ не могъ найти хозяина, а потому и спалъ на ней.

— Та нехай винъ тричи подавится!

Негодующи, онъ уходитъ въ поліцію судиться по поводу набѣга парубковъ на дивчать нашей слободки, которыхъ онъ считаетъ своею собственностью, а я думаю о Федоровой душѣ.

Онъ принципіальный человѣкъ, и у него есть идея. Онъ „позывается“ и, кажется, для того и пришолъ въ городъ, чтобы добыть деньги, чтобы было на что позываться. Онъ только недѣлю назадъ возвратился изъ деревни, куда ёздилъ позываться съ своимъ дядькомъ и предъ отъездомъ взялъ зажитые пятьдесятъ рублей, а когда я спросилъ, зачѣмъ ему такъ много денегъ, онъ подробно объяснилъ, что ему будетъ стоить нанять пару воловъ и нагрузить на нихъ свидѣтелей, сколько могутъ поднять волы, и отвезти ихъ въ городъ на судъ и кормить, и поить ихъ. Онъ и раньше бралъ у меня двадцать пять рублей на то же позыванье и теперь опять проигралъ дѣло, такъ какъ дядько нанялъ двѣ

пары воловъ и привезъ на судъ вдвое больше свидѣтелей. И когда я узналъ, что споръ идетъ изъ-за кусочка земли, который стоилъ много-много пятьдесятъ-сто рублей, и начинай доказывать Федору, что они съ дядькомъ уже истраили въ нѣсколько разъ больше, чѣмъ стоитъ спорная земля, онъ упрямо повторялъ:

— Винъ мими голову морочить. Винъ мене не одурить!

Я увѣренъ, что онъ поѣдетъ въ третій, въ четвертый разъ и истратить еще пятьдесятъ и сто рублей, такъ какъ онъ принципіальный человѣкъ, и главная его честь заключается въ томъ, чтобы онъ дурилъ другихъ людей и морочилъ имъ голову, а не они ему. Я любуюсь на его могучія руки, лихо закрученные черные усы, его эпически непоколебимую, круглую, какъ арбузъ, голову и съ завистью слушаю, какъ онъ цѣлыми ночами напролетъ гуляетъ съ привадлежащими ему дивчатами тамъ у рѣчки, такъ недалеко отъ моего окна, и съ полнымъ воодушевленіемъ поетъ про Сагайдачнаго-необачнаго:

„Продавъ свою жинку за тютюнъ та люльку, необачный“...

19... года.

Днемъ заходитъ Скрипка,—какъ всегда выпивши, настоящій хитроумный Одиссей, переплывшій тоже много морей. Онъ огромный, съ сѣдыми усами, и на головѣ сѣрый пухъ вмѣсто волосъ. Когда-то мы расли вмѣстѣ,—онъ изъ мелкопомѣстныхъ дворянъ нашего же уѣзда,—изъ тѣхъ, кого въ Малороссіи называютъ „панокъ поганенькій“—онъ недолго учился въ гимназіи и больше 30 лѣтъ прослушивалъ въ Сибири. Приходить, какъ всегда, выпивши, и какъ всегда разсказываетъ одну и ту же безконечную, какъ дорога въ Сибирь, исторію своихъ служебныхъ подвиговъ; разсказываетъ возмутительная дѣла невозмутимымъ эпическимъ тономъ,—какъ онъ ёздилъ въ глухія, пограничныя съ тунгусами и якутами волости, какъ собиралъ тамъ дани, какъ міръ выставлялъ ему угощеніе и посыпалъ поочереди на ночь дѣвшукъ и женщины,—все тотъ же старый русскій анекдотъ,—какъ онъ воровалъ и какъ билъ... И у меня вырывается восклицаніе:

— Какъ же васъ, Сильвестръ Федоровичъ, въ каторгу не послали?

Онъ отвѣчаетъ, какъ Федоръ:

— Эге! Меня не одурятъ... Ревизоръ прїехалъ изъ Питера—такій маленькій.—„Слѣдствіе!“ „Подъ судъ!“ Такій сердитый!

Скрипка смеется.

— Вся Сибирь знает! — съ гордостью говорить онъ, — на пяти подводахъ дѣло везли въ губернію... Разыскивали... Такъ и печатали въ губернскихъ вѣдомостяхъ: „разыскивается коллежскій асессоръ Скрипка...“ Разъ изъ канцеляріи генераль-губернатора бумага пришла: „по свѣдѣніямъ“ и прочее, „такой-то Скрипка проживаетъ въ городѣ...“ А я въ губернскомъ правлениі въ это время служилъ, — ну, само собой, по вольному найму — черезъ меня бумага шла; я и подмахнулъ: „по справкѣ коллежскаго асессора Скрипки на жительствѣ въ городѣ не оказалось...“

Онъ каплюетъ, огромный животъ дрожитъ отъ смѣха, и лицо наливается кровью.

— Полиціймейстеръ подписьываетъ, говоритъ: — Ты хоть бы самъ-то не писалъ своей рукой, — чего озоруешь? Айда въ Токмаковку!..“ Деревня была, черезъ рѣку, — станъ, значитъ... Ну, сейчасъ въ Токмаковку съ засѣдателемъ на козѣ охотиться. А полиціймейстеръ въ станъ бумагу: „по свѣдѣніямъ проживаетъ...“ а засѣдатель: — „по справкѣ на жительствѣ не оказалось...“ Значить, опять въ городѣ, въ губернское правление. Такъ и щадилъ черезъ рѣку, — шесть лѣть щадилъ... — улыбается Скрипка. — А тамъ пожаръ случился въ губернскомъ правлениі, — и пожаръ-то маленький, снова улыбается Скрипка, — а что было лишнее, — сгорѣло! И дѣло мое кончилось...

И все тутъ связное и послѣдовательное, и такимъ эпосомъ вѣеть на меня отъ одиссеи Скрипки...

— Чего же вы не остались тамъ, Сильвестръ Федоровичъ? — снова вырывается у меня. — Вотъ вамъ какъ хорошо въ Сибири жилось... И полную пенсію получили... И пріятелей сколько...

Онъ молчитъ, и на лицѣ его недоумѣніе. Онъ долго смотрѣтъ на меня тусклыми оловянными глазами и медленно говорить:

— Тамъ птица мовчить. Не спивае...

Онъ все смотрѣтъ на меня, и что-то бродить на его обрюзгшемъ лицѣ, и онъ повторяетъ:

— Не спивае...

Онъ ходить по комнатѣ большими грузными шагами, отъ которыхъ гнутся половицы пола и медленно выговаривается:

— Сижу тамъ и слышу, какъ у насть... Помните, въ гимназіи учились — вотъ тутъ, за рѣчкой, удодъ кричалъ: „худо тутъ, худо тутъ“, а мы ему, бывало, говорили: „лети дальше...“ А то еще птица кричала, — у насть на хуторѣ, въ

Гаю, за шинкомъ Берки: „риба-риба,—ракъ-ракъ-ракъ, типикъ-тирикъ,—дракъ дракъ-дракъ..“ А тамъ мовчить.

И онъ пріѣхалъ послушать, какъ птица поетъ въ Малороссии,—онъ, у которого перемерли всѣ родные, и знакомыхъ, кажется, осталось только я, да стариkъ Берко.

Вчера вернулась Елена. Она подошла ко мнѣ и сказала:
— Здравствуйте, баринъ!
Я очень радъ.

190.. года.

Я очень радъ. Она удивительная — эта кухарка Елена. Который разъ поступаетъ она къ намъ на службу,—я ужъ не помню. Она является всегда неожиданно и въ своемъ обычномъ полномъ вооруженіи — съ большимъ томомъ жизнеописанія Петра Великаго, съ Наполеономъ и револьверомъ, который она называетъ „пистолетъ“. Зачѣмъ ей нуженъ былъ пистолетъ, я не знаю, но онъ всегда при ней и, ложась спать, она непремѣнно кладетъ его подъ подушку. Елена читаетъ всякия книги, но время отъ времени возвращается къ Петру Великому и Наполеону и, когда начитается ими въ полной мѣрѣ,—идетъ къ сестрѣ и говоритъ ей:

— Вотъ люди были, барыня! Вотъ жили, вотъ дѣла дѣлали! А теперь что?

И глаза блестятъ у ней, и восторгъ и негодованіе слышатся въ голосѣ. Тогда на нѣкоторое время она проявляетъ въ кухнѣ кипучую дѣятельность, у ней несомнѣнныи подъемъ духа, и фантазія работаетъ въ повышенномъ темпѣ,—тогда она угощаетъ насъ своими удивительными экзотическими обѣдами.

— Я завтра, барыня, приготовлю греческій обѣдъ.

И она готовить греческій обѣдъ, армянскій, еврейскій, французскій. И весь тотъ кулинарный опытъ, который добыла она въ своихъ вѣчныхъ скитаніяхъ, она претворяла своимъ художественнымъ творчествомъ,—сестра называла ее Наполеономъ кухни — и въ городѣ знали, когда у меня служить Елена, и напрашивались на обѣдъ. А потомъ ей вдругъ дѣжалось скучно, глаза становились скучные и злые, она начинала притираться къ намъ и, если я плохо ъѣлъ за обѣдомъ,—оскорблялась, являлась въ столовую и говорила:

— Если я барину угодить не могу, — разсчитайте меня. Ни у кого на шеѣ висѣть не хочу...

Я долженъ быть ъѣсть, чтобы не оскорблять Елену. Если сестра спрашивала — почему за рыбу заплачено 25 коп., а не

20 за фунтъ,—тогда Елена подходила вплотную и впивалась своими сѣрыми глазами въ лицо сестры и говорила злымъ голосомъ:

— Вы, барыня, скажите просто,—украяла я? Да? Воровка? А то 25 копѣекъ!

Въ такихъ случаяхъ сестра, питавшая слабость къ Еленѣ—поднимала по своей привычкѣ очки на лобъ, всматривалась въ злое лицо Елены и, улыбаясь, говорила:

— Опять ноги гудятъ, Елена? Надоѣло,—бѣжать хочется?

Тогда злость сбѣгала съ лица Елены, и она интимно и таинственно сообщала:

— Родные зовутъ, барыня... Все пишутъ, пишутъ—пріѣзжай, Елена—почему не єдешь? Я васъ люблю барыня, только никакъ нельзя,—родные, сами знаете!..

И уходила, и приходила всегда таинственно, и неизвѣстно было, куда уходила и откуда приходила. Все ее звали, все гдѣ-то ждали.

— Такъ ужъ, барыня, отъ васъ уходить не хочется, а нельзя...—объясняла она другой разъ.—Братъ женится, въ Сумахъ. Дворянку береть — потомственную... 50 десятинъ собственныхъ, хуторъ — все обзаведеніе, домъ въ городѣ двухъэтажный. Ну, и пишетъ братъ,—одна я у него сестра,—чтобы пріѣзжала,—невѣста познакомиться хочетъ...

Какъ-то разъ она выпросила у сестры рекомендательное письмо къ нашимъ роднымъ, жившимъ на Кавказѣ. Мы скоро получили извѣстіе, что Елена за что-то разсердилась и ушла отъ нихъ, и три года не было обѣ ней никакихъ вѣстей, а потомъ она снова явилась и, какъ всегда, неожиданно.

Все у нея было таинственно, и все на свой ладъ. Она не признавала модъ, управлявшихъ костюмами городскихъ кухарокъ и горничныхъ, и создала свой собственный стиль,—всегда черное платье и, когда шла въ городѣ, надѣвала черную мантілью, и черная кружевная косынка окутывала голову и лицо, такъ что видны были только сдвинутыя брови и угрюмо смотрѣвшіе сѣрые глаза. Когда просилась у сестры въ городѣ, говорила повелительно:

— Я, можетъ быть, поздно возвращусь, барыня,—ключъ съ собой возьму. Дѣло у меня, ждуть тамъ...

И она была только смѣшна мнѣ съ своимъ пистолетомъ, съ своимъ увлечениемъ Петромъ Великимъ и Наполеономъ, съ своей мрачностью и таинственностью. Раньше она не обращала на меня вниманія, а теперь она подошла ко мнѣ и, облокотившись рукой о мое кресло, близко наклонилась и сказала:

— Здравствуйте, баринъ! — глаза ея были влажные и

блаженные и полны жалости; одѣта она была въ голубую кофточку, и вся она была словно омытая и осиянная тихимъ сияніемъ,—я тутъ только разсмотрѣлъ, какая она тонкая и худенькая и насколько она моложе своихъ 30 лѣтъ, и какое у ней странное, ни на кого не похожее блѣдное лицо съ сырьими глазами. И было что-то новое въ ея голосѣ, отъ чего у меня сдѣлалось горячо въ груди, и я сказалъ:

— Здравствуйте, Елена! Я радъ, что вы пріѣхали...

19.... г.

Она была голубая, омытая, озаренная—эта новая Елена. Она носится по квартирѣ, безшумными шагами, кроткая и умиротворенная, и счастливая, блаженная улыбка не сходитъ съ ея лица. Она часто забѣгаешьъ ко мнѣ съ какимъ-нибудь вопросомъ.

— Какъ вамъ, баринъ, рыба больше нравится, — можетъ потушить да проложить щавелемъ?.. тотъ соусъ, знаете, въ родѣ, какъ по-гречески? Или лучше, какъ евреи любятъ,—съ фаршемъ?

Сегодня она забѣжала ко мнѣ предъ обѣдомъ, улыбка у ней особенно радостная и блаженная.

— Что я вамъ скажу, баринъ! жила я у помѣщиковъ въ Золотоношскомъ уѣздѣ. Случай былъ... Тоже вотъ барынина отецъ два года на кровати лежаль,—и въ кресло посадить нельзя было,—и что бы вы думали?—всталъ и—кабы сама не видѣла, не повѣрила бы—и на токъ, и въ поле... А по лѣстницѣ—двухъэтажный у нихъ домъ—черезъ ступеньку...

Она смеется, и я все смотрю въ ея лицо и вслушиваюсь въ ея странный смѣхъ, надорванный, дрожащей смѣхъ. Вечеромъ опять пришла съ сложнымъ и необыкновеннымъ меню завтрашняго дня, а я сталъ писать мой дневникъ, и все недоумѣваю, что случилось съ Еленой.

Въ спальнѣ у сестры голоса, и опять этотъ странный, надорванный, волнующій меня смѣхъ...

На слѣдующій день.

Дверь въ спальню была полуоткрыта, я безъ шума подкатилъ свое кресло, и мнѣ видно было: сестра на кровати, въ ночномъ чепчикѣ, а предъ нею Елена, трепещущая и говорить, волнуясь, спѣша и смѣясь:

— Барыня милая! Все я время вамъ, всю жизнь врала, всѣхъ обманывала, а больше всего себя обманывала, себѣ врала... Безродная, вѣдь, я, подкидыши, чужие люди подобрали меня, какъ щенка выкормили, какъ собаку шпыняли. Въ Сумахъ... помните,—про брата врала въ Сумахъ? Нѣть ни

брата у меня, ни сестры, ни матери, и никто не звалъ меня, никто, родной, не ждалъ меня,—все-то сочиняла я, для себя сочиняла. Въдь думала, пріѣду въ Сумы, и вдругъ братъ найдется,—все про брата думала—и вѣрите ли, барыня, по улицамъ ходила, гдѣ господа гуляютъ, въ лица глядѣла, думаю, узнаю брата, по лицу узнаю, сердце скажетъ. Не нашла. Смѣяться будете, барыня,—она засмѣялась надорваннымъ, рыдающимъ смѣхомъ,—думала часто: благороднаго я рода, можетъ графская дочь, потеряли, дескать, меня и все ищутъ, все ищутъ... Глупая я, все фантазія, все обмануть себя хотѣла. А жизнь-то скучная... скучно жить на свѣтѣ, барыня!

Елена стояла, какъ всегда, вся подавшись къ сестрѣ, и въ свѣтѣ лампы словно тѣни бродили по ея лицу.

— Честная я была, барыня,—вѣрьте слову! А люди-то не честные и не хотятъ, чтобы промежду нихъ честная жила, и непереносно имъ, чтобы человѣкъ на свой строй, самъ по себѣ, не какъ всѣ жилъ... Въ кухарки, помню, къ старому генералу поступила,—соберутся на базарѣ другія кухарки и начинаютъ:—„Ты какие счета ставишь? До тебя Марья жила,—лавочку на базарѣ открыла—а послѣ тебя какъ служить?“— Такъ выходило, что противъ своихъ товарокъ не хорошо поступаю... Въ больницу разъ поступила, въ сидѣлки. Такъ полюбилось, кажется, и не ушла бы! И кто труднѣе болѣеть, тотъ мнѣ и любѣ; вечеръ придетъ, книжки имъ читаю разныя, всѣ рады. Тоже сидѣлки говорить стали:

— „Ты, говорять, намъ жить не даешь! Больные какую манеру завели, чтобы мы по ночамъ не спали, этакъ и служить нельзя!“ Прямо говорять:—„Ты уходи... какъ ни-какъ изведемъ тебя, подъ статью подведемъ, казенное бѣлье въ сундукъ къ тебѣ подкинемъ“.

— Металась я, металась, гдѣ-гдѣ не была—и бураки рыла, и на табачныхъ фабрикахъ работала, на пароходахъ по Черному морю судомойкой щадила,—все скучно, барыня, нѣть моей душѣ радости! И на мѣста становилась,—стала выбирать, чтобы не къ своимъ, не къ русскимъ поступать,—у кого, у кого не жила!—и у армянъ, и у грековъ, и у французовъ,—все мнѣ хотѣлось узнать, какъ другіе, не наши люди живутъ, какой законъ у нихъ, какая вѣра... У Гольдберговъ, евреевъ, вотъ какъ у васъ же, нѣсколько разъ служила; какъ тамъ любили меня—особенно ребятишки! Вотъ, барыня, гдѣ дѣтей-то любятъ!—То свѣтлыя, то темныя тѣни мѣнялись на лицѣ Елены.—А не хотѣла, какъ другія жить. Интересу не было: деньги, напримѣръ, или, скажемъ, одежда, или, напримѣръ, хващаются другія: у меня такой, у меня вотъ какой. Скучно мнѣ... И мечту имѣла... Чтобы что-

нибудь почудище, барыня, — засмѣялась она — понеобыкновеннѣе, ни на кого не похоже... Вотъ на Кавказъ, помните, уѣхала, думала ни вѣсть что. Какой со мной случай былъ! Вѣрите ли—глухимъ шопотомъ заговорила она,— отъ вашихъ тогда ушла, — въ аулѣ жила, съ кабардинцемъ съ Сентъ-Магометомъ, все потому, что джигитъ онъ былъ, конь вороной, съ винтовкой за плечами по ночамъ выѣзжалъ, думала—на темное дѣло, на страшное дѣло, голову сложить... Все себя обманывала. А онъ просто баранту коробчили.

И опять засияло лицо ея, и блаженная улыбка задрожала на губахъ, и зазвенѣль голосъ. Говорить она:

— Барыня! Барыня! Въ Одессѣ... нашли меня братья, изъ грязи подняли, приютили меня сирную, одинокую, согрѣли мою душу холодную, свѣтомъ просвѣтили заблудшую, грѣшную... Пришла къ нимъ на собраніе, гимны пѣли, словно про меня пѣли:

Малый свѣточъ пусть ясный
Свѣтъ на море жизни льетъ!
Можетъ быть, изъ тьмы опасной
Онъ кого-нибудь спасеть.

Стою и слушаю, сама не своя, и слезы во мнѣ, а плакать не могу, никогда не плакала. Посмотрю кругомъ: всѣ — то праведные, всѣ-то добрые.—Барыня, милая барыня!—И восторгомъ и невыплаканными слезами звенѣль и рыдалъ голосъ:

— Нашла я свой родъ, племя свое! Есть у меня братья родные, сестры милыя! Домой пришла, подъ кровъ родимый.

Я безшумно откатился съ своимъ кресломъ къ себѣ въ спальню.

Да, я проглядѣль Елену.

190... г.

— Съ добрымъ утромъ, баринъ!

Она приходить всякое утро поздравлять меня, и я люблю слушать, какъ она поздравляетъ. Что-то кроткое, ласковое и радостное наполняетъ домъ, и мнѣ не такъ скучно и одиноко жить. Случается, когда я читаю Гомера и Платона,— гимнъ доносится изъ кухни,—любимый гимнъ Елены:

Есть для плачущихъ земли
Мѣсто у Креста!
Братъ мой страждущій, займи
Мѣсто у Креста.

Вѣчная любовь зоветъ
Всѣхъ насъ со Креста,
И для каждого найти
Мѣсто у Креста...

Тогда я оставляю Гомера и начинаю перелистывать книжку со стихами и гимнами, принесенную миѣ Еленой, перечитываю наивные, складные и нескладные, но всегда трогательные стихи и съ удивлениемъ встречаю среди новыхъ незнакомыхъ гимновъ—стихи Коалова и Тютчева и старыхъ русскихъ поэтовъ. И начинаю думать не о старомъ эпосѣ, а о новой лирикѣ, идущей въ русскую жизнь...

Въ моемъ домѣ происходятъ удивительныя дѣла. Въ кухнѣ клубъ и всегда люди. Миѣ видно изъ столовой въ открытую дверь,—тамъ нѣть черныхъ и рыжихъ усачей, какие бывали у Елены раньше,—приходить какіе-то новые люди, бородатые, съ медлительными движениями, съ задумчивыми лицами. Тутъ и кухарки, и прачки, и дивчата изъ нашей слободки, которая распѣвали съ Федоромъ по ночамъ: „продавъ свою жинку за тютюнь та люльку“, и землекопы, работающіе надъ прокладкой водопроводныхъ трубъ... Разъ видѣлъ лавочника, у которого нѣсколько лѣтъ покупалъ табакъ, и моего бывшаго посыльного изъ конторы, и старшаго садовника изъ городского сада. А вечеромъ тихій говорь идетъ въ моемъ садикѣ. Иногда зазвонить гимнъ въ вечерней тишинѣ, и я слышу, какъ робко и неувѣренно присоединяются одинъ за другимъ мужскіе и женскіе голоса.

На дняхъ у сестры вышло недоразумѣніе съ Еленой. Позвонилъ полковникъ, котораго сестра не любить—горничной дома не было.—Сестра приказала Еленѣ сказать, что ея дома нѣть, а братъ спить.

— Я не могу. Вы же барыня дома, и баринъ книжку читаетъ....—И на великое изумленіе сестры Елена пояснила:

— Миѣ нельзя неправду говорить...—Но ей очевидно не хотѣлось огорчать барыню, и она предложила:

— Я могу доложить, что вы приказали сказать, что васъ дома нѣть, а баринъ книжку читаетъ.

Сестра не признала комбинацію удачной, и ей пришлось принять полковника. Повидимому инцидентъ не испортилъ ихъ отношеній, и разговоры по ночамъ въ спальней все продолжаются.

А Федоръ сумрачный, съ нимъ что-то дѣлается, и усы у него повисли, ходить онъ медленно, все въ землю смотрить и о чёмъ-то думаетъ. И не слышу я больше пѣсенъ за рѣчкой, по ночамъ Федоръ дома и большую книгу читаетъ.

19... года.

Все новое кругомъ меня, удивительное. Я начинаю думать, что я проглядѣлъ жизнь, и должно быть нужно было, чтобы у меня отнялись ноги, чтобы я пристальнѣе взглядѣлся въ то, что происходит кругомъ меня,—чтобы я разглядѣлъ жизнь. И еще болѣе удивительная вещь,—я начинаю думать, что то время, которое я сижу въ моемъ креслѣ,—въ собенности тѣ два мѣсяца, которые прошли съ приѣзда Елены—полнѣе, разностороннѣе, богаче впечатлѣніями, чѣмъ многіе годы, которые я ходилъ мимо жизни.

Какъ-то на дняхъ я поздно проснулся, и долго звенѣлъ въ моихъ ушахъ знакомый, давно забытый мотивъ и даже, когда проснулся, я долго лежалъ въ постели и старался вспомнить, гдѣ я слышалъ то, что неслось ко мнѣ изъ дома Скрипки, гдѣ со вчерашняго дня работаютъ мальчи.

Я разобралъ наконецъ слова:

Укажи мнѣ такую обитель...

Да, это то самое, что я слышалъ тридцать лѣтъ назадъ, когда у меня гостили Саша и Ася, и я съ удивленіемъ вслушиваюсь: та же интонація, та-же манера пѣть и такъ-же, какъ тогда, женскій голосъ врываются въ сильные мужскіе голоса. Я сидѣлъ у окна и съ страннымъ, необыкновенно радостнымъ чувствомъ слушалъ то, что неслось изъ оконъ Скрипки. А потомъ пробило двѣнадцать часовъ, и вышли они, мальчи, семь человѣкъ и съ ними девушка, я узналъ ее—какъ-то разъ она мыла у насъ полы. Были они въ темныхъ шляпахъ съ широкими полями, въ сѣрыхъ и темныхъ пиджакахъ—и слѣды краски придавали имъ артистической видъ—и были все они молодые и веселые, какъ тѣ студенты, что собирались тридцать лѣтъ назадъ. И лица такія же—тонкія, худыя, интеллигентныя.

Эти дни я сижу у окна въ своей спальнѣ и слушаю—иногда доносятся цѣлья фразы,—что дѣлается въ домѣ Скрипки.

— Вы, милостивый государь, мажете, какъ теленокъ хвостомъ...—Здоровенный хохотъ доносится до меня. Я знаю,—это говоритъ старшой, въ этой артели въ семь человѣкъ,—такой же молодой, какъ все остальные, съ темной бородкой эспаньолкой, съ веселыми, насыщеными глазами, въ самой широкополой шляпѣ.

Въ двѣнадцать часовъ „милостивые государи“ уходятъ обѣдать всѣ вмѣстѣ—артисты, джентльмэнскими лицами. Въ два часа они собираются на работу и должно быть не всѣ вмѣстѣ живутъ,—не сразу приходять. Слыхается, дожидаются опоздавшихъ, стоять въ переулочкѣ

противъ моего окна. И должно быть всегда у нихъ есть новости, — они развертываютъ газеты, кто - нибудь читаетъ вслухъ и, изъ за хмѣля, окутывающаго изгородь, мнѣ видно, какъ развертываются бѣленыкіе листочки. Иногда къ изгороди подходитъ Федоръ и Елена, здороваются съ малярами за руку и долго слушаютъ, что написано въ газетахъ, въ бѣленыкихъ листочкахъ.

А потомъ маляры уходятъ въ домъ Скрипки, и несутся оттуда въ мое окно старыя, давно неслышанныя пѣсни.

Бываетъ такъ, что въ то же время несутся гимны изъ кухни и слова и мотивъ сливаются, перебиваются другъ друга, и странное, никогда не испытанное ощущеніе въ моей душѣ. Иногда у изгороди появляется Скрипка. Онъ въ недоумѣніи и, когда онъ въ недоумѣніи, онъ похожъ на большую ночную птицу, спугнутую ночью, растерянную и безтолково мечущуюся.

— Шо се таке воны спивають?

Я смѣюсь и говорю, что это новыя птицы прилетѣли въ Малороссію и поютъ новыя пѣсни. Должно быть, онъ не понимаетъ, онъ трезвъ и потому у него трясется голова — онъ долго слушаетъ и медленно выговариваетъ:

— Не чувъ...

Я тоже не чуялъ.

190... г. Май.

Вотъ и весны давно такъ не чувствовалъ, — тоже, должно быть, некогда было разглядѣть. Хмѣль, — буйный и зеленый, и сухая, темная, шершавая изгородь стоитъ пышная и нѣжно зеленая; подъ окномъ сирень, — вся лиловая, и запахъ ея льется въ мое окно, густой и сладкій, какъ сиропъ. Я начинаю разбираться въ этомъ сложномъ ароматѣ: вотъ сирень, жасминъ, кажется и бѣлая акація... Закаты улыбающіеся, вечера тихіе, томные, ночи кроткія. Люди приходятъ и уходять въ тихій вечеръ, въ безмолвный вечеръ, въ потухающій свѣтъ, и голоса ихъ осторожны и тихи, и слова у нихъ кротки и застѣнчивы. Старая яблонь облита бѣло-розовымъ цвѣтомъ, какъ невѣста покрываломъ. Она волнуетъ и умиляетъ меня, — она старая и не цвѣла уже нѣсколько лѣтъ, и мнѣ думается, цвѣтеть послѣдній разъ, и послѣдній разъ слышу я ея тонкій трогательный ароматъ...

Подъ яблоней столъ, вынесенный изъ кухни, покрытый бѣлой скатертью, маленькая жестяная лампочка привѣшена къ стволу старой яблони, на столѣ большая книга, — старая книга въ толстомъ переплѣтѣ, а за столомъ Елена въ голубой кофточкѣ съ непокрытыми волосами и Федоръ въ бѣлой

рубашкѣ, въ чистой, недавно вымытой, рубашкѣ. Она читаетъ развернутую толстую книгу—я слышу, какъ тихо шелестятъ листы и радость въ голосѣ Елены—каждое слово толстой книги—счастье для нея,—а онъ сидитъ большой, нескладный, поникшій... И когда она перестала читать, онъ вздохнулъ медленно и глубоко и тихо выговорилъ:

— Трудно мнѣ это, Олена! трудно...

Изъ-за зеленой изгороди слышится веселый голосъ:

— Добрый вечеръ!—въ калитку входить тотъ старшой съ эспаньолкой, въ широкополой шляпѣ.

— Добрый вечеръ!.. — говоритъ Елена и освобождается мѣсто на скамейкѣ.

— Садитесь!..

И опять идетъ тихій говоръ. И мнѣ видно, какъ листъ за листомъ тяжело и медленно переворачиваются, большие листы толстой книги, и быстро переворачиваются звонкіе бѣленыкіе листочки въ рукахъ человѣка въ широкополой шляпѣ. Я не слышу словъ, но я вижу, я чувствую,—старая большая книга побѣдила новенькие бѣленыкіе листочки.

— Добрый вечеръ!

— Добрый вечеръ!

Онъ уходитъ, человѣкъ съ темной эспаньолкой, и снова возвращается, стоять у стола и, улыбаясь, говоритъ веселымъ, увѣреннымъ голосомъ:

— Къ намъ придете!.. У насъ свѣтлѣ...

Тогда отъ книги поднимается бѣлокурая голова и говоритъ съ ласковой, счастливой улыбкой:

— Мы пришли... Нужно и вамъ прийти... Миръ съ вами...

И они остаются опять двое, и радостный голосъ медленно выговариваетъ радостныя слова изъ старой книги. А небо бездонное, широкозвѣздное и безмолвное, и льется волнами густой и сладкій ароматъ, и нѣжные лепестки бѣленыкіхъ цвѣточковъ падаютъ съ старой яблони на раскрытую старую книгу, на бѣлокурую голову, на поникшаго человѣка. Я вижу, какъ она, голубая и свѣтлая, подъ бѣлой яблоней цѣлуетъ его темнаго и поникшаго и говоритъ:

— Будь ты братомъ мнѣ роднымъ, милымъ братомъ...

И уходить. А онъ остается одинъ, большой, сильный и нескладный, и шевелить губами, и тяжко вздыхаетъ. Я вижу, какъ онъ трудно, неслушающимися руками разстегиваетъ воротъ своей рубашки, медленно снимаетъ крестъ съ своей шеи, бережно кладетъ его на листы раскрытой книги и прислоняется къ стволу старой яблони, и поднимаетъ къ небу широкооткрытыя, молящіеся глаза. И лепестки бѣленыкіхъ цвѣточковъ старой яблони, какъ бѣлые бабочки, медленно и

безшумно падают на листы старой книги, на темноволосую голову, на бѣлое тѣло раскрытой груди.

А молящіеся глаза все смотрятъ въ небо, я слышу глубокій, тяжкій вздохъ, и глухой голосъ говоритьъ:

— Трудно мнѣ, Господи! Трудно...

190 . . . г. май.

Теперь я часто „гуляю“. Какъ только погода хорошая, Федоръ самъ является ко мнѣ и говоритъ:

— Поѣдемте, баринъ, гулять.

И мы ъдемъ и, когда перебѣжаемъ порогъ выходной двери, черезъ который раньше такъ бурно перескакивало мое кресло, мы перебираемся мягко и осторожно. И „гуляемъ“ не только въ садикѣ, а выѣзжаемъ за ворота и спускаемся къ рѣчкѣ, и любуемся на зеленый лѣсокъ...

— Правда, Федоръ—какъ-то разъ спрашиваю я его:—вамъ нельзя ужъ пѣсни спивать?

— Ни... Молитвы можно, гимны.

— И табакъ бросили?

— Кинувъ.

— Трудно вамъ, Федоръ?

Онъ нѣкоторое время молчитъ.

— Трудно...—и добавляется:—было...

Я оборачиваю назадъ голову и убѣждаюсь, что—было. У него нѣть того восторженно счастливаго выраженія Олена, лицо у него задумчивое, но ясное, спокойное. И что-то новое въ немъ, неуловимо новое, нѣть той старой лихости, той ежечасной готовности къ бою,—было новое тонкое, интеллигентное.

Нѣть моего старого Федора. Онъ до крайности щепетиленъ въ напихъ финансовыхъ отношеніяхъ, у него новыя манеры, сдержанная и корректная, онъ иначе причесывается, иначе носить усы, надѣлъ широкополую шляпу и, когда вынимаетъ меня изъ кресла и кладетъ въ постель, я чувствую, что другія руки берутъ меня,—тѣ же сильныя, но осторожныя и ласковыя. И новый голосъ, сильный баритонъ, поеть гимны въ моемъ домѣ.

Продолженіе.

Федоръ любить, и драма—любовь его. Оксану подобрала Олена, какъ подбираютъ бездомныхъ собакъ, плачущую, въ базарной толпѣ, босоногую, полуголую и привела къ намъ. Быть у нея мужъ, и была у нея сестра, старшая сестра, овдовѣвшая казачка, и стали они, мужъ и сестра, жить, какъ мужъ

и жена, и ночью выгнали ее, босоногую, полуголую, какъ пришла она къ намъ. И должно быть жизнь испугала ее, и ужасъ жизни все стоялъ въ ея черныхъ, какъ маслины, глазахъ и, когда сестра,—она добрая, но у нея громкій голосъ,—спрашивала Оксану: почему она не вытерла окна, полуребенокъ, полуженщина съ блѣднымъ смуглымъ лицомъ Миньоны прижимала крѣпко свои маленькия руки къ груди и говорила:

— Барыня, не говорите со мной крѣпко, не могу я... Сердце дрожитъ у меня... Я всю ночь буду работать, только не говорите со мной крѣпко.—И испуганные, черные, какъ маслины, глаза полны слезами, и молящей голосъ повторяетъ:

— Не могу я, сердце дрожитъ у меня!..

Такъ скоро запѣла она:

Есть у плачущихъ земли мѣсто у креста...

Не было счастья и радости въ ея голосѣ и, когда она начинала пѣть, сестра приходила ко мнѣ въ спальню, садилась у меня на постель и плакала, и сѣдая голова качалась, и говорила сестра:

— Не могу ее слушать, не могу...

И „плачущая земля“—говорила мнѣ обѣ Осѣ, такъ рано и такъ далеко погибшей.

Я вижу, какъ неотступно провожаетъ ее глазами Федоръ и, когда она несетъ отъ колодца ведро воды, онъ осторожно береть его изъ ея рукъ и бережно несетъ въ кухню, какъ хрустальный сосудъ. А вчера подъ той же отцѣвѣтшой бѣлой яблоней онъ сказалъ ей тихимъ, глухимъ голосомъ:

— Чего вы журитесь, Оксана?

Она отвѣтила, и испугъ послышался въ ея голосѣ:

— Важко мини... Недужная я.

Ничего не выйдетъ у Федора.

19 . . . года.

У насъ новая горничная. Сестра не могла больше слушать, какъ поетъ-плачеть степная Миньона, и устроила ее наней къ своимъ знакомымъ въ деревню. Новую звать Горнина. Она совсѣмъ удивительная, и я все думаю, откуда приходятъ эти новые люди, которыхъ я не зналъ раньше. Кажется, она малограмматная, книжъ и газетъ не читаетъ, и должно быть въ городѣ нѣть у нея родныхъ и знакомыхъ,—никто къ ней не ходить, и она ни къ кому. Я смотрю на ея лицо и никакъ не могу рѣшить, очень ли она глупая, или очень умная. Она некрасивая, у нея упрямые малороссійские глаза и странно изогнутыя губы, словно она хочетъ расхохотаться и съ трудомъ удерживается.

— Что вы за человѣкъ, Горпина? — какъ - то вырвалось у меня.

— Перевертень...

И не смѣется. И на мои дальнѣйшіе вопросы объясняеть, что отецъ у нея былъ карапъ, а мать хорольская и что жили они сначала въ Хоролѣ, а когда мать умерла, перебрались въ Орловскую губернію, и такъ какъ она не можетъ рѣшить — карапка она или малороссіянка, то и думаетъ, что она „перевертень“. Я опять всматриваюсь въ ея лицо и все не могу рѣшить, умная ли она, или глупая.

Сестра скоро прозвала ее нигилисткой за ея полное равнодушіе къ тѣмъ вопросамъ, которые волновали мою кухню, и за ту непоколебимо отрицательную, ко всему отрицательную позицію, которую она заняла среди волнующихся людей. Разъ до меня донеслись отрывки разговора въ кухнѣ. У Горпины, очевидно, сократовская манера ставить вопросы.

— А вы его бачили? — спрашивается она и сама отвѣчаетъ: Ни... И я не бачила. — А вы купуете? — И опять сама отвѣчаетъ: Купуete. — Продаете? — Продаетe... Ну и разговаривать нечего.

Послышались голоса Олены и Федора, горячіе, повышенные голоса, но голоса Горпины больше не было слышно.

Но что-то было въ ней, въ ея манерakhъ, въ ея странныхъ вопросахъ. Разъ Олена и Федоръ ушли въ городъ, у насъ были гости, и сестра распорядилась зарѣзать цыплять. Горпина рѣшительно отказалась рѣзать и пояснила:

— Живые они, душа у нихъ есть...

— Да вѣдь вы же сами ъдите цыплять?

— Такъ мнѣ что! Они мертвые, — не я ихъ рѣзала. Меня бы вотъ мертвую сѣѣли, да сколько угодно!

И опять ея странные вопросы:

— А можетъ моя душа раньше въ цыпленкѣ была?

Это было такъ неожиданно, что сестра и про гостей забыла и спрашивается:

— Что такое вы говорите?

— А то и говорю... Вы, барыня, знаете, — гдѣ мы съ вами были, когда не родились?

— Что же по вашему? — недоумѣваетъ сестра, — и у дерева душа есть?

— А вы знаете, что нѣть? — опять вопросомъ отвѣчаетъ странная женщина. Такъ и остались цыплята въ тотъ вечеръ не зарѣзанными.

И опять у меня вопросъ: откуда она пришла, — эта нигилистка и отрицательница съ вѣрой въ переселеніе душъ?

Продолжение.

Откуда она пришла? Откуда оно приходит?—Все то оно, новое, удивительное, что вошло въ жизнь нашего города, гдѣ нѣть ни „узловъ“, ни портовъ, ни фабрикъ ни заводовъ“,— ничего подвижного, мѣняющагося, быстро живущаго, гдѣ все та же вѣковѣчная степь, тѣ же волы, та же скифскаго типа упряжка, гдѣ, казалось мнѣ, все такъ же неподвижно, какъ въ глубокихъ геологическихъ пластахъ? Откуда? кое-что рисуется мнѣ... Тамъ, на горѣ, высоко и далеко, дождь выпадъ, и вода просочилась въ землю и долго пробиралась въ подземной тѣмнѣ между геологическими пластами, и вышла далеко - далеко источникомъ живой воды... И другое „оно“... Я знаю, вода идетъ въ землю не только изъ тучи, ее даютъ осѣдающіе на землю гнилые туманы, и изъ воюющихъ клоакъ, воючая жидкость просачивается тоже въ землю и тоже идетъ неизвѣстными подземными путями и заражаетъ воздухъ далеко отъ мѣста клоакъ. Да, я знаю, откуда пришла пѣсня: „Укажи мнѣ такую обитель“...—Благодаря неотступному наблюденію надъ кухнями, узнаю и многое другое, чего я не зналъ раньше такъ близко, такъ непосредственно реально...

Сегодня утромъ въ кухнѣ Скрипки поднялся шумъ,— обычный тамъ шумъ не галантнаго Опанаса и требующей культурнаго обращенія кухарки. Въ этотъ разъ онъшелъ въ повышенномъ темпѣ,—по переулку бѣжала съ ревомъ и крикомъ кухарка, съ подбитымъ глазомъ, а за ней Опанасъ съ круглыми и глупыми глазами, какіе дѣлались у него во время гибѣва. Убѣжище кухарка нашла въ нашемъ садикѣ, у моего окна. Оказалось, что она назвала дворника „ферліянецъ“. Я достаточно изучилъ преломленіе культурныхъ терминовъ въ народной средѣ и былъ увѣренъ, что она назвала дворника „вольтерьянцъ“. Оказалось, дѣло стояло еще сложнѣе. Когда Опанасъ былъ водворенъ Федоромъ въ его мѣстожительство, я сказалъ кухаркѣ:

— Какъ это вы нехорошо ругаетесь, Настасья! Вдругъ ферліянецъ...

— Ферліянецъ и есть...—настойчиво повторяла Настасья, и морда-то у него ферліянская...

— Какая такая ферліянская?

— Какъ же баринъ! Небось читаете газеты? Народъ такой есть,—самый пакостный,—ферліянцы... Вотъ я у ротмистра служила, садовникъ у него былъ, мать-то у него природная ферліянка... тоже видѣла... И на базарѣ сказывали, что про нихъ пишутъ,—все противъ насъ бунтуютъ...

Я стараюсь вспомнить хоть одного „природнаго“ фин-

ляндца „съ отцомъ и съ матерью“—въ нашемъ городѣ и не могу вспомнить.

— А просочилось... Пахнетъ.

190... г. юнь.

Боже мой! Боже мой! Опять „жидъ“, опять погромъ носится въ воздухѣ!.. Я не могу, совсѣмъ не могу переносить этого. Мнѣ нужно бѣжать на улицы, въ дома, къ людямъ, взыывать къ нимъ, умолять, а я долженъ сидѣть и ждать, сидѣть и смотрѣть. Все, все, война, грабежъ въ темномъ лѣсу, только не это,—не погромъ, не избіеніе гражданами гражданъ, вчера еще дружившихъ,—только потому, что одни христіане—христіане!—а другие евреи. У меня еще стоять передъ глазами кровавыя пятна отъ того погрома, который я видѣлъ—сколько?—двадцать, двадцать пять лѣтъ назадъ. Четверть вѣка!... Я былъ увѣренъ, что все это прошло, такъ мирно жили бокъ о бокъ портные, переплетчики, слесаря, доктора, купцы,—былъ увѣренъ, что все это забылось,стерлось, устранило изъ жизни, какъ отжившее, чуждое, невозможное. И въ газетахъ, и въ жизни продолжали встрѣчаться антисемиты, но я думалъ, что это не серьезно, что все это мелкіе негодяи, не стоящіе серьезнаго вниманія. Я не вѣрилъ, что найдутся негодяи—уже потому негодяи, что осмѣливаются называться христіанами,—которые отъ словъ перейдутъ къ дѣлу и со столбцовъ газетъ выйдутъ на улицу.

Негодяи... Вотъ я провѣряю себя, стараюсь вспомнить всѣхъ зараженныхъ антисемизмомъ людей, какихъ я встрѣчалъ въ обществѣ, и не могу припомнить, чтобы я встрѣтилъ хоть разъ вполнѣ порядочнаго, доброго и умнаго человѣка антисемита. Все это были или умныя негодяи, или добрые дураки,—другихъ не припомню. Были средніе—люди недомыслія, люди съ зарубками, съ шорами, люди, „умѣющіе считать только до тысячи“. Были и глупые негодяи, и злые дураки, но вполнѣ порядочнаго, умнаго и доброго человѣка между ними не встрѣчалъ. И все они зараженные, вотъ какъ бываетъ чесотка на рукахъ, трахома, дурная болѣзнь, и не все, конечно, виноваты, что заразились.

А оно опять идетъ. Я уже читалъ о начавшихся погромахъ и волновался, но всетаки думалъ, что это далеко отъ насъ, вотъ какъ холера, гдѣ-то тамъ, на границѣ, и думалъ, что до насъ не дойдетъ. А оно дошло, оно просочилось.

Первый принесъ вѣсть Опанасъ. Идетъ съ базара и улыбается.

— Жидовъ будуть бить, баринъ! — здоровается онъ со мной.

— Какъ жидовъ бить? Скоро?

— Тамъ скажутъ...—бросилъ онъ мнѣ и пошелъ дальше.

Пришелъ стариkъ Берка, блѣдный, дрожитъ, глаза у него расширены и остановившіеся, какъ у лунатика, и должно быть онъ ничего не видитъ. И дрожитъ его голосъ.

— Вы слышали, господинъ нотаріусъ? Вы знаете? Вы вѣрюете въ Бога, господинъ нотаріусъ? Въ вашего Бога?

Онъ изъ тѣхъ же Балокъ, гдѣ я родился, и прожилъ тамъ, какъ и я, свое дѣтство, торговалъ въ отцовскомъ шинкѣ, въ отцовской лавкѣ, и былъ пріятелемъ всѣхъ жителей Балокъ. А потомъ, 20 лѣтъ назадъ, пришла къ нему громада и сказали, что приказано жидовъ бить, а они не хотятъ его бить по дружбѣ, потому что не видали обиды отъ него, и отвѣзуть его въ городъ. И нагрузили на мірскія подводы его семью и имущество и, какъ ни протестовалъ онъ, отвезли его въ городъ. А въ городѣ били и, быть можетъ, убили бы, если бы не заступились тѣ же люди изъ Балокъ—они не желали возвращаться изъ города съ пустыми телѣгами. Тогда сошла съ ума его жена и умерла въ сумасшедшемъ домѣ, и сынъ, когда подросъ, не пожелалъ жить въ Россіи, а уѣхалъ въ Америку, и должно быть умеръ тамъ. И мнѣ кажется, что одинокій Берка все забылъ—и жену, и сына и помнить только тотъ ужасъ, и должно быть такъ же тогда расширенные глаза были полны ужаса. Кажется, онъ не слышитъ, что я ему говорю, и шепчетъ про себя свои неслышныя слова,—должно быть мольбы къ своему Богу, въ Котораго онъ вѣрить.

Мимо окна идетъ,—онъ утромъ уходитъ въ городъ—Скрипка, видить Берку и заходить ко мнѣ.

— Будутъ васъ бить, Берка,—это вѣрно... Завтра будуть на 15 июня.

Онъ тоже съ дѣтства знаетъ Берку и расположенно говорить ему:

— Ты, Берка, ко мнѣ приходи съ утра... У меня не троить. Я мундиръ надѣну, регаліи...

Онъ весель и благодушенъ, и нѣть недоумѣнія на лицѣ его. Онъ знаетъ старую исторію Берки, но желаетъ снова слушать и смѣется, гдѣ ему кажется смѣшно въ разсказѣ Берки.

— Такъ и говорить громада,—хочочетъ и переспрашиваетъ Скрипка:—казали бить?

— Казали бить...—какъ эхо отвѣчаетъ Берка.

— Да кто казалъ? Они дурные...

Очевидно Берка не знаетъ, кто „казалъ“, и, какъ эхо, повторяетъ:

— Казали бить...

— Да, будуть бить,— успокоительно говорить Скрипка,— это вѣрно. Ничего не подѣлаешь... Ты приходи...

И не было недоумѣнія въ лицѣ Скрипки,— эпически ясно было его лицо и эпически просты были его слова, какъ „казали бить“,—которая такъ упорно повторялъ Берко...

А потомъ ночь пришла, — та же сладко-пахнущая, кроткая, бездонно-глубокая, многозвѣздная ночь, которую люди любятъ, ночь, въ которую люди молятся... А въ открытныя окна несся шумъ изъ города, тревожный, настороженный. За воемъ собакъ, за умиравшимъ шумомъ экипажей вставали звуки, пугающіе, смутные, какъ шорохъ ночью въ лѣсу,— словно крадется кто-то жестокій, злобный, ненавидящій...

Въ переулкѣ показались люди. Темныя, безмолвныя тѣни вырывались изъ густой тьмы ночи, смутными силуэтами вставали въ свѣтъ моего окна и снова погружались въ густую плотную тьму. Одинъ, еще одинъ, трое, опять одинъ, огромный и темный съ медлительными тяжелыми шагами. Все идутъ, какъ много идетъ ихъ туда въ настороженную тьму! Чиркнула спичка, и желтой точкой мелькнула закуренная папироска, кто-то что-то сказалъ, и мнѣ на мгновеніе показалось, что я узналь голосъ маляра съ эспаньолкой. А потомъ опять стало тихо и безмолвно. Отцвѣли жасминъ и сирень, облетѣли бѣленыя цвѣточки со старой яблони, и осталась одна акація, и изъ городского сада, съ площадей и бульваровъ, и садовъ несся однотонный, тяжелый и душный запахъ бѣлой акаціи. А съ темнаго неба смотрѣли звѣзды, далекія, чуждыя, безучастныя... Мнѣ показалось,—прощло ужасно долго, когда снова показались люди. Они шли назадъ по моему переулку быстрыми, рѣшительными шагами и смышень былъ смутный говоръ въ толпѣ...

На слѣдующій день.

Я почти не спалъ ночью и проснулся поздно. На крыльѣ своего дома стоялъ Скрипка въ отрапанной тужуркѣ съ монголами, съ разстегнутой волосатой грудью и говорилъ уходившимъ завтракать малярамъ:

— Ну что, хлопцы, скоро будете жидовъ бить?

Они остановились, всѣ семь человѣкъ, и молчали и только одинъ старшій съ темной эспаньолкой сказалъ—и смѣхъ дрожалъ въ его голосѣ:

— Скоро... Тѣхъ, кто будетъ жидовъ бить...

Скрипка долго стоялъ на крыльѣ, недоумѣлый, съ растопыренными руками и опять былъ похожъ на большую ночную птицу, спугнутую огнемъ... А маляры смыялись и шли

веселой толпой, съ сдвинутыми на затылокъ черными шляпами.

Пришла Елена съ базара.

— Ну, баринъ, ничего не будетъ...

Она стоитъ передо мной съ той радостной, счастливой улыбкой, которая не сходитъ съ ея лица, и разсказываетъ базарныя новости. Она говорить, что подрядчикъ Федоръ Ивановичъ, у котораго больше ста человѣкъ рабочихъ, два дня поиль ихъ и 1-го іюня обѣщалъ отпустить на два дня, безъ вычета жалованья,—евреевъ бить, и ночью у нихъ сходка была за старымъ кладбищемъ.

— Только маленечко прошиблись...—улыбаясь, говорить Елена,—думали: землеколы съ ними заодно будуть—вотъ что трубы прокладываютъ,—вѣдь ихъ сколько!—а тамъ нашихъ братьевъ много, а наши несогласны.

— И они—Елена указала глазами на домъ Скришки,—этотъ Калужный тоже сходку собираль ночью за нами, за рѣчкой, въ лѣсу,—много народу было,—Федоръ былъ, казывалъ. Порѣшили,—городъ на участки раздѣлить промежду себя, и къ еврейскимъ домамъ сторожу поставить и—въ случаѣ, будуть громить—громилъ бить...

Будьте благословены—старая большая книга и тонкіе, звенящіе листочки, и „братья“, и маляры, и студенты!..

Черезъ полгода.

Шесть мѣсяцевъ я умираль. Доктора говорять, что мой артритъ распространился на руки и шейные позвонки, что немножко „шалить“ сердце, и сидѣть во мнѣ какіе-то цилиндры. Скроченная рука не держитъ перо, не могъ уже я сидѣть въ креслѣ и не видѣлъ моего окна, изъ котораго открывался такой широкій міръ, и я думалъ, что навсегда закрывается окно моей жизни.. Доктора отдумали и разрѣшили мнѣ еще поглядѣть на Божій міръ, и старый пріятель докторъ Черкесовъ на мой вопросъ отвѣтилъ:

— Въ вашемъ обвинительномъ актѣ, милостивый государь, значится, что въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ вы разрушите вашъ существующій строй. Имѣются и вещественные доказательства — цилиндры. Есть остроумные доктора и остроумныя изобрѣтенія человѣческаго разума! И за то спасибо, — я снова могу писать.

Зима. Все бѣлое кругомъ, спокойное и задумчивое. Мягкій бѣлый саванъ покрылъ и жасмины, и акаціи, и старую яблоню. Елена все у насъ и была трогательно ласкова за время болѣзни, но опять суровая морщина легла на лобъ, и сбѣжала

съ губъ блаженная улыбка. Какъ быстро облетаютъ цвѣты, какъ скоро проходять медовые мѣсяцы!

Праздникъ кончился, начались будни, и Елена—будничная, озабоченная, нетерпимая. Я слышу гнѣвный голосъ въ кухнѣ, властный, укоряющій. Сестра приходитъ ко мнѣ и, улыбаясь, разсказываетъ, что дивчата нашей слободки совершили великое преступленіе,—была чья-то свадьба, и дивчата спивали свои старыя пѣсни и даже танцевали „метелицу“—и гнѣвная Елена теперь отчитываетъ грѣшныхъ дивчать. И второй мѣсяцъ въ нашемъ околодкѣ—драма. Сестра Федора полюбила одного изъ веселыхъ маляровъ и хочетъ непремѣнно выйти за него замужъ. Елена и Федоръ негодуютъ, что она полюбила „чужого“, а сестра Федора плачетъ,—она не хочетъ уходить отъ „своихъ“ и не можетъ уйти отъ возлюбленнаго. Медовый мѣсяцъ кончился, Елена „пришла въ свой домъ“ и отгораживаетъ себя стѣнами отъ чужихъ домовъ и кроетъ его крышей, и укутываетъ его. Она — домостроительница и домоправительница. У насъ образовалось что-то въ родѣ справочной конторы, и сестра моя во главѣ ея. Она пишетъ по просьбѣ Елены безчисленныя письма и въ городъ, и въ уѣздъ, и тѣдитъ хлопотать лично,—все рекомендуетъ тѣхъ, кого нужно устроить Еленѣ,—и садовниковъ, и дворниковъ, и управляющихъ, и кухарокъ. И у Елены становится суровое лицо, когда она узнаетъ, что мѣсто занято другими — случается, знакомыми тѣхъ же маляровъ.

А Федоръ „позывается“. Онъ успѣлъ отъ меня—и именно ~~утромъ~~, что со мной много было возни, и у него не было времени ~~позываться~~.

~~О~~ гноенія у насъ остались прежнія дружескія, и изрѣдка ~~о~~ заходить ко мнѣ. Лицо Федора вытянулось и обострилось, говорить онъ торопливо и напряженно, весь онъ точно собирается бѣжать, и старая вызывающая готовность къ бою на его лицѣ. Онъ позывается не съ дядькомъ,—съ тѣми же малярами, со всѣми, кто пребываетъ въ заблужденіи, участвуетъ во всякихъ собраніяхъ и вездѣ вступаетъ въ пренія. И очевидно много читаетъ,—запасается капиталомъ, чтобы было чѣмъ позываться,—у него появились другія слова и другіе обороты,—обороты литературной рѣчи. Нѣть стараго Федора, нѣть и недавняго Федора.

Только маляры по прежнему веселы и жизнерадостны и даже, кажется, стали веселѣ, чѣмъ были раньше. У насъ завязалось знакомство и Калужный, тотъ старшой съ эспаньолкой, бываетъ у меня. Онъ говоритъ, что кругъ знакомыхъ у него сталъ шире и больше друзей, и что имъ вообще веселѣ жить на свѣтѣ. Онъ приходить утромъ по воскресеньямъ и копается въ моихъ книгахъ,—въ старыхъ книгахъ,

которыми я зачитывался во времена моей юности. Прошлый разъ онъ пояснилъ мнѣ, что у нихъ былъ споръ и что для рѣшенія спора ему нужно просмотрѣть „Отечественные Записки“ за 70-й годъ. Это трогаетъ меня и волнуетъ. Онъ беретъ у меня новые журналы, артель выписываетъ въ складчину двѣ газеты и толстый журналъ — мой любимый журналъ — имѣеть два абонемента въ городской библіотекѣ, — но Калюжный горитъ, что новые журналы доставать трудно — такъ много развелось желающихъ читать новые журналы. И все въ немъ трогаетъ меня и волнуетъ, — и то, что онъ здѣшній — и отецъ его былъ маляръ — окончилъ только городское училище и никуда не выѣзжалъ изъ нашего города — мѣщанскаго города, и что онъ пилъ воду изъ того же источника, изъ котораго пилъ и я, что онъ пришелъ къ тѣмъ же журналамъ и газетамъ и къ тѣмъ же мыслямъ и что вотъ рядомъ со мной проходила невѣдомая мнѣ духовная жизнь, такая чистая и свѣтлая, развертывалась исторія — совершенно связная и послѣдовательная.

И весь онъ — омытый, чистый и радостный, и у меня становится горячо въ груди и свѣтлѣе дѣлается въ комнатѣ, когда онъ уходитъ отъ меня, и я остаюсь одинъ съ своими новыми мыслями, съ новымъ ретроспективнымъ взглядомъ.

Въ послѣднее время онъ приходитъ чаще и разсказываетъ мнѣ разныя исторіи про другіе города, — удивительныя и все радостныя исторіи, которыхъ я не зналъ, и говорить онъ такъ увѣренно о будущемъ, — менѣе отдаленномъ будущемъ.

Иногда заходить Скрипка, — недоумѣніе сдѣлалось постояннымъ выраженіемъ его лица — и спрашиваетъ:

— Шо се таке пишутъ?

Я снова говорю ему, и мнѣ весело говорить, что новыя птицы прилетѣли въ Украину и поютъ новыя пѣсни. И когда я остаюсь одинъ и читаю новыя газеты и вспоминаю веселыя исторіи, разсказанныя Калюжнымъ, я говорю себѣ: неужели?..

Мой артритъ становится мнѣ легче, и мнѣ веселѣе жить. Я никогда не принадлежалъ къ людямъ, которымъ обидно и непереносно, что послѣ нихъ и безъ нихъ будетъ „равнодушная природа красою вѣчною сіять“, всегда казалось мнѣ это плоско и низменно — и трогала, и волновала другая строчка:

„И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть“.

Пусть не для меня будетъ менѣе отдаленное будущее, но я беззмѣрно счастливъ той молодой жизнью, которая развер-

тыается предо мной. Я безмѣрно счастливъ, яко видѣста
оти мои...

19. . . . г. декабрь.

Да, у меня другой ретроспективный взглядъ... Я не помнить жизни, не такъ истолковалъ ее,—проглядѣть жизнь. Вотъ теперь предо мной ярко вспыхнула давняя-давняя картина. Мне было девять-десять лѣтъ, я ъхалъ степью къ тетѣ Лизѣ. Помню, кругомъ была черная вспаханная земля, ровная, какъ полъ, и синее небо, и не былоначала и конца черной земли и синему небу. Было пусто и безмолвно. Поднимались суслики изъ своихъ норъ и становились по краямъ дороги и, сложивши лапки, удивленно смотрѣли на меня. Тамъ, изъ-за края земли, гдѣ сходятся черный пологъ и синее небо, и за которымъ уже ничего нѣть, кто-то медленно поднимается надъ землей, темный, безмолвный и смотрить въ черную степь и снова опускается за край земли и снова летаетъ... Все звенѣль печальный колокольчикъ, ровной рысью бѣжали лошади, я спалъ и просыпался, —ничто не приходило, ничто не уходило,—синее небо, черная земля, кругомъ все было также пусто и безмолвно, стояли съложенными лапками все тѣ же удивленные суслики, все также чье-то темное крыло медленно поднималось тамъ, вдали, надъ землей, словно кто-то хотѣль подняться изъ-за края земли, и не было у него силъ, и снова опускался онъ за край земли... А потомъ была усадьба, старая дворянская усадьба и тетя Лиза,—та Лиза изъ дворянского гнѣзда—съ клавицами и романсами. Давно умерла старая усадьба, и казаки Порубай распахали землю, гдѣ стоялъ Екатерининскій домъ, умерла тетя Лиза, и прахъ ея давно поконится въ стихахъ Пушкина, въ эпопеѣ Тургенева, въ музыкѣ Чайковскаго, а степь все стояла предо мной также эпически безмолвная и недвижная, эпически грустная старая степь. Оттуда приходили люди—это объекты обложенія, объекты попеченія, пресѣченія и... тѣлесныхъ наказаній — Федоры, Горпины и Елены, я жилъ съ ними бокъ о бокъ, я видѣль ихъ въ моей кухнѣ, въ дворнице, но я думалъ, что они все тѣ же эпические люди, недвижимые, какъ геологические пласты, залегающіе въ степи. Въ мою нотаріальную контору являлись новые люди, осѣдавшіе въ степи,—великороссы, болгаре, нѣмцы; они дѣлили старыя усадьбы, мѣрили и раздѣляли степь, а я думалъ, что измѣняется только поверхность, а геологические пласты неподвижны. Кругомъ меня билась городская, обывательская, мѣщанская жизнь, и я думалъ, что она такая же мѣщанская, какъ была тридцать лѣтъ на-

задъ, и что все такъ же неподвижны обывательскіе геологическіе пласты. Я думалъ, что русская жизнь анекдотъ,—собраніе анекдотовъ...

Я проглядѣлъ жизнь, я не сумѣлъ разглядѣть, что рядомъ со мной, бокъ о бокъ, шла жизнь связная и послѣдовательная, отправлявшаяся отъ прошлаго къ настоящему и съ такой логической ясностью предопредѣляющая будущее, что за тридцать лѣтъ совершилась исторія, настоящая, огромная исторія, и Елена, и Федоръ, и малыры—новыя главы этой исторіи,—я не разгляделъ, что геологическіе пласты сдвинулись.

Вотъ я взглянулъ въ лицо жизни и, оглядываясь на прошлое и на этотъ послѣдній прожитый въ креслѣ годъ жизни, я вижу, что анекдотическая часть русской исторіи кончилась, и началась настоящая исторія, что кончился эпосъ русской жизни и начались другіе роды литературы. Я не знаю, что войдетъ въ жизнь,—лирика, драма, быть можетъ, трагедія, но я безмѣрно счастливъ. Видѣста очи мои.

С. Елпатьевскій.

С о нъ.

Въ небѣ странно-высокомъ, зловѣще-нѣмомъ
 Гасъ кровавый вечерній закать.
 Умиралъ я отъ ранъ,—въ гаолянѣ густомъ
 Позабытый своими солдатъ.
 Какъ ребенокъ, затерянный въ чащѣ лѣсной,
 Я кричалъ, я отчаянно звалъ—
 И на помощь ни свой не пришелъ, ни чужой,
 Гаолянъ только глухо шуршалъ!
 Да опель цѣлый день надъ горою парилъ,—
 Хищный клѣкотъ носился кругомъ...
 Все на сѣверъ, въ безвѣстную даль уходилъ
 Затихающихъ выстрѣловъ громъ.
 И скользилъ угасающей взоръ мой, въ тоскѣ,
 По мѣнявшимъ нарядъ облакамъ:
 Чѣмъ тамъ парусомъ бѣлымъ стоитъ вдалекѣ—
 Не села ли родимаго храмъ?

Вонъ старуха съ клюкой... Не моя-ль это мать
 „По кусочки“ съ сумой побрела?

Горегорькая! Сына тебѣ не дождатъ—

Ты на муку его родила!

Злобно лязгаютъ цѣпи... Въ дыму и въ огнѣ,

Будто стая всполошенныхъ птицъ,

Вьется лента вагоновъ,—и въ каждомъ окнѣ

Сколько блѣдныхъ, измученныхъ лицъ!

Безконеченъ вашъ путь, и тяжелъ, и суровъ:

Мертвой степи пустынная гладь,

Выси грозная горъ, темень дикихъ лѣсовъ...

Васъ въ чужбину везутъ умирать!..

Умираль я отъ ранъ на чужой сторонѣ...

Такъ хотѣлось мучительно жить,—

О проклятой, безумно-кровавой войнѣ,

Какъ о грёзѣ болѣй позабыть!

Ночь сошла. Или смерть? Сѣть тумановъ сырыхъ

Поползла надъ ущельями горъ;

Въ черномъ небѣ невиданно-яркихъ, большихъ,

Странныхъ звѣздъ засвѣтился узоръ.

И въ зловѣщей тиши, мнѣ казалось, не я—

Кто-то чуждый бессильно стоналъ...

И отъ жалости въ сердцѣ болѣномъ у меня

Слезъ кипучихъ родникъ клокоталъ!

П. Я.

Литературно-художественная критика Н. К. Михайловского.

Через литературно-художественную критику Михайловского проходит идея въ основе своей чрезвычайно простая, которая, однако, получила у него очень оригинальное развитіе. Идея эта обнимаетъ собой, съ одной стороны, отношенія художника къ тему, что онъ изображаетъ, т. е. его способность изображать дѣйствительность правдиво; а съ другой стороны — его способность вліять на насъ, „заражать“ насъ своими впечатлѣніями.

Въ самомъ общемъ видѣ идея эта сводится къ тому, что „необходимо извѣстное соотвѣтствіе между наблюдателемъ и наблюдалаемъ явленіемъ“. Элементарно это можно себѣ представить, напримѣръ, такъ. Наблюдатель, страдающій дальтонизмомъ, краснаго цвѣта не увидитъ. Глухой можетъ превосходно наблюдать, какъ разваются рты и шевелятся языки поющихъ, но пѣсни не услышитъ. Въ этомъ элементарномъ видѣ вполнѣ ясно, что въ подобныхъ условіяхъ наблюдатель получаетъ впечатлѣнія неправильныя. Это впечатлѣнія, извращающія дѣйствительность, и при томъ извращающія въ совершенно опредѣленномъ смыслѣ: они въ сравненіи (съ дѣйствительностью упрощены. Они умаляютъ сложность ея состава, представляютъ ее въ поблекломъ и плохомъ видѣ.

При болѣе сложныхъ обстоятельствахъ это же самое не такъ бросается въ глаза, но тѣмъ не менѣе положеніе остается по существу такое же.

Когда романистъ, какъ это было у натуралистовъ, изображаетъ любовныя отношенія между мужчиной и женщиной въ видѣ чего-то по преимуществу скотскаго, то онъ не имѣть права называть свое изображеніе правдой. Это — не правда, говорить Михайловскій, а свинство. Это одностороннее, упрощенное и огрубѣлое представление о дѣйствительности, а не „правда“.

Возможно, однако, задаться вопросомъ, слѣдуетъ ли дѣйствительно считать такое представление одностороннимъ? Если Тур-

гениевъ (которому одинъ изъ натуралистовъ посвятилъ томъ своихъ твореній съ восклицаніемъ *salve, frater!*) любилъ изображать женщину въ хорошие, чистые моменты ея жизни, доводя эту чистоту до особенной возвышенности и благородства, то не имѣть ли такое же основаніе Зола изображать въ женской моменты ея паденія, чисто животной низости и извращенного разврата? Вѣдь въ жизни существуютъ какъ чистыя, возвышенныя волосы, такъ и грязныя и измененные. И какъ тѣ, такъ и другія заслуживаютъ правдиваго изображенія. И то, и другое правда. Даже бываютъ эпохи, когда одно болѣе правда, чѣмъ другое. А во всякомъ случаѣ можно сказать, что и Тургеневъ правъ, и Зола правъ. „Нѣтъ,—говорить Михайловскій,—правъ кто-нибудь изъ нихъ“. Они оба художники и у обоихъ процессъ творчества въ своихъ главныхъ и общихъ чертахъ одинъ и тотъ же, но только до извѣстной степени. Въ отношеніи Зола къ своей героинѣ Нана не достаетъ элементовъ, которые имѣются у Тургенева по отношенію къ Еленѣ и которые прибавляютъ къ ея образу нечто очень цѣнное и существенное. Тургеневъ любить Елену, любуется ею и наскѣ заставляетъ любоваться. А Зола равнодушенъ къ своей Нана и даже возводить свое равнодушіе въ принципъ. Онъ „натуралистъ“, „химикъ“, и поэтому долженъ быть безучастенъ. Конечно, онъ не можетъ любить свою Нана; но онъ могъ бы ее презирать, чувствовать отвращеніе, питать хоть жалость, какъ къ „человѣкообразному всетаки существу, обезчеловѣченному какими-то темными общественными или природными силами“. И тогда его собственныя впечатлѣнія отъ Нана обогатились бы добавочными элементами, они „окрасились бы и расцвѣтились комбинаціями чувствъ и впечатлѣній, отсутствіе которыхъ сообщаетъ образамъ его такую угрюмость и холодность“. Изображенная такъ безучастно дѣйствительность, въ лицѣ Нана, теряетъ часть своей сложности — совершенно такъ же, какъ если бы картина была изображена художникомъ, который страдаетъ дальтонизмомъ. И при томъ, это очень существенная часть, — это тѣ ея элементы, которые заставляютъ насъ принимать въ человѣка наиболѣе живое участіе — негодованіемъ, жалостью, сѣмью, презрѣніемъ и т. п.

Это обѣднѣніе и эта упрощенность дѣйствительности не есть просто извѣстный минусъ. Сокращеніе поля зрѣнія сопровождается тутъ ненормальной гипертрофией тѣхъ частей дѣйствительности, которая осталась въ полѣ зрѣнія художника. Эти части подчеркиваются и это даетъ извращенное представление обѣ ней: въ цѣломъ оно грубѣе, элементарнѣе, а въ излюбленныхъ художникомъ частяхъ, подвергшихся гипертрофиѣ, — чрезмѣрно загромождено излишними тонкостями. И то, и другое даетъ представлению о дѣйствительности отпечатокъ грубы, рѣзкости, нарушающей нормальную, дѣйствительную мѣру вещей и тѣмъ самымъ

нарушаетъ правдивость изображенія. Это — результатъ того, что Михайловскій любить называть „поглощеніемъ тучныхъ коровъ тощими“—сложнаго цѣлого его частью.

Существуетъ взглядъ, что такое сокращеніе и упрощеніе дѣйствительности необходимо для чистоты эстетического впечатлѣнія. Для того, чтобы мы могли, по выражению Фета, „благоговѣть богомольно передъ святыней красоты“, изъ искусства должны быть устраниены всѣ цѣли, которые способны осложнить наслажденіе красотой, — все, что не относится къ красивымъ формамъ, къ тонкости и изяществу исполненія. Но можетъ ли, при подобныхъ условіяхъ, быть рѣчь о „святынѣ“ искусства, можно ли тутъ говорить о правдѣ художественной?

Въ той степени, въ какой возможно сколько нибудь приблизиться къ такого рода художественнымъ задачамъ, получается вотъ что.

На одной изъ академическихъ выставокъ Михайловскій отмѣчаетъ бронзовую группу подъ названіемъ „Бѣдствіе“ *). На какомъ-то фантастическомъ звѣрѣ, составленномъ на манеръ химеры, только еще посложнѣе, изъ частей разныхъ звѣрей, скачеть традиціонная смерть, въ видѣ скелета, прикрытаго мантіей, съ традиціонной же косой въ рукахъ; рядомъ бѣжитъ другой, тоже фантастический составной звѣрь, ростомъ поменьше“. — „Глядя на эту группу,—говорить Михайловскій,—поневолѣ думается: не очень-то „бѣдствіе“ страшно! И это объясняется тѣмъ, что олицетворить нынѣ бѣдствіе въ области какой нибудь химерической фантазіи довольно мудрено: у насъ и водосточные трубы дѣлаются нынѣ, съ цѣлью украшенія, въ видѣ разныхъ страшныхъ составныхъ звѣрей — крылатыхъ змѣй съ пѣтушиными гребнями и т. п.; на каминахъ, этажеркахъ, письменныхъ столахъ стоятъ многоголовые идолы, разжалованные изъ своего божескаго достоинства на степень украшенія и проч. Не страшно это даже для дѣтей. Цѣль якобы страшной драконьей морды, которую оканчивается водосточная труба, совсѣмъ не передача или внушеніе впечатлѣнія ужаса, а просто украшеніе. Таково же и положеніе группы „Бѣдствіе“, которая съ успѣхомъ займетъ мѣсто гдѣ-нибудь въ салонѣ, подъ тропическими растеніями; столь же мало возбуждая представление о бѣдствіи, какъ и это тропическое растеніе“.

Художникъ въ этомъ случаѣ задался мыслью „изобразить не ту или другую опредѣленную бѣду, а бѣдствіе вообще, бѣдствіе абстрактное, бѣдствіе an sich. Поэтому онъ вынужденъ былъ прібѣгнуть къ квази-миѳологическимъ комбинаціямъ страшныхъ звѣрей и къ традиціонному образу смерти съ косой. Онъ выбиралъ для своего вымысла все, что ему казалось наиболѣе страшнымъ,

*) Лит. вост. II, 327.

наиболѣе приближающимъ къ впечатлѣнію бѣдствія. Но изъ на-
бранныхъ имъ элементовъ страшное давно выдохлось. Они были
страшны въ своей комбинаціи впечатлѣній, которая ихъ сопро-
вождали и осложняли когда то въ воображеніи людей. Они были
страшны и захватывали всей суммой сопровождавшихъ ихъ
чувствъ и страстей. А лишенные всего этого, упрощенные обра-
зы—уже больше не захватываются и годны только для роли ком-
натныхъ „украшений“. Ими „любуются“, не чувствуя въ нихъ ни
правдивости сложной дѣйствительности, ни ея способности увлечь
и волновать. Сложное впечатлѣніе сократилось и сложное
отношеніе къ нему выдохлось, обратившись въ любование укра-
шениемъ. Искусство тутъ есть, но это низшій родъ искусства.

Такое же отношеніе къ себѣ вызвало у Михайловскаго „пано“
художника К. Маковскаго, помѣщенное на одной выставкѣ
въ центрѣ его остальныхъ картинъ *). На этомъ пано были изо-
бражены великолѣпный павлинъ съ распущенными радужными
хвостомъ. Михайловскому очень понравилась мысль помѣстить
это пано въ самомъ центрѣ группы картинъ Маковскаго. Пав-
линій хвостъ, какъ украшеніе—можетъ служить эмблемой всей
художественной дѣятельности Маковскаго. Маковскій рисовалъ
ширины, носилки вродѣ паланкина, расписанныя амурами и буке-
тами. Все это украшенія — простыя безхитростныя украшенія.
Но къ искусству, когда оно исполняетъ эту роль, никто не ожи-
даетъ, чтобы оно захватывало. Оно обратилось въ невинное укра-
шениe—украшеніе площади, комнаты, мебели.

Однако, противники всего, что осложняетъ эстетическія впе-
чатлѣнія всякими элементами идеиними, нравственными и обще-
ственными, поднимаются нѣсколько выше. Искусство, по ихъ
мѣнію, должно быть украшеніемъ, если не прямо площади, ком-
наты, мебели, то — украшеніемъ жизни. Но осуществление этой
программы встрѣчаетъ непреодолимыя затрудненія. Какъ ука-
шать жизнь, устранивъ изъ „украшения“ все, что входить въ со-
держаніе интересовъ жизни, то-есть все, что задѣваетъ за живое,
волнуетъ, радуетъ, влечетъ къ себѣ?

Есть, однако, одна область живыхъ интересовъ, для которой
въ этомъ отношеніи допускается, какъ замѣчаетъ Михайловскій,
„странное исключеніе“. Это — область любви. Когда Маковскій
изображаетъ на своихъ картинахъ наядъ, русалокъ, вакханокъ и
прочихъ раздѣтыхъ и неодѣтыхъ дамъ, то это, говорить Михай-
ловскій, украшеніе уже осложненное, о которомъ можно сказать
словами школьнаго въ „Фаустѣ“: *das sieht schon besser aus!* man
sieht doch wo und wie! „И я васъ спрашиваю—восклицаетъ Ми-
хайловскій:—если пьяная нѣга вакханки съ глазами, отуманными

*.) Лит. восп. II 324.

жаждой любви, не выходитъ изъ предѣловъ компетенціи „чистаго“ искусства, то почему, напримѣръ, голодъ нищаго или, съ другой стороны, юношеская жажда подвига, или хоть та же молодая женщина, но не раздѣтая и жаждущая не любви, а, положимъ, знанія, могутъ стать предметомъ только не чистаго „искусства?“

Съ своей точки зрењія Михайловскій признаеть за любовнымъ чувствомъ и тѣми впечатлѣніями красоты, которыхъ связаны съ нимъ, право на наше вниманіе, — хотя, на его взглядъ, могущество этого чувства какъ въ грубѣйшихъ, такъ и въ тончайшихъ его проявленіяхъ, едва ли достаточно для оправданія того множества произведеній всѣхъ отраслей искусства, которыхъ ему посвящены. Но, главное, вотъ что. Когда это чувство и связанные съ нимъ представленія красиваго обращаются въ предметъ „украшенія“ жизни, въ объектъ для любованія, тогда получается очень странный результатъ: изъ состава данного чувства (и это относится не только къ нему) исчезаютъ существенные составные части, дѣлающія его живымъ цѣльнымъ, согрѣтымъ внутренней жизнью. И остается специальное — холодное, отчасти „жестокое“ — удовольствие, особенно излюбленное „художественными натурами“ своеобразнаго склада. Это — художественные натуры, про которыхъ нельзя сказать, что между ними и тѣмъ, чѣмъ они любуются, есть „соответствіе“. Напротивъ, соответствія этого очень мало.

Къ этого рода „художественнымъ“ натурамъ принадлежалъ Неронъ, который въ этомъ смыслѣ былъ чистый художникъ. Рассказываютъ, что, разматривая тѣло убитой по его приказанію Агриппины, онъ любовался ея красивымъ тѣлосложеніемъ. „Агриппина, — говорить Михайловскій, — была, съ его чисто художественной точки зрењія, не мать его, не убитая имъ женщина, а только красивое женское тѣло“. Сложное, полное драматического содержанія впечатлѣніе въ его художественномъ воображеніи сокращалось до красивыхъ формъ женского тѣла. Въ такомъ же родѣ внезапно прославившійся декадентъ Лоранъ Тальядъ видѣлъ въ картинѣ динамитнаго взрыва не смерть, не раны и страданія, не страшную смѣсь жестокости и самопожертвованія, а только красивый жестъ человѣка, бросившаго бомбу. Такого же рода чувства свойственны были Ioannу Грозному. Михайловскій *) приводить изъ замѣчательной въ этомъ отношеніи характеристики Ioanna, сдѣланной Константиномъ Аксаковымъ, между прочимъ, слѣдующее: „Ioannъ IV былъ природа художественная, художественная въ жизни. Образы являлись ему и увлекали его своею вѣшнею красотою; онъ художественно понималъ добро, красоту его, понималъ красоту раскаянія, красоту доблести и, наконецъ, самые ужасы влекли его къ себѣ своею страшною картиностю“.

*) V, 835; VI, 747.

„Онъ любилъ красоту,—говорить Михайловскій *),—картиность во всемъ—въ добрѣ и злѣ, не различая добра и зла. Въ его воображеніи постоянно носились разныя картины, которыхъ онъ стремился немедленно осуществлять. То ему представлялась площадь, полная присланныхъ всей землей представителей, и онъ, царь, стоять въ средоточіи этой толпы и въ торжественной обстановкѣ говорить рѣчъ. То та же площадь рисовалась, усташленная орудіями пытки и казни, и опять же—царь, но гнѣвный и страшный въ своемъ всемогущемъ гнѣвѣ. И ту, и другую картину Грозный торопится осуществить въ жизни. А то ему представляется монастырь, черные одежды, покаянныя молитвы, земные поклоны, и, увлеченный этой картиной, онъ обращаетъ себя и опричниковъ въ монаховъ“.

Такое же отношеніе къ своимъ образамъ, впечатлѣніямъ и представлѣніямъ бываетъ и у настоящихъ художниковъ слова, живописцевъ и другихъ, если у нихъ ослаблена естественная здравая связь ощущеній. Примѣромъ можетъ служить картина Новекольцова, которую Михайловскій подробно разбираетъ **). Картина эта изображаетъ опричниковъ, хояйничающихъ въ домѣ опального боярина. Въ центрѣ огромнаго холста лежитъ нагая девушка. Это—обезъщенная боярыня. Слѣвѣ сидѣтъ самъ бояринъ, привязанный къ стулу; немного дальше лежитъ, въ полуоберотъ къ зрителямъ, его жена, тоже связанная. Справа на заднемъ планѣ два опричника: одинъ, сидя, доливаетъ вино, другой куда-то зоветъ или тащитъ его. Михайловскаго „особенно поразили двѣ фигуры въ этой картинѣ: голая девушка и одинъ изъ опричниковъ. Девушка лежитъ въ безчувственномъ состояніи, надѣя нею только что совершено гнусное насилие, но она такъ спокойно и условно красиво лежитъ, такъ полно отсутствіе какихъ бы то ни было знаковъ насилия или сопротивленія на ея красивомъ бѣломъ тѣлѣ,— ни цареники, ни синячка,— что точь въ точь наѣда или русалка г. Маковскаго. А опричникъ, такой красивый и симпатичный молодецъ съ весело сверкающими глазами и зубами, въ такомъ чистенькомъ, новенькомъ съ иголочки щегольскомъ кафтанѣ, безъ капли крови и безъ единой оторванной пуговицы, что хоть сейчасъ его въ маскарадѣ отправляй, веселыя любезности дамамъ говорить. Этому соотвѣтствуетъ и чисто, такъ сказать, бутафорскій беспорядокъ обстановки: мебель и утварь разбросаны съ такою аккуратностью, что ни малѣше не напоминаютъ о разгромѣ, происходившемъ тутъ сю ми-нуту. Все дѣло, очевидно, въ красивомъ голомъ женскомъ тѣлѣ и въ красивомъ нарядномъ молодцѣ“. Красотой можно любоваться,—говорить Михайловскій,—но когда васъ заставляютъ любоваться кра-

*) VI, 167.

**) Лит. вост. II. 327.

сотовъ подъ фирмой страшной драмы вторженія злодѣевъ въ мирный домъ, всяческихъ насилий и оскорблений, совершаемыхъ негодяями надъ беззащитными людьми, то изъ сложной, захватывающей драмы выбрасывается все ея живое содержаніе. Любуйсь красотой такого сюжета, художникъ „сдѣлалъ изъ крови и слезъ конфетку“. И въ результатаѣ — сложная, содержательная драма, обращенная въ предметъ „украшенія“ или хотя бы „красоты“ — не даетъ ни художественной правды, ни силы захвата, на которую она способна.

Вообще, когда художникъ склоненъ относиться къ своимъ образамъ, какъ къ предметамъ одной только красоты, то для Михайловскаго не было сомнѣнія, что это стремленіе къ неосуществимой задачѣ **). Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ той степени, въ какой задача эта осуществима, она является покушеніемъ на сложность жизни и на ея цѣльность: въ ней кроется склонность низвести жизнь до уровня комбинацій однихъ низшихъ ощущеній. Низшими же Михайловскій ихъ называетъ не произвольно, не изъ аскетического презрѣнія къ физической природѣ человѣка. Они низшія въ томъ смыслѣ, что, предоставленные самимъ себѣ, сокращаютъ объемъ жизни и ослабляютъ ея цѣльность.

Въ этомъ отношеніи типичное явленіе представляютъ французские символисты *). Ихъ признанный теоретикъ, Шарль Морисъ, въ своей книгѣ *La littérature de tout à l'heure*, говоритъ: „въ глубинѣ души молодыхъ поэтовъ лежитъ жажда *всего* (онъ это слово подчеркиваетъ); эстетический синтезъ — вотъ чего они ищутъ... Современная литература синтетична; она мечтаетъ *воздействовать на всего человѣка всѣмъ искусствомъ*“ (курсивъ Мориса). Въ этомъ же смыслѣ г. Мережковскій говоритъ о литературѣ символовъ, что она „расширила художественную впечатлительность“. Но это расширение, это стремленіе къ цѣльной гармонической жизни всѣмъ существомъ, всѣми доступными человѣку сторонами жизни — осуществляется у нихъ въ специальной и при томъ ограниченной области. Сенъ Полъ Ру заявляетъ, что „поэзія, синтезъ различныхъ искусствъ, есть единовременно вкусъ, запахъ, звуки, свѣтъ, форма. Поэтическое произведеніе есть пятигранная призма — sapide — odorante — sonore — visible — tangible. И именно въ этомъ и состоять ихъ „синтезъ“, въ этомъ и заключается возвѣдѣніе „всего“ искусства на „всего“ человѣка. Для нихъ весь человѣкъ — это существо слышащее, видящее, обоняющее, осязающее и вкушающее; въ соединеніе этихъ пяти чувствъ они хотятъ воплотить безъ остатка всего человѣка. А между тѣмъ

*) Къ этой темѣ Михайловскій возвращался много разъ. См., между прочимъ, Соч. I, 122 и д., 839; II, 529—532, 609—612, 639; V, 530—6; 719—23, 733; VI, 386—7, 452—3; Литер. восп. I, 158, II, 92, 323—330; Отклики II, 302—3.

**) См. Лит. восп. II, гл. 1, 2 и 3.

весь человѣкъ, дѣйствительно весь, — Михайловскій настойчиво это напоминаетъ,—есть существо мыслящее, чувствующее и дѣйствующее. Но символисты всѣмъ своимъ душевнымъ строемъ далеки отъ пониманія этой нормальной комбинаціи элементовъ. Они — продукты совсѣмъ особенной и очень печальной эпохи въ исторіи Франціи. „Безпрімѣрный несчастія, — говорить Михайловскій, — одно за другимъ обрушившіяся на эту страну, начиная съ кровавой декабрьской ночи 1851 г., наконецъ, придали ею. Ея лучшіе, наиболѣе энергические слуги цѣлыми горстями выбрасывались за бортъ, то наполеоновскимъ режимомъ, то войной, то внутренними кровавыми расправами. Остальныхъ несчастія опелоили до растерянности и безучастія. Цѣль и смыслъ жизни затерялись въ этомъ калейдоскопѣ разгромовъ. На что надѣяться? во что вѣрить? чего желать? къ чему стремиться? Все разбито, раздавлено... „О, поле, поле, кто тебя усѣялъ мертвыми костями?“ *) Въ такія эпохи,—говорить онъ,—„всѣдѣствіе отсутствія равновѣсія, жизнь утрачиваетъ смыслъ, когда цѣлымъ обществомъ овладѣваетъ атмосфера безцѣльности существованія. Для такого удрученного положенія нѣть надобности, чтобы всѣ и каждый ясно сознавали, въ чёмъ состоитъ бѣда; бѣда въ воздухѣ носится, какъ невидимая зараза, и минуетъ лишь тѣхъ, конечно, очень многочисленныхъ, кто живетъ изо дня въ день исключительно животной жизнью. Всѣми же остальными либо неисходная, хотя бы и совершенно безпредметная, тоска овладѣваетъ, либо жажда, хотя бы безсознательная, исхода“ **).

Среди искашившихъ такого исхода была въ семидесятыхъ годахъ кучка молодыхъ поэтовъ, собирающихся въ кабачкахъ Латинского квартала. Дѣти эпохи, въ которой были разбиты всѣ одушевлявшія общество высшія идеинныя задачи, они интересовались только художественной и, именно, стихотворной формой. И она должна была дать имъ все—„всего человѣка“. Что же давала она имъ на самомъ дѣлѣ?

Стремленіе найти въ формѣ все, но при томъ помимо содѣйствія идеиныхъ элементовъ, наталкивало символистовъ на непреодолимыя затрудненія художественной техники. Это выразилось въ обиліи вычурныхъ, вымученныхъ выраженій, въ сопоставленіяхъ, въ которыхъ чувствуется стремленіе выразить какіе-то образы и настроенія, видимо не поддающіеся выраженію данными приемами. Вотъ стихотвореніе Метерлинка „Скука“: „Беззаботные павлины, бѣдные павлины улетѣли отъ скучи пробужденія; я вижу бѣлыхъ павлиновъ, сегодняшнихъ павлиновъ, павлиновъ, улетѣвшихъ въ время на, беззаботныхъ павлиновъ, сегодняшнихъ павлиновъ, безопасно олетѣвшихъ до пруда безъ солнца, я слышу бѣлыхъ павлиновъ,

*) VI, 684.

**) Лит. восп. II, 88.

лавлиновъ скучи, беспечно ожидающихъ времени безъ солнца". При этомъ, французскій оригиналъ этого стихотворенія отличается обилиемъ носовыхъ звуковъ, сообщающихъ ему еще болѣе скучно-монотонный характеръ. Самъ по себѣ этотъ пріемъ не представляеть ничего особенного. Имъ пользовались всѣ поэты. Но здѣсь, кромѣ звуковыхъ эффектовъ, художникъ видимо тягнется возвлѣжить на словесную форму какую-то особую задачу. Какія-то сложные и деликатные оттѣнки чувствъ и настроений онъ старается уловить при помощи болѣе чѣмъ загадочныхъ „сегодняшнихъ павлиновъ“, „беззаботныхъ павлиновъ“, летающихъ во время сна, и тому подобныхъ безмысленныхъ сопоставленій. Тутъ явное бессиліе формы совладать съ содержаніемъ настроений, которымъ она должна выразить. И бессиліе это усугубляется пристрастіемъ къ сопоставленіямъ образовъ въ всякой логической нити, въ реальной связи вещей. Нордау въ своемъ „Вырожденіи“ отмѣчаетъ въ этомъ отношеніи болѣзненную настойчивость, съ какой у Метерлинка повторяются, помимо логической связи, нѣкоторые образы: „каналы“, „корабли“, больницы“, „стада“, „овцы“, „принцессы“. Въ общемъ это создаетъ очень узкій кругозоръ. То же самое значеніе имѣеть отмѣчаемая Михайловскимъ другая любопытная черта стихотвореній Метерлинка — характеристика предметовъ, чувствъ и идей различными цѣтовыми ощущеніями. У него попадаются: „блѣлая бездѣятельность“, „лиловые сны“, „голубая скуча“, „голубыя мечты“, „голубые мечи сладострастія въ красномъ тѣлѣ гордости“, „фюлетеовыя змии мечтаній“, „красные стебли ненависти среди зеленаго траура любви“, „блѣлая молитва“, „голубой духъ“, „зеленый покой“, „голубые бичи воспоминаній“, „желтая стрѣлы сожалѣній“, „желтая собака моихъ грѣховъ“ и т. п. Рядомъ съ этимъ у символистовъ замѣчается пристрастіе къ воплощенію сложныхъ душевныхъ настроений „музыкой“, вообще звуками. Рене Гиль пишетъ: „Для выражения извѣстнаго состоянія духа нужно заботиться не о точномъ лишь значеніи слова, о чѣмъ до сихъ поръ только и думали: эти слова должны выражаться съ точки зрѣнія ихъ звучности, такъ, чтобы ихъ цѣлесообразное, рассчитанное сочетаніе давало математическій эквивалентъ того музыкального инструмента, который былъ быпущенъ въ ходъ въ оркестръ для выраженія данного состоянія духа“. Третій символистъ, Рембо, придаетъ особое значеніе связи между звукомъ и цѣвтомъ. Онъ написалъ сонетъ подъ заглавиемъ *Voyelles* (гласныя), гдѣ излагается, что звукъ А вызываетъ ощущеніе чернаго цѣвта, Е—блѣаго, I—краснаго, U—зеленаго, О—голубого. И на эту тему у символистовъ было не мало разговоровъ.

Все это, независимо отъ преувеличеній, явленія не безъзвѣстны въ поэзіи вообще. Всѣ мы говоримъ „черная неблагодарность“, „рововая надежды“, „зеленая молодость“. У гр. Л. Н. Толстого въ „Войнѣ и Мирѣ“ Наташа Ростова говоритъ, что Борисъ Дру-

бецкой узкий, сбрый, светлый, а Безуховъ—синій, темно-синій съ краснымъ и четвероугольный. Некрасовъ говорить: „Идеть, гудеть зеленый шумъ, зеленый шумъ, весенний шумъ“. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ подобные оригинальные эпитеты обогащаютъ общее представление, прибавляя нечто добавочное къ суммѣ про-чихъ признаковъ, потому что они связываются логически и ре-ально съ остальнымъ. Некрасовъ даже считаетъ нужнымъ въ приведенномъ случаѣ, во избѣжаніе недоразумѣній, сдѣлать по-ясненіе—„такъ народъ называетъ пробужденіе природы весной“. Символисты же, въ увлечевіи культомъ формы, т.-е. технической стороны искусства, стремятся выдѣлить комбинаціи ощущеній цвѣтныхъ и слуховыхъ изъ всего прочаго—изъ комбинацій реаль-ныхъ, логическихъ, идеиныхъ. Всѣдѣствіе этого онъ оказывается въ какой-то духовной пустынѣ. При такихъ условіяхъ дѣйстви-тельность отражается въ ихъ образахъ не въ ея полнотѣ и цѣльности, а въ укороченномъ видѣ и разорванная. Разорвана она потому, что комбинаціи звуковъ или цвѣтныхъ разрываютъ связь логическую и реальную. Когда у Метерлинка „беззаботные павлины, бѣлые павлины, улетѣли отъ скучи пробужденія“, то логическая и реальная связь вещей тутъ порвана. Произошло это очень просто. Метерлинкъ искалъ такихъ звуковъ (даже не словъ) и такого ихъ расположенія въ ритмическихъ строчкахъ чтобы они внушали читателю настроеніе скучи, и достигъ этого однообразiemъ носовыхъ звуковъ. Стихотвореніе это непереводимо на иностранные языки, потому что въ результатѣ такого пер-вода останется только безсмыслица содержанія, а комбинація но-совыхъ звуковъ, свойственныхъ французскому языку, пропадетъ. Мало того, стихотвореніе это не только непереводимо, но и не нуждается въ переводѣ, потому что и для французовъ входящіи въ его составъ слова не имѣютъ самостоятельного значенія. „Прудъ безъ солнца“ (*l'etang sans soleil*) и „времена безъ солнца“ (*les temps sans soleil*) не имѣютъ смысла ни по-русски, ни по-французски. Они только звучать по-французски совершенно оди-наково. Точно также, когда авторъ „слышитъ“, какъ чего-то ожи-даются бѣлые павлины, то въ этомъ нѣть смысла. Слышать ожи-даніе нельзя; можно видѣть ожидающихъ. Но если сказать je vois, вмѣсто j'entends, то пропадетъ два носовыхъ звука, которые ему нужны. Благодаря этому приему, съ одной стороны, ограничи-вается кругъ воздействиія стихотворенія на публику: оно говорить только французскому уху и имѣть, такъ сказать, исключительно мѣстное значеніе. „Если бы великие поэты такъ писали, говорить Михайловскій, то Шекспиръ, Гете, Бауронъ и проч. не были бы всемирными достояніемъ“. А съ другой стороны, еще вопросъ, дѣйствительно ли оно внушаетъ и французскому уху идею или настроеніе скучи. Врядъ ли возможно достичь полнаго соотвѣт-ствія съ такой сложной вещью, какъ настроеніе скучи, одними

звуками, да еще въ поэзіи, въ которой міръ звуковъ ограниченъ. Это задача, въ концѣ концовъ, того же порядка, какъ изобразить красочную картину, не имѣя въ своемъ распоряженіи всей гаммы красокъ, все равно какъ и страдающему дальтонизмомъ предста- вить себѣ хотя бы радугу. Вообще, комбинаціямъ зрительныхъ впечатлѣній, излюбленнымъ поэтами-символистами, безъ содѣ- ствія комбинацій ідей и чувствъ, доступна только очень ограни- ченная часть дѣйствительности, или, вѣрѣ, часть дѣйствитель- ности, искусственно ограниченная въ своемъ объемѣ. Въ примѣ- неніи къ сколько-нибудь сложнымъ явленіямъ они даютъ образы представляющія дѣйствительность въ обуженномъ и поэтому из- вращенномъ видѣ. Говоря о цвѣтномъ слухѣ, который такъ ин- тересовалъ символистовъ, Михайловскій замѣчаетъ:

„Цвѣтной слухъ, равно какъ и другія комбинаціи и транс- сферты нашихъ вицѣнныхъ чувствъ, несомнѣнно существуютъ, какъ психо-физиологический фактъ, и, въ извѣстныхъ предѣлахъ, поэзія всегда пользовалась имъ, какъ дополнительнымъ техническимъ средствомъ. Можно думать о расширеніи этихъ предѣловъ, но никакимъ образомъ нельзя согласиться на пожраніе тучныхъ коровъ тощими, на поглощеніе мысли поэтическаго произведенія зву- ками, красками, запахами, вкусами. Если же мы присутствуемъ при такомъ поглощеніи въ твореніяхъ символистовъ, то это не потому, чтобы въ самомъ дѣлѣ „расширилась художественная впечатлительность“, а потому, что оскудѣла область высшихъ комбинацій—область мысли, чувства, воли. Ощущенія, даваемыя органами зрѣнія, слуха, осязанія, обонянія и вкуса, это вѣдь низшія ступени душевной жизни, находящіяся на границѣ физіо- логіи и психологіи, и уже одно то характерно, что символисты такъ упорно засиживаются на этихъ низшихъ ступеняхъ“.

Въ этомъ отошеніи характерной иллюстраціей служить ихъ отношеніе къ общему, свойственному французамъ—какъ въ лите- ратурѣ, такъ и въ живописи—культурѣ женского тѣла. Михайлов- скій отмѣчаетъ ту любопытную черту, что нынѣшніе фран- цузские поэты часто употребляютъ слово „chair“ въ тѣхъ слу- чаяхъ, когда старый поэтъ сказалъ бы согрѣ. Даже слова эти, по- жалуй, однозначуци, но chair гораздо грубѣе, оно собственно значить „мясо“; оно соответствуетъ не столько зритальному впечатлѣнію формы, сколько впечатлѣніямъ осязательнымъ и обонятельнымъ.

Михайловскій въ данномъ случаѣ смотритъ не съ какой- ни- будь спиритуалистической точки зрѣнія, побуждающей относиться съ преарѣніемъ къ низшимъ чувствамъ. Они для него низшіе только до тѣхъ поръ, пока они не разрѣшились въ сколько- ни- будь опредѣленныя чувства, настроенія, мысли. Пока этого нетъ, они даютъ очень мало связующаго между художникомъ и осталь- нымъ міромъ. Когда Некрасовъ говоритъ о „зеленомъ шумѣ“, то

это понятно вездѣ, гдѣ есть весна и лѣсъ. И при томъ, понятно не только организаціямъ, обладающимъ цвѣтнымъ слухомъ, а всѣмъ, кто способенъ получать ощущенія зеленаго цвѣта и гѣ-
шаго шума. А что такое бѣлый павлинъ по прикосновенности къ скучѣ? Это тайна Метерлинка, для котораго, вслѣдствіе какихъ-
то неизвѣстныхъ намъ личныхъ, случайныхъ обстоятельствъ, эти
два представленія ассоциировались, а намъ, читателямъ, образъ
бѣлого павлина рѣшительно ничего не говорить о скучѣ. Точно
также для Рене Гиля азбука имѣть не тѣ цвѣта, что для Рембо,
Метерлинку скуча кажется бѣлой, а иному желтой и т. д. Словомъ,
кто во что гораздъ.

Мало того, даже въ предѣлахъ одной личности „нижнѣй“
ощущеніямъ не хватаетъ связующей силы, способной дать душев-
ному строю отпечатокъ цѣльности—цѣльной простоты и ясности.
Они по самой природѣ своей слишкомъ отрывочны, чтобы позво-
лить душевнымъ силамъ отдохнуть на нихъ и чтобы дать доста-
точно материала для здоровой—разносторонней и связной душев-
ной работы. Усиленное сосредоточеніе на нихъ, нарушая связ-
ность и притупляя нервы, и жестоко терзаетъ ихъ, отнимая у
ощущеній ихъ непосредственность, правдивость и вообще цѣль-
ность. Въ связи съ этимъ мы видимъ у поэтовъ-символистовъ
„утомительную вымученность языка, прискованіе рѣдкихъ, ста-
риинныхъ или вновь сочиненныхъ выражений, непонятные обороты
рѣчи, эквилибристику версификації“. Въ „пустынѣ“ низшихъ
ощущеній душевнымъ силамъ негдѣ разойтись и, вѣдь поддержки
опредѣленныхъ чувствъ и мыслей, онѣ теряютъ въ правдивости,
искренности и непосредственности. Это отражается особенно на
ослабленіи чувства мѣры. Недостатокъ же его лишаетъ образы
художника какъ отпечатка правдивости, такъ и силы убѣдитель-
ности. Чувства мѣры, вообще можно сказать, не хватаетъ худож-
нику во всѣхъ тѣхъ случаихъ, когда большой кругъ жизни онъ
мѣрить маленькимъ аршиномъ элементарныхъ ощущеній и когда
элементарнымъ ощущеніямъ не соответствуетъ достаточно широ-
кий кругъ опредѣленныхъ чувствъ, идей и настроеній. Въ то же
положеніе попадаетъ иногда и большой художникъ, когда его
идеи, задачи и настроенія, хотя бы случайно или временно, слиш-
комъ узки по отношенію къ трактуемымъ сюжетамъ.

II.

Изъ художниковъ, у которыхъ недостатокъ чувства мѣры даетъ
себя знать, съ особенной силой Михайловскій отмѣтилъ двухъ
болѣе крупныхъ—Лѣскова и Григоровича. Остановимся на Лѣ-
сковѣ *).

*) См. Отклики, II, 100—120, также сочин. IV 796 и д.

Лѣскова Михайловскій опредѣляетъ вообще какъ писателя, у котораго „безмѣрность“ составляеть наиболѣе выдающуся черту. Михайловскій иллюстрируетъ эту особенность Лѣскова многими примѣрами. У него былъ колоритный и оригинальный языкъ. Но и то, и другое качество были испорчены отсутствиемъ чувства мѣры. Цѣлые разсказы у него сплошь написаны „выдѣланнымъ, искусственнымъ, утрированнымъ простонароднымъ говоромъ“. Вообще, „онъ точно избѣгалъ обыкновенной живой русской рѣчи и при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ подмѣнялъ ее или утрированно-простонародною, или смѣсью обыкновенного разговорнаго языка съ церковно-славянскимъ“. Съ другой стороны, онъ выработалъ себѣ совсѣмъ особенный, ни на что не похожій языкъ, которымъ тоже злоупотреблять сверхъ всякой мѣры. Затѣмъ, у него была страсть ко всевозможнымъ смѣшнымъ словамъ, въ которыхъ онъ былъ мастеромъ, значительно превзошедшемъ Лейкина. И этими смѣшными словами онъ надѣлялъ безъ мѣры массу лицъ, часто не разбирая, соотвѣтствуетъ ли это природѣ даннаго лица, или нѣтъ. У него было неисчерпаемое богатство фабулы. Но „богатство фабулы, замѣчаетъ Михайловскій, требуетъ еще многихъ прибавокъ для того, чтобы получилось истинно-художественное произведеніе, и прежде всего требуетъ отсутствія пестроты или ея незамѣтности“. Но здѣсь ему опять ццерекъ дороги его безмѣрность стала, недостатокъ пропорціональности, соотвѣтствія между частями и сконцентрированности. По богатству фабулы самое замѣчательное изъ его произведеній—это „Очарованный странникъ“. „Но въ немъ же, говоритъ Михайловскій, особенно бросается въ глаза отсутствіе какого бы то ни было центра, такъ что и фабулы въ немъ, собственно говоря, нѣтъ, а есть цѣлый рядъ фабуль, нанизанныхъ, какъ бусы, на нитку; и каждая бусина сама по себѣ и можетъ быть очень удобно вынута и замѣнена другою, а можно и еще сколько угодно бусинъ нанизать на ту же нитку“.

То же отсутствіе чувства мѣры оказывается и въ пристрастіи Лѣскова къ изображенію, съ одной стороны, „праведниковъ“ (онъ ихъ иногда такъ и называетъ), а съ другой—злодѣевъ, превосходящихъ всякое вѣроятіе. „Вообще, заключаетъ Михайловскій, въ какомъ бы направленіи или отношеніи мы ни изслѣдовали этого плодовитаго писателя,—въ отношеніи ли языка, или характера дѣйствующихъ лицъ, или архитектуры фабулы,—мы вездѣ встрѣтимся съ однимъ и тѣмъ же его кореннымъ свойствомъ: безмѣрностью, отсутствиемъ чувства мѣры“ (Отелики II, 120).

И эта безмѣрность связана была у него съ отсутствиемъ элементовъ, способныхъ поднять его образы выше значенія анекдота. Лѣсковъ былъ по преимуществу рассказчикъ анекдотовъ. „Даже его большія произведенія представляютъ собою, собственно го-

воря, цѣль анекдотовъ, болѣе или менѣе прямолинейную, какъ въ „Очарованномъ странникѣ“, „Запечатлѣнномъ Ангелѣ“, „Полунощникахъ“, „Смѣхѣ и горѣ“, „Печерскихъ антикахъ“, и проч., или же чрезвычайно запутанную, какъ въ „Соборянахъ“, „Захудаломъ родѣ“, „Некуда“, „На ножахъ“. Анекдотъ же, какъ нѣчто отрывочное и случайное, серьезно самостоятельного значенія не имѣть. Въ лучшемъ случаѣ онъ призванъ не характеризовать извѣстное лицо или положеніе, а лишь дополнить или иллюстрировать характеристику. Въ большинствѣ же случаевъ анекдотъ цѣнится ради его мимолетной занимательности: анекдотъ выслушанъ, произвелъ извѣстное впечатлѣніе, трогательное или комическое, и съ васъ этого довольно, вы не очень задумываетесь надъ тѣмъ, сколько въ немъ были и сколько небылицы“.

Отрывочность „анекдота“ дѣлаетъ изъ каждого явленія, которого онъ касается, мелкій фактъ безъ перспективы, отнимаетъ у явленія, входящаго въ составъ сложныхъ совокупностей, окружающую его перспективу вещей. И въ результатѣ—мелочь и мелкое прходающее впечатлѣніе заслоняетъ собой сложное и интересное содержаніе жизни. Пользуясь выражениемъ одного лица въ одномъ изъ рассказовъ Лѣскова, Михайловскій говоритъ, что девизомъ или художественной программой Лѣскова служить формула: „сейчасъ смѣшно и сейчасъ жалобно“. Онъ то смѣшить читателя

якими „пупонами“, „интуорями“, „монументальными фотографиями“, „блеардными шарами“ и т. п., то разжалобливаетъ его.

Но *х* *от* *ы* смышное столь же законно въ искусствѣ, какъ и жалобное, законны и смышные слова, но не тогда, когда они заслоняютъ собою и смышное, и жалобное въ жизни. Михайловскій приводить, между прочимъ, такой примѣръ. Есть разсказъ о томъ, что будто бы на Никейскомъ соборѣ Николай Чудотворецъ, пытая религиознымъ рвениемъ, ударилъ еретика Ария. Въ разсказѣ „Полунощники“ добродушный, но безпутный купецъ Селезневъ узнаеть, что никогда этого не было, что Николай Чудотворецъ не только не давалъ пощечины Арию, но и на соборѣ не присутствовалъ. Степеневъ освѣдомляется объ этомъ у „профессора“ и потому, нынѣшний, разсказываетъ: „Представьте, я вчера съ профессоромъ на блеардѣ игралъ и сдѣлалъ ему постановъ вопроса объ Ариѣ, а онъ дѣйствительно подтверждаетъ, что наша ученая правду говорить—угодника на этомъ соборѣ, дѣйствительно, совсѣмъ не было. Мнѣ это большая непріятность, со мной чрезъ это страшный переломъ религіи долженъ выйти, потому что я этотъ фактъ больше всего обожалъ и такъ этого забыть не могу. А вчера профессору блеардный шаръ въ лобъ пустилъ; теперь или онъ на меня жалобу подастъ, и я долженъ въ тюрьмѣ сидѣть, или надоѣхать къ нему прощады просить“.

„Въ такомъ видѣ,—говоритъ Михайловскій,—хотя и подкрашенное блеардными шарами и прощадами, но всетаки выдѣленное изъ

всей массы инпузорій, пупоновъ, костюмовъ „а-ла морда“ и жи-
вотовъ „а-ла пуге“—въ такомъ видѣ огорченіе Степенева пред-
ставляетъ собою благодарнѣйшій мотивъ для настоящаго коми-
за,—того комизма, къ которому всегда примѣщивается извѣстная
доля горечи. Вглядитесь въ самомъ дѣлѣ въ эту достойную вся-
каго вниманія фигуру. Человѣкъ „больше всего обожалъ толь-
ко фактъ, что Св. Угодникъ прибылъ еретику, и когда узналъ, что
этого факта не было, то почувствовалъ, что съ нимъ „долженъ
выйти страшный переломъ религії“. Какая глубоко комическая
и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко жалостная психологія. Разработка ея,
замѣчаетъ Михайловскій, могла бы сдѣлать большую честь г. Лѣ-
ськову, но онъ предпочелъ, какъ снѣгомъ въ полѣ, засыпать ее
пупонами, такъ что изъ подъ нихъ не видны очертанія засы-
панного“.

И всесторонняя безмѣрность Лѣскова всегда сводилась къ
тому, что, такъ или иначе, сложная совокупность явлений засло-
няется у него отрывочнымъ, случайнымъ фактомъ, пригоднымъ
для анекдота, но непригоднымъ для освѣщенія совокупности и
связи вещей; „смѣшное“ и „жалостное“ настроенія, способныя
освѣтить жизненные положенія, заслоняются смѣшными и жал-
кими словами. Когда связь между вещами мала или ничтожна,
охватывая только небольшой ея кругъ, въ такомъ случаѣ мелкое,
отрывочное и незначительное поневолѣ выдвигается впередъ. Въ
этомъ и выражается всегда всякий недостатокъ чувства мѣры

III.

Обратимся теперь къ тому, какое освѣщеніе съ этой же точки
зрѣнія внесено Михайловскимъ въ пониманіе такихъ крупныхъ
писателей-художниковъ, какъ Чеховъ и Тургеневъ.

Нѣкоторые почитатели Чехова утверждали, что Михайловскій
неправильно цѣнилъ Чехова, предъявляя ему—этому художнику
по преимуществу—требованіе идеиности и опредѣленного напра-
вленія. На самомъ же дѣлѣ для отношенія Михайловскаго къ
Чехову характерно одно обстоятельство, рисующее его пріемы
вообще, а въ частности—его неспособность, такъ сказать, нави-
звывать писателю что-нибудь чуждое ему, предъявлять ему чуждыя
ему требованія отъ себя. Любопытно именно, что требованія
определенности направленія, какія Михайловскій предъявлялъ
Чехову, онъ бралъ цѣлкомъ у него же самого, изъ его соб-
ственныхъ произведеній. Онъ ихъ искалъ въ произведеніяхъ мо-
лодого художника, любовно останавливаясь на задаткахъ, которые
считалъ благопріятными для достиженія полноты художественного
печатлінія и для того, чтобы талантъ Чехова могъ развернуться
во всю мѣру своей силы.

Въ произведеніяхъ Чехова въ первую половину его дѣятельности Михайловскій останавливался съ чувствомъ скорби предъ фактами неразборчивой растраты большого таланта. Его удивляло „то безразличіе и безучастіе, съ которыми Чеховъ направлялъ свой превосходный художественный аппаратъ на ласточку и самоубійцу, на муху и слона, на слезы и на воду“. Часть поклонниковъ Чехова видѣла именно въ этомъ новое откровеніе, называя его „реабилитацией дѣйствительности“ и „пантеизмомъ“. „Все въ природѣ равноцѣнно,— говорили они,— все одинаково достойно художественного воспроизведенія, все можетъ дать однаковое художественное наслажденіе, а сортировку сюжетовъ съ точками звѣнія какихъ бы то ни было принциповъ надо бросить, что и дѣлаетъ Чеховъ“.

Михайловскій, съ своей стороны, высоко цѣня большой талантъ Чехова, думалъ, что, если бы Чехову удалось измѣнить этому пріему, то „русская литература имѣла бы въ его лицѣ не только большой талантъ, а и большого писателя“. И его большой талантъ давно уже подсказывалъ ему это А именно, когда онъ вложилъ въ „Скучной исторіи“ Николаю Степановичу слѣдующія слова: „Каждая мысль и каждое чувство живутъ во мнѣ особией комъ, и во всѣхъ картинахъ, которыхъ рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей или богомъ живого человѣка; а коли нѣть этого, то, значитъ, нѣть и ничего“.

Въ картинѣ, въ которой все равноцѣнно, не можетъ быть художественной цѣльности, и впечатлѣнія разбрасываются и слѣбѣютъ. Иллюстрацію того, чего собственно хотѣлъ Михайловскій отъ Чехова, онъ далъ по поводу кое-какихъ картинокъ въ „Музѣахъ“. Разбирая эту повѣсть, онъ дѣлаетъ изъ нея большую выписку съ описаніемъ пожара и подчеркиваетъ въ ней слѣдующія фразы... „Старыя бабы стояли съ образами... Вороной жеребецъ, которого не пускали въ таборъ, такъ какъ онъ лягалъ и ранилъ юшадей, теперь, пущенный на волю, топоча, со ржаньемъ пробѣжалъ по деревнѣ разъ и другой и вдругъ остановился около телѣги и сталъ бить ее задними ногами“. Затѣмъ идетъ рядъ образовъ, въ которыхъ Михайловскій подчеркиваетъ фразу—„на лысинѣ его (старика) отсыѣчивалъ огонь“.

Картина вышла яркая, но Михайловскій вспоминаетъ по ея поводу картину, бывшую на одной передвижной выставкѣ. На ней изображена была освѣщенная близкимъ пламенемъ пожара часть избы, у дверей которой стоитъ старая баба съ иконой въ рукахъ. „Ничего больше, никакихъ другихъ подробностей. Но въ физіономію бабы,—вспоминаетъ Михайловскій,—художникъ вложилъ отолько спокойной увѣренности, что икона оградитъ избу отъ огня, который, однако, вотъ-вотъ отгонитъ бабу,— что передъ вами раскрывается цѣлая сложная сторона мужицкой жизни. Въ

картины Чехова старая бабы съ образами—мелкая деталь, занимающая ровно столько же места, сколько отражение огня на лысинѣ старика. При томъ же записана эта деталь такъ небрежно, что не всякий и пойметъ, въ чёмъ тутъ дѣло: можетъ быть бабы просто спасали образа. За то мы узнаемъ не только какъ вель себя на пожарѣ вороной жеребецъ, но и какой у него вообще дурной характеръ“.

При такой „равноцѣнности“ впечатлѣній, образы Чехова въ первый періодъ его творчества въ большинствѣ случаевъ производили впечатлѣніе ряда прекрасно ограниченныхъ бусъ, механически нанизанныхъ на нитку, а не цѣльного самородка. Это произведения очень талантливаго и наблюдательнаго художника. Но такъ какъ авторъ безпрестанно переноситъ свое художественное вниманіе съ одного предмета на другой, то въ результатѣ получились отрывочные наблюденія. Они, при всей своей мѣткости, заставили французскаго критика Мельхiora de Богюе сравнить Чехова съ тѣмъ офицеромъ-любителемъ фотографіи, который въ „Трехъ Сестрахъ“ постоянно носить съ собой и постоянно пускать въ ходъ аппаратъ для моментальныхъ фотографическихъ снимковъ. Михайловскій отмѣчаетъ въ этомъ отношеніи еще слѣдующее любопытное впечатлѣніе.

„Во всемъ, что я слышалъ и читалъ о „Мужикахъ“, — говорить онъ, — меня поразило то, что, восхищаясь талантливостью этого произведения, талантомъ Чехова вообще, никто не попытался вспомнить хоть одно какое-нибудь изъ прежнихъ произведений Чехова. А вѣдь это такъ естественно, когда рѣчь идетъ о произведеніи талантливаго писателя, имѣющаго болѣе или менѣе долгое литературное прошлое. Читая, напримѣръ, не то что такую грандиозную работу, какъ „Война и миръ“, а даже такой незначительный разсказъ, какъ „Хохлинъ и работникъ“, вы невольно вспоминаете рядъ образовъ и картинъ изъ другихъ произведеній Толстого, ищете въ нихъ дополненій, разъясненій, параллелей, контрастовъ; вамъ открываются такія или иные перспективы въ творческій мірѣ Толстого вообще. Возьмите любого другого беллетриста, привлекающаго къ себѣ вниманіе публики: Тургенева, Салтыкова, Успенскаго, Достоевскаго; вѣдѣ вы получите то же самое: столь тѣсную связь между если не всѣми, то большинствомъ ихъ произведеній, что даже при желаніи изолировать какое-нибудь одно изъ нихъ, сдѣлать это трудно. Это, напротивъ, очень легко относительно Чехова. Трудно, напротивъ, найти какую-нибудь связь между „Мужиками“ и „Ивановымъ“, „Степью“, „Палатой № 6“, „Чернымъ монахомъ“, водевилями вродѣ „Медвѣдя“, многочисленными мелкими рассказами“ (Отклики II, 125—6).

Но въ 1902-мъ году Михайловскій отмѣчаетъ въ этомъ отношеніи крутую перемѣну въ Чеховѣ. „Трудно сказать,—оговари-

вается онъ,—когда эта перемѣна произошла, да она во всякомъ случаѣ не вдругъ совершилась. Но, несомнѣнно, въ его настроеніи произошелъ переломъ или, вѣрѣю, онъ „нажилъ себѣ опредѣленное настроеніе“. И благодаря этому, между ранними и позднѣйшими его произведеніями получилась огромная разница. Это сказалось даже во вѣшней формѣ его произведеній — въ переходѣ отъ маленькихъ картиночекъ къ большими произведеніямъ. Тутъ сказаилась та же потребность обобщить, объединить случайные осколки жизни, которая выразилась у старого профессора „Скучной исторіи“ тоской по „общей идеѣ“. Въ то же время у него сложился и извѣстный общій взглядъ на изображаемую имъ дѣятельность. Попытку сформулировать его Михайловскій дѣлаетъ, видоизмѣненная мысль Вогюе по поводу „Дяди Вани“. Вогюе представляется смысль этой комедіи такъ. „Жили были люди мирно, тихо, спокойно, но въ среду ихъ вторгнулись выдающійся умъ въ лицѣ профессора и выдающаяся красота въ лицѣ его жены. Это вторженіе ума и красоты произвело трагическій кавардакъ, благополучно окончившійся, какъ только профессоръ и его жена удалились“. Съ этой точки зрѣнія „лучи ума и красоты не освѣщаютъ жизни, по крайней мѣрѣ, русской жизни, а лишь безнужно взбудораживаютъ ее“. Признавая все остроуміе этого объясненія, Михайловскій видѣтъ его ошибку въ томъ, что профессоръ въ „Дядѣ Ванѣ“ въ дѣятельности не лучъ свѣта, не представитель ума, а надутый и самодовольный педантъ. „Но въ мысли Вогюе,—говорить онъ,—есть косвенный намекъ на истину. Съ точки зрѣнія Чехова, въ изображаемой имъ дѣятельности нѣтъ мѣста героямъ,—ихъ неизбѣжно захлестнетъ грязная волна пошлости. Нужна какая-то рѣзкая перемѣна декораций, чтобы эти отношенія измѣнились. И Чеховъ провидитъ ее въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ“. Это выражено въ заключительныхъ словахъ въ „Дядѣ Ванѣ“ и съ большою увѣренностью въ словахъ героянъ комедій „Дядя Ваня“ и „Три сестры“.

Благодаря присутствію этой „идеи“ и этого общаго настроенія, талантливый рассказчикъ анекдотически интересныхъ картиночекъ обратился въ „большого русскаго писателя“, у котораго мелкія пошлости и вообще мелочи жизни становятся знаменательными отраженіемъ значительныхъ явлений русской дѣятельности.

Если мы, однако, примемъ во вниманіе, что Михайловскій, по его собственному свидѣтельству, „всегда любовался талантомъ Чехова“, стало быть, и тогда, когда Чеховъ еще не успѣлъ нажить себѣ опредѣленное настроеніе, то является такой вопросъ: что же назначало его огорченіе относительно того, какъ этотъ талантъ примѣнялся? Имѣло ли оно какое-нибудь отношеніе къ художественнымъ достоинствамъ произведеній Чехова? Или же это было просто сожалѣніе о томъ, что такой художественный талантъ не

служить идеямъ и интересамъ жизни, которымъ Михайловскій сочувствовалъ и которые его занимали?

Въ отвѣтъ на эти вопросы заключается основное возврѣніе Михайловскаго на искусство. Пока большой талантъ Чехова дѣствовалъ безъ содѣстствія опредѣленныхъ настроеній, онъ схватывалъ въ жизни только случайные осколки, объединявшия ея мелочи въ маленькия отрывочные картины. Вѣрѣе, и тогда у него были опредѣленыя настроенія,—но ихъ хватало только на мелочи. Душевный міръ художника при такихъ условіяхъ соотвѣтствуетъ не дѣйствительности въ ея большомъ объемѣ, а только маленькимъ кругамъ этой дѣйствительности. И поэтому она получается у него какъ бы схваченная фотографическимъ аппаратомъ, улавливающимъ отрывочные ея части, плохо связанныя другъ съ другомъ. Широкую же связь между этими частями дѣйствительности можетъ дать не безстрастное отраженіе ея, не простое художественное созерцаніе ея, не элементарныя первыя ощущенія, ею возбуждаемыя, а живое участіе въ ней мыслью и настроеніями. При этомъ художникъ не просто смотритъ и слушаетъ, а реагируетъ на впечатлѣнія высшими проявленіями духовной жизни. И такое отношеніе дѣлаетъ изъ художественного созерцанія и воспроизведенія—художественное толкованіе дѣйствительности. Оно представляетъ особую цѣну не только въ виду интересовъ, лежащихъ въ задачѣ искусства. И въ смыслѣ художественного удовлетворенія оно даетъ нечто болѣе значительное и болѣе цѣнное во всѣхъ отношеніяхъ. Прекрасную картину и формулировку такого отношенія къ дѣйствительности Михайловскій нашелъ у самого Чехова. Въ „Палатѣ № 6“ докторъ Андрей Ефимычъ уговариваетъ больного: „При всякой обстановкѣ вы можете находить успокоеніе въ самомъ себѣ. Свободное и глубокое мышленіе, которое стремится къ уразумѣнію жизни, и полное презрѣніе къ глупой суетѣ міра,—вотъ два блага, выше которыхъ никогда не зналъ человѣкъ. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя рѣшетками“. На это сумасшедшій Иванъ Дмитричъ репострируетъ доктору такъ: „Я знаю только, что Богъ создалъ меня изъ теплой крови и нервовъ, да-сь. А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздраженіе. И я реагирую. На боль я отвѣщаю крикомъ и слезами, на подлость—негодованіемъ, на мерзость — отвращеніемъ. По-моему, это собственно и называется жизнью. Чѣмъ ниже организмъ, тѣмъ онъ менѣе чувствителенъ и тѣмъ слабѣе отвѣщаетъ на раздраженіе, и чѣмъ выше, тѣмъ онъ воспріимчивѣе и энергичнѣе реагируетъ на дѣйствительность“.

Приведя эти слова, Михайловскій восклицаетъ: „А то выдумали на все сущее отвѣтить однимъ художественнымъ созерцаніемъ и воспроизведеніемъ“.

И именно съ этой точки зрѣнія онъ радовался, когда художникъ Чеховъ, не переставая бытъ художникомъ, реагировалъ

на действительность не просто созерцаниемъ и воспроизведениемъ, а и опредѣленіемъ настроеніемъ. Тѣмъ самымъ онъ раздвигалъ кругъ своихъ впечатлѣній, расширяя ихъ смыслъ и содержаніе, пріобщая ихъ къ болѣе широкому и болѣе человѣчному кругу дѣйствительности. И въ искусствѣ это „называется жизнью“, когда художникъ „болѣе воспріимчивъ и энергичнѣе реагируетъ на дѣйствительность“. И въ искусствѣ это „называется жизнью“, когда маленькое явленіе становится отраженіемъ и представителемъ большихъ совокупностей дѣйствительности. Тогда образъ не только даетъ непосредственное удовольствіе, не только раздражаетъ нервы и взбудораживаетъ душу, но служить проводникомъ мыслей и чувствъ.

У художника съ дѣйствительнымъ даромъ проникновенія, даже тогда, когда нѣтъ опредѣленныхъ широкихъ идей и настроенийъ, есть что-то другое, что по-своему распредѣляетъ, связываетъ и по-своему истолковываетъ явленія. Но до тѣхъ поръ, пока къ этимъ приемамъ распредѣленія не присоединились опредѣлившіяся мысли и чувства и сложившіяся настроенія, до тѣхъ поръ между наблюдателемъ и наблюдавшимъ не можетъ быть дѣйствительного соотвѣтствія. Это все равно, какъ если впечатлительный человѣкъ, но при этомъ нервно разинченный и съ неустойчивымъ душевнымъ строемъ, при видѣ сильныхъ страданий приходитъ въ такое возбужденіе, что подражать страдающему. Тутъ „соотвѣтствіе“ хотя и есть, но оно настолько капризно, что мало чѣго стоить. Такъ, напримѣръ, известные случаи, что, при видѣ казни, зрителъ иногда чувствуетъ потребность подражать преступнику, а иногда—палачу. Здѣсь можно сказать, что соотвѣтствіе между видомъ смертной казни и душевнымъ настроениемъ зрителя есть:—зрителъ обнаруживаетъ склонность уподобляться дѣйствительности,—но какой части дѣйствительности? какой ея сторонѣ? какому ея объему?—это ужъ дѣло случая. Если подражаніе палачу есть душевное соотвѣтствіе съ палачомъ, то по отношенію къ преступнику это ужъ не соотвѣтствіе, а отчужденість. Точно такъ же и въ искусствѣ. Когда художникъ реагируетъ на впечатлѣніе дѣйствительности только низшими ощущеніями и неопредѣленными трепетаніемъ нервовъ, тогда въ его „созерцаніи“ нѣть живого осмыслиннаго участія. И этотъ характеръ отношенія передается зрителю и вообще публикѣ. Когда художникъ только зрителъ и слушающій аппаратъ, когда онъ только воспринимаетъ впечатлѣнія, то и въ его воспріятіяхъ маленькие, узенькие составные уголки жизни способны заслонять собой сложныя и обширныя стороны дѣйствительности, тѣмъ саними нарушая правду. Художникъ-наблюдатель при этихъ усло-вияхъ видѣть тѣ или другія группы фактovъ, но не оцѣниваетъ ихъ значенія въ общей совокупности явленій, потому что не улавливаетъ связи ихъ между собой и съ этой совокупностью. Его впе-

чатлінія выходять оть этого элементарніе, проще, и если не всегда грубѣе, то болѣе сѣрыми и болѣе плоскими, чѣмъ дѣйствительность. Это тѣмъ больше даеть себя виѣть, чѣмъ крупнѣе по своему объему кругъ захватываемыхъ изображеніемъ явлений. Потому что тѣмъ сильнѣе даеть себя чувствовать безсвязность, чѣмъ больше кругъ явлений, на которыхъ она распространяется.

Интересно въ этомъ отношеніи впечатлініе Михайловскаго по новоду первого сборника вещей Чехова. Онъ говоритъ, что, читая этотъ сборникъ, намѣренно откладывалъ подъ конецъ самый большой рассказъ „Скучная исторія“. И откладывалъ потому, что боялся того непріятнаго впечатлінія, которое расчитывалъ получить. Въ мелкихъ разсказахъ ему бросились въ глаза поэтическія милыя штришки, въ родѣ, напримѣръ, такой картинки: „Два облачка уже отошли оть луны и стояли поодаль съ такимъ видомъ, какъ будто шептались о чемъ-то такомъ, чего не должна знать луна. Легкій вѣтерокъ пробѣжалъ по степи, неся глухой шумъ ушедшаго поѣзда“. Или въ разсказѣ „Почта“: „Колокольчикъ что-то прозвякалъ бубенчикамъ, бубенчики ласково отвѣтили ему. Тарантасъ взвигнулся, тронулся, колокольчикъ заплакалъ, бубенчики засмѣялись“. И такихъ милыхъ штриховъ, — говоритъ Михайловскій, — всегда много разбросано въ разсказахъ Чехова. Все у него живеть: облака тайкомъ оть луны шепчутся, колокольчики плачутъ, бубенчики счастуются. Эта своего рода пантеистическая черта очень способствуетъ красотѣ разсказа и свидѣтельствуетъ о поэтическомъ настроеніи автора. Но „этотъ странный переплеть хорошенъкіхъ колокольчиковъ съ убийцами (въ разсказѣ „Спать хочется“) и людей съ быками, — говоритъ Михайловскій, — не особенно утомляетъ, когда онъ разбитъ на маленькие, оборванные клочки. А въ „Степи“, первой большой вещи Чехова, самая талантливость этого переплета является уже источникомъ непріятнаго утомленія: идешь по этой степи, и, кажется, конца ей нѣтъ“. Именно поэтому Михайловскаго пугала „Скучная исторія“. Къ счастью, этотъ разсказъ, напротивъ, оказался лучшимъ и значительнейшимъ изъ всего написанного Чеховымъ до того времени. Въ немъ Михайловскій нашелъ вышеприведенную фразу объ отсутствіи „общей идеи“, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, на основаніи этого разсказа онъ счелъ возможнымъ высказать насчетъ Чехова такое пожеланіе: „Пусть онъ (Чеховъ) будетъ хоть поэтомъ тоски по общей идеѣ и мучительнаго сознанія ея необходимости“. „Въ этомъ случаѣ, говоритъ Михайловскій, онъ проживетъ недаромъ и оставить свой слѣдъ въ литературѣ. А то, что хорошаго: читатель, подобно Катѣ (въ „Скучной исторіи“), ждетъ отклика на свои боли, а ему говорятъ: „пойдемъ завтракать“. Или даже еще того хуже: вонъ быковъ ведутъ, вонъ почтаѣдетъ, колокольчики съ бубенчиками пересмѣиваются, вотъ человѣка задушили, вотъ шампанское пьютъ“.

Безысходность какихъ бы то ни было впечатлѣній и ощущеній представлялась Михайловскому чѣмъ-то мучительнымъ вообще. Ощущеніе безысходности естественно тамъ, где объемъ воспринимаемыхъ впечатлѣній ненормально суженъ и тѣ односторонне укорочены нормальный кругъ тѣхъ душевныхъ силъ, которыми личность реагируетъ на внѣшнія впечатлѣнія. Этотъ нормальный кругъ образуется изъ комбинаціи основныхъ элементовъ личности—чувств, мысли и воли (или практической дѣятельности). А когда человѣкъ отвѣчаетъ на впечатлѣнія однимъ созерданіемъ, однимъ только чувствами, однимъ мышленіемъ, тогда этого нормального круга нѣтъ. И какъ въ жизни, такъ и въ мысли и въ искусствѣ—это положеніе даетъ ощущеніе чего-то мучительно безысходнаго. Борясь противъ этого пріема во всѣхъ сферахъ, въ искусствѣ Михайловскій считалъ, что онъ не даетъ ни художественной правды, т. е. соотвѣтствія съ дѣятельностью, ни внутренней правдивости, ни силы воздействія, т. е. „соотвѣтствія“ съ людьми. И элементы художественного воздействиія—наблюдательность, впечатлительность, чувство, юморъ, талантъ—только тогда являются источникомъ художественной правды и художественной силы, когда они примыкаютъ къ законченному кругу жизни. Для этого они должны охватить сумму основныхъ элементовъ нормального душевного строя—мысль, чувство и волю. А на такую всеохватывающую роль способны только высшія душевныя комбинаціи; только онѣ заключаютъ въ себѣ достаточно связующей силы. Впѣтой связи, которую онѣ даютъ, требованія художественной правды нарушаются. Они искаются по отношенію къ тому, что заключаетъ въ себѣ жизнь въ ея здоровомъ соотвѣтствіи частей: искаются во всякомъ случаѣ въ смыслѣ большей обрывочности впечатлѣній и „упрощенности“ ихъ. Это выражается то чрезвычайной блѣдностью и сѣрѣстью образовъ, то ихъ грубостью.

При извѣстныхъ комбинаціяхъ грубость осложняется элементами мучительства жестокости *). Это мучительно жестоко, когда въ дѣятельной жизни лучи ума и красоты—какъ предположилъ Богюэ о русской жизни,—только безнужно взводораживають ее. И когда художникъ такъ поступаетъ съ жизнью, то его образы безцѣльно жестоко терзаютъ первы и мучатъ душу. Это утомительное и бѣзотрадио, когда жизнь состоить изъ скучнаго набора случайныхъ впечатлѣній: она грубѣеть и тускнѣеть, когда въ ней нѣтъ широкихъ перспективъ. И то же самое впечатлѣніе производить

*) Въ своей характеристикѣ Аракчеева (Соч., III, глава 12-ая) Михайловский рисуетъ любопытную картину душевного строя „упрощеннаго“ и—именно вслѣдствіе упрощенности—грубаго и жестокаго. Точно также онъ обращаетъ вниманіе на грубость и жестокость Базарова и аналогичныхъ съ нимъ натуръ Тургенева, въ тѣсной связи съ прозаической скучностью и безцѣльностью ихъ натуръ. Въ представлении Михайловскаго скучность душевного строя чрезвычайно характерно связывалась съ грубостью, жестокостью и жестокостью. Именно такимъ онъ представлялъ себѣ также всякий аскетизмъ.

образы искусства, когда они выхватываютъ отдельные явленія, но не даютъ имъ ни ширины, ни глубины перспективы. Ихъ можетъ дать воображеніе художника только тогда, когда онъ участвуетъ въ своихъ образахъ полной, законченной жизнью. Художникъ теряетъ эту способность, когда онъ, по выражению Михайловскаго,— „такъ себѣ, гуляетъ мимо жизни и, гуляющи, ухватить то одно, то другое. Почему именно это, а не то? почему то, а не другое?” (VI, 777).

IV.

Формы и степень участія художника въ томъ, что онъ изображаетъ, могутъ быть очень разнообразны. И дѣло критики (въ томъ числѣ и публики, способной отдавать себѣ сознательный отчетъ въ своихъ впечатлѣніяхъ)—въ каждомъ отдельномъ случаѣ разобраться въ этомъ. Дѣло критического разбора выяснить, насколько внутренній строй художника позволяетъ ему мысленно принимать участіе въ изображаемой имъ дѣйствительности,—участвовать въ ней полной, законченной жизнью. Задача критики—не простой анализъ, а оцѣнка. Она имѣеть оцѣнить, въ чёмъ выразилось отношеніе художника къ дѣйствительности,—какую онъ создаетъ перспективу жизни, въ которую онъ вставляетъ свои впечатлѣнія, и чего эта перспектива стоять. Для сужденія объ этомъ у критика должна быть своя перспектива. У Михайловскаго она сводилась къ мысли о томъ, какимъ образомъ явленія жизни располагаются по отношенію къ личности и ея человѣческому достоинству. Другими словами, она заключалась въ вопросѣ: какъ поставлена личность по отношенію къ тѣмъ стихійнымъ процессамъ, которые стремятся изломать, поработить и изуродовать ее, ослабить ея способность отстаивать себя. Отношеніе художника къ этой перспективѣ было въ глазахъ Михайловскаго тѣмъ пунктомъ, исходя изъ котораго онъ оцѣнивалъ художника въ его цѣломъ. Отсюда онъ заключалъ о его премахъ располагать явленія и распредѣлять на нихъ свѣтъ и тѣни.

Въ этомъ отношеніи въ творчествѣ Тургенева онъ подчеркивается, въ качествѣ замѣчательного обстоятельства, глубокое различіе въ его отношеніи къ двумъ психологическимъ типамъ. Оно бросаетъ характерный свѣтъ на все содержаніе его творчества.

Одинъ изъ этихъ типовъ—это типъ дѣятельный, рѣшительный, смѣло берущій на себя ответственность (какъ Донъ-Кихотъ); а другой—колеблющійся, рефлектирующій, несмѣющій сдѣлать то, что по совѣсти обязанъ сдѣлать (каковъ Гамлетъ). Первому изъ нихъ Тургеневъ былъ меныше всего родственъ, но люди этого типа занимали его. И поэтому, рисуя ихъ, онъ поневолѣ отра-

малъ въ рисункѣ свою имъ чуждость. „Конечно,—говорить Михайловскій,—онъ былъ слишкомъ уменъ и чуточку къ художественной правдѣ, чтобы дѣлать изъ этихъ антипатичныхъ ему фигуръ сплошныхъ злодѣевъ, изверговъ рода человѣческаго или дураковъ, точно такъ же, какъ и любницевъ своихъ онъ не обращалъ въ рыцарей безъ пятна и порока. Напротивъ, онъ ставилъ иногда ихъ въ унизительнѣйшія положенія, а чужимъ, непріятнымъ людямъ предоставлялъ даже истинный героизмъ. Но истиныя отношенія автора къ своимъ созданіямъ всетаки чувствуются, и не просто чувствуются, а могутъ быть указаны и анализированы“ (V, 813—4).

Такъ, напримѣръ, Иисаровъ, обладающій опредѣленной жизненной задачей и вѣрой въ нее—узокъ, сухъ, жестокъ, даже тупъ. Между тѣмъ онъ вовсе не необходимо долженъ быть такимъ. Онъ могъ бы быть „пламеннымъ, экспансивнымъ энтузиаистомъ, съ глубокимъ поэтическимъ чутьемъ, съ широкими политическими планами, краснорѣчивымъ ораторомъ, какъ колоколь, будящимъ своихъ порабощенныхъ единоплеменниковъ и т. п. Но Тургеневъ пожелалъ лишить болгарскаго агитатора всѣхъ якихъ красокъ, не далъ ему ни одного цвѣтка жизни изъ своего богатаго поэтическаго букета“. И Иисаровъ далеко не одинокъ въ этомъ отношеніи. Базаровъ—человѣкъ того же душевнаго типа. Онъ—„человѣкъ, идущій напроломъ, безъ малѣйшихъ сомнѣній и колебаній, смѣло, даже дерзко берущій на себя отвѣтственность за прерѣніе ко многому, по мнѣнію окружающихъ, срятому и неприкосновенному“. И опять-таки „онъ жестокъ, сухъ, черствъ, узокъ, хотя и уменъ. Онъ лишенъ самомалѣйшей искры поэтическаго чувства. Словомъ, говорить Михайловскій, ни одной яркой краски, ни одного жизненнаго цвѣтка въ этой сильной, но скучной и пустынной натурѣ. Онъ вольный или невольный аскетъ“. И Михайловскому указываетъ у Тургенева на цѣлый рядъ фігуръ того же типа—Маркелова, Остродумова и прочую „безыменную Русь“ въ „Нови“, Лучинова въ „Трехъ портретахъ“, Лучкова въ „Бреттерѣ“ и на другихъ еще. Не въ томъ дѣло, чтобы Тургеневу, какъ человѣку извѣстнаго образа мыслей, были симпатичны одни жизненные цѣли и антипатичны другія. Нѣть, ему было чуждъ и антипатиченъ самый типъ, самая душевная механика этихъ людей, все равно, какія цѣли они бы ни преслѣдовали. Михайловскому это кажется страннымъ. Ему представлялось, что художнику, какъ художнику, должно бы быть очень соблазнительно расцвѣтить возможно ярко человѣка не колеблющагося, твердаго умомъ, чувствомъ и волей. Эта задача должна бы предоставить писателю цѣлый рядъ совершенно особыхъ художественныхъ эффектовъ. Но Тургеневу точно представлялось, что „вообще, скучность, сухость, обдѣленность дарами природы

необходимые спутники или даже условия непреклонной личной силы".

Еще явственнѣе это становится, если обратить вниманіе, какъ онъ разрабатывалъ противоположный типъ—мягкаго, колеблющагося, не смѣющаго человѣка. Здѣсь у него богатая коллекція—всякіе Гамлеты, лишеніе люди и имъ подобные. Этихъ людей, при всѣхъ ихъ слабостяхъ онъ надѣялъ такимъ поэтическимъ ореоломъ, которымъ вполнѣ искушалъ эти слабости. Рудинъ обладаетъ многими непривлекательными свойствами, но, не смотря на это, что это за блестящій образъ! По поводу его дара слова Михайловскій замѣчаетъ: „если бы этотъ роскошный даръ природы въ другія руки, напримѣръ, Инсарову или Базарову, такъ они не такія дѣла обѣдали бы. Но нашъ художникъ позаботился, какъ гласить нѣмѣцкое изреченіе, чтобы деревья не доросли до неба. Сильныи людямъ онъ не даль талантовъ и вообще блеску, а слабому даль и таланты, и поэтический ореолъ" (V, 818—9).

Смерть Рудина прибавляетъ къ этому ореолу новые лучи, и, кромѣ смерти,—скорбный разскѣт старому пріятелю о томъ, по какимъ онъ дорогамъ мыкался, и какія бывають дороги грязныя. Много мягкости душевной и теплоты, говорить Михайловскій, внесъ сюда нашъ знаменитый романистъ, и именно по такимъ страницамъ надо цѣнить глубокую гуманность его натуры. Но замѣчательно, что эта душевная теплота проявлялась во всей своей полнотѣ только при обрисовкѣ слабыхъ характеровъ". То же самое и въ изображеніи женщинъ. Здѣсь его больше всего привлекаль одинъ мотивъ—моментъ возникновенія сердечнаго романа дѣвушки при томъ моментѣ, облагороженный совершенно особеннымъ, чисто тургеневскимъ способомъ. У него эта любовь не кладетъ на дѣвушку печати чего-нибудь узко эгоистического, какъ это часто бываетъ въ дѣйствительности. Напротивъ, она какъ бы расширяеть ея душу, открываетъ ей далекія перспективы. „И при этомъ замѣчательно,—говорить Михайловскій,—что необходимы условіемъ этой влюбленности была неопределенная свѣтозарность или свѣтозарная неопределенность идеаловъ женщины" (V, 824). Но какъ только женщина выбираетъ определенный путь, такъ она переставала интересовать Тургенева, или становилась ему непріятной, и онъ изображалъ Кукшиныхъ и Машуриныхъ. Въ женщинахъ, не тронутыхъ определенными, ясными идеями, онъ выбиралъ исключительно свѣтлыхъ и возвышенныхъ полосы жизни, а у задѣтыхъ чѣмъ нибудь определеннымъ,—напротивъ, исключительно темные и низменные. Михайловскій при этомъ не предъявляетъ художнику требованій, которыя не лежать въ его натурѣ и во всемъ его строѣ. Тургеневъ, на его взглядъ, „не могъ творить иначе, и его такъ же мало можно судить за это, какъ большого дальтонизма за то, что онъ не умѣеть различать красный и зеленый цветъ". Но, говоритъ онъ, „отъ него можно было

только требовать, чтобы, сознавъ особенный характеръ своего творчества, онъ не брался за задачи, при выполнении которыхъ упомянутая ассоциація можетъ привести къ тяжелымъ и непріят-нымъ общественнымъ послѣдствіямъ. Все равно, какъ отъ большого дальтонизма можно требовать, чтобы онъ не служилъ на желѣзной дорогѣ, гдѣ смѣщеніе зеленаго и краснаго сигналовъ ведеть къ погибели многихъ жизней". И въ примѣненіи этого соображенія къ Тургеневу Михайловскій видѣлъ наиболѣе вѣрный путь къ надлежащей оценкѣ его творчества,—тотъ пріемъ, который даетъ возможность поставить совокупность его образовъ въ соответственную перспективу. Исходя изъ этого и высоко цѣнія художественный талантъ Тургенева, Михайловскій считалъ совер-шенно ошибочнымъ ходячіе взгляды на Тургенева. Его считали, во-первыхъ, ловцомъ моментовъ русского общественного развитія, изобразителемъ новыхъ людей. А, во-вторыхъ, специалистомъ по изображенію русской женщины. На основаніи вышеприведенного Михайловскій считалъ и то, и другое совершенно невѣрными. Странно навязывать художнику, какъ бы ни были велики его ху-дожественные силы, изображеніе новыхъ людей и роль ловца мо-мента, когда онъ душевно близокъ типу людей колеблющихся, рефлектирующихъ. Это неправильная оценка его творчества и невѣрное освѣщеніе изображаемой имъ дѣйствительности. Точно также и въ томъ же смыслѣ странно приписывать ему значеніе специального изобразителя русской женщины.

Изъ основныхъ элементовъ, составляющихъ полный кругъ жизни личности, — мысли, чувства и воли — послѣдній былъ ду-шевно чуждъ Тургеневу по свойствамъ его природы. Поэтому весь запасъ своего душевнаго участія и вся краски своей поэзіи онъ отдавалъ людямъ безвольнымъ, стремленіямъ, неопределѣленно возвышеннымъ. Его идеалы были неопределѣленные, но свѣтлые идеалы свободы и просвѣщенія. Въ этомъ смыслѣ Михайловскій называетъ „несравненный“ талантъ Тургенева (независимо отъ другихъ его свойствъ) музыкальнымъ: „музыка, какъ известно, вызываетъ неопределѣленныя, но хорошія, пріятныя, свѣтлые вол-ненія“. Тѣ явленія жизни, которыхъ соотвѣтствовали этому ос-новному свойству таланта Тургенева, нашли въ немъ превосход-наго изобразителя, достойнаго славы не только русской, а и ев-ропейской; въ этой области онъ — „краса и гордость русской литературы“. Но то, что лежало въ этого круга, было ему да-лекимъ и чуждымъ.

V.

Для сколько нибудь знакомыхъ съ литературной дѣятельностью Михайловского „литературно-художественная критика“—терминъ слишкомъ затертый и безцвѣтный для обозначенія того, что вкладывалъ Михайловскій въ это дѣло. Когда онъ говорилъ, что Тургеневъ, какъ человѣкъ и художникъ, былъ чуждъ „новымъ людямъ“ и потому не могъ ихъ изображать, для Михайловскаго это былъ не просто литературно-художественный фактъ. У него съ этимъ связывалось живое представлениѳ о новыхъ общественныхъ силахъ, выступившихъ на арену жизни и требовавшихъ вниманія къ себѣ. Въ сферѣ реальной дѣятельности они тоже предъявляли свои особыя требованія—во имя элементарныхъ практическихъ нуждъ и интересовъ, во имя практическихъ общественныхъ задачъ. Но Михайловскому была дорога мысль, что люди, врывавшіеся на арену исторіи съ прозаически скучными требованіями справедливости и участія въ благахъ жизни, были не просто представителями грубой и тупой силы. Ему была дорога мысль, что та сила, которой не было раньше на аренѣ—разночинецъ и народъ—несетъ съ собой свою красоту и свою поэзію. И эта красота и эта поэзія требуютъ вниманія къ себѣ и заслуживаютъ его въ высокой степени, такъ какъ имъ суждено смѣнить собой или, по крайней мѣрѣ, обновить прежнія формы красоты. Онъ не говорилъ, что старыя формы ничего не стоять, онъ не говорилъ о разрушеніи старой эстетики. Нѣть, старыя формы красоты онъ считалъ заслуживающими полнаго уваженія въ той мѣрѣ, въ какой онъ опирались на вѣру во что-то высшее, вѣру во всю ту общественную и жизненную обстановку, въ которой возникли и существовали эти формы, и которая ихъ освящала. Шестидесятые и семидесятые года были эпохой, когда вся жизненная обстановка подвергалась существеннымъ кореннымъ измѣненіямъ и когда на смѣну прежнихъ шатающихся вѣрованій появились новые. Какъ они должны были повлиять на представлениѳ о прекрасномъ, этой темѣ Михайловскій посвятилъ нѣкоторую часть своихъ полубеллетристическихъ очерковъ „Въ перемежку“. Въ нихъ онъ, и въ формѣ разсужденій, и въ образахъ предъявилъ русскому читателю тѣ измѣненія, которые должны бы внести въ формы поэзіи и красоты новые комбинаціи жизни. Рассказавъ кое-что изъ жизни нѣкоего Бухарцева (въ дѣятельности онъ назывался Ножинымъ, о чёмъ см. Лит. восп. I, 17), Михайловскій говоритъ: „Вы, пожалуй, удивитесь, что ничего не слыхали о такомъ замѣчательномъ человѣкѣ. Да мало ли вѣдь вы чего не слыхали? Вѣрою только то, что благонамѣренные творцы „новыхъ людей“

прозывали много любопытнейшихъ типовъ и что, хоть тема эта и надоѣдала порядочно, но вовсе не потому, что она исчерпана. Нетронутой красоты тутъ вдоволь" *).

"Вы, вѣроятно, и о Далматовѣ ничего не слыхали", — прибавляетъ онъ, и затѣмъ приведя краткія свѣдѣнія объ этой замѣчательной личности заключаетъ **):

"Вотъ фигура. Конечно, это еще не фигура, а только оставъ, скелетъ, формуларный списокъ. Пусть художникъ одѣнетъ его плотью, пусть онъ реставрируетъ его жилы и погонитъ по нимъ горячую алую кровь, пусть разгадаетъ его душу и расскажетъ, какъ и что двигало Далматова; пусть художникъ одѣлаетъ все это — и вы должны будете преклониться предъ красотою этого образа".

Остановившись затѣмъ на вопросѣ, почему беллетристика не умѣеть изображать положительные типы, Михайловскій приходитъ къ заключенію, что самая распространенная, если не самая важная тому причина заключается въ существованіи шаблоновъ красоты. Эти зараженные образцы, „откровенно говоря, надѣли хуже горькой рѣдкіи. Надѣли даже самимъ писателямъ, которые ихъ эксплоатируютъ. Какъ хотите, говоритъ онъ, а я не могу повѣрить, чтобы Тургеневъ свои „Вечнія воды“, напримѣръ, или Левъ Толстой добрая семья восьмыхъ „Анны Карениной“ писаль съ удовольствіемъ. Скучно имъ было". И, какъ на выходѣ изъ этого, Михайловскій указываетъ на необходимость „искать новыхъ образцовъ тамъ, где ихъ до сихъ поръ совсѣмъ не искали или

*) IV, 272.

**) „Приведемъ ихъ здѣсь вкратцѣ. Далматовъ родился въ 1842 г. въ Пермской губерніи. Служилъ въ военной службѣ, гдѣ отличался гуманностью и добрыми отношеніемъ къ солдатамъ и заслужилъ ихъ искреннюю любовь, не смотря на то, что былъ строгъ. Онъ вышелъ въ отставку въ чинѣ подпоручика. Въ 1859 г. онъ получилъ, по духовному завѣщанію матери, 1,000 десятинъ земли съ крестьянами. Не заключая никакихъ условій, онъ далъ крестьянамъ волю и всю землю, не оставивъ себѣ ничего, за что получилъ высочайшую благодарность. Затѣмъ онъ поступилъ въ Петровско-разумовскую академію, служилъ контролеромъ на заводѣ въ сѣверо-западномъ краѣ, служилъ на Маріинской системѣ, былъ на ковровскихъ заводахъ, откуда, услыхавъ, что подготавливается болгарское восстание (въ концѣ 60-хъ годовъ), отправился черезъ Одессу въ Болгарію. Въ Одессу онъ уже прибыль безъ копѣеки. Кое-какъ удалось ему поступить матросомъ на купеческое судно и такимъ образомъ достигнуть цѣли путешествія. Прибывъ на мѣсто, онъ получилъ было командованіе надъ однимъ изъ сформировавшихся отрядовъ; но восстание не состоялось, и ему пришлось искать работы. Онъ поступилъ рабочимъ на казенный пулелитейный и патронный заводъ въ Бѣлгородѣ, гдѣ пробылъ около двухъ лѣтъ. Потомъ вернулся въ Россію, переходилъ въ разныхъ должностяхъ (больше въ качествѣ рабочаго) съ одного мѣста на другое. Попалъ рабочимъ на механическій заводъ, потомъ слесаремъ въ канаточную мастерскую. Здѣсь его застало герцеговинское восстание. Онъ немедленно поѣхалъ туда и въ сраженіи подъ Карагуевациемъ, 8 января 1877 года, былъ убитъ.

искали очень мало". Онъ указываетъ на образцы этихъ поисковъ у Щедрина, Златовратского и Успенского, и, между прочимъ, приводитъ изъ Успенского фигуру дѣда Пармена, ходока, который ужъ побывалъ и въ острогѣ, и въ Сибири, и еще разъ рѣшилъ: "коли такъ, такъ, стало, Божья воля мнѣ потерпѣть еще на старости лѣтъ!.. Видно ужъ Господь-батюшка, Никола милостивый такъ осудилъ меня вѣнцомъ—иду!"—И старый дѣдъ, съ котомкой за плечами, съ длинной палкой въ сухой рукѣ, неровной поступью худыхъ тонкихъ ногъ, обутыхъ на мірской счетъ въ новые лапти, пошелъ воевать за свое дѣло" *).

Во всѣхъ фигурахъ этого рода главная черта ихъ душевнаго склада и вмѣстѣ съ тѣмъ источникъ ихъ душевнаго величія — есть простота. „Эта-то простота, говоритъ Михайловскій, и есть, я думаю, камень, на которомъ должно построиться зданіе новой красоты". Въ чёмъ же, спрашивается, состоить эта простота?

Для Пармена мірское дѣло есть его личное дѣло, срослось съ нимъ; онъ никого не благодѣтельствуетъ, никому не приносить жертвы. Если смотрѣть со стороны, то онъ, конечно, совершає подвигъ. Но для него это просто защита своего собственнаго дѣла. То же самое и Бухарцевъ. „Если бы,—говоритъ Михайловскій,—я осмѣлился, въ художественномъ смыслѣ, поднять руку на дорогую мнѣ память Бухарцева, я, конечно, не скрылъ бы истинно героическихъ его чертъ. Но онъ самъ не подозрѣвалъ бы даже этого; онъ дѣлалъ бы свое дѣло". Михайловскій считалъ Бухарцева личностью геніальной, способнымъ, если бы онъ захотѣлъ и если бы онъ не умеръ совсѣмъ въ молодые годы, быть ученово знаменитостью на всю Европу. Но „у самого Бухарцева никогда, ни въ серьезнѣйшихъ интимныхъ разговорахъ, ни среди самой необузданной шутливости, не прорывалось тяготѣнія къ этой перспективѣ... Онъ любилъ свою специальность и былъ полонъ жажды знанія вообще, и даже говорилъ, что охотно поселился бы навсегда на берегу моря или въ тропическихъ лѣсахъ, единственно для того, чтобы отдаваться жаждѣ знанія, если бы... если бы не чувствовалъ обязанности, „повинности" жить въ обществѣ и направлять свою эрудицію известнымъ образомъ. Но съ этой обязанностью онъ также сросся, какъ дѣдъ Парменъ охотно лежалъ бы на печи и грѣлъ свои старыя кости, если бы мірское дѣло не было его собственнымъ дѣломъ. Оттого и Бухарцевъ, говоритъ Михайловскій, былъ такъ простъ. Самая его дерзость (рѣчь идетъ объ эпизодѣ на ученомъ диспутѣ, описанномъ раньше) была не что иное, какъ простота. Говоря свою рѣчь на диспутѣ, онъ былъ прекрасенъ именно своей простотой, именно тѣмъ, что онъ дѣлалъ собственное свое дѣло, собственную свою душу

*.) IV, 275.

выкладывалъ, предлагая ученому ареопагу связать „генеазисъ въ типѣ пальмовидныхъ водорослей“ (что-то въ этомъ родѣ составляло тему диссертациі) съ разрѣшеніемъ общественныхъ вопросовъ; самъ постоянно работая мыслью въ этомъ направлениі, онъ вовсе не думалъ предлагать или совершать что-нибудь достойное благодарности. Нѣтъ, онъ исполнялъ только свою обязанность и при томъ такую, которая облегчала его личное существованіе“ (IV, 276).

Въ томъ же смыслѣ Михайловскій предполагалъ, что художникъ долженъ бы изобразить въ Далматовѣ. Слѣдя старымъ образцамъ, его бы изобразили героемъ, сознательно приносящимъ жертвы, благодѣтельствующимъ, освобождающимъ и т. п. Но можно бы его изобразить иначе. „Можно представить дѣло такъ, говорить Михайловскій (какъ оно навѣрно и было въ дѣйствительности), что онъ никого не благодѣтельствуетъ, никакихъ жертвъ не приноситъ. Пусть воочію развертывается и облекается плотью и кровью весь прекрасный формуларный списокъ Далматова, пусть всѣмъ читателямъ будетъ ясень его героизмъ, но пусть самъ онъ дѣлаетъ свое личное дѣло. Повидимому, тутъ всего одну маленькую передвижечку въ старомъ шаблонѣ красоты надо сдѣлать. Но сдѣлайте ее — и васъ обдастъ ароматомъ совершенно новой красоты“ (IV, 277).

Михайловскому представлялось, что художникъ долженъ быть особенно чутокъ къ обаянію этой „простоты“. Ему должно быть особенно свойственно сочувствовать способности съ непринужденной естественностью переживать, въ видѣ своего собственного личного дѣла, общіе интересы и задачи.

Въ одной своей старой статьѣ (въ 1874 г. по поводу Щербины) Михайловскій предлагаетъ такое опредѣленіе поэта или художника: это — „человѣкъ, умѣющій говорить и за себя, и за другого“. Пройдитесь,—говорить онъ,—по заламъ любой художественной выставки, и вы убѣдитесь, что предлагаемая мною простая мѣрка вполнѣ приложима и здѣсь, что здѣсь есть люди, умѣющіе и не умѣющіе говорить красками и образами за другихъ, за молящагося, негодующаго, ненавидящаго, страдающаго, радующагося человѣка. Относительно жанра, исторической живописи, портретовъ — въ этомъ, кажется, не можетъ быть сомнѣній, но та же мѣрка приложима и къ ландшафтной живописи и къ музыкѣ. Поэзія, и лирика, и эпосъ, и драма, несомнѣнно, вся построена на умѣніи говорить за другихъ. Въ этомъ,—говорить Михайловскій,—заключается и неотразимая сила поэзіи въ принципѣ, и ея великое соціальное значеніе“ (II, 601).

Съ этой точки зренія неотразимая сила поэзіи и искусства заренится въ способности говорить одновременно и за себя, и за другихъ. Между „другими“ и собственной личностью тутъ становливается соотвѣтствіе и своеобразное проникновеніе. И

именно поэтому художественному чувству должны быть близки красота и поэзия той душевной простоты, той цѣльной убѣжденности, на которую указывалъ Михайловскій, какъ на характерную особенность большихъ людей шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ. Сила и красота ихъ духа зависѣла отъ того, что одушевлявшія ихъ нравственные побужденія были не отвлеченными участіемъ въ общихъ интересахъ и дѣлахъ при помощи идей. Личность у нихъ служила не чему-то вѣнчаному лежащему. Она проникалась участіемъ къ этому вѣнчаному все равно, какъ къ своему личному, и при томъ всей совокупностью душевного строя. Вслѣдствіе этого, душевные побужденія, которые при этомъ руководили личностью, были такъ просты, такъ непринуждены, что съ точки зрѣнія Михайловскаго ими можно любоваться не только со стороны ихъ нравственного обаянія. Они заслуживаютъ этого со стороны душевной красоты вообще—красоты личного достоинства. Если это звучитъ, пожалуй, нѣсколько отвлеченно, то достаточно прочесть литературныхъ характеристики, посвященные Михайловскимъ Гаршину, Успенскому и Щедрину, чтобы это впечатлѣніе исчезло.

Имѣя въ виду именно эту его точку зрѣнія, мы говорили выше о томъ, что „литературно-художественная критика“ слишкомъ шаблонное выраженіе для идей Михайловскаго въ этой сферѣ. Его идеи въ этомъ направленіи были настолько широки, что выходили далеко за предѣлы обыденныхъ представлений о „красотѣ“. Однако въ нихъ въ то же время не было ничего, претендующаго на что нибудь исключительное. Михайловскій не „разрушалъ эстетику“; онъ не думалъ отрицать полнаго права художника „воспѣвать звѣздочки и цвѣточки, ландышы и кудри, пурпурный закатъ и столь же пурпурный восходъ“. Пусть художникъ „говорить“ за всѣ эти прекрасные предметы и за тѣхъ, кого они радуютъ. Но Михайловскій всѣмъ своимъ существомъ протестовалъ противъ возможности, чтобы человѣкъ способенъ былъ весь уйти въ цвѣточки и звѣздочки. Какъ выражается Михайловскій, ростъ поэта опредѣляется не только его умѣньемъ говорить за другихъ, но и количественнымъ и качественнымъ значеніемъ этихъ другихъ (II, 602). И онъ достигаетъ наивысшаго даже въ смыслѣ красоты, когда говоритъ за красоту душевную,—за требованія человѣческаго достоинства. Дѣло не непремѣнно въ тѣхъ или другихъ частныхъ идеяхъ и убѣженіяхъ, не въ какихъ-нибудь специальныхъ общественныхъ, нравственныхъ, политическихъ задачахъ данного исторического момента, а въ общихъ требованияхъ человѣческаго достоинства. Когда поэтъ „говорить“ именно за нихъ—за эти требования—онъ говоритъ за такія сферы жизни, которая охватываютъ собой все остальное, и съ человѣческой точки зрѣнія все остальное подчинено этому верховному мотиву жизни.

Рядъ литературныхъ характеристикъ, которыхъ Михайловскій посвятилъ такимъ выдающимся писателямъ, какъ Гаршинъ, Щедринъ, Успенскій, Островскій, Ибсенъ, Горкій, иллюстрируетъ эту точку зрѣнія и обнаруживаетъ ту перспективу интересовъ и то обширное содержаніе жизни, которое открываетъ именно это возврѣніе. Мы остановимся на Гаршинѣ и Успенскомъ.

VI.

Въ своемъ разборѣ произведеній Гаршина Михайловскій поставилъ себѣ цѣлью выяснить, какія полосы жизни его занимали по преимуществу, что онъ въ нихъ выбиралъ для поэтическаго воспроизведенія, а главное—что во всемъ характерѣ творчества Гаршина привлекло къ себѣ усиленный интересъ читателя и сдѣлало его любимцемъ читающей публики.

Въ одномъ изъ рассказовъ Гаршина изъ военной жизни онъ говоритъ отъ имени своего героя, отправившагося на войну: „огромному, невѣдомому тебѣ организму, котораго ты составляешь ничтожную часть, захотѣлось отрѣзать тебя и бросить. И что можешь сдѣлать противъ такого желанія ты... ты падецъ отъ ноги?“ (VI, 313). Въ другомъ разсказѣ, тоже изъ военной жизни, эта же идея варьируется такъ: „Насъ влекла невидимая тайная сила: нѣть силы большей въ человѣческой жизни. Каждый отдельно ушелъ бы домой, но вся масса шла, повинуясь не дисциплинѣ, не сознанію правоты дѣла, не чувству ненависти къ неизвѣстному врагу, не страху наказанія, а тому невидимому и безсознательному, что долго еще будетъ водить человѣчество“. Тотъ же мотивъ встрѣчается и въ другихъ его произведеніяхъ.

Эта мысль о безвольномъ орудіи иѣкотораго огромнаго сложнаго и чуждаго цѣлаго преслѣдуется Гаршина вездѣ, постоянно являясь источникомъ пессимизма и грусти, проникающихъ всѣмъ его произведенія. И грусть у него не беспредметная. Это не грусть настроенія; она проникнута опредѣленными запросами и требованіями отъ жизни. Человѣкъ у него страдаетъ особенно отъ того, что онъ одинокъ. По словамъ Михайловскаго, „не вообще страданіями занятъ нашъ авторъ; съ его точки зрѣнія отчего бы и не пострадать, но на людяхъ и съ людьми, а не въ одиночку“. А одинокіе его люди совсѣмъ по особому. Его „одинокіе люди окружены толпой и всетаки они одиноки, потому что узы, связывающія ихъ съ людьми, насильственны, лживы, и они вполнѣ сознаютъ эту лживость и оттого мучатся. Они ищутъ выхода, то есть такихъ формъ общенія съ людьми, которая не налагали бы на нихъ ненавистнаго ярма, не дѣлали бы ихъ „пальцами отъ ноги“, „клапанами“, „безвольными орудіями сложнаго цѣлага“. Есть у Гаршина и такие, которыхъ это положеніе не

смищаетъ, они къ нему приепособились. Таковъ Дѣдовъ въ „Художникахъ“, или инженеръ Куряшевъ во „Встрѣчѣ“. Но другіе понимаютъ и страдаютъ отъ сознанія, въ какую пропасть ихъ влечетъ стихійный процессъ. И они либо „безпомощно бываютъ въ той клѣткѣ, въ которую они загнаны, безсильно топорщатся, когда огромная машина зубцами и колесами втягиваетъ ихъ въ свою пасть и перемалываетъ“. Или—видѣть исходъ и рвутся къ иной жизни.

Въ этой точкѣ зреѣнія, въ качествѣ центра всѣхъ образовъ Гаршина, Михайловскій видѣлъ объясненіе его особой симпатичности и его особаго права на наше вниманіе. „Такъ неотступно преслѣдующій его вопросъ—кто побѣдить: человѣческое достоинство или стихійный процессъ, превращающій человѣка въ клапанъ,—это,—говоритъ Михайловскій,—всѣмъ вопросамъ вопросъ. Всѣ наши маленькия житейскія драмы, а, пожалуй, и водевили, всѣ крупнѣйшія историческія событія укладываются въ рамки этого огромнаго и рокового вопроса“ (VI, 332).

Можетъ быть, Гаршину эта основная идея не была такъ ясна, какъ ее сформулировалъ Михайловскій. Но этой формулировкой Михайловскій только имѣлъ въ виду помочь молодому писателю и въ то же время помогать читателю разобраться въ образахъ художника. Пусть читатель возьметъ на себя трудъ перечитать произведенія Гаршина, имѣя въ виду приведенную перспективу, и онъ ясно убѣдится, какая это широкая перспектива и сколько цѣннаго она даетъ. „Вездѣ или почти вездѣ,—говорить Михайловскій,—вы найдете, можетъ быть, не такъ ясно подчеркнутое, но все одно и то же: лучи все той же скорби о томъ специальному достоинству превращеніемъ человѣка въ тѣ или другіе клапаны, въ „пальцы отъ ноги“ (VI, 327).

Это освѣщеніе идеи человѣческаго достоинства открываетъ перспективы на общественную сторону дѣла,—на тотъ общий строй, который обращаетъ личность въ маленькое колесо механизма, который не только вдвигаетъ ее въ огромный чуждый ей потокъ и даетъ ей сосѣда справа и слѣва, но даже навязываетъ ей самыя цѣли жизни. Къ этому примыкаетъ художественно-психологическая сторона дѣла,—то, всестороннее оскудѣніе жизни, та обезцвѣченность ея и та разорванность ея, которая въ этомъ положеніи поражаютъ личность и все ея существованіе.

Самого художника творца этотъ процессъ обращаетъ въ болѣе или менѣе обезличенного исполнителя „чужихъ заказовъ“, о цѣли и смыслѣ которыхъ ему не полагается заботиться. Ему полагается создавать красивыя комбинаціи красокъ и линій, красиво и интересно выражать мысли и образы, которые должны развлекать и ублаждать публику. Онъ только художникъ и больше ничего,—такой же „палецъ отъ ноги“, такой же „клапанъ“, какъ

и всѣ остальные. Поэтому ему, какъ и всѣмъ прочимъ, полагается участвовать въ общей, совокупной жизни цѣлаго не всей душой безъ остатка, въ сохраненіемъ всего человѣческаго достоинства, а одной только специальной стороной безразличнаго, т. е. обезличеннаго художественнаго творчества. Онъ художественное орудіе, инструментъ. Противъ такой роли возмущается въ разсказѣ Гаршина „Художники“ живописецъ Рябининъ, чувствующій себя „одинокимъ въ толпѣ“ и протестующій противъ жестокаго обязательства вѣчно и неизмѣнно писать ходкія на рынкѣ картины на „невинные сюжеты“: „полдни“, „закаты“, „дѣвочка съ кошкой“ и проч. (см. VI, 325 — 6). Въ подобномъ положеніи художникъ, какъ и всегда, „говорить за другихъ“. Но эти „другіе“ отражаются не въ душѣ личности, чувствующей себя человѣкомъ, а въ „пальцѣ отъ ноги“, въ „клапанѣ“. Они отражаются въ обезличенномъ механизмѣ, отправляющемъ свои маленькия функціи, по-своему, можетъ быть, исправно, но въ цѣломъ не соотвѣтственно дѣйствительному содержанію и объему жизни. Возставая противъ этого отношенія художника къ дѣйствительности съ общественной точки зренія, Гаршинъ въ качествѣ тонкаго и чуткаго художника ощущалъ въ оскорблѣніи человѣческаго достоинства также нарушеніе и требованій художественнаго чувства. Онъ чувствовалъ всю недостойность и гибельность положенія художника, находящагося въ положеніи „ничтожной“ части невѣдомаго ему огромнаго механизма, отъ котораго онъ всетаки зависитъ. Въ подобномъ положеніи художникъ обреченъ на одно изъ двухъ. Либо на творчество по трафаретамъ; такого рода творчества придерживаются, напримѣръ, живописцы — исполнители „невинныхъ сюжетовъ“. На немъ всегда лежитъ отпечатокъ грубости и плоскости, всегда призывающіхъ смыслъ и содержаніе жизни. Или же, если такой художникъ творитъ болѣе или менѣе искренно, кругъ его образовъ замыкается въ очень узкіе предѣлы; онъ не выходитъ изъ области тоже „невиннаго“ подражанія дѣйствительности въ ея мелочахъ, изъ области забавнаго анекдота и т. п. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ — между художникомъ и дѣйствительностью нѣть истиннаго соотвѣтствія, и въ результатѣ нѣть истиннаго искусства.

VII.

Относительно манеры Успенскаго писать, Михайловскій говорить *): „Едва ли найдется много писателей, которые расходили бы столько крови сердца, какъ Успенскій. Онъ не пишетъ, не „сочиняетъ“, а живетъ съ перомъ въ рукахъ. Читатель

*) См. Соч. V, 77—137.

воочию видить, какъ писатель ищеть чего-то—сегодня въ русскомъ мужикѣ, завтра въ Венерѣ Милосской, сегодня въ Сербіи, завтра въ Новгородской, въ Самарской губерніи, въ Парижѣ, въ Лондонѣ, въ Сибири, сегодня въ только что прочитанной книгѣ, завтра въ крестьянской свадьбѣ—ищеть, надѣется, разочаровывается, опять поднимается, опять ищеть, тутъ же дѣлъся съ вами тѣми житейскими впечатлѣніями, подъ которыми сложились его образы” (V, 74). И чрезъ всю эту чисто субъективную душевную работу проходитъ одно теченіе, одинъ порывъ—не только субъективный, но и общій по своему направленію. Основной характеръ этого порыва выразился, довольно неожиданно для иного читателя Успенскаго, въ его извѣстныхъ восторженныхъ страницахъ, посвященныхъ не болѣе и не менѣе, какъ статуѣ Венеры Милосской въ Луврѣ. Казалось бы, Успенскій, этотъ народникъ, толковавшій все обѣ мужикѣ, да о болѣзни совѣсти, и Венера Милосская... Что тутъ общаго? А между тѣмъ, „и тутъ Успенскій остается все тѣмъ же Успенскимъ и ни на волосъ не измѣняетъ своему всегдашнему задушевному“. При этомъ оказывается, что Успенскій замѣтилъ у Венеры Милосской „право, сказать совѣтно, почти мужицкіе завитки волосъ по угламъ лба“. Въ отличіе отъ другихъ Венеръ, она не есть олицетвореніе „женскихъ прелестей“. Напротивъ, художникъ для созданія этой „каменной загадки“ бралъ то, что для него было нужно, и въ мужской красотѣ, и въ женской, не думая о полѣ, а, пожалуй, и о возрастѣ“. Вообще, для Успенскаго Венера Милосская есть „человѣкъ“, идеалъ человѣческой личности въ смыслѣ цѣлостнаго сочетанія отдѣльныхъ человѣческихъ чертъ, разбросанныхъ нынѣ какъ попало и куда попало. Художникъ, создавшій Венеру, хотѣлъ познакомить человѣка „съ ощущеніемъ счастья быть человѣкомъ, показать всѣмъ намъ и обрадовать настъ видимой для всѣхъ возможностью быть прекрасными“. При этомъ замѣчательно, что въ памяти Тяпушкина, которому Успенскій приписалъ такое воспоминаніе о Венерѣ Милосской, образъ ея возникъ не сразу. Ему предшествуютъ два какъ бы подготовительные воспоминанія. Во-первыхъ, ему вспомнилась деревенская баба, которую онъ когда-то видѣлъ во время сѣнокоса. Баба была самая обыкновенная. Но—„вся она, вся ея фигура съ подобранной юбкой, голыми ногами, краснымъ повойникомъ на маковкѣ, съ этими граблями въ рукахъ, которыми она перебрасывала сухое сѣно справа налево, была такъ легка, изящна, такъ жила, а не работала, жила въ полной гармоніи съ природой, съ солнцемъ, съ вѣтеркомъ, съ этимъ сѣномъ, со всѣмъ ландшафтомъ, съ которымъ были слиты и ея тѣло, и ея душа (какъ я думалъ), что я долго-долго смотрѣлъ на нее, думалъ и чувствовалъ только одно: „какъ хорошо!“

Затѣмъ, Тяпушкину вспомнилась другая фигура—„фигура дѣвушки строгаго, почти монашескаго типа“.

„Глубокая печаль, печаль о не своемъ горѣ, которая была начертана на этомъ лицѣ, на каждомъ ея малѣйшемъ движениі, была такъ гармонически слита съ ея личною, собственnoю ея печальною, до такой степени эти двѣ печали, сливаясь, дѣлали ее одну, не давая ни малѣйшей возможности проникнуть въ ея душу, въ ея сердце, въ ея мысль, даже въ сонъ ея чему-нибудь такому, что могло бы не „подойти“, нарушить гармонію самоопожертвованія, которую она олицетворяла, что, при одномъ взгляде на нее, всякое „страданіе“ теряло свои пугающія формы, дѣлялось проетымъ, легкимъ, успокаивающимъ и вмѣсто словъ „какъ страшно!“ заставляло сказать: „какъ хорошо! какъ славно!“

Во всѣхъ этихъ образахъ представление о красотѣ является составной частью чего-то болѣе обширнаго—„ощущенія счастья быть человѣкомъ“, ощущенія „простоты“, „легкости“ — вообще какой-то гармонической цѣльности, которая даже на страданія проливаетъ что-то успокаивающее, заставляющее воскликнуть: „какъ хорошо! какъ славно!“

И въ это ощущеніе на первомъ планѣ входитъ гармоническое соответствие между личнымъ и прочимъ міромъ—между работницей и природой, солнцемъ, вѣтеркомъ, сѣномъ и прочимъ, между личной печальною и „не своимъ“ горемъ. Это соответствие такого рода, при которомъ личность участвуетъ въ томъ мірѣ, съ которымъ она соприкасается,—цѣликомъ, всей совокупностью своей личности.

Самъ Успенскій, какъ художникъ, въ этомъ отношеніи представлялъ типичный примѣръ именно такого душевнаго склада. Михайловскій очень тонко характеризуетъ съ этой стороны комизмъ Успенскаго. Не говоря о томъ, что у него нѣтъ безпредметного зуbosкальства, это,—говорить онъ,—и не рѣзкие удары сатирическаго бича, и не капризныя кокетливо истерическая арабески изъ грусти и веселья, слезъ и смѣха, какія бывають у чисто художественныхъ натуръ типа Гейне” (V, 98). Смѣхъ Успенскаго органически просто и естественно сочетается съ глубоко искреннимъ, вдумчивымъ участіемъ къ тому, надъ чѣмъ онъ смеется. Его смѣхъ постоянно переходить въ драму, или въ грустное раздумье. Это постоянный пріемъ его творчества. „Вы видите рядъ комическихъ подробностей пиро- и гидро-техника съ „чревоувѣщаніями“, „обезглавленіями головы и прочихъ частей тѣла“, „индійскими эскамотированіями“ и проч., потомъ другая подобная смѣшная мелочь. Но, — говоритъ Михайловскій, — по мѣрѣ того, какъ эти комическія черты скапливаются въ достаточномъ количествѣ, вы чувствуете, что вступаете въ кругъ вещей, совсѣмъ не смѣшныхъ и не мелкихъ. Вамъ становится жутко, вы ощущаете въ себѣ какой-то сложный и все болѣе усложняющейся процессъ“. И этотъ процессъ вездѣ ведеть васъ отъ смѣшного къ грустному раздумью, заставляющему васъ съ глубокою пе-

чально переживать драму и трагедию. Личное предрасположение автора схватывать комическая мелочи жизни не замыкается въ себѣ, не отрѣзываетъ художника отъ того, надъ чѣмъ онъ смеется (у Гейне художникъ-юмористъ постоянно даже на самого себя смотрить со стороны и, по выражению Михайловскаго, „ко-кетливо истерически“ смеется надъ самимъ собой). Это у Успенскаго чисто субъективная душевная складка—его пріемъ подходить ко всему непремѣнно со стороны смѣшныхъ мелочей. Но, въ комбинации съ столь же субъективной склонностью къ грусти, у него неизмѣнно получается нѣчто очень многозначительное въ смыслѣ общей интересности. И тотъ, и другой мотивъ захватывали всю его личность настолько всесторонне и глубоко, что не давали ему отвлечься какъ-нибудь въ сторону, не позволяли увлечься обаяніемъ художественного творчества ради комическихъ или драматическихъ коллизій и эффектовъ, которыхъ сколько-нибудь позволяли бы трактовать дѣйствительность со стороны. Успенскому была чужда самая манера любоваться чѣмъ-нибудь безъ полнаго интимнаго участія. Въ этомъ смыслѣ онъ какъ-то, со свойственнымъ ему юморомъ, посмѣвается надъ стихотвореніемъ Лермонтова „Когда волнуется желтѣющая нива“. Ему кажется, что поэтъ является въ немъ „случайнымъ знакомцемъ природы, съ которой у него нѣть кровной связи“. „Онъ оскорблѣнъ той изысканностью, съ которой въ стихотвореніи собраны и размѣщены лучшіе дары природы, и считаетъ себя въ правѣ заподозрить искренность поэта: если бы поэтъ, приходя въ общеніе съ природой, дѣйствительно „въ небесахъ видѣлъ Бога“ и „постигалъ что такое счастье“, то онъ не сталъ бы искать въ природѣ непремѣнно „отборныхъ фруктовъ“ въ родѣ „малиновыхъ сливъ“ и т. п., а удовольствовался бы болѣе простымъ, не сочиненнымъ пейзажемъ. Успенскій противопоставляетъ въ этомъ отношеніи Лермонтову Кольцова, у которого „и природа, и міросозерданіе человѣка, стоящаго къ ней лицомъ къ лицу, до поразительной прелести неразрывно слиты въ одно поэтическое цѣлое“. Пейзажъ, самъ по себѣ отдѣльно взятый, какъ бы онъ ни былъ красивъ, не имѣеть цѣны для Успенскаго; въ него должна быть вложена душа художника, его подлинное „міросозерданіе“, то, что его дѣйствительно въ данную минуту занимаетъ вообще и въ житейскихъ дѣлахъ въ частности“.

Не понимая иного отношенія художника къ дѣйствительности, Успенскій въ самой дѣйствительности съ особенной, усиленной чуткостью относился ко всему, что нарушаетъ соответствие между личностью и остальной жизнью, ко всему, что заставляетъ личность участвовать въ жизни какънибудь однобоко. Все, нарушающее гармонію именно этого рода соответствія, оскорбляло его далеко не съ одной только точки зреінія нравственно чуткаго человѣка, болѣющаго нравственными и общественными противорѣчіями жизни. Зрѣлице нарушенной гармоніи обижало его глазъ худож-

ника. Оно обижало въ немъ чувство художника-человѣка, которому тяжело всякое несоответствіе между личностью и стихийнымъ ходомъ вещей. Такъ, напримѣръ, въ одномъ очеркѣ Успенскаго поражаетъ общая физиономія современного губернскаго города вотъ съ какой стороны: „Нѣчто неуклюжее, разношерстное, какая-то куча, свалка явленій, не имѣющихъ другъ съ другомъ никакой связи и, несмотря на это, дѣлающихъ безплодныя усиленія ужиться въѣсть“. Прежде „гармонія была во всемъ полная: тряпье, дикость, невѣжество, хрюканье и прочее—все это было пригнано и приложено все къ тому же невѣжеству, тряпью, хрюканью и дикости и стало быть не могло не только поражать вашъ глазъ, но даже ни на волосъ не обижало его. Теперь не то. Гармонія подлиннаго тряпья нарушена пріиществіемъ рѣшительно несовмѣстныхъ съ нимъ явленій. Изъ превосходнаго вагона желѣзной дороги пассажиръ вылѣзаетъ прямо въ лужу грязи, грязи непроходимой, изъ которой никто не придетъ васъ вынуть, потому что машина прошла въ такомъ мѣстѣ, где отъ роду не было ни народу, ни дороги“.

Михайловскому кажется особенно примѣчательнымъ, что Успенскій не могъ не видѣть, что „гармонія невѣжества, тряпья и дикости слагается всетаки изъ дикости, тряпья и невѣжества, а следовательно не привлекательна и не желательна“. И всетаки эта гармонія его влекла къ себѣ. Еще рѣзче это выражено въ слѣдующемъ. Въ „Запискахъ маленькаго человѣка“ авторъ, приведя вѣсколько разговоровъ, случайно услышанныхъ имъ на пароходѣ, тоскливо замѣчаетъ: „Все это надоѣло мнѣ до такой степени, что я Богъ знаю что-бы даль въ эту минуту, если бы мнѣ пришлось увидѣть что нибудь настоящее, безъ подкраски и безъ фиглярства—какого нибудь стариннаго станового, вѣрнаго искреннему призванію своему бросаться и обдирать каналій, какого нибудь подлиннаго шарлатана, полагающаго, что съ дураковъ слѣдуетъ хватать рубли за заговоръ отъ червей, словомъ, какое нибудь подлинное невѣжество—лишь бы оно считало себя справедливымъ“.

Этимъ, на первый взглядъ страннымъ разсужденіямъ, особенно для Успенскаго, Михайловскій даетъ объясненіе такое *). У Успенскаго было „условное поченіе ко всякой гармоніи и безусловное отвращеніе ко всякой расколотости“. „Онъ, говорить Михайловскій, постоянно метался по всей Россіи и за-границей съ цѣлью найти отдыkhъ глазу отъ терзавшихъ его обнаженные первы впечатлѣній двоедушія, двоевѣрія, лицемѣрія, сознательной и безсознательной лжи“. Всякая такая расколотость раздражала и возмущала его всегда и во всякомъ случаѣ. А гармонія, даваемая убѣжденностю въ своихъ поступкахъ, соответствиемъ

*.) См. „Рус. Бог.“ 1900, декабрь.

мысли и дѣйствій, каковы бы они ни были, привлекала его, во условно. Относительно самого Михайловскаго характерно то, что при сочувствіи въ данномъ случаѣ Успенскому, его глубоко возмущало восхищеніе, съ которымъ, напримѣръ, Лѣсковъ изображалъ по-своему гармоническую среду рабынъ чувствъ и основанную на нихъ гармонію отношеній. Подобный картины Лѣскова коробили Михайловскаго тѣмъ, что въ нихъ онъ видѣлъ безраздѣльный восторгъ предъ мерзостью, въ которой тонетъ все человѣческое. У Успенскаго же его своеобразное „почтеніе“ предъ „подлиннымъ невѣжествомъ“ или предъ стаиннымъ становымъ было явно условнымъ. Это „почтеніе“ заключало въ себѣ зародышъ другого чѣства—основанного на сознаніи, что, съ измѣненіемъ данныхъ условій, человѣческое достоинство, столь явно попираемое гармоніей невѣжества, произвола и дикости, одержитъ верхъ, лишь бы только не было этой безысходной расколотости, лишь бы избавиться отъ двоедушія и двоевѣрія, отъ которыхъ разлагается все человѣческое. Убѣжденностъ въ своихъ поступкахъ это только первый шагъ къ тому, чего требуетъ человѣческое достоинство. Но первый шагъ имѣть смыслъ только тогда, когда на немъ не останавливаются. Поэтому, когда Успенскій во „Власти земли“ восхищался въ мужикѣ той правдой, которую освѣщена въ его жизни самая ничтожнѣйшая жизненная подробность, то Михайловскій спрашиваетъ: „Можетъ ли глазъ, оскорбленный дисгармоническими явленіями и жаждущій видѣть хоть какую нибудь гармонію, успокоиться на этой, какъ говорить самъ Успенскій, „зоологической“, „лѣсной“, „звѣриной“, „правдѣ“? Она вѣдь представляетъ полную уравновѣшенноть понятій и поступковъ, въ ней нѣтъ мѣста „больной совѣсти“ и другимъ болѣзненнымъ продуктамъ нарушенной гармонії? — И отвѣчаетъ на это Михайловскій такъ: „Отдохнуть глазъ можетъ, но успокоиться — нѣтъ. Такъ какъ этотъ трудъ весь въ зависимости отъ законовъ природы, то и жизнь мужика гармонична и полна, но безъ всякоаго съ его стороны усиленія, безъ всякой своей мысли. Вынутъ изъ этой гармонической, но подчиняющейся жизни хоть капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо замѣнить своей человѣческой волей, своимъ человѣческимъ умомъ, а вѣдь это какъ трудно! какъ мучительно!“

Отсутствіе въ этой гармоніи „своей“ мысли, своего личнаго—есть то, чего ей не хватаетъ. По этой же причинѣ и для батрака-землемѣльца, который нанять за деньги, совершенно такъ же, какъ нанята швея, кормилица, ходатай по дѣламъ и т. п., землемѣльческій трудъ вовсе не такое ужъ гармоническое существованіе. „Всѣ они, говоритъ Михайловскій, живутъ своимъ трудомъ, но всѣ дѣлаютъ чужое, лично имъ не нужное дѣло, въ которое они поэтому не могутъ вложить душу свою, не могутъ связать

сь нимъ свое духовное существование въ одно гармоническое цѣлое".

Въ дальнѣйшія детали этой темы намъ здѣсь не мѣсто входить. Но приведенного достаточно, чтобы видѣть, что, съ точки зрењія Михайловскаго, въ творчествѣ Успенскаго художественные требованія гармонической цѣльности получаютъ смыслъ только въ качествѣ составной части цѣлаго міросозерцанія. Тутъ цѣлая перспектива жизни, въ которой освѣщаются отношенія человѣческой личности къ тому, что нарушаетъ гармонію ея существованія. Человѣческое достоинство личности требуетъ прежде всего „гармоніи"—устраниенія двоедушія, двоевѣрія и всякой вообще расколотости. Но это только первая переходная ступень. На слѣдующей ступени человѣческое достоинство требуетъ, чтобы гармонія достигалась не цѣною подчиненія личности внѣшнему строю. Оно требуетъ, чтобы соответствіе между личностью и ея образомъ дѣйствій, между ею и внѣшнимъ строемъ жизни основывалось на участіи ея въ стихійномъ ходѣ вещей силой личнаго сознанія и личной воли. Только участвуя въ жизни такой цѣлостной личностью, человѣкъ достигаетъ высшаго соответствія съ дѣйствительностью и тѣмъ самымъ высшей гармоніи существованія.

Точно также и въ искусствѣ. Одно дѣло — соотвѣтствіе съ дѣйствительностью, при которомъ художникъ рабски подражаетъ тому или другому уголку этой дѣйствительности или столь же рабски угождаетъ шаблоннымъ вкусамъ грубой толпы. И другое дѣло—то соотвѣтствіе, когда дѣйствительность находитъ откликъ въ душевномъ егroe художника, который, даже подражая ей, сохраняетъ свою живую личность,—и, по выражению Чехова, „реагируетъ“ на впечатлѣнія: „на боль отвѣчаешь крикомъ и слезами, на подлость—негодованіемъ, на нервость—отвращеніемъ“. Такой художникъ не только созерцаеть и наблюдаетъ, а дѣйствительно участвуетъ своей жизнью въ своихъ образахъ, всѣми сторонами своего существа, всей своей душой. Для него гармонія и красота его образовъ основаны на высшемъ соотвѣтствіи съ дѣйствительностью—на умѣніи принять въ ней участіе всѣмъ строемъ своей личности. И въ этомъ параллелизмѣ художественныхъ побужденій съ требованіями цѣльной человѣческой личности и ея достоинства заключается объясненіе того, какимъ образомъ художественнымъ впечатлѣніямъ дано открывать такія широкія перспективы на общія задачи жизни.

Успенскій какъ-то выразилъ свои впечатлѣнія отъ Венеры Милосской слѣдующимъ образомъ: „Я стоялъ передъ ней, смотрѣлъ за нее и непрестанно спрашивалъ самого себя: что такое со мной случилось?—Что-то, чего я понять не могъ, дунуло въ глубину моего скомканного, искалеченнаго, измученнаго существа и вырвало меня, мурашками оживоющаго тѣла пробѣжало тамъ,

гдѣ уже, казалось, не было чувствительности, заставило всего „хрустнуть“ именно такъ, какъ человѣкъ растетъ, заставило такъ же бодро проснуться, не ощущая даже признаковъ недавняго сна, и наполнило расширившуюся грудь, весь выросшій организмъ свѣжестью и свѣтотомъ“. — Михайловскому то же самое представляется нѣсколько иначе и при томъ точнѣе и опредѣлѣнїѣ.

Въ его глазахъ, художественное впечатлѣніе даетъ ощущеніе цѣлостности существованія и опредѣляется тѣмъ, что въ стихійныхъ комбинаціяхъ вещей вступаетъ наивысшее изо всего, что заключаетъ въ себѣ жизнь—личный элементъ. Вступаютъ требованія человѣческой личности, во всей своей совокупности—со всей присущей ей „многогранностью и многоцвѣтностью“, со всей своей удивительной способностью объединять всѣ элементы дѣйствительности въ одно совокупное цѣлое. Подъ влияніемъ инстинктивной потребности въ цѣлостномъ существованіи, личность борется противъ стремленія стихійныхъ элементовъ разбить ея существованіе на оторванные другъ отъ друга элементы, на обособленныя частицы жизни, суженной въ своемъ объемѣ, поблеклой въ своей однотипности. При этомъ въ практической дѣйстрительности личности приходится больше всего бороться противъ теченій, обращающихъ ее въ безсознательную и безвольную дробь посторонняго ей цѣла. Въ художественной сфере на ея долю выпадаетъ борьба противъ впечатлѣній, стремящихъся нарушить „многогранность“ и „многоцвѣтность“ жизни, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, противъ всего, что способно низвести ее на степень органа, только созерцающаго и только испытывающаго пріятныя, яркія и сильныя ощущенія. Смѣна ощущеній, освѣжающихъ впечатлителность, красивыя пятна, ритмъ, пестрота и яркость впечатлѣній—все это входитъ въ составъ искусства, но какъ элементъ чего-то болѣе значительного и широкаго. Это болѣе значительное есть перспектива совокупности жизненныхъ мотивовъ, доступныхъ человѣку, перспектива всей лѣстницы душевныхъ силъ, присущихъ личности. Здѣсь могутъ быть и пріятныя ощущенія красоты, и не всегда пріятныя ощущенія всякихъ страданій, драматическихъ коллизій и т. п. Но вся сила ихъ въ томъ, что въ данной перспективѣ они открываютъ личности выходъ на всю ширь жизни, доступной человѣку, на все содержаніе человѣческаго существованія въ его цѣломъ.

Въ своемъ разборѣ романовъ Муравлина (и. Голицына), Михайловскій, отмѣтивъ ихъ жизненность и правдивость, называетъ Муравлина художникомъ погребной психологіи: „Произвожу по-гребной,—говорить онъ,—отъ погреба, отъ того мрачнаго, запертого, непровѣтреваемаго помѣщенія, куда не проникаютъ ни солнечные лучи, ни струи свѣжаго воздуха, гдѣ полъ, потолокъ, стѣны, углы покрыты плюсненіемъ и затянуты паутиной, гдѣ во всѣхъ направленияхъ ползаютъ, добываютъ себѣ пищу, посягаютъ, плодятся и

множатся разные безобразные твари съ атрофированными зрительными и дыхательными органами". Въ качествѣ специалиста погребной психологіи, авторъ, на взглядъ Михайловскаго, отличается одной слабостью. Она состоитъ, въ томъ страстномъ отношеніи къ своему специальному предмету, которое заставляетъ его смотрѣть на весь Божій міръ подъ угломъ зрѣнія своей специальности, и въ стремлениі расширить ея компетенцію далеко за законные предѣлы". Въ связи съ этимъ, Михайловскій, въ отвѣтъ на слова нѣкоей Саші (героини романа „Мракъ“): „глупо быть честной одной, среди нечестныхъ людей"—обращается къ ней съ рѣчью, которую кончаетъ такъ: „Пожалуйте на вольный воздухъ себя показать и людей посмотрѣть. Не только свѣта, что въ окошкѣ, есть солнце на небѣ. Заинтересуйтесь хоть чѣмъ-нибудь, кругомъ люди живутъ,—живутъ и думаютъ, и чувствуютъ, и страдаютъ, и умираютъ, и любятъ, и радуются" (VI, 345). И эту же примѣрную тираду, говорить онъ, не мѣшало бы принять къ свѣдѣнію и самому автору.

Съ этимъ свѣтлымъ по настроению и яснымъ по смыслу призывомъ Михайловскій постоянно обращался къ художникамъ.

Это приглашеніе выйти „на вольный воздухъ“ и убѣдиться въ томъ, что есть „солнце на небѣ“, сводилось къ предложенію взглянуть на дѣйствительность съ такой точки зрѣнія, чтобы человѣкъ въ его цѣломъ и весь Божій міръ не заслонялись отъ взора какой-нибудь специальной, узкой полосой дѣйствительности, тѣсно отгороженной отъ остального міра. Онъ считалъ, что искусство тогда только въ самомъ дѣлѣ отражаетъ жизнь и является вѣрнымъ ея представителемъ, когда оно примыкаетъ къ наиболѣе широкой совокупности интересовъ жизни. Для этого оно должно говорить и за личность въ ея цѣломъ—во всемъ объемѣ того, что доступно природѣ человѣка, — и за общество въ его цѣломъ, во всей ширинѣ того, что свойственно всѣмъ его классамъ, взятымъ вмѣстѣ. Когда оно этого не дѣлаетъ, оно впадаетъ въ односторонность и мелочность изображенія, въ поверхность и грубость образовъ.

Иллюстраціей односторонняго отлученія эстетическихъ интересовъ отъ остальныхъ интересовъ жизни можетъ служить дэнди, когда онъ наслаждается видомъ египетскаго саркофага, который онъ ставить въ видѣ пресспапье на свой письменный столъ, или дама, которая восхищается французской поддѣлкой подъ турецкую шаль. „Мы симѣемся надъ дикарями,—говоритъ Михайловскій,—ко-торые съ гордостью носятъ европейскій мундиръ на голомъ тѣлѣ или цилиндрическую шляпу при костюмѣ Адама“. Но эти европейскія вещи говорятъ дикарямъ о величинѣ, могуществѣ европейцевъ, о необходимости усвоить себѣ ихъ преимущества и т. п. И мундиръ, и цилиндрическая шляпа для нихъ представляютъ нѣкоторые символы. Мы же окружаемъ себя вещами, имѣющими для

нась исключительно эстетическое значение" (II, 529—30). И въ этихъ случаяхъ наши эстетические интересы и искусство, которое стремится имъ служить, запечатлѣны характеромъ поверхности. При первомъ же соприкосновеніи съ действительными духовными интересами человѣка, созданія такого искусства получаютъ при- надлежащее имъ болѣе чѣмъ скромное мѣсто. Къ этой же категоріи, хотя всетаки не въ такой степени, Михайловскій относитъ и такія разновидности эстетическихъ наслажденій, какъ впечатлѣнія отъ красоты женского тѣла, изящнаго или богатаго наряда, а отчасти даже и отъ пейзажа *).

Однако эстетические интересы могутъ даже тогда, когда они довольно полно отвѣчаютъ суммѣ интересовъ личности, всетаки быть узкими и не соотвѣтствовать высшимъ требованиямъ эстетического вкуса. То, что было такъ широко для древней Греціи, говорить Михайловскій по поводу „греческихъ“ стихотвореній Щербины, было слишкомъ узко для второй половины XIX вѣка, и талантливый, чуткій человѣкъ не могъ навѣки погрязнуть въ красотахъ древне-греческой поэзіи. И въ поясненіе этого Михайловскій приводить слѣдующія соображенія.

„Древній грекъ, художникъ по преимуществу, преклоняясь предъ красотою Фидіева созданія, преклонялся не передъ одной красотой, и дрожала въ немъ не только эстетическая струнка. Онъ преклонялся въ статуй, въ картинахъ, въ поэтическомъ произведеніи передъ всѣмъ строемъ античной жизни. Онъ чуялъ въ нихъ и отблескъ своей гражданской и политической свободы, и рабства ^{4/5} населенія всей Греціи. Да, въ статуй Фидія и въ картинахъ Апеллеса отразилось это рабство, ибо оно составляло одно изъ условій ихъ созданія. Отсюда слѣдуетъ, что Фидій и Апеллесъ умѣли говорить за другихъ, но эти другіе составляли лишь одну пятую долю ихъ соотечественниковъ. Мысли, чувства и, главное, интересы только этой дроби формулировали они въ своихъ прекрасныхъ образахъ. Рабъ ихъ не понималъ, не могъ понимать, не хотѣлъ, да и они не хотѣли, чтобы онъ ихъ хоть когда-нибудь понялъ, потому что, пойми онъ ихъ, греческой культурѣ конецъ. Пойми онъ, какое оскорблениѣ, какая несправедливость въ нему кроется въ каждомъ изгибѣ тѣла прекрасной статуи,—этую статую постигла бы участъ Вандомской колонны. Божественный ликъ Сикстинской Мадонны вонючій и развратный рабъ изрѣжетъ ножомъ,—съ негодованіемъ говорить одинъ изъ героевъ „Бѣсовъ“ Достоевскаго. „Я понимаю — говорить Михайловскій—это негодованіе, но понимаю и раба, хоть, конечно, не этимъ путемъ достигнется его нравственная и физическая чистота.

*) Относительно пейзажа у Михайловскаго былъ, однако, особенный взглядъ. Онъ видѣлъ въ немъ „символъ и одно изъ условій одиночества“. См. Соч. VI, 942.

Но все эти его движения такъ понятны. Ламартинъ еще въ сороковыхъ, помнится, годахъ предсказывалъ разрушение, при известныхъ обстоятельствахъ, Вандомской колонны. А вѣдь не Богъ знаетъ какой пророкъ былъ. А Прудонъ по этому поводу спокойно замѣтилъ: да, вотъ тоже ваши произведения будуть изорванными" (II, 610).

Какъ видить читатель, передвижение и расширение общественного круга, въ которомъ отражается творчество художника, является коррективомъ—иногда, можетъ быть, своеобразнымъ по формѣ, но далеко не лишеннымъ значенія, — въ цѣнѣ эстетическихъ вкусовъ и тенденцій. Положительное значеніе этого корректива заключается въ расширениіи круга, за который и къ которому говорить художникъ. И именно съ этой точки зрѣнія Михайловскаго такъ настойчиво интересовали въ художественномъ творчествѣ мотивы „чести“ и „совѣсти“, „отвѣтственности“ и человѣческаго достоинства. Къ нимъ его влекла не точка зрѣнія моралиста, котораго мало трогаетъ все прочее въ жизни. Имъ руководила точка зрѣнія человѣка, который выше всего цѣнитъ полноту и цѣлостность человѣческаго существованія. А требованія человѣческаго достоинства являются силами, которымъ свойственно раздвигать предѣлы сочувственнаго опыта и тѣмъ самымъ объемъ личного существованія. Они дѣлаютъ личную жизнь полнѣе, ярче, богаче, многостороннѣе. Они одновременно и судятъ, и освѣщаютъ личное существованіе при содѣйствіи перспективы общественныхъ интересовъ. И въ этомъ заключается ихъ значеніе для искусства.

Любопытная въ этомъ смыслѣ формула дана Михайловскимъ въ очеркахъ „Въ Перемежку“. „Искусство, говорить онъ здѣсь, есть своего рода гласный нравственный судъ“ (IV 277). Къ этой формулировкѣ въ ея общемъ видѣ онъ вернулся черезъ двадцать лѣтъ, найдя себѣ поддержку у Ибсена. Ибсенъ въ одномъ стихотвореніи говоритъ: „творить—значить совершать судъ надъ собой“. И объясненіемъ этой мысли является слѣдующее его заявленіе въ рѣчи къ норвежскимъ студентамъ: „частью мое творчество направлялось тѣмъ, что шевелилось во мнѣ лишь минутами и въ лучшіе мои часы, какъ нѣчто великое и прекрасное. Я влагалъ въ свое творчество то, что, такъ сказать, стояло выше моего обыденнаго „я“, и я прилагалъ къ этому для того, чтобы лучше сохранить его въ себѣ и въ себѣ самомъ. Но въ свое творчество я вкладывалъ и какъ разъ противоположное, то, что при углубленіи въ себя самого представляется намъ отбросами и подонками собственной души. Въ этомъ случаѣ я смотрѣлъ на творчество, какъ на омовеніе, поэзія котораго чувствовалъ себя чище, здоровѣе и свободнѣе“. (Отклики, II, 34).

Михайловскій, сопоставляя эти слова Ибсена съ иѣкоторыми фактами русской литературы, съ своей стороны выражаетъ ту же

мысль такъ: „художникъ сознательно или безсознательно отмѣтаетъ высшіе и низшіе моменты своей собственной души, оттѣня ими обыденную жизнь, отдыхая на высшихъ и казнясь на низшихъ“.

Въ этомъ освѣщеніи художественного творчества получается интересное переплетеніе нравственныхъ мотивовъ съ художественными, сопоставленіе мотивовъ личной психики на фонѣ требованій и запросовъ общественной жизни. Съ этой точки зре-нія, въ искусства общія условія жизни освѣщаются и оттѣняются интимными, живыми ощущеніями личности. А личность, въ свою оче-редь, стремится провѣрить себя общими условіями жизни, под-вергаетъ себя ихъ суду. И комбинація этихъ двухъ стремлений обладаетъ способностью давать содержаніе жизни „чище, здорово-вѣ и свободнѣе“.

Именно это ощущеніе въ полной мѣрѣ испытываетъ каж-дый, кто ближе ознакомится съ совокупностью литературныхъ и художественно-критическихъ работъ Михайловскаго, или хотя бы съ такими крупными критическими статьями, какъ статьи объ Успенскомъ или Щедринѣ. Къ нимъ примыкаютъ въ этомъ отношеніи высоко-интересные воспоминанія и характеристики, посвященные такимъ лицамъ, какъ Успенскій же и Салтыковъ, Елисеевъ, Некрасовъ, Шелгуновъ, Ярошенко, Манасseinъ, и дру-гія. Съ ними же близко соприкасается по своему общему смыслу рядъ замѣчательныхъ образовъ въ очеркахъ подъ заглавиемъ „Въ Перемежку“. Во всѣхъ этикѣ фигурахъ примѣчательно то, что въ нихъ рисуется душевная красота, какъ иѣчто очень высокое, оригинально-личное, и въ то же время — очень простое и естественное, настолько непринужденное, что кажется чѣмъ-то само собой понятнымъ. Это ощущеніе есть то самое впечат-леніе „простоты“ и „легкости“, о которомъ, какъ приведено выше, — говорилъ Успенскій. И въ это ощущеніе, въ качествѣ глубоко оригиналльной и въ то же время естественной составной части, входить гармоническое соотвѣтствіе между личнымъ ми-ромъ и остальной дѣйствительностью, тѣсное переплетеніе и про-никновеніе между „своимъ“ и „не своимъ“.

A. Красносельскій.

Памяти Н. К. Михайловского.

I.

Безумная надежда въ грудь стучится,
Что ты опять появившися средь насъ...
Съ тяжелой думою, что ты навѣкъ угасъ,
Не хотеть сердце помириться!

На мигъ хоть ласковой мечтою
Больное сердце обмануть,
Что ты, измученный борьбою,
Прилегъ на время отдохнуть.

Я напрягаю слухъ болѣзненно и страстно,
Я жду съ мучительной тоской—
Не прозвучить ли вдругъ, какъ прежде, смѣло, ясно
Вновь вдохновенный голось твой!
Въ святой борьбѣ за счастіе отчизны
Съ могучимъ гнетомъ злобныхъ силъ
Тебя не слышу я, учитель свѣтлый жизни,—
И жду, и жду, родной, чтобъ ты заговорилъ!..

С. Синегубъ.

II.

Мгла и ненастье... Равнина безъ края...
—Пахарь и сѣятель мысли свободной!
Не отдыкая, прошелъ ты свой путь,
Грудью больной на соху налегая.
Отъ каменистой пустыни холодной
Много толчковъ приняла твоя грудь!

Рано ты вышелъ и долгіе годы
 Шелъ все впередъ. И давно уже иней
 Посеребриль твои кудри... И вотъ—
 Радостный видъ!—изобильные всходы
 Зашелестѣли надъ мертввой пустыней...
 Съ свѣтлой улыбкой пошелъ ты впередъ.

Чудилось—близко ужъ.. Прибыло силы...
 Съ трепетныхъ усть „отпушаеши нынѣ“
 Было готово сорваться... Увы!
 Мигъ—и покрылъ тебя сумракъ могилы...
 Поздно! Великая вѣсть благостины
 Не приподыметъ твоей головы!

Вновь небеса потемнѣли надъ нивой,
 Туча ее облегла грозовая...
 Холодомъ вѣеть и градомъ грозить...
 Мрачно и жутко... О, Боже правдивый!
 Пусть непогода развѣется здая,
 Всходы живые пускай пощадить!

А. Гуковскій..

Н. К. Михайловский, какъ публицистъ-гражданинъ.

Прошелъ уже годъ, какъ смерть сломала перо одного изъ величайшихъ сыновъ пореформенной Россіи. Теперь мы отошли на достаточное разстояніе отъ свѣжей могилы Михайловского, чтобы оцѣнить надлежащимъ образомъ значение покойного и, стало быть, тяжесть потери, понесенной русской литературой и русской общественностью жизнью. Какъ чувствуется отсутствіе этого удивительно сильного писателя, чувствуется особенно въ послѣдніе мѣсяцы, когда нашей печати стало возможнымъ хоть отъ времени до времени издавать, не скажу вполнѣ, но, по крайней мѣрѣ, полу-членораздѣльные звуки. Михайловскому было бы что сказать, а русской публикѣ было бы что послушать. Мысленно представляешь себѣ, какія сверкающія энергией ума и чувства статьи вылились бы изъ подъ пера Михайловского теперь, когда Россія переживаетъ безпримѣрные по историческому значенію дни, напоминающіе крымскую войну и Севастополь, когда „молчаніе твари на всѣхъ языкахъ“ становится невозможнымъ даже въ нашей жалкой подневольной прессѣ...

Чѣмъ больше я вдумываюсь въ личность такъ не ко времени исчезнувшаго писателя, тѣмъ сильнѣе она поражаетъ меня своею многосторонністью и вѣтѣ единство, дѣлающимъ изъ нея великокліпній образчикъ человѣка въ лучшемъ смыслѣ этого слова, какъ понималъ его хотя бы великий Шекспиръ:

His life was gentle; and the elements
So mix'd in him, that Nature might stand up,
And say to all the world—This was a man!

Да, „прекрасна была жизнь“ Михайловского въ его вѣрномъ и неустанномъ служеніи идеѣ! И „въ немъ элементы были такъ гармонично смѣшаны“, что „природа“, создавшая эту разностороннюю и въ то же время цѣльную личность, „могла бы“ съ гордостью „подняться и сказать всему свѣту: то былъ человѣкъ!“ Этотъ писатель наложилъ яркую печать своей индивидуальности

на всю сферу своей литературной деятельности: философскую, научную, критическую, публицистическую. И все эти области были у него связаны одною идею: культом человеческой личности, всесторонне развивающейся внутри солидарного общества. Однако само разнообразие писательской деятельности покойного заставляет меня въ этой статьѣ остановиться лишь на одной изъ такихъ сферъ. Я рассматриваю здѣсь Михайловскаго исключительно какъ „публициста-гражданина“, т. е. оцѣниваю его значеніе для общественно-политической жизни страны.

Два соображенія побудили меня взяться за тему статьи. Во-первыхъ, самая важная вещь для общества людей это жить, т. е. вырабатывать возможно совершенныя формы коллективнаго союза между членами, а затѣмъ уже философствовать, заниматься наукой, предаваться эстетическому творчеству, — словомъ, *primum vivere, deinde philosophari*. Во-вторыхъ, на общественно-политической сторонѣ литературной деятельности Н. К. Михайловскаго останавливались, какъ мнѣ кажется, очень мало; а между тѣмъ часто ли встречаются писатели, которыхъ бы болѣе проникало горячее трепетаніе жизни даже въ самыхъ отвлеченныхъ и философскихъ вопросахъ?

Задача моя будетъ выполнена, если читатель, кончивъ эту статью, раздѣлить мое чувство идеяного энтузиазма къ человѣку, который, не выходя изъ предѣловъ литературы, сумѣлъ всю свою жизнь служить высшимъ пѣнямъ своей родной страны и всего человѣчества.

Лично я обязанъ очень многимъ Н. К. Михайловскому: на его сочиненіяхъ я пробуждался къ сознательной жизни; и онъ былъ, на ряду съ Чернышевскимъ, Лавровымъ, Лассалемъ, Марксомъ, однимъ изъ немногихъ „добрѣхъ учителей“, которые оставили наиболѣе прочный слѣдъ на моемъ міровоззрѣніи въ періодъ его выработки. Немудрено, что и позже, когда подробности этого міровоззрѣнія выяснялись путемъ болѣе обширнаго чтенія и прямого наблюденія надъ жизнью, я много разъ возвращался мыслю къ человѣку, бывшему однимъ изъ моихъ духовныхъ отцовъ. Въ особенности часто меня занималъ при этомъ вопросъ: что было бы съ Михайловскимъ и чѣмъ бы былъ бы онъ, если бы родился и дѣйствовалъ не въ Россіи, а въ Западной Европѣ? Всегда, конечно, есть много гипотетического въ вариаціяхъ на тему:

„Онъ въ Римѣ быль бы Брутъ, въ Аѳинахъ Периклесь“....

Но одно можно предположить съ значительной вѣроятностью: въ противоположность поговоркѣ о безрѣбѣ и безлюдѣ, настоящей свой ростѣ и освѣщеніе фигура Михайловскаго получила бы лишь при болѣе развитыхъ условіяхъ общественности, лишь тамъ, где пульсъ коллективной жизни бѣтесь скрѣбѣ и полноѣ, где больше личностей участвуютъ въ сознательномъ процессѣ

социального творчества. Человѣкъ, въ которомъ такъ тѣсно и оригинально сплелись интересы отвлеченої мысли и интересы непосредственной жизни, произвелъ бы неизмѣримо большее дѣйствіе на общечеловѣческій прогрессъ, живи онъ среди такой дѣйствительности, которая позволила бы ему вполнѣ удовлетворять двумъ основнымъ потребностямъ своей натуры. Помните могучая и благородныя слова литературной исповѣди, къ которой Михайловскій былъ вынужденъ прибѣгнуть въ отвѣтъ на нападенія одного сердитаго, но слабосильнаго критика:

Разно меня называютъ, но меня самого никогда не интересовало, къ какому я вѣдомству причисленъ. Тѣ небольшія достоинства, которыя признаетъ за мной критикъ, конечно, позволили бы мнѣ... успокоиться на области теоретической мысли. Къ этому, признаться, и тянуло меня часто; потребность теоретического творчества требовала себѣ удовлетворенія, и въ результатѣ являлось философское обобщеніе или соціологическая теорема. Но тутъ же, иногда среди самаго процесса этой теоретической работы, привлекала меня къ себѣ свою яркою и шумною пестротой, всю своею плотью и кровью житейской практики сегодняшняго дня, и я бросаль высоты теоріи, чтобы чрезъ вѣсколько времени опять къ нимъ вернуться и опятьбросить. Но все это росло изъ одного и того же корня, все это связалось такъ жизненно-тѣсно въ одно, можетъ быть, странное и неуклюжее цѣлое, что вотъ я не могу исполнить желаніе критика: „распредѣлить материалъ по предметамъ и исключить все лишнее“.. Отсюда же и вся моя неумѣренность и неаккуратность... *)

Я думаю, трудно срисовать съ самого себя болѣе вѣрный психологический портретъ. Дѣйствительно, что оскорбляетъ, возмущаетъ, сбиваетъ съ толку умѣренныхъ и аккуратныхъ критиковъ Н. К. Михайловскаго, это сильный, какъ стихія, но и какъ стихія же непокорный потокъ мысли, въ которомъ борются, временно соединяются и снова вступаютъ въ борьбу за преобладаніѣ два одинаково могучія теченія: ясный океанъ теоретической мысли, заключающій въ своей безбрежной поверхности отраженіе всѣхъ явленій жизни и идеи, и бурливо вливающійся въ него исполинская рѣка дѣйствительности, которая прорѣзываетъ въ своемъ бѣгѣ все разнообразіе, всю толщу житейскихъ вопросовъ, задачъ и коллизій и катить свои волны, замутненныя кровью, грязью, слезами, потомъ живыхъ людей, но и скрашенныя цѣлыми островами, цѣлыми оазисами цвѣтовъ поэзіи и идеала. И вотъ, только что усядется въ бумажномъ корабликѣ умѣренное и аккуратное существо и вооружится различными инструментами для опредѣленія цвѣта воды, глубины, содержанія соли въ океанѣ — вдругъ трахъ! — своевольный потокъ дѣйствительности ворвался, шумя, сверкая и гнѣвно пѣнясь, въ еще столь недавно спокойное море. И — смотришь — къ чорту корабликъ, ко дну инструменты, а самъ изслѣдователь барахтается въ

*) См. стр. VI предисловія къ первому тому „Сочиненій“ (изд. „Русскаго Богатства“).

волнахъ, проклиная ихъ капризный, неразмѣреный, — однимъ словомъ, „ненаучный“ бѣгъ...

Впрочемъ, надо разсуждать по человѣчеству: если умѣренные и аккуратные критики грѣшатъ противъ основного требованія литературной оцѣнки, отказываясь прежде всего войти, проникнуть въ характеръ разбираемаго ума, то мы-то, наоборотъ, можемъ понять ихъ затрудненія и даже принять болѣе или менѣе близко къ сердцу ихъ горести, стараясь перенестись въ ихъ душу и понять ихъ психологію. Дѣйствительно, заключивъ себя въ рамки этого узкаго, но строго опредѣленнаго горизонта, мы можемъ признать, что литературная дѣятельность Михайловскаго носила бы болѣе законченный, болѣе стройный характеръ, если бы этотъ авторъ могъ отказаться отъ свойственной ему манеры обращаться одновременно, „въ перемежку“ и въ переплетѣ, двѣ стороны „правды“, правду-истину и правду-справедливость... *) Да, во какъ „мочь“, когда, по волѣ богини Необходимости, Н. К. Михайловскому суждено было жить и дѣйствовать среди русскихъ общественныхъ условій, которыхъ фатально способствуютъ развитію у всякаго писателя-человѣка публицистической стороны и примѣшиванію ея къ самимъ, казалось бы, отвлеченнымъ вопросамъ мысли и требованіямъ эстетического творчества.

У Анатоля Леруа-Больѣ, рядомъ со многими поверхностными, плоско-либеральными и неумными замѣчаніями о Россіи, встрѣчаются, однако, вѣрныя мысли, подсказываемыя наблюдателю самыми контрастами русской жизни и западно-европейской. Въ числѣ этихъ замѣчаній находится объясненіе публицистического, „политического“ элемента, встрѣчаемаго столь часто въ русской беллетристикѣ: по мнѣнію Леруа-Больѣ иначе и быть не можетъ при нашихъ условіяхъ дѣйствительности, мѣшающихъ писателю проводить свои идеалы непосредственно въ жизнь. Но желаніе видѣть свои стремленія осуществленными въ процессѣ общественнаго творчества есть одно изъ законнѣйшихъ желаній всякаго живаго человѣка:

Гони природу въ дверь, она влѣтитъ въ окно,

и русскій писатель, часто даже безсознательно,—не говоря уже о сознательномъ планѣ,—гораздо охотнѣе, чѣмъ западно-европеецъ, превращаетъ своихъ героевъ и героинь (или, если то мыслитель, свои общія идеи) въ носителей своихъ политическихъ идеаловъ.

*) Я замѣтилъ какъ-то въ одномъ изъ писемъ къ Николаю Константиновичу, что близкое родство истины и справедливости схвачено уже въ античномъ мірѣ Присціаномъ, который прямо говоритъ, что римляне часто употребляютъ *justum* и *verum* одно вмѣсто другого, какъ греческіе аттики *δέκατον* и *ἀληθὲς*. Въ отвѣтѣ мнѣ Михайловскій обѣщалъ коснуться при слушацѣ этого любопытнаго, по его мнѣнію, сближенія въ пріемахъ античнаго и русскаго мышленія. Но, если не ошибаюсь, не привелъ въ исполненіе этого намѣренія.

Какъ же могло быть иначе съ Михайловскимъ, у которого работа мысли направлена по преимуществу въ сторону общественно-философскихъ построений? Тутъ-то будетъ какъ нельзя болѣе кстати нарисовать гипотетический образъ нашего автора, родившагося и дѣйствующаго среди западно-европейскихъ условій. Настоящая основательная жизнь Н. К. Михайловского начинается, судя по его литературнымъ воспоминаніямъ, съ первой половины шестидесятыхъ годовъ, къ концу которыхъ онъ вырабатывается въ общихъ чертахъ все свое міровоззрѣніе, отличающееся уже въ этотъ моментъ такою опредѣленностью, что дальнѣйшая умственная дѣятельность пойдетъ лишь на выясненіе второстепенныхъ частностей. Но этотъ періодъ характеризуется въ экономической жизни западной Европы небывалымъ расцвѣтомъ капиталистического производства, лихорадочной спекуляціей господствующихъ классовъ, которая была прервана лишь на время хлопчатобумажнымъ кризисомъ; а въ политической и ідѣйной, — послѣ реакціи начала 50-хъ годовъ, — отмѣчается выработкой мѣщанскаго міросозерцанія на основѣ успѣховъ естествознанія и перенесенія теоріи борьбы за существование изъ міра зоологии въ міръ соціологии, равно какъ половинчатой борьбой противъ клерикализма и цезаризма со стороны третьаго сословія, которое боится слишкомъ далеко зайти въ этой либеральной кампаніи, беспокойно вглядываючи въ смѣлые аллюры слѣдующаго за нимъ сословіемъ. Между тѣмъ этотъ послѣдній классъ вноситъ больше сознанія въ свое міровоззрѣніе, заполняя болѣе реальнымъ пониманіемъ экономическихъ и политическихъ условій развитія въ общемъ вѣрныя, но черезчуръ абстрактныя формулы соціализма 40-хъ годовъ; а въ практической жизни впервые создаетъ организацію всемірного труда, не обращающаго вниманія на цвѣть пограничныхъ столбовъ и языки людей...

Какую крупную роль могъ бы сыграть при этихъ условіяхъ молодой Михайловскій, направляя могучій потокъ своей мысли по двумъ сообщающимся, но различнымъ каналамъ, т. е. и работая на поприщѣ абстрактной науки, и цѣлесообразно тратя свой общественный пыль, свой гражданскій энтузіазмъ на аренѣ политической борьбы! Въ самомъ дѣлѣ, возьмите сферу отвлеченной науки: въ то время, какъ буржуазная интеллигенція, — въ лицѣ г-жа Ройе, Густавовъ Іегеровъ, Геккелей, Спенсеровъ, — то съ какимъ-то свирѣпымъ кокетствомъ исповѣдуется евангеліе зоологической грызни между людьми, то, съто улыбаясь, развиваетъ теорію объективнаго прогресса на основаніи безконечной „эволюціи“ и „перехода отъ простого къ сложному“, теоретическіе выражатели четвертаго сословія разрабатываютъ почти исключительно экономические и соціально-политические вопросы и за малыми исключеніями неохотно и лишь мимоходомъ ступаютъ на почву естественныхъ наукъ. Но именно здѣсь-то, — здѣсь, говорю я, — Михай-

ловскій поднялъ бы брошенную буржуазіей перчатку мнимой научности и въ рядѣ строго научныхъ, цѣльныхъ, исполненныхъ фактами и оригинальными идеями трудовъ развилъ бы то, что лишь обозначено глубоко прорѣзанными, но прерывающимися контурами въ его этюдахъ „Что такое прогрессъ“, „Теорія Дарвина и общественная наука“, „Борьба за индивидуальность“ и т. д.—этюдахъ, испещренныхъ всевозможными жизненными отступленіями, экскурсіями, зигзагами нетерпѣливой, столь же теоретизирующей, сколько практическіи-воинствующей мысли. Такимъ образомъ, уже въ шестидесятыхъ годахъ четвертое сословіе Европы знало бы, что именно строгое естествознаніе осуждаетъ всѣ эти „эволюціи“ и „прогрессы“, увѣковѣчивающіе современное раздѣленіе труда между индивидуумами и классами, низводящіе живого человека на степень простой безсмысленной гайки въ сложной машинѣ общественного организма. Вмѣстѣ съ тѣмъ оно знало бы, что выставленная его истолкователемъ объективная формула общественного прогресса—цѣлостность личности, орудующей всѣми своими органами, и солидарность общества, сводящаго до минимума раздѣленіе труда между своими членами—есть вмѣстѣ съ тѣмъ субъективная истина данного периода, „господствующая идея“ четвертаго сословія, являющаяся центромъ и фокусомъ современной жизни. Безсвойственнымъ дарвиниямъ и „спенсеровымъ дѣтямъ“, кокетничющимъ авѣриной борьбой между людьми и яко бы необходиимой кристаллизацией занятій въ обществѣ, былъ бы захать ротъ соціальныхъ авгуроў и выщипаны крылья лже-науки именно въ той области, которую они избрали ареной своихъ буржуазныхъ подвиговъ. И центромъ жизненной философіи явилась бы современная человѣческая „индивидуальность“, борющаяся въ союзѣ съ подобными себѣ за идеалы справедливѣйшаго общежитія и знающая, что въ концѣ концовъ ея нормальная личная стремленія найдутъ удовлетвореніе на объективной основѣ развитія технологіи, которая именно и дастъ возможность осуществиться „прогрессу“, этому,—согласно формулѣ Михайловскаго,—„постепенному приближенію къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми“. Я, конечно, отказываюсь продолжать въ деталяхъ это гипотетическое построение научной дѣятельности Михайловскаго въ Европѣ; не могу, однако, не указать, какимъ цѣннымъ вкладомъ въ общественную психологию была бы хотя теорія „героевъ и толпы“, лишь одинъ обломокъ которой—„подражаніе“—доставилъ такую известность Тарду, какъ соціологу...

Но выработка научныхъ теорій, критически связывающихъ естественные и общественные науки, заняла бы лишь одну часть жизни Михайловскаго. Другая—и, вѣроятно, не меньшая—доля его существованія прошла бы въ кипучей политической дѣятельности,

среди разнообразныхъ комбинацій которой онъ могъ бы удовлетворить всевозможнымъ вѣніямъ того демона или, если хотите, того генія общественности, что своимъ властнымъ голосомъ заставлялъ писавшаго въ Россіи Михайловскаго прерывать строго-научную статью или изукрашать ее причудливыми арабесками гнѣва, любви, проклятій, благословеній, трактуя съ тѣмъ же идейнымъ паѳосомъ о малѣшемъ жизненномъ фактѣ, какъ и о носящемся въ воображеніи мыслителя грандіозномъ научномъ обобщеніи.

Перомъ и словомъ Михайловскій служилъ бы доблестно и неустанно той политической партіи, которую бы онъ сознательно избралъ во имя своего теоретического міровоззрѣнія и общественныхъ идеаловъ и въ рядахъ которой онъ занималъ бы исключительное мѣсто. Дѣло шло бы о приложениіи къ практикѣ тѣхъ могучихъ теоретическихъ идей, которыхъ въ строго научной формѣ мыслитель развила бы въ своихъ многочисленныхъ трудахъ, ибо много—увы!—„ненаписанныхъ книгъ“ было бы тогда написано. Дѣло шло бы о томъ, чтобы ежедневно, ежечасно откликаться на запросы дѣйствительности и активно вмѣшиваться въ ея ходъ, защищать друга, нападать на врага, проводить политическую партію цѣлою, невредимо и все усиливающеся среди подводныхъ камней, враждебныхъ теченій, обманныхъ знаковъ пиратовъ. Тотъ неподражаемый талантъ полемиста, который испытали на своихъ доспѣхахъ, а то и просто бокахъ, безчисленные теоретические и жизненные противники Михайловскаго, получилъ бы надлежащее приложеніе и развернулся бы во всей полнотѣ на широкой аренѣ политической дѣятельности, которая только и позволяетъ большому кораблю большое плаваніе. А то извольте воевать съ гг. Бурениными, Марковыми и Аверкевыми, и при этомъ воевать не въ открытомъ бою, а гдѣ-то въ закоулкѣ, въ глухую осеннюю ночь, когда какой нибудь бдительный стражъ, вмѣсто вѣнцартійного безпристрастія, самъ отъ времени до времени подаетъ своей алебардой знакъ къ нападенію на васъ же разныхъ „средиземныхъ эскадръ“ и одомашненныхъ жучекъ съ ошейниками или добровольно свирѣпствующихъ псовъ.

И, однако, воздадимъ благодарность богинѣ Необходимости, заставившѣ Михайловскаго родиться, жить и дѣйствовать не въ западной Европѣ, а въ Россіи: тѣмъ хуже было для него, но тѣмъ лучше для настѣ! Пусть тѣсно становилось этому крупному человѣку въ дѣтскихъ латахъ, которые подавали поводъ умѣреній и аккуратныхъ критикамъ совѣтовать задыхавшемуся порою борцу за правду обрубить все, что не вмѣщалось въ доспѣхахъ ребенка. Намъ долго еще будуть нужны большие люди, страдающіе за настѣ и поучающіе настѣ... Посмотримъ же, чѣму училъ настѣ не гипоти-ческій западно-европейскій, а живой русскій Михайловскій въ теченіе чуть не сорока пяти лѣтъ, т. е. трижды того великаго въ жизни человѣка промежутка времени—*grande mortalis aevi* сра-

тии,—о которомъ говорить Тацитъ. Какова была роль Михайловскаго, какъ публициста-гражданина?

Для удобства изложениі я сейчасъ же отвѣчу на этотъ вопросъ, а затѣмъ лишь перейду къ подробностямъ. Н. К. Михайловскій являлся все время чѣкнѣмъ выразителемъ и философскимъ обоснователемъ общественныхъ стремлений наиболѣе передовой части русской интеллигенціи, активно влѣающей на ходъ прогресса. При этомъ онъ смотрѣлъ настолько шире и дальше всей этой группы, взятой въ ея цѣломъ, что въ данный моментъ та или другая фракція ея—иногда меньшая, иногда большая—считала своимъ долгомъ быть несогласной съ Михайловскимъ, ополчалась, по недоразумѣнію, противъ мыслителя-публициста и той группы, которую онъ ближе выражалъ; а потомъ, послѣ нѣсколькихъ эпизодовъ этой братоубийственной „вражды войны“, оказывалась присоединившейся къ авангарду прогрессивной арміи, уже подвергающейся новымъ „разногласіямъ“. Я говорю это не съ чужого голоса, а по собственному опыту и личнымъ воспоминаніямъ: и мнѣ казалось, что въ тѣ или другія времена Михайловскій не выражалъ вполнѣ моихъ желаній и идеаловъ; это же, хотя пріурочивая къ инымъ временамъ, скажутъ другіе русскіе люди, принимавшіе живое участіе въ общественной жизни.

Не надо только забывать, что, если мыслитель-публицистъ выражалъ и философски обосновывалъ стремленія людей прогресса, то первоначальный толчокъ къ этой руководительной дѣятельности онъ получалъ именно отъ общаго настроенія слѣдующаго за нимъ авангарда. Н. К. Михайловскій былъ человѣкомъ, какъ и все мы, и какъ таковой не творилъ изъ ничего; но, словно увеличительное стекло, онъ концентрировалъ разсѣянные въ обществѣ лучи сознанія и, словно увеличительное же стекло, вожигалъ... Хотя литература являлась, по русскимъ политическимъ условіямъ, исключительно и любимою цѣлью существованія Михайловскаго, силу и идейный огонь энтузіазма этотъ писатель бралъ у всѣхъ нась, у меня, у васъ, дорогой читатель и единомышленникъ, у всякаго, кто стремится сознательно участвовать въ исторической жизни страны, а не метаться изъ стороны въ сторону и не вертѣться, какъ флюгеръ, по волѣ капризныхъ вѣтровъ Сѣвера, навѣающихъ оттепели за мятелями и мятели за оттепелями. Корни литературы Михайловскаго лежать въ „жизни“, или, употребляя извѣстную формулу, его „сознаніе“ вытекаетъ изъ нашего „бытія“. Поэтому я попрошу читателя, когда я буду говорить о той или другой полосѣ литературной дѣятельности публициста-гражданина, постоянно держать въ умѣ, передъ своими духовными очами, картину соотвѣтствующаго общественного движения, и не только картину вообще, а и ея детали, въ которыхъ я, къ сожалѣнію, не

могу входить здѣсь. Пусть читатель и для своего собственного поученія обращаетъ внимание на эпоху написанія той или другой статьи Михайловскаго и мысленно заглядываетъ при этомъ въ мартирологъ русской общественной жизни. Говорю „мартирологъ“ потому, что человѣческая исторія вообще есть до сихъ поръ поэма о страданіяхъ бессмертной Идеи общественной солидарности, ищущей все болѣе и болѣе подходящихъ формъ и носителей для своего окончательного выраженія и торжества. А мы, русскіе, не только не составляемъ исключенія изъ этого общаго правила, какъ бы ни дгали на этотъ счетъ наши націоналисты, самобытники и торгаши „потребительскимъ“ дурманомъ, но истязаемъ Идею скорпионами тамъ, гдѣ другіе истязали ее лишь бичами...

Мы во второй половинѣ 60-хъ годовъ... Тяжелая пора! „Аннибалова клятва“ освобожденія крестьянъ перестала служить объединяющимъ знаменемъ для лучшихъ русскихъ людей, которые всего нѣсколько времени тому назадъ забывали изъ за этого великаго общаго дѣла разъединившіе ихъ сѣрые, розовые, красные оттѣнки общественно-политическихъ идеаловъ. Рабство пало,— слишкомъ поздно, по мнѣнію однихъ, слишкомъ рано, по мнѣнію другихъ. Связь съ рухнувшимъ крѣпостничествомъ была порвана,—не достаточно рѣзко, по мнѣнію первыхъ, черезезчуръ радикально, по мнѣнію вторыхъ. Народная жизнь была переставлена съ фундамента подневольного труда на фундаментъ труда свободнаго. Но увы! какъ сильно былаужена при этомъ экономическая поверхность этого фундамента: идеалъ передовыхъ людей—„освобожденіе крестьянъ съ землей“—перешелъ въ дѣятельность съ такими урѣзками и искаженіями, что сейчасъ же началась борьба между правымъ и лѣвымъ крыльями освободительной арміи за наиболѣшее устройство жизни освобожденнаго народа. Вмѣстѣ съ тѣмъ знамена различныхъ фракцій развернулись и стали враждебно другъ противъ друга, а оттѣнки общаго міровоззрѣнія каждой фракціи пріобрѣли болѣе яркій и опредѣленный колоритъ: сѣрые такъ посѣрѣли, что ихъ знамя трудно было отличить отъ грязнаго знамени мракобѣсцевъ и крѣпостииковъ; розовые или перешли въ сѣрые, или приблизились къ краснымъ; красные вызывали своимъ рѣзкимъ цвѣтомъ бѣшенство защитниковъ старого строя, и изъ усть тѣхъ борцовъ лѣваго крыла, что были послабѣе, вырывалось нѣчто чрезвычайно похожее на призвѣ баллады:

Enfants, voici les boenfs qui passent,
Cachez vos rouges tabliers!..

И поколебалось передовое знамя, и было сломано лѣвое крыло... Какъ только еще столь недавно цѣльная оппозиція распа-

лась на враждовавшія части, сторонники павшаго режима подняли голову. Иль экономически-социальной посылки раскрытие народы и превращенія всего населения въ людей не были сделаны общеполитические выводы. На новомъ гражданскомъ фундаментѣ стѣны были выведены едва до половины, а отсутствие крыши, этого „увѣнчанія зданія“, дѣлало тѣмъ чувствительные переходы отъ еле-еле приграивающихъ лучей высокаго, далекаго—и, охъ! какого своевольнаго солнца съвера къ съвернымъ же свирѣпымъ бурямъ и ливнямъ. Къ тому же историческая Немезида снова бросила въ кровавый семейный споръ близкихъ родственниковъ, „кичливаго Ляха“ и „вѣрнаго Росса“, и дала поводъ общественной реакціи перейти отъ окраинъ къ центру; а вскорѣ пронесся и по всей Россіи мрачный ураганъ взаимнаго недовѣрія, подозрѣній, обвиненій, срываю „невѣрные звуки“ даже со струнъ глубоко-демократической лиры Некрасова. То было время, когда передовая интеллигенція, лишенная „общенароднаго дѣла“, шла въ разсыпь и въ разбросъ, уныло дотягивая оставшуюся ей отъ блестящаго периода дѣятельности Писарева пѣсню о „личномъ совершенствованіи молодыхъ русскихъ людей обоего пола“ *), между тѣмъ, какъ самъ вождь „мыслящаго пролетариата“ и „трезвыхъ реалистовъ“ уже переживалъ новый нравственный кризисъ и, какъ кажется, задумывался надъ бесплодностью проповѣди того, если можно такъ выразиться, буржуазно-индивидуалистического радикализма, не имѣющаго широкихъ соціальныхъ цѣлей, который характеризуетъ „писаревщину“. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, пришлось слышать отъ одного изъ старыхъ знакомыхъ Писарева разскѣзъ о попыткѣ знаменитаго популяризатора изложить въ полубеллетристической формѣ содержаніе только что вышедшаго въ то время первого тома „Капитала“. И мой собесѣдникъ передавалъ съ волненіемъ чарующее впечатлѣніе, которое производила на него теорія Маркса, неподражаемо переданная Писаревымъ въ „Разговорахъ въ зеленой комнатѣ“—такъ назывался этотъ, недоконченный и, повидимому, уничтоженный самимъ авторомъ въ припадкѣ меланхоліи...

Какъ бы то ни было, активная часть интеллигенціи переживала въ то время тяжелые дни, стараясь выработать соотвѣтствующее общественнымъ задачамъ эпохи міровоззрѣніе, которое бы соединяло въ одно цѣлое мысль и жизнь, требование строгой науки и проснувшуюся снова безмѣрную жажду жить и умереть за нравственно-соціальный идеаль. Для выполненія этой задачи надо было связать тогдашнюю работу мысли съ лучшими традиціями „Современника“, продѣлать операцию возвращенія къ дѣятельности Чернышевскаго и Добролюбова, но на основаніи увеличившейся и расширявшейся потребности къ фактическому

*) Я беру некоторые выраженія у Михайловскаго (т. I, стр. 817—818).

знанію, особенно въ области естественныхъ наукъ, которые были тогда въ такомъ почетѣ среди „мыслящихъ реалистовъ“. Эту задачу блестательно разрѣшилъ Н. К. Михайловскій, явившись въ 1869 г. передъ читателями съ совершенно опредѣленной и оригинальной фізіономіей писателя, столь же знакомаго съ выводами естествознанія, сколько и съ результатами современныхъ общественныхъ наукъ, столь же жадно стремившагося къ познанію истины, сколько и къ воплощенію справедливости,—словомъ, удачно сочетавшаго требованія развитія личности и служенія общественной солидарности.

Къ этому-то періоду и можно отнести возникновеніе своеобразной и очень замѣчательной „русской соціологической школы“, школы субъективизма, которая начинаетъ возбуждать теперь интересъ и на Западѣ, и къ которой тяготѣютъ — правда, на половину безсознательно—выдающіеся ученыe въ родѣ (нынѣ покойнаго) юриста Іеринга и историка Майера. Михайловскій раздѣляетъ заслугу и честь быть творцомъ ея наравнѣ съ другимъ русскимъ мыслителемъ Лавровымъ, авторомъ „Теоріи личности“, „Историческихъ писемъ“ и „Опыта исторіи мысли“. Такъ смотрѣль, по крайней мѣрѣ, и самъ этотъ мыслитель, съ которымъ судьба поставила меня въ близкія отношенія, продолжавшіяся болѣе пятнадцати лѣтъ до самой смерти Лаврова, и который неоднократно говорилъ мнѣ, что онъ считаетъ Н. К. Михайловскаго хотя и очень родственнымъ по міровоззрѣнію писателемъ, но формулировавшимъ основанія соціологического субъективизма съ другой стороны и совершенно независимо отъ него.

Какъ бы то ни было, міровоззрѣніе Михайловскаго не только разрѣжало въ теоретической области проклятую, мучительную антиномію, надъ которой и у насъ, и на Западѣ „былось въ слезахъ столько головъ“, антиномію между категоріей необходимаго и категоріей нравственнаго, между естественнымъ ходомъ вещей и идеаломъ. Оно, какъ нельзя болѣе, соотвѣтствовало и удовлетворяло настроенію и жаждѣ дѣятельности двухъ группъ тогдашней интеллигенціи, составившихъ прогрессивную армію эпохи: „кающихихся дворянъ“ (великолѣпный терминъ, изобрѣтенный Н. К. Михайловскимъ), вскормленныхъ крѣпостными хлѣбами или остатками проѣдавшихъ выкупныхъ свидѣтельствъ; и „разночинцевъ“, составлявшихъ переходъ отъ имущихъ, — если не правящихъ — еословій къ великой массѣ трудящихся. До какой степени передовой отрядъ интеллигенціи переживалъ именно такое настроение, можно заключить изъ поразительного успѣха, который вышелъ приблизительно въ это же время на долю одного небольшого, но замѣчательного сочиненія, принадлежащаго перу уже упомянутаго нами родственнаго по духу съ Михайловскимъ автора, а именно—„Историческихъ писемъ“, гдѣ говорилось о безконечной „пѣнѣ прогресса“, стоявшаго столько труда, слезъ и

лишений массами, которые поддерживаютъ зданіе современной цивилизациі, и о неоплатномъ долгѣ „критически мыслящей личности“ передъ этими массами, передъ народомъ, которому можно хоть нѣсколько помочь, лишь перерабатывая въ его интересахъ данные формы „культуры“...

Послѣ двухъ-трехъ лѣтъ броженія, тяжелаго нравственнаго кризиса и строжайшаго пересмотра своего умственнаго и нравственнаго багажа, активная часть интеллигентіи поняла свою историческую роль: къ началу 70-хъ годовъ относится возникновеніе того могучаго движенія, которое лишь во второй половинѣ этого десятилѣтія получить название „народничества“,—название, увы! вскорѣ захватанное столькими нечистыми руками и сдѣлавшееся въ слѣдующемъ десятилѣтіи знаменемъ реакціонной демагогії, а еще позже, въ устахъ „Неистовыхъ орландовъ“ нашего марксизма 90-хъ годовъ, общей презрительной кличкой для всѣхъ тѣхъ, кто не раздѣлялъ всѣхъ членовъ ихъ символа вѣры. Но начало 70-хъ годовъ было героическимъ періодомъ упомянутаго идеинаго течения; и кто былъ самомалѣйшей частицей въ его молодыхъ, веселыхъ и брызгущихъ жизнью волнахъ, надъ которыми горѣла яркая радуга идеала, тотъ, навѣрное, скажетъ, что оно являлось наиболѣе реальнымъ и насущнымъ движеніемъ тогдашней русской дѣйствительности. Интересы народа и борьба во имя ихъ съ врагами трудящихся массъ стали общимъ лозунгомъ передовой интеллигентіи. Къ тому времени уже выяснилось, что экономическое положеніе освобожденного народа далеко не соответствуетъ оптимистической картинѣ, которую развертывали передъ своей аудиторіей борцовисцы и говоруны умѣренно-либерального лагеря. Надъ сѣрымъ мужицкимъ царствомъ, кроме тяготѣвшихъ наслѣдій прошлаго гнета, стали нависать силы новой крѣпи, новой экономической эксплуатации. То былъ медовый мѣсяцъ нашего капиталистического „первоначальнаго накопленія“, устроенія нашей капиталистической храмины съ верховъ, со средствъ перемѣщенія и обмѣна скудно производимыхъ, а то и просто гипотетическихъ продуктовъ. Проводились желѣзныя дороги, по большей части не тамъ и не такъ, какъ слѣдуетъ, не къ вицѣйшей выгодѣ концессіонеровъ. Устраивались банки и кредитныя общества, и ходко циркулировали дутыя бумаги разныхъ учрежденій, взывавшихъ къ правительству о воспособленіяхъ. Между старымъ и новымъ міромъ народной эксплуатациіи выросла, какъ посредствующее звено, цѣлая туча облѣпившихъ народъ кулаковъ и міроѣдовъ, роль которыхъ заключалась въ накопленіи, путемъ ростовщичества, первыхъ капиталовъ и подготовленіи ихъ къ будущему производству, а пока въ питаніи ими ажіотажа и спекуляціи. То было время, когда даже пресловутые сорокъ-сороковъ славянофильства явственне и оживленно выговаривали: жарь-грабъ, жарь-грабъ; когда тароватые ораторы вос-

иѣвали на нескончаемыхъ обѣдахъ доблести Поляковыхъ и Губониныхъ; когда сіяніе „мѣднаго таза либерализма“ (выраженіе Михайловскаго) лишь отражало сіяніе серебрянаго цѣлковика; когда негодующая муга Некрасова иронически взывала къ художнику:

Будешь въ славѣ равенъ Фидію,
Антокольскій! извай
,Гарантію“ и „Субсидію“...

Передъ мыслящею частію русскаго общества возставалъ грозный вопросъ: должна ли Россія среди этого опьяненія буржуазнымъ либерализмомъ упустить единственный въ своемъ родѣ моментъ для того, чтобы решительно сойти съ торнаго пути капиталистической эксплуатациіи, на которомъ она стояла уже одной ногой, и вступить на трудную, но все еще исторически возможную для нея дорогу народнаго производства? И, въ дополненіе къ этому „матеріальному“ вопросу, возникъ вопросъ „идеологическій“: какую цѣну въ этотъ моментъ для насъ могли имѣть требования свободы и гражданственности, которыхъ столь часто повѣртывались на капиталистическомъ Западѣ противъ трудящагося большинства и на пользу привилегированныхъ классовъ?

Я не берусь здѣсь за разсмотрѣніе того, въ какой степени заднимъ числомъ и на разстояніи тридцати лѣтъ можно отыскать пульы въ этихъ вопросахъ. Такъ во всякомъ случаѣ они формулировались въ сознаніи тогдашнихъ дѣятелей прогресса, дѣлая величайшую честь самостоятельности, — не употребляю пошиаго слова „самобытности“, — ихъ мышленія и энергіи ихъ практической дѣятельности.

А теперь разверните статьи Михайловскаго, относящіяся къ началу 70-хъ годовъ, и вы увидите, что онъ явился именно выразителемъ и обоснователемъ историческихъ идеаловъ тогдашней интеллигенціи; но опять таки съ нѣкоторыми поправками и ограниченіями, указывающими на то, что лично онъ смотрѣлъ шире и дальше, хотя, подъ давленіемъ общаго энтузіазма прогрессивнаго авангарда, и не считалъ удобнымъ, что называется, быть всегда по забору своихъ же единомышленниковъ, уже завязавшихъ на всемъ фронтѣ борьбу во имя интересовъ народа.

Въ виду того, что изъ лагеря русскихъ марксистовъ раздавались нѣсколько лѣтъ тому назадъ упреки по адресу Михайловскаго, какъ фантазера-идеалиста, не понимающаго значенія материальныхъ потребностей, я начну съ слѣдующей цитаты, въ которой мыслитель-публицистъ не только борется противъ близорукихъ идеалистовъ, но даѣтъ одновременно, можно сказать, философію и поэзію материальныхъ потребностей, дѣлая ихъ отправнымъ пунктомъ для крупнаго общественнаго переустройства. Итакъ, слушайте, читатель (дѣло идетъ о Ренанѣ и его русскомъ сумбурномъ комментаторѣ, Н. Страховѣ):

Ренанъ самъ не знаетъ, съ чѣмъ онъ борется. Въ числѣ атрибутовъ политического материализма онъ желаетъ видѣть стремленіе надѣлять всѣхъ и каждого материальнымъ благосостояніемъ. Онъ полагаетъ, и г. Страховъ съ нимъ соглашается, что здѣсь играетъ главную роль *зависть*. Не говоря уже о томъ, что всѣ желающіе равномѣрного распределенія материального благосостоянія желають и равномѣрного распределенія духовныхъ благъ и наслажденій; не говоря о томъ, что странно называть завистью желаніе снабдить сосѣда тѣмъ, чего у него нѣтъ; не говоря обо всемъ этомъ, — развѣ желаніе надѣлить всѣхъ и каждого материальнымъ благосостояніемъ не способно составить идеалъ, вызвать высокія чувства, великия мысли? Развѣ, наконецъ, мы не видимъ этого и въ дѣйствительности, хотя бы и въ слабомъ размѣрѣ? *).

Мало того, неоднократно Михайловскій развиваетъ и ту мысль, что извѣстная форма удовлетворенія материальныхъ потребностей опредѣляющая общественное положеніе человѣка, его принадлежность къ той или другой соціальной группѣ, классу, сословію, отражается на его воззрѣніяхъ, его умѣ, его характерѣ. А вѣдь это, согласитесь сами, та самая идея, которую — съ карикатурными перѣдѣко преувеличеніями — развиваются сторонники экономического материализма. Опять таки, послушайте:

...Если для изслѣдователя есть хотя бы малѣшшая выгода въ существованіи того или другого факта, то прѣмы естествознанія (замѣтите, читатель, даже естествознанія, а что ужъ говорить объ общественныхъ наукахъ! Н. К.) всегда готовы къ его услугамъ. Нѣтъ даже надобности, чтобы выгода эта преслѣдовалась совершенно сознательно. Общественное положеніе человѣка всегда подсказываетъ ему рѣшеніе, выгодное если не прямо для него лично, то для той соціальной группы, которой онъ состоить членомъ **).

Или еще вѣсть:

...Когда извѣстная доктрина, извѣстный строй мысли преломляются въ общественной средѣ извѣстнымъ образомъ, то это фактъ соціологическій... Возьмемъ, напр., Геккеля или Спенсера. Это ученѣйшіе люди, вдѣбовакъ люди, которые въ частностяхъ не прочь щегольнуть демократизмомъ. Но они отстаиваютъ презрѣнную и при томъ ошибочную соціальную доктрину, и ученость ихъ въ этомъ направленіи служить только ко вреду общества. Почему они это дѣлаютъ? Потому, что ихъ положеніе въ обществѣ и ихъ обычныя занятія не даютъ имъ нужнаго въ такомъ дѣлѣ нравственнаго чутия. Чѣмъ ученѣе они, тѣмъ хуже, разъ остальные условія остаются нетронутыми ***).

Совѣтую также читателю просмотрѣть поистинѣ замѣчательную и по мысли, и по разнообразію содержанія, и по формѣ статью Михайловскаго, появившуюся въ февралѣ 1874 г. и заключающую въ себѣ, между прочимъ, соціальное объясненіе типовъ людей сороковыхъ годовъ и пришедшаго затѣмъ въ литературу разночинца ****).

*) Соч., т. I, стр. 731—732 (статья напечатана въ сентябрѣ 1872 г.).

**) Ibid., стр. 796 (изъ статьи, появившейся въ декабрѣ 1872 г.).

***) Ibid., стр. 805.

****) Т. II, особенно стр. 628—639 (несколько раньше на стр. 617 авторъ

Вообще же можно сказать, что большинство текущихъ статей нашего публициста-гражданина въ этотъ періодъ посвящено самому жгучему вопросу тогдашней дѣйствительности, вопросу экономическому. Не разъ и не два, но постоянно, но придинаясь къ каждому предлогу, но прибѣгая къ общественно-научной polemikѣ, къ беллетристической критикѣ, Михайловскій развивается и положительно и отрицательно „идею труда“. Вооруженный этимъ критеріемъ, онъ безстрашно обнажаетъ противорѣчивый характеръ цивилизациіи, неустанно указываетъ на противоположность „нації“ и „народа“, богатства первой и нищеты второго, пронзая острой иглой критики гордо надутые пустотой пузыри грошеваго либерализма и стяжательного славянофильства, пѣвшихъ гимны „национальному преуспѣянію отечества“. Неоднократно же онъ ставить въ различныхъ — одна другой рельефиѣ, одна другой ярче — формахъ проклятый вопросъ о возможности для Россіи сознательно выбирать между двумя путями прогресса, капиталистическимъ и народнымъ. Помните, читатель, хотя бы объясненіе безсилія тогдашней либеральной печати изъ самаго характера ея идеаловъ:

Колесо національного богатства только-что начинаетъ вертѣться въ Россіи и при томъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Во-первыхъ, огромная часть производительныхъ силъ страны находится въ рукахъ народа, т. е. трудящихся классовъ. Значить, для созданія національного богатства по программѣ отечественной журналистики надо отодрать громаду народа отъ земли и орудий производства. Во-вторыхъ, отодраніе это надо производить сознательно, потому что прислушиваемся же мы къ тому, что дѣлается и дѣжалось въ Европѣ; знаемъ же мы, что національное богатство есть нищета народа. Въ третьихъ, отодраніе это должно быть произведено въ пользу лицъ и интересовъ еще не существующихъ, а только имѣющихъ образоваться самъ процессомъ отодранія. Сознательное, но безцѣльное преступленіе — вотъ что приходится дѣлать современной журналистикѣ при нынѣшнемъ ея направлении. Что можетъ быть ужаснѣе такой задачи, такого положенія? И мудрено ли, что эти люди ходятъ и пишутъ, какъ тѣни, что грозный приговоръ потомства, подсказываемый имъ по временамъ совѣтствомъ, связываетъ имъ языкъ и руки, отгоняетъ образы отъ воображенія, мысли отъ разума *).

Но интересно, что, если не прямо, то косвенно, а порою и довольно опредѣленно, Н. К. Михайловскій вводилъ уже въ это время элементъ „политики“ въ наше міровоззрѣніе, черезчуръ исключительно пропитанное вѣрой въ народную „экономику“, .

говорить о коренной причинѣ перемѣны мнѣній людьми: „подобного коренного факта, коренной причины я всегда склоненъ искать въ соціальныхъ отношеніяхъ“. Я умышленно оставляю здѣсь въ сторонѣ научные этюды Михайловскаго въ родѣ „Что такое прогрессъ“, где настойчиво проводится мысль, что форма общественныхъ отношеній и, прежде всего, лежащая въ основѣ ихъ такая или иная форма кооперации членовъ общества опредѣляютъ характеръ міровоззрѣнія данной эпохи. О Михайловскомъ, какъ о соціологѣ, надо говорить особо и вплотную.

*). Т. I, стр. 837 (изъ статьи отъ января 1873 г.).

естественная игра которой въ иѣдрахъ трудящихся массъ, благодаря—самое большее — уясняющему или подталкивающему процессу съ нашей стороны, должна была, по нашему имѣнію, вывести Россію на путь заправскаго народнаго производства. Такъ, въ одномъ мѣстѣ, рисуя двѣ перспективы историческихъ возможностей, раскрывавшихся въ то время передъ Россіей, авторъ говорить о „преніяхъ“, о борьбѣ между „двумя діаметрально противоположными политическими программами“ *). Въ другомъ мѣстѣ онъ ставить передъ „публицистами“, т. е., значитъ, вообще передъ людьми, желающими сознательно участвовать въ исторической жизни страны, требование цѣлесообразно организованной дѣятельности въ пользу народа, дѣятельности, которая не ограничивается одной вѣрой въ народную экономику, но пытается создать благопріятное послѣдней теченіе въ сферѣ государственной политики:

...Представимъ себѣ, что публицисты наши завтра измѣнятъ свою точку зрения и объявлять себя служителями непосредственно народа, только народа. Представимъ себѣ, что они не только не провоцируютъ учрежденія акціонерныхъ компаний, развитія отечественной промышленности, кредита и пр., но постоянно обращаютъ вниманіе общества на обратную сторону этихъ явлений. Представимъ себѣ далѣе, что публицисты вырабатываютъ широкую систему специальнаго кредита; что вместо всевозможныхъ субсидий, гарантій и привилегій частнымъ предпринимателямъ и обществамъ они требуютъ государственной помощи для сохраненія въ народѣ имѣющихъ уже у него орудій производства и приобрѣтенія новыхъ; что нормальными сочетаніемъ экономическихъ силъ они признаютъ не акціонерныя компаніи, а производительныя артели; что успѣховъ земледѣлія они не отдѣляютъ отъ условій благопріятнаго положенія земледѣльца, свободы труда—отъ самостоятельности рабочаго и проч., и проч. Что будетъ, если всѣ эти домогательства публицистовъ осуществляются или приблизятся къ осуществленію? **).

Авторъ отвѣчаетъ въ томъ смыслѣ, что тогда, моль, будуть развиваться и производство, и потребленіе, но не въ ущербъ, а благодаря благосостоянію народа. И, однако, въ данномъ случаѣ интересенъ не самъ этотъ отвѣтъ, а тотъ фактъ, что публицисты—граждане видѣлъ въ „государственной помощи“, въ организованной дѣятельности на пользу народа надлежашій путь для осуществленія народныхъ идеаловъ въ то время, какъ мы во имя этихъ идеаловъ были, если можно такъ выразиться, рѣшительными „аполитиками“. Я не хочу, впрочемъ, перелицовывать Михайловскаго начала 70-хъ годовъ въ прямолинейнаго выразителя взглядовъ, къ которымъ лучшая часть русской интеллигенціи придетъ лишь въ самомъ концѣ десятилѣтія. Онъ былъ бы не чловѣкомъ, а ангеломъ или звѣремъ, — простите подвернувшееся мнѣ подъ перо выраженіе Паскаля,—если бы не раздѣлялъ тогда хотя отчасти нашихъ молодыхъ народническихъ иллюзій. Наобо-

*) Т. I, стр. 807 (статья отъ декабря 1872 г.).

**) Ibid., стр. 834 (январь 1873 г.).

ротъ, оцѣнивая съ точки зрѣнія „ицен труда“ различныя драгоценныя вещи въ родѣ науки, свободы, Михайловскій, подобно всѣмъ намъ, опасался, какъ бы достиженіе этихъ благъ цивилизациіи лишь привилегированными классами и даже пропитанной любовью къ народу интеллигентціей не усилило классового характера цивилизациіи, не увеличило разстоянія между нами и трудящимися массами, не лѣгло лишнимъ гнетомъ на плечи мужика. Яркая фраза „пусть сѣкутъ, мужика сѣкнуть же“,—фраза, которую въ началѣ 80-хъ годовъ Михайловскій характеризуетъ крайнее настроеніе интеллигентціи 70-хъ годовъ и надѣй которой начинать точить зубы разные пошлины,—эта фраза въ той или иной формѣ являлась однимъ изъ опредѣляющихъ элементовъ нашей дѣятельности въ то, казалось бы, и недавнее, и далекое время. Но у самого истолкователя нашихъ думъ и стремленій колючность этой фразы, жгучесть этого жертвенного настроенія завертывалась въ ограниченія, условія и смягченія, которыхъ решительно дѣлаютъ честь политическому чутью писавшаго. Я позволю себѣ процитировать одно изъ наиболѣе характерныхъ мѣстъ его полемики противъ Достоевскаго по поводу „Бѣсовъ“ и „Дневника писателя“:

...Мы поняли, что сознаніе общечеловѣческой правды и общечеловѣческихъ идеаловъ далось намъ только благодаря вѣковымъ страданіямъ народа. Мы не виноваты въ этихъ страданіяхъ, не виноваты и въ томъ, что воспитались на ихъ счетъ, какъ не виноватъ яркий и ароматный цветокъ въ томъ, что онъ поглощаетъ лучшіе соки растенія. Но, принимая эту роль цветка изъ прошедшаго, какъ нѣчто фатальное, мы не хотимъ ея въ будущемъ... Мы пришли къ мысли, что мы—должники народа. Можетъ быть, такого параграфа и нѣть въ народной правдѣ, даже навѣрное нѣть, но мы его ставимъ во главу угла нашей жизни и дѣятельности, хоть, можетъ быть, не всегда сознательно. Мы можемъ спорить о размѣрахъ долга, о способахъ его погашенія, но долгъ лежитъ на нашей совѣсти, и мы его отдать желаемъ. Вы симѣетесь надѣя нелѣпымъ Шигалевымъ и несчастнымъ Виргинскимъ за ихъ мысли о предпочтительности соціальныхъ реформъ передъ политическими. Это характерная для нась мысль, и знаете ли, что она значить? Для „общечеловѣка“, для citizen'a, для человѣка, вкушившаго плоды общечеловѣческаго древа познанія добра и зла, не можетъ быть ничего соблазнительнѣе свободы политической, свободы совѣсти, слова устнаго и печатнаго, свободы обмѣна мыслей (политическихъ сходокъ) и проч. И мы желаемъ этого, конечно. Но если всѣ связанные съ этою свободой права должны только пропаивать для нась роль яркаго и ароматнаго цветка,—мы не хотимъ этихъ правъ и этой свободы! Да будутъ они прокляты, если они не только не дадутъ намъ возможности расчитаться съ долгами, но еще увеличить ихъ! А, г. Достоевскій, вы сами citizen, вы знаете, что свобода вещь хорошая, очень хорошая, что соблазнительно даже мечтать объ ней, соблазнительно желать ея во что бы то ни стало для нея самой и для себя самого. Вы, значить, знаете, что гнать отъ себя эти мечты, воздерживаться отъ прямыхъ и, слѣдовательно, болѣе или менѣе легкихъ шаговъ къ ней—есть нѣкоторый подвигъ искупительнаго страданія... *).

Итакъ, наше презрѣніе къ общественной „политикѣ“ во имя

*) Т. I, стр. 868—869 (статья отъ февраля 1873 г.).

народной „экономики“ смягчается у Н. К. Михайловского всякий разъ ограничениемъ, выясненiemъ задать момента, вадохомъ искренняго сожаленія. Станеть ли онъ опредѣлять условія, способствующія у насъ развитию стремлений къ рѣшенію „соціального вопроса“, и въ числѣ ихъ онъ не забудеть указать на то обстоятельство, что

широкая и заманчивая область собственно политическихъ, конституционныхъ вопросовъ, поглощающая столько литературныхъ силъ въ Европѣ, для насъ заперта на замокъ, ключъ отъ котораго заброшенъ чуть не за тридевять земель, въ тридѣсятое царство *).

Придется ли ему констатировать, что

самая видная сторона нынѣшней общественной жизни есть несомнѣнно экономическая. Сюда устремлены вѣвъ помышленія и аппетиты. Поэтому отношение литературы къ экономическимъ вопросамъ уже опредѣляется до извѣстной степени общую физиономію литературы **),

онъ тутъ же ставить зависимость преобладающей „струны“ въ литературѣ „отъ разныхъ обстоятельствъ, опредѣляемыхъ самой жизнью“, и не исключаетъ изъ своего разсужденія той гипотезы, что

такою струною въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ могутъ стать политические вопросы ***).

Противопоставить ли онъ, по поводу извѣстной иронической параллели Успенского (въ „Больной совѣсти“) между западомъ и Россіей, наши „зародышевые“, безсознательные добродѣтели яркимъ общественнымъ проявленіямъ добра и зла въ Европѣ, нашу бюрократическую цензуру плутократической европейской, нашего солдатика Кудинича, который машинально перебилъ на своемъ вѣку много народа, лично очень ему симпатичнаго, версальскому судью, который сознательно пригибаетъ право, чтобы раздавить своего общественнаго врага, коммунара, — и это противопоставленіе нисколько не мѣшаетъ ясной логикѣ и общественному чистью публициста-гражданина вскрыть недоразумѣніе и предостеречь читателя противъ идеализациіи домашнихъ неалбивыхъ, но и невѣжественныхъ потомокъ:

Дѣло въ томъ, что и Прудонъ, и Вильмесанъ, и фигурирующіе въ „Запискахъ“ Успенского версальскій неправедный судія и свирѣпый берлинскій побѣдитель,—всѣ эти люди живуть по совѣсти ишибко живуть: каково бы ни было дѣло, которому они отдались, но они ему отдались цѣликомъ, совѣстью не болѣютъ, ненавидятъ сильно и сильно любятъ, смѣю заявлять, чего они хотятъ, и дѣлаютъ только то, во что вѣрятъ, что хотять дѣлать. Въ Европѣ дѣствуютъ и величие и подлость, и скромность и наглость, и само-

*) Ibid., стр. 753 (октябрь 1872 г.).

**) Ibid., стр. 838 (январь 1873 г.),

***) Ibid., нѣсколько выше.

съвержение и эгоизмъ, и продажность и неподкупность, но каждый шагъ тамъ во всякомъ случаѣ сознательнъ. А у насъ?.. Хорошо, конечно, что Кудинычъ добрый, и не хорошо, что версальскій несправедливый судья—злой. Но хорошо ли, что Кудинычъ перебилъ ни въ чёмъ неповиннаго, съ его, Кудиныча, точки зрѣнія, черкеса? И такъ ли ужъ дурно то, что версальскій судя бѣть коммунара, который есть въ его глазахъ дикій звѣрь и врагъ человѣческаго рода? Вообще, что лучше, или пожалуй, что хуже,—врага-ли человѣческаго рода бѣть, или чудеснѣйшаго человѣка, какого другого не сышешь? *).

Вдумайтесь въ эти разсужденія, въ эту полушутиловую, полу-трагическую дилемму, и вы подивитесь той смѣлости, съ какою Михайловскій сводилъ на очную ставку западную классовую цивилизацию и нашу зародышевую, и чуть-чуть не отдавалъ преимущества первой, отдавалъ, по крайней мѣрѣ, въ смыслѣ свѣта, опредѣленности и познанія добра и зла, въ то самое время, какъ большинство изъ насъ, въ пику буржуазности запада, черезчуръ подолащивало и подкрашивало соціальную сторону народныхъ русскихъ инстинктовъ.

Но особенно въ срединѣ 70-хъ годовъ Н. К. Михайловскій сослужилъ замѣчательную службу общественному движенію, ваявъ надлежащую среднюю ноту между двумя враждебными теченіями, выработавшимися среди народничества. Собственно говоря, эти два теченія существовали и въ періодъ первоначального молодого энтузиазма, направленного въ сторону народа; но на этомъ идеиномъ пиру ихъ разница не особенно замѣчалась и по большей части могла объясняться различіемъ въ темпераментахъ. А когда за пиромъ наступило похмѣлье, пора подведенія итоговъ, подсчитыванія упѣховъ и неудачъ, — словомъ, критический пе ріодъ, слѣдующій, какъ полагается по штату, за органический,— о, тогда большія или меньшія различія въ тактикѣ и самая психология темпераментовъ вылились въ два особыя міровоззрѣнія, объединенные между собою лишь не иссякавшою струею любви къ народу. Одна часть активной интеллигентіи дѣйствовала во имя „интересовъ“ народа, но къ значительной части его „мѣнѣній“ *)—можетъ быть, за исключеніемъ нѣкоторыхъ экономическихъ традицій, какъ-то общинъ, артели и т. п.—относилась отрицательно. Она старалась распространять свои, основанные на „знаніи“, идеалы среди трудящихся массъ и постепенно замѣнить ими мѣнѣнія этой среды. Катясь по наклонной плоскости постепеновскаго распространенія этихъ идеаловъ, она скоро изъ группы общественныхъ дѣятелей превратилась въ группу, такъ сказать, соціальныхъ педагоговъ; перестала удовлетворять жаждѣ лѣтательности наиболѣе живыхъ сторонниковъ, оскудѣла, иссякла

). Т. I, стр. 895—897, passim (мартъ 1873 г.).

*, Герминология эпохи, слѣдѣ которой остался въ тогдашней печати, и которая встрѣчается и въ сочиненіяхъ Михайловскаго.

и выродилась въ неподвижное доктринерство, съ которымъ долженъ быть, наконецъ, порвать какъ разъ одинъ изъ главнѣйшихъ инициаторовъ этого направленія.

Другая часть активной интеллигенціи ставила своей программой дѣятельность не только во имя „интересовъ“, но и во имя „мнѣній“ народа, беря и тѣ, и другія исходной точкой своего участія въ общественномъ прогрессѣ. Но такъ какъ значительная доля мнѣній, воззрѣній, стремленій народа поражала ее своею иеосмыслиностью, а порою чудовищностью, то эта горячая и нетерпѣливая интеллигенція принуждена была, для поддержанія своего энтузіазма къ народу въ его цѣломъ, усиленно предаваться процессу идеализаціи народного міровоззрѣнія, стараясь, насколько возможно, приблизить его по содержанію и по цвѣту къ своимъ сознательнымъ идеаламъ. Не умышленно, конечно, производилась эта операція растягиванія, расширенія или, наоборотъ, обрубанія и вообще подкрашиванія. Но въ результатѣ пылкая интеллигенція добилась таки совпаденія — въ своей, разумѣется, горячей головѣ и нетерпѣливомъ сердцѣ — своихъ собственныхъ идеаловъ съ мнѣніями народа, и не только въ сферѣ экономической, но и въ сферахъ философской, общественной и т. п. И чего-чего только мы не идеализировали въ то время: деревенскіе сходы, на которыхъ, моль, нѣтъ ни подавляющаго большинства, ни подавляемаго меньшинства, а царитъ трогательное единодушіе, до котораго, какъ до звѣзды небесной, далеко всякимъ буржуазнымъ парламентаризмъ; вольные казацкіе круги, которые въ нашемъ воображеніи охватывали истинно-демократические принципы прошедшаго, настоящаго и будущаго и затыкали за поясъ даже „анаархію“ Прудона; русскій расколъ, приверженцевъ котораго мы цѣлкомъ перекрашивали въ нашихъ братьевъ по рационализму и свободной критикѣ, насчитывавъ 13 миллионовъ, — такъ и говорилось: три-на-дцать миллионовъ! — независимыхъ мыслителей; „трудовое начало“, которое, моль, проникаетъ всю психологію народа. Словомъ, всѣ явленія народной жизни были для настъ предметомъ упоительной фантасмагоріи, заволакивавшей своимъ радужнымъ туманомъ различія между нашими идеалами и народными идолами. Для настъ народъ былъ настоящимъ геніемъ по части соціального творчества; а известно, что

Геній, не учась,
Ученъ, коль придетъ въ восхищеніе!..

Не учить, значитъ, должны мы были народъ, а приводить его въ состояніе „восхищенія“, за которымъ должно было естественно послѣдовать и дѣйствіе. И тутъ былъ единственный пунктъ, где грубая и жесткая дѣйствительность разрывала нашу золотую фантасмагорію и заставляла настъ дѣлать уступки реальному міру. Народъ не приходилъ въ состояніе восхищенія: ему

недоставало, — думали мы,— для этого именно лишь инициативы, „активности“. Мы должны были, значитъ, развить въ немъ это чувство активности, помогая ему постоянно „упражняться“ въ немъ, создавая предлоги для такого упражненія и вызывая въ немъ сознаніе постоянно ростущей собственной силы. И мы торжественно ссыпались на такую-то страницу сочиненій Спенсера, страницу, на которой находили слѣдующую не особенно мудреную мысль: „мускулъ отъ упражненія дѣлается сильнѣе, и въ мышечномъ ощущеніи элементъ усталости играетъ все меньшую и меньшую роль“, или что-то въ родѣ этого. Народъ, привыкшій упражнять свою психологію по Спенсеру, сдѣлается, наконецъ, активнымъ дѣятелемъ прогресса и разомъ, однимъ могучимъ напоромъ на несправедливый строй, осуществить то „обобществленіе труда“, которое на западѣ будетъ вызвано лишь діалектическимъ процессомъ капитализма,— и опять цитата изъ заграничной книги, на сей разъ „Капитала“ Маркса...

Пусть читатель не подумаетъ, что я умышленно занимаюсь карикатурами на прошлое и предаюсь осмѣянію такъ называемыхъ „увлечений молодости“. Во-первыхъ, съ этимъ прошлымъ я связанъ кровными узами глубокой и непоколебимой вѣры въ торжество общечеловѣческой солидарности, и сомнѣнію для меня могутъ подлежать лишь приёмы, лишь тактика дѣятельности, вѣдущей къ этому торжеству. Во-вторыхъ, не злорадный смѣхъ вызываютъ во мнѣ эти „увлечения“, а — немножко стыдно признаться — неудержимо набѣгающія слезы идеяного энтузіазма, когда я вспоминаю, какое мужественное сердце билось въ юношеской, почти дѣтской груди моихъ сверстниковъ. Какъ бы тѣни было, наши „ученые“ цитаты въ спорахъ о програмѣ были, можно сказать, единственою умственнюю роскошью, которую мы позволяли себѣ въ дѣятельности во имя „интересовъ“ и „мнѣній“ народа. Въ пику группѣ, названной мною соціальными педагогами, мы очень недовѣрчиво относились къ „наукѣ“ и главную роль въ общественномъ прогрессѣ приписывали не „уму“, а „чувству“ активности. Педагитичное и безталанное эхо этого настроенія,—этий—какъ бы сказать?—соціологической вѣры, читатель можетъ найти въ тогдашихъ статьяхъ (въ „Недѣлѣ“) Юзова-Каблица, который, благодаря своему преклонному — какъ казалось намъ тогда—возрасту (ему было, кажется, въ то время лѣтъ около 35) и терпѣливому, чисто начетчицкому корпѣнію надъ русскими переводами Спенсера, Милля, Бэнса, а также трудолюбивому выписыванію цитать изъ отечественныхъ сочиненій по расколу, народнымъ движеніемъ и т. п., игралъ среди насъ роль авторитетнаго старшаго брата, совѣтника, руководителя, а главное, печатнаго выразителя нашихъ воззрѣній.

И вотъ между этими-то двумя группами передовой интелигентіи — сторонниками пропаганды знаній и развивателями чу-

ства активности—и сталъ во второй половинѣ 70-хъ годовъ Михайловскій, сталъ, вооруженный настоящею „наукою“ и въ то же время понимающій общественное значеніе „честства“, и понимался примирить односторонности обоихъ направленій, призываю обѣ группы къ болѣе трезвому истолкованію тогдашнихъ задачъ. Въ какой степени была важна эта полоса литературной дѣятельности Михайловскаго, видно изъ самой судьбы, постигшей не малую долю приверженцевъ того и другого прогрессивнаго міровоззрѣнія. Большинство руководителей первой группы—за исключениемъ наиболѣе сильнаго теоретика ея—превратилось въ скоромъ времени въ самыхъ заурядныхъ небокопителей и въ погонѣ за общественнымъ положеніемъ и „жирными кусками“ побросали свой прежній умственный и нравственный багажъ. Да и въ средѣ сторонниковъ „активности“ неудачи въ области упражненія чувства вызывали порою очень сильное разочарованіе, особенно у слабыхъ душой. Я помню, какъ, послѣ одной такой очень ужъ наглядной и обидной неудачи, одинъ изъ наиболѣе пылкихъ партизановъ „честства“—изящная, артистическая, но кисельная натура—изобразилъ свое настроеніе въ красномъ, но крайне уныломъ и по существу фальшивомъ стихотвореніи:

Были дни у насъ шумные, бурные,
Звуки чудные всюду неслись,—
Колыхаясь, знамена мишурныя
Надъ ребячей толпою взвились...
И иного не слышалось голоса,
И другихъ не кричало словъ:
„Въ Днѣпъ Перуна, Стрибога и Волоса,
Въ воду старыхъ отжившихъ боговъ!..

.
Но на мѣсто разбитаго идола
Не пришелъ воскрешающій Богъ...

Съ другой стороны, я попрошу читателя припомнить, что тотъ самый Юзовъ-Каблицъ, который во второй половинѣ 70-хъ годовъ вырабатывалъ свое мозаичное, но очень бунтарское соціологическое міровоззрѣніе, скоро передвинулся съ своей идеализацией народа такъ далеко вправо, что въ 80-хъ годахъ, самъ того не замѣчая, очутился среди народничествующей демагогії. Вотъ какіе подводные камни лежали, и не особенно глубоко, въ руслѣ того теченія, которое сливало въ одно „интересы“ и „мѣйнія“ народа, и во имя яко бы безошибочнаго соціального инстинкта, во имя „упражненія чувства“, пренебрегало „умомъ“ и „критической мыслию“.

Въ русской печати едва ли не первымъ явственнымъ выражениемъ идеализации народа, выраженіемъ, которое было бы несравненно смѣшивать съ простымъ славянофильствомъ,—явилась въ то время „Недѣля“ и именно въ статьяхъ П. Ч. во второй половинѣ 1875 г. Самъ П. Ч.,—тогда, если не ошибаюсь, очень

печтенный земедѣль изъ молодыхъ, — былъ чуждъ воинственныхъ элементовъ міровоззрѣнія той интеллигенціи, которая шла въ сторону упражненія чувства и уже стала вырабатывать въ эту пору соотвѣтствующую доктрину. Но съ П. Ч. упомянутую интеллигенцію сближали принятіе къ свѣдѣнію и исполненію не только интересовъ, но и мнѣній народа и рѣшительное предпочтеніе деревни городу. И, однако, именно противъ этой огульной идеализаціи, горѣвшей яркимъ пламенемъ въ душѣ наиболѣе передовой интеллигенціи того времени, не побоялся возвстать Михайловскій, обращаясь черезъ голову П. Ч. къ молодой, энергичной и страстной, но увлеченной на скользкій путь аудиторіи. Вспомните горячія строки, съ которыми къ намъ обращался публицистъ-гражданинъ и которая въ извѣстной части авангарда движенія вызывали временно не только разочарованіе въ люби-мъ писателѣ, но прямой гнѣвъ, чуть не идейную ненависть къ предостерегавшему:

Можетъ быть, г. П. Ч., основательно изучивъ „руssкую жизнь со всѣми бытовыми особенностями“, убѣдился, что она не выражаетъ ничего иного, какъ принципъ солидарности и нравственной связѣ? Въ такомъ случаѣ ему жить просто, и я ему глубоко завидую, какъ вообще ученымъ людямъ. Я — профанъ и тутъ. У меня на столѣ стоять бюстъ Бѣлинскаго, который мнѣ очень дорогъ, вотъ шкафъ съ книгами, за которыми я провѣль много ночей. Если въ мою комнату вломится русская жизнь со всѣми ея бытовыми особенностями и разобьетъ бюстъ Бѣлинскаго и сожжетъ мои книги, я не покорюсь и людямъ деревни; я буду драться, если у меня, разумѣется, не будутъ связаны руки. И если бы даже меня осѣнилъ духъ величайшей кротости и самоотверженія, я все таки сказалъ бы, по малой мѣрѣ: прости имъ Воже истины и справедливости, они не знаютъ, что творятъ! Я всетаки, знать, протестовалъ бы. Я и самъ сумѣю разбить бюстъ Бѣлинскаго и сжечь книги, если когда-нибудь дойду до мысли, что ихъ надо бить и жечь, но, пока они мнѣ дороги, я ни для кого ими не поступлюсь. И не только не вступлюсь, а всю душу свою положу на то, чтобы дорогое для меня стало и другимъ дорого, вопреки, если случится, ихъ бытовымъ особенностямъ *).

Припомните также ту многозначительную программу, которую Михайловскій противопоставлялъ нашему крайнему народничеству:

Безспорно, что у мужика есть чему поучиться, но есть и намъ что ему передать. И только изъ взаимодѣйствія его и нашего и можетъ возникнуть вожделѣній новый періодъ русской исторіи. Голосъ деревни слишкомъ часто противорѣчитъ ея собственнымъ интересамъ, и задача состоять въ томъ, чтобы искренно и честно, признавъ интересы народа своею цѣлью, сохранить въ деревнѣ, какъ она есть, только то, что дѣйствительно этимъ интересамъ соответствуетъ. Дѣло идеть объ обмѣнѣ между нами и народомъ, обмѣнѣ честности, безъ шulerства и заднихъ мыслей, въ результатаѣ котораго получается равенство обмыленныхъ цѣнностей. О, если-бы я могъ утонуть, расплыться въ этой сѣрой, грубой массѣ народа, утонуть бесповоротно, но сохранивъ толькъ свѣточъ истины и идеала, какой мнѣ удалось добыть насчетъ того же

*) Т. III, стр. 692 („Записки профана“, декабрь, 1875 г.).

народа! О, если бы и вы всѣ, читатели, пришли къ такому же рѣшенію, особенно у кого свѣточь горить ярче моего и вообще свѣтло и безъ коноти.. Какая бы это вышла иллюминація и какой великой исторической празднікъ она отмѣтила бы собою! Нѣтъ равнаго ему въ исторіи *).

Минуя рядъ статей, въ которыхъ въ теченіе цѣлаго 1876 г. Михайловскій боролся съ идеализаціей деревни и „провинціи“, нравственнаго элемента и соціальнаго „чувства“, доставшагося яко бы на долю чуть не одного только мужика, я перехожу къ той группѣ статей 1877—1878 гг., которая была направлена противъ односторонности міровоззрѣнія, основанного исключительно на упражненіи активности и которая возвудила опять таки рѣзкое неудовольствіе, какъ среди крайнихъ выразителей этого теченія, такъ и среди уміравшей уже фракціи соціальныхъ педагоговъ, — тамъ и здѣсь по совершенно противоположнымъ, конечно, причинамъ. Скромное и слегка маниловствующее „чувство“ П. Ч. превратилось въ бунтарское „чувство“ Юзова и противопоставило себя „уму“ не только какъ тактическій приемъ, но и какъ исключительный источникъ общественного міровоззрѣнія. И вотъ, когда Михайловскій рѣшилъ поднять противъ этой односторонности знамя цѣльнаго двуединаго человѣка, вооруженнаго нравственнымъ стремленіемъ къ добру, но и критической оценкой этого добра, съ крайнихъ крыльевъ передовой интелигенціи на него посыпались упреки противоположнаго характера: сторонники активности негодовали за то, что онъ недостаточно сокрушилъ „умъ“ во славу „чувства“; соціальные педагоги укоряли, наоборотъ, мыслителя за то, что онъ призналъ право иѣрность чувства на ряду съ умомъ.

Я разумѣю, во-первыхъ, его страстно читавшіяся „Письма о правдѣ и неправдѣ“, гдѣ онъ призывалъ насть къ одновременному служенію правдѣ-истинѣ и правдѣ-справедливости, и гдѣ онъ выставилъ верховнымъ критеріемъ идейной жизни и дѣятельности очень важный для того исторического момента принципъ „личности“. Помните его очень смѣлыхъ по тому времени строки, въ которыхъ онъ, вмѣсто того, чтобы строить себѣ народническаго идола изъ общины,—а вѣдь его въ 90-хъ годахъ упрекали въ этомъ марксисты, вылупившіеся изъ запамятовавшихъ народниковъ,—вмѣсто того, говорю я, чтобы растекаться вмѣстѣ съ нами въ безусловномъ умиленіи передъ общиной, онъ развивалъ слѣдующую мысль:

Сторонники общины, по крайней мѣрѣ благоразумные, не дѣляли себѣ, однако, изъ нея фетиша, передъ которымъ надо лбы разбивать. Они не говорили, что община дорога, потому что она—община. Они видѣли въ ней лишь надежное уѣзжще для крестьянской личности отъ грядущихъ бѣдъ капиталистического порядка. Правда была на ихъ сторонѣ, потому что съ

*) Т. III, стр. 707.

распущеніемъ общины, если не явится какой нибудь противовѣсь со стороны, у насъ долженъ повториться процессъ европейскаго экономического развитія *).

Но въ особенности я обращаю вниманіе читателя на полемику Н. К. Михайловскаго противъ уже упомянутыхъ крайностей направлениія сторонниковъ активности и въ частности противъ статей Юзова „Умъ и чувство, какъ факторы прогресса“ и т. д. Теперь весь этот споръ можетъ показаться академическимъ; но тогда Юзовъ выговаривалъ суконнымъ языкомъ лишь то, что кипѣло и бурлило въ нашемъ молодомъ сердцѣ, во имя чего мы хотѣли жить и ради чего готовы были сложить голову. Какое дѣло было до того, что нашъ адвокатъ не блисталь талантомъ и завертывалъ въ безконечныя, до комичности точныя цитаты наше міровоззрѣніе, разъ онъ провозглашалъ главный членъ нашего тогдашняго символа вѣры, неизмѣримое преимущество „дѣла“ и „примѣра“ надъ „словами“ и „книжкой“! „Не распространеніе идей о независимости, а только поступки, внушаемые чувствомъ независимости, развиваются и усиливаются это чувство“— выговаривалъ суконный языкъ Юзова; и мы готовы были прижать къ сердцу нашего истолкователя, который проводить въ печати наше практическое міровоззрѣніе. Можете себѣ представить, какимъ негодованіемъ пылали наши сердца на любимаго—да, все-таки на любимаго писателя (о, тайна юношескаго энтузиазма, сотканаго изъ противорѣчій!), на писателя, говорю я, который обливалъ насъ ушатомъ холодной воды и обидно-презрительне отзывался объ упражненіяхъ Юзова, стараясь въ то же время присоединить къ нашимъ парусамъ „чувства“ и необходимый грузъ „ума“:

Читатель можетъ сказать, что статья „Умъ и чувство, какъ факторы прогресса“ совсѣмъ не требовала столь длинного объ ней разговора. Это отчали—правда, но только отчасти. Не въ самой статьѣ тутъ дѣло, а въ читателяхъ, въ тѣхъ особенностяхъ нашего темперамента, о которыхъ рѣчь шла выше. Если авторъ перегибаетъ лукъ въ извѣстную сторону, то читатели, при извѣстныхъ условіяхъ, перегибаютъ его еще сильнѣе. Хороший поступокъ прекрасенъ и желателенъ, хорошее чувство тоже прекрасно и желательно, но предавать изъ-за этого всесожженію мысль, знаніе, логику, „голову“, „книжку“—отнюдь не приходится. Это совсѣмъ не такие предметы, которые не могутъ ужиться рядомъ. Тяжба между умомъ и чувствомъ безобразна и не имѣть рѣшительно никакого *raison d'être* **).

Я лишь мимоходомъ упомяну, что конецъ этой статьи былъ посвященъ защищѣ Иванова (Успенскаго), который усмотрѣлъ изъяны въ нашемъ идолѣ-мужикѣ, при чемъ Н. К. Михайловскій доказывалъ, что тутъ дѣло не въ самомъ „мужикѣ“, а въ „пагубныхъ условіяхъ“... Это я къ слову и въ назиданіе читателямъ,

*.) Т. IV, стр. 452 (январь 1878 г.).

**) Т. IV, стр. 545—546 (апрѣль 1878 г.).

которые нѣсколько лѣтъ тому назадъ могли присутствовать и перелицовываніи нашего автора противниками въ типичнаго якобы народника.

И снова, скрипя и лязгая, развертывается желѣзная цѣль исторической необходимости. И новыя звенья ея проходятъ пе-редъ глазами, приковывая вниманіе и сердце участниковъ въ рус-скомъ прогрессѣ. На рубежѣ 70-хъ и 80-хъ годовъ, въ это и трагически-печальное, и хорошее время, все общество какъ будто просыпается, и было отчего: герцеговинское восстание, а затѣмъ освободительная война, стоившая столькихъ жертвъ, приведенная къ болѣе или менѣе благополучному концу лишь цѣною очень значительныхъ усилий и оставившая по себѣ глубокое недовольство въ обществѣ; безстыдная эпопея хищенія, продѣланная нашими рыцарями первоначального накопленія и тепличного про-изводства, такъ сказать, въ самомъ пылу борьбы, по пятамъ, а то и внутри арміи, служившей экспериментомъ для грандіозныхъ продѣлокъ подрядчиковъ, поставщиковъ, интендантовъ, желѣзно-дорожниковъ; явные признаки истощенія платежныхъ силъ народа, въ особенности въ связи съ введеніемъ новыхъ, вызванныхъ войною налоговъ; рядъ политическихъ процессовъ,—все это соз-давало первную, насыщенную электричествомъ атмосферу, въ ко-торой барометръ общественной жизни, отражая вліяніе надвигав-шихся и удалявшихся грозъ, неистово прыгалъ, то внизъ, то вверхъ, и разные авгуры въ бюрократіи, обществѣ и печати ста-рались тщетно предугадать завтрашнюю погоду...

Всѣхъ чугче отражала на себѣ, по обыкновенію, задачи се-временности передовая интеллигенція, которая принуждена была подъ давленіемъ обстоятельствъ значительно видоизмѣнить и расширить свое міровоззрѣніе. Ея идеализація народа сильно по-колебалась. Присматриваясь къ деревенской дѣятельности, она видѣла, что усердно насаждавшійся послѣ крестьянской ре-формы капитализмъ уже дѣлалъ свое дѣло. Перелистывая наив-ныя и горячія статьи этой эпохи, читатель встрѣтить въ иныхъ изъ нихъ довольно интересную амальгаму народничества и марксизма,—констатированіе разложенія общинъ и одновремен-ное приглашеніе бороться „противъ капитализма“ во имя инте-ресовъ народа, опираясь отчасти и на зарождающагося пролета-рія. Такова одна изъ статей исчезнувшаго съ тѣхъ поръ изъ литературы сотрудника „Дѣла“, Н. Рusanова, писавшаго „противъ экономического оптимизма“ г. В. В. и обронившаго фразу на-счетъ того, что если не всякой общинѣ, то русской придется, вѣроятно, „пойти на выучку къ капитализму“, — фразу, которая 15 лѣтъ спустя подхвачена марксистами и выставлена уже чуть не какъ лозунгъ партійной дѣятельности.

Съ другой стороны, наиболѣе активная часть интеллигенціи,

сознательно обрекавшая себя въ теченіе 70-хъ годовъ на жертву народной „экономики“, не могла, наконецъ, не убѣдиться, что даже во имя этой экономики она должна была внести въ свою программу и одновременное преследованіе задачъ гражданственности или, выражаясь возвышенno, „политики“, какъ общественныхъ условій или какъ общей арены, въ широкихъ барьерахъ которой могли бы заявлять о своей правомѣрности не только земельные идеалы народа, но и всяческія проявленія народной души, энергіи, чувства, народной воли... Въ самомъ дѣлѣ, мы все готовы были и въ эту пору раствориться въ народѣ съ „свѣтоточемъ истины и идеала“ въ рукахъ; но что было дѣлать, когда бури и ливни гасили этотъ свѣтоточъ. Поневолѣ вопросъ становился не только народнымъ, а и общественнымъ, можно сказать, общечеловѣческимъ вопросомъ русскихъ людей. Центръ тяжести переносился изъ деревни въ городъ; и авангарду интеллигенціи приходилось брать на себя не только роль искренняго защитника народа, но и ускорителя, упредителя естественнаго развитія русской цивилизациі. Снова, со времени отмѣны крѣпостного права, передъ всѣми хорошими русскими людьми ставился общепародный великий вопросъ, на почвѣ котораго могли въ данный моментъ сойтись люди различныхъ направлений, за исключеніемъ, конечно, прямыхъ наслѣдниковъ крѣпостническаго міровоззрѣнія. И въ первыхъ рядахъ новой освободительной арміи естественно должна была очутиться та часть интеллигенціи, которая всегда отличалась способностью приносить историческія жертвы и которая цѣлое десятилѣтіе подавляла свои естественные стремленія къ широкой гражданственности во имя сѣраго, трудомъ и лишеніями жившаго, но кровно дорогого ей народа... Какимъ блестящимъ выражениемъ и объясненіемъ перелома въ нашемъ міровоззрѣніи были огнемъ писанныя въ то время статьи Н. К. Михайловскаго! Перечитайте хоть нѣкоторые отрывки ихъ: неизмѣримо лучше, чѣмъ могу это сдѣлать я, они передаютъ и обосновываютъ новую историческую программу, выводя ее изъ недостатковъ прошлой:

Сkeptически настроенные по отношенію къ принципу свободы, мы готовы были не домогаться никакихъ правъ для себя... „Пусть сѣкутъ, мужика сѣкутъ же“ — вотъ какъ, примѣрно, можно выразить это настроеніе въ его крайнемъ проявленіи. И все это ради одной возможности, въ которую мы всю душу клали; именно возможности непосредственнаго перехода къ лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадію европ. йского развитія, стадію буржуазнаго государства. Мы вѣрили, что Россія можетъ проложить себѣ новый исторический путь... Предполагалось, что нѣкоторые элементы наличныхъ порядковъ, сильные либо властью, либо своею многочисленностью, возьмутъ на себя починъ проложенія этого пути. Это была возможность. Теоретическою возможностью она остается въ нашихъ глазахъ и до сихъ поръ. Но она убываетъ, можно сказать, съ каждымъ днемъ. Практика урѣзываетъ ее безпощадно, сообразно тому наша программа осложняется, оставаясь при той же конечной цѣли, но вырабатывая новые средства... Та теоретическая возможность, въ кото-

ную мы всю душу свою клали, только на этихъ элементахъ... и могла быть построена... Но если между этими элементами протискивается всемогущій братскій союзъ мѣстнаго кулака съ мѣстнымъ администраторомъ, то наша теоретическая возможность обращается въ простую иллюзію, а вмѣстѣ съ тѣмъ отреченіе отъ элементарныхъ параграфовъ естественаго права теряетъ всякой смыслъ. Очевидно, никому отъ этого отреченія ни тепло, ни холодно, кромѣ отрекающихся, которымъ холодно, и всемогущаго братскаго союза, которому тепло. Да, ему тепло, и въ этомъ корень вещей. Оказывается, что если европейскія учрежденія не гарантируютъ народу его куска хлѣба, и есть тамъ „милліоны голодныхъ ртовъ отверженныхъ пролатеріевъ“ (выраженіе Достоевскаго, съ которымъ здѣсь, между прочимъ, полемизируетъ Михайловскій, Н. К.), рядомъ съ тысячами жирныхъ буржуа, то наши наличные порядки фактически тоже ничего не гарантируютъ, кромѣ акрида и ликаго меду для желающихъ и не желающихъ ими питьаться. Грубѣе, разумѣется, у насъ все это выходить, наглѣе, безформеннѣе, но, спрашивается, какого доброго почина не задавилъ всемогущій братскій союзъ, пока мы только себя въ себѣ искать будемъ? Пусть-ка г. Достоевскій попробуетъ, ну хоть въ сельскіе учителя поступить, да тамъ поговорить, напр., о томъ, что, дескать, „не можетъ одна малая часть человѣчества владѣть всѣмъ человѣчествомъ, какъ рабомъ“. Пусть попробуетъ въ этомъ направлѣніи поработать на родной нивѣ, а мы посмотримъ, въ какомъ видѣ онъ оттуда выскочить. Вотъ о себѣ, въ себѣ, надѣть собой, это точно что вездѣ и всегда можно, на виду у всякаго союза, потому что это союзу на руку... Въ отношеніи аппетита, наглости и фактическаго могущества, нашъ союзъ никакимъ европейскимъ буржуа не уступить. И какъ же, значить, запоздаль г. Достоевскій и комп. съ своимъ хихиканѣемъ надѣть западомъ! Вотъ, если бы онъ протестовалъ тогда, когда нашъ союзъ только еще слагался — то другое дѣло, а онъ хладнокровно присутствовалъ при снятіи головы и теперь плачетъ по волосамъ... Ахъ, господа, дѣло, въ сущности, очень просто. Если мы, въ самомъ дѣлѣ, находимся наканунѣ новой эры, то нуженъ прежде всего свѣтъ, а свѣтъ есть безусловная свобода мысли и слова, а безусловная свобода мысли и слова невозможна безъ личной неприкословенности, а личная неприкословенность требуетъ гарантій. Какія это будутъ гарантіи — европейскія, африканскія, „что Литва, что Русь ли“ — не все ли равно, лишь бы онъ были гарантіями? Надо только помнить, что новая эра очень скоро обветшаетъ, если народу отъ нея не будетъ ни тепло, ни холодно *).

Такъ само историческое развитіе Россіи сближало разорванные половины одного великаго цѣлага, „экономику“ и „политику“, соединявшіяся въ живое и могучее тѣло общественного прогресса. И въ печати роль главнаго объединителя родственныхъ, но враждавшихъ стремленій принадлежала Н. К. Михайловскому...

Событие 1-го марта 1881 г. легло трагическою гранью между начавшимся было здоровымъ общерусскимъ движениемъ и рефлексивными, чаще всего попятными, а въ лучшемъ случаѣ односторонними попытками двухъ послѣдующихъ десятильтій. Прежде всего надѣ страной пронесся ураганъ общественной реакціи: общество и печать, потерявъ въ моментъ бури и компасъ, и грузъ

*) Т. IV, стр. 952, 957—958, passim („Литературные замѣтки“ отъ сентября 1880 г.).

общерусского дѣла, и чувство самообладанія, побросавъ въ одинъ мѣшокъ и больныя, и здоровыя головы, самоубивали, самозаушали, самоуничтожали себя, приготовляя для самихъ же себя власяницу и неудобоносимыя вериги. Въ ночи, наступившей за потерей яснаго сознанія въ обществѣ, парили безраздѣльно фантасмагорія, ходили призраки болѣзняного воображенія и чудовищная созданія страха и ненависти. А скоро, на почвѣ, подготовленной галлюцинациями, появились и настоящіе выходцы съ того свѣта. Тѣ самые злые колдуны и вампиры, которыхъ само общество всего нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ похоронило, казалось, безвозвратно, выходили изъ своихъ гробовъ, съ необсохшой еще исторической кровью на губахъ и требовали свѣжей горячей крови и "новыхъ жизней". Проснулись въ развалинахъ дoreформенныхъ храминъ сычи и нетопыри, тяжело шиляя крыльями. Пришелъ и пресловутый страшный "Вій" изъ "Московскихъ Вѣдомостей" (этимъ выражениемъ Михайловскій заклеймилъ Каткова), пришелъ и показалъ своимъ желѣзнымъ пальцемъ на всю Россію. И произошло то, что читаешь съ замирающими сердцемъ у Гоголя. Мы такъ и не дождались освободительного пѣнія пѣтуха...

Въ эту-то тяжелую ночь Н. К. Михайловскій стоялъ, какъ отважный левъ, на "славномъ посту" цивилизаціи, защищая грудью общество и нашу печать противъ шакаловъ, псовъ и ядовитыхъ змѣй,—стоялъ, презирая и волчьи пасти, и обезьяны гримасы, и ослины копыта. Нельзя читать безъ волненія эти то негодующія, то саркастическія, то исполненные глубокой печали статьи, въ которыхъ свѣтлая мысль и гражданское мужество философа-публициста боролись противъ хаотического смѣщенія понятій и возвѣтительнѣйшей исторической подтасовки, продѣлываемой общественными шулерами на спинѣ народа, но яко бы во имя интересовъ его. То была, дѣйствительно, пора раззвѣта народничествующей демагогіи, которая, карикатурно исказивъ наслѣдіе 70-хъ годовъ, "высаживала днище" у цивилизаціи во имя будто бы истинныхъ идеаловъ мужика. Я напомню лишь ожесточенную полемику, завязавшуюся въ литературѣ по поводу опредѣленія слова "интеллигенція" и имѣвшую, вопреки своему на первый взглядъ схоластическому характеру, глубоко жизненный, исторический и, если хотите, трагическій смыслъ. Шулерамъ-демагогамъ надо было, дѣйствительно, во что бы то ни стало, выдать передовую часть интеллигенціи за злѣйшаго врага русскаго народа и, раздавивъ ее во имя этого народа, расправиться затѣмъ съ послѣднимъ уже по своему, не смущаясь отнынѣ предостереженіями и негодующими криками авангарда прогрессивной арміи.

Споръ о значеніи слова "интеллигенція" былъ, такимъ образомъ, въ сущности, отраженіемъ въ литературѣ жизненной борьбы между истинными друзьями народа и рядившимися въ маску народолюбія господами его и эксплуататорами. Слишкомъ извѣстны

перипетіи этой полемики и слишкомъ памятна роль въ ней Михайловскаго, чтобы я могъ подробно остановиться на этомъ эпизодѣ литературной дѣятельности нашего автора. Я напомню лишь кой-какія мысли одной изъ самыхъ многозначительныхъ статей его:

...Мы можемъ съ чистою совѣстью сказать: мы—интеллигентія, потому что мы многое знаемъ, обо многомъ размышиляли, по профессії занимаемся наукой, искусствомъ, публицистикой: слѣпымъ историческимъ процессомъ мы оторваны отъ народа, мы—чужие ему, какъ и всѣ такъ называемые цивилизованные люди, но мы не враги его, ибо сердце и разумъ нашъ съ нимъ... Русской интеллигентіи стыдно и должно быть стыдно идти ногу въ ногу съ буржуазіей, потому что ей, этой интеллигентіи, извѣстно то, что не было въ свое время извѣстно европейской... Мы не можемъ призвать къ себѣ буржуазію не то что съ энтузіазмомъ, а даже просто безъ угрозеній совѣсти, ибо знаемъ, что торжество ея равносильно отобранію у народа его хозяйственной самостоятельности... Въ противность той дружбѣ интересовъ, какая существовала одно время въ Европѣ между интеллигентіей и буржуазіей, наша интеллигентія съ буржуазіей дружить не можетъ. Но можетъ ли въ свою очередь *наша* буржуазія дружить съ интеллигентіей? Тоже нѣтъ. Интеллигентіи, по самой ея сущности, нужна свобода мысли и слова... А между тѣмъ буржуазія нашей совершенно не нужны ни эти прекрасныя вещи, ни сопредѣльные съ ними... Нашъ капитализмъ въ настоящую минуту нуждается не въ свободѣ, а напротивъ, въ привилегіи, покровительствѣ, регламентациі, правительственныйхъ гарантіяхъ, субсидіяхъ. А, не нуждаясь въ свободѣ вообще, онъ всего менѣе нуждается въ свободѣ мысли и слова *).

Возвращаясь еще разъ къ жгучему вопросу тогдашней дѣятельности, Н. К. Михайловскій ставитъ такъ дилемму внутренней „политики“:

Русская интеллигентія и русская буржуазія не одно и то же и до извѣстной степени даже враждебны и должны быть враждебны другъ другу; предоставьте русской интеллигентіи свободу слова и мысли—и, можетъ быть, русская буржуазія не съѣсть русскаго народа; наложите на уста интеллигентіи печать молчанія—и народъ будетъ навѣрное съѣденъ **)...

Читатель схватитъ сейчасъ же центръ аргументаціи этихъ по необходимости отрывочныхъ мыслей, заключенныхъ въ отрывочныхъ цитатахъ, если не упустить изъ вниманія, что, въ сущности, подъ интеллигентіей здѣсь разумѣется не группа ученыхъ мандариновъ, измѣряющихъ свою умственность количествомъ полученныхъ дипломовъ, и даже не просто такъ называемые культурные люди, могущіе членораздѣльно выражать аппетиты различныхъ привилегированныхъ классовъ, но то, все ростущее по мѣрѣ прогресса, ядро служителей убѣжденія, значеніе котораго постоянно увеличивается среди современного общества. Въ тотъ моментъ, когда Михайловскій писалъ упомянутыя строки, этимъ ядромъ являлся авангардъ русской прогрессивной арміи, прочно

*). Т. V, стр. 538—544, passim („Записки современника“ отъ декабря 1881 г.).

**). Ibid., стр. 566 (январь 1882 г.).

объединившій въ своемъ міровоззрѣніи народную „экономику“ и общерусскую „политику“...

И потянулись надъ русскимъ обществомъ сѣрые, нескончающие дни провязанія, дни

Безъ божества, безъ вдохновенія,
Безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви...

Приходилось вооружиться героизмомъ терпѣнія и, когда болотные огоньки мнимо-народной политики завели цятившуюся назадъ страну въ трясину возобновлявшагося крѣпостничества, вести скучную, но необходимую борьбу за каждый маленький клочокъ остававшейся еще подъ ногами твердой почвы, отставать по самомалѣйшему поводу интересы мысли и развитія, снова и снова возвращаться къ запамятованнымъ рѣшеніямъ общественныхъ задачъ, снова и снова повторять „забытыя слова“. Такова была въ 80-хъ годахъ роль Н. К. Михайловскаго, которому пришлось перенѣтить тяжелую палицу на простую азбучную указку и повторять зады короткопамятнымъ ученикамъ. Послѣ одной изъ попытокъ практическаго напоминанія „забытыхъ словъ“—на этотъ разъ „совѣсти“ и „чести“,—публицистъ-гражданинъ превращается въ „Посторонняго“, письма котораго свидѣтельствуютъ, не смотря на забавно контрастирующій съ ними характеръ литературнаго искевдонаима, о живѣйшемъ, о кровномъ интересѣ писавшаго ко всѣмъ задачамъ тогдашней современности.

Обычная чуткость и обычная дальновидность Михайловскаго ставятъ порою и на этотъ разъ его взгляды не то что въ прямое противорѣчіе, а въ самостоятельную позицію по отношенію къ господствующимъ возврѣніямъ передовой интеллигенціи. Я разумѣю хотя бы очень интересную оцѣнку Михайловскимъ выводовъ, заключенныхъ въ известной книгѣ г. В. В. Большинство изъ нась слишкомъ безусловно принимало всѣ заключенія этого умнаго, но односторонняго писателя. Дѣйствительно, автору „Судебъ капитализма въ Россії“ принадлежитъ честь чуть ли не наиболѣе самостоятельной попытки рѣшить вопросъ объ экономической будущности Россіи, исходя изъ анализа экономическихъ же условій ея. Но иронія исторіи было угодно, чтобы въ тотъ самый моментъ, когда его взгляды пользовались среди нась наибольшою популярностью, факты и цифры, заключенные въ его книгѣ и послѣдующихъ статьяхъ и по необходимости передававшіе положеніе вещей, бывшее нѣсколько лѣтъ назадъ, стали отставать отъ дѣйствительности, которая именно въ эту пору начала обнаруживать, наконецъ, могущественное вліяніе „политики“ на „экономику“. Субсидіи и гарантіи произвели, наконецъ, свое дѣйствіе; и тепличное растеніе капитализма, поливаемое въ оградѣ покровителемъ

ственныхъ тарифовъ золотымъ дождемъ всяческихъ воспособленій, отнынѣ могло быть пересажено на болѣе или менѣе вольный воздухъ, подъ болѣе или менѣе открытое небо и здѣсь расцвѣсти и войти въ силу, хотя бы лишь въ извѣстныхъ отрасляхъ промышленности.

Какъ бы то ни было, забывая именно тѣсное взаимодействіе между политикой и экономикой и могущественное вліяніе первой на вторую въ эту эпоху, мы черезчуръ вѣрили въ невозможность развитія русского капитализма. Но посмотрите, какія ограниченія уже въ первой половинѣ 80-хъ годовъ виосиль Михайловскій въ эту абсолютную теорію и съ какимъ мастерствомъ онъ изъ самыхъ выводовъ г. В. В. извлекалъ дополняющія ихъ возраженія. Я не могу, къ сожалѣнію, входить въ подробности и отсылаю читателя къ самой статьѣ Михайловскаго, изъ которой я позволю себѣ сдѣлать лишь слѣдующія, по необходимости отрывочныя выдержки:

...Вотъ, значитъ, въ чемъ дѣло. У насъ, значитъ, возможно въ обширныхъ размѣрахъ и уже практикуется: во-первыхъ, отлученіе производителей отъ силъ природы и орудій производства, каковое отлученіе есть неизбѣжный спутникъ и даже фундаментъ капиталистического строя; возможно то, что сейчасъ казалось невозможнымъ—законченныя формы капитализма; только онъ безсильны охватить все производство страны. Этого онъ не могутъ. Ну, а въ Европѣ могутъ? До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, тоже не могли.. Для истиннаго пониманія его (г. В. В.) оригинальнаго тезиса о невозможности у насъ капиталистического строя, въ противоположность Европѣ, гдѣ онъ имѣть свой *raisons d'être*; для правильнаго пониманія этого тезиса надо имѣть съ виду, что капиталистический строй въ Европѣ не такъ ужъ господствуетъ, а у насъ не такъ ужъ отсутствуетъ, чтобы даже для отдаленнаго будущаго можно было противополагать наши экономические порядки европейскимъ. Безъ сомнѣнія, нашъ капитализмъ находится еще въ зачаточномъ состояніи, и въ данный историческій моментъ мы можемъ съ сравнительно большими удобствомъ выбирать caractères своей экономической политики. Но положеніе о невозможности, химеричности нашего капитализма надо понимать съ тѣми ограниченіями, которыя я сейчасъ заимствовалъ у самого г. В. В.: эта невозможность далеко не абсолютная, и, можетъ быть, даже не совсѣмъ правильно называть ее невозможностью *).

Послѣдующіе годы показали проницательность и дальновидность этихъ дополняющихъ и ограничивающихъ возраженій: именно въ то самое время, какъ шулера народничествующей демагогіи старались отводить глаза публики криками и изліяніями нѣжныхъ чувствъ къ народу, къ нему, добромъ, вѣрному, любимому и въ свою очередь „любящему“, наподобіе карасей, быть подаваемымъ на столъ господамъ подъ соусомъ изъ сметаны,—именно въ это самое время практиковалась система самого послѣдовательнаго водворенія капитализма. Интересы фабрикантовъ и заводчиковъ становились центромъ національнаго производства. Все выше и выше подни-

*). Т. V, стр. 781—782 (июль 1883 г.).

мались стѣны охранительныхъ, „раціональныхъ“—о, иронія на-
званія!—тарифовъ. Изъ „зачаточнаго состоянія“ капиталъ быстро
переходилъ въ состояніе жизнеспособнаго, жаднаго, прожорли-
ваго чудовища, которое и вдѣсь, и тамъ впustilo свои цѣпкіе
присоски въ тѣло труда и принялось его „организовать“ по-своему,
вознаграждая интенсивностью выкачиванія прибавочной стоимости
спорадичности этого процесса.

Но эти годы „здравой, бодрой и истинно-русской“ политики...
капиталисты были вмѣстѣ съ тѣмъ—и отчасти по тому самому—
годами отсутствія всякой настоящей политики, если разумѣть подъ
этимъ словомъ то, что разумѣлъ подъ нимъ старикъ Аристотель,
а именно—общеніе людей, имѣющее цѣлью удовлетвореніе кол-
лективной потребности „жить и хорошо жить“ (тѣ ҃ѹ хაї тѣ єў
ѣѹ). Общественная реакція, обнаруживая поразительную слабость
положительной мысли, занималась жалкимъ подогреваніемъ
остатковъ и отбросовъ крѣпостнической кухни. Съ количествен-
нымъ, а главное качественнымъ ослабленіемъ переводой интел-
лигентіи, мѣсто здоровыхъ соціальныхъ стремленій заняли болѣз-
ненные личные идеалы не связанныхъ ничѣмъ между собою людей,
уныло или комично-самоувѣренно бредшихъ куда попало. Рене-
гаты, измѣнившіе своему прошлому ради пироговъ, спокойной
жизни и дѣтишекъ, нуждавшихся въ молочишкахъ, не ограничива-
лись ролью Ивановъ, не помнящихъ родства, но еще требовали
себѣ почета, уваженія и прочихъ „вещественныхъ знаковъ неве-
щественныхъ отношеній“, требовали какъ разъ за это самое запа-
мятованіе и за каждый плевокъ въ своихъ бывшихъ, живыхъ и
мертвыхъ товарищахъ. Порядочные слабые люди и просто непо-
рядочная шушера занялись различными операциями „надъ собой,
о себѣ, въ себѣ“, какъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ Михайлов-
скій охарактеризовалъ дѣятельность Достоевскаго. Г. Минскій
хоронилъ „при свѣтѣ совѣтѣ“ свой недавно еще свѣжій, гуман-
ный и симпатичный талантъ и, въ потугахъ полуторавершковаго
титанизма, гримасничалъ и мэонилъ Богъ знаетъ что. Г. Волынскій,
стоя передъ зеркаломъ своего самомнѣнія, усердно трепаниро-
валъ собственную голову и безъ всякой жалости—къ читате-
лямъ—„обнажалъ“ тамъ „новыя мозговые линіи“ и „новыя ду-
шевныя складки“. Гг. Дистерло и Единицы—мели Емеля, твоя
„Недѣля“—взяли на себя подрядъ поставлять „новыя слова“.
Добросовѣтные, но измельчавшіе, выродившіеся „народники“
80-хъ годовъ приставали къ Михайловскому съ микроскопиче-
скими недоумѣніями и вопросиками, какъ же, наконецъ, имъ быть
„съ интересами“ и „мнѣніями“ народа. Гг. Ясинскіе, не доволь-
ствуясь своими беллетристическими лаврами, въ значительной мѣрѣ
подтибренными у французскихъ натуралистовъ, закладывали осно-
ваніе той претенціозной эстетической галиматѣй, которая должна
была расцвѣсти и принести свой плодъ въ 90-хъ годахъ...

И соловей
Ужъ пѣль въ безмолвіи ночей,—

ну, соловей, не соловей, а цѣлый хоръ поэтовъ и виршеплетовъ, пѣвшихъ, впрочемъ, хуже не только Щербины, но и обыкновенного соловья...

И на всю эту пустопорожнюю, самоувѣренную, лишенную настоящихъ идей и просто здраваго смысла дребедень долженъ быть критически откликаться Н. К. Михайловскій, пытаясь сохранить душу живу у своихъ читателей и довести ихъ людьми среди тяжелаго путешествія сквозь бурю и мракъ реакціонной ночи въ направленіи къ солнцу общечеловѣческаго идеала. И если невольная гордость охватываетъ душу единомышленниковъ Михайловскаго, когда они оглядываются на героическую кампанію, введенную имъ противъ могущественныхъ и безстыдныхъ враговъ съ конца 60-хъ и до половины 80-хъ годовъ, то горячая идеяная любовь къ публицисту-гражданину загорается въ сердцѣ этихъ людей, когда они ясно отдаютъ себѣ отчетъ, какую бездну терпѣнія и самоотверженной преданности правдѣ обнаружилъ Михайловскій во второй, трижды ненавистной половинѣ 80-хъ годовъ, когда крупная идеяная борьба должна была по необходимости размѣняться на рядъ безконечныхъ мелкихъ стычекъ, съ безчисленными мелкими, зачастую даже не вѣдающими что творять противниками.

Вотъ, ужъ можно сказать, было время, когда другой, даже менѣе крупный, но болѣе эгоистичный, чѣмъ Михайловскій, писатель ушелъ бы въ область чисто теоретического мышленія и виѣшней чисто литературной обработки своего міровоззрѣнія. Заманчива была эта задача и легокъ былъ этотъ трудъ: роль мыслителя ограничивалась лишь чисто формальнымъ сведеніемъ воедино его столь цѣльнаго и такъ давно выработанного въ общихъ чертахъ міросозерцанія. Въ эту никчемную пору Н. К. Михайловскій могъ бы, несомнѣнно, „ заново написать книгу“, о которой онъ говорить въ уже цитированномъ мною отвѣтѣ сердитому, но слабосильному критику; и лично его научная репутація ужасно выиграла бы. Говорю это, обращая вниманіе читателей на то обстоятельство, что очень многіе изъ насъ до сихъ поръ черезчуръ увлекаются виѣшнимъ, порою лишь голо формальнымъ и педантическимъ распределеніемъ элементовъ данной системы по томамъ, книгамъ, главамъ, параграфамъ, подпараграфамъ и разсыпающимся въ пыль микроскоическимъ рубрикамъ. Однако, и на этотъ разъ, Михайловскій устоялъ передъ эгоистическимъ искушеніемъ составить себѣ репутацію записного ученаго у многочисленныхъ, если не читателей, то писателей объемистыхъ и симметрично расчлененныхъ трудовъ. Дѣло въ томъ, что въ это время дѣйствительность подтверждала все болѣе и болѣе опасеніе, выраженное Михайловскимъ еще въ самомъ началѣ обще-

ственной реакціи: „вша зайстъ“ русскую жизнь. Вотъ противъ этой-то „вши“, этихъ-то „безконечно-малыхъ“, но опасныхъ своею многочисленностью враговъ общественного организма и направилъ свою уничтожающую и оздоровляющую дѣятельность Михайловскій. И эту печально-героическую, но необходимую роль надо не упускать ни на мигъ изъ вниманія, когда подводишь итоги этой полосы жизни писателя.

Лишь одинъ разъ за это время судьба ставитъ публициста-гражданина лицомъ къ лицу съ достойнымъ его противникомъ: я разумѣю блистательную атаку Михайловскаго противъ Л. Н. Толстого, который, благодаря самой силѣ, искренности и энергіи своей выходящей изъ ряда личности, явился выразителемъ, а въ значительной мѣрѣ и созидателемъ одной изъ опаснѣйшихъ формъ общественной реакціи. Смѣлость отрицательной критики Толстого, его оригинальный „аполитизмъ“, который заставляетъ иныхъ не-проницательныхъ анархистовъ на Западѣ считать его своимъ, его могучее стремленіе связать въ одно цѣлое сферу своей мысли и сферу своей личной жизни, слово и дѣло, ученіе и примѣръ,— все это мѣшало усталой, разочарованной, обессиленной русской интеллигенціи понять противообщественный характеръ проповѣди новаго апостола. Въ сущности, еще разъ дѣло общерусского и, если хотите, въ извѣстномъ смыслѣ общечеловѣческаго прогресса тормазилось перенесеніемъ центра тяжести съ соціальной почвы преобразованія условій на узко-индивидуальную почву личнаго усовершенствованія. Личность снова стала занимать непомѣрно большое мѣсто въ міровоззрѣнніи интеллигенції,—не та живая, активная, глубоко общественная личность, о которой говорилъ памъ Н. К. Михайловскій въ концѣ 70-хъ годовъ и которая потому только и „расѣивала вокругъ себя лучи Правды“ *), что предварительно концентрировала въ себѣ лучшія стремленія всего общества; но та пассивная, созерцательная, копающаяся въ себѣ, рассматривающая въ микроскопъ свои грѣхи и грѣшки личность, которая, словно паукъ, тянула изъ себя нескончаемую моральную нить-канителъ и думала на этой тонкой-претонкой нити вытащить пограшій въ сквернѣ міръ...

Снова операция „надъ собой, въ себѣ, о себѣ“ замѣняла воздействиѳ на вѣцѣю среду. Возрождалась новая писаревщина съ узко-личными задачами индивидуума и ближайшихъ единомышленниковъ-сектантовъ, и писаревщина съ тѣмъ усугубленіемъ, что мѣсто черезчуръ наивнаго восхищенія „наукою“ заняло еще болѣе наивное отрицаніе науки, а „борьба противъ авторитетовъ“ смѣнилась „непротивлениемъ злу“. Ахъ, это непротивлениѳ! Какою горькою ироніею надъ русскою жизнью была проповѣдь его, когда и безъ того тогдашняя интеллигенція не могла даже отвѣтить

*) Т. IV, стр. 460 (январь 1878 г.).

простыми рефлексами на дальнейшие удары судьбы! Какой манной небесной и лькарствомъ противъ внутренняго стыда была толстовщина для тѣхъ людей, у которыхъ „совѣсть“ такъ же не знала, куда дѣлась ея сестра—„честь“, какъ Кайнъ игнорировалъ судьбу брата Авеля! А вѣдь это были еще лучшіе люди! Что же сказать о большинствѣ другихъ?..

Въ это то тяжелое время философія и поэзія борьбы нашли яркое выраженіе въ пламенныхъ статьяхъ Михайловскаго противъ Толстого. Никому, какъ выражался самъ публицистъ-гражданинъ, никому онъ не уступалъ въ уваженіи къ талантамъ, къ геніальности Толстого. Онъ давно изучалъ эту могучую индивидуальность и внимательно слѣдилъ за различными переливами ея. Онъ защищалъ, между прочимъ, автора оригинальныхъ статей о народной педагогикѣ еще въ срединѣ 70-хъ годовъ противъ воинственного грома и блеска „мѣднаго таза либерализма“. Онъ цѣнилъ въ немъ первого, „великаго художника земли русской“ (выраженіе Тургенева). Но уже тогда онъ ясно видѣлъ и отмѣтилъ одновременное существованіе у Толстого „десницы“ и „шуйцы“, смѣлаго, безстрашного полета мысли, глядящей орлинымъ окомъ прямо на солнце Правды, и вдругъ наступающаго затѣмъ робкаго переминанья на мѣстѣ, чуть не ползанья передъ обычными формами культуры, и т. п. А когда эта „шуйца“ указала русскому обществу на фальшивый путь бесплоднаго морализированія и стала заводить интеллигентію все дальше и дальше въ пески и болота, Михайловскій всталъ во весь ростъ на защиту лучшихъ идеаловъ и здоровыхъ традицій, и изъ подъ пера его вылились, какъ лава, горячія строки. Помните эту глубоко правдивую и вмѣстѣ негодующую оценку психологіи Толстого:

Онъ такъ занятъ происходящимъ въ немъ самомъ душевнымъ процессомъ, такъ прислушивается къ шуму въ своихъ собственныхъ ушахъ, что вѣнчаніе предметы теряются для него свое самостоятельное, живое значеніе... Завидна участь гр. Толстого. Завидны это спокойствіе сердца, приставшаго къ странѣ, где рѣки въ кисельныхъ берегахъ молокомъ текутъ; эта чистота совѣсти передъ любовной и радостной дѣятельностью; эта ясность разума, который говоритъ: я все понялъ! Да, это завидно. Но мы, мятущіеся, мы, ищущіе, мы, не сумѣвшіе выскочить изъ водоворота жизни ни на кисельный берегъ молочной рѣки, ни на облака, вѣнчающія вершины Олимпа, мы не вѣримъ гр. Толстому! Онъ, конечно, говорить правду: онъ спокоенъ, счастливъ, онъ достигъ того душевнаго состоянія, которое даже не всѣмъ угодникамъ усвоиваются житія святыхъ. Но это только потому, что графъ прислушивается къ шуму въ собственныхъ ушахъ. Отверзи онъ ихъ на минуту для восприятія живыхъ вѣнчаныхъ впечатлѣній, и онъ долженъ ужаснуться того страннаго, противорѣчиваго положенія, въ которомъ онъ находится *).

Или хотя бы эта великолѣпная отповѣдь, брошенная въ лицо теоріи „непротивленія злу“:

*). Т. VI, стр. 369—370 (изъ „Дневника читателя“ отъ мая 1886 г.).

...Какая, однако, все это удивительная путаница! Какое возмутительное презрѣніе къ жизни, къ самыи элементарнымъ и неизбѣжнымъ движеніямъ человѣческой души! Какое холодное, резонерское отношеніе къ людскимъ чувствамъ и поступкамъ! И этому съ сочувствіемъ внимають, говорятъ, молодые люди, у которыхъ естественно „кровь кипитъ“ и „силь избытокъ... Я не понимаю этого. Это какое-то колоссальное недоразумѣніе, возможное только въ такія мрачныя, тусклыя времена, какія переживаемъ мы. Пусть ломятся къ вамъ въ домъ, пусть бьють отцовъ и дѣтей вашихъ,—такъ надо, убийцы спасаютъ вашихъ близкихъ и кровныхъ отъ вящихъ грѣховъ; но горе вамъ, если вы сами пальцемъ коснетесь убийцъ! Увы, гр. Толстой является въ этомъ случаѣ даже не учителемъ, онъ съ улицы поднялъ свое „ученіе“, ибо вся улица поступаетъ именно такъ, какъ желательно гр. Толстому. Но зачѣмъ же онъ иронизируетъ надъ „философіей духа“, „по которой выходило, что все, что существуетъ, то разумно, что нѣть ни зла, ни добра, и что бороться со зломъ человѣку не нужно“. Зачѣмъ издѣвается онъ надъ Спенсеромъ, который, въ другихъ только терминахъ, тоже требуетъ невмѣшательства и непротивленія злу и въ „Соціальной статистикѣ“ рекомендуетъ отнюдь не критиковать божій міръ, „съ точки зрѣнія своего кусочка мозга“, ибо, дескать, вы думаете поправить зло, а выходить еще хуже *).

И, можно сказать, Михайловскій ни на минуту не перестаетъ сгѣдить за литературно-общественной дѣятельностью Толстого, зорко взглядываясь въ малыйшія перипетіи ея, съ радостью останавливаясь на здоровыхъ проявленіяхъ художественного творчества этого геніального писателя, со скорбью констатируя противо-общественные подвиги его „шуйцы“, предостерегая читателей не увлекаться силою и переливами этой обаятельной, но порою увы! столь опасной для слабыхъ людей личности. Въ отрезвленіи русского общества отъ наркотического дѣйствія толстовщины одно изъ важнейшихъ мѣстъ принадлежитъ Михайловскому, который и въ 90-ые годы переноситъ свою проницательную и нелицеприятную критику Толстого, прибѣгая къ собственнымъ „литературнымъ воспоминаніямъ“, объясняющимъ нѣкоторыя стороны толстовскаго міровоззрѣнія, или же стараясь внести свѣтъ мысли и сознанія въ „современную смуту“. Я отсылаю читателя къ статьямъ, появившимся, въ числѣ прочихъ, въ двухъ томахъ „Литературныхъ воспоминаній и современной смуты“.

Придвигаясь къ изображенію литературной дѣятельности Михайловскаго за послѣднее десятилѣтіе, я испытываю немалое затрудненіе: мы все еще стоимъ въ потокѣ движущейся, дѣлающейся исторіи; у насъ нѣть еще окончательно пройденного твердаго пункта, стоя на которомъ, мы могли бы съ достаточнымъ для общаго взгляда удаленіемъ окинуть историческую перспективу послѣднихъ лѣтъ. Какъ же опѣнить руководящую дѣятельность человѣка, который плылъ вмѣстѣ съ нами въ общемъ историческомъ потокѣ и старался пока лишь ориентировать наше движеніе въ наиболѣе благопріятномъ для прогресса направлениі? Заднимъ числомъ оглядываясь уже на пройденный, отмѣченный неизгла-

*) Ibid., стр. 398 (статья отъ июня 1886 г.).

димыми вѣхами путь, мы могли съ достаточной точностью определить, взвѣсить общественные заслуги Михайловского въ концѣ 60-хъ годовъ, въ 70-хъ, на рубежѣ 70-хъ и 80-хъ, въ теченіе 80-хъ, въ первой половинѣ 90-хъ. Но что касается дальнѣйшаго времѣни, то можно ли съ такою же определенностью установить роль публициста-гражданина за послѣднее десятилѣтіе исторической жизни, когда мы лишь наканунѣ подведенія крупнѣйшихъ общественно-политическихъ итоговъ ея?

Я попытаюсь, однако, указать на двѣ три черты въ литературной дѣятельности Михайловского за этотъ періодъ времени, черты, которая свидѣтельствуютъ, что и тогда, какъ раньше, общественная роль этого писателя состоить въ обоснованіи и выясненіи стремленій лучшей части интеллигенціи. Такъ, рядомъ съ борьбою противъ толстовщины, противъ нанесенного изъ Западной Европы пустопорожняго декадентства иничшеанства, противъ Россійского не то изувѣрства, не то религіознаго паясничества гг. Розановыхъ и комп., противъ узкаго народничества г. В. В. и Юзова (совсѣмъ присмирѣвшаго въ послѣдніе годы своей жизни), Михайловскій вѣль борьбу противъ односторонностей русскаго марксизма. И по всѣмъ этимъ пунктамъ, насколько настоящее позволяетъ судить о будущемъ, публицистъ-гражданинъ съ честью и успѣхомъ отстоялъ интересы нормального общественнаго развитія.

Толстовщина отмираетъ, если не совсѣмъ умерла, и наиболѣе энергичные ученики Толстого самою логикою дѣйствительности толкаются съ пути непротивленія злу на путь противленія. Кому не извѣстны громкіе примѣры этого душевнаго превращенія именно въ самые послѣдніе годы? Ребяческая золотуха декадентства, обезобразившая одно время своею сыпью часть молодежи и перезрѣлыхъ юношей лѣтъ сорока пяти съ хвостикомъ, шелушится и исчезаетъ: гг. декадентовъ иничшеанцевъ, по собственному ихъ признанію, теперь человѣкъ семья въ pendant къ семи мудрецамъ Греціи; и что бы они тамъ ни бальмонировали, этого достаточно для образованія общества взаимнаго обожанія, но черезчуръ мало для общественно-литературного теченія. Религіозное паясничество школы г. Розанова, хотя и выражаетъ претензію держаться на неистребимомъ будто бы порывѣ духа купаться въ глубокомъ океанѣ замоскворѣцкой лампадки, на самомъ-то дѣлѣ держится на регламентахъ управы благочинія и исчезнетъ безповоротно, какъ только скромная „вѣтка Палестины“ перестанетъ играть передъ „символомъ святыхъ“ обидную для самихъ искренно вѣрующихъ роль властной лозы. Кстати сказать, самъ основатель школы теперь, нѣкогда „отказавшійся отъ наслѣдства 70-хъ годовъ“, отказался въ значительной степени и отъ наслѣдства катковцевъ, возвуждая даже въ нихъ обычную страсть къ доносительству—на сей разъ на нового „еретика“.

Такъ что розановщина или умираетъ и окончательно умретъ, или превратится въ вѣчто, совсѣмъ непохожее на взглѣды г. Розанова первой половины 90-хъ годовъ. Преувеличенія узкаго народничества тоже, кажется, навсегда отходять въ область исторіи; и вдунуть духъ жизни и активности въ эту полинялую и выдохшуюся формулу не способенъ, не смотря на свой оригинальный умъ, и самъ г. В. В., единствено крупный человѣкъ этого направленія, при томъ, повидимому, начинаяющій уходить все дальше отъ злополучныхъ идей „Нашихъ направлений“.

Что касается до марксизма, то онъ заслуживаетъ, чтобы на немъ остановиться нѣсколько дольше, и заслуживаетъ именно потому, что, не смотря на свои преувеличенія, явился единственнымъ здоровымъ общественнымъ теченіемъ среди перечисленныхъ нами выше элементовъ „современной смуты“.

Приступая къ изображенію роли Михайловскаго въ борьбѣ съ тѣмъ направленіемъ, которое рѣзко проинулось на русской почвѣ въ срединѣ 90-хъ годовъ подъ общимъ наименованіемъ „марксизма“, я долженъ сдѣлать надъ собою нѣкоторое усиленіе, чтобы отнести къ этой задачѣ, если не сть невозможнымъ для живого человѣка безпристрастіемъ, то, по крайней мѣрѣ, съ достаточной объективностью. Въ борьбѣ съ „русскими учениками“ Михайловскому принадлежало одно изъ самыхъ выдающихся мѣсть; но въ ней, этой борьбѣ, участвовали люди гораздо меньшаго значенія, зачастую простые рядовые той арміи, духовнымъ вождемъ которой былъ Михайловскій. Самъ пишущій эти строки счелъ нужнымъ, въ предѣлахъ своихъ силъ и пониманія, представить нѣсколько критическихъ замѣчаній на произведшую въ самой срединѣ 90-хъ годовъ большую сенсацію книгу г. Бельтова (см. мой этюдъ „На высотахъ объективной истины“, въ майской книжкѣ „Русскаго Богатства“ за 1895 г.). А двумя годами позже, въ самомъ концѣ 1897 г., авторъ же настоящей статьи повторилъ критическую попытку коснуться марксизма вообще, придравшись къ нѣкоторымъ литературнымъ явленіямъ французскаго марксизма. Эта моя статья предназначалась также для „Русскаго Богатства“. И такъ какъ къ тому времени „Новое Слово“ было закрыто, то Михайловскій направилъ мое письмо изъ Франціи: „О марксизѣ вообще по поводу французскаго марксизма въ частности“) въ корректурѣ г. Струве съ предложеніемъ отвѣтить на него на столбцахъ же „Русскаго Богатства“.

Не могу ясно представить себѣ, по какимъ мотивамъ г. Струве,— какъ мы писалъ о томъ Михайловскій,— отказался отъ этого предложенія, дававшаго ему возможность противоставить моему тезису свой антитезисъ въ органѣ честнаго идеяного противника, который для этого специального вопроса открывалъ ему двери своего дома, въ то время, какъ капризный Аллахъ разрушалъ

до основания идейный очагъ г. Струве и его единомышленниковъ...

Я упомянулъ объ этомъ эпизодѣ изъ исторіи нашей идейной борьбы, во-первыхъ, потому, что онъ рисуетъ намъ Михайловскаго послѣдовательнымъ защитникомъ свободы печати, который не на словахъ только, а на дѣлѣ вѣрить въ великое значеніе откровенной борьбы мнѣній и, не смотря на цѣльность своего міровоззрѣнія, соглашается въ извѣстныхъ случаяхъ сдѣлать изъ своего органа свободную трибуну, лишь бы не была удушена грубой силой мысль противника. Во-вторыхъ, я счелъ нужнымъ совершить это небольшое отступленіе въ сферу личныхъ воспоминаній вовсе не затѣмъ, чтобы занимать своей персоной публику, когда дѣло идетъ о такомъ первоклассномъ писателѣ, какимъ былъ Михайловскій, но съ цѣлью напомнить читателю, что оговорки, которымъ мнѣ придется сдѣлать сейчасъ по поводу полемики Михайловскаго противъ русскихъ марксистовъ, цѣликомъ касаются и всѣхъ нась, его учениковъ или его идейныхъ товарищей. Пищацій эти строки, напримѣръ, желая указать на нѣкоторые пробѣлы или даже, пожалуй, на нѣкоторая чисто тактическія ошибки, допущенные Михайловскимъ въ его борьбѣ съ отечественнымъ марксизмомъ, не только не думаетъ выгораживать себя самого отъ критики, основанной на такихъ соображеніяхъ, но готовъ признать себя сугубо виноватымъ въ этой ошибочной тактикѣ по отношенію къ противникамъ. Только откровеннымъ признаніемъ нѣкоторыхъ тактическихъ заблужденій въ прошломъ,—читатель сейчасъ увидитъ, какихъ — авторъ предлагаемаго этюда можетъ найти въ себѣ достаточно свободы мысли, чтобы оцѣнить ту сторону литературной дѣятельности знаменитаго писателя публициста, о которой теперь пойдетъ рѣчь и большая часть которой выражается въ статьяхъ, перепечатанныхъ, вмѣстѣ съ другими этюдами 1895—1898 г., въ двухъ томахъ недавно вышедшихъ „Откликовъ“.

Общая ошибка Михайловскаго и его идейныхъ друзей и учениковъ заключалась, по моему личному глубокому убѣжденію, въ томъ, что наше направленіе недостаточно серьезно отнеслось къ марксизму, какъ къ новой соціологической гипотезѣ; и, раздраженное доходящими до странностей преувеличеніями „русскихъ учениковъ“, вступило въ борьбу почти исключительно съ этими странностями, ведшими въ общественно-политическомъ отношеніи, дѣйствительно, къ заключеніямъ, отъ которыхъ должны были рано или поздно отшатнуться наиболѣе здоровые элементы марксизма. Этотъ процессъ очищенія марксистскаго міровоззрѣнія отъ шланковъ и изгари, внесенныхъ въ него большинствомъ совершенно несамостоятельныхъ учениковъ, еще далеко не кончился. Но онъ уже во второй половинѣ 90-хъ годовъ произвелъ ту разслойку струй внутри этого идейнаго теченія, которая превратила лагерь марк-

систовъ въ раздираемый несогласіями лагерь короля Аграманта. И какую искреннюю жалость приходится испытывать заднимъ числомъ, что неподражаемый философъ - публицистъ, который въ лицѣ Михайловскаго господствовалъ въ русской литературѣ не одинъ десятокъ лѣтъ, не пожелалъ сыграть въ разрѣшеніи идеяного кризиса послѣднаго времени всей приличествующей ему роли! О марксизмѣ и противъ марксизма этотъ умнѣйшій человѣкъ преобразованной Россіи писалъ или слишкомъ много, или слишкомъ мало. Слишкомъ много, если вспомнить тѣ полемическія статьи, въ которыхъ онъ безжалостно высмеивалъ явныя несобразности и преувеличенія „русскихъ учениковъ“, ибо одни странности идеяного увлеченія взаимно покрывались и нейтрализовались другими странностями, выходившими изъ того же лагеря, и драгоценный полемический талантъ тратился нерѣдко по межочамъ. Слишкомъ мало, если сообразить, что Михайловскій ни разу не пожелалъ вплотную приложить свою рѣдкую силу критического анализа къ здоровому ядру марксовскаго ученія, ибо тогда оказалось бы, что суть этой доктрины не такъ далека, какъ то могло представляться въ пылу полемики, отъ центрального пункта соціологическаго міросозерцанія автора „Что такое прогрессъ“ и „Борьба за индивидуальность“.

Въ самомъ дѣлѣ, если въ чёмъ нужно искать основного ядра ученія Маркса, такъ это въ преобладающемъ значеніи развитія производительныхъ силъ общества, т. е. соціальной технологіи, для психической эволюціи людей, т. е. ихъ колективной психологіи, на которой опираются или, лучше сказать, частными выраженіями которой являются соціально-экономическая, правовая, политическая, религіозная, философская, эстетическая представленія членовъ данного общежитія. Но спрашивается, такъ ли далеко отъ этого основного пункта марксизма отстоять существенные идеи того мыслителя, который,—какъ въ порывѣ временной справедливости признавали вногда сами „русскіе ученики“,—объяснялъ характеръ мировоззрѣнія данного общества характеромъ господствующей въ немъ формы „кооперациі“; который центральнымъ элементомъ человѣческой личности считаетъ „трудъ“ и который, въ частности, устанавливаетъ зависимость между субъективными взглядами известнаго человѣка и его „принадлежностью къ соціальной группѣ“?

Кстати сказать, этотъ вопросъ такъ сильно тревожилъ меня, что совсѣмъ незадолго до смерти Михайловскаго я обратился къ нему за разъясненіемъ, не считаетъ ли онъ возможнымъ установить свою, столь всѣмъ известную, но вызвавшую столько недоразумѣй и неумныхъ возраженій „формулу прогресса“ на основѣ ученія о значеніи постоянно развивающейся человѣческой технологіи. Ибо, продолжалъ я, лишь высоко развитый машинный способъ производства передложитъ бремя раздѣленія труда съ че-

ловѣка на искусственные органы его, „проектирующіеся во вѣнчанемъ мірѣ“, т. е. на орудія и инструменты труда, и дасть возможность человѣку синтетически работать, переходя при помощи усовершенствованныхъ машинъ ко всевозможнымъ занятіямъ и оставаясь цѣльнымъ существомъ, упражняющимъ наибольшее число своихъ физическихъ и умственныхъ способностей. Тогда какъ общество, взятое въ его цѣломъ, будетъ наиболѣе однородно, такъ какъ будетъ слагаться изъ индивидуумовъ, отличающихся общимъ гармоничнымъ развитіемъ мускульной и нервно-мозговой системы. Въ отвѣтъ я получилъ письмо отъ Михайловскаго,—увы! послѣднее, которое было мнѣ написано имъ,—и въ немъ заключались, между прочимъ, слѣдующія многозначительныя строки: „вполнѣ согласенъ съ вашимъ мнѣніемъ. Обѣими руками подпи-
сываюсь подъ вашимъ истолкованіемъ“. На это письмо я смотрю, какъ на завѣщаніе Михайловскаго, какъ на задачу, которую мнѣ указывалъ славный русскій мыслитель. И такому оближенію точки зрѣнія Михайловскаго и центральнаго пункта марксистской доктрины будуть отчасти посвящены уже довольно давно задуманные мною „Соціологические очерки“. Но я счелъ долгомъ еще ранѣе выполненія своего плана упомянуть объ этомъ письмѣ. Ибо оно показывало, что, примишь Михайловскій за обстоятельную критику ученія Маркса, отвлекись онъ отъ полемики съ „ру-
скими учениками“, или удѣли онъ ей въ вопросѣ лишь совер-
шенно подчиненное значеніе, и сама мощь его ума была бы по-
рукой, что онъ окажеть существенную помощь нашей интели-
генціи въ выработкѣ міровоззрѣнія, выщелушивъ здоровое зерно
изъ хаотической оболочки русскаго марксизма и устранивъ тѣмъ
самымъ самую возможность возникновенія тѣхъ странностей, ко-
торыя пропагандировались адептами доктрины на русской почвѣ
въ пору наиболѣшаго увлеченія ею...

Сдѣлавъ эту оговорку, касающуюся Михайловскаго скорѣе, какъ философа и соціолога, я перехожу къ его гражданско-публи-
цистической дѣятельности въ эпоху не-критического господства марксизма въ Россіи. Разъ мы допустили, что, въ силу тѣхъ или
иныхъ условій момента, напр., излишняго догматизма и запаль-
чивой односторонности „учениковъ“, Михайловскій уклонился отъ
оценки по существу самой доктрины и вступилъ въ борьбу съ ея
русскими проповѣдниками и комментаторами, то придется при-
знать, что эту задачу онъ выполнилъ съ своею обычною силой
и успѣшностью. Перечитайте, дѣйствительно, статьи Михайлов-
скаго, направленные противъ нашего марксизма, и вы убѣдитесь,
что въ нихъ отмѣчены тѣ самые болѣныя мѣста этого направле-
нія, отъ которыхъ оно все болѣе и болѣе отдѣляется,—но да-
леко еще не окончательно отдѣлялось,—путемъ разслойки, вну-
тренняго броженія, а нѣкоторые говорятъ, прямого „разложенія“. „Разложеніе марксизма“—таково, дѣйствительно, название одной

изъ статей послѣдней книжки „Нового пути“, выходящаго подъ новой редакціей, въ которой играютъ выдающуюся роль такіе ех-эпигоны марксизма, какъ гг. Булгаковъ, Бердяевъ и К°...

Такъ Михайловскій полемизировалъ противъ иенаучнаго объясненія всѣхъ жизненныхъ явленій „экономическимъ факторомъ“, въ особенности если разумѣть подъ послѣднімъ такъ называемый вопросъ желудка. И уже тогда же изъ среды русскихъ учениковъ раздались рѣзкія обличенія этой теоріи „факторовъ“, и была сдѣлана попытка рассматривать общественный организмъ, какъ цѣлое, но, къ сожалѣнію, попытка на словахъ. Ибо возставшіе противъ выдѣленія „факторовъ“, послѣ нѣсколькихъ словесныхъ кунстштиковъ, успокаивались все на той же экономикѣ, только растворяя всѣ общественные явленія въ ея „діалектическому“ потокѣ. А нынѣ не только русскіе, но и заграницые марксисты различными оговорками, допущеніями и истолкованіями такъ распространили первоначальный смыслъ ученія, что эта доктрина поистинѣ превратилась въ теорію „всего во всемъ“.

Эти столкновенія между „экономическимъ материализмомъ“ и „діалектическимъ материализмомъ“ вызываютъ въ памяти другую антимарксистскую кампанію Михайловскаго, а именно по поводу развитія всѣхъ явленій жизни и мысли гегельянскимъ методомъ противорѣчій.

Михайловскій съ блестательнымъ остроуміемъ показалъ, что пресловутое діалектическое развитіе есть лишь пустая формула, *façon de parler*, пріемъ изложенія; и что оно, какъ объективный законъ дѣйствительности, не существуетъ, а какъ чисто логическій способъ мышленія вовсе не связано необходимо съ теоріей Маркса. Современное состояніе марксизма показываетъ, въ какой степени это было вѣрно. И, не говоря уже о нашихъ прямыхъ нео-метафизикахъ, вылупившихся изъ русскаго марксизма, даже „правовѣрные“ ученики приѣзживаются нынѣ ко всевозможнымъ философскимъ системамъ, и въ частности „эмпиріо-критицизмъ“ Авенариуса начинается, повидимому, братъ рѣшительный перевѣсь надъ гегельянской діалектикой, хотя и „переставленной съ ногъ на голову“.

Но насы ждутъ такіе вопросы, гдѣ общее міровоззрѣніе тѣсно связывается съ жгучими злобами дня, и гдѣ Михайловскій своей полемикой противъ странностей русскаго марксизма сыгралъ въ высокой степени оздоровляющую роль. Вы помните, съ какой помпой марксисты 90-хъ годовъ провозглашали незыблѣмость положенія „политика слѣдуетъ за экономикой“, „намъ всего важнѣе объективное, фатальное, стихійное развитіе массъ“; съ какой рѣзкостью они возвставали противъ значенія „личности“ и организаціи личностей; какъ высокомѣрно они третировали „сознаніе“, третировали „интелигенцію“, заколачивая ее, словно тяжко преступнаго каторжника, въ кандалы язвительныхъ кавычекъ. По всѣмъ этимъ

вопросамъ Михайловскій велъ безпощадную полемику противъ „русскихъ учениковъ“. И онъ могъ еще при жизни наблюдать, съ какой энергией наиболѣе активные марксисты стали отказываться отъ прежнихъ странностей, въ особенности, когда они увидѣли воочію, къ чemu ведутъ на практикѣ эти мнимыя „новыя слова“, и когда передъ ними стала дѣйствительно грозный вопросъ „что дѣлать?“

„Экономизмъ“ въ связи съ постепеновской „теоріей стадій“ подверглись жесточайшему нападенію активныхъ марксистовъ, которые объявились теперь ревностными политиками. Въ „приниженіи инициативы и энергіи сознательныхъ дѣятелей“ было усомѣтено не практическое заключеніе изъ прежней претенціозной фразы „въ соціологии личность ничто“, но — „клевета на марксизмъ“, злостная карикатура, сочиненная на марксистовъ „народниками“. Организація личностей, и не просто организація, а „могучая, концентрирующая въ своихъ рукахъ всѣ инициативы“ организація ставилась нынѣ основной жизненной задачей активныхъ личностей. Реабилитирована была и закованная дотолѣ въ кандалы кавычекъ интеллигенція, которая была не только освобождена отъ такого *duri carceris*, не только освобождена отъ суда и слѣдствія, но и признана невинною въ взводившихся на нее „субъективныхъ“ преступленіяхъ, мало того, въстановлена въ своихъ прежнихъ правахъ и даже удостоилась настоящаго триумфа. Ибо, при пособіи кстати вспомянутыхъ разсужденій Каутскаго насчетъ того, что „соціалистическое сознаніе есть нечто извнѣ внесенное въ классовую борьбу пролетаріата, а не нечто первоначально изъ нея выросшее“; и что это нечто есть результатъ „науки“, которая „возникла въ головахъ отдельныхъ членовъ буржуазной интеллигенціи“, а только затѣмъ уже могла быть „сообщена выдающимся по умственному развитію пролетаріямъ“ — при пособіи, говорю, такихъ „ортодоксальныхъ“ мыслей Каутскаго, на русскую интеллигенцію была возложена миссія совлечь трудящіяся массы съ пути стихійной экономической борьбы на путь сознательной политической дѣятельности. Правда, противъ этихъ ортодоксальныхъ марксистовъ выступили еще болѣе ортодоксальные марксисты; и въ результатѣ борьбы этихъ друго-вражескихъ элементовъ, носящихъ почти клиническія названія „твѣрдыхъ“ и „мягкихъ“, обнаружилась снова вѣкоторая реакція противъ „организацій“ въ пользу „стихійности“ и противъ „интеллигенціи“ въ пользу „массъ“. Но можно надѣяться, что односторонности и преувеличенія русского марксизма 90-хъ годовъ, противъ которыхъ была направлена полемика Михайловскаго, въ общемъ перешли въ область исторіи, и что здоровая общественная дѣятельность произведеть тотъ необходимый синтезъ активныхъ фракцій не только право-вѣрно-марксистскаго, но и соціально-дѣйственнаго направленія,

который составлялъ идеалъ великаго публициста-гражданина во все время его литературной дѣятельности.

Надъ свѣжей могилой Михайловскаго раздалось годъ тому назадъ изъ рядовъ марксистовъ нѣсколько искреннихъ оценокъ крупнѣйшаго писателя. И партійная страсть все меныше и меныше рѣшается отрицать общественную роль славнаго борца за идею.

Въ одинъ изъ наиболѣе тяжелыхъ моментовъ реакціи, наканунѣ общественнаго пробужденія на рубежѣ ХХ-го столѣтія, у Михайловскаго вырвалось въ одномъ изъ писемъ ко мнѣ горькое воскликаніе: старое старится, молодое не растетъ! Съ тѣхъ поръ дѣло пошло иначе. И, доживи великій русскій человѣкъ до нашего времени, онъ увидѣлъ бы, какъ гниеть и рушится все старое, и какъ молодая жизнь бѣть повсюду неудержимымъ ключемъ. Михайловскій, какъ Моисей, умеръ у порога обѣтованной земли. Вдохновленные благороднымъ образомъ нашего вожда, мы вступаемъ въ нее, не боясь предстоящихъ битвъ съ филистимлянами и твердо вѣруя, что побѣда наша... Слава же тому, кто сорокъ лѣтъ вѣль русскую общественность по пустынѣ и не зналъ ни колебаній, ни отступленій отъ свѣтившаго ему идеала. Слава—и яичная память въ сердцахъ всѣхъ истинно свободныхъ людей...

Н. Е. Кудринъ.

АЛИКАЕВЪ КАМЕНЬ.

Разсказъ.

I.

Солнце садилось за горы. Послѣдніе багряные лучи его медленно угасали на крестъ виднѣвшейся изъ-за лѣса колокольни. Надъ прудомъ поднимался тонкій и прозрачный, какъ дымка, туманъ. Лучи потемнѣли. Сосновый боръ, не задолго передъ тѣмъ сверкавшій яркими красками, потухъ, потускнѣлъ, стала какъ будто меныше и ниже, казался нахмуреннымъ и печальнымъ.

Павелъ Петровичъ Агатовъ, отставной заводскій лѣсничій и мѣстный историкъ, собиратель старинныхъ грамотъ и рукописей, сидѣлъ за письменнымъ столомъ на своей „займкѣ“ и透过 раскрытое окно наблюдалъ, какъ постепенно мѣнялись краски въ саду, и все тускнѣло кругомъ. Съ дальнаго конца сада доносились веселые дѣтскіе голоса. Со двора слышалось мелодическое треньканье балалайки. Изъ-за цвѣточной клумбы виднѣлась красивая русая головка,—это взрослая племянница Павла Петровича, Катя, дочь его по-койной сестры, лежа въ травѣ, читала книгу.

Агатовъ только что окончилъ докладную записку о нуждахъ уральской горной промышленности, составленную имъ по порученію управляющаго Бардымскими заводами Конюхова, и, чрезвычайно довольный своей работой, улыбался и весело потиралъ руки.

„Тонко подведено“, размыщлялъ онъ, вглядываясь въ прозовѣвшее небо: „стройно, логично,—комаръ носа не подточить... Историческое освѣщеніе даетъ широту, перспективу... И анекдоты-то кстати пришли... Концы съ концами сведены, одно само собой вытекаетъ изъ другого... И тонъ благородный... благородный, благородный тонъ... Да-съ, старики Агатовъ еще постоитъ за себя, не совсѣмъ еще вышелъ вътиражъ погашенія... Въ немъ заискиваютъ, да-съ... самъ-

управляющій прѣзжалъ—это что нибудь значить!.. Самолично просилъ, даже выражалъ комплименты: „у васъ, говорить, имя, опытность, знаніе мѣстныхъ условій и литературный на-выкъ“... Вотъ какы!.. а то фу-ты, ну-ты! полное невниманіе, точно передъ пустымъ мѣстомъ... мертвый, де, отжившій че-ловѣкъ... Ха, ха! а на повѣрку выходитъ, что еще живъ ку-рилка... Да-съ!“...

— Катя!—закричалъ онъ въ окно:— Конецъ и Богу слава! Поставилъ послѣднюю точку.

Катя подняла голову, обнаруживъ тонкое, красивое лицо съ большими черными глазами.

— Не хочешь ли, прочту, а?

— Нѣть,—отвѣчала Катя, съ дѣтской супровостью сдвигая брови:— я не одобряю вашихъ намѣреній, поэтому и слушать не хочу.

— Ну, ну!.. еще бы!.. Вѣдь вы—народники, или какъ васъ тамъ... Матушка моя! я самъ за народъ, только съ другой точки зрѣнія... Вы-то ужъ Богъ знаетъ куда заноситесь.. неосуществимо-сь.

— То есть, кто мы?

— Ну, вообще, современная молодежь... народники тамъ и прочее...

— Вы ошибаетесь, дядя: мы не народники.

— Господь васъ разберетъ!.. Если хочешь, душа моя, я тоже народникъ и даже сортомъ повыше... Изъ народа вы-шелъ, изъ крѣпостныхъ! и знаю, что ему нужно... А нужна ему прежде всего хорошая палка, ежевыя рукавицы... вотъ!.. Повѣрь, что онъ самъ это отлично понимаетъ,—поговори-ка съ нимъ!.. и жаждетъ палки, которую отъ него отняли, жаждетъ!.. Такъ то, мать, моя.

— Перестаньте, дядя!.. Хоть вы и шутите, а всетаки не-пріятно... А ужъ эта записка ваша... я не знаю... не могу понять, не могу вообразить...

— Чего, собственно, душа моя?

— Какъ могли вы на себя такое порученіе, и при томъ добровольно, изъ любви къ искусству!.. Эдакую.. извините... я не знаю... эдакую подлость!..

— Милая моя, я старый человѣкъ.

— Что жъ, дядя... я серьезно говорю. Сочинить завѣдомо фальшивую, облыжную записку! И для кого? Для заводовла-дѣльцевъ! Для чего? Чтобы обездолить и безъ того обездоленныхъ! Чтобы выудить изъ казны въ пользу хищничества еще нѣсколько миллионныхъ подачекъ!.. И вѣдь все это изъ народныхъ средствъ—не забывайте!..

— Вздоръ, вздоръ!.. вздоръ городишь!.. Экъ тебя подмы-ваешь!..

— Нѣть, не вздоръ. И безъ тебя все къ ихъ услугамъ, сверху до низу... А кто мужикамъ записку напишеть? Ахъ, дядя, дядя! вотъ если бы ты помогъ мужикамъ!..

— Матушка моя! я старый служака, я тридцать пять лѣтъ его сіятельству прослужилъ, понимаешь ты это или нѣть? Отъ него жить пошелъ,—какъ же мнѣ идти противъ его сіятельства?.. Вздоръ, вздоръ!.. да и вообще вздоръ!.. Ты не понимаешь главнаго, не понимаешь того, что заводы и населеніе—одна душа и одно тѣло, что они связаны общими интересами... Да-съ, вотъ чего ты не хочешь понять, потому что у вѣсъ умъ за разумъ зашелъ... Вы смотрите на журавля въ небѣ и не видите синицы въ рукахъ, а журавль то еще Богъ его знаетъ... въ облакахъ онъ, душа моя, въ облакахъ... въ томъ-то и дѣло-съ...

— Это какая же синица?

— А такая! И диви бы только вы, лоботрясы, но вѣдь и мастеровые такое-же дурачье!.. Подкапываются подъ заводы, рубятъ тотъ сукъ, на которомъ сами сидятъ! Что можетъ быть глупѣе этого?.. Хоть лобъ разбей—не понимаю!.. И ничему не вѣрятъ! ничего не хотятъ знать!..

— Еще бы, когда ихъ цѣлые десятки лѣтъ обманывали!.. Они не вѣрятъ, потому что вы все лжете...

— Экъ тебя разбираешь!.. Перекрестись, мать моя... о чѣмъ ты?..

— Да, лжете направо и налево... И вы, дядя, лгали и лжете... да, вы, вы... развѣ это неправда?

— Нѣть-съ, неправда. Комбинировать факты, давать имъ то или иное освѣщеніе—развѣ это ложь?

— Но для чего? Чтобы скрыть истину, запрятать ее по дальше, напустить туману, ввести въ заблужденіе?

— Мать моя! что есть истина? какая? гдѣ она? для кого? для чего?.. Хе, хе!.. мы знаемъ только человѣческія заблужденія и человѣческіе аппетиты... Истина! она всегда имѣеть двѣ стороны...

— Если такъ, то о чѣмъ же намъ говорить? Не о чѣмъ.

— А я и не навязываюсь, душа моя, какъ тебѣ угодно... Мнѣ, видишь ли, не вѣдь чѣмъ оправдываться...

— Однако, вы сами начали разговоръ.

— Я предложилъ только прочесть записку — больше ничего.

— А я отвѣтила, что не желаю.

Катя сердито уткнулась въ книгу. Агатовъ, слегка на- дувшись, умолкъ, собралъ свои бумаги, исписанныя мелкимъ бисернымъ почеркомъ, и вышелъ на террасу.

— Къ намъ кто-то Ѳдетъ,—сказалъ онъ, увидѣвъ скачу- щаго по дорогѣ всадника.

— Гдѣ? — спросила Катя, отрываясь отъ книги.

— Посмотри.

Катя, поднявшись на цыпочки, заглянула черезъ плетень.

— Это Петя, — сказала она равнодушно.

— О?.. въ самомъ дѣлѣ? — обрадовался Павель Петровичъ и, въ знакъ привѣтствія, махнулъ платкомъ.

Петя, шестнадцатилѣтній мальчикъ, поднявъ высоко надъ головой свою гимназическую фуражку, сломя голову проскакалъ мимо изгороди. Черезъ минуту онъ былъ въ саду.

— Катя, собирайся! — еще издали закричалъ онъ: — скорѣе!

— Куда? въ чёмъ дѣло? — остановилъ его Павель Петровичъ. — Чую не хочешь ли?

— Ахъ, какой чай! что вы, дядя!.. Катя, пожалуйста, поскорѣе!..

— Да что скорѣе-то? Скажи, сдѣлай милость.

— Ахъ, дядя, вы, ей-Богу, всегда... Во-первыхъ, Катя пусть собирается... Во-вторыхъ, ѳдемъ на Аликаевъ — вотъ и все!.. Но только, пожалуйста, тамъ ждутъ... поѣхали прямой дорогой...

— Кто? когда? зачѣмъ? Не захлѣбывайся, объясни толкомъ.

— Чего-жъ еще объяснять? Вѣдь я же сказалъ: на Аликаевъ камень... Ахъ, Господи! но вѣдь тамъ ждутъ! и самое интересное мы пропустимъ... Вотъ вы, дядя, всегда, ей-Богу..

Павель Петровичъ захохоталъ.

— Ладно, — сказалъ онъ, — я буду допрашивать тебя по пунктамъ. Ты говоришь — на Аликаевъ камень, зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ?.. Странное дѣло!.. такъ просто... странное дѣло!..

— Ну, однако?

— Да что, ей-Богу... ну, для прогулки... для развлеченія...

— Такъ-съ. Съ кѣмъ?

— Со мной.

— Съ тобой? Но какого черта вы тамъ будете дѣлать ночью-то?

— Ну, ей-Богу!.. да вѣдь я же говорилъ, что тамъ ждутъ.. Цѣлое общество: папа, мама, Анна Ивановна, Софья Петровна... Надя, Митя... Иванъ Петровичъ... человѣкъ тридцать... Тамъ и ночуемъ... огни зажжемъ... пушку увезли... пѣсни будемъ пѣть... Мнѣ еще утромъ велѣли съѣздить за Катей, да я опоздалъ...

— Ну, глупости и больше ничего!

— Что глупости?

— А то, что, на ночь глядя, ёхать за десять верстъ... лѣсъ, глушь... Работнику недосугъ, а ты дороги не знаешь.

— Я не знаю? Отлично знаю: ъхать прямо, потомъ на-
право, потомъ...

— Ну, ладно. Катю я не отпускаю—поѣзжай одинъ.

Петя вытаращилъ глаза и, заикаясь, съ запальчивостью
заговорилъ:

— Ну, это ерунда, это глупости!.. Вы всегда такъ, вы
просто деспотъ, эгоистъ... и, наконецъ, тамъ ждуть... и, на-
конецъ, это я не знаю что... Это, наконецъ, ерунда...

— Чудакъ! да ты спроси Катю, поѣдетъ ли она... къ об-
манщикамъ и эксплуататорамъ народа...

— Не все обманщики,—улыбнувшись, отвѣчала Катя:—
кажется, тамъ будуть и честные люди...

— Напримѣръ?

— Напримѣръ, Иванъ Петровичъ Свѣтлицынъ, Николай
Кленовской и многіе другіе.

— Не знаю-сь... можетъ быть... Можетъ быть, пока они и
честные люди... до поры до времени.... Впрочемъ, твое дѣло.

Петя захлопалъ въ ладоши.

— Браво!—закричалъ онъ:—значить, рѣшено и подпи-
сано! Ну, Катя, живо!.. Ай-да дядя!.. Вотъ это хорошо!..

Но Павелъ Петровичъ недовольно нахмурился.

— И всетаки тамъ будетъ заводская челядь,—сказалъ
онъ,—имѣй это въ виду.

— Ахъ, да!—вскричалъ Петя, — забылъ сказать: вѣдь
тамъ будетъ еще этотъ... какъ его?.. Ну, этотъ извѣстный
геологъ или химикъ... чортъ его знаетъ!.. Генералъ... быв-
шій профессоръ Полянскій... онъ съ управляющимъ прі-
ѣдетъ...

— Какъ? Развѣ онъ уже здѣсь?—воскликнулъ Павелъ
Петровичъ.

Онъ весь всполошился и сталъ разспрашивать Петю:
когда, съ кѣмъ и на долго ли пріѣхалъ генералъ Полян-
скій. Петя ничего не зналь и давалъ самые безтолковые
отвѣты.

— Но, по крайней мѣрѣ, кто эту прогулку устраиваетъ?
Кто именно?

— Какъ кто?.. Всѣ... мало ли... я не знаю...

— Но кто тебя послалъ?

— Ахъ, ей-Богу!.. Ну, мама... ну, Иванъ Ивановичъ...

— Почему же такъ поздно?

— Господи! да вѣдь я же говорю, что опоздалъ... и,
вообще, вышла тутъ ерунда...

— А про меня тебѣ ничего не говорили?

— Ничего.

— Не упоминали о запискѣ?

— О какой запискѣ?

— Ну, вообще...

— Нѣть, не упоминали.

Павель Петровичъ пожалъ плечами.

— Ну, Господь съ тобой! Катя, вѣли заложить Голубчика. Да вотъ что: скажи Конюхову, что записка готова, остается только переписать. Я думаю, въ день, самое большое—въ два ее перепишутъ.

II.

Петя энергически воспротивился, чтобы съ ними ѿхаль работникъ Андрюшка. Онъ божился, что знаетъ дорогу, какъ свои пять пальцевъ, что до Аликаева камня не десять, а всего восемь верстъ, и что они доѣдутъ отлично. Павель Петровичъ не возражалъ. Когда лошадь была готова, Катя помѣстилась въ телѣжкѣ, а Петя взобрался на козлы. Павель Петровичъ, держась за желѣзную скобку облучка, озабоченно давалъ послѣднія наставленія, которыхъ Петя легко мысленно прерывалъ нетерпѣливыми восклицаніями:

— Вотъ странно!.. будто я не знаю!.. Ну, дядя, чего еще разговаривать!..

Наконецъ, телѣжка бойко покатилась по дорогѣ, оставляя за собой тяжелое облако пыли.

— Подъ гору осторожнѣе!—кричалъ вдогонку Павель Петровичъ.

— Ладно, ладно!—отвѣчалъ Петя, ухарски задравъ фуражку на затылокъ и какъ бы говоря: „разговаривай теперь!“

— Охъ, ужъ это мнѣ старище!—продолжалъ онъ, обращаясь къ Катѣ:—чудаки, право! Дядюшка еще туда-сюда, а вотъ моя почтенная мамаша...

— Ну, Петя!—укоризненно остановила его Катя.

— Да что, право... точно Богъ знаетъ что!.. ей-Богу!..

Миновавъ поле, они спустились въ оврагъ, пересѣкли выкошенную лощину и вступили въ лѣсъ, гдѣ охватило ихъ теплой, пахучей сыростью. Сумерки быстро сгущались. Въ лѣсу было уже почти темно. Телѣжка неровно катилась по извилистой, узкой дорогѣ, натыкаясь на кочки и пни. Вѣтви деревьевъ сходились надъ ними, образуя темный узорчатый сводъ, и сквозь просвѣтъ его виднѣлось блѣдно-голубое небо съ слабо мерцавшими рѣдкими звѣздами. Катя смотрѣла то на небо, пронизанное отблескомъ потухавшей зари, то въ сумракъ лѣса. Въ лѣсу все было загадочно и странно, а небо казалось веселымъ, понятнымъ и знакомымъ.

— Ну, ну, милая! — покрикивала Петя на лошадь.

— Да ты, Петя, въ самомъ дѣлѣ, знаешь ли дорогу?

— Ну, вотъ! отлично знаю. Сначала Крутой логъ, потомъ Майданова гора, потомъ повернуть направо. Я знаю.

— Но здѣсь ты никогда не бывалъ? Да? Правда?

— Положимъ. Да это глупости! Крутой логъ, повернуть направо — вотъ и все.

Лошадь пугливо фыркала, натыкаясь на вѣтви. Дорога круто пошла подъ гору. Впереди показалась мутная бѣлесоватая полоса.

— Это вода? — спросила Катя.

— Нѣть, это туманъ. Это и есть Крутой логъ... а тамъ и Майданова гора.

— Какъ славно! — сказала Катя.

— То-то и есть! — хвастливо возразилъ Петя. — Я говориль, что будетъ хорошо.

— А если разбойники нападутъ?

— Ахъ, вотъ бы отлично! Задаль бы я имъ жару!..

— Ну, ужъ...

— Ты что думаешь? У меня съ собой револьверъ. Вотъ онъ. Ты не думай.

Невидимая дорога шла все подъ гору. Бѣлая полоса растянулась и ушла вправо. Впереди виднѣлись какія-то неясныя, расплывающіяся, сѣрыя и темныя пятна, тучи, деревья или горы — нельзя было понять.

„Гдѣ мы ъдемъ?“ думала Катя: „можеть быть, здѣсь никто никогда не бывалъ, и мы сейчасъ увидимъ что-нибудь необыкновенное“. У Пети было совсѣмъ другое направление мыслей. Онъ прежде всего полагалъ, что ему рѣшительно все извѣстно. „Крутой логъ проѣхали“, размышилялъ онъ, „сейчасъ должна быть Майданова гора, потомъ повернуть направо, а тамъ и Аликаевъ камень“.

— Ахъ... зарница! — сказала Катя.

— Гроза, — поправилъ Петя. — Зарница та же гроза, только отдаленная, — такъ въ физикѣ сказано.

— А Матрена говорить, что это калина зреТЬ.

— Ну, что Матрена!.. Смотри, вонъ Майданова гора, видишь?

— Да это туча.

— Нѣть, это Майданова гора... Ахъ, мѣсяцъ! Посмотри, посмотри!

— Гдѣ? гдѣ?..

— Вонъ... ну, теперь ужъ не видно... красный, красный... Вонъ, вонъ, смотри...

Изъ-за темной массы показался мѣсяцъ, огромный, багровый, безъ блеска и безъ лучей. Онъ висѣлъ въ крас-

половато-буромъ туманѣ, гдѣ-то значительно ниже горизонта. Это казалось очень страннымъ.

— Посмотри, онъ точно въ водѣ плаваетъ... какъ низко!..

— Мы на горѣ, оттого такъ,—пояснилъ Петя.—Ну, дорогу мы теперь найдемъ!

Катя съ тревожнымъ любопытствомъ глядѣла на странную луну, и ей казалось, что она вспоминаетъ какую-то давно позабытую волшебную сказку.

— А я сегодня въ Верхній заводъ ѿздила,—сказалъ Петя съ выражениемъ хвастливой таинственности.

— Зачѣмъ?

— Такъ. Къ рабочему одному. Отъ студента Кленовскаго съ запиской.

— И Кленовской, конечно, не велѣлъ тебѣ говорить объ этомъ?

— Да, не велѣлъ.

— Зачѣмъ же ты говоришь?

— Ну!.. тебѣ-то чего же!.. вотъ еще!

— И мнѣ не нужно было говорить... вообще не нужно болтать.

— Вогъ! развѣ я не знаю!.. Рабочаго зовутъ Иваномъ Костаревымъ. Онъ очень образованный, ей-Богу, хотя весь въ сажѣ и лицо испеклось отъ огня... И не молодой ужъ, лѣтъ подъ сорокъ... Знаешь, они что-то затѣваются, но Костаревъ говорить, что все это чепуха... Не съ того конца, говорить...

— То есть, что именно?

— Я не знаю. Все, говорить, уповаютъ на милость... остатки, говорить, рабскаго состоянія...

— Это онъ тебѣ говорилъ?

— Нѣть, не мнѣ, а тутъ другому какому-то. Я слышала ихъ разговоръ.

— Однако ты, Петрушка, болтливъ, какъ баба.

— Странное дѣло! но вѣдь это я тебѣ... Я понимаю, что дѣло секретное.

Гора кончилась, телѣжка плавно покатилась по ровному дну ложбины. Бѣлая полоса исчезла. Мѣсяцъ спрятался. Опять обступилъ ихъ со всѣхъ сторонъ лѣсь, высокій, темный, загадочный... Опять ни впереди, ни по сторонамъ ничего нельзя было понять въ живомъ колеблющемся мракѣ, и только вверху, высоко-высоко, съ темно-синяго неба любовно и кротко сіали звѣзды.

— Здѣсь все горы кругомъ—страсть! Дикое мѣсто,—оказалъ Петя.

— Ты повороть не прозѣвай.

— Я и то смотрю, да плохо видно. Должно быть, поворот еще впереди.

Выехали на какую-то прогалину, окруженную темными массами, непохожими ни на деревья, ни на кусты. Снова показалась луна, все такая же красная, но уже значительно выше.

— Тпру!.. — крикнул Петя, внезапно сдерживая лошадь.

— Что случилось?

— Въ гору пошло: неладно ъдемъ.

Соскочивъ съ облучка, онъ сталъ шарить руками по землѣ.

— Дороги нѣту... цѣликомъ ъдемъ... вотъ оказія!.. — говорилъ онъ и вдругъ замолкъ. Его поразила странная, необычайная тишина. Было такъ тихо, что слышалось біеніе пульса и, казалось, воздухъ съ жадностью ловилъ малѣйшій звукъ. Все кругомъ было странно и необыкновенно: и пестрая, переливающаяся, точно живая темнота, и чуткій воздухъ, влажный и ароматный, и дыханіе лошади, и небо со звѣздами, и трепетное біеніе сердца, и тотъ загадочный, едва уловимый шорохъ, какой бываетъ слышенъ въ лѣсу въ тихія юльскія ночи... Вдругъ оба вздрогнули отъ внезапнаго испуга.

— О-го-го-го-ooo!.. — дико и страшно нарушилъ тишину чей-то нечеловѣческій голосъ. О-го!.. о-го!.. у-у-у!.. — гулко пошло по лѣсу, замирая и снова откликаясь уже откуда-то изъ необъятной дали.

— Что это? — нѣсколько мгновеній спустя, послѣ страшной паузы, прошепталъ Петя, чувствуя, что именно теперь настало время проявить все свое мужество.

— Не знаю, — вся похолодѣвъ, такимъ же трепещущимъ шепотомъ отвѣчала Катя.

— Это птица такая есть...

— Не знаю, только это не человѣкъ.

Черезъ минуту другой голосъ и уже съ другой стороны снова прервалъ воцарившееся безмолвіе, и опять ему отвѣтило эхо и разнесло по всѣмъ концамъ лѣса: у!.. у.. у-у-у!..

— Это люди, конечно, люди...

— Да, кажется...

Потомъ первый голосъ крикнулъ что-то протяжно, ему отвѣтилъ второй, но уже не такъ громко, послѣ чего въ лѣсу послышался гулъ обыкновенного разговора.

III.

Успокоившись, Петя и Катя съли въ телѣжку и поѣхали наугадъ. Отъѣхавъ съ полверсты, они увидѣли въ сторонѣ огонекъ.

— Надо спросить дорогу,—сказала Катя.

— А если разбойники?

— Ну, какіе здѣсь разбойники!

— А вотъ посмотримъ! — отвѣчалъ Петя и побѣжалъ на огонь.

Пробѣжалъ подъ-гору шаговъ сто, онъ замѣтилъ, что разстояніе, какъ будто, не уменьшается. Онъ оглянулся назадъ. Позади былъ одинъ мракъ: ни телѣжки, ни Кати не было видно. Онъ побѣжалъ еще прытче, попалъ въ лужу и промочилъ ноги. Луна скрылась, вскорѣ и огонекъ исчезъ. Спопытаясь, Петя все бѣжалъ по одному направлению и, наконецъ, поднявшись на какой-то бугоръ, вдругъ очутился у костра, вокругъ которого сидѣли и лежали люди. Кто-то съ сальной свѣчкой въ рукахъ громко читалъ. Остальные внимательно слушали.

„Это разбойники“, — подумалъ Петя и ощупалъ въ карманъ револьверъ. Приблизившись къ костру, онъ театральнымъ жестомъ приподнялъ фуражку и сдѣлалъ общи поклонъ.

— Здравствуйте, добрые люди! — сказалъ онъ, едва переводя духъ отъ волненія и усталости.

Двоє или троє испуганно вскочили; другіе, оставшись лежать и сидѣть на землѣ, оглянулись на него сурово и подозрительно.

— Постой ка-съ, что это?.. Подожди! — обращаясь къ чтецу, тревожно проговорилъ черный мужикъ въ красной рубахѣ, атаманъ, какъ подумалъ Петя. — Откудаова эдакой взялся?..

Снова вѣжливо приподнявъ фуражку и отставивъ одну ногу назадъ, какъ это дѣлаютъ пѣвцы на сценѣ, когда имъ приходитъ время пѣть, Петя объяснилъ, что онъ путешественникъ, съ товарищами (это слово онъ подчеркнулъ), сбился съ дороги и принужденъ обратиться къ великодушію добрыхъ людей, которые, конечно, не откажутъ указать ему путь.

— Да ты откудаова? — спросилъ его тотъ же черный мужикъ.

— Изъ завода.

— А куда тебѣ надо?

- На Аликаевъ камень.
- Зачѣмъ?
- Такъ... нужно...
- Для разгулки, стало быть? Съ господами?
- Да...
- Крюку дали... верстъ пять.

— Да вы не Петръ ли Миколаичъ будете? Чего-то, гляжу я, ровно вы? — спросилъ молодой бѣлокурый парень, въ которомъ Петя тотчасъ же узналъ знакомаго Николку — охотника.

Петя хотѣлъ было спросить его, зачѣмъ онъ ушелъ въ разбойники, но изъ деликатности удержался. Николка, между тѣмъ, дружески тряхнулъ ему руку и вызвался быть провожатымъ. Онъ объяснилъ, что они стерегутъ лошадей, и Петя, въ самомъ дѣлѣ, увидѣлъ выступавшіе изъ мрака лошадиные головы и хвосты.

- А кто тутъ кричалъ давеча?
- Это наши въ лѣсу ходили.

Между тѣмъ, чтецъ, вскочивъ на ноги, хлопнулъ Петю по плечу.

— Петрушка! — закричалъ онъ: — Сбившійся съ дороги путешественникъ! Ты зачѣмъ здѣсь?

— Господи!.. это вы?.. съ изумленіемъ отвѣталъ Петя: — какъ вы это?.. зачѣмъ?

— По кляуанымъ дѣламъ, въ родѣ подпольнаго адвоката. А ты заблудился, бѣдняга?

- Да, темно... сбились съ дороги.
- Ты туда, на пикникъ, что ли?
- Да, да.

— Подожди, и я съ тобой, только вотъ съ клиентами раздѣлаюсь. Ну-съ, господа, прошу вниманія: будемъ продолжать, — сказалъ Кленовской мужикамъ, которые все еще косо и недружелюбно посматривали на Петя.

— Вотъ что... послушай-ко-съ... не погодить ли, Миколай Миколаичъ?.. — послышались нерѣшильные голоса.

- Чего погодить? Зачѣмъ?
- До предбдущаго времени... переждать малость...
- Да вы его, что ли, боитесь? Петъки-то?.. Ха, ха!.. О, вы сермяжные конспираторы! Собирающіеся нисправергнуть существующій ~~строй~~.. Чудаки! да вѣдь вы только прошеніе подаете, самое простое прошеніе,—къ чему же вся эта таинственность?

— Эхъ, Миколай Миколаичъ!.. какъ ты, ей-Богу... самъ хорошо понимаешь... говорили мы тебѣ... Дѣло требуетъ аккурату...

- Ну, ладно. Петъки, во всякомъ случаѣ, стѣсняться

нечего: не выдастъ Петъка! Обо всемъ, что ты здѣсь видиши и слышиши, никому ни гугу!.. Ну, слушайте!..

Кленовской стала читать.

— Ну, что-же? Ладно, что ли? Правильно?—спросилъ онъ, окончивъ чтеніе.

— Все правильно... какъ есть... — заговорили мужики: — Спасибо! Господь тебя не оставитъ... Ужъ ежели и это не въ силу закона, то ужъ и не знаемъ...

— Хорошо. Подписывайтесь.

Первымъ подошелъ высокий, худой мастеровой въ пиджакъ, тотъ самый Иванъ Костаревъ, которому Петя отвозилъ записку. Примостившись у доски, положенной на землю, онъ бойко подмахнулъ свою фамилію и передалъ перо со сбѣду. Тотъ недовѣрчиво осмотрѣлъ перо, вздохнулъ, перекрестился, сказалъ: „въ добрый часъ!.. благослови, Царица Небесная!“ потомъ легъ животомъ на землю и медленно стала выводить безобразныя каракули, напрасно стараясь удержать судорожныя движенія руки. За нимъ, такъ же крестясь, серьезно и степенно, по очереди, стали одинъ за другимъ подходить остальные. Среди ночной тишины слышались только сокрушенные вздохи и пыхтѣнья подписывавшихся.

— Итакъ, значитъ, сегодня, на Аликаевомъ камнѣ,—нарушая напряженное безмолвіе, заговорилъ Кленовской: — черезъ депутацію и при самой торжественной обстановкѣ... Вотъ-то, я думаю, удивится учный генералъ!.. Ну, не чудаки ли вы? Не проще ли было прийти на квартиру, по-человѣчески поговорить и по-человѣчески передать прошеніе?

— Не допустятъ насъ... Господи Боже мой! развѣ мы не знаемъ!.. Обыщутъ, просьбу отберутъ, въ чижовку посадятъ... Это бы наплевать, да просьба пропадетъ безъ послѣдствія... Только бы въ руки ему передать, а тамъ ужъ... чего-жъ... наше дѣло правое!..

— Пошлите почтой.

— Ну! почтой!.. знаемъ мы... Сколько разовъ по почтѣ-то посыпали, все безъ послѣдствія... Не доходитъ!.. Писали, писали, а все либо становой, либо писарь постановляютъ рѣшеніе: безъ послѣдствія и все тутъ!.. Извѣстно, у нихъ и на почтѣ свои люди... рука руку моеть...

— Дайте мнѣ, я передамъ.

— Нѣть ужъ, зачѣмъ же... не ладно... надо намъ поговорить съ имъ... не повѣрить еще тебѣ... молоденекъ ты...

— Гмъ!.. А по почтѣ не дойдетъ?

— Не дойдетъ. Пробовали.

— Все это, други мои, чепуха! Неправдоподобно!... А просто на просто просьбы ваши оставляются безъ вниманія. И я вамъ объясняль—почему... И теперь ничего не выйтдѣть,

ужъ это какъ Богъ святы. Законъ на вашей сторонѣ, да что толку! Не въ законѣ сила... Вы должны, наконецъ, понять, что вамъ надѣяться не на кого... только на себя надѣйтесь... Ну, да обѣ этомъ уже было говорено двадцать разъ... Вы представляете себѣ какого-то сказочнаго генерала, отца-благодѣтеля, который, какъ только узнаетъ правду, сейчасъ же пожалѣеть васъ, осчастливить, облагодѣтельствуетъ... Такихъ генераловъ, други мои, не бываетъ, не было никогда и не будетъ, а если и случился бы такой, такъ ничего онъ не сдѣлаетъ, потому что много другихъ, и все генералы... Во всякомъ случаѣ, желаю успѣха. До свиданія!... Петья, идемъ.

— Гдѣ у васъ лошадь?—спросилъ Николай, когда они втроемъ, оставивъ за собой освѣщенное огнемъ пространство, вошли въ темноту.

Петя крикнулъ:—Катя, а-у!

— Здѣсь!—отвѣтилъ звонкій дѣвичій голосъ изъ непроплѣтной тьмы.

— Вонъ гдѣ,—сказалъ Петя.

Спотыкаясь о неровности почвы, они торопливо побѣжали на голосъ.

— Кто это?—вдругъ остановившись, испуганно закричалъ Петя.

— Гдѣ? Кого ты увидалъ?..—спросилъ Кленовской.

— Вонъ тамъ... кто-то загородилъ мнѣ дорогу... Человѣкъ какой-то, ей-Богу... Я видѣлъ, какъ онъ бросился туда, въ кусты...

— Погодите... я сейчасъ...—произнесъ Николай и исчезъ въ темнотѣ.

Петя и Кленовской слышали нѣкоторое время его торопливо удаляющіеся шаги, потомъ все смолкло. Кругомъ была тьма, только костеръ ярко горѣлъ позади; передъ нимъ, заслоняя его, беспокойно бѣгали тѣни.

— Нѣту!—сказалъ внезапно вынырнувшій изъ темноты Николай:—притаился гдѣ-то подлецъ. Всѣ кусты обшарилъ.

— Кто жъ это, ты думаешь?

— Кто? Извѣстно кто.

— Да тебѣ, можетъ быть, Петья, показалось?

— Нѣть, нѣть, я видѣлъ фигуру человѣка... она юркнула туда... ей-Богу...

— Ну, наплевать!.. Кто бы ни былъ... эка важность, наплевать!

Вскорѣ Николка сидѣлъ на коалахъ рядомъ съ Петей, а Кленовской въ телѣжкѣ съ Катей. Кленовской оживленно рассказывалъ Катѣ о предпріятіи мужиковъ.

— Ну, Петръ Миколаичъ,—говорилъ, между тѣмъ, Никол-

ка,—важно ъхать теперь: мотри, мъсяцъ изъ-за горы лѣзеть.

Минуть пять спустя, когда выѣхали на дорогу, онъ вдругъ придержалъ лошадь.

— Поѣзжайте одни,—сказалъ онъ, понижая голосъ:—дорога прямая, а я побѣгу... надо нашимъ сказать...

— Что сказать?.. О чёмъ?

— Глянь-ко-сь вонъ туды... кто-то за нами на вершиной слѣдить... урядникъ, либо не знаю кто... вонъ за кустомъ притаился...

Однако ни Петя, ни Кленовской не могли ничего разсмотретьъ... Вдругъ свистящій ударъ нагайки прорѣзаль воздухъ, и кто то поскакалъ подъ гору вправо отъ дороги... На мигъ что-то металлическое сверкнуло при лунѣ; дробный топотъ коньтъ отдался въ горахъ и замолкъ... Снова все стало тихо. Николка, соскочивъ съ козелъ, скрылся.

— Фу ты!.. неужели, въ самомъ дѣлѣ, полиція?—проговорилъ Кленовской:—чего ей надо?

Петя и Катя молчали. Лошадь сама тронулась и лѣниво поплелась въ гору.

— Однако, что же это?..—продолжалъ Кленовской:—неужели ужъ до такой степени?.. Неужели жалобы нельзя написать безъ выслѣживанія?..

— У нихъ своя сыскная полиція, а кромѣ того, и такая всегда къ услугамъ,—сказала Катя.

— Ахъ, чортъ возьми!.. Напугаютъ мужиковъ... Но, въ концѣ концовъ, что же они могутъ сдѣлать? Чего они хотятъ? Чего имъ надо?..

— Можно всего ожидать...

— Ну, чортъ ихъ бей!.. Увидимъ, узнаемъ.

Вдругъ опять послышался конскій топотъ. Всѣ насторожились. Кто-то скакалъ имъ навстрѣчу. Темный силуэтъ всадника промелькнулъ черезъ мертвенно-освѣщенную луной поляну и скрылся въ тѣніи.

— Петруха, это ты?—раздался вслѣдъ затѣмъ изъ темноты чей-то густой, очень пріятный голосъ.

— Я, я!—отвѣчалъ Петя и прибавилъ, обращаясь къ Катѣ:—это Иванъ Петровичъ Свѣтлицынъ.

— Ага!—проворчалъ Кленовской,—господинъ химикъ и лаборантъ... маркизъ Поза, Донъ-Жуанъ... Знаете что,—обратился онъ къ Катѣ:—вы не очень-то довѣрайтесь этому франту...

— Почему это?

Въ голосѣ Кати слышалось негодованіе.

— Да ужъ такъ... нестоющій человѣкъ!..

— Кленовской! стыдитесь!..

— А что?
 — Вы попробуйте сказать ему это въ глаза.
 — Говорилъ ужъ...
 — И что же?
 — Да ничего... соглашается...
 — Вы заблуждаетесь, Кленовской... онъ хорошій, хотя, можетъ быть, и безхарактерный человѣкъ...

— Положимъ, я хватилъ черезъ край, но всетаки онъ ненадежный... не твердъ въ упованіяхъ и, при томъ, въ пльну у царицы Тамары.

— Здравствуйте! Гдѣ вы пропадали?—выдвигаясь изъ тѣни, заговорилъ всадникъ.

— Это вы, Иванъ Петровичъ?
 — Я живы ли?
 — Какъ видите.
 — Слава Богу!.. Тамъ изъ-за васъ переполохъ. Меня командировали учинить розыскъ. Что случилось?
 — Заблудились.

Иванъ Петровичъ засмѣялся.

— Я такъ и зналъ,—продолжалъ онъ,—а все Петька... Мы ужъ давно тамъ. И ученый генералъ пожаловалъ. Сидѣть, какъ сырь, молчать, а наши вкругъ него увишаются... Посмотрите, какая ночь!..

— Да, да... собственно, мы чудо какъ прокатились.
 — А это кто съ вами? Кленовской ты?..
 — Собственной персоной.
 — Ты-то какъ здѣсь? Я думалъ, ты давно уже тамъ, на камнѣ.

— Буду и тамъ.
 — Гдѣ-жъ ты былъ?
 — На митингѣ. Петицію мужики подаютъ. Но ты уже, конечно, знаешь объ этомъ.

Свѣтлицинъ нѣкоторое время, молча, щахъ рядомъ съ телѣжкой.

— Знаю,—наконецъ, промолвилъ онъ:— слышалъ отъ Конюхова.

— Ага! ему, стало быть, уже извѣстно?
 — Извѣстно.
 — Какимъ образомъ?
 — Не знаю.
 — Что же, именно, извѣстно?
 — Да, кажется, все извѣстно.
 — Такъ-съ.

Сквозь чащу сосенъ и елей замелькали огни; высоко, точно повиснувъ въ воздухѣ, показался ярко горѣвшій костеръ;

послышался издалека серебристый женский смехъ и веселый говоръ, потомъ вдругъ грянула пѣсня.

— Наши поютъ!—закричалъ Петя и, приподнявшись на коалахъ, погналъ лошадь. Вскрикивая и дрожа отъ нетерпѣнія, онъ оглядывался назадъ и, захлебываясь, говорилъ:

— Ну, ребята, славно прокатились!.. ей-Богу!.. отлично!.. Эхъ, катай-валяй, Ивановна!.. А вѣдь молодцы мы, ей-Богу, право!

Пѣсня звучала очень стройно, но Петя было досадно, что тамъ поютъ безъ него, и онъ все продолжалъ нахлестывать лошадь.

— Петъка! тише! голову сломишь, сумасшедшій!—кричалъ ему Кленовской. Но Петя не слушалъ и гналъ, какъ на пожаръ.

Вдругъ надъ вершинами темныхъ елей показался Аликаевъ камень, дикая скала, у подножія которой съ мелодическимъ журчаньемъ несется по камнямъ горная рѣчка Саранка. Весь облитый луннымъ свѣтомъ, онъ казался прозрачнымъ воздушнымъ замкомъ на черномъ фонѣ хвойного лѣса. На вершинѣ его и ниже, на одномъ изъ уступовъ, горѣли костры, и оттуда-то неслась пѣсня.

Петя круто сдержалъ лошадь передъ темными высокими воротами, за которыми виднѣлись странного вида постройки съ остроконечными крышами. Ворота отворились, и они вѣхали во дворъ, усыпанный мелкимъ пескомъ и обсаженный кругомъ кустами акаціи. Здѣсь стояли экипажи и лошади, ходили какіе-то люди.

— Возьмите лошадей,—распорядился Свѣтлицынъ, послѣ чего всѣ трое вышли за ворота.

Петя совсѣмъ потерялъ голову и метался, какъ угорѣлый. Когда пѣсня смолкла, онъ, приставивъ руку ко рту, закричалъ, что было силы:

— Эй, вы!.. господа!.. ого-го!..

Вверху на камнѣ заговорили:—Вѣдь это Петя?.. Онъ, онъ... — и чей-то зычный голосъ крикнулъ: „ты Петя?“ такъ, что эхо въ горахъ повторило разъ пять: Петя... Петя... ты Петя...»

Петя звонко отвѣтилъ:—Я!—и эхо также отвѣтило: я, я, я!.. Вверху раздались апплодисменты и крики „браво, браво!“.. Въ горахъ также заапплодировали и закричали: браво, браво!..

— Идемъ!—сказалъ Свѣтлицынъ, и они пошли сначала лощиной въ тѣни кустовъ, потомъ круто въ гору по узкой каменистой тропинкѣ.

IV.

На широкомъ уступѣ скалы, подъ сосновами, лѣшившимися въ разсѣлинахъ камней, была раскинута большая пестрая палатка съ флагами и разноцвѣтными фонариками. Подъ ея полотнянымъ сводомъ и кругомъ разставлены были столы съ самоварами, винами и закусками, разбросаны попоны и ковры. Здѣсь размѣщалась исключительно солидная часть общества. Молодежь, какъ стадо дикихъ козъ, ползала по камнямъ, оглашая воздухъ веселымъ шумомъ свѣжихъ, молодыхъ голосовъ.

Въ центрѣ палатки, окруженный плотнымъ кольцомъ нарядныхъ дамъ и почетнѣйшихъ лицъ, потурецки подобравъ подъ себя ноги, сидѣлъ генераль Полянскій. Его обрюзгшее бритое лицо съ потухшими глазами, легкій клѣтчатый пиджачекъ и пестрая шапочка на головѣ дѣлали его похожимъ на старого, но еще молодящагося актера. Онъ разсѣянно слушалъ управляющаго заводами Конюхова и смотрѣлъ внизъ, въ просвѣтъ палатки, гдѣ сквозь лиловоголубую мглу виднѣлось дно освѣщенной луною долины и наполовину серебряная, наполовину темная извилина рѣки. Хотя онъ путешествовалъ инкогнито, въ качествѣ простого туриста, но было явствѣно, что ему поручено выяснить на мѣстѣ кой-какія важныя обстоятельства, собрать свѣдѣнія, въ чемъ-то лично убѣдиться и представить свои соображенія. Населеніе вездѣ ожидало его съ нетерпѣніемъ и возлагало на него несбыточныя надежды. Поэтому по всѣмъ заводскимъ округамъ даны были въ отношеніи его указанія и соотвѣтствующія инструкціи. Утомленный суетливо проведенными днемъ и, вообще, своимъ путешествіемъ по Уралу, Полянскій былъ весьма недоволенъ настоящей прогулкой по дикимъ мѣстамъ къ дикому мѣсту, отъ которой онъ не имѣлъ мужества отказаться. Его очень тяготили почести, которыя ему оказывались. Вездѣ, куда онъ ни пріѣзжалъ, ему устраивались неофиціальные, но весьма торжественные встречи, съ рѣчами, съ хлѣбомъ-солью, съ воскуреніемъ фимиама его ученой и административной дѣятельности, въ его распоряженіе отводились княжескіе appartamenti съ многочисленной прислугой, высыпались навстрѣчу рессорные экипажи, давались въ честь его обѣды, балы, вечера, устраивались экскурсіи и увеселительныя прогулки. Онъ жилъ, какъ въ чаду, не имѣя времени ни для отдыха, ни для работы, и не разъ бранилъ въ душѣ чрезмѣрность русского гостепріимства.

— У насъ, ваше превосходительство, край патріархальный,—говорилъ Конюховъ, и его длинная, сухая фигура съ деревяннымъ неподвижнымъ лицомъ и солдатскими усами изображала собой окоченѣвшую почтительность.—Пресловутая конкуренція, эксплуатація труда и тому подобное—для насъ пустыя слова. У насъ нѣть ни эксплуатаціи, ни конкуренціи, а есть вотъ что. Выростаетъ дѣтина въ сажень ростомъ, и сейчасъ же подавай ему работу: онъ лѣзетъ за ней, какъ въ собственный свой карманъ,—давай! И даютъ. Если нѣту,—придумывай! И придумываютъ. Всѣ отношения, такимъ образомъ, построены на филантропическихъ началахъ. На первый взглядъ это кажется невѣроятнымъ, а между тѣмъ это факты!. Осмѣлюсь спросить, какое у вашего превосходительства сложилось представление?

Генераль тускло посмотрѣлъ на собесѣдника сквозь золотыя очки и ничего не отвѣтилъ.

— При томъ же, конкуренцію у насъ немыслимо допустить,—продолжалъ Конюховъ,—потому что, помилуйте! тогда мастеровые очутились бы въ безвыходнѣйшемъ положеніи, могу васъ увѣрить! То есть, если на заграничный образецъ... и могло бы выйти Богъ знаетъ что... У насъ же, благодаря патріархальности, слава Богу, все спокойно... Посмотрите, рабочие ёдятъ пшеничный хлѣбъ, молоко, мясо; у всѣхъ по праздникамъ пироги, у каждого парня непремѣнно гармоника... всѣмъ назначается безобидная божеская плата... Однимъ словомъ, могу засвидѣтельствовать, что, благодаря непрестаннымъ попеченіямъ владѣльца, населеніе ни въ чёмъ не терпитъ нужды... Напримѣръ, такой фактъ...

Остальные гости погружены были въ благоговѣйное безмолвіе и, почтительно слушая разговоръ, не спускали глазъ съ генерала. Одинъ только главный лѣсничій, сѣдовласый старикъ, похожій на Дарвина, Николай Ипполитовичъ Кленовской, человѣкъ честолюбивый и злобный, котораго боялись всѣ за доносы и интриги, позволялъ себѣ изрѣдка односложныя реплики.

Дамы, окоченѣвшія отъ скуки, тоскливо переглядывались и украдкой шептались, неодобрительно посматривая на хозяйку, Анну Ивановну Конюхову, которая, по ихъ мнѣнію, приняла съ генераломъ слишкомъ непринужденный тонъ. Анна Ивановна, молодая, красивая брюнетка, съ черными ласкающими глазами, стройная и грациозная, не смотря на свою полноту, въ противоположность супругу, отличалась необыкновенной подвижностью, развязными манерами и неистощимымъ весельемъ.

— Фактъ тотъ,—засмѣявшись и перебивая мужа, заговорила она,—что его превосходительству смертельно надоели

твои факты: все факты да факты—безъ конца... Надо же, наконецъ, отдохнуть и поговорить о чёмъ нибудь человѣческомъ... Ваше превосходительство, какъ вамъ нравятся наши сѣверные пейзажи? Не правда ли, дико, сурово, но не лишено своеобразной прелести?

— О, да! — благодарно улыбаясь, отвѣтилъ генераль:— чудныя мѣста!.. Да вотъ хоть бы это, гдѣ мы теперь... я все смотрю внизъ, въ долину—какая прелестъ!.. Извините, я по забыть, какъ называется этотъ утесь?

— Аликаевъ камень.

— Да, да... Почему онъ такъ называется?

— Быть атаманъ разбойниковъ Аликай, по его имени названъ этотъ камень. О немъ существуютъ въ народѣ сказанія и легенды. Говорять, напримѣръ, что онъ влюбился въ жену тогдашняго управляющаго и похитилъ ее.

— А! это весьма интересно,—промолвилъ генераль.

— Говорятъ еще, что здѣсь гдѣ-то зарытъ кладъ, десять боченковъ съ золотомъ,—вступилъ Конюховъ, — только онъ никому не дается: слова не знаютъ. То свѣча горить, то казакъ стоять съ ружьемъ на часахъ, то черная собачка бѣгаеть, а подойдуть ближе—ничѣмъ-ничего! Станутъ рыть—плита, подъ плитой десять боченковъ; какъ жарь, горить золото, а взять его нельзя: чуть притронутся—оно въ землю уходить.

— Очень любопытно.

— Такъ и до сихъ поръ кладъ лежитъ. Тамъ внизу, у рѣчки все изрыто, роются, говорятъ, еще и теперь, но пока безуспѣшно.

— А какія же существуютъ сказанія?

— Если вамъ не будетъ скучно, я могу кое-что рассказать.

— Пожалуйста, будьте добры.

Конюховъ, усердно занимавшійся археологіей, раскопками кургановъ и чудскихъ городищъ, разборкою заводскихъ архивовъ, кромѣ того, собирая сказки и народныя пѣсни и очень гордился этими своими занятіями. Какъ самоучка, не причастный къ школьнай науцѣ и вышедший въ люди изъ канторскихъ писцовъ, онъ любилъ щегольнуть при случаѣ своими занятіями и знакомствомъ съ исторіей мѣстнаго края.

— Сказаніе состоить, собственно, въ слѣдующемъ, — началъ Конюховъ.

Въ это время, цѣпляясь за камни, со смѣхомъ и шумомъ, спустились на площадку Свѣтицыны, Петя, Катя и студентъ Кленовской. Приблизившись, они примолкли и, чтобы не мѣшать разговору, тихонько сѣли въ сторонкѣ позади

Анны Ивановны. Слѣдомъ за ними спустились еще двѣ дѣвицы и другой студентъ и также скромно усѣлись въ сторонкѣ.

Анна Ивановна жестами пригласила ихъ пересѣсть поближе и распорядилась дать имъ чаю.

V.

— Сказаніе заключается въ слѣдующемъ, — повторилъ Конюховъ, строго посмотрѣвъ на молодежь. — Впрочемъ, прежде надо сказать нѣсколько словъ о фактической или, вѣриѣ, исторической его подкладкѣ. Во-первыхъ, слѣдуетъ имѣть въ виду, что Аликаѣ лицо вовсе не миѳическое, а дѣйствительное. Во-вторыхъ, и жиль-то онъ не такъ давнѣ, не болѣе шестидесяти лѣтъ назаль, слѣдовательно, старики должны его помнить. Въ то время заводами управлялъ знаменитый на Уралѣ Спиридонъ Карповичъ Золинъ изъ вольноотпущеныхъ, человѣкъ огромнаго ума, непреклонной воли и необычайной энергіи, прославившійся небывалой даже для тогдашняго времени жестокостью въ обращеніи съ рабочимъ людомъ. Это былъ звѣрь въполномъ смыслѣ слова, не знавшій ни жалости, ни пощады. Онъ на смерть засѣкалъ людей, бросалъ ослушниковъ въ доменные печи, сгонялъ за сотни верстъ приписанныхъ къ заводамъ крестьянъ, и тѣ гибли въ рудникахъ и куреняхъ отъ голода, лишеній и непосильной работы. За то въ нѣсколько лѣтъ онъ увеличилъ выдѣлку желѣза вдвое, а добычу золота въ пять разъ. Въ 1824 году Ураль посѣтилъ императоръ Александръ Благословенный. Двоє мастеровыхъ возымѣли неслыханную дергость подать жалобу государю, но Золинъ приказалъ разстрѣлять ихъ. Мастеровыхъ казнили на площади въ присутствіи горнаго исправника и завода казаковъ. Это была настоящая публичная казнь со всѣми атрибутами тогдашнихъ казней: былъ священникъ съ крестомъ, эшафотъ, позорная колесница, палацъ въ красной рубахѣ. Разумѣется, послѣ этого уже никто не дерзаль помышлять о жалобахъ. Золина представили государю въ качествѣ выдающагося дѣятеля горнопромышленности, и онъ очаровалъ его умомъ, краснорѣчіемъ, смѣлостью и благородствомъ судженій. Государь совсѣмъ оставилъ съ нимъ о приведеніи казенныхъ заводовъ въ такое же цвѣтущее состояніе, какъ Бардымскіе, и говорилъ потомъ, что часовая бесѣда съ Золиномъ была поучительнѣе для него, чѣмъ все путешествіе по Уралу. Золинъ былъ обласканъ, осыпанъ милостями и щедро награжденъ. Однако, вскорѣ случилось одно обстоятельство, которое повлекло за собой неожиданный послѣд-

ствія. Штейгеръ Волковъ случайно проговорился объ разстрѣляніи мастеровыхъ чиновнику, командированному изъ Петербурга. Объ этомъ было сказано къ слову, вскользь, между прочимъ, но чиновникъ заинтересовался, навель справки и єбо всемъ написалъ въ Петербургъ. Сообщеніе это произвело большое впечатлѣніе, и для раскрытия зла дѣяній Золина командированъ былъ флигель-адъютантъ графъ Костровъ. То, что обнаружилось на мѣстѣ, превзошло всякое вѣроятіе. Графъ Костровъ пришелъ въ ужасъ и круто принялся за дѣло. Сгоряча онъ приказалъ арестовать Золина и самъ началъ слѣдствіе. Однако, очень скоро скоро дѣло застряло въ трясинѣ канцелярской волокиты. Мѣстное чиновничество, начиная съ губернатора и главнаго начальника Уральскихъ заводовъ, оказывало графу открытое противодѣйствіе: его распоряженія не исполнялись, выкрадывались изъ-подъ печатей бумаги и компрометирующие документы, исчезали вещественные доказательства, перехватывались переписки; самыи аресты Золина существовалъ только на бумагѣ: въ дѣйствительности, Золинъ проживалъ въ своемъ городскомъ палаццо, принималъ гостей, задавалъ пиры, отдавалъ распоряженія и даже ъездилъ на заводы. Графъ горячился, терялъ голову, выходилъ изъ себя, писалъ донесенія въ Петербургъ. На него, въ свою очередь, сыпались жалобы отъ главнаго начальника, съ предупрежденіемъ, что легкомысленное поведеніе графа можетъ поднять весь Уралъ. Разумѣется, не дремали и вліятельные покровители Золина. Кончилось тѣмъ, что графа отзвали въ Петербургъ, и дѣло пошло обычнымъ приказнымъ порядкомъ. Въ разслѣдованіи Кострова усмотрѣны были какія-то упущенія, началась нескончаемая переписка по поводу разныхъ второстепенныхъ обстоятельствъ, арестъ Золина былъ признанъ преждевременнымъ, а вслѣдъ затѣмъ и самое дѣло, наполовину утерянное, за недостаткомъ уликъ было прекращено. Золинъ снова воцарился на заводахъ. Тогда началась расправа съ недовольными. Десятки людей были заѣчены до смерти, многихъ сдали въ солдаты, другихъ сослали въ Сибирь. Каждый изъ уцѣлѣвшихъ дрожалъ за свою судьбу. Въ это-то время и выступаетъ на сцену Аликай.

— Отсюда, стало быть, начинается уже легенда?

— Да... или, вѣрнѣе, изустная исторія... Аликай считался въ народѣ колдуномъ, про него говорили, что онъ „знаетъ“; лѣтъ десять онъ находился въ бѣгахъ и въ послѣдній разъ пришелъ откуда-то съ Волги. По рассказамъ, появленіе его было очень эффектно. Онъ пришелъ утромъ въ праздникъ, когда наказывали конокрада Степана Баталова. Въ красной кумачной рубахѣ, въ плисовыхъ шароварахъ, въ шляпѣ съ

алою лентой, здоровый, бравый, саженного роста, черный, какъ жукъ, вышелъ онъ на средину площади передъ народомъ и весело, соколомъ, осмотрѣлся кругомъ. Его узнали, и гулъ радостнаго изумленія прокатился въ толпѣ. Исправникъ приказалъ взять его, но никто не тронулся съ мѣста: всѣ, даже казаки, стояли въ оцепленіи, какъ очарованные. Аликай, растолкавъ людей, стоявшихъ въ строю съ шпагами, вошелъ въ зеленую улицу, отвязалъ Баталова отъ крестовины и голаго безъ рубахи повелъ за собой въ толпу. Народъ молча улицей разступился передъ нимъ. Едва онъ исчезъ, произошла невообразимая суматоха. Обыскали весь заводъ, но Аликай, какъ въ воду канулы. Впрочемъ, черезъ недѣлю его вмѣсть съ Баталовымъ накрыли въ кабакѣ, заковали въ цѣпи и посадили въ контерскій казематъ. На другой день утромъ нашли въ казематѣ только брошеннѣе въ уголъ кандалы, кисеть съ табакомъ да вывороченную изъ окна рѣшетку,—заключенные исчезли. Говорятъ, Аликаю понравилась эта скала, и онъ здѣсь поселился. Къ нему собралось десятка два головорѣзовъ, и они устроили настоящую молодецкую заставу, откуда держали въ повиновѣніи всю округу. Случалось, что разбойниковъ ловили, но благодаря „знанію“ Аликая, ихъ не держали никакіе затворы. Рассказываютъ, что однажды Аликай посадили въ каменный мѣшокъ. Онъ ослабѣлъ и попросилъ напиться. Ему дали ковшъ съ водой. Аликай перекрестился, нырнуль въ воду и вынырнулъ уже версты на три ниже завода изъ рѣчки Саранки и скрылся въ горахъ. Другой разъ онъ начерталъ мѣломъ на полу лодку: откуда ни возьмись весла, разбойники сѣли, запѣли пѣсню и уплыли. По требованію Золина противъ Аликая было выслано войско. Солдаты три дня плутали въ лѣсу, ночью ихъ напугалъ лѣшій, и когда они, наконецъ, добрались до камня, тамъ никого не оказалось. Золинъ, не боявшійся ни Бога, ни людей, но страшившійся чорта, рѣшительно спасовалъ передъ Аликаемъ. Онъ присмирѣлъ, окружилъ себя стражей, никуда не показывался. Населеніе въ первый разъ вздохнуло свободно. Аликай открыто появлялся въ народѣ, гарцевалъ передъ господскимъ домомъ, переругивался съ казаками. Дѣло дошло до того, что ему приносились жалобы, онъ вмѣшивался въ распоряженія конторы, диктовалъ условія, наказывалъ ослушниковъ. Въ одно прекрасное утро исчезла у Золина молодая жена, которую онъ вывезъ откуда-то издалека. Она жила затворницей, какъ птица въ клѣткѣ, не видя людей. Рѣшили, что она утонула, и долго искали ее въ пруду, но Аликай прислать сказть, что она жива и находится въ сохранномъ мѣстѣ. Тутъ Золинъ еще разъ проявилъ свою страшную

энергію: сбылъ до тысячи человѣкъ народу и устроилъ на Аликаю облаву. Десять дней люди не выходили изъ лѣсу, голодали, не спали ночей; самъ Золинъ похудѣлъ, одичалъ, волосы его побѣлѣли. Обыскали всѣ окрестности, но Аликая не нашли. Когда вернулись домой, оказалось, что управительский домъ сгорѣлъ до тла. Тогда Золинъ, въ припадкѣ бѣшенства, поджегъ фабрику, магазины и контору. Огонь перебросило на обывательскіе дома, и къ вечеру отъ селенія осталось только черное дымящееся поле. Золинъ скрылся и больше никогда уже не возвращался въ заводы. Рассказываютъ, что онъ поселился въ Соловецкомъ монастырѣ, гдѣ и умеръ въ 1843 году.

— А что же Аликай?

— Онъ тоже прожилъ недолго. По разсказамъ, значительную часть своихъ сокровищъ онъ роздалъ народу. Но вскорѣ и его постигла Божья кара: захворала и умерла его любовница, жена Золина. Схоронивъ ее подъ камнемъ, Аликай поспѣдѣлъ въ одну ночь и цѣлые сутки лежалъ на ея могилѣ, какъ мертвый, потомъ распустилъ шайку, щедро наѣлись ее деньгами, остальное зарылъ, затѣмъ поднялся на вершину, бросился внизъ и разбился о камни.

— Гмъ!.. да, были нравы!—сказалъ генераль и поднялся съ мѣста.

— Да, было да прошло... и слава Богу!..

VI.

Слегка прихрамывая на лѣвую ногу, генераль вышелъ изъ палатки. За нимъ потянулось все общество.

— Какая прелестъ!—сказалъ онъ, осматриваясь кругомъ.

— Да, да!.. прелестно!..

Дамы кокетливо взирывали, заглядывая въ пропасть, на днѣ которой бѣлѣли крупные и мелкие камни, и чернѣла узкая излучина рѣки.

— Ухъ, костей не соберешь!.. Ринуться съ такой высоты — это ужасно!..

— А ночь-то, ночь!.. Ваше превосходительство, посмотрите, отъ росы лугъ кажется бѣлымъ...

— А слышите, какъ журчить рѣка... она точно лепечеть о чемъ-то...

Горѣвшій неподалеку костеръ то вспыхивалъ яркимъ пламенемъ, освѣщаю колеблющимся свѣтомъ деревья и камни, то разливая вокругъ себя ровный, багрово-зловѣщій свѣтъ. Около него копошились подростки и прислуга, приготовлявшая ужинъ. На вышкѣ скалы опять хоромъ запѣли пѣсню,

оть которой все ожило и мерцавшая въ лунномъ сияніи даль получила какой-то загадочный смыслъ.

— Очень, очень мило,—говорилъ генералъ. — Это молодежь поетъ? Очень, очень мило!..

— У насъ по лѣтамъ иногда составляется большой хоръ... Сегодня еще не всѣ.

Конюховъ, заложивъ за спину руки, длинный и прямой, какъ палка, стоялъ почти у самаго обрыва и смотрѣлъ въ даль своими безцвѣтными оловянными глазами.

— Дядя просилъ передать вамъ, — обратилась къ нему Катя,—что записка готова, остается только переписать.

Конюховъ, не мѣняя позы и все смотря куда-то въ даль, слегка качнуль головой въ знакъ того, что онъ слышитъ. Это была его обычная манера обращенія въ разговоръ съ людьми низшаго ранга.

— Завтра или послѣ завтра перепишутъ, — прибавила Катя.

— Надо прежде прочесть, что онъ тамъ написалъ,—процѣдилъ Конюховъ сквозь зубы.

— Но дядя хочетъ подать записку отъ себя.

Конюховъ удивленно приподнялъ брови, помолчалъ и, наконецъ, все смотря куда-то въ даль, произнесъ тѣмъ же ровнымъ голосомъ:

— Старикъ съ ума спятилъ. Записка должна быть подана отъ меня. Передайте ему это.

— Пожалуйста, потрудитесь передать ему сами,—сказала Катя сердито и отошла.

Конюховъ, не сдѣлавъ никакого движенія, продолжалъ стоять все въ той же позѣ.

Кто-то нашелъ большую, засохшую на корню пихту съ красной хвоей и поджегъ ее. Ослѣпительно-бѣлое пламя вихремъ взвилось кверху и съ шумомъ обняло дерево, освѣтивъ все далеко кругомъ. Небо вдругъ стало темнымъ, луна поблѣдѣла. Неожиданно и странно измѣнилась вся картина, обнаруживъ невидимыя до тѣхъ поръ подробности: сидящую въ травѣ собаку, бѣлые камни въ ложбинѣ, громаднаго роста сосну по другую сторону рва... Катя замѣтила внизу, по ту сторону ущелья, недалеко отъ тропинки, какихъ-то людей полу военного покрова и между ними въ бѣломъ кителѣ офицера. Очевидно ихъ испугалъ внезапный свѣтъ: они беспокойно задвигались и стали прятаться въ низкорослые кусты можжевельника... Пока пламя съ ревомъ пожирало сухую хвою, молодежь въ восторгѣ кричала и хлопала въ ладоши, подростки визжали, прыгали и кружились вокругъ огня. Но хвоя быстро сгорѣла, свѣтъ погасъ, и только раскаленные сучья слабо свѣтились, жалобно потрескивая, отламываясь и

падая внизъ. Кругомъ опять все потемнѣло, небо стало голубымъ, и на немъ съ прежнею яркостью свѣтила луна.

Конюховъ предложилъ подняться на самую вершину камня, откуда открывался видъ во всѣ четыре стороны. Генераль выразилъ согласіе и, хромая, но стараясь ступить твердо, пошелъ рядомъ съ нимъ. Общество зашевелилось, всѣ стали осторожно подниматься вверхъ по тропинкѣ, по осыпающимся мелкимъ камнямъ, между уродливыми глыбами скалъ, освѣщенныхъ луной.

— Подождите! — шепнула Свѣтлицыну Анна Ивановна, тихонько касаясь его руки и взглядываясь въ его лицо, покрытое черной тѣнью: — намъ надо поговорить.

Свѣтлицынъ, нахмурившись, замедлилъ шаги и пошелъ вслѣдъ за нею. Нѣсколько минутъ они шли молча, прислушиваясь къ удаляющимся голосамъ гостей. Когда голоса смолкли, Анна Ивановна остановилась, прячась въ тѣни.

— Ты сердишься? да? — сказала она, привлекая его къ себѣ.

Свѣтлицынъ молчалъ.

— Ты сердишься и нарочно ухаживаешь за Катей, чтобы позлить меня? да? Но я никогда не повѣрю, чтобы тебѣ могла нравиться эта ходячая пропись.

— Почему же?

— Фи!.. что въ ней?..

— Она мила, умна, образованна, красива...

— Она невоспитанна, груба... ведеть себя, какъ семинаристъ въ юбкѣ... Но не въ этомъ дѣло... На что ты сердишься?

— Могу тебя увѣрить, нисколько.

— Развѣ я не вижу!.. Надо тебѣ сказать, что уже всѣ замѣ чаютъ и говорятъ про насъ Богъ знаетъ что...

— Гмъ!.. и тебя это беспокоить?

— Еще бы!.. Ты странный человѣкъ! Я не понимаю, чего ты отъ меня хочешь?

— Ничего... ровно ничего.

— Нельзя же компрометировать себя...

— Конечно!

— Съ тобой невозможно говорить!.. Мы слишкомъ у всѣхъ на виду, и простая осторожность требуетъ, чтобы свиданія наши были какъ можно рѣже. Ты долженъ это признать.

— Охотно признаю.

— Перестань!.. не злись!.. въ чемъ же ты меня обвиняешь?

— Ни въ чемъ... я вполнѣ съ тобой согласенъ...

— Говори тише... вездѣ народъ... Тогда въ чёмъ же дѣло?

— Не знаю... кажется, ни въ чёмъ.

— Это несносно!... пожалуйста, не ломайся!.. Ты ревноваешь меня къ этому уроду—вотъ въ чёмъ дѣло!.. Не отпираяся, не отпираяся!.. къ этому расслабленному баричу...

— Это къ которому же?

— Ахъ, отстань!.. ты отлично знаешь, о комъ я говорю... Но долженъ же ты понять, что это нужно было для дѣла... Мой Петръ Саввичъ такой опѣхтой, а тутъ нужна дипломатія... Нужный человѣкъ... какъ же иначе?... Онъ личный секретарь князя...

Свѣтлицынъ засмѣялся.

— Чему ты?—удивилась Анна Ивановна.

— Меня забавляетъ твоя наивность... какъ все это просто: нужный человѣкъ!..

— Пожалуйста, не продолжай: я напередъ знаю, что ты скажешь... Но только это глупости... вѣдь не влюбилась же я въ этого идиota!.. Поухаживалъ да уѣхалъ... экая важность!.. За то теперь наше положеніе такъ прочно, какъ никогда... Миный мой! ты самыхъ простыхъ вещей не понимаешь, а умный человѣкъ... Всъ такъ дѣлаютъ... чего тутъ особенного?... Надо умѣть жить... Ну, не сердись же, миный...

— Ей-богу, я нисколько не сержусь.

— Нѣть, нѣть! ты здишься, развѣ я не вижу?..

Она стала ласкаться къ нему, но онъ вяло и неохотно принималъ ея ласки.

— О чёмъ ты думаешь, миный?

— Ни о чёмъ... никакихъ думъ въ головѣ... скоро совсѣмъ оглуплю... ей-Богу... Скука, все надоѣло... Я серьезно подумываю бѣжать отъ васъ.

— Какъ?—удивилась Анна Ивановна:—бѣжать? зачѣмъ?.. что значить бѣжать?

— Такъ... уѣхать.

— Куда?

— Куда глаза глядятъ.

— Какія глупости!

— Не вѣкъ же мнѣ здѣсь оставаться... надо жить, работать, учиться, пробиваться дорогу... Я еще молодъ, вся жизнь впереди, а оставаться здѣсь—значитъ зацеленѣвать, обрести мохомъ...

Анна Ивановна вдругъ замолчала.

— Скучно, здѣсь,—продолжалъ Свѣтлицынъ,—и, знаешь, противно... Удивляюсь, какъ здѣсь съ ума не сходятъ... пьяница много, а сумасшедшихъ нѣть... удивительно!.. Не жизнь

у вась, а торьма... и нравы каторжные... Воздуху нѣть, дышать нечѣмъ...

— Ты меня не любишь — вотъ что! — прошептала Анна Ивановна.—Ты разлюбилъ меня?

— Не знаю... не въ этомъ дѣло.

— Нѣть, въ этомъ, въ этомъ!.. Я не вѣрю тебѣ... ни одному твоему слову!.. Чѣмъ здѣсь нехорошо? Чего еще надо?.. Ты можешь сдѣлать карьеру... Скука... но вездѣ скуча... Можетъ быть, гдѣ-нибудь въ Парижѣ... но и тамъ скучаются... И что это за вздоръ: воздуха нѣть? Какого воздуха?.. Нѣть, нѣть! никуда ты не поѣдешь!.. Куда? Зачѣмъ?.. Какъ это глупо!.. И не отпущу я тебя, такъ и знай!

— Будто? но къ чему тебѣ меня удерживать?.. Мѣсто мое недолго останется пустымъ, я и теперь тебѣ почти не нуженъ.

— Нѣть, нуженъ, нуженъ...

Свѣтицынъ пожалъ плечами. Анна Ивановна неожиданно заплакала.

— Я безъ тебя жить не могу...

— Какой вздоръ!.. перестань, что за новости!..

— Нѣть, не вздоръ... не вздоръ!.. Милый!.. прости меня... Ну, я виновата... ну, я винюсь передъ тобой... чего же еще?.. Ахъ, эти идутъ сюда, противные!.. Отойди отъ меня... шляются, шляются—нѣть ни минуты покоя!.. Но видѣться намъ необходимо сегодня же...

— А гдѣ-жъ его превосходительство? — пыхтя, какъ паровикъ, кричали поднимавшійся въ гору заводскій лѣкарь Ожеговъ. За нимъ тяжело тащился земской врачъ Веретенниковъ. Оба были уже на второмъ возводѣ.

— Эки чортовы горы!—пробасилъ Веретенниковъ и сплюхнулся на землю въ совершенному изнеможеніи. — Уфъ!.. больше не могу!.. ноги подкашиваются... сердце стучитъ, какъ молотъ... А гдѣ же генераль и прочие?

— Впереди. Мы идемъ на вершину камня.

— Добре, добрѣ!.. А мы съ Иваномъ Осипычемъ кладъ искали... чортъ знаетъ! И вѣдь не нашли!.. И свѣтчику видѣли, и солдата на часахъ, а клада нѣть, какъ нѣть!.. Отложили до другого раза.

— Да, не везетъ намъ,—вдохнувъ, подтвердилъ Ожеговъ и сѣлъ рядомъ съ Веретенниковымъ.—Ну, и хорошо же, чортъ побери!..

— Вы не пойдете дальше?—спросила Анна Ивановна.

— Нѣть, куда тутъ!.. Сердца у насъ съ Иваномъ Осипычемъ не въ порядкѣ...

— Ну, тогда до свиданія. Идемте, Иванъ Петровичъ.

— Опять воркуютъ голубки, — сказалъ Ожеговъ, когда Свѣтлицынъ и Анна Ивановна скрылись.

— Да... лафа этому парню... какъ сыръ въ маслѣ катается... даже зависть береть... Пріѣхалъ на практику, да вогъ и застряль... второй годъ околачивается... и вѣдь мѣсто хорошее, подлецъ, занимаетъ... Рожа смазливая и ловкость!.. Что значать бабы-то, а?

— Да, братъ, бабы—онъ того... имѣютъ свое значеніе... А барынка объяденье!.. ай люли!.. и умна же... проведеть и выведеть... А тотъ пентюхъ ничего не видить... А впрочемъ, чортъ его разберетъ!.. Ты не смотри, что онъ истуканъ... тонкая штука!..

— Ну, гдѣ тамъ!.. просто осель!.. Ну-ка, не осталось ли еще пороху въ пороховницѣ?

— Есть!

— Давай!.. Выпить на чистомъ воздухѣ да при эдакой декораціи — это, братъ, я тебѣ скажу, цѣлая поэма... Ишь луна-то, чортъ ее побери! хоть письма пиши... Небось, оттуда стянуль?

— Само собой. Какъ ушли, я сейчасъ цапъ! чорта ли на нихъ смотрѣть! Не ихнія, заводскія денежки плачутъ... На генерала три тысячи ассигновано... Хо, хо!.. По крайней мѣрѣ, на свободѣ съ пріятелемъ выпить... чорта ли!.. При публикѣ-то, оно не того... важничаютъ... терпѣть не могу!.. И генераль этотъ... чучело гороховое...

— Шуть съ нимъ! ему важничать можно: генераль да еще съ особыми полномочіями...

— Изобиходять его въ лучшемъ видѣ!

— Конечно!.. вокругъ пальца обернуть... Ну-ка, еще по единой... Эка благодать-то, а?.. Посмотри вонъ тамъ... фу-ты, какая роскошь!..

— Да, братъ... и погода кстати пришла... для генерала-то... еще одно пріятное впечатлѣніе...

— Хе, хе!.. а и вѣрно... Сегодня утромъ его въ больницу ко мнѣ привозили... для пріятнаго-то впечатлѣнія... Хо, хо!..

— Ну, и что же?

— Ничего. Бутафорія у насъ чудесная: блескъ, чистота, паркетъ, простыни, орѣховая мебель... Умилился: „превосходно, говорить, — но почему же, такъ мало больныхъ?“ Время, говорю, такое, ваше превосходительство...

— Значить, больные-то всетаки были?

— А какъ же! нарочно для этого случая приспособили... долго ли!.. живымъ манеромъ... „Какой, говорить, у нихъ здоровый видъ!“ Выздоровливающіе, говорю, ваше превосходительство. А у нихъ и дощечка и скорбный листъ—всѣ какъ слѣдуетъ!..

— Молодцы! умѣете товарь лицомъ показать...

— Мы мастера на это... Ну-ка, остатки сладки, допивай, а пустую бутылку къ чорту! что въ ней въ пустой-то?.. терпѣть не могу!..

Описавъ въ воздухъ полукругъ, бутылка съ жалобнымъ звономъ покатилась внизъ. Пріятели долго прислушивались къ ея паденію.

— Ну, а воинство это зачѣмъ?—помолчавъ, спросилъ Ветренниковъ.

— Какое воинство?

— Какъ же!.. Развѣ ты не замѣтилъ?..

— Не знаю... должно быть, на всякой случай... мало ли... кляузный у насть народъ, озорной... Генерала охраняютъ... а впрочемъ, не знаю... дѣло не наше...

— А не пойти ли намъ къ студентамъ? Пѣсни болно хорошо поютъ, шельмецы.

— Что же, къ студентамъ, такъ къ студентамъ. Пѣсенки-то они воспѣваютъ, да и еще кой-чѣмъ занимаются... да-сь... извѣстно объ этомъ, извѣстно-сь...

А. Погорѣловъ.

(*Окончаніе слѣдуетъ*).

ТЕРЗАНІЯ СОВѢСТИ.

Августа Стриндберга.

Переводъ с. в.

Это было черезъ двѣ недѣли послѣ Седана, то есть въ половинѣ сентября 1870 года. Геологъ прусскаго геологическаго бюро, въ то время лейтенантъ запаса фонъ-Блейхроденъ, сидѣлъ безъ сюртука за письменнымъ столомъ въ клубномъ казино, помѣщавшемся въ лучшей гостиницѣ маленькой деревушки Марлоттъ.

Свой военный мундиръ съ жесткимъ воротникомъ онъ ебросилъ на спинку стула, гдѣ тотъ и висѣлъ теперь, вялый, безжизненный, точно трупъ, судорожно обхвативъ своими пустыми рукавами ножки стула, какъ будто защищаясь отъ нападенія. У талии виднѣлся слѣдъ, натертый портупеей, лѣвая пола лоснилась отъ ноженъ, а спина была запылена, какъ столбовая дорога. По вечерамъ господинъ лейтенантъ-геологъ по каймѣ своихъ изношенныхъ брюкъ съ успѣхомъ могъ бы научить третичныя отложенія почвы, а по слѣдамъ, оставленнымъ на полу грязными салогами ординарца, рѣшить,—пронили ли они эоценовую или пліоценовую формaciю.

По существу фонъ-Блейхроденъ былъ болѣе геологъ, чѣмъ военный; въ данную же минуту онъ просто писалъ письма.

Сдвинувъ на лобъ очки, онъ остановился съ перомъ въ руку и смотрѣлъ въ окно. Передъ нимъ разстился садъ во всемъ своемъ осеннемъ великолѣпіи: вѣтви яблонь и сливъ клонились до земли подъ бременемъ роскошныхъ плодовъ; оранжевые тыквы грѣлись на солнцѣ рядомъ съ колючими сѣровато-зелеными артишоками; огненно-красные томаты, обвиваясь вокругъ своихъ подпорокъ, подползали къ бѣлосѣжнымъ головкамъ цвѣтной капусты; подсолнечники, величиной съ тарелку, поворачивали свои диски къ востоку, откуда солнце появлялось въ долинѣ. Маленькие лѣса георгинъ бѣлыхъ, какъ только что выбѣленное полотно, пурпур-

ровыхъ, какъ кровь, грязновато-красныхъ, какъ свѣжее мясо, ярко-желтыхъ, пестрыхъ, пятнистыхъ — представляли цѣлую симфонію красокъ. За георгинами шла аллея, усыпанная пескомъ и охраняемая двумя рядами гигантскихъ левкоевъ; блѣдно сиреневые, ослѣпительные, голубовато-блѣлые, золотисто-палевые, — они уходили далеко въ перспективу, замыкавшуюся темной зеленью виноградниковъ, съ цѣлымъ лѣсомъ подпорокъ и наполовину скрытыми въ листвѣ, краснѣвшими гроздьями. А тамъ вдали бѣлесоватые стебли изъжатыхъ хлѣбовъ, съ налитыми колосьями, печально склонившимися къ землѣ, съ растрескавшейся кожицеj, при каждомъ порывѣ вѣтра возвращавшіе кормилицѣ — землѣ то, что получили отъ нея; зѣляя нива, — точно переполненная грудь матери, которую дитя перестало сосать. А въ глубинѣ, на заднемъ планѣ темнѣли верхушки дубовъ и буковые своды лѣса Фонтенебло, очертанія котораго вырисовывались тончайшими фестонами, точно старыя брабантскія кружева; косые лучи заходящаго солнца золотыми нитями пробивались сквозь ихъ узоръ. Нѣсколько пчель вились вокругъ цвѣтовъ; красношешка щебетала на яблонѣ; рѣзкій запахъ левкоевъ доносился порывами, точно изъ внезапно открываемой двери парфюмерного магазина.

Лейтенантъ сидѣлъ, задумавшись, съ перомъ въ руцѣ, очарованный прелестью картины: — „Какая чудная страна“, — думалъ онъ, и мысль его невольно переносилась къ пескамъ его родины, съ ея чахлыми, низкими соснами, простиравшимися къ небу свои корявыя вѣтви, какъ бы умоляя пески не затопить ихъ.

Чудная картина, обрамленная окномъ, время отъ времени, съ равномерностью маятника, затѣнялась ружьемъ часоваго, блестящій штыкъ котораго пересѣкалъ ее посерединѣ; содрогаться дѣлалъ поворотъ у большой груши, усыпанной прекрасными „наполеонами“. Лейтенантъ подумалъ было предложить часовому перемѣнить мѣсто, но не рѣшился. — Чтобы не видѣть сверкающаго штыка, онъ отвелъ глаза влѣво, въ сторону двора. Тамъ желѣзла стѣна кухни безъ оконъ, увитая старой узловатой виноградной лозой, которая была привязана къ ней, точно скелетъ какого нибудь млекопитающагося въ музей; лишенная листьевъ и гроздьевъ, она была мертваго, точно къ кресту крѣпко пригвожденная къ подгнившимъ шпалерамъ, стояла, вытянувъ свои длинныя жесткія руки, какъ бы пытаясь схватить въ свои призрачныя объятія часоваго, когда тотъ дѣлалъ поворотъ недалеко отъ нея.

Лейтенантъ отвернулся, и взоръ его упалъ на письменный столъ. На немъ лежало недописанное письмо къ его молодой женѣ, съ которой онъ обѣянчался четыре мѣсяца

назадъ, за два мѣсяца до начала войны.. Рядомъ съ французской картой генерального штаба лежали: „Философія безсознательнаго“, Гартмана и „Паралипомена“, Шопенгауера.

Лейтенантъ порывисто всталъ изъ-за стола и нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ. Это былъ залъ, служившій мѣстомъ сборищъ художниковъ, въ настоящее время обратившихся въ бѣгство. Стѣны были украшены ихъ произведениями,—воспоминаніями о чудныхъ дняхъ, проведенныхъ въ прекрасномъ гостепріимномъ уголкѣ, столь великодушно открывшемъ чужестранцамъ свои художественные школы и выставки. Здѣсь были другъ подлѣ друга танцующія испанки, римскіе монахи, морскіе берега Нормандіи и Бретани, голландскія вѣтряныя мельницы, норвежскія рыбачьи деревушки и швейцарскіе Альпы. Въ углу зала пріютился орѣховый мольбертъ и, казалось, старался укрыться въ тѣнѣ отъ угрожавшихъ ему штыковъ. Надъ нимъ висѣла палитра, съ пятнами полузасохшихъ красокъ, имѣвшая видъ бычачьей печени въ окнѣ мясной лавки. Огненно-красные береты, любимый головной уборъ художниковъ, выцвѣтшіе отъ пота, дождя и солнца, висѣли на вѣшалкѣ.

Лейтенантъ чувствовалъ себя здѣсь неловко, какъ будто онъ забрался въ чужую квартиру и каждую минуту ждалъ возвращенія изумленнаго хозяина. Онъ скоро прекратилъ свою прогулку и сѣлъ доканчивать письмо. Первые страницы были готовы. Онъ заключали сердечныя иаліянія горя, печаль о разлукаѣ и нѣжныя заботы; недавно онъ получилъ извѣстіе, подтвердившее его радостныя надежды стать отцомъ.

Онъ снова взялся за перо, скорѣе изъ желанія просто поговорить съ женой, чѣмъ сообщить ей что-нибудь определенное или спросить у нея о чёмъ-нибудь. Онъ писалъ:

„Такъ, напримѣръ, когда однажды, послѣ четырнадцатичасового перехода безъ пищи и питья, я подошелъ со своею ротой къ лѣсу, гдѣ мы наткнулись на покинутую повозку съ провіантомъ,—знаешь ли ты, что произошло тогда? Изголодавшіеся до послѣднихъ предѣловъ люди пришли въ неистовство и, какъ волки, набросились на пищу, а такъ какъ ея едва могло хватить на двадцать пять человѣкъ, то у нихъ дошло до рукопашной. Моя команда никто не слушалъ, а когда фельдфебель съ саблей въ рукахъ наступалъ на нихъ,—они ружейными прикладами сшибали его съ ногъ. Шестнадцать человѣкъ раненыхъ и полумертвыхъ осталось на мѣстѣ. Тѣ же, кому досталась пища, Ѳли такъ жадно, что задали на землю, гдѣ тотчасъ засыпали. Это были люди, шедшіе противъ людей, дикие звѣри, дравшіеся изъ-за пищи.

„Или въ другой разъ: получили мы приказъ немедленно устроить палисадъ.

„Въ белѣсной странѣ мы не располагали ничѣмъ, кроме виноградныхъ лозъ и ихъ подпорокъ. Возмутительная картина! Въ одинъ часъ были опустошены всѣ виноградники; чтобы связать фашины, вырывались лозы съ листьями и гроцдьами, совсѣмъ мокрыя отъ раздавленнаго, полуспѣлаго винограда. Говорять, это были сорокалѣтніе виноградники. А мы въ одинъ часъ уничтожили результаты сорокалѣтнихъ трудовъ! И это для того, чтобы, находясь въ безопасности, стрѣлять въ тѣхъ, кто развелъ эти виноградники!..

„А когда мы перестрѣливались на не скошенномъ шпеничномъ полѣ,—зерна сыпались къ нашимъ ногамъ, а колосья приминались къ землѣ, чтобы сгнить при первомъ дождѣ... Какъ по твоему, моя дорогая,—можно ли послѣ такихъ поступковъ уснуть спокойно? Между тѣмъ, вѣдь я только исполняю свой долгъ. А вѣдь есть люди, которые осмѣливаются утверждать, что лучшей подушкой служить сознаніе исполненнаго долга?!..

„Но мнѣ предстоитъ вѣчно лучшее! Ты, можетъ быть, слыхала, что французскій народъ для усиленія своей арміи поднялся массами и образовалъ вольные отряды, которые подъ именемъ „вольныхъ стрѣлковъ“ стараются охранять свои дома и поля. Пруссское правительство не захотѣло признать ихъ солдатами и угрожало при встрѣчѣ разстрѣливать ихъ, какъ шпіоновъ и измѣнниковъ! Оно основывается на томъ, что войну ведутъ государства, а не индивидуумы. Но развѣ солдаты не индивидуумы? И развѣ эти стрѣлки не солдаты? У нихъ сѣрая форма, какъ у стрѣлковъ, а вѣдь солдатомъ дѣлается мундиръ. „Но они не состоять въ спискахъ арміи“—возражаютъ на это! Да, они не состоять въ спискахъ арміи, потому что у правительства не было времѣни записать ихъ. Трехъ такихъ стрѣлковъ я держу сейчасъ подъ арестомъ въ сосѣднемъ билліардномъ залѣ и каждую минуту ожидаю изъ главнаго штаба рѣшенія ихъ судьбы!..“

На этомъ лейтенантъ прервалъ свое письмо и позвонилъ къ ординарцу, находившемуся на посту въ трактирѣ. Черезъ минуту ординарецъ предсталъ предъ лейтенантомъ.

— Что плѣнныя?— спросилъ фонъ-Блейхроденъ.

— Ничего, господинъ лейтенантъ; они играютъ на билліардѣ и въ самомъ хорошемъ расположеніи духа.

— Дайте имъ нѣсколько бутылокъ бѣлаго вина, только самого легкаго! Все въ порядкѣ?

— Все, господинъ лейтенантъ. Не будетъ ли приказаній? Фонъ-Блейхроденъ продолжалъ письмо:

„Что за странный народъ эти французы! Три стрѣлка, е

которыхъ я упоминаль и которые, вѣроятно (говорю вѣроятно, потому что еще надѣюсь на лучшій исходъ), черезъ нѣсколько дней будуть приговорены къ смерти,—спокойно играютъ на билліардѣ въ соседней комнатѣ, и я слышу удары ихъ кіевъ о шары. Какое веселое преврѣніе къ жизни! Но вѣдь въ сущности это прекрасно—умѣть такъ умирать! Или, быть можетъ, это доказываетъ только, что жизнь имѣть слишкомъ мало цѣны, если такъ легко разстаться съ ней.

„Я думаю, что если бы не было такихъ дорогихъ узъ, какъ у меня, заставляющихъ дорожить существованіемъ... Но ты, конечно, поймешь меня и вѣришь, что я считаю себя связаннымъ... Впрочемъ, я самъ не понимаю, что пишу, — я уже много ночей не спалъ, и голова у меня...“

Кто-то постучалъ въ дверь. На отвѣтъ лейтенанта „войдите“, дверь отворилась, и вошелъ деревенскій священникъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти съ печальнымъ и привлекательнымъ, но въ высшей степени рѣшительнымъ лицомъ.

— Господинъ лейтенантъ, — началъ онъ, — я пришелъ проинтъ разрѣшенія поговорить съ пѣянными.

Лейтенантъ всталъ и, приглашая священника занять мѣсто на диванѣ, надѣлъ свой военный мундиръ. Но когда онъ застегнулъ свой узкій сюртукъ, и шею его сжалъ, какъ въ тискахъ, тугой воротникъ, онъ почувствовалъ, что всѣ его благородные порывы стѣснены, и кровь въ своихъ таинственныхъ путяхъ къ сердцу остановилась.

Прислонившись къ столу и положивъ руку на Шопенгауера, онъ сказалъ:

— Къ вашимъ услугамъ, господинъ курѣ, но я не думаю, чтобы пѣянные удѣлили вамъ много вниманія: они очень заняты своей партіей.

— Я думаю, господинъ лейтенантъ, что я лучше васъ знаю свою паству! Одинъ только вопросъ: намѣрены ли вы разстрѣлять этихъ юношей?

— Разумѣется! — отвѣтилъ фонъ-Блейхроденъ, совершенно входя въ свою роль. — Вѣдь войну ведутъ государства, господинъ курѣ, а не отдельныя личности.

— Извините, господинъ лейтенантъ, стало быть, вы и ваши солдаты не отдельныя личности?

— Извините, господинъ курѣ, въ настоящую минуту — быть!

Онъ положилъ письмо къ своей женѣ подъ бюварь и продолжалъ:

— Въ настоящую минуту я только представитель союзныхъ государствъ Германіи.

— Вѣроятно, господинъ лейтенантъ, ваша милостивая ко

ролева, да хранить ее Господь вовѣки, тоже была представительницей союзныхъ государствъ Германіи, когда обратилась къ нѣмецкимъ женщинамъ съ воззваніемъ оказывать помощь раненымъ? И я знаю тысячи французскихъ отдельныхъ личностей, благословляющихъ ее, въ то время, какъ французская нація проклинаетъ ея націю. Господинъ лейтенантъ, во имя Христа (при этихъ словахъ священникъ всталъ, схватилъ руки врага и продолжалъ со слезами въ голосѣ): представьте это дѣло на ея усмотрѣніе!

Лейтенантъ былъ смущенъ, но вскорѣ оправился и сказалъ:

— У насъ женщины еще не вмѣшиваются въ политику.
— Жаль,— отвѣтилъ священникъ, выпрямляясь.

Лейтенантъ, казалось, прислушивался къ чему-то за окномъ и потому не обратилъ вниманія на отвѣтъ священника. Онъ былъ взволнованъ и блѣденъ, и даже тугой воротникъ не могъ болѣе вызвать прилива крови.

— Садитесь, пожалуйста, господинъ кюре, — говорилъ онъ машинально.— Вы можете, если вамъ угодно, говорить съ плѣнными; но посидите, пожалуйста, еще одну минуту! — Онъ снова прислушался: теперь уже отчеливѣ раздавались удары копытъ лошади, приближавшейся рысью.

— Нѣть, нѣть, не уходите еще, господинъ кюре, — говорилъ онъ, задыхаясь. Священникъ стоялъ. Лейтенантъ высунулся, насколько могъ, въ окно. Топотъ копытъ все приближался, замедляясь, переходя въ шагъ и, наконецъ, прекратился. Звяканье сабли и шпоръ, стукъ шаговъ — и фонъ-Блейхроденъ держитъ въ рукахъ пакетъ. Онъ вскрылъ его и прочелъ бумагу.

— Который часъ? — проговорилъ онъ, спрашивая самого себя.— Шесть! Итакъ, черезъ два часа, господинъ кюре, плѣнны будуть разстрѣляны безъ суда и слѣдствія.

— Это невозможно, господинъ лейтенантъ, такъ не отправляютъ людей на тотъ свѣтъ!

— Такъ или не такъ,—приказъ гласить: все должно быть покончено до вечерней молитвы, если я не хочу, чтобы меня сочли за соучастника вольныхъ стрѣлковъ. Я уже получилъ строгій выговоръ за то, что не исполнилъ приказа еще 31 августа. Господинъ кюре, идите, объявите имъ... избавьте меня отъ непріятности...

— Вамъ непріятно сообщить имъ законный приговоръ?

— Но вѣдь я тоже человѣкъ, господинъ кюре! Вы же вѣрите?

Онъ сорвалъ съ себя сюртукъ, чтобы свободнѣе дышать, и быстро зашагалъ по комнатѣ.

— Почему не можемъ мы всегда оставаться людьми? От-

чего мы должны быть двойственными? О! Господинъ часторъ, пойдите и объявите имъ! Семейные они люди? Есть у нихъ жены, дѣти? Быть можетъ, родители?..

— Всѣ трое холосты,—отвѣтилъ священникъ.—Но, по крайней мѣрѣ, эту ночь вы можете имъ подарить?!

— Невозможно! приказъ гласить: до вечера, а на разсвѣтъ мы должны выступить. Идите къ нимъ, господинъ кюра, идите!

— Я пойду! Но не забудьте, господинъ лейтенантъ, что вы бѣзъ сюртука, не вадумайте выйти: вѣсъ можетъ постичь участъ тѣхъ троихъ, потому что вѣдь только мундиръ дѣлаетъ солдатомъ.

Священникъ вышелъ.

Фонъ Блейхроденъ въ возбужденномъ состояніи дописывалъ послѣднія строки письма.

Затѣмъ, запечатавъ его, онъ позвонилъ вѣстового.

— Отправьте это письмо,—сказалъ онъ вошедшему, — и пошлите ко мнѣ фельдфебеля.

Фельдфебель вошелъ.

— Трижды три—двадцать девять, нѣть, трижды семь...— Фельдфебель, возьмите трижды... возьмите двадцать семь человѣкъ и черезъ часъ разстрѣляйте плѣнныхъ. Вотъ приказъ!

— Разстрѣлять?..—нерѣшительно переспросилъ фельдфебель.

— Да, разстрѣлять! Выберите людей похуже, уже бывшихъ въ огнѣ. Понимаете? Напримѣръ № 86 Бесселя, № 19... и потише! Кроме того, немедленно снарядите мнѣ отрядъ въ шестнадцать человѣкъ. Самыхъ лучшихъ ребятъ! Мы отправимся на рекогносцировку въ Фонтенебло, и къ нашему возвращенію все должно быть кончено. Вы поняли?

— Шестнадцать человѣкъ для господина лейтенанта, двадцать семь—для плѣнныхъ. Счастливо оставаться, господинъ лейтенантъ!

Онъ вышелъ.

Лейтенантъ тщательно застегнулъ сюртукъ, надѣлъ портупею, сунулъ въ карманъ револьверъ. Затѣмъ вожегъ сигару, но рѣшительно не въ силахъ былъ курить: онъ задыхался, ему не хватало воздуха.

Онъ тщательно вытеръ пыль съ письменного стола, обмакнулъ носовымъ платкомъ большія ножницы и спичечницу; положилъ параллельно линейку и ручку, подъ прямымъ угломъ къ бювару. Потомъ сталъ приводить въ порядокъ мебель. Покончивъ съ этимъ, онъ вынулъ гребенку, щетку и причесалъ передъ зеркаломъ волосы. Онъ снялъ со стѣны налитру, изслѣдовала краски; рассматривалъ красный шапки

и попробовалъ поставить поустойчивѣе двуногій мольбертъ. Къ тому времени, когда на дворѣ послышалось бряцанье ружей, въ комнатѣ не оставалось ни одного предмета, который не побывалъ бы въ рукахъ лейтенанта. Затѣмъ онъ вышелъ. Онъ скомандовалъ: „Налѣво-кругомъ“ — и направился изъ деревни... Онъ точно бѣжалъ отъ настигавшаго его непріятеля, и отрядъ съ трудомъ поспѣвалъ за нимъ. Выйдя въ поле, онъ приказалъ своимъ людямъ идти гуськомъ другъ за другомъ, чтобы не топтать травы. Онъ не поворачивался, но шедшій позади его могъ видѣть, какъ судорожно съеживалось сукно на спинѣ его сюртука, какъ онъ вздрагивалъ, точно ожидая удара сзади.

На опушкѣ лѣса онъ скомандовалъ: стой! — и приказалъ солдатамъ не шумѣть и отдохнуть, пока онъ пройдетъ въ лѣсъ.

Оставшись наединѣ и убѣдившись, что его никто не видѣть, онъ перевелъ духъ и повернулся къ лѣсной чащѣ, сквозь которую узкія тропинки вели къ „Волчemu ущелью“. Низкая лѣсная поросль и кусты были уже окутаны мракомъ, а вверху, надъ макушками дубовъ и буковъ, еще сіяло яркое солнце. Фонъ-Блейхродену казалось, что онъ лежитъ на мрачномъ днѣ озера и сквозь зелень воды видить дневной свѣтъ, до которого ему ужъ не добраться никогда. Величественный чудный лѣсъ, дѣйствовавшій прежде такъ цѣльно на его болѣйшую душу, былъ сегодня не гармониченъ, непріятенъ, холоденъ.

Жизнь представлялась теперь фонъ-Блейхродену такой жестокой, противорѣчивой, полной двойственности, безрадостной даже въ безсознательной природѣ. Даже здѣсь, среди растеній, велась та же страшная борьба за существованіе, хотя и бескровная, но не менѣе жестокая, чѣмъ въ одуванчикахъ мірѣ. Онъ видѣлъ, какъ маленькие буки разростались въ рощицы, чтобы убить нѣжную поросль дубка, которая теперьничѣмъ инымъ, кромѣ поросли, не можетъ быть. Изъ тысячи буковъ едва одному удастся пробраться къ свѣту и, благодаря этому, превратиться въ великана, чтобы въ свою очередь отнимать жизнь у другихъ. А безпощадный дубъ, протягивавшій свои узловатыя грубыя руки, какъ бы желая захватить все солнце для себя одного, — изобрѣлъ еще подземную борьбу. Онъ разсыпалъ свои длинные корни по всѣмъ направленіямъ, подрывалъ землю, поглощая всѣ питательныя вещества и, если ему не удавалось уничтожить своего противника лишенiemъ свѣта, — онъ умерщвлялъ его голодной смертью. Дубъ убилъ уже сосновый лѣсъ; за то буки являлись истителемъ, дѣйствовавшимъ медленно, но вѣрно: его ядовитые соки убивали все тамъ, где онъ царилъ.

Онъ изобрѣлъ непреодолимый способъ отравленія: никакая трава не могла рости въ его тѣни, земля вокругъ него была мрачна, какъ могила, и потому будущее принадлежало ему.

Фонъ-Блейхроденъ шелъ все дальше и дальше. Безсознательно сбивалъ онъ саблей молодую поросль вокругъ себя, не думая о томъ, какъ много юныхъ надеждъ разбивалъ онъ, сколько обезглавленныхъ калѣкъ оставлялъ за собой. Едва ли онъ даже способенъ былъ о чёмъ-нибудь думать: такъ глубоко потрясена была вся его душа. Мысли его, пытавшіяся сосредоточиться, прерывались, расплывались.

Воспоминанія, надежды, злоба, различныя смутныя чувства и единственное яркое — ненависть къ предразсудкамъ, которые необъяснимымъ путемъ управляютъ міромъ, — расплывались въ его мозгу, объятомъ внутреннимъ огнемъ.

Вдругъ лейтенантъ вздрогнулъ и остановился: отъ деревни Марлоттъ долеталъ шумъ, разносившійся по полямъ и усиливавшійся въ подземныхъ ходахъ Волчьей долины. Это было барабанъ! Сначала продолжительная дробь: трррррррромъ! И затѣмъ ударъ за ударомъ, тяжелые, глухіе, разъ-два, — какъ будто заколачивали крышу гроба. — Тррро-тррромъ. Тром-тррромъ! Онъ вынулъ часы. Три четверти восьмого... Черезъ четверть часа все будетъ кончено. Онъ подумалъ было вернуться и увидѣть все своими глазами. Но вѣдь онъ убѣжалъ! Ни за что на свѣтѣ онъ не могъ бы видѣть это. Онъ валѣзъ на дерево.

Онъ увидалъ деревню, такую пріятливую съ ея маленькими садиками и съ колокольней, возвышавшейся надъ крышами домовъ. Больше онъ ничего не видѣлъ. Онъ держалъ въ рукахъ часы и слѣдилъ за секундной стрѣлкой. Пикъ, пикъ, пикъ, пикъ! Она бѣгала вокругъ циферблата такъ быстро, быстро. Длинная минутная стрѣлка, пока маленькая описывала кругъ, дѣлала только толчекъ, а часовая казалась совсѣмъ неподвижной.

Было безъ пяти минутъ восемь. Фонъ-Блейхроденъ крѣпко ухватился за обнаженный черный сукъ бука. Часы дрожали у него въ рукахъ, пусть громко стучалъ, отдаваясь въ ушахъ, и онъ чувствовалъ жѣрь у корней волосъ. — Крр-рахъ! — раздалось вдругъ, точно треснула доска, и надъ деревней, поверхъ черныхъ шиферныхъ крышъ и бѣлой яблони, поднялся синеватый дымокъ, прозрачный, какъ весеннее облачко, а надъ нимъ взвилось кольцо, два кольца, много колецъ, какъ будто стрѣляли въ голубей, а не въ стѣну.

— Они не такъ жестоки, какъ я думалъ, — подумалъ онъ, спускаясь съ дерева и нѣсколько успокоившись послѣ того, какъ все уже было кончено. Теперь раздался звонъ малень-

каго деревенского колокола, заупокойный звонъ за душу умершихъ, которые исполнили свой долгъ, а не за живыхъ, исполняющихъ его.

Солнце съло, и блѣдный мѣсяцъ, стоявшій въ небѣ, начинать уже краснѣть, становясь все ярче и ярче, когда лейтенантъ со своимъ отрядомъ зашагалъ къ Монкуру, преслѣдуемый звономъ маленькаго колокола. Солдаты вышли на немурское шоссе, и эта дорога, съ двумя рядами тополей, казалась нарочно устроенной для похода. Они продолжали свой путь, пока не спустилась густая тьма, а въ небѣ ярко не засиялъ мѣсяцъ. Въ послѣдней шеренгѣ начали уже перешептываться, тихонько совѣщаясь, не попросить ли унтеръ-офицера намекнуть лейтенанту, что мѣстность не безопаснѣ и что необходимо вернуться на квартиры, чтобы успѣть завтра съ разсвѣтомъ выступить,—какъ вдругъ фонъ-Блейхроденъ совершенно неожиданно скомандовалъ остановиться. Расположились на возвышенности, съ которой можно было видѣть Марлоттъ. Лейтенантъ остановился, какъ вкопанный, точно охотничья собака, наткнувшаяся на ствол куропатокъ. Снова раздался барабанный бой. Затѣмъ въ Монкурѣ пробило девять часовъ; потомъ часы пробили въ Грецѣ, Бурѣ, въ Немурѣ; всѣ маленькие колокола звонили къ вечернѣ, одинъ звонче другого, но всѣхъ ихъ заглушалъ колоколь Марлотта, какъ бы крича: помогите! помогите! помогите! Блейхроденъ не могъ помочь. Теперь раздавался гулъ вдоль земли, какъ будто выходя изъ ея нѣдра: это была ночная перестрѣлка въ главной квартирѣ близъ Шалона.

А сквозь легкій вечерній туманъ, разстилавшійся, точно вата, вдоль маленькой рѣчки, прорывался лунный свѣтъ и, освѣщая рѣчку, бѣгущую изъ темнаго лѣса Фонтенебло, который возвышался подобно вулкану, дѣлалъ ее похожей на потокъ лавы.

Вечеръ томительно жаркій, но лица людей такъ блѣдны, что летучія мыши, снующія вокругъ, задѣваютъ ихъ, какъ они обыкновенно дѣлаются при видѣ чего-нибудь бѣлаго.. Всѣ знали, о чёмъ думаетъ лейтенантъ, но они никогда не видали его такимъ страннымъ и боялись, что не все обстоитъ благополучно съ этой безцѣльной рекогносировкой на большой дорогѣ.

Наконецъ, унтеръ-офицеръ рѣшился подойти къ лейтенанту и отрапортовать, что уже пробили зорю; Блейхроденъ покорно выслушалъ донесеніе, какъ принимаютъ приказы, и скомандовалъ возвращеніе.

Когда, чистъ спустя, они вошли въ первую улицу деревни Марлоттъ, унтеръ-офицеръ замѣтилъ, что правая нога лей-

лейтенанта не сгибается въ колѣнѣ, и онъ идеть не ровно, точно сѣйной.

На площади люди были распущены по домамъ безъ молитвы, и лейтенантъ исчезъ.

Ему не хотѣлось сейчасъ же идти къ себѣ. Что-то влекло его, куда?—онъ самъ не зналъ... Онъ ходилъ кругомъ, какъ ищечка, съ широкораскрытыми глазами и раздутыми ноздрями. Онъ осматривалъ стѣны и слышалъ хорошо знакомый ему запахъ.

Но онъ ничего не видѣлъ и не встрѣтилъ никого. Онъ ходилъ и вмѣстѣ боялся увидѣть, гдѣ это произошло.

Наконецъ, онъ почувствовалъ усталость и направился къ себѣ. На дворѣ онъ остановился, затѣмъ обошелъ вокругъ кухни. Тамъ онъ наткнулся на фельдфебеля и, при видѣ его, до того испугался, что долженъ быть ухватиться за стѣну. Фельдфебель тоже былъ испуганъ, но скоро оправился и сказалъ:

— Я искалъ господина лейтенанта, чтобы доложить...

— Хорошо, хорошо! Все въ порядкѣ?.. Отправляйтесь къ себѣ и ложитесь спать!—отвѣтилъ фонъ-Блейхроденъ, боясь усомнѣвать подробности.

— Все въ порядкѣ, господинъ лейтенантъ, но...

— Хорошо! Ступайте, ступайте, ступайте!..—онъ говорилъ такъ торопливо, что фельдфебель не имѣлъ возможности вставить слово: каждый разъ, какъ онъ раскрывалъ ротъ,—цѣлый потокъ рѣчей лейтенанта выливался на него. Въ концѣ концовъ фельдфебелю это надоѣло, и онъ пошелъ къ себѣ.

Фонъ-Блейхроденъ перевѣль духъ, и ему стало весело, какъ мальчишкѣ, который избѣжалъ наказанія... Теперь онъ былъ въ саду. Мѣсяцъ ярко освѣщалъ желтую кухонную стѣну, и виноградная лоза вытягивала свою изсохшую коряжавую руку. Но что это? Часа два тому назадъ она была совсѣмъ мертва, лишена листьевъ; торчалъ одинъ только сѣрый оставъ, изгибавшійся въ конвульсіяхъ, а теперь на ней висѣли чудныя красныя гроздья и стволъ позеленѣлъ? Онъ подошелъ поближе, чтобы убѣдиться, та ли это лоза. Подходя къ стѣнѣ, онъ ступилъ во что-то мягкое и узналъ удушливый, противный запахъ, напоминавшій мясную лавку. Теперь онъ увидѣлъ, что это та самая виноградная вѣтвь, но только штукатурка на стѣнѣ надѣй ней пробита и обрызгана кровью. Такъ это было здѣсь! Здѣсь произошло это!..

Онъ сейчасъ же ушелъ. Войдя въ сѣни, онъ споткнулся: что-то скользкое пристало къ его ногамъ. Онъ снялъ въ сѣняхъ сапоги и выбросилъ ихъ на дворѣ. Затѣмъ онъ отправился въ свою комнату, гдѣ на столѣ былъ приготовленъ

ему ужинъ. Онъ чувствовалъ страшный голодъ, но не могъ ъсть: онъ стоялъ и пристально смотрѣлъ на накрытый столъ. Все было такъ аппетитно приготовлено: комъ масла такой нѣжный, бѣлый, съ красной редиской, воткнутой посрединѣ; ослѣпительной бѣлизны скатерть, красная мѣтка которой,—онъ это замѣтилъ,—не соотвѣтствовала именамъ его и его жены; круглый козій сыръ такъ заманчиво красовался на темныхъ виноградныхъ листьяхъ, какъ будто рукой, приготавлившей все это, водилъ не одинъ только страхъ; прекрасный бѣлый хлѣбъ, красное вино въ граненомъ графинѣ, тонкие ломтики розоватаго мяса,—все, казалось, было разставлено дружеской, заботливой рукой. Но фонъ-Блейхроденъ не рѣшался прикоснуться къ пищѣ.

Вдругъ онъ схватилъ колокольчикъ и позвонилъ. Тотчасъ же вошла хозяйка и молча остановилась у двери. Она смотрѣла себѣ подъ ноги и ждала приказаний. Лейтенантъ не зналъ, что ему надо было, и не помнилъ, зачѣмъ онъ позвонилъ. Но нужно было что-нибудь сказать.

— Вы сердитесь на меня?—спросилъ онъ.

— Нѣть, сударь,—спокойно отвѣтила женщина.—Вамъ что-нибудь угодно?—И она снова смотрѣла себѣ подъ ноги.

Лейтенантъ посмотрѣлъ внизъ, желая узнать, что привлекаетъ ея вниманіе, и замѣтилъ, что онъ стоить въ однихъ носкахъ, а поль испещренъ пятнами, красными пятнами съ отпечаткомъ пальцевъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ носки были прорваны, отъ продолжительной ходьбы въ теченіе дня.

— Дайте мнѣ вашу руку, добрая женщина,—сказалъ онъ, протягивая ей свою.

— Нѣть!—отвѣтила она, смотря ему прямо въ глаза, и вышла.

Послѣ этого оскорблѣнія къ лейтенанту, казалось, вернулось мужество; онъ взялъ стуль, рѣшившись приняться за ъду. Онъ придинулъ къ себѣ блюдо съ мясомъ, но отъ одного его запаха—ему стало тошно. Онъ всталъ, открылъ окно и выбросилъ на дворъ все блюдо. Дрожь охватила всѣ его члены, и онъ чувствовалъ себя совершенно болѣннымъ. Глаза его были такъ чувствительны: свѣтъ беспокоилъ ихъ, и яркіе цвѣта раздражали. Онъ выбросилъ графину съ виномъ, выпнулъ красную редиску изъ масла; красные береты художниковъ, палитры, рѣшительно все красное полетѣло за окно. Затѣмъ онъ легъ на кровать. Глаза его, не смотря на усталость, не смыкались. Такъ пролежалъ онъ нѣкоторое время, пока не послышались чьи-то голоса въ трактире. Онъ не хотѣлъ вслушиваться, но слухъ его невольно улавливалъ разговоръ двухъ унтеръ-офицеровъ за пивомъ.

Они говорили:

— Два, что пониже, были молодцы, а длинный—слабъ.

— Нельзя еще сказать, что онъ слабъ потому только, что онъ свалился, какъ снопъ; вѣдь онъ же просилъ привезти его къ шпалерамъ, такъ какъ ему хотѣлось умереть стоя,—говорилъ онъ.

— Но другіе стояли же, чортъ побери, скрестивъ на груди руки, точно съ нихъ портретъ писали!

— Да, но когда священникъ вошелъ къ нимъ въ биллардную и объявилъ, что все кончено,—всѣ трое такъ и упали среди комнаты; такъ фельдфебель говорилъ... Но они не проронили слезы и не закинулись о помилованіи!

— Да, молодцы были... Твое здоровье!

Блейхроденъ зарылъ голову въ подушки и заткнулъ уши простыней. Но тотчасъ же онъ снова всталъ. Какая-то сила влекла его къ двери, за которой сидѣли собесѣдники. Онъ хотѣлъ слышать дальше, но теперь люди говорили тихо. Онъ прокрался впередъ и, упершись спиной въ правый уголъ, приложилъ ухо къ замочной скважинѣ и слушалъ.

— А смотрѣть ты на нашихъ ребята. Лица у нихъ стали сѣрыя, вотъ какъ пепель въ моей трубкѣ? Многіе стрѣляли въ воздухъ. Но, нечего ужъ говорить: тѣ всетаки получили, что имъ слѣдовало. Теперь они вѣсятъ на нѣсколько фунтовъ больше прежняго! Право, мы, точно по дроздамъ, стрѣляли въ нихъ.

— Видѣлъ ты этихъ птичекъ съ красными шейками? Когда раздавался выстрѣлъ, ихъ шейки мелькали, какъ пламя, когда снимаются со свѣчки, и онъ катались по грядамъ гороха, хлопая крыльями и вытаращивъ глаза! А потомъ эти старухи! О!.. Но... но ничего не подѣлаешь — война! Твое здоровье!

Этого было достаточно. Мозгъ, переполненный кровью, усиленно работалъ, и фонъ-Блейхроденъ не могъ уснуть. Онъ вышелъ въ столовую и попросилъ солдатъ уйти. Затѣмъ онъ раздѣлся, окунулъ голову въ умывальный тазъ, взялъ Шопенгауера, легъ и началъ читать. Съ лихорадочно бьющимся пульсомъ читалъ онъ: „рожденіе и смерть одинаково ириналлежатъ жизни и сохраняютъ равновѣсіе, какъ взаимный договоръ, или какъ противоположные полюсы всей совокупности жизненныхъ явлений. Мудрѣйшая изъ миѳологии—индійская, выражаетъ это тѣмъ, что именно богу, символизирующему разрушеніе, смерть, — именно Шивѣ, вмѣстѣ съ ожерельемъ изъ мертвыхъ головъ, даетъ, какъ атрибутъ, эмблему творческой силы. Смерть, это—мучительное распутываніе узла, завязанного при зачатіи въ наслажденії; она—насильственное разрушеніе коренной ошибки нашего существованія; она—освобожденіе отъ иллюзій“.

Онъ выронилъ книгу, услышавъ вдругъ, что кто-то при-
чить и бьется въ его постели.

Кто это лежитъ на кровати? Онъ увидѣлъ фигуру, у ко-
торой животъ былъ сведенъ судорогой и грудная клѣтка
сжата вчетверо; странный глухой голосъ раздавался изъ
подъ простыни.

Но вѣдь это было его тѣло. Развѣ онъ раздвоился, что
онъ видѣть и слышитъ себя самого, какъ постороннее лицо? Крикъ продолжался.

Дверь отворилась, и вошла женщина, вѣроятно, постучав-
шись предварительно.

— Что прикажете, господинъ лейтенантъ? — спросила она
съ горящими глазами и особенной усмѣшкой на губахъ.

— Я? — отвѣтила больной, — ничего! Но онъ, кажется, очень
боленъ, и ему нуженъ докторъ.

— Здѣсь нѣть доктора, но господинъ кюре помогаетъ
намъ въ случаѣ надобности, — отвѣтила женщина, переставъ
улыбаться.

— Въ такомъ случаѣ пошлите за нимъ, — сказалъ лейте-
нантъ, — хотя онъ не любить поповъ.

— Но когда онъ боленъ — онъ ихъ любить! — сказала
женщина и скрылась.

Священникъ вошелъ и, подойдя къ постели, ваялъ руку
больного.

— Какъ вы думаете, что съ нимъ? — спросилъ больной. —
Чѣмъ онъ боленъ?

— Мученіями совѣсти, — былъ короткій отвѣтъ свя-
щенника.

Блѣхроденъ вскочилъ.

— Мученіями совѣсти, оттого что онъ исполнилъ свой
долгъ?

— Да, — сказалъ священникъ, обвязывая мокрымъ поле-
тенцемъ голову больного. — Выслушайте меня, если вы еще
вѣ состояніи это сдѣлать. Вы приговорены. Васъ ждеть жре-
бій, болѣе ужасный, чѣмъ тотъ, который выпалъ на долю
тѣхъ троихъ! Слушайте хорошенъко! Мнѣ знакомы эти симп-
томы: вы на границѣ безумія. Попытайтесь продумать эту
мысль до конца! Вдумайтесь пристально, и вы почувствуете,
какъ мозгъ вашъ проясняется, приходить въ порядокъ. Смо-
трите мнѣ прямо въ лицо и слѣдите, если можете, за моими
словами. Вы раздвоились! Вы рассматриваете часть себя, какъ
другое, или третье лицо! Какимъ образомъ пришли вы къ
этому? Видите ли, это *общественная ложь раздваиваетъ насъ*.
Когда вы сегодня писали къ вашей женѣ, вы были одинъ
человѣкъ, настоящій, простой, добрый, а когда говорили со
мной — вы [были совсѣмъ другой! Какъ актеръ утрачиваетъ

свою индивидуальность и становится конгломератомъ ролей,—такъ общественный человѣкъ представляетъ собою, по меньшей мѣрѣ, два лица. И пока душа не разорвется отъ какого-нибудь внутренняго потрясенія, возвужденія,—обѣ природы живутъ въ человѣкѣ бокъ о бокъ... Я вижу на полу книгу, которая мнѣ тоже знакома. Это былъ глубокій мыслитель, быть можетъ, самый глубокій, какой былъ на свѣтѣ. Онъ постигъ зло и ничтожество земной жизни, какъ будто бы самъ Богъ вразумилъ его, но это не помѣщало ему стать двойственнымъ, потому что жизнь, рожденіе, привычки, человѣческія слабости — влекутъ назадъ. Вы видите — я читалъ и другія книги, кромѣ моего требника. И я говорю, какъ врачъ, а не какъ священникъ, потому что мы оба—слѣдите за мной хорошенько—понимаемъ другъ друга! Вы думаете, я не чувствую проклятія двойственной жизни, которую я веду? Правда, меня не обуреваютъ сомнѣнія въ религіозныхъ вопросахъ, потому что религія вошла въ плоть и кровь мою. Но, милостивый государь, я знаю, что, говоря такъ, я говорю не во имя Божье. Ложью заражаемся мы еще въ утробѣ матери, впитываемъ ее съ материнскимъ молокомъ, и кто при современныхъ условіяхъ захочетъ сказать правду, всю правду, тутъ... да... да... Въ состояніи вы слѣдить за мной?

Больной жадно вслушивался и, въ продолженіе всей рѣчи священника, не спускалъ съ него глазъ.

— Теперь перейдемъ въ вамъ,—продолжалъ кюре,—естѣ на свѣтѣ маленькой предатель съ факеломъ въ рукахъ, амуръ съ корзиной розъ, сѣющій ложь жизни; это ангель Лжи и имя его—Красота. Язычники въ Греціи почитали его, цари всѣхъ временъ и народовъ поклонялись ему, потому что онъ ослѣпляетъ людей, не позволяя видѣть вещи въ настоящемъ ихъ видѣ. Онъ проходитъ черезъ всю жизнь и обманываетъ,—обманываетъ безъ конца.

Зачѣмъ вы, воины, одѣваетесь въ красивыя одежды съ позолотой, въ яркіе цвѣта? Для чего дѣлаете вы свое страшное дѣло подъ музыку и съ развѣвающимися знаменами? Не для того ли, чтобы скрыть то, что остается позади васъ? Если бы вы любили истину, вы бы носили бѣлыя блузы, какъ мясники, для того, чтобы кровавыя пятна были замѣтны; вы бы ходили съ топорами и ножами, какъ рабочіе на бойняхъ, съ ножами, липкими отъ жира, съ которыхъ каплетъ кровь. Вместо оркестра музыки, вы гнали бы передъ собой олпу воюющихъ людей, обезумѣвшихъ отъ одного вида поля бранженія; вместо знаменъ, вы носили бы саваны, возили бы съ собой обозы гробовъ..

Больной, корчась въ напряженіи, судорожно складывалъ руки, грызъ пальцы. Лицо священника приняло грозный

видъ; суровый, неподвижный, исполненный ненависти, онъ продолжалъ:

— По натурѣ, ты человѣкъ добрый, и я не хочу покарать въ тебѣ злого, нѣть,—я наказываю тебя, какъ „представителя“, какъ ты себя назвалъ, и да послужить твое наказаніе предостереженіемъ другимъ! Хочешь ли ты взглянуть на эти трупы? Хочешь?

— Нѣть! ради Бога, не надо! — закричалъ больной, у которого выступилъ холодный потъ, и взмокшая рубашка пристала къ плечамъ.

— Твой испугъ доказываетъ, что ты человѣкъ и трусливъ, какъ ему подобаетъ.

Точно отъ удара бича, вскочилъ больной, обливаясь потомъ; но лицо его было спокойно, грудь дышала ровно, и холоднымъ увѣреннымъ голосомъ совсѣмъ здороваго человѣка онъ сказалъ:

— Уходи вонъ отсюда, проклятый попъ, не то ты доведешь меня до какой-нибудь глупости!

— Но я ужъ не приду, если ты меня снова призовешь,—ответилъ тотъ. — Подумай объ этомъ! Когда сонъ покинетъ тебя, подумай о томъ, что это не моя вина, а скорѣе вина тѣхъ троихъ, что лежатъ въ билліардной на столѣ...

И онъ растворилъ дверь въ билліардный залъ, откуда въ комнату больного ворвался запахъ карболовой кислоты.

— Нуахай, нуахай! Это пахнетъ не пороховымъ дымомъ, это не то, что телеграфировать домой о подобномъ случавъ: „Слава Богу, — большая побѣда: трое убитыхъ и одинъ сумасшедший“. Это не то, что сочинять привѣтственные стихи, усыпать улицы цветами, проливать слезы въ церкви. Это — кровопролитіе, убийство, слышишь ты, палачъ!

Блейхрденъ вскочилъ съ постели и бросился въ окно, гдѣ былъ подхваченъ людьми; онъ пытался кусать ихъ, но былъ связанъ и отправленъ въ походный лазаретъ главной квартиры, а оттуда — въ виду выяснившагося острого помѣтельства — препровожденъ въ больницу.

Было солнечное утро въ концѣ февраля 1871 г. На крутый холмъ въ окрестностяхъ Лозанны медленно поднималась молодая женщина обѣ руку съ мужчиной среднихъ лѣтъ.

Она была въ послѣднемъ периодѣ беременности и тяжело опиралась на руку своего спутника.

Лицо молодой женщины было мертвенно блѣдно, она была въ черномъ. Господинъ, шедшій рядомъ съ ней, не былъ въ траурѣ, изъ чего прохожіе заключали, что онъ не мужъ ея.

Онъ имѣлъ печальный видъ; отъ времени до времени онъ наклонялся къ маленькой женщинѣ, произносилъ нѣсколько словъ и снова возвращался къ занимавшимъ его мыслямъ. Достигнувъ площади, у старой таможни, передъ гостиницей они остановились.

— Еще одинъ подъемъ? — спросила женщина.

— Да, сестра, — отвѣтилъ онъ. — Отдохнемъ здѣсь немного.

И они сѣли на скамью передъ гостиницей. У нея замирало сердце; она дышала съ трудомъ.

— Бѣдный мой, — сказала она, — я вижу, тебя тянетъ домой, къ своимъ.

— Ради Бога, сестра, не говори объ этомъ! — отвѣтилъ онъ. — Правда, душою я порой далеко отсюда, и присутствие мое было бы полезно дома во время посѣва, но вѣдь ты же моя сестра, нельзя отречься отъ своей плоти и крови.

— Охъ, — продолжала г-жа Блейхроденъ, хоть бы принесли ему пользу здѣшній воздухъ и лѣченіе. Какъ ты думаешь, онъ выѣдоровѣтъ?

— Навѣрное, — отвѣтилъ братъ, отворачивая лицо, чтобы не выдать своихъ сомнѣній.

— Какую ужасную зиму пережила я во Франкфуртѣ. Какие жестокіе удары посылаетъ иногда судьба! Я думаю, мнѣ легче было бы примириться съ его смертью, чѣмъ съ этимъ погребенемъ заживо.

— Но вѣдь есть еще надежда, — сказалъ братъ безнадежнымъ тономъ.

И снова мысли его перенеслись къ его дѣтямъ и полямъ. Но тотчасъ же онъ устыдился своего эгоизма и разсердился на свою неспособность всецѣло отдаться чужому горю.

Въ эту минуту съ высоты донесся рѣзкій продолжительный крикъ, похожій на свистъ локомотива; за первымъ крикомъ послѣдовалъ второй.

— Неужели это поѣздъ здѣсь, на такой высотѣ? — спросила г-жа Блейхроденъ.

— Должно быть, — отвѣтилъ братъ, тревожно прислушиваясь.

Крикъ повторился. Теперь, казалось, что это вопль утонающаго.

— Вернемся домой, — сказалъ Шанцъ, страшно поблѣднѣвъ. — Сегодня ты не въ состояніи подняться выше, а завтра мы будемъ догадливѣй и возьмемъ экипажъ.

Но она, во что бы то ни стало, хотѣла идти дальше.

Въ зеленой изгороди боярышника прыгали черные дрозды съ желтыми клевками; по стѣнамъ, обвитымъ плющемъ, бѣгали взапуски сѣрыя ящерицы, скрываясь въ трещинахъ.

Весна была въполномъ разгарѣ, и по краямъ дороги цвѣли примулы. Но все это не привлекало вниманіе страдальцевъ, шедшихъ на Голгофу. Когда они поднялись еще въ гору,—таинственные крики возобновились.

Охваченная внезапнымъ подозрѣніемъ, г-жа Блейхроденъ повернулась къ брату и, своимъ помутившимся взоромъ, взглянула ему прямо въ глаза, какъ бы ища въ нихъ подтвержденія своихъ догадокъ. Затѣмъ, не произнося ни слова, она упала на дорогу, поднявъ цвѣлое облако желтой пыли.

Прежде чѣмъ братъ успѣлъ опомниться, какой-то услужливый путникъ бросился за экипажемъ, и когда молодая женщина была перенесена въ него, — въ нѣдрахъ ея тѣла началась та мучительная работа, которая предшествуетъ появленію на свѣтѣ новаго человѣка.

А наверху, въ больничной комнатѣ съ видомъ на Женевское озеро сидѣлъ фонъ-Блейхроденъ. Стѣны комнаты были обиты войлокомъ и окрашены въ блѣдно-голубой цвѣтъ; сквозь окраску просвѣчивали легкіе контуры пейзажа. Потолокъ былъ разрисованъ на подобіе шпалеръ, обвитыхъ виноградомъ; полъ покрытъ ковромъ поверхъ толстаго слоя соломы. Мягко обитая мебель скрывала углы и края дерева.

Изнутри нельзя было догадаться, гдѣ скрыта дверь, и этимъ отвлекались мысли больного о заключеніи, являющіяся самыми опасными при возбужденномъ состояніи духа.

Окна были снабжены рѣшеткой, сдѣланной въ видѣ цвѣтовъ и листьевъ, изъ-за которыхъ сама рѣшетка не была видна.

Форма помѣшательства фонъ-Блейхродена извѣстна подъ именемъ теравій совѣсти. Онъ убилъ одного виноградаря при какихъ-то таинственныхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ никакъ не могъ рѣшиться сознаться, по той простой причинѣ, что онъ ихъ не помнилъ. Теперь онъ сидѣлъ въ заключеніи и ждалъ исполненія приговора, такъ какъ былъ присужденъ къ смертной казни.

Но у него бывали свѣтлые промежутки.

Тогда онъ развѣшивалъ по стѣнѣ большие листы бумаги и исписывалъ ихъ силлогизмами. Онъ вспоминалъ иногда о приказѣ разстрѣлять вольныхъ стрѣлковъ, но то обстоятельство, что онъ былъ женатъ, совершенно изгладилось изъ его памяти. Свою жену, навѣщавшую его, онъ принималъ за ученика, которому давалъ уроки логики.

Онъ ставилъ первую посылку: вольные стрѣлки — предатели, и приказъ гласилъ — разстрѣлять ихъ.

Однажды жена его имѣла неосторожность поколебать его увѣренность въ правильности этой посылки; тогда онъ со-

рвалъ со стѣнъ всѣ заключенія и заявилъ, что употребить двадцать лѣтъ на то, чтобы доказать ихъ вѣрность. Кромѣ того, у него были грандиозные проекты осчастливить все человѣчество.

— Отчего происходит наша смерть здѣсь, на землѣ? — задавалъ онъ вопросъ. — Для чего король управляетъ, священникъ проповѣдуетъ, поэтъ творитъ, художникъ рисуетъ? Для того, чтобы доставить организму азотъ. Азотъ, это — разумъ, и народы, употреблявшіе въ пищу мясо, — разумнѣе употреблявшихъ углеводы. Въ настоящее время начинаетъ ощущаться недостатокъ въ азотѣ, и отсюда возникаютъ войны, стачки, государственные перевороты. Необходимо отыскать новый источникъ азота. Блейхроденъ нашелъ его, и теперь всѣ люди будутъ равны. Свобода, равенство и братство станутъ, наконецъ, дѣйствительностью. Въ этомъ проблема будущаго, съ разрешеніемъ которой земледѣліе и скотоводство окажутся излишними, и на землѣ воцарится золотой вѣкъ.

Но затѣмъ имъ снова овладѣвала мысль о совершенномъ убийствѣ, и онъ становился глубоко несчастнымъ.

Въ то самое февральское утро, когда г-жа Блейхроденъ, направлявшаяся въ лѣчебницу, вынуждена была вернуться домой, — мужъ ея сидѣлъ въ своей комнатѣ и смотрѣлъ въ окно. — Сначала онъ разсмотривалъ потолокъ и пейзажъ на стѣнахъ, затѣмъ пересѣлъ къ свѣту на удобный стулъ, откуда видна была широко даль, разстилавшаяся передъ нимъ.

Сегодня онъ былъ спокоенъ: наканунѣ вечеромъ онъ принялъ холодную ванну и хорошо спалъ ночь... Онъ не могъ дать себѣ отчетъ въ томъ, гдѣ онъ находится. Въ окно видны были совсѣмъ зеленые кусты, олеандры, усѣянные бутонами, лавровыя деревья съ ихъ блестящими листьями, буксысы, тѣнистый вязъ, весь обвитый плющемъ, скрывавшимъ его голыя вѣтви и придававшимъ ему видъ дерева, покрытаго зеленою листвой. По лужайкѣ, усѣянной желтыми примулами, шелъ человѣкъ, косившій траву, а маленькая дѣвочка сгребала ее въ кучи. Фонъ-Блейхроденъ взялъ календарь и прочелъ: февраль.

— Въ февралѣ сгребаютъ сѣно. Гдѣ я?

Взоръ его устремился вдалъ, за садъ, и онъ увидѣлъ глубокую долину, постепенно спускавшуюся къ зеленымъ лугамъ; тамъ и сямъ мелькали разбросанныя маленькия деревушки, церкви, свѣтло-зеленая плакучія ивы. — „Февраль!“ подумалъ онъ снова.

А тамъ, гдѣ кончались луга, — разстипалось спокойное, голубое, какъ воздухъ, озеро, по ту сторону его темнѣла земля съ возвышавшуюся грядою горъ. Надъ горной цѣпью

лежало что-то похожее на зубчатыя облака, легкия, пушистые, нѣжныя, съ чуть замѣтными тѣнями на зубцахъ.

Блейхроденъ терялся въ догадкахъ о томъ, куда онъ попалъ; но здѣсь было такъ чудно хорошо, какъ не могло быть на землѣ. Не умеръ ли онъ и не перенесся ли въ другой міръ? Но только это не была Европа. Должно быть, онъ умеръ! Онъ погрузился въ тихія мечты, пытаясь вникнуть въ свое новое положеніе, и вдругъ почувствовалъ необыкновенный приливъ радости, а въ головѣ его пронеслось какое-то освѣжающее ощущеніе, точно мозговыя извилины, перепутанныя раньше, начали расправляться, приходить въ порядокъ. Ему стало безконечно весело, а въ груди зазвучала ликующая пѣсня; но онъ никогда въ жизни не пѣлъ, и потому это были крики, крики восторга, тѣ самыя крики, которые, разносясь въ окно, привели его жену въ отчаяніе.

Просидѣвъ такъ еще съ часъ, онъ вспомнилъ вдругъ старинную картину, видѣнную имъ въ какомъ то кегельбанѣ, въ окрестностяхъ Берлина; она представляла швейцарскій пейзажъ, и теперь онъ понялъ, что онъ — въ Швейцаріи, а остроконечныя облака — Альпы.

Дѣлая второй обходъ, докторъ нашелъ фонъ-Блейродена спокойно сидѣвшимъ передъ окномъ и напѣвшимъ про себя: не было никакой возможности оторвать его отъ чудной картины.

Но онъ былъ совершенно спокоенъ и ясно сознавалъ свое положеніе.

— Докторъ, — сказалъ онъ, указывая на желѣзную решетку въ окнѣ, — зачѣмъ вы портите такой чудный видъ, закрывая его желѣзомъ? Не позволите ли вы мнѣ сегодня выйти на воздухъ? я думаю, это было бы мнѣ полезно, и я обѣщаю не убѣжать!

Докторъ взялъ его руку, чтобы незамѣтно изслѣдовать пульсъ.

— Пульсъ у меня всего 70, дорогой докторъ, — сказалъ, улыбаясь, пациентъ, — и эту ночь я спалъ спокойно. Вамъ нечего бояться.

— Меня очень радуетъ, — сказалъ докторъ, — что повидимому лѣченіе имѣть на васъ хорошее дѣйствіе. Вы можете выйти.

— Знаете, докторъ, — оживленно заговорилъ больной, — мнѣ кажется, что я умеръ и снова ожилъ на другой планѣ: до того здѣсь хорошо. Никогда я не представлялъ себѣ, что земля такъ прекрасна!

— Да, земля еще прекрасна тамъ, гдѣ ея не коснулась культура; а здѣсь природа такъ могущественна, что справилась со всѣми попытками человѣка.

— Вы послѣдователь Руссо, докторъ? — замѣтилъ пациентъ.

— Руссо былъ женевецъ, господинъ лейтенантъ! Тамъ, на берегу озера, въ глубокомъ заливѣ, который вы видите прямо противъ этого взята, тамъ онъ родился, тамъ страдалъ, тамъ были сожжены его «Emile» и «Contrat social», это евангелие природы; а тамъ, влѣво, у подножія Валлисскихъ Альпъ, гдѣ лежитъ маленький Кларанъ, тамъ написать онъ книгу любви, «La nouvelle Heloise». Озеро, что вы видите внизу,— Женевское озеро!

— Женевское озеро!—повторилъ фонъ-Блейхроденъ.

— Въ этой тихой долинѣ,—продолжалъ докторъ,—гдѣ живутъ мирные люди, искали душевнаго исцѣленія и покоя всѣ потерпѣвшіе жизненное крушеніе. Взгляните туда, направо, на эту узкую полоску земли съ башней и тополями: это Ферней. Туда бѣжалъ Вольтеръ, осмѣявъ Парижъ, тамъ обрабатывалъ онъ землю и выстроилъ храмъ въ честь верховнаго существа. А дальше—Концѣ. Тамъ жила госпожа Сталь, злѣйший врагъ Наполеона, предателя народа, та самая госпожа Сталь, которая имѣла мужество учить французовъ, своихъ соотечественниковъ, что нѣмецкая нація вовсе не жестокій врагъ Франціи, потому что націи вообще не питаютъ ненависти другъ къ другу.

Сюда,—посмотрите теперь влѣво,—сюда, на это озеро бѣжалъ измученный Байронъ, точно титанъ, вырвавшійся изъ сѣтей реакціоннаго времени, въ которыя оно хотѣло поймать его могучій духъ, и здѣсь, въ своемъ „Шильонскомъ узникѣ“, вылилъ онъ всю свою ненависть къ тиранію. У подножія высокаго Грамона противъ рыбачьей деревушки Сенъ-Жен-гольфъ онъ чуть не утонулъ однажды... Здѣсь искали убѣжища всѣ, кто не въ силахъ быть выносить воздухъ плѣна, подобно холерѣ, носившагося надъ Европой послѣ посягательства священнаго союза на права человѣчества. Здѣсь, тысячу футовъ ниже, слагалъ Мендельсонъ свои грустныя мечтательныя пѣсни; здѣсь Гуно написалъ своего Fausta. Здѣсь, въ безднахъ Савойскихъ Альпъ онъ черпалъ вдохновеніе для „Вальпургіевой ночи“. Отсюда Викторъ Гюго громилъ декабристовъ предателей своими обличительными стихами. И здѣсь же, по удивительной ироніи судьбы, внизу, въ маленькомъ скромномъ Беве, куда не проникаетъ сѣверный вѣтеръ, здѣсь вашъ государь искалъ забвенія отъ ужасовъ Ѣдовы и Кенигреца... Сюда укрылся русскій Горчаковъ, очувствовавъ, что почва стала колебаться подъ его ногами. Здѣсь Джонъ Рэссель смывалъ съ себя всѣ политическія прѣушенія и вдыхалъ чистый воздухъ. Здѣсь Тьеръ пытался привести въ порядокъ свои спутанныя постоянными политиче-

скими бурями, не рѣдко противорѣчивыя, но, на мой взглядъ, благородныя мысли. А тамъ внизу, въ Женевѣ, господинъ лейтенантъ! Тамъ нѣть короля съ пышной свитой, но тамъ впервые зародилась мысль, великая, какъ христианство, апостолы которой тоже носятъ крестъ, красный крестъ на бѣломъ полѣ, и симъ знаменіемъ, я убѣжденъ, она побѣдить грядущее!

Пациентъ, спокойно слушавшій эту необычную рѣчь, свою-ственную скорѣе священнику, чѣмъ врачу,—чувствовалъ себя неловко.

— Вы — мечтатель, докторъ,—сказалъ онъ.

— И вы будете имъ, проживъ здѣсь нѣсколько мѣся-цевъ,—отвѣтилъ докторъ.

— Значить, вы вѣрите въ лѣченіе? — спросилъ пациентъ нѣсколько менѣе скептически.

— Я вѣрю въ безконечную силу природы, способную из-лѣчить болѣзнь культуры,—отвѣтилъ онъ.

— Чувствуете ли вы себя достаточно сильнымъ, чтобы услышать пріятную вѣсть? — продолжалъ онъ, пристально-вглядываясь въ больного.

— Совершенно, докторъ!

— Миръ заключенъ!

— Боже... какое счастье! — произнесъ пациентъ.

— Да, конечно,—сказалъ докторъ.—Однако не задавайте вопросовъ; на сегодня довольно. Теперь вы можете выйти. Будьте готовы къ тому, что выздоровленіе ваше не пойдетъ такъ неуклонно впередъ, какъ вы ожидаете. Возможенъ рецидивъ. Воспоминаніе — нашъ злѣйший врагъ...

Докторъ взялъ больного подъ руку и повелъ въ садъ... Тутъ не было ни рѣшетокъ, ни стѣнъ; только зеленая аллея приводила гуляющаго черезъ лабиринтъ въ то же мѣсто, откуда онъ вышелъ; позади аллеи лежали рвы, черезъ которыя нельзя было перешагнуть.

Лейтенантъ молчалъ, вслушиваясь въ странную музыку своихъ первовъ. Всѣ стороны его души точно зазвучали снова, и онъ ощутилъ покой, которого не испытывалъ давно.

Они находились теперь передъ небольшимъ сводчатымъ зданіемъ, сквозь которое проходили пациенты въ сопровож-деніи служителей.

— Куда идуть эти люди? — спросилъ больной.

— Ступайте за ними, увидите.

И, подозревавъ одного изъ служителей, докторъ сказалъ ему:

— Спуститесь въ отель «Гаусон» къ госпожѣ Блейхро-денъ, кланяйтесь ей и скажите, что мужъ ея на пути къ вы-здоровленію, но... онъ еще не спрашивалъ о ней... Когда онъ спросить,—онъ будетъ спасенъ.

Блейхроденъ вошелъ въ большую залу, не походившую ни на одну изъ видѣнныхъ имъ до сихъ порь. Это не была ни церковь, ни школа, ни залъ засѣданій, ни театръ, но все это отчасти совмѣщалось въ ней. Въ глубинѣ ея были хоры, освѣщаемыя тремя окнами изъ разноцвѣтныхъ стеколь; нѣжныя сочетанія ихъ цвѣтовъ очевидно были подобраны большими художникомъ; свѣтъ преломлялся въ нихъ гармоническимъ аккордомъ. Это производило на больныхъ такое же впечатлѣніе, какъ единичный аккордъ, которымъ Гайднъ разрѣшаетъ тьму хаоса, когда Господь въ „Сотвореніи міра“ повелѣваетъ хаотическимъ силамъ природы прийти въ порядокъ, восклицая: „да будетъ свѣтъ!“ и въ отвѣтъ ему раздаются хоры херувимовъ и серафимовъ.

Колонны вокругъ хоръ не имѣли никакого опредѣленнаго стиля; темный мягкий мохъ обивалъ ихъ до самаго потолка. Нижнія панели стѣнъ украшены были ельникомъ, а большия простѣнки—вѣтвями вѣчно зеленыхъ лавровъ, плюща, омелы! Они представляли собой орнаментъ безъ всякаго стиля: по-рою они какъ будто начинали принимать форму буквъ, но затѣмъ расплывались въ мягкихъ очертаніяхъ фантастическихъ растеній. Надъ окнами висѣли большия вѣници, какъ на праздникѣ весны...

Блейхроденъ оглядѣлся кругомъ; пациенты сидѣли на скамьяхъ въ нѣмомъ изумленіи. Онъ занялъ мѣсто на одной скамье и услышалъ вздохъ.

Рядомъ съ собой онъ увидѣлъ человѣка лѣть сорока, который плакалъ, прикрывъ лицо руками. У него было носъ съ горбиной, усы и остроконечная бородка, а профиль его напоминалъ изображенія, видѣнныя Блейхроденомъ на французскихъ монетахъ.

Повидимому, это былъ французъ. Итакъ, имъ суждено было встрѣтиться здѣсь; здѣсь сидѣлъ врагъ подлѣ врага, оплакивая что-то. Но что же именно? Исполненіе долга передъ отечествомъ?

Блейхроденъ почувствовалъ волненіе, когда вдругъ послышалась тихая музыка: органъ игралъ хоралъ.

Больному казалось, что онъ слышитъ слова, полныя утѣшенія и надежды... Но вотъ, на хоры взошелъ человѣкъ. Это не былъ священникъ: на немъ былъ сѣрий сюртукъ и синій галстукъ. Книги у него тоже не было. Онъ говорилъ.

Онъ говорилъ кротко и просто, какъ говорять среди друзей; онъ говорилъ о простомъ учениі Христа, о любви къ ближнему, какъ къ самому себѣ, о терпѣніи, миролюбіи и прощеніи врагамъ; онъ говорилъ о томъ, что Христосъ во всемъ человѣчествѣ видѣлъ одинъ народъ, но злая природа человѣка противится этой великой идеѣ, и люди группиру-

ются въ націи, секты, школы; но онъ высказывалъ также твердую увѣренность въ томъ, что принципы христіанства скоро осуществлятся на землѣ. И, проговоривъ съ четверть часа, онъ снова сошелъ съ хоръ...

Блейхроденъ точно очнулся отъ сна.

Такъ онъ былъ въ церкви! Онъ, которому скучны были всякие споры о вѣроисповѣданіяхъ, онъ, — въ теченіе пятнадцати лѣтъ не посѣщавшій ни одной церковной службы... И именно здѣсь, въ домѣ умалишенныхъ, онъ долженъ былъ найти осуществленіе свободной церкви. Здѣсь сидѣли рядомъ католики, православные, лютеране, кальвинисты, цвинглисты, англичане — и возносили свои общія молитвы общему Богу.

Какая безпощадная критика способствовала возникновенію этого общаго молитвенного зала, объединившаго всѣ секты, и примирila многочисленныя религіи, враждовавшія, уничтожавшія и осмѣшивавшія другъ друга?..

Чтобы отогнать волнующія мысли, Блейхроденъ сталъ разглядывать залъ. Долго блуждавшій взоръ его остановился на стѣнѣ противъ хоръ. На ней висѣлъ огромный вѣнокъ, внутри которого изъ вѣтвей ельника было изображено одно только слово.

Онъ прочелъ французское слово: „Noël“ и повторилъ про себя: „Рождество“.

Какой поэтъ создалъ эту комнату? Какой глубокой знать человѣческой души сумѣлъ пробудить здѣсь самое прекрасное, самое чистое воспоминаніе, воспоминаніе о дѣтствѣ, далекомъ отъ всякихъ религіозныхъ споровъ и суетныхъ грезъ, омрачающихъ въ чистыхъ душахъ чувство справедливости... Это — какъ будто мелодія, пробивающаяся сквозь звѣриный вой жизни, сквозь крики борьбы изъ-за куска хлѣба или, еще чаще, изъ-за почестей!

Размышляя объ этомъ, онъ задалъ себѣ вопросъ: какимъ образомъ человѣкъ, родясь невиннымъ и кроткимъ, становится постепенно звѣремъ?..

И не представляеть ли весь міръ дома умалишенныхъ, въ которомъ мѣсто, гдѣ онъ сейчасъ находится, — самое разумное?

И онъ снова смотрѣлъ на это единственное во всей церкви начертанное слово, разбирая его по буквамъ; а въ тайникахъ его воспоминанія, какъ на пластинкѣ проявляемаго негатива, вырисовывались картины прошлаго. Онъ увидѣлъ послѣдній рождественскій сочельникъ. Послѣдній? Тогда онъ былъ во Франкфуртѣ. Значить, предпослѣдній. Это былъ первый вечеръ, проведенный имъ у невѣсты, такъ какъ на канунѣ онъ былъ помолвленъ. Онъ видѣлъ домъ старого па-

стора, своего тестя; никакую залу съ бѣлымъ буфетомъ и фор-
тепьяно, чижа въ кѣткѣ, бальзаминъ на окнахъ, шкафъ съ
серебряной чашей, коллекцію пѣнковыхъ трубокъ. А воть и
она, дочь пастора, убирающая елку золотыми орѣхами и
яблоками.

Дочь пастора!... Мгновенно, точно молнія, пронзила мракъ,
но только чудная, безопасная молнія, лѣтняя зарница, кото-
рой любуются съ веранды, не боясь ея удара. Онъ былъ по-
моловленъ, женатъ! у него была жена, способная снова при-
вязать его къ жизни, которую онъ презиралъ и ненавидѣлъ.
Но гдѣ же она? Онъ долженъ видѣть ее сейчасъ же, не-
медленно! Онъ долженъ летѣть къ ней,—иначе онъ умреть
отъ нетерпѣнія.

Онъ поспѣшно вышелъ и тотчасъ же столкнулся съ док-
торомъ. Блейхроденъ схватилъ его за плечи, посмотрѣлъ ему
прямо въ глаза и спросилъ прерывающимся голосомъ:

— Гдѣ моя жена? Ведите меня къ ней! Сейчасъ же!
Гдѣ она?

— Она и ваша дочь,—спокойно отвѣтилъ докторъ,—ожи-
даю васъ внизу, въ улицѣ Бургъ.

— Моя дочь? У меня есть дочь?—вымолвила пациентъ,
разражаясь рыданіями.

— Вы очень чувствительны, господинъ фонъ-Блейхро-
денъ,—сказалъ съ улыбкой докторъ.—Пойдемте со мной, одѣнь-
тесь. Черезъ полчаса вы будете среди своихъ и снова
станете самимъ собой!

И они скрылись въ большомъ подъѣздѣ.

Фонъ-Блейхроденъ представлялъ собою совсѣмъ совре-
менный типъ. Правнукъ французской революціи, внукъ свя-
щенной лиги, сынъ 1830 года, онъ потерпѣлъ крушеніе,
разбившись о скалы революціи и реакціи.

Когда, къ двадцати годамъ, онъ началъ жить сознательною
жизнью, съ глазъ его упала повязка, и онъ увидѣлъ, ка-
кими сѣтями лжи былъ онъ опутанъ, начиная съ протестан-
ства и кончая прусскимъ династическимъ фетишизмомъ.
Ему представилось, что онъ очнулся отъ долгаго сна, или,
что онъ, единственный здравый человѣкъ, былъ заключенъ
въ домъ умалишенныхъ. А когда онъ убѣдился, что въ стѣнѣ,
окружающей его, нѣтъ ни одной бреши, сквозь которую онъ
могъ бы выйти, не наткнувшись на угрожающей штыкъ или
дуло оружія,—имъ овладѣло отчаяніе. Онъ пересталъ вѣрить
во чтобы то ни было, даже въ спасеніе и отдался во власть
пессимизма, чтобы, по крайней мѣрѣ, заглушить боль, если
ужъ нельзя было найти исцѣленія.

Шопенгауэръ сталъ его другомъ, а впослѣдствіи онъ нашелъ его и въ Гартманѣ, этомъ суроўцѣшемъ изъ всѣхъ провозвѣстниковъ правды.

Но общество призывало его и требовало избранія какой-нибудь дѣятельности. Фонъ-Блейхроденъ отдался наукѣ и выбралъ изъ нихъ ту, которая наименѣе соприкасалась съ современностью—геологію или, скорѣе, отрасль ея, занимающія изученіемъ жизни животныхъ и растеній исчезнувшаго міра—палеонтологію. Когда онъ задавалъ себѣ вопросъ, какая отъ этого могла быть польза для человѣчества?—то могъ только отвѣтить: польза для меня—средство заглушить... Онъ не могъ читать газеты, не чувствуя, какъ въ немъ, подобно грозному безумію, поднимается фанатизмъ, и потому онъ старательно отдался отъ себя все, что могло напомнить современность и современниковъ. Онъ начинай надѣяться, что въ этомъ покоѣ, купленномъ такою дорогой цѣною, сможетъ прожить до конца своихъ дней, не утративъ разсудка.

Затѣмъ онъ женился. Онъ не могъ противостоять непрѣодолимому закону природы—сохраненію вида. Въ женѣ своей онъ надѣялся вновь пріобрѣсть ту задушевность, отъ которой ему удалось освободить себя, и жена стала его прежнимъ, многостороннимъ я, которому онъ могъ радоваться, не разставаясь съ своимъ одиночествомъ. Въ ней нашелъ онъ свое дополненіе и началъ уже успокаиваться; но онъ сознавалъ также, что вся его жизнь была теперь построена на двухъ основахъ, изъ которыхъ одною была жена; упади эта крауегольный камень,—и самъ онъ, со всѣмъ своимъ зданіемъ, неминуемо рушится. Оторванный отъ нея черезъ два мѣсяца послѣ женитьбы,—онъ ужъ не былъ болѣе самимъ собой. Ему точно не доставало глазъ, руки, языка, и потому-то онъ при первомъ ударѣ такъ легко поддался ему и раздвоился.

Съ появлениемъ дочери, казалось, поднялось что-то новое въ томъ, что Блейхроденъ называлъ природной душой, въ отличие отъ общественной, образующейся путемъ воспитанія. Онъ сознавалъ теперь свою связь съ семьей, чувствовалъ, что онъ не умретъ съ прекращеніемъ жизни, но душа его будетъ продолжать свое существованіе въ его ребенкѣ. Однимъ словомъ, онъ почувствовалъ, что душа его бессмертна, даже если тѣло погибнетъ. Онъ сознавалъ свою обязанность жить и надѣяться, хотя порою имъ овладѣвало отчаяніе, когда онъ слышалъ своихъ соотечественниковъ, въ понятномъ опьяненіи побѣдой, описывающихъ счастливый исходъ войны. Они видѣли поле сраженія только изъ кареты, въ подворную трубу...

Пессимизмъ, не допускавшій развитія изъ дурного начала, нового болѣе совершенного міра, началъ представляться ему несостоятельнымъ, и онъ сталъ оптимистомъ изъ чувства долга. Но вернуться на родину онъ все же не рѣшался, изъ опасенія снова впасть въ уныніе. Онъ подалъ въ отставку и, реализовавъ свой небольшой капиталъ, поселился въ Швейцаріи.

Былъ чудный теплый осенний вечеръ въ Веве 1872 года. Обѣденный колоколь въ маленькомъ пенсіонѣ „Le cdre“ пробилъ семь часовъ, сывая къ обѣду.

За табльдотомъ собрались пенсіонеры, знакомые другъ съ другомъ и близко сошелішися, какъ обыкновенно бываетъ, когда люди находятся на нейтральной почвѣ.

Сосѣдями фонъ-Блейхродена и его жены были: печальный французъ, котораго мы видѣли въ церкви, одинъ англичанинъ, двое русскихъ, нѣмецъ съ женой, испанское семейство и двѣ тирольки.—Разговоръ шелъ по обыкновенію спокойно, миролюбиво, тепло, порою играво, затрогивая самыя жгучіе вопросы.

— Я никогда не представлялъ себѣ, что природа можетъ быть такъ прекрасна, какъ здѣсь,—сказалъ фонъ-Блейхродень, любуясь видомъ сквозь открытую дверь веранды.

— Природа всегда была прекрасна,—сказалъ нѣмецъ,—но я думаю, что глаза наши были слѣпы.

— Правда,—подтвердилъ англичанинъ,—но всетаки здѣсь лучше, чѣмъ гдѣ бы то ни было.

— Слыхали вы, господа, что случилось съ варварами, кажется, съ аллеманнами или венграми, когда они пришли на гору Дань-де-Жаманъ и увидѣли съ нея Женевское озеро? Они подумали, что небо упало на землю, и въ испугѣ разбрѣжались. Объ этомъ, навѣрное, упоминается въ путеводителѣ...

— Я думаю,—замѣтилъ одинъ изъ русскихъ,—что чистый, свободный отъ всякой лжи, воздухъ, вдыхаемый нами здѣсь,—является причиной того, что мы находимъ все прекраснѣмъ; та же самая прекрасная природа оказываетъ благотворное дѣйствіе на нашу мысль, отвращая ее отъ предразсудковъ. Подождите, когда исчезнутъ наслѣдники священной лиги, тогда и трава зазеленѣтъ на ясномъ солнышкѣ.

— Вы правы,—сказалъ фонъ-Блейхроденъ,—но нѣть необходимости обезглавливать деревья. Есть другіе болѣе человѣческіе способы борьбы. Путь законной реформы. Не правда ли, господинъ англичанинъ?

Совершенно вѣрно!—отвѣтилъ англичанинъ.

Но войны, войны прекратятся ли онъ когда-нибудь?—
икнулъ испанецъ.

Когда женщина получить право голоса, армія будетъ
щена, — сказалъ фонъ-Блейхроденъ. — Неправда ли,

спожа Блейхроденъ одобрительно кивнула головой.

Потому что,—продолжалъ Блейхроденъ,—какая мать
етъ послать своего сына, сестра своего брата, жена
на поле битвы? А когда никто не станетъ подстрекать
другъ противъ друга—исчезнетъ такъ называемая
зая ненависть. Человѣкъ добръ, но люди злы, думалъ
другъ Жанъ-Жакъ,—и онъ былъ правъ.

Чему здѣсь, въ этой прекрасной странѣ люди такъ ми-
ливы? Почему они имѣютъ болѣе довольный видъ, чѣмъ
ы то ни было. Они не чувствуютъ надъ собой власти
ля точно школьники. У нихъ нѣть ни королевской
, ни военныхъ смотровъ, ни парадныхъ представлений,
ы слабому человѣку являлся соблазнъprodпочесть
ь справедливости. Швейцарія представляется собой ми-
ную модель, по которой Европа современемъ построить
їущее.

Вы оптимистъ, милостивый государь, — сказалъ испа-
—Неужели вы полагаете, что то, что годится для ма-
ой страны, какъ Швейцарія, съ тремя миллионами жи-
и только тремя языками,—пригодно такъ же и для всей
дной Европы?

говоръ закипѣлъ. Говорили о Швейцаріи, объ Америкѣ,
ущемъ Европы и человѣчества. Англичанинъ наполнилъ
ть и собирался произнести тостъ, когда вошла прислу-
шая лѣвушка и подала ему телеграмму.

говоръ на минуту прервался; англичанинъ съ види-
волненiemъ читаль телеграмму... Между тѣмъ надви-
сумерки. Блейхроденъ тихо сидѣлъ, погрузившись
ерцаніе чуднаго ландшафта.

шины Граммона и соѣдніхъ горъ были залиты пур-
ь заходящаго солнца, бросавшаго розоватый отблескъ
юградники и каштановые рощи Савойскаго берега;
блестѣли въ сыромъ вечернемъ воздухѣ и казались
ными изъ той же воздушной ткани, какъ свѣтъ и тѣни.
ояли, подобно гигантскимъ безплотнымъ существамъ,
я сзади, грозныя и пасмурныя въ разѣлинахъ, а съ
ей стороны, обращенной къ солнцу,—свѣтлыя, улыбаю-
веселыя.

но-синее вечернее небо вдругъ прорѣзала яркая по-

лоса свѣта, и надъ низкимъ Савойскимъ берегомъ взвилась огромная ракета; она поднялась высоко, высоко, казалось, коснулась самого Данъ д'Ошъ, остановилась и заколебалась, точно въ послѣдній разъ окидывая взглядомъ прекрасную землю, прежде чѣмъ разсыпаться; это продолжалось нѣсколько секундъ, затѣмъ она начала спускаться, но, не пройдя и нѣсколькихъ метровъ, лопнула съ грохотомъ, достигшимъ Вене, и вдругъ, точно большое четырехугольное облако,— развернулся бѣлый флагъ, а вслѣдъ затѣмъ послышался новый выстрѣль, и на бѣломъ фонѣ вырисовался красный крестъ.

Сидѣвшіе за столомъ вскочили и поспѣшили на веранду.

— Что это такое? — воскликнулъ встревоженный фонъ-Блейхроденъ. Никто не хотѣлъ или не могъ отвѣтить, потому что въ эту минуту взвился цѣлый рой ракетъ, точно изъ кратера вулкана, и по небу разсыпался огненный букетъ, отразившійся въ необъятномъ зеркалѣ спокойнаго Женевскаго озера.

— Лэди и джентльмены! — возвысилъ голосъ англичанинъ, въ то время, какъ лакей ставилъ на столъ подносъ съ бокалами шампанскаго.

— Лэди и джентльмены! — повторилъ онъ, — это означаетъ, какъ я узналъ изъ полученной телеграммы, что первый международный третейскій судъ въ Женевѣ окончилъ свои занятія; это значитъ, что война между двумя народами предотвращена, что сто тысячъ американцевъ и столько же англичанъ должны благодарить этотъ день за то, что они остались въ живыхъ. Алабамскій вопросъ разрѣшенъ не въ пользу американцевъ или англичанъ, — а въ пользу справедливости и будущаго. Думаете ли вы всетаки, господинъ испанецъ, что войны неизбѣжны? Я, какъ англичанинъ, сегодня долженъ бы быть огорченъ, но я горжусь своей родиной (положимъ, англичане, какъ вамъ извѣстно, всегда гордятся ею), а сегодня я имѣю на это право, потому что Англія — первая европейская держава, обратившаяся къ суду честныхъ людей, а не къ желѣзу и крови! И я желаю вамъ всемъ такихъ же пораженій, какое мы понесли сегодня, потому что они научатъ насъ побѣждать...

Блейхроденъ остался въ Швейцаріи. Онъ не могъ оторваться отъ этой дивной природы, — перенесшей его въ иной міръ, безконечно прекраснѣе того, который онъ покинулъ.

Порою снова овладѣвали имъ припадки терзаній совѣсти, но докторъ приписывалъ это исключительно нервности, присущей въ наше время большинству культурныхъ людей.

Блейхроденъ рѣшилъ выяснить свои мысли о вопросахъ совѣсти въ небольшой статьѣ, которую намѣренъ быть опуб-

ликовать. Его конспектъ, прочтенный раньше въ кругу друзей, заключалъ въ себѣ довольно интересныя вещи. Со свойственнымъ нѣмцу глубокомысліемъ, онъ проникъ въ сущность вещей и пришелъ къ заключенію, что существуютъ два рода совѣсти: 1) природная и 2) искусственная. Перваго рода совѣсть, полагалъ онъ — есть прирожденное чувство справедливости. И оно-то было у него удрученено приказомъ разстрѣлять вольныхъ стрѣлковъ. Только разсматривая себя, какъ жертву высшей власти, — онъ могъ освободиться отъ терзавшихъ его угрызеній.

Искусственная совѣсть въ свою очередь состоить изъ а) силы привычки и б) требованія высшей власти. Сила привычки настолько еще тяготѣла надъ Блейхроденомъ, что нерѣдко, въ особенности въ часы предобѣденной прогулки, ему представлялось, что онъ манкируетъ службой, и онъ становился угрюмымъ, недовольнымъ собою, испытывалъ чувства школьнника, пропускающаго уроки. Ему надо было употребить невѣроятныя усилия, чтобы оправдать свою совѣсть тѣмъ, что онъ получилъ законную отставку.

По прошествіи двухъ съ половиною лѣтъ, проведенныхъ Блейхроденомъ въ Швейцаріи, онъ получилъ однажды приказъ вернуться на родину, ввиду носившихся слуховъ о войнѣ. На этотъ разъ дѣло касалось отношений Пруссіи къ Россіи, той самой Россіи, которая три года тому назадъ оказалась пруссакамъ „моральной“ поддержку противъ Франціи. Блейхроденъ не считалъ добросовѣстнымъ идти противъ друзей, понимая хорошо, что обѣ націи ничего не имѣютъ другъ противъ друга.

Зная по опыту, что совѣсть женщины ближе къ законамъ природы, онъ обратился къ своей женѣ за совѣтомъ, какъ поступить ему въ виду подобной дилеммы. Послѣ минутнаго размышленія жена его отвѣтила:

— Быть нѣмцемъ — больше, чѣмъ быть пруссакомъ; потому-то и образовался нѣмецкій союзъ; но быть европейцемъ — больше, чѣмъ быть нѣмцемъ. Быть же человѣкомъ — еще больше, чѣмъ быть европейцемъ. Ты не можешь перемѣнить своей национальности, потому что всѣ „націи“ — враги и нельзя переходить на сторону враговъ, если ты не монахъ, какъ Бернадоттъ, или генераль фельдмаршалъ, какъ графъ Молѣтке. Слѣдовательно, тебѣ остается только одно — нейтрализоваться. Сдѣлаемся швейцарцами! Швейцарія не имѣеть национальности!

Блейхродену вопросъ показался такъ правильно и просто разрѣшеннымъ, что онъ немедленно сталъ собирать свѣдѣнія, какимъ образомъ онъ могъ „нейтрализоваться“.

По справкамъ оказалось, что, проживя здѣсь два года, онъ этимъ уже исполнилъ всѣ условія для того, чтобы стать швейцарскимъ „гражданиномъ“: въ этой странѣ нѣть „подданныхъ“.

Въ настоящее время Блейхроденъ „нейтрализовался“, и хотя въ общемъ онъ счастливъ — все же порою ему приходится вести войну со своей „искусственной“ совѣстью.

* * *

Уйти... Отъ сърыхъ стѣнъ, гдѣ тусклый небосклонъ
Ложится крышею замкнувшейся темницы,

Гдѣ спать во мглѣ дома, какъ темныя гробницы,
Какимъ-то тягостнымъ и бесконечнымъ сномъ!

Гдѣ чудится душѣ—жизнь не проснется вновь
Въ затишии мертвенному, безъ солнца и свободы,
Какъ будто каменные своды
Убили счастье и любовь!

Уйти... Туда уйти, гдѣ травы на зарѣ
Разсвѣту молятся блестящими слезами,
Гдѣ смотрѣть вдалъ цвѣты лазурными глазами,
Гдѣ темный хвойный лѣсъ сбѣгаешь по горѣ...
И кажется—онъ весь однимъ желаньемъ полнъ,
Спускаясь внизъ къ рѣкѣ задумчивой и чистой—
Коснуться вѣткою смолистой
Ея играющихъ посеребренныхъ волнъ...

Г. Галлна.

На старой дорогѣ.

Веселыя нивы по холмамъ зеленѣли,
 И березы кивали вѣтвями густыми;
 А теперь только темныя сосны да ели,
 Да блѣдное небо съ облаками сѣдыми.
 Тамъ, за лѣсомъ, еще куковала кукушка
 И дергачъ свою пѣсню тянулъ монотонно,
 Но едва миновала лѣсная опушка—
 Стало въ чащѣ деревьевъ безмолвно и сонно.
 Уныло заглянетъ съ неба мѣсяцъ двурогій
 И увидить опять сонъ давно позабытый:
 Рядъ столбовъ верстовыхъ на пустынной дорогѣ
 И чахлый малинникъ у канавы размытой.
 Ждешь, въ тревогѣ щемящей, послѣдняго крика,
 Унесенного эхомъ въ пустыню далеко,
 И усталому взору все кажется дико,
 Какъ-то жутко-безцѣльно и странно-жестоко...

В. Башкинъ.

«ТРУЖЕНИКИ».

Романъ Александра Киллана.

Переводъ Н. И. Саблиной.

I.

На юго-западѣ и вдали надъ фьордомъ стояло ясное, голубое небо. Яркіе солнечные лучи играли на поверхности воды, въ легкой зыби, и длинными полосами ложились въ мѣстахъ, гдѣ господствовало полное затишье.

Определеннаго направленія вѣтра не было. Порою онъ вѣялъ съ юга, порою, словно горячее дыханіе, лѣниво проносился изъ долинъ Христіаніи надъ городомъ, прямо на главный островъ и тамъ замиралъ отъ невыносимой жары.

На востокѣ виднѣлась грозовая туча: каждый день послѣ полудня она появлялась, чтобы къ вечеру снова скрыться.

„Что бы ей ужъ разразиться!“ говорили люди; а она все лишь показывалась изо дня въ день, въ продолженіе цѣлаго августа мѣсяца.

Солнце пекло, вѣтеръ дулъ то оттуда, то отсюда, не уменьшая жары, но производя только колебаніе воздуха; непогода высыпала, такъ сказать, надъ природой, заставляя послѣднюю томиться въ трепетномъ ожиданіи,—но оставалась покапустой угрозой.

Всѣ широкія улицы, ведущія къ югу и къ юго-западу, залиты были солнечнымъ свѣтомъ. Тѣнь подползла совсѣмъ вплотную къ стѣнамъ домовъ и легла тонкой, узенькой полоской, такъ что на нее нельзя было и наступить.

Въ улицѣ Карла-Іоганна до полудня было терпимо: по ней можно было дойти, безъ риска повредить себѣ, до того помѣщенія, гдѣ собирался стортингъ; но надъ „Eidsvoldsplatz“ и повыше противъ дворца солнце сосредоточило свои лучшія силы. Молодыя деревья, съ покрытой сѣрою пылью листвой, поникли своими вершинами и вѣтвями; тополя стояли, вытянувшись во весь ростъ, и словно косились на

свою тѣнь. Люди же шмыгали отъ куста къ кусту, точно птицы; а птицы, со своей стороны, бросили путь, забрались въ самую чащу вѣтвей и хлопали глазами на солнце, или же купались въ пыли и засохшихъ цвѣточныхъ клумбахъ.

Нѣсколько залопотучныхъ пѣшеходовъ пыхтѣли, взбираясь на Дворцовую гору, съ раскрытыми зонтиками и шляпами въ рукахъ, а ихъ носовые платки уподобились мокрымъ тряпкамъ. У университета стояла группа тощихъ студентовъ, изнемогавшихъ отъ жары и латыни. Внизъ по Университетской улицѣ пронесся неожиданно порывъ вѣтра, взвилъ облако пыли и разсѣялъ его по площади; вода отъ поливки улицъ слоемъ сѣрыхъ жемчужинъ ложилась на горячую пыль.

Глазамъ становилось больно при взглядѣ на залитый солнцемъ дворецъ, съ его спущенными занавѣсками. Передъ нимъ красовался Карль-Іоганнъ на бронзовомъ конѣ. Онъ держалъ шляпу въ рукѣ,—какъ бы для того, чтобы обмакиваться ею ради прохлады.

Но надъ городомъ воздухъ висѣлъ неподвижно и рябилъ въ глазахъ, точно надъ пожарищемъ. Дымъ изъ трубъ спускался въ видѣ коричневаго облака, а на востокѣ снова начали сгущаться грозовая тучи, на подобіе сплошныхъ, золотистыхъ круговъ, напоминавшихъ дымъ изъ тяжелыхъ орудій.

Большіе, солидные, разсчитанные на сибирскую зиму, дома, накалились не хуже печей. Въ узенькихъ дворикахъ, гдѣ, чтобы увидать небо, надо было лечь на спину,—жара стояла невообразимая. Оттуда проникла она черезъ черные ходы и кухонныя окна, выползала по ступенькамъ и встрѣчалась съ солнцемъ, которое уже поспѣвало со стороны улицы сквозь раскаленныя стѣны и многочисленныя окошки. Нигдѣ не находилось прохладнаго мѣстечка, если не считать ледниковъ. Продолжительная жара такъ плотно засѣла въ стѣнахъ, что даже ночи были невыносимы. Воздухъ стоялъ удушливый, и все, что до того обладало лишь наклонностью дурно пахнуть, теперь воспользовалось случаемъ и издавало положительное зловоніе. Во всемъ городѣ не было ни глотка чистаго воздуха.

— Чѣмъ сѣвериѣе заберешься, тѣмъ хуже жара!—сказалъ канцеляристъ Мортенсенъ и разстегнулъ воротникъ; онъ сидѣлъ безъ сюртука и въ жилеткѣ на распашку.

Молодой секретарь Хиртъ, который помѣщался тутъ же и kleилъ бумажныя папки на случай какой-либо надобности въ министерствѣ, обернулся съ кислой миной. Мортенсенъ дѣйствительно представлялъ изъ себя довольно некрасивое зрѣлище, обливаясь потомъ въ своей рубашкѣ изъ суро-

ваго полотна. Но секретарь Хюртъ ничего не сказалъ: онъ былъ новичекъ въ министерствѣ, а Мортенсенъ умѣлъ импонировать товарищамъ.

Всѣ окна въ большомъ министерскомъ зданіи были открыты настежь, равно какъ и двери между комнатами и въ коридоры. Канцеляристы дѣлали другъ другу визиты и жаловались на жару—они всегда имѣли нѣсколько „дѣлъ“ въ рукахъ, на случай „нежелательной встречи“. Секретари, еще не привыкшіе къ „работѣ“, томились у столовъ, видомъ своимъ напоминая увядавшія „рыцарскія шпоры“; порой они спохватывались и принимались съ напускнымъ усердіемъ рваться въ бумагахъ.

Кстати, бумаги тамъ было вездѣ много. Она переполняла полки и большиими кипами лежала у чиновниковъ и передъ ними, и сбоку.

Здѣсь была и сѣрая, и желтая, и бѣлая, и оберточная, и почтовая, и пропускная, и гербовая бумага; бумага новая и совсѣмъ старая, съ ветхими краями. Она была разбросана вокругъ отдѣльными листами, въ оберткахъ, или въ пакетахъ, перевязанныхъ бичевочкой—на полу, на стульяхъ, на столахъ. Бумага буквально наводняла комнату, такъ что несчастные, которымъ суждено было вращаться среди нея, должны были инстинктивно опасаться, какъ бы не утонуть въ этомъ морѣ бумаги, если не сумѣешь спастись сплавомъ.

Въ комнатѣ рядомъ съ Мортенсеномъ сидѣлъ канцеляристъ Эрсетъ, маленький подвижной человѣчекъ, съ черной бородой. Онъ вбѣжалъ съ газетнымъ листомъ въ рукѣ:

— Читали вы, Мортенсенъ? Вѣдь это перешло всякия границы! Прочтите-ка статейку по новому избирательному праву для рабочихъ! И подобную статью написали, отпечатали и открыто распространяютъ! Нѣть! Ихъ всѣхъ повѣсить мало!!

Мортенсенъ равнодушно взглянуль на листокъ.

— Я читалъ ее еще сегодня утромъ. Глупость. Старо.

— Глупость, Мортенсенъ? Хуже того. Она призываетъ къ беспорядкамъ! Къ возмущенію! Опасная вѣщь, лживая! Подумать, только,—Эрсетъ иронически захохоталъ:—что они всюду шныряютъ, дѣлаютъ глазки всякой сволочи, заигрываютъ и братаются съ рабочими, держать рѣчи по поводу этого честнаго рабочаго класса, какъ будто поденщики трудятся, а всѣ мы, остальные, такъ себѣ... только... только...

— Дневные грабители!—пояснилъ Мортенсенъ.

— Вотъ именно!—продолжалъ Эрсетъ.—А мнѣ хотѣлось бы знать, кто больше работаетъ: каменотесъ или одинъ изъ настѣ?

Между тѣмъ въ комнату проскользнулъ маленький сѣдой человѣкъ. Никогда не зналь, откуда онъ появится.

Подъ его рукой двери безшумно распахивались, и онъ имѣлъ обыкновеніе ходить въ валенкахъ.

— Эге! Мо! — обратился къ нему Мортенсенъ, недовѣрчиво мигая глазами: — ушелъ онъ?

— Господинъ министръ на минуту выѣхалъ съ негоціантомъ Фалькъ-Ольсеномъ, — откликнулся Мо и снова выскользнулъ изъ комнаты.

Эрсетъ давно уже водворился на свое мѣсто, въ сосѣдней комнатѣ. Канцеляристы и докладчики съ большими рвениемъ нагнулись надъ своими дѣловыми бумагами, пока маленький человѣчекъ проходилъ мимо.

Это былъ министерскій курьеръ, по имени Андерстъ Мо. Онъ носилъ длиннополый коричневый сюртукъ, стоячій воротничекъ и бѣлый галстукъ, подпиравшій ему подбородокъ. Костюмъ придавалъ ему значительный видъ, — обликъ квакера. Бѣдное лицо было кротко и привѣтливо, бѣлосѣжные волосы такъ низко спускались на шею, что изящно вились по воротинку сюртука. Когда благообразный курьеръ безшумно скрылся въ сосѣдней комнатѣ, Мортенсенъ заговорилъ, понижая голосъ:

— Эй, Эрсетъ! Не можемъ ли мы улетучиться по пріему начальства и отѣздать свѣжаго пивка, а?

— Хорошо бы! — неожиданно отозвался секретарь Хиртъ и уронилъ ножницы на полъ. Мортенсенъ хладнокровно поглядѣлъ на молодого человѣка; но вдругъ въ умѣ его блеснула идея: Хиртъ былъ сынъ уѣзданаго судьи съ запада, имѣлъ очень хорошія связи и, вѣроятно, въ деньгахъ не стѣснялся. Поэтому онъ отвѣчалъ ему дружелюбно:

— Молодо—зелено! А надежды большія подаетъ.

Секретарь намека не понялъ, но зналъ, что въ министерствѣ принято считать Мортенсена остроумнымъ, а потому на всякий случай ослабился и заявилъ:

— Чего мнѣ больше всего недостаетъ, съ тѣхъ поръ какъ я служу въ министерствѣ, такъ это завтраковъ въ Грандъ-Отелѣ! Въ эти часы тамъ подаются чудесныя бараны котлеты, жареные на ракшперѣ, и свѣжій салатъ съ огурцами! Ахъ!!

Изъ комнаты Эрсета послышалось неопределеннное хрюканье, а Мортенсенъ заявилъ:

— Салата изъ огурцовъ я никогда не ъмѣю за завтракомъ, отъ него дѣлается отрыжка. А вотъ голландскій бифштекъ съ жареннымъ картофелемъ, рюмка водки, да кружка пива, — самый настоящій завтракъ!

— Все это вы можете получить въ Грандъ-Отелѣ!..

— Да? Я не думалъ, что тамъ такъ хорошо кормятъ, — вставилъ Мортенсенъ.

— Уверяю вась! Если вы сдѣлаете мнѣ честь позавтрапать со мною, то я ручаюсь вамъ...

Опять изъ соседней комнаты послышался какой-то звукъ, и Мортенсенъ отвѣтилъ:

— Большое спасибо. Но мы вотъ намѣревались съ Эрсетомъ...

— Если вы полагаете,—смущенно предложилъ секретарь Хиртъ:—что господинъ Эрсетъ также окажеть мнѣ честь...

— Онь чертовски гордъ... Но я попробую уломать его...—отвѣчалъ Мортенсенъ, подтянувшись брюки и прошелъ въ соседнюю комнату.

Тамъ, рядомъ съ Эрсетомъ, сидѣлъ пожилой господинъ нагнувшись надъ своей конторкой. Его-то и окликнулъ Эрсетъ, когда пошептался съ Мортенсеномъ.

— Ганзенъ! Мнѣ надо бы на короткое время отлучиться передъ завтракомъ. Если Мо спросить, скажите ему, голубчикъ, что меня вы требовали на конференцію въ ревизионную камеру. Слышите, папаша Ганзенъ?

Тотъ кивнулъ головой.

— Старъ сталъ! —понизивъ голосъ, замѣтилъ Мортенсенъ:— пора ему была отступиться отъ газеты!

Мортенсенъ говорилъ о „Другѣ народа“, изъ редакціи котораго „старому Ганзену“—какъ его прозвали,—пришлося удалиться, такъ какъ направление, которое онъ давалъ газетѣ, показалось его начальству опаснымъ. Теперь редакторомъ былъ Мортенсенъ.

Когда Эрсетъ уже готовился идти, Мортенсенъ напомнилъ, что имъ неудобно удалиться раньше, чѣмъ они убѣдятся, что начальникъ бюро самъ отправился завтракать. Но тутъ какъ разъ дверь внутренняго помѣщенія распахнулась, и директоръ департамента, Дельфинъ, вышелъ и сталъ спускаться съ лѣстницы.

Мортенсенъ вернулся на свое мѣсто и шепнулъ Хирту: „я уломалъ его!“ А затѣмъ, напѣвавъ пѣсенку, началъ одѣваться.

Немногіе дерзали вести себя такъ непринужденно въ министерствѣ, какъ канцеляристъ Мортенсенъ. Но когда узнали, что онъ дружить со всемогущимъ Андерсономъ, какъ прозвали Мо, то стали поговаривать, что министръ Беннхенъ пользуется „Другомъ народа“ для своихъ цѣлей.

Поэтому положеніе Мортенсена въ министерствѣ было гораздо выше его чина, и совсѣмъ начало уже позабываться то обстоятельство, что онъ, въ качествѣ провинциального адвоката, былъ замѣшанъ въ какой-то мошеннической продѣлкѣ на одной спичечной фабрикѣ.

Когда Мортенсенъ застегнулъ юртку поверхъ своей су-

ровой рубашки, все трое взяли шляпы и собирались выйти; но въ дверяхъ Мортенсенъ обернулся и воскликнулъ:

— Боги мои, онъ не прихватилъ никакихъ бумагъ! Молодо — зелено, собирается выйти на улицу бѣзо всякихъ бумагъ!

— Что? — спросилъ Хіортъ, готовый расхохотаться, какъ только онъ пойметъ соль остроты Мортенсена.

— Развѣ вы не замѣчаете? — обратился къ нему Эрсетъ, и тутъ только Хіортъ обратилъ вниманіе, что у каждого изъ двухъ торчатъ подъ мышкой бумаги.

— А!.. Да... Но что же мнѣ взять? — недоумѣвалъ онъ, глядя на кипу своихъ дѣловыхъ бумагъ.

— Заступница, святая Магдалина! — возопилъ Мортенсенъ, устремляя взоръ въ потолокъ: — онъ спрашиваетъ, что ему взять! Какъ будто не всякая тетрадь бумаги годится, чтобы имѣть ее при себѣ на улицѣ!

Наконецъ Хіортъ догадался, въ чемъ дѣло, приготовилъ себѣ пакетъ, какъ у другихъ — и все трое тихонько спустились съ лѣстницы.

Въ воротахъ съ ними столкнулся, бѣжавшій навстрѣчу, долговязый малый, въ костюмѣ рабочаго.

— Ахъ, господинъ редакторъ, а я было къ вамъ! — обратился онъ къ Мортенсену, утирая потъ съ лица холщевымъ передникомъ: — намъ необходимъ портретъ генерала Робертса.

— Помѣстите Гладстона съ окладистой бородой, — не задумываясь, распорядился редакторъ.

— Но вѣдь у Гладстона огромная лысина!.. — возразилъ рѣзчикъ по дереву.

— Надѣнте ему шляпу Стэнли, — спокойно приказалъ Мортенсенъ.

Рабочій побѣжалъ обратно черезъ улицу, а Хіортъ въ изумлѣніи покатился со смѣху.

— Прекрасно вышли изъ затрудненія, господинъ редакторъ! — сказалъ онъ и даже осмѣлился фамильярно потрепать Мортенсена по плечу (не даромъ же онъ собирался угощать пріятелей)! — Но имѣете ли вы понятіе о наружности генерала Робертса.

— Ни малѣйшаго! — былъ хладнокровный отвѣтъ Мортенсена.

— Но представьте себѣ, что у генерала вовсе нѣть бороды, или, напримѣръ, только усы, какъ у меня?

— Ну, значитъ, генераль обрился послѣ интервью съ нами, очень просто!

— Господа, теперь намъ надо раздѣлиться на двѣ партии, — сказалъ Эрсетъ: — вы, Мортенсенъ, идите на ту сторону...

Въ этотъ моментъ Мортенсенъ испустилъ энергичное ру-

гательство: навстрѣчу имъ шелъ начальникъ ихъ, Дельфинъ, элегантный и спокойный, со свойственной ему ядовитой усмѣшечкой на губахъ.

— Теперь надо ждать передряги! — пробурчалъ Эрсеть.

Докладчикъ Хиортъ затрепеталъ отъ испуга. Всѣ трое поклонились, видимо смущенные. Георгъ Дельфинъ небрежно кивнулъ головой и, повидимому, намѣревался пройти мимо; но вдругъ остановился передъ Мортенсеномъ и изысканно вѣжливо спросилъ:

— Господинъ Мортенсенъ, не найдется ли у васъ спичекъ?

Мортенсенъ засуетился, отыскивая спички, а директоръ департамента, съ невозможнымъ спокойствиемъ, закурилъ свою сигару, поблагодарилъ и пошелъ дальше.

— На этотъ разъ мы дешево отѣвались! — наивно воскликнулъ Хиортъ.

— Ну, это еще неизвѣстно! — возразилъ Эрсеть, злобно косясь на Мортенсена.

— Проклятый болтуны! — выругался редакторъ.

— У Фалькъ-Ольсеновъ въ воскресенье говорили, что его вскорѣ сдѣлаютъ камергеромъ! — сообщилъ Хиортъ, довольный, что ему удалось таки упомянуть про свои аристократическія знакомства.

Но распространиться насчетъ важной новости ему не пришлось; собесѣдники разстались по совѣту Эрсета, чтобы вновь соединиться въ Грандъ-Отелѣ.

Солнце пекло. По узкой тѣневой полоскѣ, ложившейся теперь вдоль тротуара, шла густая масса народу; нашимъ тремъ чиновникамъ пришлось волей-неволей идти по самому припеку; встрѣчные знакомые, не останавливаясь, привѣтствовали ихъ. Всѣ видѣли, что они торопятся, а пакеты подъ мышками усиливали впечатлѣніе дѣловитости.

Между тѣмъ въ комнатахъ министерства жара становилась все удушливѣе. Надъ бумагами сиротливо дремалъ старый Ганзенъ.

II.

Въ уѣздномъ судѣ чинили судь и расправу. На краю Почтамской улицы, у дворовъ тѣснились распряженныя телѣги, омнибусы и другіе экипажи всевозможныхъ родовъ; передъ самыми подъѣздомъ зданія суда стояла большая коляска, въ которой пріѣхали уѣздный и окружной судьи, городской голова. Вокругъ экипажа столпились мальчишки и глязѣли, тѣснясь другъ за другомъ и засунувъ руки въ карманы. Взрослые разсѣялись вдоль улицы и подъ окнами суда. Женщинъ не было видно. Взрослые меньше зѣвали по сторонамъ,

но руки также засунули въ карманы. Собрались кучки тамъ и сямъ, шла болтовня; ходившіе вдоль домовъ попарно тоже работали языками. Встрѣчались и тревожные, напряженные лица,—то были люди, прибывшіе издалека узнать о своихъ „дѣлахъ“.

Между послѣдними находился маленький, худенький человѣчекъ, судя по его виду, пріѣзжій изъ глубины страны. Онъ Ѳхалъ всю ночь, чтобы успѣть къ засѣданію; лошадиный барышникъ обманулъ его съ буланой кобылой. Дѣло было давно; больше года тому назадъ онъ побывалъ въ городѣ у адвоката Бойзена, просилъ его ходатайства; много свѣтлыхъ шиллинговъ утекло ба повѣстки и на всякой вздорь,—а тѣмъ временемъ барышникъ вмѣстѣ съ буланкой исчезли невѣдомо куда. Но на сегодняшній день адвокатъ обѣщалъ ему „рѣшеніе дѣла“. И потерпѣвшій ждалъ, что барышника заставятъ вернуть ему буланую кобылу и уплатить судебнаго издергки.

Только бы ему поймать адвоката Бойзена. Цѣлое утро караулилъ онъ у зданія суда, а адвоката все нѣтъ, какъ нѣтъ.

Люди входили и выходили; кому надо было поговорить съ старшиной, кому — заплатить подати, кому — навести справки у окружного судьи. Приближался полдень. Ожидавшій людъ принялъ закусывать стоя, доставъ привезенную съ собою Ѳду; иные усѣлись рядами на краю шоссейной канавы. Временами въ дверяхъ суда показывался одинъ изъ писцовъ и выкрикаль чье-нибудь имя; присутствующіе оборачивались и повторяли имя, пока нужный субъектъ не отыскивался гдѣ-нибудь и не начиналъ медленно идти на призывъ; тогда писецъ нетерпѣливо покрикивалъ, рекомендую „попшевеливаться“, а вѣтеръ игралъ его завитыми волосами и обдувалъ ему лицо.

На большомъ камнѣ, у забора сидѣлъ человѣкъ, нѣсколько въ сторонѣ отъ другихъ. Онъ снялъ шляпу и задумчиво уставился глазами вдали, на море. То былъ коренастый, высокий мужчина, слегка сгорбившійся отъ тяжелыхъ деревенскихъ работъ и пребыванія въ низкой избѣ. У него было строгое лицо съ рѣзкими чертами и рыжая, густая, кудрявая растительность на головѣ и лицѣ. Онъ смахивалъ на лѣсное страшилище, но глаза у него были ясные, правдивые, голубые, какъ у ребенка.

Отъ одной изъ ближайшихъ группъ отдѣлился другой мужчина, подошелъ къ забору и поздоровался.

— Здравствуй, Нѣадель!

Нѣадель полуобернулся и отвѣтилъ на привѣтствіе.

— Хорошо, что я здѣсь сегодня тебя засталъ! — произнесъ первый:—мы можемъ потолковать съ тобой о нашемъ

дѣлъ и услышимъ, что добрые люди на этотъ счетъ думаютъ.

— Мнѣ до другихъ дѣла нѣть, Серенъ,—отвѣчалъ Нѣдель:—да если-бъ и ты оставлялъ ихъ въ покоѣ, то мнѣ не пришлось бы сегодня торчать передъ судомъ, всѣмъ на посѣшище.

— Мы должны быть готовы, что то, въ чемъ мы согрѣшили втайне, сдѣлается явнымъ, разъ въ мірѣ возбуждается соблазнъ...

— Какой тамъ соблазнъ! Когда каждый знаетъ только самого себя, рѣчи не можетъ быть о соблазнѣ!

— Соблазнъ всегда будетъ... Но горе тому человѣку...

Нѣдель вытянулся во весь ростъ и отрывисто оборвалъ рѣчь словами:

— Что ты хотѣлъ мнѣ сказать о нашемъ дѣлѣ?

Серенъ Беревигъ былъ высокій сутуловатый мужчина, съ прямыми, желтыми, какъ солома, волосами и бѣлыми рѣсницами. Разговаривая, онъ глядѣлъ искоса и исподлобья, а также имѣлъ привычку потирать руки.

— Ты роешь большую канаву внизъ, къ самому морю, Нѣдель?

— Совершенно вѣрно.

— И ты доведешь ее до самаго тростника?

— Я иду вдоль границы своего поля.

— Такъ... поддакнулъ Серенъ и покосился черезъ дорогу:—но вѣдь тебѣ придется не по вкусу, если другое станиуть вторгаться въ твою землю?

— Пусть только попробуютъ!

— Но послушай, Нѣдель! Какъ же мнѣ иначе добраться до берега, если ты проведешь свою канаву? Подумалъ ты обѣ этомъ?

— Тебѣ туда вовсе не къ чему и добираться, Серенъ. Тамъ тебѣ дѣлать нечего.

— Гм! гм! — захихикалъ Серенъ: — больно скорѣ ты на языкъ, Нѣдель!

— Какъ бы скоро я ни говорилъ, я всегда могу дать отчетъ въ своихъ словахъ.

— Ты, пожалуй, скажешь, что я не добывалъ оттуда тростника, съ тѣхъ поръ какъ владѣю Беревигсь-гофомъ?

— Добывать-то ты не добывалъ, Серенъ,—отвѣчалъ Нѣдель, послѣ нѣкотораго размышенія.—Думается мнѣ, ты дѣлалъ и многое другое, чего не слѣдовало бы дѣлать.

— Ты, можетъ быть, воображаешь, что это хорошо загораживать старыя, утвержденныя дороги? — съ разстановкой спросилъ Серенъ:—какъ ты полагаешь, Нѣдель?

— У меня есть купчая крѣпость въ полномъ порядкѣ. Я

купилъ церковную землю и плачу подати епископу Христіан-
занда. Но въ бумагѣ ни слова не сказано о томъ, чтобы оби-
татели Беревига имѣли право ходить по моему полю, а по-
тому я полагаю, что могу рыть канавы, гдѣ мнѣ вѣдумается.

Съ этими словами Ньѣдель началъ подвигаться къ домамъ.

— Но тростникъ, тростникъ... — ввернуль Серенъ Бере-
вигъ и еще сильнѣе потерпъ руки.

— Руда находится въ горахъ, тростникъ въ водѣ. Если
у тебя нѣть горъ, нѣть у тебя и руды. Не имѣя берега,
нельзя разсчитывать на тростникъ. Ты бы долженъ это по-
нять, Серенъ,—ты такой умный человѣкъ, говорять.

— Но... но... — не унимался тотъ:—надо Божиѣ дары дѣл-
ить между собою, Ньѣдель... Всѣ мы братья...

— Твоимъ братомъ я не желалъ бы быть, Серенъ, ни за
двѣsti возовъ тростника! — отрѣзалъ Ньѣдель и посмотрѣль
на собесѣдника сверху внизъ.

— Такъ, такъ... — смиренно поддакнулъ Серенъ.—А насчетъ
дороги мы потягаемся... Я переговорю съ адвокатомъ Тофте,
какъ только онъ придетъ.

— Попробуй только, Серенъ! Купчая-то вѣдь у меня! Я...—
Ньѣдель не докончилъ и отошелъ прочь.

Посреди улицы собралась кучка народу вокругъ подъ-
ѣхавшей телѣжки. Изъ нея вылѣзъ маленький, толстенький
человѣчекъ съ краснымъ лицомъ, сѣдой бородой, и въ мѣ-
ховой шапкѣ.

— Не знаетъ ли кто-нибудь изъ васъ,—обратился онъ къ
окружающимъ зѣвакамъ:—какому негодяю принадлежитъ
клочекъ земли, черезъ которую идетъ дорога отъ Беревигс-
гринда до Свартемоора? Мнѣ бы хотѣлось съ этимъ вла-
дѣльцемъ обмѣняться парой теплыхъ словъ!

Никто этого не зналъ, но одинъ изъ старииковъ подтвердилъ:

— Да, господинъ староста правъ,—на всемъ берегу нѣть
хуже дороги.

— Это не дорога, а болото, трясина! Да еще съ огром-
ными камнями. Посмотрите, на что мы похожи!—онъ ука-
залъ на себя, на лошадь и на телѣжку: всѣ были забрызганы
грязью.

— Пожаловаться бы вамъ въ судъ!—посовѣтовалъ кто-то.

— Понятно, если бы это только принесло какую-нибудь
пользу! — сказалъ лоцманскій староста и почесалъ голову
подъ мѣховой шапкой.

Въ тотъ же мигъ онъ увидалъ Ньѣделя Фатнемо, который
приближался. Староста поманилъ его.

Одинъ изъ лоцмановъ принялъ его лошадь. Староста по-
дошелъ къ Ньѣделю и шепнулъ ему:

— Она уже на пароходѣ.

- Заручилась ли хорошимъ мѣстомъ? — спросилъ Нѣдель.
- Отличнымъ, старина! Все равно что на американскому пароходѣ. Ёдетъ во второмъ классѣ. Завтра вечеромъ будетъ въ Христіаніи.
- Ужасно жаль, что она пріѣдетъ въ сумерки! Только бы нашла Андерса!
- Да, я долженъ тебѣ сказать, Нѣдель, что я послалъ твоему брату телеграмму, отъ твоего имени. Онъ встрѣтить Христину на пристани.
- И какъ ты обо всемъ заботишься! — обрадовался Нѣдель:
- Это тебѣ дорого стоило?
- Одну крону, ни болѣе, ни менѣе.
- Дешевле нельзя было?
- Нельзя, старина. Такса!
- Понятно... И то хорошо, что все устроилось! — замѣтилъ Нѣдель и началъ отыскивать крону. — Большое спасибо!
- Ну, что за благодарность! Ты былъ уже на судѣ, Нѣдель?
- Нѣть. Говорять, что до полудня больше не будетъ разбираться дѣль.
- Поѣхъ чего-нибудь?
- Нѣть. Дома некому было позаботиться о моемъ завтракѣ, — коротко пояснилъ Нѣдель.
- Гм... И то правда! — пробормоталъ смотритель. — Пойдемъ-ка къ лоцману Тобіасу, да закусимъ чего-нибудь.

Толпа разступилась; лоцманскому старостѣ всѣ кланялись, а спутника его, шедшаго позади, даже не замѣчали.

Собирался дождь. Песчаныя мели на морѣ казались совершенно темными, а вода — сѣрой, съ бѣлой пѣнной на поверхности. Поднялся свѣжій юго-западный вѣтеръ, и прибой ударялся о большіе, круглые камни, оставляя за собой длинныя, скользкія полосы на берегу — то наступая, то отступая, образуя небольшой валъ у самыхъ дворовъ, плотно жившихся другъ къ другу на набережной.

Между домами тянулись узкіе, грязные проходы, засоренные навозомъ и всякимъ мусоромъ: вилами, ржавыми сошниками, сломанными колесами, обломками корабельныхъ снастей, накопившихся годами, по мѣрѣ того, какъ море выбрасывало ихъ на берегъ. Передъ жилыми помѣщеніями попадались иногда и расчищенные мѣстечки, гдѣ, во время скопленія народа, люди присаживались на ступенькахъ или на камняхъ у стѣнъ.

Хотя стоялъ свѣтлый день въ самой серединѣ лѣта, но на всемъ лежалъ какой-то сѣрий, мрачный колоритъ. Небо низко нависло со своими сѣрыми облаками, да и море отливало чѣмъ-то сѣрымъ. Также и коричневые дома, которые

въ солнечный день радуютъ глазъ своими бѣлыми окнами, занавѣсками и цвѣточными горшками, при теперешнемъ освѣщеніи казались темными и унылыми. Даже бѣлый домъ старшины казался печальнымъ и непригляднымъ.

Густая толпа простолюдиновъ вполнѣ подходила къ окружающей обстановкѣ. Всѣ эти толстые, темно-синія жилетки, шерстяные рубашки и шерстяные же галстуки только усиливали лежавшій на всемъ отпечатокъ унылости. Въ группахъ не замѣчалось жизни; одинъ скользилъ туда, другой сюда; здоровались, глядя по сторонамъ и бормоча неясныя привѣтствія; толстые, влажныя руки нехотя протягивались, прикасались одна къ другой, безъ дружескаго пожатія; при этомъ пальцы не сгибались, что считалось особенно учтивымъ. Ни возгласа, ни громкаго слова, уже не говоря о смѣхѣ. И надѣль всѣмъ этимъ господствовалъ запахъ овечьей шерсти, окрашенной въ цвѣтъ, который почему-то называется „горшковымъ“.

Ровно въ часъ закрылось утреннее засѣданіе, и, пока въ помѣщенніи суда приготавляли все къ завтраку, чиновники и адвокаты прогуливались по улицѣ взадъ и впередъ, курили, болтали.

Нѣкоторые изъ простолюдиновъ, у которыхъ хватило храбрости, крѣпко уцѣпились за своихъ ходатаевъ,—но хмурый, сосредоточенный крестьянинъ изъ Хальде такъ и не могъ найти своего.

Уѣздный начальникъ Хіортъ, отличавшійся большою снисходительностью, ходилъ среди народа, примѣчая, кто ему кланяется. Когда ему казалось, что онъ видѣть знакомое лицо, онъ останавливался и говорилъ два-три фамильярныхъ слова; руки, впрочемъ, онъ держалъ за спину, подъ фалдами сюртука, чтобы никому не вадумалось пожать ихъ.

Старшина и его сынъ какъ разъ вели черезъ дворъ арестанта; для безопасности на него надѣли кандалы: деревенская тюрьма не надежна, да и сторожамъ такъ спокойнѣе.

— Кто-нибудь изъ присутствующихъ знаетъ этого человѣка?—спросилъ уѣздный начальникъ.

— Да, господинъ начальникъ, онъ изъ Кридсвига,—отвѣчалъ смотритель, который въ эту минуту вышелъ изъ дома.

— Здравствуйте, господинъ лоцманскій староста Зеегусъ! — произнесъ уѣздный начальникъ и снисходительно протянулъ два пальца правой руки.—Итакъ, вы знаете преступника? Воръ, должно быть?

— Да, бѣдняга! Онъ валомъ замокъ у деревенской лавочки и стащилъ мѣшокъ муки, да кружку патоки.

— Эти учащенные случаи воровства,—строго замѣтилъ уѣздный начальникъ Хіортъ, обводя глазами присутствую-

щихъ:—вызываютъ опасенія. Они, повидимому, стоять въ тѣсной связи съ другими пагубными вѣяніями, которыя, къ сожалѣнію, за послѣднее время усиленно распространяются въ народѣ. Находится ли виновный въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ? Большая у него семья? Много дѣтей?

— Много, и все малыши, какъ кругляшки на сковородѣ, господинъ начальникъ!—отвѣчалъ смотритель.

— Кругляшки?—переспросилъ начальникъ, съ недоумѣніемъ, поднявъ брови.

Адвокатъ Тофте, неизмѣнно торчавшій подъ рукой у начальства, горя желаніемъ быть ему полезнымъ, вкрадчиво хихикнулъ и пояснилъ:

— Извините, господинъ начальникъ,—это означаетъ, такъ сказать, ломтики картофеля!

— А, картофельные ломтики!—снисходительно и пробормоталъ начальникъ и пошелъ дальше.

Окружающіе переглянулись, нѣкоторые ослабились; но всѣ вообще изумлялись, что лоцманскій староста такъ независимо говорить съ высшими; онъ сразу очутился, такъ сказать, на особомъ положеніи.

Луритцъ Больдеманъ Зеегусъ былъ сынъ мелкаго таможеннаго чиновника въ Флеккѣфіордѣ, изрядно любившаго выпить. Въ юности онъ былъ морякомъ, но съ годами купилъ часть Кридсвиггофа, построилъ себѣ домъ, откуда могъ любоваться моремъ и видѣть, что на немъ дѣлается; такимъ образомъ, онъ сдѣлался лоцманскимъ старостой.

Зеегусу могло быть около шестидесяти лѣтъ. Онъ былъ холостъ, не то морякъ, не то мужикъ. У начальства онъ былъ не на особенно хорошемъ счету. Уѣзжій судья Хиртъ считалъ его даже почти опаснымъ, такъ какъ онъ, несмотря на свое полуофициальное положеніе, мало отличался отъ крестьянъ, отчего легко могло пострадать узаконенное вѣками уваженіе крестьянъ къ чиновникамъ.

Между тѣмъ Зеегусъ дѣлалъ свое дѣло и пользовался среди крестьянъ популярностью, такъ что добиться его смыщенія разсчитывать было трудно. Онъ самъ и не подозрѣвалъ, что возбуждаетъ подозрѣнія въ неблагонадежности; свободный тонъ онъ усвоилъ себѣ на морѣ и, когда уѣзжій судья удостоилъ его двумя пальцами и холоднымъ взглядомъ, онъ, въ своей наивной почтительности, подумалъ, что господинъ Хиртъ чертовски благовоспитанный человѣкъ.

Ближайшій сосѣдъ смотрителя былъ Ньэдель Фатнемо. Онъ, собственно говоря, былъ пришлецъ на берегу, такъ какъ родомъ былъ изъ горной мызы, далеко въ глубинѣ страны. Но, послѣ того, какъ мыза много лѣтъ кряду страдала отъ обваловъ, однажды весной скатилась каменная лавина, ко-

торая такъ основательно смела человѣческую работу, что Ньэдель въ одной рубашкѣ остался на верху скалы, а дома со всѣмъ содергимымъ рухнули. Между развалинами, на другое утро, отыскали трупы его жены и двоихъ дѣтей; одна старшая дочь какимъ-то чудомъ была еще жива.

Тогда Ньэдель рѣшился отказаться отъ родовой мызы Фатнемо.

Онъ продалъ все, что уцѣлѣло послѣ обвала, и переселился на морской берегъ. Онъ не перемѣнилъ прозвища, сообразно съ новымъ владѣніемъ, какъ принято; онъ пріобрѣлъ часть той же мызы, что купилъ Зеегусъ незадолго до него.

Кридевигъ было большое вымороочное имѣніе, принадлежавшее епископству Христіанії. Ньэдель вынесъ изъ своего пребыванія въ горахъ склонность къ одиночеству, а потому выбралъ себѣ самое низмѣнное мѣстечко совсѣмъ у берега, съ песчаной пустынной площадью.

Много лѣтъ прожилъ онъ съ дочкой Христиной и работницей, обрабатывая свою полосу земли и кое-что откладывая про черный день. Единственno съ кѣмъ онъ знался, такъ это со старшиной Зеегусомъ, а этотъ послѣдній искренно привязался къ добродушному великому и его красивой дочкѣ.

Вообще же Ньэделя сосѣди не долюбливали, какъ чужого; находили что-то отталкивающее въ высокомъ, коренастомъ мужикѣ, съ шапкой рыжихъ лохматыхъ волосъ. Когда онъ стоялъ или копался на своемъ болотистомъ полѣ, онъ смахивалъ на великана, выльзшаго изъ земли. Его взъерошенная, обнаженная голова всегда опускалась на грудь, когда кто нибудь проѣзжалъ мимо; а чужестранцы непремѣнно спрашивали сторожа, что это за великанъ. Но Ньэдель за работой не обращалъ ни на что вниманія; онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые словно ведутъ борьбу со своей работой. Стиснувъ зубы, наморщивъ брови, ворочалъ онъ лопатой или желѣзнымъ ломомъ, и тащилъ, и рвалъ, и топталъ, такъ что земля только стонала; когда же какой-нибудь камень оказывалъ ему сопротивленіе, онъ бросался на него, собравъ всѣ свои исполинскія силы, и разправлялся съ нимъ, рыча, какъ разсвирѣпѣвшій медведь.

Когда наступало время єды, или становилось слишкомъ темно, онъ выльзалъ изъ канавы и чистилъ свои деревянные башмаки, затѣмъ ставилъ желѣзный ломъ на мѣсто и провѣрялъ результатъ своихъ трудовъ. Если ему казалось, что работа шла успѣшно, онъ запускалъ пальцы себѣ въ волосы, такъ что они становились дыбомъ, и посмѣивался себѣ въ носъ.

Въ избѣ, среди женщинъ, онъ бывалъ тихъ, какъ ягненокъ, низко нагибался и двигался съ большою осторож-

ностью, какъ будто боялся поднять крышу головою, если разправить свои могучіе члены.

Пока судейскій персональ завтракалъ, пошелъ дождь. Облака опустились еще ниже, и дождикъ моросилъ мелкій и частый, какъ и всегда, когда онъ намѣревается зарядить надолго.

Многіе изъ прѣхавшихъ простолюдиновъ попрятались по домамъ и сараймъ, но большинство осталось на улицѣ, не взирая на дождь. Они нагибались и уклонялись то въ одну сторону, то въ другую, такъ что струйки воды текли съ полей ихъ шляпъ; но въ общемъ они такъ привыкли къ неудобствамъ и сырости, что не особенно смущались тѣмъ, что промокли до костей. Они даже не высказывали нетерпѣнія: всѣмъ было извѣстно, что судейскій завтракъ требуетъ продолжительного времени.

III.

Въ верхнемъ концѣ стола сидѣлъ уѣздный начальникъ; по правую руку отъ него— судья; по лѣвой—голова; дальше слѣдовали по старшинству адвокаты, уполномоченные, по чину своихъ довѣрителей; писцы въ томъ же порядкѣ мѣстничества и, въ заключеніе, двое крестьянъ, мѣщанскій староста и другіе приглашенные. Староста сидѣлъ въ нижнемъ концѣ стола.

— Замѣтно, что у г. старосты городская кухарка,—замѣтилъ старый адвокатъ Карсъ и причмокнулъ губами.—Прошли тѣ времена, когда мы осуждены бывали поглощать ушатъ шведского супа съ корицей и патокой.

Онъ сказалъ это вполноголоса головѣ: подавали первое блюдо—рыбный пуддингъ съ вареными морскими раками. Разговаривалъ больше всѣхъ уѣздный судья. Красное вино было слишкомъ кисло, но очень крѣпко, кромѣ того, поданы были водка и пиво, такъ что настроеніе вскорѣ повысилось.

Уѣздный начальникъ умѣлъ дать тонъ общей бесѣдѣ, и начало завтрака прошло торжественно.

Сосѣди переговаривались полуушопотомъ; на обращеніе судьи отвѣчали, но съ вопросами и замѣчаніями къ нему никто не лѣзъ. Онъ же старался быть со всѣми привѣтливъмъ, въ особенности дружелюбно заговаривалъ съ крестьянами. Ему ужасно хотѣлось казаться ласковымъ и популярнымъ.

За жаркимъ онъ по обыкновенію провозгласилъ тостъ за здоровье его величества, затѣмъ, какъ водится, сказалъ коротенький спичъ. Сегодня онъ обратился къ помощнику окруж-

ного судьи, кандидату Альфреду Беннехену, который вскорѣ долженъ быть ихъ покинутъ.

— Такъ какъ вы, господинъ кандидатъ Беннехенъ,—такъ началъ онъ свою рѣчъ,—покидаете дѣятельность, которой вы посвятили часть лучшихъ годовъ вашей юности, и переходите къ инымъ трудамъ,—быть можетъ, болѣе отвѣтственнымъ, болѣе тяжкимъ, болѣе возвышеннымъ,—то позвольте намъ пожелать вамъ всего хорошаго и поблагодарить васъ за то время, которое вы провели въ совмѣстной работѣ съ нами. Но, хотя мы и будемъ раздѣлены пространствомъ, мы все же останемся собратьями по труду. Надѣюсь, вы не сочтете за нескромность, если я сообщу собранію, что вы намѣреваетесь перейти въ министерство,—по всей вѣроятности, въ министерство вашего батюшки?

Альфредъ Беннехенъ вѣжливо поклонился.

— Итакъ, я говорилъ,—продолжалъ уѣздный начальникъ:—что мы оставляемъ собратьями по труду. Развѣ бюрократія, это—не великое, общее дѣло всей страны? Развѣ дѣятельность нашихъ чиновниковъ не охватываетъ народъ не разрывнымъ кольцомъ? Такъ какъ вы, выражаясь образно, мѣняете ваше мѣсто въ общей цѣпи, позвольте попросить васъ передать нашему достоуважаемому батюшку напечатаніе почтеніе съ просьбою всеподданнѣйше доложить его величеству, что мы трудимся... въ этомъ вся суть, господа... что мы трудимся среди народа, какъ вѣрноподданные его величества. А вамъ, господинъ кандидатъ, намъ остается пожелать, чтобы вы, имѣя передъ глазами доблестный примѣръ вашего батюшки, достигли самаго виднаго положенія и, опять таки какъ вашъ батюшка, сдѣлались бы гордостью и украшеніемъ вашей родины! Господинъ кандидатъ Беннехенъ! Господь да пребываетъ съ вами!

— Надѣй этой рѣчью онъ изрядно попотѣль, увѣряю васъ!—шепнула адвокатъ Карсъ сосѣду по лѣвой руку, такъ какъ спичи уѣзднаго судьи не блистали краснорѣчиемъ.

Окружной судья тоже произнесъ коротенько слово, обращаясь полуушутило къ своему помощнику. Альфредъ Беннехенъ въ свою очередь отвѣтилъ, такъ что вообще за завтракомъ въ этотъ день говорено было не мало. Какъ разъ, когда шумъ оживленныхъ голосовъ достигъ крайнихъ предѣловъ, волостной писарь подавился кускомъ жаркого. Бѣднякъ совсѣмъ было задохнулся, и дѣло, казалось, готово было принять трагическій оборотъ, но сосѣдъ писца такъ усердно колотилъ его по хребту, что кусокъ, попавшій не въ то горло, наконецъ, выскочилъ изо рта и вылетѣлъ на середину стола.

Уѣздный начальникъ закрылся салфеткой; старшина нѣ-

сколько разъ извинился за своего писца; только адвокатъ Карсь, внимательно разсмотрѣвъ кусокъ мяса, началъ клясться, что онъ вѣсить не менѣе четверти фунта.

Этотъ инцидентъ совершенно испортилъ настроеніе духа уѣзднаго начальника.

Младшіе адвокаты начали смѣяться и переговариваться черезъ столъ; оживленіе начало брать верхъ надъ почтительностью. Самъ уѣздный начальникъ былъ такъ напуганъ непріятнымъ случаемъ, что вскакивалъ съ мѣста и хватался за очки, стоило только кому-нибудь кашлянуть; что же касается до злополучнаго писаря, то судья убѣдительно, хотя и въ предѣлахъ деликатности, просилъ его не торопиться и разрѣзать кусочки жаркого помельче.

— Много дѣлъ осталось еще на сегодня?—спросилъ уѣздный начальникъ судью, убѣдясь, что ему больше не завладѣть разговоромъ.

— Право, не знаю,—простодушно отвѣтилъ вопрошаемый и поставилъ свой стаканъ:—Скажите, Беннехенъ, много еще дѣлъ на очереди?

— О, да, достаточно! Между прочимъ, имѣется крайне интересный случай.—Помощникъ нагнулся къ окружному судью и заговорилъ съ нимъ, понизивъ голосъ.

— Въ чёмъ же дѣло?—полюбопытствовалъ уѣздный начальникъ.

— Процессъ о незаконномъ сожительствѣ, господинъ начальникъ, ни болѣе, ни менѣе!—отвѣчалъ окружной судья, подмигивая маленькими свѣтло-сѣрыми глазками. Самъ онъ былъ низенький, толстенький человѣчекъ, съ румяными щеками и въ парикѣ.

— Не можетъ ли господинъ окружной судья сегодня привести это дѣло?—спросилъ помощникъ.—Тогда оно быстро двинется впередъ. Да, кромѣ того, никто не умѣеть такъ обращаться съ подобными процессами, какъ вы.

— Ахъ, да! По крайней мѣрѣ, забавно будетъ! Мы поемъемся!—неосмотрительно воскликнулъ старшина.

Уѣздный начальникъ громко откашлялся, погладилъ свои густыя, сѣдыя бакенбарды и надѣлъ золотыя очки. Ничего лиш资料 could not be found. олько нельзя было сказать въ присутствіи крестьянъ. По этому случаю онъ выпилъ стаканъ вина съ мѣщанскимъ старостой.

Пока въ одномъ концѣ стола велся горячій споръ между двумя адвокатами, въ другомъ продолжался разговоръ по лушопотомъ.

— Обвиняемые—молодые люди?—спрашивалъ окружной судья.

— Нѣть, этого нельзя сказать: онъ — довольно пожилой вдовецъ, она—служанка. Но, видите-ли, дочь...

— Ахъ, вы хотите сказать, въ качествѣ свидѣтельницы...

— Что касается служанки,—вмѣшался адвокатъ Тофте,—то она съ ребенкомъ, насколько я слышалъ, уже съ мѣсяцемъ тому назадъ уѣхала въ Америку.

— Да, свидѣтельскій допросъ, это — самая интересная часть процесса! — сказалъ адвокатъ Карсъ и засмѣялся: — я знаю Христину Фатнемо, это одна изъ самыхъ красивыхъ дѣвушекъ въ околотѣ.

— Если это фактъ, что процессъ пойдетъ скорѣе, при введеніи его самимъ окружнымъ судьею... — началъ было уѣздный начальникъ и остановился, какъ будто не слыхалъ послѣднихъ словъ.

— Разумѣется, я съ удовольствиемъ это сдѣлаю, если вы прикажете... — откликнулся окружной судья.

— Нѣть, нѣть, вы меня не такъ поняли! Я только хотѣлъ сказать, что въ такую скверную погоду будетъ лучше, если мы поскорѣе вернемся въ городъ...

Окружной судья подмигнулъ своими маленькими глазками, и было рѣшено, что послѣ завтрака чинить правосудіе будетъ онъ. Тогда уѣздный начальникъ чокнулся съ нимъ.

Послѣ гречневой каши поданъ былъ хересъ, вслѣдствіе чего на большинствѣ физіономій заиграло нѣчто въ родѣ вечерней зари. Адвокатъ Карсъ нашелъ, что послѣ злополучнаго приключенія съ кускомъ жаркого, со стороны писца головы было просто безразсудно запихать въ себя три тарелки каши. До конца завтрака всѣ громко смѣялись, болтали и пили, кромѣ двухъ крестьянъ, которые молча ъли и сдержанно прихлебывали вино.

Но когда шумъ достигъ своего апогея, уѣздный начальникъ постучалъ въ стаканъ и всталъ изъ за стола.

По раскраснѣвшимся физіономіямъ, показавшимся теперь въ окнахъ и дверяхъ, народъ могъ догадаться, что завтракъ конченъ; наружу нельзя было выйти изъ за проклятой погоды.

Послѣ кофе комната снова превратилась въ залу суда, и окружной судья очень торжественно приступилъ къ разбирательству. Сидя на предсѣдательскомъ мѣстѣ, онъ имѣлъ внушительный видъ. Было несомнѣнное достоинство въ очертаніяхъ его красивой головы въ бѣлосвѣжномъ парикѣ, въ проницательныхъ сѣрыхъ глазахъ, которые пронизывали насквозь и подсудимыхъ, и свидѣтелей. Онъ славился своими мѣткими приговорами, но главная сила его заключалась въ остроумныхъ допросахъ. Никто не умѣлъ такъ, какъ онъ, вовлекать въ противорѣчія, жонглировать словами, разбрасывать ихъ въ беспорядкѣ и затѣмъ такъ подбирать, что не успѣвалъ человѣкъ опомниться, какъ неожиданно для себя

дѣлалъ нѣчто въ родѣ полуупризнанія; такими пріемами судѣвъ удавалось, по его собственному выраженію, „вывинчивать изъ людей истину“.

Сегодня дѣло пошло необычайно быстро, но все же велось съ достоинствомъ.

Много гражданскихъ дѣлъ было прекращено; всѣ адвокаты понимали, что слѣдуетъ скорѣе перейти къ „cause сѣlебre“, т. е. къ процессу о незаконномъ сожительствѣ; и насколько всѣ были заинтересованы предстоящими свидѣтельскими показаніями, можно было заключить изъ легкаго подталкиванія локтями и многозначительныхъ взглядовъ. По этому случаю прочія дѣла разбирались поверхности, а больше предлагались изъ за всякихъ пустяковъ оторочки, при чемъ противная сторона соглашалась безпрекословно. Только тупоумный стряпчій Крузе не желалъ ничего понимать и спокойно продолжалъ требовать занесенія въ протоколъ безконечныхъ подробностей. Адвокатъ Карсъ дергалъ его за фалды, Альфредъ Беннехенъ, который велъ протоколъ, дѣлалъ многозначительныя гримасы, а окружной судья сердился и нетерпѣливо ерзалъ на стулѣ.

Наконецъ, съ Крузе покончили, и на очереди очутился процессъ о незаконномъ сожительствѣ.

Теперь двери въ сѣни и во дворъ были открыты, и толпа сплотилась на улицѣ,—даже отчасти протискалась въ помѣщеніе суда.

Какъ только промокшая публика попала въ тепло, отъ овечьей шерсти повалилъ паръ; воздухъ сгостился и принялъ голубоватый оттенокъ; капли заструились по оконнымъ стекламъ. Снаружи, въ проходѣ, въ самой густой толпѣ стоялъ хмурый, молчаливый крестьянинъ; онъ былъ такъ малъ ростомъ, что не могъ ничего видѣть, но напряженно вслушивался въ каждое слово, ровно ничего не понимая.

Какъ только судья выслушалъ имена и фамиліи обвиняемыхъ, то спросилъ:

— Нѣадель?—Это что за варварское имя?

— Это все равно, что Нильсь,—пояснилъ вѣчно готовый услужить Тофѣ: — въ горахъ, въ Хальденгофѣ, вмѣсто Нильсь, говорять Нѣадель.

— А, вотъ что! Но мы здѣсь не въ Хальде, а потому будемъ говорить Нильсь; фамилія?

— Фатнемо.

— Фатнемо?—нетерпѣливо переспросилъ окружной судья.

— Въ дѣлѣ упоминается фамилія Фандмо, — снова вмѣшался Тофѣ.

— Понятно!.. Что это значитъ? Итакъ, попросту, онъ—

Нильс Фандмо! Мѣстное нарѣчіе не полагается вводить въ протоколы! Это сепартизмъ!—При этихъ словахъ, судья строгимъ взоромъ окинуль толпу и угломъ глазъ взглянуль на уѣзднаго начальника, который одобрительно кивнулъ ему головой.

Нѣдѣля подвѣли къ столу; онъ стоялъ, сгорбившись и опустивъ свою взѣрошенную голову внизъ, время отъ времени вытирая себѣ лобъ рукавомъ куртки; ему было душно, и губы его подергивались.

Окружной судья смѣрилъ его глазами съ головы до ногъ и, вѣрный своей методѣ, началъ быстро и во все горло кричать:

— Такъ это ты, стариkъ, живешь по-свински? Со служанкой своей путаешься, а? Это ты служишь соблазномъ въ приходѣ? Кто доносить на него?

— Помощникъ пастора, Серенъ Беревигъ.

— Слышишь, помощникъ пастора!.. И тебѣ не стыдно? А дѣвушку съ ребенкомъ ты ухитрился сплавить въ Америку, а? Ты видишь, намъ извѣстны всѣ твои пакости! Ты, можетъ статься, думалъ вывернуться? Нѣть, стариkъ, шалишь! Или ты совсѣмъ отопрешься въ этомъ свинствѣ, чего доброго? Что?

Нѣдѣль съ трудомъ могъ открыть ротъ, но когда это ему удалось, сказалъ:

— Я ни въ чемъ не отпираюсь.

Этого окружной судья никакъ не ожидалъ: онъ привыкъ ко всякаго рода запирательствамъ и уверткамъ.

— Вотъ это хорошо, стариkъ!—сказалъ судья:—хотя ни-чemu не поможетъ, разумѣется. Дѣло надо основательно разслѣдовать и выяснить, при помощи свидѣтелей. Гдѣ твоя dochь?

— Она уѣхала.

— Уѣхала? И эта тоже? Куда?—вскричалъ судья и широко раскрылъ глаза. У секретаря вывалилось изъ рука перо, а адвокаты насторожили уши, какъ охотничьи собаки; даже уѣздный начальникъ, который сидѣлъ за печкой на диванѣ и представлялся, будто читаетъ, отвелъ глаза отъ уложенія о наказаніяхъ.

— Въ Христіанію. Она вчера выѣхала изъ дому,—пояснилъ Нѣдѣль.

— Эго... Гм...—окружной судья почти никогда не ругался въ засѣданіяхъ, но въ запальчивости привсталъ со стула, и отъ злости кровь бросилась ему въ голову. Онъ выбранилъ Нѣдѣля, насколько это было совмѣстимо съ достоинствомъ судьи, и посулилъ ему такой строгій приговоръ, какой только будетъ въ состояніи придумать.

Нъэдель, при явномъ неодобреніи судебнаго персонала, удалился.

Толпа разступилась передъ нимъ, какъ передъ зачумленнымъ, въ то время какъ онъ неторопливо покидалъ помѣщеніе суда и вышелъ вонъ.

Разочарованіе было полное. Оживленное настроеніе поддерживалось за завтракомъ, благодаря ожиданію лакомаго куска, а теперь вся надежды рухнули. Въ душной полутемной комнатѣ стало вдругъ до невѣроятности не уютно, ноль сдѣлался скользкимъ отъ грязныхъ сапогъ, а дождь такъ и хлесталъ въ окна.

Уѣздный начальникъ посмотрѣлъ на часы, всталъ и ушелъ съ однимъ изъ писцовъ въ свою комнату. Слышно было, какъ они тамъ шумѣли и двигали сундуки.

Окружной судья пришелъ въ неописуемую ярость и давалъ это чувствовать и другу, и недругу. Остальная дѣла онъ началъ вешать съ головокружительной быстротою, и горе тому, кто пытался задержать его. Вынувъ часы изъ жилетнаго кармана, онъ положилъ ихъ передъ собой на столъ. Только неисправимый адвокатъ Крузе и тутъ продолжалъ диктовать свои протоколы.

Окружной судья запевелился на стулѣ.

— Я принужденъ замѣтить господину адвокату Крузе, что занесеніе въ протоколъ имѣть извѣстные предѣлы.

Крузе спокойно вынулъ часы.

— Я не превысилъ положеннаго срока.

— Это весьма вѣроятно; но люди стараются оказывать извѣстное уваженіе приличіямъ.

— Прежде всего я долженъ заботиться о выгодахъ моихъ клиентовъ! — отпариравъ Крузе и опять началъ требовать занесеній въ протоколь.

— Слѣдующее дѣло! — крикнулъ, наконецъ, судья, когда Крузе уgomонился.

Изъ прохода пропискался хмурый крестьянинъ малаго роста: выкликали его дѣло, — имена показались ему знакомыми.

— Ну-съ, — сердито вскричалъ судья: — кто ходатай по этому дѣлу?

— Адвокатъ Бойезенъ, — былъ отвѣтъ.

— Но Бойезенъ отсутствуетъ... кто его замѣняетъ? Ну-съ!

Карсъ проворно подошелъ къ столу; онъ только что разроваривалъ съ товарищемъ у окна.

— Въ чёмъ состоять дѣло, Крузе? — шепотомъ освѣдомился онъ.

— Надо сначала заглянуть въ списки! — вслухъ отвѣтилъ Крузе.

— Болванъ!—проворчалъ Карсъ и затѣмъ почтительно обратился къ судью и просилъ занести въ протоколь, что за истца ходатайствуетъ Бойзенъ, и черезъ посредство Карса просить отсрочки до слѣдующаго засѣданія.

— Отсрочки?—удивленно протянулъ судья.

— Для допроса новаго свидѣтеля...—продолжалъ Карсъ.

— Гдѣ живеть этотъ новый свидѣтель?—влобно освѣдомился судья; онъ прекрасно зналъ, что адвокатъ не имѣеть о дѣлѣ ни малѣйшаго понятія.

— Въ Нѣльдалъ!—невозмутимо отвѣчалъ Карсъ, сохраняя серьезную физиономію. Звучный голосъ и жесты, полныя чувства собственнаго достоинства, чрезвычайно подходили къ торжественному судоговоренію.

Судья глазами одобрилъ ловкаго адвоката, и двое изъ писцовъ подмигнули, но Карсъ, стоя лицомъ къ публикѣ, остался невозмутимъ и, когда просьба его была уважена (Тофте, повѣренный барышника съ буланой кобылой, не нашелся что возразить),—удалился съ глубокимъ поклономъ что всегда производить хорошее впечатлѣніе.

— Слѣдующее дѣло!—крикнулъ судья.

— Больше дѣло не имѣется.

— Слава, Тебѣ, Господи!—судья спряталъ часы въ кармань.—Спросите у уѣзднаго начальника, нельзя ли намъ велѣть запрягать?

Судебные разбирательства были окончены. Засѣдатели, съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдивши за ходомъ дѣла, подписали протоколь, и раньше чѣмъ сѣрая публика толкомъ поняла, въ чёмъ дѣло, весь судебный персоналъ снялся съ мѣста, адвокаты разсѣялись во всѣ стороны, а писцы набросились на большія книги протоколовъ, чтобы уложить ихъ.

Хмурый, молчаливый крестьянинъ вмѣстѣ съ волной народа вышелъ во дворъ; онъ ничего не понималъ, пока не нашелся человѣкъ, который ему объяснилъ, что дѣло отложено.

— Отложено?—пробормоталъ онъ, все еще недоумѣвая. Онъ ощупью, въ темнотѣ, тискался между телѣжекъ, пока не нашелъ свою, заползъ въ нее и, громыхая, отправился въ свои.

Большая коляска стояла передъ крыльцомъ суда. Большинство адвокатовъ уже разсѣлось по своимъ экипажамъ, длинной вереницей стоявшимъ за коляской; только Тофте расхаживалъ еще, прощааясь и со смѣхомъ перекидываясь шуточками со своими знакомыми изъ крестьянъ.

Карсъ, у которого была бойкая лошадь, сидѣлъ и ругался втихомолку, такъ какъ дѣло стало за уѣзднымъ началь-

никомъ. Уѣхать впередъ онъ не дергалъ: судья этого не долюбливалъ.

Междѣ тѣмъ, послѣдній преспокойно стоять въ комнатѣ и болталъ съ женой старосты, наблюдая透过 окно за шедшими во дворѣ приготовленіями къ отѣзду. Онъ всегда оказывался первымъ, когда все было готово, но любилъ заставлять себя ждать.

Наконецъ, онъ сѣлъ, коляска тронулась, и маленькие экипажи послѣдовали за ней.

— Ахъ, да,—сказалъ уѣздный начальникъ, умащиваясь поудобнѣе на заднемъ сидѣнїи:—я часто думаю, когда вижу, вотъ какъ сегодня, огромное собрище народа, такое почтительное передъ начальствомъ... Эти современные бунтовщики могутъ кричать, сколько имъ угодно, но имъ никогда не удастся подорвать традиціонноеуваженіе къ властямъ! Народъ нашъ слишкомъ религіозенъ, слишкомъ преданъ...

— И слишкомъ тупоуменъ,—дополнилъ окружной судья.

— Да, вы, можетъ быть, правы,—согласился тотъ и откинулся на спинку коляски, чтобы слегка вздрогнуть, если это удастся.

Толпа осталась позади, не получивъ отвѣта на большинство вопросовъ. Отѣзду состоялся такъ поспѣшно, и всѣ важные господа были такъ угрымы, что сѣрые просители даже не рискнули къ нимъ обратиться за разъясненіями. Тѣмъ не менѣе, не слышно было ни одного недовольнаго слова, только кое-гдѣ раздавался подъ сурдинку невеселый смѣхъ, да кое-кто покачивалъ головой. И хотя никто ничего не говорилъ, но, быть можетъ, для душевнаго спокойствія уѣзднаго начальника, было лучше, что онъ не могъ знать ихъ мыслей.

Наступилъ вечеръ,—сырой, дождливый вечеръ. Узенькая полоска на западномъ горизонте заалѣла. Передъ крыльцомъ стариннаго дома стояли кухарка и другая прислуга, съ раскраснѣвшимися и усталыми лицами отъ недавнихъ торжественныхъ приготовленій; они дышали свѣжимъ воздухомъ и смотрѣли вслѣдъ удалявшимся экипажамъ.

Народъ разошелся во всѣ стороны, по дорожкамъ и полевымъ тропинкамъ; поодиночкѣ и попарно плелись крестьяне къ своимъ дворамъ, засунувъ руки въ карманы, промокшіе и усталые.

Лоцманскій старшина направился по большой дорогѣ къ дому; онъѣхалъ на быстрой лошади и многихъ обгонялъ. Такъ нагналъ онъ Нѣделя, шедшаго пѣшкомъ.

— Садись-ка, подвезу, Нѣдель!

Нѣдель повиновался, и они поѣхали дальше. Нѣсколько минутъ спустя нагнали они телѣжку, тащившуюся шагомъ.

— Эй! Посторонись! — крикнул Зеегусъ.

Громоздкая телъжка неуклюже свернула съ дороги, и смотритель поѣхалъ впереди.

Въ отставшей телъжкѣ сидѣлъ хмурый, молчаливый мужиченок; онъ не спѣшилъ, и предстоящій длинный путь очевидно не радовалъ его. Старая рыжая кобыла шла или скопрѣ пошатывалась въ оглобляхъ; она отъ старости совершенно выцвѣла и обросла длинной, бурой шерстью, на подобіе козы. Глядя на нее, крестьянинъ невольно вспомнилъ о буланкѣ,—и при этой мысли ему жутко стало возвращаться домой. Ни жена, ни дѣти не сомнѣвались, что онъ приведеть сегодня буланку. Старшій мальчикъ даже предусмотри-тельно снабдилъ его недоуздкомъ, чтобы удобнѣе вести ее...

Онъ зналъ, что семья съ чердака глядитъ на дорогу, поджидая его возвращенія; конечно, издали видно будетъ, что буланки нѣтъ. Но тогда всѣ вообразятъ, что карманы главы семейства набиты ассигнаціями и шиллингами.

Онъ заглянулъ на дно телъжки: тамъ лежалъ недоуздокъ. Какъ объяснить домашнимъ, что дѣло отложено? Старая рыжая кобыла смахивала на мокрую кошку... И онъ вспомнилъ, какая нѣжная шерстка была у буланки, какія у нея были гладкія и круглыя бедра...

IV.

Подѣхавъ ко двору Нѣаделя, лоцманскій старшина вошелъ вмѣстѣ съ нимъ. Домъ былъ пустъ и дверь открыта; по хижинѣ бѣгала кошка и мяукала. Нѣадель, не говоря ни слова, пошарилъ по полкамъ и нашелъ чего поѣсть. Зеегусъ посидѣлъ немножко, наблюдая за высокой, неповоротливой фігурой, которая двигалась по комнатѣ, беспомощно занимаясь непривычными мелочами.

— Послушай, Нѣадель,—сказалъ онъ, наконецъ:—я думаю, что ты наймешь себѣ новую служанку?

— Нѣть, нѣть! — крикнулъ Нѣадель и такъ топнулъ ногой, что полъ задрожалъ.

— Ну, ну, смотри, не сожри меня отъ яости! — отмахнулся Зеегусъ.

Закусывая, Нѣадель попросилъ Зеегуса написать письмо Христинѣ. Но такъ какъ въ домѣ ничего не было, чѣмъ и на чемъ писать, рѣшено было, что Зеегусъ напишетъ дома у себя и затѣмъ прочитаетъ письмо Нѣаделю.

— Но объ чѣмъ же ей писать?

— Только не о сегодняшнемъ днѣ,—сказалъ Нѣадель.

— Нѣть, нѣть. Можно бы и сейчасъ, но...

— Пиши, чтобъ она на меня не сердилась, обо мнѣ не беспокоилась. Мнѣ хорошо. Очень хорошо. Такъ напиши. Ни въ чемъ недостатка я не чувствую...

— Самъ справишься со всѣмъ и по ней не скучаешь?..

— Ахъ, да, дай Богъ памяти: что я за нее боюсь, вотъ что напиши! — продолжалъ Ньэдель, раскачивая туловище свое взадъ и впередъ.

— Но вѣдь это огорчитъ ее, что ты за нее боишься?

— Правда твоя... Такъ лучше обѣ этомъ вовсе не упоминай!.. — послѣдно согласился Ньэдель. — Напиши... Да ты самъ лучше знаешь, что писать, на то ты и въ школу ходилъ. Однимъ словомъ, пиши такъ, чтобы не огорчить и не разстроить Христину. Мнѣ все равно...

— Не лучше ли написать также и твоему брату?

— Это вѣрно, старшина. Соблаговоли черкнуть Андерсу, чтобы онъ приголубилъ ее. Если желаетъ, можетъ и деньжонокъ получить за это.

— Разумѣется, пожелаетъ.

— Андерсъ не промахъ малый! — подтвердилъ Ньэдель. — Онъ еще ребенкомъ попалъ въ чужіе люди. И мать тоже говоривала: «ты у меня, Ньэдель, большой дуракъ, а Андерсъ хитеръ, какъ лисичка!».

— Но почему же не ему досталась мыза, разъ онъ старший?

— Онъ самъ пожелалъ уступить ее мнѣ.

— Твой братецъ хорошо зналъ, что дѣлалъ, когда награждалъ тебя этой подлой мызой, а себѣ взять капиталъ! — сказалъ смотритель.

— Не надо осуждать Андерса, — возразилъ Ньэдель: — онъ очень способный малый. Я отлично помню, какъ мы съ нимъ собирали тамъ, наверху, въ Хальде, степные травы для матушки. Андерсъ ужасно проворно набиралъ цѣлый коробъ!

— Но тащилъ этотъ коробъ домой — ты.

— Ну, да, разумѣется, я! Я былъ посильнѣе брата.

— Чѣмъ онъ теперь служить, этотъ, вашъ Андерсъ? — спросилъ смотритель.

— Онъ занимаетъ какое-то важное мѣсто. Но я не могу сказать какое. — И Ньэдель началъ рыться въ ящикѣ стола чтобы отыскать старое письмо своего брата.

Кто-то тихонько приподнялъ щеколду у кухонной двери, и слышно было, какъ кто то ощупью пробирался черезъ кухню. Благодаря скверной погодѣ, было уже совершенно темно, и только вдали, на сѣверо-западѣ, оставалась узкая свѣтлая полоса, которая немного освѣщала комнату.

Но когда вошелъ Серенъ Беревигъ, Ньэдель задвинулъ ящикъ и сурово спросилъ:

— Ты, должно быть, пришелъ поглядѣть, очистился ли домъ отъ соблазна? Попшарь-ка въ кровати, не осталось ли его тамъ сколько-нибудь!

— Надо жить по правдѣ! — кротко изрекъ Серенъ: — Я хотѣлъ отъ чистаго сердца уговорить тебя, Ньэдель...

— Чего тебѣ отъ меня надо? — перебилъ послѣдній.

Серенъ не рѣшился утверждать, что пришелъ исключительно для увѣщаній, — хотя онъ и числился помощникомъ пастора; онъ предпочелъ на этотъ разъ, вопреки своему обыкновенію, приступить прямо къ цѣли.

— Я поговорилъ немножко съ адвокатомъ Тофте... — началъ онъ.

— Насчетъ дороги къ берегу?

— Да, мы немножко потолковали и обѣ этомъ. Онъ находится, адвокатъ-то, весьма глупымъ, что я липенъ возможноти извлекать пользу изъ прибрежья... Это могло бы... Это могло бы...

— Вообразить соблазнъ, можетъ быть? — иронически подсказалъ смотритель. Онъ стоялъ въ углу у печки и чистилъ свою трубку.

— Нѣтъ, лоцманскій старшина, не то. Онъ нашелъ, что изъ-за канавы можно потягаться.

— У меня есть купчая крѣпость, и она въ порядкѣ, — стоялъ на своемъ Ньэдель.

— Да, да, я знаю, что есть. — Серенъ пошелъ къ двери. — Вотъ и все. Я только хотѣлъ зайдти предупредить тебя, что мы собираемся начать...

— Начать? — переспросилъ Зеегусъ.

— Ну, да. Предъявить искъ!

— Процессъ! — вскричалъ Зеегусъ и подошелъ ближе. — Обѣ этомъ стоитъ подумать, Ньэдель! Я знаю людей, которые изъ за тяжбы лишались всего имѣнія. Не мало хорошихъ людей адвокатъ Тофте вогналъ въ гробъ!

— Тебѣ бы не слѣдовало такъ отзываться о твоихъ близкихъ, Зеегусъ! Впрочемъ, адвокатъ полагаетъ, что процессъ продлится долго и потребуетъ много денегъ.

— Ну, будь что будетъ, а я канаву рою! — объявилъ Ньэдель.

— Вотъ ужъ этого тебѣ не придется дѣлать, Ньэдель! Начальство тоже побывало и запретило копать.

— Запретило?

— Да! Тебѣ придется подождать, пока тяжба не кончится въ твою пользу, — пояснилъ Серенъ.

Ньэдель сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ, зацѣпилъ за стулъ и растерянно поглядѣль на Зеегуса. Но въ концѣ концовъ онъ вернулся къ своему главному доводу:

— У меня есть купчая крѣпость отъ епископа изъ Христианзанда! — сказалъ онъ рѣшительно и ударилъ одной ладонью по другой.

— Ты могъ бы спросить у епископа, что онъ скажетъ насчетъ побережья съ тростникомъ! — ласково посовѣтовалъ Серенъ и покосился на Ньѣделя.

— Да, это правильно, Серенъ, — согласился лоцманскій старшина: — это не трудно сдѣлать!

— Быть можетъ, обратиться къ самому королю было бы еще правильнѣе! — тихонько произнесъ Серенъ, глядя въ окно.

— Положимъ, король повыше епископа! — возразилъ Ньѣдель: — но только отвѣтить ли онъ на вопросъ?

— Вотъ если мы предоставимъ дѣло на разсмотрѣніе министерства...

— Кого? — переспросилъ Ньѣдель.

— Министерства! — не безъ важности повторилъ Серенъ.

— Зеегусъ, — сказалъ Ньѣдель: — тамъ служить Андерсъ, теперь я припоминаю. Я только запамятовалъ самое слово. Но развѣ оттуда можно добраться до короля?

— Да, — пояснилъ Зеегусъ: — оттуда прямая дорога къ королю.

Ньѣдель призадумался. Это предложеніе улыбалось ему больше, чѣмъ тяжба. Кроме того, Андерсъ можетъ заняться этимъ дѣломъ. Хорошо бы разомъ положить конецъ всякимъ пререканіямъ: вѣдь, кажется, сомнѣнія не можетъ быть, что законъ будетъ на сторонѣ Ньѣделя!

Серенъ сначала сдѣлалъ видъ, что ему ужасно хочется судиться; но затѣмъ какъ будто изъ любезности даль убѣдить себя. Мало того, онъ взялъ на себя хлопоты по доставкѣ прошенія и обѣщалъ позаботиться объ отмѣнѣ запрещенія.

— Но ты долженъ заплатить адвокату Тофте, Ньѣдель!

— Ты затѣялъ тяжбу, Серенъ, а не я!

— Да, но вѣдь канаву-то копаешь ты!

Лоцманскій старшина убѣдилъ ихъ прийти къ полюбовному соглашенію и заплатить издержки пополамъ. Съ тѣмъ Серенъ и ушелъ.

Было уже поздно, и Зеегусъ торопился домой.

Приводивъ его, Ньѣдель попелъ въ хлѣвъ. Коровы, шесть штукъ, беспокойно ревѣли: онъ не получили корму и не были выдоены. Кое какъ Ньѣдель раздѣлялся съ этой работой, хотя взялся за нее довольно неловко. Животные не знали его; кроме того, самъ онъ былъ такого огромнаго роста, а руки имѣлъ неуклюжія и жесткія; коровы ногами опрокидывали ведро или вѣбалтывали молоко. Ньѣдель ворчалъ и усми-

рять ихъ, какъ умѣль,—но когда онъ кончилъ, наступила уже ночь.

Наконецъ, на волѣ онъ опять выпрямился (въ хлѣву пришлось все время сидѣть на корточкахъ) и поглядѣлъ вдали, на море. Воздухъ прояснился; онъ могъ даже разглядѣть свою канаву, въ видѣ темной полосы среди песка. Онъ радовался, что можетъ теперь съ чистой совѣстью снова приняться за канаву. Отвѣтъ отъ короля, разумѣется, не заставить себя долго ждать, разъ у берега такъ и снуютъ взадъ и впередъ многочисленные пароходы; что же касается до его правоты, то въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія.

Онъ даже отчасти заранѣе наслаждался разочарованіемъ Серена Беревига и подсчитывалъ, сколько можетъ пройти дней до полученія отвѣта.

Нѣдѣль розилъ молоко по горшкамъ, при чемъ пролилъ половину кругомъ.

Потомъ онъ пошелъ наверхъ, сунулъ голову въ комнату Христины и оглядѣлся въ полумракѣ, вдыхая привычный запахъ. Затѣмъ заперъ дверь и сунулъ ключъ въ карманъ. Когда онъ спускался по лѣстницѣ, которая звучно скрипѣла въ опустѣломъ домѣ, онъ случайно припомнилъ слова Серена Беревига, что правые всегда получаютъ удовлетвореніе.

Долго лежалъ онъ и не могъ уснуть. Его головѣ пришлось сегодня слишкомъ много трудиться, а тѣлу слишкомъ мало. Онъ скучалъ по благотворной работѣ для рукъ и ногъ, потягиваясь въ кровати; и вотъ, поневолѣ, онъ началъ припоминать всю слышанную имъ за день болтовню...

Нѣдѣль, который прежде могъ храпѣть на pari въ самую страшную бурю, съ досадой слышалъ теперь, какъ мяукала кошка, бродившая то по кухнѣ, то у дверей Христины. И это мѣшало ему спать...

V.

Когда большая рѣка наталкивается на выдающійся мысъ, вода огибаетъ выступъ, но дѣлаетъ позади изгибъ и наполняетъ заливъ предъ мысомъ небольшимъ водоворотомъ.

Если кусочекъ дерева несется внизъ вдоль берега рѣки и его затянеть въ это кольцо, то онъ сначала кругообразно вертится въ заливѣ, затѣмъ доплываетъ до самого выступа, а потомъ сильное теченіе гонить его обратно, и онъ опять кружится до бесконечности.

Такое кругообразное вращеніе называется водоворотомъ.

Безчисленные водовороты, которые жизнь образуетъ въ своемъ теченіи, бываютъ иногда такъ малы, что въ нихъ хва-

таеть мѣста кружиться только для одного человѣка; временами же они такъ велики, что даютъ помѣщеніе цѣлымъ семействамъ или даже цѣлымъ партіямъ. Да, въ исторіи бывали примѣры такихъ водоворотовъ, которые захватывали и заставляли кружиться цѣлый народъ; потокъ времени гналь ихъ, но не уносить съ собою.

Такъ же и общественная жизнь страны имѣеть свои водовороты, и въ Норвегіи примѣромъ могутъ служить министерства. Безчисленныя массы медленно врачающихся бумагъ, какъ водоворотъ, кружатся вокругъ глубокой, вѣчно пустой воронки, которая между тѣмъ все поглощаетъ, заставлять вертѣться,—а затѣмъ все исчезаетъ и пропадаетъ безъ слѣда.

Каммергеръ Дельфинъ отложилъ перо, налилъ себѣ стаканъ и выпилъ его, кивнувъ самому себѣ въ зеркало. То было уже позднею ночью; онъ сидѣлъ въ бѣломъ галстукѣ и низко вырѣзанномъ жилетѣ; фракъ онъ скинулъ, такъ какъ ему было жарко.

Георгъ Дельфинъ вернулся съ бала и теперь наслаждался дома сигарой въ своей изящной холостой квартирѣ въ Вергеландштрассе. У него была привычка поздно ложиться—ъ особенности по возвращеніи изъ гостей,—и если онъ не игралъ на фортепіано, то что-нибудь писалъ.

На утро онъ тогда чувствовалъ себя плохо и употреблялъ много воды какъ внутрь, такъ и снаружи. Когда же онъ затѣмъ выходилъ въ комнату, гдѣ мадамъ Бэррезенъ, его экономка, уже приготовила завтракъ,—онъ былъ по обыкновенію изященъ и свѣжъ, какъ юноша. Положимъ, ему не было еще и сорока лѣтъ,—но временами онъ казался старше, въ особенности, когда началъ терять свои красивые, кудрявые волосы.

Позавтракавъ и прочитавъ газету, директоръ департамента обыкновенно вставалъ и шелъ въ министерство. Но сначала онъ просматривалъ все то, что написалъ ночью. Часто это кончалось тѣмъ, что онъ разрывалъ все написанное на мелкие клочки и кидалъ въ печку, къ большому неудовольствію аккуратной мадамъ Бэррезенъ.

Стояло тихое, прекрасное, осеннеѣ утро. Дворцовый паркъ красовался во всемъ своемъ блескѣ; желтая и красная листва красовалась въ перемежку съ зеленої. Легкая изморозь предыдущей ночи лежала на травѣ лишь въ видѣ блестящей росы. На зеркальной поверхности пруда облетѣвшіе листья и лебединныя перья напоминали флотилію, ожидающую попутного вѣтра. Воздухъ былъ такъ живителенъ, что люди оставливались и вдыхали его полной грудью. Заслоняя глаза отъ солнца, они испытывали тоскливоѣ чувство, когда че-

ресть фьордъ и низкія вершины горъ глядѣли на югъ, откуда солнце, сквозь бѣлую завѣсу тумана, разсыпало свои лучи.

Стоило каммергеру показаться на улицѣ, какъ отовсюду сыпались привѣтствія, потому что весь свѣтъ былъ ему знакомъ. Но и въ оцѣнкѣ привѣтствій у него была большая опытность.

По лошадямъ онъ узнавалъ, кто сидить въ экипажѣ, и сообразно съ этимъ кланялся; онъ ни разу не прозѣвалъ пожилой дамы или молодой женщины, сидѣвшей у себя дома и желавшей отвѣтить на поклонъ изъ окна; въ тоже время онъ не упускаль изъ виду обоихъ сторонъ тротуара и подмѣчалъ, не снимаетъ ли ему кто-нибудь шляпы на углу улицы; ему даже хватало еще времени привѣтствовать проѣжающихъ мимо, по особой дорожкѣ, всадниковъ.

Благодаря всему этому, онъ занялъ среди столичнаго общества выдающееся положеніе, хотя его, можетъ быть, больше боялись, чѣмъ любили, такъ какъ онъ обладалъ острымъ языкомъ и рѣшительно все зналъ.

Передъ однимъ магазиномъ на Кенигштрассе стоялъ однопоконный экипажъ министра Беннехена; Георгъ Дельфинъ только что хотѣлъ что-то спросить у кучера, какъ изъ лавки вышла фрейлейнъ Гильда Беннехенъ.

— Ахъ, милейшій господинъ каммергеръ,—сказала она:— пойдемте со мною домой. Мама послала меня подобрать отѣлку къ платью, а я навѣрно выбрала что-нибудь не подходящее. Но если вы будете при этомъ присутствовать, она не рѣшиится бранить меня.

— Миѣ очень грустно, фрейлейнъ, но я какъ разъ направляюсь въ министерство. Что скажетъ вашъ уважаемый батюшка, если я опоздаю?

— Ахъ, какіе пустяки! Развѣ я повѣрю, что вы боитесь папы? Вдемте!—она указала ему мѣсто рядомъ съ собою, и онъ сѣлъ.

Молодой человѣкъ, переходившій въ это время улицу, подѣ руку съ дамой, сказалъ ей:

— Я не удивляюсь, что каммергеръ Дельфинъ не сразу рѣшилсяѣхать съ фрейлейнъ Беннехенъ...

— Чего же тутъ удивительнаго, Боже мой! Она такъ страшна!

— Ужасные волосы, отвратительный цвѣтъ лица, громадный ростъ, крошечный носъ, отсутствіе фигуры... Единственно что у нея недурно, такъ это глаза.

— Вы находите, что у нея недурны глаза?—воскликнула дама и подняла глаза къ небу.

— Конечно, имъ далеко до другихъ глазокъ, которые, я знаю... — галантно пояснилъ молодой человѣкъ: — но все же

это единственное, чѣмъ можетъ похвастаться фрейлейнъ Беннехенъ.

— Да, да. У нея глупые, сонливые, собачьи глаза.

— Она и на самомъ дѣлѣ должна быть глупа?

— Какъ гусь! Это всѣмъ извѣстно.

Между тѣмъ, Дельфинъ вернулся съ фрейлейнъ Беннехенъ по той же дорогѣ, по которой пришелъ: министръ жилъ на улицѣ Христіана Августа. Въ прихожей встрѣтили они высокую молодую дѣвушку, которая привѣтствовала дочь ministra.

— Кто это? — спросилъ каммергеръ.

— Племянница Мо, по имени Христина. Неправда ли, хорошенькая?

— По моему череазчуръ велика, — отвѣчалъ онъ.

— Альфредъ находитъ ее красавицей. Онъ зналъ ее тамъ, гдѣ служилъ раньше.

Квартира ministra Беннехена была поставлена на аристократическую ногу: все было на то, чтобы импонировать. Двери стояли настежь черезъ цѣлую амфиладу большихъ комнатъ, которые заканчивались будуаромъ супруги ministra, съ пушистыми коврами и тяжелыми портьерами.

Супруга ministra Беннехена встрѣтила каммергера съ неподдѣльной радостью: она цѣнила его посѣщенія. Гильда, съ облегченнымъ сердцемъ, убѣдила, что сдѣлала геніальный маневръ, пригласивъ съ собою каммергера.

На фрау Беннехенъ была свѣтло-сѣрая утренняя блуза, а на головѣ маленькой кружевной чепчикъ. Не смотря на свои пятьдесятъ пять лѣтъ, это была красивая женщина, съ умными, холодными глазами. Въ молодости она считалась красавицей и навсегда сохранила замѣтное пристрастіе къ изящнымъ мужчинамъ.

Въ обществѣ она оживлялась, хотя чисто вѣнчанимъ оживленіемъ, и была непринужденно величественна. Смѣхъ ея заражалъ присутствующихъ веселостью, но былъ бы еще прелестнѣе, если бы она не опасалась за свои вставные передние зубы.

Въ гостиной также находился младшій сынъ ministra, Альфредъ, который только что вернулся въ столицу, въ сопровожденіи своего пріятеля, Хирта.

Секретарь Хиртъ прижался скромно въ уголокъ, — чтобы директоръ департамента не примѣтилъ его здѣсь, въ часъ службы, — но Дельфинъ привѣтливо кивнулъ ему головой.

— Сейчасъ господинъ каммергеръ выскажетъ намъ свое мнѣніе, по поводу одного дѣла! — начала фрау Беннехенъ. — Бѣдному Альфреду такъ не повезло, а папа не желаетъ при-

нять его подъ свое крылышко. Альфредъ говорить, что было бы честно и „по-европейски“ (его собственное выражение), если бы отецъ помогъ ему двинуться по службѣ. Но въдь вамъ известно, какъ щепетиленъ на этотъ счетъ Даніэль! Онъ не хочетъ дать оппозиціи ни малѣшаго повода къ недовольству или нареканіямъ. А поэтому...

— А по этому онъ хочетъ меня, бѣднаго, насильно водворить въ контрольную палату, — перебилъ ее Альфредъ: — гдѣ я не знаю ни души! А я было радовался, что буду служить вмѣстѣ съ Хиртомъ! Кстати, куда же дѣвался Хиртъ?

Послѣдній, при этихъ словахъ, выступилъ изъ-за пальмы и, въ смущеніи, принялъ крутильный блокурый усъ.

— Это положительно преступленіе относительно Альфреда, — продолжала фрау Беннхенъ: — Даніэль всегда былъ съ нимъ очень суровъ.

Но тутъ ей попала въ руки покупка Гильды, и вскорѣ большой столъ былъ заваленъ матеріями и отдѣлками. Каммергеръ дѣятельно помогалъ хояйкѣ, и Гильда отдѣлалась благополучно, безъ всякой головомойки.

Молодые пріятели остались вдвоемъ у окна.

— Видѣлъ ли ты когданибудь такое дурацкое счастье, Хиртъ? Она здѣсь живеть, въ этомъ домѣ! Она родственница Мо! Дяди Мо!..

— Всемогущаго Андерса, — добавилъ Хиртъ.

— У васъ такъ его прозвали? — Очень мѣтко.

— Видиши-ли ты, всемогущій Андерсъ — братъ ея отца, — старой свиньи, пошавшей подъ судъ за блудное сожительство. Видѣлъ-ли ты ее? Я тебя познакомлю...

— Ты зналъ ее ближе, когда она жила у себя дома?

— О да, въ достаточной степени близко! — Подмигнула Альфредъ.

— Ого! Ей предстоитъ участъ ея отца!

— То есть? — спросилъ Альфредъ.

— Блудное сожительство... — шепнула Хиртъ.

Намекъ показался обоимъ до того остроумнымъ, что они принуждены были выйти черезъ столовую на лѣстницу, чтобы находитъся вволю.

Когда директоръ департамента вошелъ въ свой кабинетъ, было около часу. На его столѣ лежала груда новыхъ дѣлъ. Но какъ разъ стоялъ тамъ и перелистывалъ документы въ желтой обложкѣ.

— Что тамъ такое, Мо?

— Да вотъ прошеніе! Тяжба изъ-за полоски морскаго берега, въ Вестландѣ. Вѣдь порядка инстанцій...

Андерсъ Мо усвоилъ себѣ не мало юридическихъ терми-

новъ и познаній, и въ сферѣ судебныхъ разбирательствъ чувствовалъ себя свободно.

Но начальникъ бюро его не слушалъ, а занялся двумя, лежавшими тутъ же, письмами.

— Снесите всю кучу Мортенсену и попросите его просмотрѣть, разсортировать...—сказалъ онъ нетерпѣливо.

Но когда Андерсъ Мо подошелъ къ Мортенсену, то этотъ послѣдній оказался еще болѣе занятнымъ, чѣмъ директоръ департамента: онъ тайкомъ писалъ передовую статью для своей газеты.

— Суньте все это пока въ „хаось“!—приказалъ Андерсу редакторъ, не поднимая головы.

„Хаось“ называлась самая нижняя полка, у самаго пола, находившаяся подъ специальнымъ вѣдѣнiemъ Мортенсена.

Андерсъ Мо взялъ кипу дѣлъ и повернуль ихъ такъ, чтобы документы въ желтой обложкѣ оказались въ самомъ низу; даже желтый край онъ загнуль внутрь, чтобы его отнюдь не было видно; затѣмъ засунулъ всю кипу поглубже въ „хаось“, гдѣ уже и безъ того накопилось не мало дѣлъ.

Андерсъ Мо, который свою фамилію Фатнемо сократилъ просто въ Мо, зналъ министра Беннхекена еще въ то время, когда тотъ былъ ассесоромъ.

Мо, въ тѣ времена, занимался небезвыгодной мелочной торговлей, какъ разъ рядомъ съ домомъ ассесора Беннхекена. Начавъ съ нѣсколькихъ мелкихъ услугъ семейству ассесора, Андерсъ постепенно таѣвъ вошелъ въ милость, что въ концѣ концовъ сдѣлался Беннхекену и его женѣ необходимымъ.

Когда ассесоръ сдѣлался министромъ, онъ произвелъ Мо въ министерскіе курьеры. Это мѣсто пришлось по немъ, какъ будто было для него создано. Онъ всюду, сверху до низу, проскальзывалъ, словно кошка. Вскорѣ ему довѣрили всѣ закулисные тайники и закоулки,—всѣ министерскія интриги оказались у него въ рукахъ. Вліяніе, которое онъ имѣлъ на самого ministra, было просто непостижимо,—и служебный персоналъ дружно рѣшилъ, что онъ самый могущественный человѣкъ въ министерствѣ.

Андерсъ Мо жилъ внизу, въ швейцарской большого дома самого ministra. Хотя это было почти подвальное помѣщеніе, но стоило спуститься двѣ—три ступеньки внизъ отъ вестибюля, и комнаты оказывались свѣтлыми и уютными, а сквозь сдѣланныя въ стѣнѣ, высоко отъ пола, окна, врывались цѣлые потоки солнечнаго свѣта.

Съ тѣхъ порь, какъ явилась Христина, средняя комната была обращена въ спальню для нея. Изъ этого вышло то, что дядѣ Андерсу для того, чтобы попасть въ свою комнату,

приходилось идти черезъ ея помѣщеніе. Понятно, это удобства не представляло, но неприличія въ этомъ никто не находилъ.

Что касается до Христины,—то дядя Андерсъ былъ съ нею такъ привѣтливъ, а большой, красивый городъ заключалъ въ себѣ столько любопытнаго и интереснаго, что она живо поборола тоску по родинѣ. Кромѣ того, она была рада, что находится между чужими людьми, которые ничего не знаютъ о позорѣ, навлеченному отцомъ на себя и на нее.

Такіе важные господа, какъ министры, кивали ей головой, когда встрѣчали ее въ воротахъ. Фрейлейнъ Гильда даже раза два остановилась и поговорила съ нею. Чтобы вообще знатная дама разговаривала съ ней, простой деревенской девушкой,— казалось Христинѣ болѣшимъ, чѣмъ она могла ожидать. На любезности же кандидата она, напротивъ, считала приличнымъ не обращать вниманія. Во-первыхъ, она была увѣрена, что Альфреду извѣстенъ позоръ ея отца; кромѣ того, фамильярный тонъ молодого барина, когда онъ останавливался возлѣ нея подъ воротами или даже спускался въ комнаты, пугалъ ее. Докторъ, старшій сынъ министра, нравился ей гораздо больше,—но съ тѣмъ ей пришлось говорить всего два раза.

Христина уже двѣ недѣли жила въ городѣ, когда получила изъ дому письмо:

„Милая Христина! Кошка, все время послѣ твоего отъѣзда, тоскуетъ, и отецъ твой тоже. Только онъ это выражаетъ по-своему, а именно: роеть, откидываетъ лопатой, и гримитъ, и стучитъ, такъ что теперь по его полямъ ъездить можно лишь съ опасностью для жизни: столько камней, торфа и навоза летаетъ въ воздухъ; также и улица превратилась въ капканъ для людей и скота. Владѣлецъ этой части улицы такъ и не нашелся до сихъ поръ: староста указалъ сборщику податей на меня, а сборщикъ, въ свой чередъ, указалъ на меня надсмотрщику за улицами, капитану по чину. Ну, ты можешь себѣ представить, какъ все это вышло полезно. Однако, твой отецъ устроился лучше, чѣмъ я ожидалъ,—онъ четырехъ коровъ продалъ (и хорошо сдѣлалъ, такъ какъ въ хлѣву и въ молочной былъ беспорядокъ, какъ въ Содомѣ и Гоморѣ, потому что коровы все лягались); не черная корова и та, что куплена у пастора, усмирились и ведутъ себя хорошо и даютъ хорошее молоко. По-моему, онъ даетъ имъ много корму, но онъ меня не слушаетъ и алится. Быть у насть вихрь. А на морѣ стоять и дождь, и непогода. Я прочелъ въ газетахъ, что черезъ Атлантическій океанъ и каналъ пронесся ужасный циклонъ, и что большое судно изъ Христіаніи, которое шло изъ Квебека или изъ Нью-Йорка,

потеряло весь такелажъ. Такъ ты объ этомъ разузнай и подробнѣ мнѣ опиши. Твой отецъ тебѣ кланяется, равно какъ и нижеподписавшійся.

Съ отмѣннымъ почтеніемъ
Лаурицъ Больдеманъ Зеегусъ“.

VI.

Осенью, когда всѣ съѣхались съ дачь въ городъ, Фалькъ-Ольсены задали большой балъ. Негоціантъ придавалъ этому празднству огромное значеніе: помимо молодыхъ людей, которые „должны были посвятить свои силы Ѣдѣ“, онъ прігласилъ и нѣсколькихъ почетныхъ лицъ столицы.

Когда всѣ молодые люди были приглашены, негоціантъ подумалъ, что можно простереть приглашенія немнога по дальше, въ особенности повыше, — что ему удавалось на маленькихъ вечерахъ и обѣдахъ.

Негоціантъ Фалькъ-Ольсенъ былъ еще почти новичкомъ въ столицѣ; такъ скромно начатая имъ торговля „строевымъ и столярнымъ лѣсомъ“ мало по малу приняла весьма внушительные и солидные размѣры; онъ началъ теперь изо всѣхъ силъ стремиться попасть въ высшій свѣтъ.

Въ этомъ отношеніи разсчитывалъ онъ на министра Беннехена. Знакомство вело начало со временемъ „ассессорства“ ministra и, казалось, съ годами становилось все интимнѣе. Дамы высшаго свѣта нѣсколько этому удивлялись, такъ какъ Беннехены слыли за страшныхъ гордецовъ. Мужчины объя- сняли это дѣловыми связями: негоціантъ Фалькъ-Ольсенъ давалъ министру взаймы, и нѣкоторые потихоньку даже по- говоривали, что онъ иногда выручалъ Беннехена изъ денежныхъ затрудненій. Въ общемъ надъ тщеславнымъ торговцемъ подтрунивали, потому что его богатство, нажитое личнымъ трудомъ, казалось большинству чѣмъ-то низкимъ, преарѣннымъ; многие находили роскошь, которую онъ окружилъ себя, неприличной. Георгъ Дельфинъ имѣлъ обыкновеніе говорить:

— Ужасно неудобно! Разговариваешь съ господиномъ негоціантомъ Фалькомъ, а оказывается, просто на просто съ дровянникомъ Ольсеномъ!

Фрау Фалькъ-Ольсенъ не раздѣляла пристрастія мужа къ высшему свѣту; она предпочитала маленькие дамскіе кружки и „чашки чая“. Ея происхожденіе и прошлое покрыты были мракомъ неизвѣстности, хотя (такъ, по крайней, мѣрѣ говорилъ камергеръ) ея родословное дерево было первымъ, которое срубилъ оптовый торговецъ лѣсомъ, когда началъ идти въ гору.

Тѣмъ не менѣе, она терпѣливо и съ тактомъ слѣдовала за мужемъ во всѣхъ его повышеніяхъ, и теперь занимала мѣсто въ элегантной обстановкѣ, не внося особенно рѣзкаго диссонанса.

Дельфинъ имѣлъ привычку втихомолку называть ее „мамъ Ольсенъ“; кромѣ того, остроуміе его изощрялось при описаніи „танцевальныхъ“ развлечений въ залѣ Ольсенъ“; но тѣ, кто зналъ эту женщину, единодушно соглашались, что ея доброе, отзывчивое сердце съ избыткомъ искупаєтъ маленькия шероховатости въ ущербъ хорошему тону.

Въ довершенніе всего она была красива, что тоже не вредитъ, и имѣла очень привлекательную фигуру, когда, въ дорогомъ, свѣтло-сѣромъ, муаровомъ платьѣ, прошлась по заламъ, дѣлая еще кое-какія распоряженія до прибытия гостей.

Негоціантъ тоже входилъ и выходилъ изъ комнаты, но былъ въ беспокойномъ и нервномъ состояніи, бранилъ слугъ и посматривалъ на часы.

— Что съ тобой сегодня, жененекъ? — спросила фрау Фалькъ-Ольсенъ: — ты такъ волнуешься, точно ждешь самого короля!..

— Болтай бѣльше, старая!.. Смотри лучше за собой! — перебилъ ее мужъ.

Тѣмъ не менѣе, немного погодя, онъ подошелъ къ ней самъ и, смущеннымъ тономъ, которому старался придать равнодушный оттѣнокъ, сказалъ:

— Сегодня, передъ обѣдомъ, я пригласилъ консула Линда.

— Съ ума ты спятилъ!

— Ну, ну! Развѣ я не такой же человѣкъ, какъ консулъ Линдъ? Кромѣ того, все вышло такъ кстати: встрѣтились мы въ банкѣ...

— Пригласилъ ты также и его дамъ?

— Нѣтъ... — запнулся коммерсантъ.

— Тогда и не жди его. Онъ не будетъ. Ты сдѣлала неловкость, Оле Йоганнъ!

— Гм... — пробормоталъ оптовый торговецъ. Онъ давно призналъ, что въ такого рода дѣлахъ жена его оказывалась всегда правой.

Тѣмъ временемъ вошла ихъ старшая дочь, и ногоціантъ началъ испускать вопли негодованія; но жена его остановила и сказала:

— Луиза, дитя мое, что это ты такъ странно одѣласъ?

Родители принялись осматривать дѣвушку со всѣхъ сторонъ.

На фрейлейнъ Луизѣ было черное шерстяное платье съ высокимъ воротомъ и бѣлымъ крахмальнымъ воротничкомъ; бѣлокурые волосы закручены были на затылкѣ узломъ; большія, неуклюжія, бумажные перчатки на рукахъ дополняли ея бальныі туалетъ.

Сначала она попробовала съ твердостью выдержать осмотръ родителей, но вдругъ не выдержала и засилась слезами.

— Это Гансъ... Это Гансъ сказалъ... велѣль... запретилъ иначе являться на балъ!..—бормотала она, рыдая.

— Гансъ!—закричалъ гневно коммерсантъ:—онъ скоро поперекъ горла мнѣ станеть, этотъ Гансъ! Если онъ не перестанеть мучить тебя, то, право, тебѣ слѣдуетъ отказать ему!

— Тише,тише, Оле Іоганнъ! Не выходи изъ себя. Дай мнѣ переговорить съ Луизой. Я слышу, что кто-то уже воится въ передней...

Хозяинъ поспѣшно прошелъ по комнатамъ, чтобы встрѣтить первыхъ гостей, между тѣмъ какъ его жена и дочь ушли наверхъ, чтобы заняться туалетомъ.

Первыми явились двое долговязыхъ молодыхъ людей. Въ смущеніи они прятались другъ за друга, пока, наконецъ, не нашли себѣ пристанища въ углу самой отдаленной комнаты, где и начали идіотски фыркать, не то другъ надъ другомъ, не то безъ всякой причины.

Начинали подѣлѣвать экипажи; гости собирались; хозяинъ встрѣчалъ ихъ въ первой комнатѣ. Фрау Фалькъ-Ольсенъ заняла мѣсто въ комнатѣ передъ дамской гостиной.

Младшая дочь Софи и камеристка занялись Луизой и, немного спустя, обѣ сестры вышли вмѣстѣ.

Фрейлейнъ Софи была красивая дѣвушка и любимица отца, у которого составился планъ выдать ее замужъ въ высшей свѣтѣ; онъ неутомимо выискивалъ ей жениховъ. Софи, полувшутя, относилась къ этимъ затѣямъ; но когда однажды отецъ предложилъ ей камергера Дельфина, она задумалась и сказала, что подумаетъ, прежде чѣмъ отвѣтить.

Въ этотъ вечеръ на ней было бѣлое платье съ шелковымъ корсажемъ и массой бантиковъ. Дѣвушка была прелестна, когда шепотомъ объясняла матери, сколько хлопотъ претерпѣла съ Луизой.

Луиза же имѣла видъ овцы, ведомой на закланіе. На нее надѣли бѣлое платье и приличные перчатки; камеристка, воспользовавшись удобнымъ моментомъ, воткнула ей въ волосы вѣтку ландышей. Тревожнымъ взглядомъ оглядела она всѣ углы, разыскивая Ганса, но такъ какъ его нигдѣ не было видно, то она приняла сперва одно, а затѣмъ и другое при-

глашение на танцы,—что ей тоже строго запрещалось. Кончилось тѣмъ, что какъ-то незамѣтно для самой себя, она очутилась среди своихъ подругъ и пріятельницъ, и болтала, и смеялась; протянувъ одному господину свою карточку для записи танцевъ, она крайне удивилась, когда оказалось, что ни одного свободнаго танца у нея не осталось. Ея любимая подруга, Каролина Гельмъ, увѣряла ее, что никогда еще не видала ее такой интересной; но совѣсть жестоко ее мучила.

Комнаты начали наполняться. Посреди большой залы стояли молодыя дѣвицы и представлялись, будто чрезвычайно оживленно бесѣдуютъ; на самомъ же дѣлѣ весь разговоръ состоялъ изъ восклицаній и пустыхъ, перекрестныхъ вопросовъ, прерываемыхъ дѣланымъ, первымъ смѣхомъ; каждая изъ дѣвицъ поглощена была важнымъ и единственнымъ интереснымъ для нея вопросомъ: какъ бы поскорѣе найти кавалеровъ на всѣ танцы.

Мужчины толпились въ дверяхъ, совершая временами набѣги, съ дѣловитымъ видомъ пересѣкали комнаты, раскланивались, приглашали дамъ на танцы, бѣгали взадъ и впередъ, путались въ длинныхъ шлейфахъ и теряли свои карандаши.

Оба друга,—секретарь Хиртъ и кандидатъ Альфредъ Беннехенъ—ухаживали взапуски за фрейлейнъ Софи Фалькъ-Ольсенъ. У нея оказался свободнымъ только одинъ танецъ, и она отдала его Беннехену. Хиртъ изобразилъ на лицѣ отчаяніе и послѣшилъ пригласить Гильду Беннехенъ, стоявшую поблизости.

У этой послѣдней оставалось еще много свободныхъ танцевъ; хотя она, какъ дочь ministra, и была гарантирована отъ череачуръ частаго сидѣнія на родительской скамейкѣ, но никто не торопился приглашать ее, и никто не скрывалъ, что танцуетъ съ ней по обязанности.

Камергеръ Дельфинъ, котораго Фалькъ-Ольсенъ черезъ Беннехена, привлекъ въ свой кружокъ, танцевалъ вообще рѣдко. Онъ любилъ говорить, что слишкомъ старъ; если же рѣшался иногда, то выбиралъ солидныхъ дамъ.

Теперь, увидавъ недовольную гримасу Хирта, который пригласилъ Гильду Беннехенъ, онъ вдругъ прошелъ залу и попросилъ дочь ministра удѣлить ему какой-нибудь танецъ.

Она вся вспыхнула и недовѣрчиво вскинула на него глаза: онъ способенъ посмѣяться надъ ней! Между тѣмъ, онъ уже взялъ ея карточку и выпросилъ у нея французскую кадриль, послѣ ужина. Отказать было неудобно, хотя и хотѣлось такъ сдѣлать.

Инцидентъ привлекъ вниманіе всей залы. Дамы начали перешептываться, усмѣхаться.

Гильда Беннехенъ почувствовала себя несчастной и, въ своемъ смущеніи, сдѣлалась еще уродливѣе обыкновеннаго. Она пріотилась подъ защиту Луизы, которая, въ припадкѣ раскаянія, жаловалась на свою долю Каролинѣ Гельмъ.

Двое кавалеровъ, подмѣтившихъ, что камергеръ пригласилъ фрейлейнъ Беннехенъ, нашли это чертовски остроумной шуткой и поспѣшили послѣдовать его примѣру. Противъ обыкновенія у Гильды мигомъ заполнилась вся танцевальная карта; даже самые фешенебельные кавалеры туда пошли.

Балъ открылся, какъ водится, полонезомъ, при чёмъ въ первой парѣ пошли хозяинъ и жена министра; самъ министръ еще не пожаловалъ.

— Даніель за послѣднее время страшно заваленъ работой,—извинилась за него жена.

Не появлялся также и консулъ Линдъ, такъ что Фалькъ-Ольсенъ былъ не совсѣмъ удовлетворенъ. Но во время полонеза хорошее расположение духа почти вернулось къ нему: танецъ удался блестательно.

Камергеръ могъ изощрять свой острый языкъ, какъ хотѣлъ, но лучшаго помѣщенія для танцевъ, чѣмъ „залъ Ольсена“, пожалуй, не нашлось бы во всемъ городѣ. И въ то время, какъ длинная вереница нарядныхъ дамъ и кавалеровъ двигалась по залѣ подъ звуки великолѣпной музыки, глаза хозяина блестѣли гордостью.

Среди многочисленныхъ гостей были мужчины въ мундирахъ и орденахъ, коммерсанты, банкиры, профессора, камергеры, иностранные консулы, — цѣлая плеяда громкихъ, знатныхъ титуловъ, которыми хозяинъ положительно наслаждался, мѣрно шествуя съ женой министра и занимая ее разговоромъ.

— Какъ прелестна сегодня ваша Софи! — сказала она любезно.

— Я счастливъ, что слышу это отъ васъ... Хотя, по правдѣ говоря, я и самъ это нахожу. Въ Софи есть что-то благородное!

— Именно это я и хотѣла сказать! — поддакнула фрау Беннехенъ, въ душѣ издѣваясь надъ нимъ.

На грѣхъ, негоціанту вздумалось въ свою очередь отвѣтить комплиментомъ, и онъ восторженно отозвался о Гильдѣ Беннехенъ, которая шла въ хвостѣ полонеза съ какимъ-то замухрышкой младшимъ учителемъ или чѣмъ-то въ этомъ родѣ.

— Ахъ, полноте, пожалуйста! — перебила его фрау Бенне-

хенъ, принужденно смеясь:—нашей Гильдѣ, къ сожалѣнію, нечего мечтать о красотѣ!

— Помилуйте, сударыня, напротивъ... — запинаясь, произнесъ злополучный хозяинъ.

— Вы черезчур любезны! — оборвала его дама и снова принужденно засмеялась.

Хозяинъ понялъ, что сдѣлалъ безактность.

Но воть показался Альфредъ Беннхенъ, и несчастный нашелъ возможность загладить свой промахъ, на всѣ лады восхваляя молодого человѣка. Онъ имѣлъ счастье убѣдиться, что фрау Беннхенъ съ живѣйшимъ удовольствиемъ слушаетъ его комплименты, слѣдя за младшимъ сыномъ глазами.

Первый вальсъ прошелъ натянуто и вяло, хотя музыка была прекрасна, и великолѣпная бѣлая съ золотомъ зала сияла своими тремя громадными люстрами и простѣночными лампочками. Вдоль одной стѣны ютились маленькия ниши и укромные уголки, гдѣ царилъ полусвѣтъ и гдѣ, по словамъ фрау Беннхенъ, ноги могли отдохнуть, а сердца другъ другу вѣсть подавать.

Альфредъ танцевалъ съ видомъ каменщика, зарабатывающаго свое ежедневное пропитаніе тяжелой работой. Такъ же и господинъ секретарь Хиртъ. Въ общемъ кавалеры казались угрюмыми, только нѣсколько пожилыхъ, женатыхъ мужчинъ, танцовавшихъ съ самыми юными дѣвицами, повидимому, веселились отъ всей души.

Послѣ каждого танца кавалеры кидались въ заднія комнаты, гдѣ находились къ ихъ услугамъ пуншъ и вина. Когда начинался слѣдующій танецъ, они сердито откладывали въ сторону свои сигары и наливали себѣ большие стаканы пунша съ сельтерской водой, или коньяку съ водой, какъ будто готовились выйти на сильный, ночной морозъ. Затѣмъ они, еле волоча ноги, отправлялись въ залъ, внося туда съ собою легкій запахъ табаку и вина.

Баль шелъ своимъ чередомъ, хотя и нѣсколько принужденно, какъ и всегда въ началѣ.

— Вы еще не разошлись... поддать пару слѣдуетъ! — ворчалъ хозяинъ съ видомъ знатока, приказывая разносить больше пуншу по разнымъ комнатамъ.

Альфредъ Беннхенъ былъ взволнованъ и вель себя загадочно. На вопросъ, съ кѣмъ онъ танцуетъ слѣдующій танецъ, онъ отвѣчалъ уклончиво. Его пріятель, Хиртъ, все же подмѣтилъ, что на нѣкоторые танцы онъ никого не приглашалъ, точно кого-то поджидалъ.

Свирѣпый Гансъ, наконецъ, явился. Луиза, во время танцевъ, мелькомъ его видѣла. На блѣдномъ лицѣ его она

прочла свой приговоръ и чувствовала себя уничтоженной. Но юный кандидатъ Смитъ, съ которымъ она какъ разъ танцевала, рассказывалъ такія интересныя приключенія изъ своего путешествія пѣшкомъ на Іотунгеймъ, что она поминутно забывала свое удрученіе... И пока она не отыскала глазами своего жениха, совѣсть ея (такъ выразился бы самъ Гансъ) „дремала въ грѣховной увѣренности въ своей безопасности“.

Но, когда танецъ кончился, она разыскала Каролину Гельмъ, приходившуюся ея жениху родственницей, и стала умолять ее, именемъ ихъ дружбы, подойти къ Гансу и разъяснить ему, что ее принудили нарядиться, а также спросить, неужели онъ сердится на нее...

Эту деликатную миссію Каролина взяла на себя съ большою готовностью, такъ какъ вовсе не боялась кузена Ганса. Она нашла его въ библіотекѣ, перебирающимъ книги на полкѣ.

— Добрый вечеръ, Гансъ! Я принесла тебѣ привѣтъ отъ Луизы! Она спрашивается, не протанцуешь ли ты съ нею? — сказала Каролина, присаживаясь, сдѣлавъ предварительно реверансъ.

Гансъ сначала пристально поглядѣлъ на нее маленькими, свѣтло-голубыми глазками, но, видя, что это не произвело на дѣвушку ни малѣйшаго впечатлѣнія, онъ спросилъ:

— Луиза дѣйствительно просила тебя это сказать?

— Ну, да. Почему же ты сомнѣваешься? Ты, можетъ быть, думаешь, что танцевать грѣшно? Клянусь тебѣ, что соборный священникъ сказалъ намъ при конфірмації: „танцуйте, не смущаясь, лишь бы сердце ваше было чисто“. Ну, а у тебя вѣдь оно чисто, кузень Гансъ, не такъ-ли?

— Что съ тобой разговаривать, Каролина! Ты дитя суety!

— Фу, Гансъ! какъ можешь ты такъ говорить! — обидѣлась Каролина: — понять не могу, какъ могъ ты понравиться такому милому созданію, какъ Луиза! Я бы не вышла за тебя, ни за что на свѣтѣ!

— Я постараюсь освободить Луизу изъ этого грѣховнаго дома.

— Фу, Гансъ, какой ты, право, оселъ! — проговорила неисправимая Каролина и ушла въ залу.

Наконецъ, явился министръ Беннехенъ, — высокій, красивый мужчина, гладко выбритый и румяный. Хозяинъ встрѣтилъ его въ прихожей и началъ съ нимъ носиться. Хотя они и были настолько хороши между собою, что зачастую съ глазу на глазъ нѣгоціантъ обращался съ нимъ просто, — но на балу, въ полномъ блескѣ своихъ орденовъ и дипломатической важности, министръ внушалъ къ себѣ почтеніе.

Кромъ того, въ этотъ вечеръ, министръ былъ самымъ важнымъ гостемъ, настоящимъ свѣтиломъ пиршства, и маленький, юркій Фалькъ-Ольсенъ буквально сяялъ, сопровождая именитаго гостя по заламъ.

Хозяйка дома сердечно привѣтствовала ministra; затѣмъ онъ нѣкоторое время оставался среди пожилыхъ дамъ и былъ любезенъ. Послѣ того, во время перерыва между танцами, онъ прошелся по залу, поздоровался съ дочерьми хозяина и ушелъ въ кабинетъ Ольсена, гдѣ собирались избранные изъ выдающихся гостей.

Появленіе ministра придало балу извѣстный колоритъ. До тѣхъ порь гости Фалькъ-Ольсеновъ чувствовали себя такъ, точно у нихъ „не хватало головы“, — какъ выразился Дельфинъ; хозяинъ и хозяйки такъ мало значили для нихъ, что терялись въ общей кутерьмъ; о нихъ почти не думали.

Но теперь, въ лицѣ ministra, балъ получилъ извѣстную точку опоры: въ качествѣ интимнаго друга дома, онъ представлялъ изъ себя, такъ сказать, гарантію, какъ бы объявляя вполнѣ законными вновь испеченные блескъ и роскошь обстановки. Каждый изъ гостей почувствовалъ себя успокоеннымъ, что онъ дѣйствительно находится въ порядочномъ обществѣ и можетъ веселиться безо всякихъ угрызений совѣсти.

Теперь только танцы повелись съ увлеченіемъ. Присяжные танцоры посмѣшивались, усердно работая, а хозяинъ потирая руки и забыть думать о консулѣ Линдѣ.

Какъ только Альфредъ увидѣлъ, что входить его отецъ, онъ проскользнулъ въ прихожую, надѣлъ пальто и ушелъ.

VII.

Христина сидѣла дома въ теплой комнатѣ и писала письмо своему отцу или, вѣрнѣе, лоцманскому старшинѣ, такъ какъ Нѣдель не умѣлъ читать писаное.

Дядя Андерсъ проводилъ ministra до кареты и ушелъ, какъ и всегда по вечерамъ: у него было такъ много дѣла.

Дѣвшка сидѣла у стола и, задумавшись, пристально глядѣла на лампу, соображая, что бы еще написать, какъ вдругъ въ дверь постучались, и въ комнату вошелъ докторъ Беннхенъ.

— Извините! Мой отецъ поѣхалъ на балъ? — освѣдомился онъ.

— Да, сю минуту, — отвѣтила Христина.

— Жалко! Я было хотѣлъ ѿхать съ нимъ.

Милѣйший докторъ совралъ: онъ стоялъ на углу улицы, ожидая, пока карета не отѣдетъ.

Но, хотя онъ очутился у цѣли намѣченной интрижки, однако, не зналъ съ чего начать; вѣроятно, такъ и ушелъ бы, не сказавъ больше ни слова, если бы Христина не промолвила:

— Быть можетъ, карета вернется.

— Да, можетъ статься... Даже навѣрно!.. — обрадовался докторъ.

Оба представились, будто этому вѣрять, хотя прекрасно знали, что карета наемная; у министра былъ только одноконный фаэтонъ.

— Не желаете-ли пока присѣсть, подождать? — предложила Христина. Дядя Андерстъ уже настолько отшлифовалъ ее, что она говорила всѣмъ „вы“.

Докторъ поблагодарилъ и затворилъ за собою дверь.

Иоганнъ Беннехенъ напоминалъ отца, но въ немъ положительно не было ничего внушительнаго. Наоборотъ, онъ именно казался такимъ, какимъ былъ на самомъ дѣлѣ, то есть, славнымъ, недалекимъ и весьма добродушнымъ мальцомъ; кромѣ того, онъ прихрамывалъ на лѣвую ногу.

Докторъ началъ болтать съ молодой дѣвушкой, стоя между дверью и столомъ. Онъ привыкъ къ обращенію со всякаго рода людьми, такъ что Христина хорошо его понимала. Между ними скоро завязался оживленный разговоръ о ея родинѣ, начались сравненія между деревней и городомъ и т. п.

Каждый разъ, что онъ говорилъ что-либо смѣшное, она наклоняла голову и смѣялась, при чемъ свѣтъ отъ лампы падалъ на ея роскошные, рыжеватые, вьющіеся волосы, унаследованные ею отъ отца. Повидимому, онъ ей передадѣлъ свое богатырское сложеніе: плечи ея были широки, грудь высока и могучая, а когда она стояла, выпрямившись во весь ростъ, то была не ниже большинства мужчинъ.

На улицѣ стоялъ вѣтряный, холодный осенний вечеръ. Но въ комнатѣ были разостланы ковры, и въ печкѣ трещалъ привѣтливый огонекъ; все было такъ уютно и чисто.

У доктора подъ пальто былъ вечерній туалетъ. Онъ распахнулся и, въ концѣ концовъ, сѣлъ почти у самаго стола, прислоняясь къ стѣнѣ.

Каждый разъ, заслышиавъ стукъ колесъ, они говорили: „вотъ карета“! А когда экипажъ проѣзжалъ мимо, прибавляли: „нѣть, это не она“.

Вдругъ постучались, дверь отворилась, и Альфредъ, привѣтствуя, появился въ комнатѣ, воскликнулъ:

— Добрый вечеръ!

Но когда онъ увидѣлъ брата, то сначала сильно смущился, а потомъ злобно разсмѣялся.

— Ай, ай! Tête à tête! Ужъ не больна ли фрейлейнъ Христина?

Христина, принявшая это за шутку, хотѣла было отвѣтить, но положительно испугалась, увидавъ мрачное лицо доктора.

— Я жду карету. Думалъ, вотъ-вотъ она вернется,—сказалъ онъ рѣзко.

— Предлогъ безподобенъ! Любовь дѣлаетъ человѣка изобрѣтательнымъ!—вскричалъ Альфредъ и закатилъ глаза.— Да? Ты ждешь карету? Какъ искусно придумано!

— Прошу не дѣлать такихъ намековъ, Альфредъ.

— Скажите, пожалуйста, онъ меня просить! Это не возвращается: проси! Можетъ быть, и ты мнѣ разрѣшишь попросить тебя дать мнѣ болѣе правдоподобное объясненіе твоего присутствія здѣсь, въ такой часъ?

— А какое тебѣ дѣло до этого?

— Вотъ какъ! Слогъ дѣлается много проще. Я спрашиваю не ради себя. Я не нуждаюсь въ дальнѣйшихъ разъясненіяхъ (дѣло для меня и такъ ясно... яснѣе яснаго...)—онъ поочередно смотрѣлъ на присутствующихъ,—но, я знаю, мамъ было бы интересно знать, почему ея первенецъ караулить домъ, когда всѣ прочіе отсутствуютъ.

— Я ничего не караулю! Берегись, Альфредъ!—вскричалъ Іоганнъ и сдѣлалъ шагъ впередъ.

— Не станемъ же мы марать эту хижину нашей братской кровью!—сказалъ Альфредъ, злобно скаля зубы и ретирируясь за стулъ.

Христина подошла было къ доктору и хотѣла что-то сказать. Онъ-же, весь блѣдный, обратился къ ней со словами:

— Не сердитесь! Прошу у васъ извиненія,—я не виноватъ въ этой выходкѣ. Покойной ночи! Пойдемъ, Альфредъ, намъ пора уходить.

— Намъ?—дерзко переспросилъ Альфредъ и сдѣлалъ видъ, будто хочетъ положить шляпу..

Но докторъ такъ крѣпко ухватилъ его за плечи, что возвращать было уже нечего, и не успѣлъ Альфредъ опомниться, какъ очутился въ подвального этажа на улицѣ.

Христина стояла и слушала, какъ братья прошли мимо ея оконъ. До нея долетѣло одно слово,—и она страшно поблѣднѣла, а на лѣвомъ висѣ ея показалось красное пятно; то былъ шрамъ отъ ушиба, полученнаго въ ту ночь, когда лавина убила ея мать и сестеръ.

Братья шли, перегугиваясь, до угла улицы, гдѣ разстались, не простившись другъ съ другомъ. Теперь Іоганну уже не хотѣлось идти на балъ, и онъ отправился на свою квартиру: онъ жилъ отдельно отъ родителей, такъ какъ

жена министра не желала встречаться на льстницѣ съ его пациентами изъ простонародья.

Какъ разъ садились за столъ, когда Альфредъ вернулся на балъ.

— Гдѣ ты пропадалъ?—освѣдомился Хиртъ.

Альфредъ таинственно подмигнулъ,—въ отвѣтъ на что приятель надавалъ ему толчковъ въ бокъ, сопровождаемыхъ различными шутливыми бранными прозвищами. Затѣмъ они протѣснились къ винному буфету, такъ какъ Хиртъ утверждалъ, будто Альфредъ очень нуждается въ подкѣплѣніи.

Накрыто было въ маленькой залѣ и въ прилегающихъ комнатахъ; сначала занялись ѳдою болѣе солидные мужчины и дамы, затѣмъ танцующія дамы разрѣшили кавалерамъ услугить имъ, но не успѣли они и наполовину утолить свой аппетитъ, какъ любезные молодые люди, сообразуясь съ собственнымъ разсчетомъ, уже начали толпиться у столовъ, какъ густой рой мухъ, перелетая отъ одного стола къ другому, набрасываясь на блюда и тарелки, нюхая, роясь, жуя, хлебая, поглощая,—все это молча, подъ стукъ ножей и вилокъ, дѣйствуя, точно одна сложная машина для уничтоженія сѣстныхъ припасовъ, пущенная въ ходъ.

Юный застѣнчивый студентъ Ганзенъ раздобылъ бутылку хересу; мигомъ протянулись къ нему руки со стаканами,—и простодушный студентъ все наливалъ да наливалъ, пока бутылка не опустѣла,—такъ что его собственный стаканъ остался пустымъ.

Надѣ этимъ отъ души похохотали, но не долго: времени терять было некогда.

Фаршированная телячья голова, пирожки въ пикантномъ соусѣ, рыбныя клецки, черепаха, паштеты, сальме изъ дичи съ жаренымъ молодымъ картофелемъ,—все исчезало, какъ по волшебству. Кузенъ Гансъ помѣстился у мясного пуддинга со спаржей и не трогался съ мѣста, не обращая вниманія на толчки въ спину. Рядомъ съ нимъ стоялъ кандидатъ Смитъ, съ аппетитомъ, который онъ, вѣроятно, принесъ съ собой изъ Йотунгейма: онъ Ѳль мясной рулеть чайной ложкой и поклялся, что не пойдетъ за вилкой, пока не уничтожить полѣдній шампинъонъ соуса.

Хиртъ и Беннехенъ устроились похитрѣ: они заняли постъ у дверей, откуда слуги приносили кушанья, и отважно накидывались на появлявшіяся блюда; съ добычей шли они въ курительную комнату, гдѣ и пойдали свои порціи, а такъ же распили пару бутылокъ, спрятанныхъ ими за портьеру.

Важные гости нашли себѣ мѣсто въ „собственномъ кабинетѣ“ хозяина, гдѣ имъ и прислуживали отдельно. Тамъ, между дамами, проявляя свою дѣятельность Дельфинъ; а въ

залѣ прохаживалась парочка молодыхъ дѣвицъ, которая однаково презирали и ъду, и тѣхъ, кто ъль.

Мало по малу дамы покончили съ ужиномъ, и рой черныхъ мухъ заработалъ щупальцами на дамскихъ столахъ, въ маленькомъ залѣ, гдѣ еще двѣ запоздавшія пожилыя дамы разнюхивали, не осталось ли головокъ спаржи или бѣленкихъ кусочковъ цыпленка.

Хозяйка, хотя и знала, что всего было вдоволь, но испытывала тревогу, при видѣ неугомоннаго роя,—и одинъ изъ молодыхъ людей, стоявшій недалеко отъ нея, услыхалъ, какъ она сказала:

— Боже мой! Можно подумать, что вся ъда проваливается въ бездонную кадку!

Фрау Фалькъ-Ольсенъ употребляла иногда вульгарныя выраженія, въ особенности, когда бывала взволнована. Это была родъ лингвистического рецидива.

Изъ кабинета хозяина слышались шумъ и говоръ, каждый разъ, какъ лакей пріотворялъ дверь. Хюртъ и Беннехенъ, ужинавшие въ сосѣдней комнатѣ, схватывали на лету отрывки разговоровъ; повидимому, тамъ шелъ споръ о политикѣ.

— Фалькъ-Ольсенъ всетаки скотъ, какъ его ни обтесывай!—рѣшилъ Беннехенъ между двумя глотками:—совсѣмъ не умѣеть пригласить кого слѣдуетъ!

— Что ты?—возразилъ Хюртъ:—да сегодня у него весь свѣтъ!

— Болванъ! Простофиля! Въ этомъ-то и есть его ошибка, что онъ сплошь приглашаетъ всякую шушеру! Ты можешь сообразить, какъ непріятно моему отцу сталкиваться со всякими крикунами, которые здѣсь собираются!

— Объ этомъ я, дѣйствительно, не подумалъ!—глубоко-мысленно произнесъ Хюртъ.

— Третьяго дня я слышалъ, какъ отецъ сказалъ Фалькъ-Ольсену: „если вы не хотите принимать извѣстную партію, то...“

— То что?—съ любопытствомъ спросилъ Хюртъ и нагнулся поближе.

— И болванъ же ты, Іона! Онъ ничего больше не сказалъ. Твое дѣло понять, что это значитъ.

— Ну, да! Разумѣется! Гм... Конечно, чортъ возьми! Такъ министръ и сказалъ?—Хюртъ многозначительно усмѣхнулся и лукаво подмигнулъ пріятелю.

Послѣ ужина оркестръ затягнѣлъ кадриль изъ „Маленькаго герцога“.

Танецъ этотъ прошелъ чрезвычайно оживленно: сходство съ каменщиками испарилось.

Веселая музыка волновала танцующимъ кровь, и безъ того игравшую отъ вина и ъды. Кандидатъ Смитъ напѣвалъ по-французски припѣвъ изъ оперетки: онъ слышалъ его отъ одного знакомаго, пріѣхавшаго изъ Парижа.

Каролина Гельмъ, его дама, пристала къ нему не на шутку, желая узнать, что такое онъ поетъ. Но онъ стоялъ на томъ, что припѣвъ не поддается переводу... Каролина-же задорно увѣряла его, что она не изъ очень щепетильныхъ и многое можетъ выслушать. Кончилось тѣмъ, что онъ все продолжалъ напѣвать, до тѣхъ поръ, пока она не объявила ему, что и такъ все поняла.

Французскую кадриль Дельфинъ долженъ былъ танцевать съ Гильдой Беннехенъ; онъ почти уже позабылъ, изъ какихъ разсчетовъ пригласилъ ее, и поэтому въ первой фигурѣ относился къ ней нѣсколько небрежно, болтая больше съ фрау Гельмъ, сидѣвшей въ дверяхъ, позади танцующихъ паръ. Гильда Беннехенъ тотчасъ же это замѣтила, и ей стало до боли обидно. Цѣлый вечеръ она ждала этого танца, не то съ радостью, не то со страхомъ.

У нихъ въ домѣ камергеръ бывалъ съ нею всегда привѣтливъ, съ отгѣнкомъ снисхожденія, какъ къ ребенку; но вѣдь онъ зналъ ее еще дѣвочкой, до ея конфirmaціи. Часто она думала, какъ было бы весело танцевать съ нимъ. И вотъ теперь разочаровалась. Приходили ей въ голову всѣ колкія словечки подругъ,— и она пришла къ заключенію, что лучше бы онъ ея не приглашалъ.

Во время третьей фигуры онъ, однако, задалъ ей нѣсколько вопросовъ; отвѣчая, она смотрѣла на него въ упоръ, и глаза ея привлекли его вниманіе. „Вотъ такъ глаза!“ — подумалъ онъ.

Послѣ этого открытия, онъ сталъ разговаривать съ ней оживленіе, чтобы она почаше глядѣла на него вверхъ. Взглядъ карихъ глазъ былъ простодушень и ясенъ, и каждый разъ, какъ Дельфинъ говорилъ что-нибудь забавное или оскроумное, некрасивое лицо оживлялось и становилось привлекательнымъ.

Когда танецъ кончился, онъ сказалъ:

— Неужели все, милѣйшая фрейлейнъ?.. А мнѣ кажется, мы протанцевали не больше четырехъ фигуръ!

Она подозрительно посмотрѣла на него и затѣмъ со смѣхомъ отвѣчала:

— Это потому, что первыя двѣ фигуры вы протанцевали съ фрау Гельмъ.

Георгъ Дельфинъ умѣлъ оцѣнить мѣткій отвѣтъ. Онъ съ удивленіемъ поглядѣлъ на дѣвушку, — но тутъ подоспѣла

другая пара и заговорила съ ними; подошли еще, и образовалась около нихъ группа.

Всетаки камергеръ, покидая свою даму, выпросилъ у нея первую кадриль послѣ ужина на время всѣхъ предстоявшихъ въ этомъ сезонѣ баловъ.

Теперь балъ шелъ на всѣхъ парахъ. Танцы велись съ такимъ увлечениемъ и веселостью, что никто бы не повѣрилъ, что это тѣ-же „каменщики“ первого вальса. Воодушевленіе достигло высшихъ предѣловъ, когда вскорѣ послѣ полуночи были поданы десертъ и шампанское.

При этомъ случаѣ министръ всегда держалъ хозяевамъ рѣчъ, — краткую дипломатическую рѣчъ, безъ всякаго цвѣтистаго набора словъ. Такія умѣренныя рѣчи министръ говорилъ охотно, соразмѣряя подъ тонъ умѣренности и жесты, и улыбки.

Къ дамамъ обратился юный поэтъ, издавшій недавно томъ своихъ стихотвореній, подъ заглавиемъ: „Пылающія строки“. Тостъ былъ тоже въ стихахъ и удостоился большого одобренія, хотя дамы и нашли, что онъ слишкомъ наводить грусть.

Но тутъ неожиданно, къ ужасу своихъ друзей, выступилъ блокурный кандидатъ Смить съ блестящимъ описаніемъ Іотунгейма. Навѣки осталось невыясненнымъ, что подвигнуло его на этотъ шагъ—вино или любовь,—но одно достовѣрно, что самая рѣчъ могла дать поводъ для самыхъ разнообразныхъ догадокъ, такъ какъ въ то время, какъ слушатели находились высоко—высоко въ горахъ (ораторъ даже не поскупился на вычисление сотень футовъ)—между безднами и глетчерами,—вдругъ упомянуто было про чудные глаза и фигуру эльфа... Нѣкоторые впослѣдствіи утверждали, что намекъ былъ на Каролину Гельмъ.

Какъ бы то не было, рѣчъ длилась бы, вѣроятно, безъ конца (подобно тому, какъ въ сказкѣ говорится, что если она не кончена, то продолжается и до сегодняшняго дня),—если-бы долговязый, робкій студентъ, Ганзенъ, не взвился внезапно со стула, какъ блѣдная ракета, и не воскликнулъ во всеуслышаніе:

— Да здравствуетъ Іотунгеймъ!

Среди разразившагося хохota тостъ былъ соченъ окончившимся, къ великой досадѣ оратора.

Но у студента Ганзена возбужденіе приняло опасное направлѣніе: когда онъ завладѣлъ бутылкой портвейна, то рѣшилъ, что его ужъ больше не проведуть, и, усѣвшись за столъ, уставленный цвѣтами, опрокидывалъ въ себя стаканъ за стаканомъ. Но портвейнъ оказался еще злонравнѣе студента Ганзена, который, неумѣренно задравъ голову, заша-

Галлеря современныхъ французскихъ знаменитостей.

Жюль Гэдъ.

Одинъ изъ американскихъ техническихъ журпаловъ, говоря о быстротѣ, съ какой современная крупная промышленность преобразуетъ сырой материалъ, доставляемый природой, въ окончательно отдаленный фабрикатъ, не безъ гордости сообщалъ своимъ читателямъ, что технологія нашихъ дней вмѣшивается даже въ естественные процессы и крайне ускоряетъ ихъ. Такъ, напр.— продолжалъ все тотъ же журналъ,— въ то время, какъ раньше надо было высуживать и дубить мѣсяцами, чуть не годами сырья кожи прежде, чѣмъ употребить ихъ какъ сапожный товаръ, теперь, благодаря научному примененію химическихъ процессовъ, теплоты и электричества, все это требуетъ едва нѣсколькихъ дней. И, можетъ быть, тотъ самый быкъ, который недѣлю тому назадъ носился по необозримымъ пампасамъ Ла-Платы, уже понираетъ, въ видѣ подошвы сапога, асфальтовый тротуаръ какого-нибудь громаднаго города. Пламенный пѣвецъ успѣховъ современной технологіи усматривалъ лишь одну темную точку на свѣтломъ фонѣ индустриального волшебства нашихъ дней: необыкновенно интенсивный процессъ искусственной обработки разрушаетъ органическія клѣтки кожи; а потому теперешняя „электризованная“ подошва изнашивается гораздо быстрѣ, чѣмъ честная патріархальная подошва прежнихъ дней, которая высыхала и дубилась постепенно, согласно законамъ естества. И задача современной технологіи,—заключалъ авторъ исполненной промышленного энтузиазма статьи,— состоять въ томъ, чтобы устранить этотъ послѣдній недостатокъ чисто технической операциіи, пасущей передъ естественнымъ процессомъ по части прочности своихъ продуктовъ...

Эта статья вспоминается мнѣ всякий разъ, когда приходится думать о психологіи различныхъ типовъ политическихъ дѣятелей. Прошу читателя не особенно скандализироваться той ассоціаціей идей, которая соединяетъ у меня представление о такой низмен-

ной вещи, какъ подошва, съ представлениемъ о столь важномъ и въ своемъ родѣ единственномъ продуктѣ, какимъ является человѣкъ, и при томъ человѣкъ, болѣе или менѣе сознательно участвующій въ исторической жизни своей страны.

...Si parva licet сопропеге magnis, „если позволено сравнивать малое съ великимъ“, по выражению старика Виргилія, то моя ассоціація идей не покажется столь чудовищной, какъ можне подумать съ первого взгляда: стоитъ только указать на пунктъ сравненія. Я полагаю именно, что прочность убѣжденій и стойкость поведенія политическихъ дѣятелей зависитъ въ сильной степени, помимо ихъ природного характера, еще и отъ того, насколько рано они восприняли основы своего міровоззрѣнія и насколько они сумѣли, съ самаго же начала, окружить себя обстановкой, гармонирующющей съ ихъ общими идеями. Какъ „электризованная“ кожа быстро оказывается годной для употребленія лишь насчетъ своей прочности, такъ и человѣкъ, сравнительно поздно и сразу ставшій на новую точку зреінія, обнаруживаетъ извѣстные изъяны въ своей духовной физіономії, несмотря на блескъ и красоту своихъ первыхъ дѣйствій на пути въ Дамаскъ. Съ другой стороны, какъ естественные процессы, опредѣляющіе постепенныя измѣненія въ сырому матеріалѣ, придаютъ ему, въ концѣ концовъ, особую прочность, такъ и рания и неуклонная выработка общаго міровоззрѣнія среди подходящихъ условій кладеть на человѣка, прошедшаго черезъ такую умственную и нравственную школу, отпечатокъ рѣдкой цѣльности и стойкости. Не нужно лишь, дѣлая это сравненіе, придавать чрезмѣрное значеніе второстепеннымъ взглядамъ, но слѣдуетъ оставаться въ предѣлахъ центрального идейнаго пункта: рѣчь идетъ не о всегда возможныхъ измѣненіяхъ частныхъ сторонъ общаго міросозерцанія, но о сути его. И съ этой болѣе широкой точки зреінія справедливость сдѣланнаго мною умышленно грубаго уподобленія должна быть признана всяkimъ мало-мальски внимательнымъ наблюдателемъ человѣческой души.

Въ прошломъ своемъ этюдѣ, разбирая эффектную и сложную личность Жореса, я указалъ, какъ сравнительно поздно и гораздо болѣе быстро, чѣмъ то кажется самому главѣ парламентарныхъ соціалистовъ, онъ подвергся воздействию „электризаціи“ соціалистического міровоззрѣнія. И какъ, кромѣ того, находясь въ неблагопріятной личной обстановкѣ, и подъ давленіемъ запутанныхъ политическихъ обстоятельствъ, онъ, иѣсколько лѣтъ спустя, совершилъ движеніе назадъ, правда, не дойдя до своего начальнаго буржуазно-демократического міросозерцанія, но остановившись на полупути: строго эволюціонномъ соціализмѣ и „сотрудничествѣ классовъ“. На сей разъ я постараюсь изобразить личность и дѣятельность Года, съ самаго пробужденія въ сознательной жизни постоянно находившагося въ предѣлахъ одного общаго

міровоззрѣнія, которое можно характеризовать какъ активное трудовое міровоззрѣніе и которое придаєтъ цѣльность его политической дѣятельности, — былъ ли онъ (при самомъ началѣ ея) анархистомъ, или (во все послѣдующее время) марксистомъ. Психологическое различіе этихъ двухъ типовъ мнѣ представляется, такимъ образомъ, прежде всего различіемъ между рано начавшимися, глубокими и безпрестанными проникновеніемъ Гэда извѣстными, рѣзко опредѣленными, взглядами и между сравнительно позднимъ и быстрымъ воздѣйствіемъ на Жорэса нѣсколько смутнаго, но могучаго идеала новой жизни, охватившаго временно все существо его огнемъ философскаго и эстетически-нравственнаго энтузіазма, но впослѣдствіи ущерблennаго мѣстами вторженіемъ прежнихъ идейныхъ элементовъ буржуазной среды и воспитанія.

Было бы лишнимъ объяснять подробно, почему у насъ почти нѣть данныхъ о чисто личной жизни Гэда. Его біографія до такой степени тѣсно переплетается на каждомъ шагу съ исторіей партіи, получившей отъ него свое имя, что личное существование этого фанатика идеи отходитъ совершенно на задній планъ. Вы можете найти нѣкоторыя отрывочные свѣдѣнія біографического характера въ безчисленныхъ статьяхъ о немъ друзей и враговъ. Но этотъ разбросанный материалъ затерянъ въ литературѣ, исключительно посвященной Гэду, какъ политическому дѣятелю. Съ другой стороны, у этого высокомѣрного и авторитарнаго человѣка партіи всегда было развито чувство деликатности и такта, препятствовавшее ему посвящать публику въ подробности личной жизни, которую съ такимъ самодовольствиемъ выставляютъ на восхищеніе своихъ поклонниковъ типичный „знатокъ“ буржуазнаго лагеря. Гэдъ, видимо, хочетъ остаться для публики исключительно представителемъ извѣстнаго теоретического и практического направлѣнія: такимъ должны обрисовать его, главнымъ образомъ, и мы, касаясь нѣкоторыхъ личныхъ сторонъ его существованія лишь постольку, поскольку это абсолютно необходимо въ біографическомъ этюдѣ.

Жюль Гэдъ родился 11-го ноября 1845 г. въ Парижѣ. Ему, такимъ образомъ, совсѣмъ недавно пошелъ 60-й годъ. Замѣтимъ, что имя, подъ которымъ онъ пріобрѣлъ широкую извѣстность, не есть собственно его легальное имя. Онъ записанъ въ мериі при рожденіи какъ Матьё-Жюль Базиль: Базиль — фамилія его отца. Но у французовъ сильно распространено обычай выступать въ общественной жизни подъ полу-псевдонимами и псевдонимами. И въ ранней молодости будущій агитаторъ началъ называть себя Жюлемъ Гэдомъ: Гэдъ была дѣвичья фамилія его матери. Если правильно замѣчаніе людей, изучавшихъ колективную психологию, что для успѣха на общественномъ поприще важно

даже имя дѣятеля, то Жюль Гэдъ очень удачно выбралъ свое: эти два короткія и жесткія слова, какъ ударъ хлыста, останавливали на себѣ вниманіе толпы и какъ нельзя болѣе подходили къ рѣзкой, угловатой, энергичной фігуру чловѣка, которому суждено было стать главою партіи.

Отецъ Гэда былъ учителемъ въ небольшомъ пансионѣ и самъ занимался воспитаніемъ сына, съ юныхъ лѣтъ обнаружившаго блестящія способности и необыкновенную живость темперамента. Занятія отца съ молодымъ Гэдомъ шли, дѣйствительно, такъ успѣшно, что мальчикъ въ 16 лѣтъ уже выдержалъ экзаменъ на баккалавра (нашъ аттестовать зрѣлости). Отцомъ были заложены въ немъ начала непримиримаго республиканства. А крайне стѣсненные материальныя условія семьи съ самой ранней молодости бросили его въ ряды трудящагося чловѣчества, заставивъ его зарабатывать, тотчасъ же по окончаніи гимназического курса, кусокъ насущнаго хлѣба. Подобно Рошфору, подобно многимъ другимъ французскимъ знаменитостямъ, онъ некоторое время занималъ мѣсто мелкаго служащаго въ городской администрації. Но его скоро потянуло къ общественной дѣятельности, и 20-лѣтнимъ юношѣ онъ берется за перо журналиста, чтобы съ своею обычною страстью и рѣзкостью вести кампанію противъ Второй имперіи.

Режимъ декабрьской ночи со средины 60-хъ годовъ сталъ клониться къ упадку. Въ воздухѣ слегка запахло весной „либеральной имперіи“; и появились уже кой-какія ласточки, предвѣщавшія ею, въ родѣ сулившаго реформы декрета 19-го января 1867 г. Рабочіе все меѧще и меныше поддавались на удочуку экономическихъ благодѣяній, которыя, согласно офиціальныхъ бардамъ имперіи, должны будуть пролиться на пролетаріатъ изъ цезаристскаго рога изобілія, какъ только трудящіяся массы станутъ заниматься исключительно улучшеніемъ своего материальнаго быта подъ эгидой мудраго и добраго монарха и повернутся спиной къ политическимъ агитаторамъ. Французскіе члены интернаціонала, служа въ теченіе трехъ лѣтъ предметомъ заигрыванія со стороны правительства Наполеона III, рѣшительно отказались отъ всякаго императорскаго покровительства, за что рыцари декабрьской ночи возбудили противъ нихъ преслѣдованіе какъ разъ въ любимомъ ими, для совершенія преступленій противъ свободы, мѣсяцѣ декабря (1867 г.) *). Съ другой стороны, общественная реакція уступила мѣсто живому свободолюбивому движению, придавая тѣмъ болѣе ненавистный характеръ продолжавшейся уже чисто правительственной реакціи. Студенчество въ частности перестало культивировать изящній индифферентизмъ,

*) См. интересную въ общемъ книгу Вейля: Georges Weill, *Histoire du mouvement social en France* (1852—1902); Парижъ, 1905 г., стр. 109 и слѣд..

увлекаться искусствомъ для искусства и соединять безъидейное времяяпрепровождение золотой молодежи съ самымъ низменнымъ молчалинствомъ. Къ нему уже было бы анахронизмомъ обращаться съ пламенными упреками, которые бросаль по праву въ лицо студенчеству конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ молодой безавременно умершій студентъ же Жакъ Ришаръ, обнаружившій выдающійся поэтическій талантъ какъ разъ въ своей негодующей „Одѣ къ молодежи“:

По закону смѣни поколѣній, дэнди-индифферентисты и поклонники шумной и развратной имперіи уступили во второй половинѣ 60-хъ годовъ място той идеиной и пылкой молодежи, въ которой борцы 1830 и 1848 гг. могли бы дѣйствительно привѣтствовать своихъ дѣтей. Стали раздаваться все чаще и чаще, не смотря на правительственный запретъ, и звуки марсельзы. Между умственными и физическими работниками начали создаваться узы взаимной симпатіи и солидарности. Въ этой-то наэлектризованной приближавшимися бурями атмосферѣ конца имперіи и пробуждался къ сознательной жизни молодой Гэдъ, впитывая въ себя основные элементы того міровоззрѣнія, которому въ общихъ чертахъ онъ останется вѣренъ въ теченіе всей своей жизни, не смотря на измѣненія въ иѣкоторыхъ — если и важныхъ, то все же второстепенныхъ взглядахъ. Гэдъ дебютировалъ, какъ литераторъ, лѣтомъ (22-го іюня) 1868 г. въ «Le Courrier fran莽ais», газетѣ, издававшейся Верморелемъ и старавшемся подчеркивать вопросы труда и соціализма предпочтительно передъ чисто политическими вопросами, возбуждая недовѣріе въ чисто буржуазной оппозиції. Кстати сказать, его сотоварищемъ въ этомъ органѣ былъ Ивъ-Гюйо, будущій ренегатъ не только соціализма, но и радикализма, будущій министръ общественныхъ работъ въ кабинетахъ Тирада и Фрейсина, ожесточенный врагъ коллективизма и т. п. Такихъ первоначальныхъ товарищей придется, впрочемъ, много растерять Гэду по дорогѣ своего идеала, въ особенности, когда сложится окончательно его міровоззрѣніе.

Въ 1870—1871 гг. мы видимъ Гэда въ Монпелье редакторомъ газеты „Les Droits de l'Homme“, въ которой участвовали, кроме того, Баллю, впослѣдствіи радикальный депутатъ Лиона, Фабрегэтть, ставшій первымъ предсѣдателемъ апелляціонного суда въ Тулузѣ, и Жираръ, получившій позже профессорскую каѳедру на юридическомъ факультете университета города Монпелье. Только что назанный Ивъ-Гюйо былъ парижскимъ корреспондентомъ газеты. Всѣ эти сотрудники (кромѣ Жирара, писавшаго подъ псевдонимомъ Жербье) скоро разошлись съ Гэдомъ изъза революціонного характера его статей. По поводу объявленія войны Германіи Гэдъ, дѣйствительно, написалъ страстную статью, приглашая своихъ соотечественниковъ не отвлекаться отъ борьбы съ правительствомъ вѣнѣніей диверсіей, а низвергнуть имперію.

За это онъ былъ приговоренъ судомъ къ 6-мѣсячному заключенію. Замѣна бонапартистскаго режима третьей республикой открыла Гэду двери тюрьмы до окончанія срока. Но жаркая защита имъ парижской коммуны и попытка втянуть населеніе юга въ борьбу противъ версальского правительства во имя коммунальной автономіи вызвали серьезная репрессии центральной власти. И за тѣ самыя статьи, которыя послужили Баллю предлогомъ выйти изъ редакціи «*Les Droits de l'Homme*», Гэдъ былъ осужденъ на 5 лѣтъ тюрьмы.

Онъ рѣшается пробыть весь этотъ срокъ за границей, чтобы получить такимъ образомъ возможность потомъ свободно вернуться во Францію (согласно юридической давности за преступленія этого рода). И вотъ въ 1871 г. Гэдъ появляется въ Швейцаріи, поселяется въ Женевѣ и уходитъ съ головой въ политическую агитацию. Съ одной стороны, онъ печатаетъ искусно составленную „Кровавую книгу деревенщіцкой юстиціи, или документы по исторіи республики безъ республиканцевъ“ (*Le livre rouge de la justice rurale. Documents pour servir a l'histoire d'une République sans républicains*), сборникъ цитатъ, извлеченныхъ исключительно изъ реакціонныхъ французскихъ и иностранныхъ газетъ, и, однако, ярко рисующихъ жестокость подавленія, пущенного въ ходъ „деревенщиками“ национальнымъ собраниемъ. Съ другой стороны, онъ вступаетъ членомъ въ интернационалъ и основываетъ одну секцію, примыкающу къ этому обществу. То была эпоха, когда доживавшій свой вѣкъ старый интернационалъ раздирался ожесточенной борьбой между бакунистами, стоявшими за автономію и федерацію секцій, и между марксистами, защищавшими начало дисциплины и централизациі. Гэдъ не сталъ собственно ни на ту, ни на другую сторону, хотя его симпатіи шли въ это время, несомнѣнно, къ анархическому идеалу организаціи. Такъ, въ ноябрѣ 1871 г. онъ участвовалъ въ качествѣ делегата отъ своей секціи на конгрессѣ въ Сонвиллье (Sonvillier—небольшой центръ часового производства въ Бернскомъ кантонѣ), былъ однимъ изъ двухъ секретарей этого конгресса, на которомъ было рѣшено основать такъ называемую юрскую федерацію, и подписалъ, вѣстѣ съ другими делегатами, „Циркуляръ ко всѣмъ федераціямъ Международного Общества рабочихъ“, циркуляръ, заканчивавшійся слѣдующими словами:

„Интернациональ, этотъ зародышъ будущаго человѣческаго общежитія, уже отнынѣ долженъ служить вѣрнымъ отраженіемъ нашихъ принциповъ свободы и федераціи и выбросить изъ своихъ нѣдръ всякий принципъ тяготѣнія къ авторитету и диктатурѣ“ *).

Съ другой стороны, Гэдъ вмѣстѣ со своею секціей высказался

*) Цитировано въ полемической анархистской брошюре: Emile Pouget, *Variations Guesdistes recueillies et annotées*; Парижъ (1897 г.), стр. 7.

за верховную власть интернаціонала, представляемаго общимъ конгрессомъ, т. е., значитъ, допустилъ начало управлениі большинствомъ, и лишь упрекалъ генеральный совѣтъ интернаціонала въ томъ, что онъ мѣшаетъ рабочимъ

организоваться въ каждой странѣ свободно и по собственной иниціативѣ (spontanément), согласно ихъ особенностямъ характера и свойственнымъ имъ привычкамъ *).

Нѣсколько лѣтъ спустя, по возвращеніи во Францію, Гэдъ останется по прежнему апостоломъ активнаго міровоззрѣнія труда. Но иронія судьбы угодно будетъ, оставивъ ему эту революціонность взглядовъ, превратить его къ тому времени въ пламен-наго проповѣдника идей, значительно приближившихся къ марксистскимъ, а вскорѣ заставить его сойтись съ самимъ Марк-сомъ, его зятемъ Лангаромъ,—словомъ, его бывшими врагами и стать однимъ изъ самыхъ главныхъ, если не самымъ главнымъ проповѣдникомъ французскаго марксизма. Какъ совершился въ Гэдѣ этотъ переворотъ? На этотъ счетъ были высказаны два мнѣнія. Одно изъ нихъ утверждается, что Гэдъ лишь по возвращеніи во Францію сталъ марксистомъ подъ вліяніемъ начавшихъ къ тому времени распространяться вдѣсь идей автора „Капитала“. Другое,—мнѣніе его ближайшихъ учениковъ и поклонниковъ,—что, что Гэдъ ко второй половинѣ 70-хъ годовъ уже самъ додумался до теоріи „исторического материализма“, и что изученіе Маркса было въ большинствѣ случаевъ для него лишь подсобнымъ орудіемъ выработки въ деталяхъ уже вполнѣ сложившагося въ общихъ чертахъ міросозерцанія. Насколько мнѣ приходилось слышать отъ лицъ, хорошо знакомыхъ съ идеейной эволюціей Гэда, истина лежитъ, какъ то часто бываетъ, посрединѣ между двумя только что упомянутыми мнѣніями, хотя ближе къ послѣднему, которое нуждается лишь въ извѣстной поправкѣ, чтобы совѣтъ совѣтъ съ дѣйствительнымъ ходомъ умственного процесса, приведшаго Гэда къ марксизму.

Прежде всего придется сказать, что въ міровоззрѣніи не только Гэда, но и значительнаго числа федералистически настроенныхъ членовъ интернаціонала мысль о преобладающемъ значеніи экономическихъ отношеній въ общественной структурѣ пользовалась большой популярностью. Напомню лишь мотивировку тре-

*) См. письмо Гэда отъ 22-го сентября 1872 г. въ извѣстной брошюре Генерального совѣта: *L'alliance de la démocratie socialiste et l'Association internationale des Travailleurs*; Лондонъ—Гамбургъ, 1873, стр. 50.—Брошюра эта, третириующая Гэда чуть не какъ шпиона Версальскаго правительства (стр. 51), инспирирована Марксовъ и написана Полемъ Лафаргомъ на основаніи документовъ, собранныхъ отчасти (для Россіи и Швейцаріи) Николаемъ Утинымъ.

бованій, служащую введеніемъ къ уставу самаго общества (осно-
ванного 28-го сентября 1864 г.).

Принимая во внимание:

Что освобождение рабочаго класса должно быть завоевано самимъ рабо-
чимъ классомъ.

Что борьба за освобождение рабочаго класса не есть борьба за классо-
вая привилегіи и монополіи, но за равныя права и обязанности и за уничтоже-
ніе всякаго классового господства.

Что экономическое порабощеніе рабочаго собственникомъ орудій труда,
т. е. самыхъ источниковъ жизни, лежить въ основаніи всѣхъ формъ гнета,—
общественной нищеты, умственного прозябанія и политической зависимости.

Что экономическое освобождение рабочаго класса является поэтому вели-
кой цѣлью, которой всякое политическое движение должно быть подчинено,
какъ средство, и т. д. *).

Съ этой мотивировкою, хотя и носившой сильный отпечатокъ
взглядовъ Маркса,—который, какъ известно, былъ самымъ глав-
нымъ изъ основателей интернационала,—съ этой мотивировкою
были согласны почти всѣ члены общества, не исключая и анар-
хистовъ. У послѣднихъ формулировка экономического освобож-
дения, какъ цѣли, и политического движения, какъ подчиненнаго
средства, вела даже къ роковому недоразумѣнію: они совсѣмъ
отрицали всякую собственно такъ называемую политическую дѣя-
тельность, если только не разумѣть подъ нею фантастического
требованія немедленно же разрушить государство. Но, повторя-
емъ, центральная роль отношеній производства въ человѣче-
скомъ обществѣ признавалась въ это время значительнымъ боль-
шинствомъ соціалистовъ. Сами послѣдователи Прудона, слѣдя
своему учителю, считали необходимымъ условиемъ возвращенія
„анархіи“ „раствореніе правительства въ экономическомъ орга-
низмѣ“ **),—процессъ, который, несомнѣнно, предполагаетъ при-
знаніе экономики основнымъ общественнымъ факторомъ.

Съ другой стороны, прудонизмъ не былъ такъ далекъ и отъ
теоріи борьбы классовъ, составляющей суть ученія Маркса, какъ
это, напр., зачастую приходится слышать отъ крайнихъ марксис-
товъ, не дающихъ себѣ порою даже труда освѣжить въ памяти
сочиненія Прудона. Читайте хотя бы его посмертный трудъ о
„политической правоспособности рабочихъ классовъ“, где авторъ,
оцѣнивая знаменитый въ свое время „Манифестъ шестидесяті“
парижскихъ рабочихъ, вполнѣ одобряетъ ихъ тактику высту-
пать на выборахъ отдельнымъ классомъ и, по обыкновенію

*) Цитирую по подробному нѣмецкому тексту, приводимому въ статьѣ „Internationale Arbeiter—Association“ словаря: Carl Stegmann und C. Hugo, *Handbuch des Socialismus*; Цюрихъ, 1897, стр. 341.

**) Весь седьмой этюдъ, напр., въ прудоновской „общей идеѣ о револю-
ціи въ XIX-мъ вѣкѣ“ занятъ доказательствомъ этой мысли. См. P. J. Proud-
hon, *Idée g n rale de la R volution au XIX-e si cle*; Paris, 1851, стр. 277—333.

страстно и энергично, доказываетъ дѣленіе современаго общества на два класса. Зло иронизируя насть затасканной либеральными буржуа фразой „съ 1789 г. у насть нѣть больше классовъ“, Прудонъ бросаетъ имъ въ лицо рядъ негодующихъ вопросовъ:

Какъ! значить, неправда, что, не смотря на революцію 1789 г. или скопье благодаря самому факту этой революціи, французское общество, прежде состоявшее изъ трехъ касть, оказалось, послѣ ночи 4 августа, раздѣленнымъ на два класса, одинъ изъ которыхъ живеть исключительно своимъ трудомъ... а другой живеть иною вещью, чѣмъ трудъ, даже когда и работаетъ, живеть доходомъ отъ своей собственности и капиталовъ, арендами, пенсіями, воспособленіями, акціями, окладами, почестями и прибылями? Неправда, что съ точки зрењія этого распределенія капиталовъ, работъ, привилегій и продуктовъ, среди насть существуютъ, какъ и прежде, но уже совсѣмъ въ другомъ масштабѣ, двѣ категоріи гражданъ, называющіяся въ просторѣїи *буржуазіей и чернью, капитализмомъ и именемъ труда?* Неправда, что эти двѣ категоріи людей, нѣкогда соединенные и почти слитыя феодальными узами патроната, въ настоящее время раздѣлены глубокою пропастью и не имѣютъ другихъ отношеній между собою, кромѣ тѣхъ, которые опредѣляются... статьями гражданскаго кодекса, касающимися *договора о наймѣ труда?* Но, вѣдь вся наша политика, вся наша общественная экономія, наша промышленная организація, наша современная исторія, наконецъ, сама литература покоятся на этомъ неизбѣжномъ различіи, отрицать которое въ состояніи лишь недобросовѣстность и глупое лицемѣріе *).

Не забудемъ, что Прудонъ очень ясно говорить вмѣстѣ съ тѣмъ о „сознаніи“, о „кооперативномъ сознаніи“, которое долженъ выработать и уже вырабатываетъ рабочій классъ, отграничиваая себя отъ буржуазіи и противополагаясь ей. Такимъ образомъ, и значеніе экономики, и значеніе классовой борьбы были далеко не чужды, вслѣдъ за Прудономъ, пониманію федералистически и даже прѣмѣа анархически настроенныхъ членовъ интернационала, въ рядахъ которыхъ Гэдъ игралъ, какъ мы видѣли, немаловажную роль. Для дальнѣйшей эволюціи его взглядовъ въ направленіи къ марксизму нужно было углубленіе и заостреніе двухъ упомянутыхъ элементовъ его міровоззрѣнія. Гэду надо было именно обнажить эти оба главные корни, которыми держалось оно, освободить ихъ отъ прикрывавшей ихъ у Прудона и учениковъ послѣдняго сильной идеалистической растительности, высоко поднимавшейся надъ „экономическимъ организмомъ“ въ видѣ понятій о „правѣ“, „справедливости“ и т. п. нравственныхъ категорій, возбуждавшихъ по большой части желчный смѣхъ Маркса. Гэду приходилось придать классовой борьбѣ пролетариата противъ буржуазіи (какъ и вообще классовой борьбѣ въ исторіи человѣчества) значеніе основной пружины общественной эволюціи, подчеркивая при томъ исключительную важность экономического содержанія этой борьбы. Гэду, наконецъ, надо было

*) R. J. Proudhon, *De la capacit  politique des classes ouvri res*: Парижъ, 1865, 2-е изд., стр. 62—63.

порвать съ „мутуалистскими“ предразсудками Прудона, который думалъ решить великий вопросъ современности частными экономическими „договорами“ (*contrats*) между производителями. Было надо было, вмѣсто этого, выдвинуть въ видѣ решенія широкую политическую борьбу угнетенныхъ классовъ противъ угнетающихъ, борьбу, ведущую, въ концѣ концовъ, къ захвату политической же власти пролетариатомъ.

Здѣсь я оставляю въ сторонѣ вопросъ, насколько удачно мировоззрѣніе Маркса отвѣтствуетъ на всѣ теоретическія и практическія задачи нашего времени. Объ этомъ я разсчитываю поговорить съ читателемъ въ специальныхъ статьяхъ *). На сей же разъ я стараюсь уяснить эволюцію Гэда. И съ этой частной точки зрѣнія мнѣ приходится констатировать, что процессъ упрощенія и обнаженія основныхъ факторовъ общества, въ духѣ теорій Маркса, былъ, повидимому, продѣланъ Гэдомъ до нѣкоторой степени самостоятельно. Ближайшіе ученики и послѣдователи Гэда не разъ говорили, что къ тому времени, когда появилось въ свѣтѣ французское, просмотрѣнное и дополненное самимъ Марксомъ изданіе первого тома „Капитала“ (оно выходило сначала выпусками и былопущено книгой въ концѣ апрѣля 1875 г.), Гэдъ настолько уже близко подошелъ самъ собою въ общихъ чертахъ къ теоріи „исторического материализма“, что чуть не на каждой страницѣ изучаемаго имъ труда восклицалъ: „я думалъ почти такъ же!..“ Съ другой стороны, дальнѣйшее уясненіе новой доктрины и приложеніе ея къ деталямъ произошли, какъ кажется, для Гэда лишь нѣсколькими годами позже и подъ влияніемъ личнаго знакомства съ Марксомъ и его зятемъ Полемъ Лафаргомъ. Лица, близко изучавшія идеиную эволюцію Гэда, отмѣчали въ его статьяхъ и рѣчахъ еще довольно долго нѣкоторыя отступленія отъ взглядовъ Маркса. Такъ, Гэдъ сравнительно поздно сохранилъ еще вѣру въ „желѣзный законъ“ Лассала. Такъ сравнительно поздно онъ относился еще крайне отрицательно къ кооперативному движению рабочихъ, въ которомъ самъ Марксъ не видѣлъ, конечно, решенія соціального вопроса, но которое онъ считалъ тѣмъ не менѣе естественнымъ продуктомъ жизни пролетариата на извѣстной ступени его развитія и подготовительной стадіи для вовлеченія рабочихъ въ сознательную классовую борьбу на политической почвѣ.

Можно было бы, пожалуй, указать еще на одну особенность марксизма Гэда: французский агитаторъ любить давать такую заостренную формулировку взгляду своего учителя, что они принимаютъ у него порою видъ крикливаго парадокса. Не Гэдъ ли провозгласилъ, что французская рабочая партія есть исключи-

*) Я надѣюсь въ будущемъ году дать нѣсколько „Соціологическихъ очерковъ“, посвященныхъ отчасти этому вопросу.

тельно „партия брюха“ (*le parti du ventre*) и что она даже именно и „гордится“ этимъ? *) Не Гэдъ ли свелъ всю историю человѣчества на question du ventre et du sous-ventre? Но для справедливой оцѣнки главы французского марксизма не надо забывать,—говорять намъ наиболѣе выдающіеся и самостоятельные ученики Гэда,—что парадоксальность этихъ формулъ есть въ значительной степени умышленная; что это—тотъ пистолетный выстрѣлъ, который вы дѣлаете на воздухъ, чтобы привлечь вниманіе черезчуръ равнодушныхъ прохожихъ. А въ такомъ положеніи именно и находилась въ началѣ своего существованія партия, вскорѣ получившая название „гэдистовъ“. Другой вопросъ, не находились ли между послѣдователями Гэда люди, которые принимали въ серьезъ боевой кличъ за цѣлое міровоззрѣніе и, дѣйствительно, укладывали все разнообразіе человѣческой психологіи въ брюшную полость. Марксъ любилъ говорить: „ну, ужъ я-то не марксистъ“. Прудонъ, когда ему рассказывали о нѣкоторыхъ подвигахъ его черезчуръ прямолинейныхъ учениковъ, восклицалъ: „прудонисты, это—дураки“ (*les prudhonistes, ce sont des imbéciles!*). Позволительно думать, что таія же восклицанія долженъ порою подавлять Гэдъ, который, какъ увѣряютъ его близкіе друзья, умѣеть различать между соціологическимъ міросозерцаніемъ и политическими, по необходимости краткимъ и рѣзкимъ лозунгомъ...

Во всякомъ случаѣ возвращеніе Гэда во Францію, въ августѣ 1876 г., дало выдающагося во всѣхъ отношеніяхъ главу небольшой пока группѣ лицъ, которая въ то время работали надъ созданиемъ партии, получившей скоро название „коллективистовъ“, а затѣмъ, послѣ внутреннихъ распри, расколовъ и выдѣленій, кличку „гэдистовъ“. Какъ ни тѣсно, впрочемъ, связана политическая карьера Гэда съ исторіей этой партии, въ настоящемъ этюдѣ намъ приходится касаться гораздо больше того, что относится къ самому Гэду, чѣмъ того, что входитъ въ эволюцію партии, которая была уже, кромѣ того, изображена мною **). Въ то время, какъ французские рабочіе, послѣ страшного кровопусканія коммуны, становились на путь профессіонального и чисто мирнаго движения (такъ называемаго „барберэттизма“, по имени Барбера, работавшаго надъ возсозданіемъ синдикатовъ), Гэдъ сейчасъ же по прибытии во Францію обращается къ родственнымъ ему по революціонному духу студентамъ политического кружка, собиравшагося въ кафе Суффло на Сен-Мишельскомъ бульварѣ и включавшаго въ себѣ лишь очень небольшое число сознательныхъ пролетаріевъ. Между этими членами кружка наиболѣе выдавался

*) *Le Citoyen de Paris* (газета); № отъ 22 июля 1881 г.

**) См. мою книгу „Очерки современной Франціи“; С.-Петербургъ, 1904. 2-е изд., стр. 226 и слѣд. и стр. 575 и слѣд.

Габріэль Девилль (теперешній міністерський соціалістъ и другъ Жореса). Съ нимъ и съ Полемъ Лафаргомъ, находившимся пока въ изгнаніи въ Лондонѣ, Гэдъ и долженъ былъ образовать вскорѣ „гэдистскую троицу“, какъ называли ихъ враги, или „трехъ мушкетеровъ колективизма“, какъ любовно величали ихъ первые адепты партіи.

Капризу судьбы угодно было познакомить Гэда съ кружкомъ Суффло при посредствѣ уже знакомаго читателю Ива Гюйо, введшаго, кромѣ того, Гэда въ редакцію газеты „Les Droits de l'Homme“, которая напоминала своимъ названіемъ прежній органъ Гэда и издавалась на деньги знаменитаго шоколадчика, філантропа и радикала, Эмиля Менье. Статьи Гэда, выговорившаго себѣ „независимость“, носили рѣзко соціалистической и революціонный характеръ и скоро создали ему известность среди мало-численныхъ въ то время крайнихъ элементовъ, между которыми Гэдъ началъ энергичную устную пропаганду и которые онъ скоро преобразовалъ въ ядро будущей партіи. Въ этой пропагандѣ ему помогалъ иностранецъ, а именно одинъ немецъ, который прекрасно зналъ сочиненія Маркса и Лассала и имя которого до сихъ поръ не принято разглашать въ революціонныхъ и соціалистическихъ кругахъ Франціи. По запрещенію „Les Droits de l'Homme“, Гэдъ перешелъ вмѣстѣ съ секретаремъ редакціи, Сигизундомъ Лакруа, въ вновь основанную газету „Le Radical“, которая была въ свою очередь закрыта реакціоннымъ міністерствомъ Фурту, выросшимъ изъ макъ-магоновскаго coup d'Etat 16 мая 1877 г. и не стѣснявшися законами о печати. Тогда Гэдъ, при сотрудничествѣ Девилля, Эмиля Массара (теперешняго націоналиста и редактора шовинистской „La Patrie“), Жербье (Жирара) и еще одного двухъ лицъ, рѣшилъ издавать свою, чисто соціалистическую газету „L'Égalité“. Она ставила себѣ задачу быть теоретическимъ и практическимъ органомъ „коллективизма“. Такъ стали къ этому времени называть свое міровоззрѣніе ученики Маркса во Франціи, заимствуя этотъ терминъ у анархистовъ, чтобы замѣнить имъ прежнее название „коммунизма“. Тогда какъ анархисты стали предпочитать этотъ послѣдній терминъ для обозначенія своего ученія, оставляя имя „коллективистовъ“ авторитарнымъ коммунистамъ. Впрочемъ, въ это время анархистовъ-коммунистовъ и коллективистовъ сближало еще ихъ революціонное настроение; и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ обѣ эти фракціи будутъ бороться вмѣстѣ противъ умѣренныхъ синдикалистовъ и защитниковъ частной собственности (мелкой), основанной на труде *).

*) Вотъ что разсказываетъ, напр., обѣ этой эпохѣ одинъ изъ самыхъ видныхъ впослѣдствіи теоретиковъ анархизма: „Здѣсь (въ Парижѣ) начиналось возрожденіе рабочаго движенія, послѣ суроваго подавленія коммуны. Съ итальянцемъ Костой и немногими друзьями-анархистами, которые у

Какъ-бы то ни было, послѣ различныхъ препятствій, недостатка средствъ и т. п., — первый номеръ еженедѣльной газеты Гэда появился 18 ноября 1877 г. въ городѣ Мо (Меаix), въ 45 километрахъ оть Парижа: печатать въ столицѣ приходилось потому, что, по тогдашнимъ законамъ, отъ издателей periodическихъ органовъ требовался залогъ, равнявшійся 12.000 фр. въ Парижѣ и 4.000 фр. въ провинціи. Въ этомъ первомъ номерѣ „L'Egalite“ Гэдъ съ товарищами гордо развертывалъ знамя французского колективизма, сближая его съ общимъ направлениемъ наиболѣе передовой соціалистической мысли.

Однако, первоначально идеи колективизма или „научного соціализма“, которые носили слишкомъ абстрактный и математический характеръ для французской публики, привыкшей къ своему идеалистическому соціализму, распространялись, да и то довольно туго, лишь среди интеллигентіи. Рабочіе по прежнему тянули къ професіональной и мирной организації. И принципіальное отрицаніе частной собственности,—какъ-то еще было замѣтно во времена интернаціонала,—не находило пока значительного числа приверженцевъ среди французского пролетаріата. Къ половинѣ 1878 г. Гэду удалось, однако, привлечь на свою сторону шесть рабочихъ корпорацій Парижа: механиковъ, столяровъ, портныхъ, сыромятниковъ, слесарей и приказчиковъ (*employés de commerce*), равно какъ потребительное товарищество *L'Egalitaire* (корпораціи столяровъ, портныхъ и приказчиковъ были съ тѣхъ поръ, по крайней мѣрѣ, въ теченіе 10 лѣтъ, приблизительно до половины 80-хъ годовъ, наиболѣе передовыми элементами революционно настроенныхъ массъ *).

Первый большой успѣхъ на долю Гэда выпалъ по поводу запрещенія рабочаго конгресса правительствомъ во время всемирной парижской выставки 1878 г. Дѣло было такъ. Два первые рабочіе конгресса Франціи, парижскій (1876 г.) и ліонскій (1878 г.), исходили оть упомянутыхъ уже выше мирныхъ синдикалистовъ. Но второй изъ этихъ конгрессовъ, продолжавшійся оть 28-го января по 8-е февраля 1878 г., поручилъ парижскимъ синдикальнымъ палатамъ устроить въ виду открывавшейся выставки интернаціональный рабочій конгрессъ. Этотъ конгрессъ былъ уже объявленъ въ газетахъ и назначенъ на начало сентября, какъ вдругъ комиссія, которой было поручено организовать его, получила неожиданно (31-го іюля) оть полицейской

нась были между парижскими рабочими, а также съ Жюлемъ Гэдомъ и его коллегами, не представлявшими еще въ то время строгихъ соціаль-демократовъ, мы основали (*started*) первыя соціалистическія группы” (P. Kropotkin, *Memoirs of a Revolutionist*; Лондонъ, 1899, т. II, стр. 214).

* Ср. Merméïch, *La France socialiste. Notes d'histoire contemporaine*; Парижъ, 1886, стр. 91 и прим. 1.

префектуры извѣщеніе, что конгрессъ запрещенъ: такъ „республика безъ республиканцевъ“ въ лицѣ кабинета Дюфора понимала свободу мирныхъ синдикалистовъ четвертаго сословія. Комиссія покорно прекратила свою дѣятельность. Но тогда выступили на сцену пламенный Гэдъ и его товарищи. Они подняли брошенную правительствомъ перчатку и заявили, что теперь уже они, колективисты, позаботятся объ устройствѣ конгресса, который они и назначили на 5-е сентября въ частномъ помѣщеніи мальяра-позитивиста, носившаго довольно курьезное имя Финанса. Конгрессисты нашли двери помѣщенія охраняемыми полиціей, вступили въ столкновеніе съ ней, были арестованы и преданы суду.

Этого только и надо было Гэду. Передъ трибуналомъ 10-ой палаты онъ произнесъ защитительную рѣчь отъ всѣхъ обвиняемыхъ. И эта рѣчь, „представлявшая собою чудо искусства и сверкавшая ослѣпительной ироніей“, — по выражению одного крайне не любящаго Гэда буржуазнаго автора, — „нашла такой гигантскій откликъ, какого, конечно, не имѣлъ бы самый блестящій конгрессъ“ *). Вотъ какъ резюмируетъ эту рѣчь на основаніи брошюры партіи добросовѣстнаго историка соціального движенія во Франціи, уже цитированный выше Жоржъ Вейль:

Правительство ясно показало, что между буржуа и пролетаріями нѣтъ равенства; запретили единственно лишь рабочій конгрессъ, тогда какъ „всѣ разновидности капиталистической Франціи“ могли свободно собираться на своихъ международныхъ конгрессахъ. Итакъ, мы установили уже одинъ безспорный пунктъ: „мы знаемъ, теперь, что равенство, не говорю уже экономическое, не говорю уже политическое, но просто таки гражданское, которое буржуазія не переставала выдавать намъ за самое драгоценное завоеваніе своего 89-года, не переступаетъ границъ имущаго и правящаго класса“. Очевидно, правительству хотѣлось нанести ударъ революціонному соціализму: посмотримъ же, чего онъ требуетъ. Онъ хочетъ рабочаго 89-го года: все, что третье сословіе говорило въ XVIII-мъ столѣтіи, то четвертое сословіе можетъ сказать теперь; нынѣ, какъ и тогда, существуютъ привилегіи между личностями, классами, профессіями. Соціалисты обвиняютъ въ томъ, что они подрываютъ семью, собственность, религию. Наоборотъ, они хотятъ освободить семью отъ гнета: не они запираютъ женщину и ребенка на фабрикахъ, не противъ нихъ пришлоось издать законъ 1874-го года (ораторъ имѣть въ виду „законъ о работахъ на фабрикахъ дѣтей и несовершеннолѣтнихъ дѣвушекъ“ отъ 19-го мая 1874 г. Н. К.). Они хотятъ уничтожить собственность, распространяя ее на всѣхъ, какъ въ 1848 г. была уничтожена привилегированная подача голосовъ, какъ въ 1872 г. на всѣхъ была распространена воинская повинность. Что касается до религіи, то соціалисты, дѣйствительно, отбрасываютъ ее и провозглашаютъ атеизмъ **).

Организаторы конгресса были присуждены къ тюремному заключенію. Но защитительная рѣчь Гэда, презрѣтившаяся въ обви-

*) Léon de Seilhac, *L'évolution du parti syndical en France*; Парижъ, 1899, стр. 11.

**) Georges Weill, 1. с., стр. 216—217.

нительный актъ противъ „современного феодального общества“, читалась въ парижскихъ мастерскихъ. Имя и программа колективизма впервые становились теперь известными широкимъ кругамъ рабочихъ. Активное социалистическое міровоззрѣніе изъ чисто интеллигентныхъ сферъ проникало въ пролетариатъ и здѣсь мало по малу побѣждало мутуалисткіе и кооперативные предразсудки, внушавшіе рабочимъ мысль о возможности рѣшить соціальный вопросъ чисто профессиональнымъ путемъ, помимо политической борьбы. Отныне Гэдъ, воздерживавшійся до сихъ поръ отъ широкой агитации въ рабочихъ массахъ, считаетъ пролетариатъ достаточно заинтересованнымъ въ новой доктринѣ, чтобы вплотную приняться за распространеніе въ немъ своихъ взглядовъ. Собрания, публичные лекціи, брошюры слѣдуютъ одна за другой. Гэдъ берется за всевозможныя орудія агитации и не пренебрегаетъ никакимъ. Къ этому времени относится характерный эпитетъ, „Deus ex machina рабочаго движенія“, который счѣль нужнымъ приставить къ имени Гэда одинъ католический сборникъ.

Уже въ это время Гэдъ высказываетъ тотъ взглядъ на отношеніе рабочаго класса къ республиканской формѣ правленія, который будетъ руководить имъ въ теченіе всей его послѣдующей дѣятельности,—если исключить, конечно, череазчуръ далеко идущее заостреніе его въ моменты борьбы Гэда противъ жоресистовъ. А именно въ брошюре „Республика и стачки“ онъ показываетъ, что республиканскій строй является необходимымъ введеніемъ къ соціальной революціи; но что онъ еще вовсе не влечеть за собою экономического улучшенія массъ. И въ доказательство Гэдъ приводить посылку войскъ противъ стачечниковъ:

Откроеть ли, наконецъ, глаза французскій пролетариатъ, — патетически спрашиваетъ Гэдъ,—и пойметъ ли онъ, что долженъ разсчитывать только на себя? Начнетъ ли онъ, въ концѣ концовъ, организоваться соотвѣтственно этому въ особую партію (*en parti distinct*) на почвѣ республики, — это само собою понятно,—но вдали отъ республиканцевъ правящаго класса и противъ нихъ^{**}).

Въ той же брошюре Гэдъ дѣлаетъ крайне рѣзкую критику всеобщей подачи голосовъ, по крайней мѣрѣ, какъ она практиковалась рабочимъ классомъ въ то время:

Какими бы выборными властелинами ни являлись рабочіе, они могли путемъ всеобщей подачи голосовъ освободить страну отъ врага, возстановить финансы, кредитъ, границы и т. д. Но они же были безсильны не только укоротить хотя бы на одинъ часъ ту каторжную работу, на которую ихъ осуждаетъ наследственная экспроприація, лишившая ихъ всякаго капитала; безсильны не только увеличить на самую малость отмѣренную имъ въ формѣ заработной платы часть въ общемъ богатствѣ страны, котораго они и лишь они одни являются ежегодными производителями или воспроизводителями; но безсильны удержать, сохранить скучныя средства съ существованію, прі-

^{**) Jules Guesde, *La République et les grèves*; 1878 (цитировано у Вейля, стр. 221—222).}

обрѣтенный раньше. Какое надо другое болѣе разительное доказательство бесплодности, съ рабочей точки зрѣнія, той всеобщей подачи голосовъ, отъ которой большинство пролетаріевъ, еще одураченныхъ—увы!—радикальными софизмами, продолжаетъ упорно ждать своего постепенного и мирнаго освобожденія *).

Это какъ бы принципіальное отрицаніе всеобщей подачи голосовъ смягчается, впрочемъ, въ другой брошюре Гэда изъ той же эпохи „Коллективизмъ и революція“. Ибо, провозгласивъ въ ней необходимость отдать силу на служеніе праву, Гэдъ продолжаетъ: „что касается до этой силы, то возможно,—хотя ничто не позволяетъ на это надѣяться,—что то будетъ избирательный бюллетень, какъ возможно, что то будетъ ружье“ **).

Отношеніе къ всеобщей подачѣ голосовъ и вообще „легальности“ будетъ, впрочемъ, тѣмъ пунктомъ практическихъ взглядовъ Гэда, въ которомъ его враги и критики найдутъ наибольшее число „варіацій“; и ниже мы коснемся этихъ колебаній у человѣка, поражающаго въ общемъ своею послѣдовательностью и прямолинейностью. Во всякомъ случаѣ на рубежѣ 70-хъ и 80-хъ годовъ у Гэда преобладало рѣзко отрицательное отношеніе къ всеобщему вотуму. И его прежніе союзники-анархисты, ставшіе впослѣдствіи его неумолимыми врагами, злорадно цитируютъ его статьи, относящіяся къ тому времени и отмѣченныя почти анархическимъ пренебреженіемъ къ всеобщей подачѣ голосовъ. Вотъ, напр., что писалъ пламенный проповѣдникъ коллективизма въ своей газетѣ „L'Egalit “ по поводу открытия на Пэръ-Лашезскомъ кладбищѣ памятника Ледрю-Роллену, главному „организатору“ всеобщей подачи голосовъ во Франціи:

... Результатъ этого распространенія вотума на всѣхъ, не сопровождавшагося распространеніемъ на всѣхъ собственности, равнялся нулю,—да иначе и быть не могло.

Подъ предлогомъ, что избирательный бюллетень* удовлетворялъ и долженъ быть удовлетворять всему, ружье, право на ружье, было вычеркнуто изъ народнаго арсенала орудій; но какое же улучшеніе извлекла изъ этого бюллетеня трудящаяся масса за тридцать лѣтъ пользованія имъ?

Никакого!..

... Всеобщая подача голосовъ, которая имѣеть свое законное мѣсто въ обществѣ, основанномъ на строгомъ равенствѣ,—хотя тамъ, гдѣ наука станетъ достояніемъ всѣхъ, скрѣпе сама эта наука, чѣмъ простое число голосовъ, будетъ предписывать законы ***), всеобщая подача голосовъ отнюдь не является средствомъ осуществить это общество, которое возникнетъ лишь изъ борьбы.

*) Цитировано Пуже (*Variations guesdistes*, стр. 17).

**) *Collectivism et revolution*; 1897 (цитировано у Вейля, стр. 222).

***) Кстати, какъ близко эта мысль Гэда подходитъ къ взгляду столь нелюбимаго марксистами Огюста Конта, въ 1822 г. писавшаго въ своей „Системѣ положительной политики“: „Въ астрономіи, въ физикѣ, въ химії, даже въ физіологии нѣть свободы мнѣнія, такъ какъ всякий счѣль бы нелѣпымъ не довѣрять принципамъ, установленнымъ въ этихъ наукахъ компетентными людьми. Если дѣло иначе обстоитъ въ политикѣ, то лишь потому, что старые

И представляя всеобщую подачу голосовъ именно такимъ средствомъ для обездоленныхъ въ современномъ строѣ, заставляя ихъ принимать ее за якорь спасенія, Ледрю-Ролленъ причинилъ, можетъ быть, этимъ больше зла рабочему классу, чѣмъ даже тѣмъ кровопусканиемъ, которое онъ продѣлывалъ въ юньскіе дни при помощи пушекъ надъ самыми доблестными членами класса *).

За то мысль Гэда уже съ этихъ поръ сохраняла основные черты того міровоззрѣнія, которое связано съ именемъ „коллективизма“ и суть которого заключается въ указаніи на невозможность существенно улучшить современный строй отдельными мѣрами, не касаясь самыхъ основъ его. Такъ, въ своей брошюре о „Законѣ заработной платы и его послѣдствіяхъ“ Гэдъ (правда, очень преувеличивая абсолютное значеніе „желѣзного закона“) доказываетъ, что такъ какъ при настоящемъ режимѣ всякое повышение заработной платы влечетъ за собою, въ концѣ концовъ, повышение цѣны продуктовъ, а чисто бюджетная реформы вызываютъ ростъ налоговъ, то никакое частное улучшеніе строя, основаннаго на наемномъ труде, не можетъ имѣть серьезнаго значенія **). А въ своемъ „Опытѣ соціалистического катехизиса“ Гэдъ пытается обосновать ученіе коллективизма на психологическомъ анализѣ потребностей и способностей человѣка ***).

Окончательную формулировку взглядовъ Гэда надо, впрочемъ, искать не въ этихъ первыхъ его коллектистическихъ брошюрахъ, которые составляютъ библиографическую рѣдкость и не были переизданы,—фактъ, показывающій, что самъ авторъ не придавалъ имъ впослѣдствіи особой важности. Гэдъ становится вполнѣ на почву марксизма лишь съ того момента, когда въ промежуткѣ между марсельскимъ (20—31-го октября 1879 г.) и гаврскимъ (16—22-го ноября 1880 г.) рабочими конгрессами, знаменующими побѣду активнаго политическаго соціализма надъ кооперативнымъ и синдикальнымъ реформизмомъ, онъ вырабатывается, выѣтъ съ иѣкоторыми близкими товарищами, „программу рабочей партіи“. Планъ этой программы служилъ раньше предметомъ оживленной переписки между Гэдомъ и Полемъ Лафаргомъ, тогда жившимъ еще въ Лондонѣ, Полемъ Бруссомъ (прежнимъ товарищемъ Гэда по анархизму), къ тому времени переселившимся изъ Швейцаріи также въ Лондонъ, Бенуа Малономъ, остававшимся въ Швейцаріи и т. д. Для окончательной редакціи программы

принципы рухнули, новые еще не создались, и въ этотъ промежутокъ нѣть, собственно говоря, установившихся принциповъ*. Цитировано самимъ Контомъ въ его „Курсѣ положительной философіи“ (Auguste Comte, *Cours de philosophie positive*; Парижъ, 1869, 3-е изд., т. IV, прим. къ стр. 44—45).

**) *L'Égalité*, № 14 (отъ 2-го марта 1878).— Цитировано у Пуже, I. с., стр. 9—13, passim.

**) *La loi des salaires et ses conséquences*; написано въ 1878 г. и вышло въ свѣтъ въ 1881 г. (см. Вейль, стр. 222).

***) *Essai de catéchisme socialiste*, 1878 (*Ibid.*).

№ 1. Отдѣль. II.

Гэдъ пріѣхалъ въ маѣ мѣсяцѣ 1880 г. въ Лондонъ; и здѣсь этотъ историческій документъ былъ составленъ колективнымъ трудомъ пяти человѣкъ: Маркса, Энгельса, Лафарга, Ломбара и Гэда.

Отнынѣ, на почвѣ этой программы, Гэдъ ведеть еще болѣе энергичную и поистинѣ неустанную пропаганду, въ которой ему особенно помогаютъ Габріэль Девилль и возвратившійся во Францію по амнистії 10-го іюля 1880 г. Поль Лафаргъ, ставшій главнымъ теоретикомъ французскаго марксизма въ то время, какъ Гэдъ является практическимъ вождемъ и душою партіи. Гэдъ даль обѣщаніе „заставить французскихъ соціалистовъ проглотить ученіе Маркса по рукоятку“ и ревностно старался исполнить это обѣщаніе. Успѣхъ и неудачи агитациіи, равнодушіе и энтузіазмъ пропагандируемыхъ массъ, поддержка друзей и жестокія нападенія враговъ,—словомъ, ни Каны, ни Капуя не въ состояніи побѣдать упругость этого стального темперамента борца. За гаврскимъ конгрессомъ, гдѣ программа „рабочей партіи“ одержала побѣду надъ профессіональными требованиями синдикалистовъ, слѣдуетъ реймскій конгрессъ (30-го октября — 6-го ноября 1881 г.), на которомъ, наоборотъ, берутъ верхъ недавно примкнувшіе къ Гэду, но теперь ведущіе ожесточенную борьбу противъ его „диктатуры“ умѣренные элементы партіи подъ предводительствомъ Бруска и Молона. И Гэдъ оказывается въ незначительномъ меньшинствѣ, пока на слѣдующемъ, сэнт-этъєннскомъ, конгрессѣ (25 — 30-го сентября 1882 г.) не происходитъ, наконецъ, формального раскола партій на „брассистовъ“ и „гэдистовъ“, при чёмъ цѣлыхъ 82 делегата, принадлежащихъ къ первой фракціи, остаются продолжать засѣданія, тогда какъ Гэдъ съ 23 вѣрными товарищами уходитъ и организуетъ сейчасъ же свой конгрессъ, засѣдавшій въ сосѣднемъ Роанѣ съ 26-го сентября по 1-е октября. Вмѣстѣ съ тѣмъ Гэдъ ведеть все болѣе и болѣе ожесточенную войну съ анархистами, которые шли еще вмѣстѣ съ колективистами противъ сторонниковъ мирнаго синдикального движенія на гаврскомъ конгрессѣ, а теперь разорвали съ своими прежними союзниками, упрекая ихъ въ измѣнѣ и переходѣ въ лагерь „государственниковъ“. Наконецъ, Гэдъ открылъ настоящую кампанію противъ радикаловъ и энергично совѣтовалъ пролетаріямъ отмежевывать себя на политической почвѣ отъ буржуазной демократіи. Полемизируя съ радикальной партіей то въ снова появляющейся послѣ двукратнаго исчезновенія газетѣ „L'Egalit “, то въ газотѣ „Le Citoyen“, то на публичныхъ собрaniяхъ, Гэдъ неумолимо изобличаетъ пустоту и внутреннія противорѣчія соціальной части программы радикаловъ. Онъ заявляетъ, что даже „оппортунистскій гамбеттизмъ“, въ лицѣ депутата Мартена Надо, съ его проектами рабочаго законодательства, идетъ дальше навстрѣчу пролетаріату, чѣмъ радикальная крайняя лѣвая. И противъ тогдашняго вожака послѣдней, Клемансо, Гэдъ ведеть особенно энергичную кампанію,

вызывая его на публичное состязание по вопросу о социализме, на что вождь радикаловъ, находившійся тогда въ апогей своей популярности и крайне любимый своими избирателями, — лавочниками, ремесленниками и полусознательными рабочими, — очень нужнымъ отвѣтить высокомѣрнымъ молчаніемъ. Политические дѣятели тогдашней Франціи, вплоть до самыхъ крупныхъ и проницательныхъ, и не подозрѣвали, какъ видите, какую роль въ борьбѣ партій будетъ скоро играть социализмъ.

Приблизительно въ эту пору, а именно позднею осенью 1882 г., я впервые услышалъ Гэда на публичномъ собраниі, где онъ какъ разъ полемизировалъ съ радикальными ораторами второстепенной, впрочемъ, величины, и полемизировалъ крайне удачно. А вскорѣ, слѣдующую весну, я встрѣтился съ нимъ уже какъ съ частнымъ лицомъ у Поля Лафарга, куда я пришелъ съ рекомендательнымъ письмомъ отъ П. Л. Лаврова, чтобы получить нѣсколько біографическихъ свѣдѣній о только что умершемъ (14-го марта 1883) Маркѣ, о которомъ я написалъ для „Дѣла“ статью, погившую, подобно нѣсколькимъ другимъ, подъ ударами бдительной цензуры. Два мѣсяца спустя, мнѣ опять пришлось видѣть Гэда, и опять вмѣстѣ съ Лафаргомъ, но на сей разъ уже на казенной квартирѣ, въ нынѣ исчезнувшей „Святой Пелагеѣ“ (Sainte Pelagie), — тюрьмѣ, гдѣ „Восточный павильонъ“, получившій съ давнихъ поръ громкое название „Павильона Принцевъ“, служилъ мѣстомъ заключенія для лицъ, осужденныхъ за проступки „политического“ характера на срокъ не больше одного года. Дѣйствительно, везадолго передъ этимъ (25-го апреля 1883 г.) присяжные засѣдатели департамента Аллье признали Гэда и Лафарга виновными въ „непосредственномъ подстрекательствѣ рабочихъ къ совершенію революції“, и обруженный судъ приговорилъ ихъ къ шестимѣсячному заключенію. То былъ чисто тенденціозный процессъ, на которомъ жюри, состоявшее изъ запуганныхъ и заговоренныхъ прокуроромъ мирныхъ буржуа, сочло нужнымъ проявить строгость какъ разъ по отношенію къ тѣмъ лицамъ, которыхъ говорили, что ихъ такъ же мало можно считать за подстрекателей къ „совершенію революції“ — вытекавшей, моль, изъ самаго развитія капиталистического общества, — какъ буревѣстниковъ, предвѣщающихъ грозу, за „подстрекателей природы къ совершенію бури“.

Осужденные за такія „преступленія“ пользуются, однако, во Франціи привилегированнымъ тюремнымъ режимомъ; и съ утра до вечера посытители толпились въ довольно большихъ комнатахъ, которыхъ гостепріимная администрація предоставила въ „Павильонъ Принцевъ“ Гэду и Лафаргу. Здѣсь опять я видѣлъ Гэда не на трибунѣ, а въ частномъ разговорѣ, который главнымъ образомъ касался тогдашняго экономического и политического положенія

России. Я сопровождалъ при этомъ посѣщеніи узниковъ уже упомянутаго мною П. Л. Лаврова, бывшаго хорошоимъ знакомымъ Гэда, а особенно Лафарга. И настъ съ авторомъ „Исторіи мысли“ пришлось перевести вслухъ двумъ заключеннымъ довольно большие куски изъ только что появившейся тогда, кажется, въ „Дѣль“ рецензіи на помѣщеннуу передъ тѣмъ въ „Отечественныхъ запискахъ“ статью Лафарга о хлѣбной торговлѣ въ Соединенныхъ Штатахъ (я забылъ точное заглавіе этого этюда). Отсюда собесѣдникамъ было вполнѣ естественно перейти на сравненіе между русскими и американскими условиями. Меня поразило въ Гэдѣ умѣніе необыкновенно ясно, хотя и череачуръ однобоко, ставить вопросы и блестяще развивать свою точку зрѣнія, не забывая въ то же время нападать на оппонента. Знаніями, особенно же вопросу, выходившему изъ обычного круга его ідей, онъ, видимо, очень уступалъ Лафаргу. Но было крайне интересно наблюдать со стороны, съ какимъ мастерствомъ онъ пользовался тѣми ограниченными свѣдѣніями, которыми онъ располагалъ въ данномъ случаѣ. А ловкость, съ какой онъ билъ противнику челомъ да его же добромъ,—добромъ, пріобрѣтеннымъ, можетъ быть, всего за секунду при самомъ спорѣ,—вызывала у самихъ оппонентовъ невольную улыбку, порою же искренній смѣхъ...

Но я предпочитаю дать прежде всего двѣ-три характеристики Гэда, принадлежащія различнымъ и разносмотрѣющимъ на вещи людямъ; и уже потомъ нарисовать самому фізіономію этого выдающагося воожака партіи, который окончательно установилъ свое міровоззрѣніе въ первой половинѣ 80-хъ годовъ и впослѣдствії врядъ ли измѣнялъ его даже въ деталяхъ,—за исключеніемъ столь обычного всѣмъ людямъ перегибанія палки въ другую сторону подъ вліяніемъ борьбы съ противниками. Портреты Гэда, съ которыми сейчасъ познакомится читатель, относятся именно къ этой первой половинѣ 80-хъ годовъ, когда Гэдѣ, можетъ быть, всего рельефнѣе развивалъ и безъ того яркія особенности своего темперамента. Глава рабочей партіи поражаетъ до сихъ поръ своею жизненностью. Но наиболѣе полный расцвѣтъ его индивидуальности, какъ мнѣ кажется, падаетъ именно на 80-ые годы, когда Гэдѣ, въ возрастѣ 35—45 лѣтъ, извлекалъ изразительное количество „полезной работы“, какъ говорится въ механикѣ, изъ своей замѣчательно упругой фізіологической машины.

Вотъ, прежде всего, въ общемъ очень симпатично нарисованый портретъ Гэда, принадлежащий перу одного изъ посѣтителей его агитационныхъ публичныхъ лекцій и относящейся 1880 г.:

Гэдѣ носитъ длинные темнорусые волосы, длинную бороду того же цвѣта, что придаетъ ему видъ нѣмецкаго студента (я бы поставилъ скорѣе: русскаго. Н. К.); эта фізіономія дополняется пэнснѣ, которое Гэдѣ надѣваетъ на носъ, когда говоритъ... Его ясный и металлическій голосъ звучитъ какъ боевая труба, его краснорѣчіе увлекаетъ васъ; говоря, онъ жестикулируетъ и

заклоняется надъ трибуной, словно желая замагнитизировать свою аудиторію; его рѣчь отличается ясностью, научнымъ складомъ, поэтическимъ и образ-
нымъ языкомъ *).

Воть, съ другой стороны, короткая, но восторженная характеристика Гэда, сдѣланная въ одномъ изъ писемъ (отъ 18-го апраля 1881 г.) Лафарга, бывшаго тогда особенно близкимъ къ неутомимому политическому борцу:

Вы думали, что наша партія есть уже реальность и обладает сполна всѣми органами, руками и ногами, брюхомъ и головой: на самомъ дѣлѣ у нея есть лишь одна глотка, но за то такая, что стоить четырехъ.. Я не знаю никого во Франціи, кто равнялся бы Гэду. Больше, чѣмъ Лассаль, онъ—человѣкъ, способный создать партію. По уму онъ выше его; и если онъ ниже его по эрудиції, то, какъ агитаторъ, онъ равенъ ему, а съ точки зренія характера, между ними не можетъ быть и сравненія ни въ личномъ, ни въ общественномъ смыслѣ. Лассаль былъ глубоко испорченный человѣкъ (рошиг) **).

Воть еще подробный портретъ Гэда въ физическомъ и умственномъ отношеніяхъ, портретъ, не безъ таланта, но и не безъ злости къ оригиналу, набросанный буржуазнымъ репортёромъ, вымыркавшимъ изъ стороны въ сторону среди различныхъ партій Франціи:

Это человѣкъ, производящій впечатлѣніе. Его личность не грѣшитъ бахромистостью. Онъ не внушаетъ симпатіи. На него смотришь съ любопытствомъ, почти съ изумленіемъ. Онъ высокаго роста и чудовищно худъ. Его лицо отличается болѣзникою бѣлизною, которая выдѣляется еще больше, благодаря обрамляющимъ его очень чернымъ волосамъ и бородѣ. Жюль Гэль носятъ длинные волосы, это — мода въ его партіи: такая прическа еще увеличиваетъ странный характеръ его физіономіи.

Его глаза живо блестятъ за стеклами пэнснэ, въ глубинѣ рѣзко очерченныхъ надбровныхъ дугъ. Когда Гэль говоритъ, и говорить даже о безразличныхъ вещахъ, въ движенияхъ его губъ сквозить бѣшенство. Его ротъ исполненъ ярості. И ходить-то онъ прямо, какъ палка, порывисто двигая руками и ногами.

Надо видѣть Гэда на трибунѣ. Порою его рѣчь черезчуръ быстра, но сколько страсти онъ влагаетъ въ нее! Очень ясный и издалека слышный голосъ странно скрипитъ. Звукъ его не выходитъ изъ глубины груди и лишень низкихъ нотъ; онъ идетъ изъ головы, онъ высокъ и пронзителенъ. И вотъ этотъ-то ораторъ, несмотря на такие физические недостатки, внушаетъ почтение своей аудиторіи, онъ цѣлкомъ овладѣваетъ ею. Онъ никогда не обращается къ добрымъ чувствамъ собранія. Онъ не трогаетъ. Онъ—строгій діалектикъ, свирѣпый оскорбитель, язвительный человѣкъ, обладающій горькой ироніей. Въ рѣчи Гэда встрѣчаешь поразительные образы, слышишь крики настоящаго пароксизма страсти. Когда послушаешь, какъ Гэль обвиняетъ современное общество, то можно прямо подумать, что онъ защищаетъ свое личное дѣло, что, можетъ быть, сегодня же утромъ общество совершило по отношению къ нему какое-то ужасное преступление. Это—человѣкъ ненависти; онъ является какъ бы воплощеніемъ всѣхъ фурій соціального памятозлобія

*) Limusin, въ юльской книжкѣ журнала „La Revue du mouvement social“ за 1880 г. (цитировано у Вейля, стр. 212).

**) Цитировано у Сейльяка, *Les Congr es etc*, стр. 103.

и социальной зависти. И все онъ сразу ревутъ въ немъ. Трудно было бы найти актера, который больше Гэда вошелъ бы въ шкуру представляемаго имъ персонажа.

Мы не хотимъ сказать этимъ сравненiemъ, что Жюль Гэдъ играетъ комедию, что онъ самъ не убѣждень. Нѣть, припадки его гнѣва ничуть не фальшивы. Онъ ненавидитъ искренно и „отъ всего сердца“. Его натура—натаура апостола. Онъ проповѣдуєтъ вполнѣ искренно. Онъ вѣритъ. Его гордость не позволяетъ ему сомнѣваться въ себѣ.

Доктрину, которой онъ поучаетъ, онъ считаетъ своей собственной. Марксъ формулировалъ ее до него. Но онъ не зналъ еще трудовъ Маркса... а большинство идей, изложенныхъ тамъ, уже было выработано имъ самимъ. Онъ возникли въ его умѣ „путемъ исторического изученія трансформаций обществъ и путемъ наблюденія фактовъ современного общества“. Жюль Гэдъ долженъ, въ своемъ горделивомъ сознаніи, считать научный соціализмъ своимъ дѣтищемъ. Пусть другіе формулировали это ученіе до него: онъ не зналъ ихъ опредѣлений. Этотъ соціализмъ былъ порожденъ ими; но онъ былъ порожденъ и имъ. И вотъ эту-то свою собственную теорію, эту дочь своего мозга, которую онъ знаетъ лучше, чѣмъ кто бы то ни было во Франціи, по отношенію къ которой онъ является самымъ извѣстнымъ, самымъ авторитетнымъ популяризаторомъ въ нашей странѣ,—этую теорію онъ защищаетъ, этой теоріи онъ поучаетъ со страстью, не заключающей въ себѣ ничего дѣланаго. Онъ защищаетъ ее первомъ, какъ и словомъ.

Жюль Гэдъ писатель походитъ на Жюля Гэда оратора. Онъ старается быть очень яснымъ; онъ часто этого и достигаетъ, хотя порою его стиль загроможденъ сколастическими терминами. Но онъ дышетъ могучей рѣзкостью; но онъ часто выковываетъ новыя выраженія, которые полны энергіи; но онъ владѣеть ироніею, которая поистинѣ жжетъ. Въ спорѣ онъ обнаруживаетъ великолѣпную философскую недобросовѣтность. Онъ не отвѣчаетъ на возраженія. Онъ идетъ цѣликомъ впередъ, по прямой линіи дедукцій, выводимыхъ имъ изъ основнаго принципа. Онъ и не долженъ искать того, чтобы убѣдить спорящаго съ нимъ, ибо, вѣтъ всяко сомнѣнія, онъ думаетъ, что, подобно ему, всякий непоколебимо останется при своемъ мнѣніи (*chacun a son siège fait*). Онъ волнуется, дѣйствуетъ, говорить, пишетъ для индифферентныхъ пока людей, для публики, „для галлереи“. Онъ твердо знаетъ, что прозелиты вербуются лишь между профанами, что сторонниковъ пріобрѣтаешь себѣ только среди индифферентныхъ пока людей, и что настоящихъ противниковъ не обратишь въ свою вѣру.

Всѣ эти качества и недостатки образуютъ, вмѣстѣ взятые, человѣка, отличающагося странной оригинальностью. Подобно всѣмъ тѣмъ, кто обнаруживаетъ оригинальныя особенности, Гэдъ обладаетъ способностью привлекать людей *).

Наконецъ, вотъ въ заключеніе „моментальная фотографія“, снятая известнымъ репортеромъ Гюре съ Гэда 90-хъ годовъ, когда глава рабочей партіи вошелъ въ палату депутатовъ и насчитывалъ уже 50 лѣтъ отъ роду и четверть вѣка политической борбы:

...На Орлеанской улицѣ (avenue d'Orléans), въ верхней части монружского квартала, маленькая квартира на четвертомъ этажѣ; въ комнатѣ, служащей вмѣстѣ и спальней, и рабочимъ кабинетомъ, желѣзная кровать, покрытая газетами, брошюрами, документами, умывальный тазъ, величиной съ

*) Mennepieix, *La France socialiste etc.*, стр. 60—64.

большую чашку, полки съ нагроможденными какъ погало книгами, узкая конторка, заваленная бумагами, кресло и два стула.

Глава марксистской партии наружность напоминает Додэ, но Додэ, сбросившаго съ себя обычное обаяніе; голова учителя музыки, бѣгающаго по урокамъ фортельянной игры; черные, очень длинные волосы; борода библейскаго пророка, которую хотѣлось бы видѣть совершенно бѣлой. Пэнснэ на длинномъ носу, со шнуркомъ, который все цѣпляется за бороду.

Онъ самъ открылъ мнѣ дверь. Какъ только я назвалъ себя, онъ сей-часъ же вскричалъ, пропускай меня въ комнату:

— А, а! такъ это вы, м. г., вы открыли всемирную выставку буржуазной глупости (Гюре „интервьюроваль“ предъ тѣмъ много выдающихся лицъ изъ буржуазнаго лагеря по „социальному вопросу“ и печаталь ихъ отвѣты,— порою не безъ протеста съ ихъ стороны,—въ „Фигаро“. Н. К.).

Я защищаюсь, какъ могу, находя, можетъ быть, лишнимъ спорить о другой формулировкѣ, резюмирующей смыслъ первой части моей работы.

Мы сѣли....

Гдѣль во время разговора нѣсколько разъ поднимался съ своего кресла и дѣлалъ два шага, которые ему только и позволяла сдѣлать его крошечная комната. Онъ улыбался на мои возраженія и отвѣчалъ съ тою удивительною легкостью слова, съ тою ясностью, съ тою математическою точностью, которыя составляютъ все его краснорѣчіе...

...Гдѣль вскочилъ однимъ прыжкомъ съ кресла, пружины котораго затрещали, и, поправляя сбившееся пенснэ, воскликнулъ и т. д. *).

Я позволю теперь собрать въ одно, пересмотрѣть, взаимно провѣрить, ретушировать эти различные портреты Гѣда, дополнившися ихъ собственными наблюденіями и соображеніями, которыхъ касаются этого очень выдающагося человѣка и какъ общественнаго дѣятеля, и какъ частное лицо, оставляя, разумѣется, въ сторонѣ все то, что могло бы носить характеръ вторженія въ интимную жизнь.

Что поражаетъ особенно во внѣшнемъ видѣ Гѣда тѣхъ, кому приходилось видѣть его въ теченіе болѣе двухъ десятковъ лѣтъ и часто съ значительными промежутками, такъ это его способность мало измѣняться и сохранять ту самую столь типичную и популярную въ извѣстныхъ сферахъ физіономію, съ какой онъ появился передъ публикой, когда впервые остановилъ на себѣ вниманіе друзей и враговъ. Это все та же высокая, сухая фигура, съ длинными руками и ногами, которая сгибаются немного подревяному, словно на слегка заржавѣвшихъ шарнирахъ и угловатости которыхъ плохо скрываются небрежно одѣтымъ, то чрезчуръ мѣшковатымъ, то слишкомъ обтянутымъ костюмомъ. Это все тотъ же правильный, обыкновенно блѣдный, въ минуты волненія слегка разгорающійся овалъ лица съ рѣзко очерченными правильными чертами, съ эффектной рамкой черныхъ, лишь въ послѣднее время начавшихъ слегка сѣдѣть волосъ на головѣ и бородѣ. Это все тотъ же живой, блестящій взоръ слегка выпук-

*) Jules Huret, *Enquête sur la question sociale en Europe*; Парижъ, 1897 г., стр. 348, 357—358 и 359.

лыхъ близорукихъ глазъ, которые издали и за стеклами пэнснэ кажутся очень темными, а вблизи неожиданно поражаютъ васъ своимъ глубокимъ синимъ оттенкомъ. Это все то же слегка меланхолическое, но прежде всего саркастическое выражение лица, искривляющееся гримасой презрѣнія и ненависти при столкновеніи съ врагами. Это все толь же рѣзкій, высокій, скрипучій голосъ, переходящій мѣстами въ визгъ, почти свистъ и начинающій странно гнусавить, когда политическая страсть бросаетъ не прерывающимся градомъ колючія, ядовитыя слова въ лицо противника. Это всѣ тѣ же монотонные жесты фанатичнаго оратора, для котораго мысль—все, а вѣшнія украшенія ея, музыка рѣчи и болѣе или менѣе театральныя позы, ничто. Гдѣ ходить по трибунѣ быстрыми, угловатыми движеніями ногъ; и такія же быстрыя и угловатыя движенія рукъ, сводящіяся къ двумъ-тремъ обычнымъ тикамъ, подкрѣпляютъ или, лучше сказать, механически сопровождаютъ его аргументацію. То онъ, словно „продольный пильщик“,—какъ вырвалось однажды у меня при бѣглой характеристики Гѣда *)—поднимаетъ и опускаетъ свои руки. То онъ сгибается надъ самымъ обрывомъ трибуны, вытягиваетъ обѣ руки къ публикѣ, быстро-быстро шевелитъ длинными, тонкими пальцами, словно посылая электрическія искры своей нервной энергіи въ толпу слушателей, чтобы передать имъ свою мысль, свою страсть, свое убѣжденіе. То онъ слегка выпрямляется, поправляетъ свое старое, стальное, скачущее на носу пэнснэ, временно какъ бы успокаивается и, сгибая указательный и большой палецъ правой руки въ кольцо, начинаетъ методически отчекивать свои аргументы, съ тѣмъ, чтобы черезъ минуту уже снова начать ходить по трибунѣ, сгибаться надъней и продѣлывать свои магнитическіе „пассы“ надъ аудиторіей.

Эта общая неизмѣняемость вѣшній фигуры и манеръ Гѣда на разстояніи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, при подвижности и измѣнчивости его физиономіи и торопливости его жестовъ, въ каждый данный моментъ показываетъ рѣдкую силу и упругость нервной системы въ этомъ сравнительно слабомъ организмѣ. Гдѣ,— да простить мнѣ читатель это вульгарное, но очень мѣткое русское выраженіе,—„ѣдетъ не на лошади, а на кнутѣ“. Нужно, дѣйствительно, ожесточенно подхлестывать себя идеей, чтобы быть въ состояніи продѣлывать въ теченіе столькихъ лѣтъ и такія порою удивительныя „кампаніи“ агитатора, какія приходилось вести издавна чахоточному Гѣду. Друзья его, смеясь, говорили неоднократно, что лучшее средство вывести его изъ состоянія лихора дочнаго недомоганія, это—бросить его въ политическую агитацию. И, дѣйствительно, Гдѣ зачастую чувствовалъ себя лучше послѣ

*) „Очерки современной Франціи“, стр. 35.

бесконныхъ ночныхъ въ вагонѣ, — онъ ъздить въ третью классъ за исключениемъ того времени, когда былъ депутатомъ, имѣвшимъ право дарового проѣзда (собственно при извѣстномъ вычетѣ изъ жалованья) въ первомъ классѣ, — чувствовалъ, говорю, лучше послѣ ночи, проведенной на жесткой скамьѣ безъ сна, послѣ продолжительныхъ митинговъ въ низкопробныхъ концертныхъ залахъ грязныхъ рабочихъ центровъ ѿвера, послѣ бурныхъ вспѣданій жалаты, смѣнившихся для него участіемъ въ совѣщаніяхъ партийной организаціи. Можно даже сказать, что именно эта неустанная дѣятельность заглушаетъ у него ощущеніе постоянно грызущей его болѣзни и сознаніе, можетъ быть, очень скораго и очень быстрого конца.

Упомяну кстати, что, когда друзья устроили лѣтъ десять—дѣв'янадцать тому назадъ поѣздку Гэда на югъ для поправки его крайне разстроеннаго здоровья, изъ подъ цера агитатора, перенесенного въ необычную обстановку жизни въ одномъ изъ людныхъ курортовъ на лазурномъ побережжѣ Средиземного моря, вылилось удачное стихотвореніе: „Къ смерти“, отчасти въ духѣ Лукреція, отчасти подъ вліяніемъ собственнаго болѣзненнаго ощущенія импровизированаго поэта. Читатель сильно бы, впрочемъ, ошибся, если бы подумалъ, что упомянутые стихи исполнены нынѣ. Нѣтъ, смысль обращенія къ „смерти“ заключается въ материалистическомъ признаніи творческой роли великаго обмѣна веществъ, который кладетъ конецъ существованію однѣхъ жизней, чтобы на ихъ развалинахъ и изъ ихъ разсыпающагося материала создавать новыя. Авторъ лишь проводить разницу между двумя видами смерти: онъ обращается съ негодующими словами къ той смерти, которая поражаетъ молодое существо въ цвѣтѣ силъ, надеждъ и невыполненныхъ плановъ; и онъ призываетъ ту смерть, которая обрывается уже наполовину истѣвшую жить жизни человѣка, много работавшаго, сильно уставшаго въ процессѣ труда и борьбы и неспособнаго больше участвовать въ коллективной дѣятельности общества. Самъ Гэдъ въ этомъ стихотвореніи какъ бы вдвигаетъ себя въ ряды усталыхъ борцовъ, которыхъ пора уступить мѣсто свѣжимъ солдатамъ идеи...

Послѣдующая дѣятельность Гэда агитатора показываетъ, какъ ошибочно было внутреннее ощущеніе Гэда-поэта. Но мы упомянули объ этомъ стихотвореніи отчасти и потому, что оно показываетъ ту сторону личности вожака рабочей партіи, которую немногіе подозрѣваютъ и которая, затушевываясь другими особенностями Гэда, можетъ быть, однако, подмѣчена внимательными наблюдателями ораторскихъ и писательскихъ пріемовъ его. А именно Гэдъ — артистъ, какъ ни страннымъ можетъ показаться такое мнѣніе тѣмъ, кого вводить въ заблужденіе преобладающей дialectической и отвлеченный характеръ рѣчей и статей Гэда. Прежде всего надо замѣтить, что ни тѣ, ни другія не лишены яркихъ и

образныхъ выраженийъ. Но идеинный аскетъ французского марксизма, видимо, лишь отъ времена до времени позволяетъ себѣ вставить цѣлую метафору въ строгую и тугую—тугую ткань своей аргументаціи. На меня его рѣчи и статьи производятъ даже такое впечатлѣніе, какъ если бы онъ старался сдерживать естественное стремленіе къ образному, повидимому, легко дающемуся ему языку. Потому что, когда діалектическая страсть или политическая злоба достигаютъ у Гэда пароксизма, и онъ забываетъ о своей нелюбви къ „фразѣ“ и „сентиментальности“, — непріятно поражающихъ его у большинства прежнихъ французскихъ соціалистовъ,— съ его языка или изъ подъ его пера срываются рельефныя и сильныя метафоры, пронизывающія впечатлѣніе прежде всего своего точностью и, если можно такъ выразиться, плотностью. Это не тѣ обширныя, яркія фрески и декорации, проникнутыя широкимъ и поэтическимъ вдохновеніемъ, какія мы находимъ въ краснорѣчіи Жораса; не тѣ могучіе, хотя порою гипертрофированные и не всегда согласованные въ подробностяхъ образы, которые катить въ своемъ ритмическомъ теченіи ровно волнующійся періодъ этого оратора. Метафоры Гэда это словно вычененные на рукояткѣ шпаги рукою средневѣковаго мастера небольшіе, но крайне выразительные рисуки, блещущіе не красками, а энергией своихъ контуровъ, рѣзкостью своихъ выпуклостей и вогнутостей. Такія образныя фразы Гэда выливаются по большей части въ формулы, которыхъ могутъ не нравиться вамъ, могутъ порою приводить васъ въ прямое негодованіе, но которыхъ вы не въ состояніи отказать въ силѣ и опредѣленности. Правда, эти формулы превращаются иной разъ въ односторонній парадоксъ, но тѣмъ сильнѣе въ этомъ видѣ онъ запечатлѣвается въ умѣ друзей и враговъ—гэдовскаго міровоззрѣнія. Не Гэдомъ ли была произнесена фраза: „я принадлежу рабочей партіи не только вплоть до тюрьмы, но вплоть до тюремной стѣны, у которой разстрѣливаютъ инсургентовъ“? Не онъ ли восклинулъ въ порывѣ пессимизма, обращенного къ парламентарной дѣятельности: „прѣдоставимъ геморрондамъ господѣ буржуа скамьи палаты депутатовъ“? Не Гэдъ ли бросилъ во время дѣла Дрейфуса жесткую, нетактичную, но энергичную формулу дѣйствій, или лучше бездѣйствія рабочей партіи: „пролетаріатъ не имѣть права разсѣивать свое состраданіе на отдѣльныхъ личностяхъ“? А что сказать относительно этой мысли, достойной фігурировать въ собраниі свирѣпыхъ каламбуровъ Шамфора: „буржуазія—поклонница філософіи Декарта: я ворую, слѣдовательно, я существую какъ классъ“? или еще вотъ этой: „что такое сбереженіе для рабочихъ? Паекъ въ осажденномъ городѣ, съ тѣмъ, чтобы получить кусокъ хлѣба къ старости, когда выпадутъ все зубы“? Или слѣдующее обращеніе къ рабочимъ понять отношение къ нимъ капиталистовъ: „вы и они равны и ювіты: они вѣсъ обворовываютъ,

а вы ихъ обмиллиониваете (emmilionnez)». И такихъ колючихъ фразъ, формулы, трагическихъ каламбуровъ, своеобразныхъ выражений вы найдете у Гэда, сколько угодно. Не надо только забывать, что этотъ образный характеръ краснорѣчія и писаній Гэда въ сильной степени маскируется общимъ сухимъ и абстрактнымъ приемомъ аргументаціи, которая вращается обыкновенно въ сферѣ соціальныхъ отвлечений и допускаетъ лишь умеренное употребление конкретныхъ примѣровъ и метафорическихъ сравнений. Ниже мы приведемъ одинъ-два отрывка изъ рѣчей и статей Гэда, чтобы читатель составилъ себѣ понятіе о манерѣ этого оратора и писателя, отличающагося и въ томъ, и въ другомъ отношеніи, а особенно на трибунѣ рѣдкимъ даромъ слова, удивительной находчивостью полемиста и непоколебимой увѣренностью въ истинности своего ученія.

Каковъ интеллектуальный типъ Гэда и калибръ его ума? Если припомнить, что было раньше сказано нами объ эволюціи Гэда въ сторону марксизма, особенно въ томъ освѣщеніи, какое давалось этому процессу близайшими друзьями вождя рабочей партии, то ему можно приписать извѣстную самостоятельность мысли. Во всякомъ случаѣ не надо преувеличивать размѣровъ этой оригинальности. Не надо хотя бы уже потому, что трудно определить, въ какой степени самъ Гэдъ пришелъ уже до чтенія Маркса къ теоріи „научнаго соціализма“, и не вліяли ли на него элементы марксизма, носившіеся въ то время повсюду въ воздухѣ, совпадавшіе отчасти съ некоторыми частями и мировоззрѣнія прудонистовъ и, можетъ быть, оказавшіе на Гэда свое дѣйствіе изъ вторыхъ рукъ, при посредствѣ его знакомыхъ, уже изучавшихъ „Манифестъ коммунистической партіи“ и „Капиталъ“.

Если нельзя точно установить размѣры самостоятельной мысли Гэда при первой выработкѣ имъ міровоззрѣнія, подходящаго къ марксизму, то можно во всякомъ случаѣ видѣть, что при столкновеніи съ самой теоріей Маркса лицомъ къ лицу, facies ad faciem Гэдъ не обнаружилъ замѣтной оригинальности. Онъ оказался очень выдающимся, очень вѣрнымъ, черезчуръ вѣрнымъ ученикомъ своего учителя, но и только. Видимо, его даже интересовало не столько углубленіе въ самую теорію Маркса, сколько ея приложеніе къ задачамъ политической борьбы. И въ этомъ отношеніи, даже принимая во вниманіе сдѣланныя нами въ началѣ этой статьи оговорки, мы должны признать, что Гэдъ не углублялъ, а упрощалъ, не столько развивалъ, сколько заострялъ принятное имъ міровоззрѣніе. Но при этомъ неоригинальномъ процессѣ мысли, Гэдъ обнаружилъ, однако, рѣдкія качества французского типичнаго ума: его „абстрактный“ характеръ, позволяющій съ энергичной и естественной грацией дѣлать рядъ выводовъ изъ общихъ формулъ, и его смѣлую ясность, не останавливающуюся

ни передъ какимъ заключенiemъ, а, наоборотъ, придающю ему наиболѣе понятную и упрощенную форму. Съ этой точки зренія было бы, кстати сказать, интересно прослѣдить, какая разница замѣчается въ различныхъ національныхъ формулировкахъ марксистской доктрины, напр., хотя бы между нѣмецкими, французскими и англійскими учениками Маркса. Я оставляю, однако, этотъ вопросъ въ сторонѣ, ограничиваясь лишь замѣчанiemъ, что французъ Гэдъ такъ же отнесся къ ассилированному имъ марксизму, какъ онъ отнесся бы, въ качествѣ француза, къ другому міровоззрѣнію, на которомъ бы остановился. Онъ взялъ изъ него рядъ общихъ положеній и съ французской энергией и талантомъ, усиленными не совсѣмъ французской настойчивостью, популяризоваль ихъ въ безчисленномъ рядѣ частныхъ приложеній, проявляя извѣстную оригинальность въ промежуточныхъ звеньяхъ дедукціи. Цѣль этой дедукціи онъ прикрывалъ къ теоріи „научного соціализма“, и оттуда неустанно протягивалъ къ любому, соціальному и политическому явлению, пытаясь дѣлать его пѣнникомъ - рабомъ и послушнымъ служителемъ своей доктрины.

Такимъ абстрактнымъ, яснымъ, строго-логическимъ и дедуктивнымъ умомъ мнѣ представляется умъ Гэда. Его гибкость, обнаруживающаяся въ извѣстныхъ границахъ излюбленного міровоззрѣнія, не соединяется, однако, какъ мнѣ кажется, ни съ широтою, ни съ „открытостью“, разумѣя подъ этимъ способность войти хотя бы временно въ чужой міръ идей не съ цѣлью полемики, а въ интересахъ знанія. Словно монада Лейбница для другихъ монадъ, міровоззрѣніе Гэда остается непроницаемымъ для другихъ міровоззрѣній и изнутри во внѣ, и извнѣ во внутрь. Глава французского марксизма слѣпъ и глухъ на возраженія, которыхъ могутъ дѣлаться ему противниками: онъ игнорируетъ ихъ, или блестяще полемизируетъ съ ними, въ сущности - то проходя мимо ихъ. Но Гэдъ закрываетъ глаза и уши и тогда, когда дѣло идетъ о проникновеніи въ другое міровоззрѣніе: оно интересуетъ его совсѣмъ не тѣмъ, что въ немъ можетъ заключаться, а лишь какъ виѣшнее препятствіе, которое должно цѣлкомъ сбросить съ дороги и которое онъ, дѣйствительно, зачастую сбрасываетъ съ удивительной энергией и безжалостностью убѣжденія.

Этимъ отчасти объясняется и нежеланіе Гэда обременять свой живой и сильный умъ лишней зрудиціей. Онъ въ извѣстномъ смыслѣ тотъ интеллектуальный типъ, о которомъ Фома Аквинатъ выразился: „боюсь человѣка, прочитавшаго въ теченіе всей своей жизни лишь одну книгу“ (*timet hominem unius libri*). Марксъ и нѣсколько книгъ экономистовъ и соціалистовъ составляютъ основаніе научного багажа Гэда. Но врядъ ли кто во Франціи знаетъ такъ, какъ Гэдъ, ту великую „книгу жизни“, которая представляетъ собою политическую и соціальную исторію Франціи, по

крайней мѣрѣ за 40 лѣтъ, съ тѣхъ порь, какъ Гэдъ сталъ жить, сознательно участвуя въ судьбахъ родины. События, политические дѣйтели, скандальная хроника буржуазіи и мартирологъ трудящихся массы, борьба партій и фракцій внутри партій,—все это является для Гэда не чисто печатнымъ материаломъ, какъ для большинства его современниковъ, живущихъ интеллигентскою жизнью, а близкимъ, кровнымъ, глубоко реальнымъ драматическимъ представлениемъ, въ которомъ онъ зачастую игралъ роль актера и почти всегда роль внимательного и страстного зрителя. Его феноменальная и замѣчательно живая и точная память хранитъ слѣды безчисленныхъ впечатлѣй. И имена Бланки, Гамбетты, Бакунина, Маркса, Энгельса, Буланже, Рошфора, Кассаньяка, Дерулада, Жюля Ферри, Клеманса, Бериса, Вилліама Морриса, Дрюиона, Панарделли, Либкнехта, г-жи Андрэ Лео, Кропоткина, Малато, Льва Мечникова, и сотенъ другихъ великихъ и малыхъ дѣятелей, равно какъ названія такихъ крупныхъ событий и явленій, каковы франко-прусская война, коммуна, соцр d'Etat 16-го мая, буланжизмъ, первый парижскій международный конгрессъ, Панама, дѣло Дрейфуса вызываютъ въ немъ опредѣленныя ассоціаціи идей, чувствованій, борьбы, энтузіазма, ненависти, презрѣнія. Вотъ съ этимъ человѣкомъ онъ шелъ рука объ руку противъ имперіи; съ нимъ же онъ ожесточенно боролся во времена буланжизма; съ тѣмъ онъ былъ на похахъ въ 80-хъ годахъ, и стоялъ въ однихъ рядахъ десять лѣтъ спустя; еще другой былъ его любимымъ ученикомъ, а нынѣ продалъ свой талантъ и идейный жаръ имущимъ и правящимъ классамъ. Передъ его глазами проносятся сцены шумныхъ республиканскихъ собраний конца имперіи, публичныхъ митинговъ начала 80-хъ годовъ, когда анархисты стульями забрасывали ораторовъ коллективизма на трибуны; революціонного броженія толпы на улицахъ послѣ отставки Грэви; восторженного приема ораторовъ рабочей партіи, пробуждавши мися къ сознательной жизни рудокопами съвернаго департамента и ихъ женами и дочерьми съ букетами въ рукахъ; враждебнаго засѣданія палаты депутатовъ, криками прерывавшихъ страстную рѣчь Гэда; трагическихъ столкновеній между братьями-врагами соціалистической партіи,—и еще многихъ, многихъ событий...

Во всѣхъ этихъ крупныхъ и мелкихъ, общественныхъ и личныхъ коллизіяхъ, Гэдъ не только увѣренно оріентируется самъ, но и даетъ инициативный толчекъ единомышленникамъ, снабжаетъ ихъ теоретическими аргументами и практическими лозунгами,—и все это при небольшомъ запасѣ хорошо прочитанныхъ и продуманныхъ книгъ, и все это помимо научной эрудиціи и изученія вопроса по „источникамъ“. Здѣсь будетъ у мѣста, однако, сдѣлать важную поправку: человѣкъ жизни и борьбы, несмотря на отвлеченный характеръ своего мышленія, укладывающагося въ ясныя и зачастую однобокія формулы, Гэдъ образцовый, прямо

несравненный, чтецъ газетного материала и политическихъ брошюръ на злобы дня. Его пріятели не разъ говорили, что нельзя представить себѣ болѣе оригинального, почти геніального чтенія газетъ, чѣмъ какое практикуется Гэдомъ. Онъ очень внимательно изо дня въ день, цѣлыми годами читаетъ нѣсколько серьезныхъ, хорошо редактируемыхъ, главнымъ образомъ буржуазныхъ, газетъ и быстро просматриваетъ передовыя статьи въ другихъ органахъ периодической прессы. Его ясный умъ, его рѣдкая память, его умѣніе связывать конкретные факты съ основами своего мировоззрѣнія снабжаютъ его ежедневно въ концѣ такого чтенія богатымъ, хорошо подобраннымъ и хорошо уложившимся въ головѣ текущимъ материаломъ. Текущая жизнь, рассматриваемая сквозь призму ежедневной печати, является для него какъ бы необходимымъ дополненіемъ къ той „книгѣ жизни“, столько страницъ которой связаны у него съ личными опытами и ассоціаціями идей и аффектовъ. И въ тотъ моментъ, когда какая-нибудь злоба дня сильно тревожитъ общественное мнѣніе, вы можете быть уверены, что, при помощи ежедневной прессы и текущихъ брошюръ, Гэдъ ознакомленъ съ этимъ вопросомъ гораздо лучше, чѣмъ громадное большинство интеллигентныхъ людей, изучающихъ его по громоздкимъ трудамъ. Что касается до всего про-чаго аппарата зрудиції, Гэдъ рѣшительно отстраняетъ его; и, не крича громогласно о своемъ равнодушіи къ чистой наукѣ, не рекомендуя даже за образецъ своимъ ученикамъ такого отношенія къ человѣческой мысли, самъ Гэдъ довольствуется чтеніемъ газетъ — и самого же Гэда, т. е. упорнымъ служеніемъ своему мировоззрѣнію. Лишь изрѣдка онъ отдыхаетъ на чтеніи беллетристики, предпочитая въ такомъ случаѣ „романы приключеній“, какъ называютъ ихъ французы, психологическимъ и идеальнымъ романамъ: подобно своему учителю Марксу, онъ любить перечитывать автора „Трехъ мушкетеровъ“ и „Графа Монтеクリсто“.

Вдумываясь, однако, въ поражающую васъ съ первого взгляда односторонность ума Гэда, вы поневолѣ задаетесь вопросомъ, точно ли это есть его интеллектуальное качество, и не является ли это скорѣе результатомъ сознательной дисциплины, налагаемой на этотъ умъ характеромъ Гэда. Я думаю, дѣйствительно, что ключъ къ духовной физіономіи надо искать прежде всего въ сферѣ его чувства и воли. У Гэда — натура страстнаго фанатика, натура глубоко вѣрующаго человѣка. Ясный и абстрактный характеръ его мышленія обманываетъ поверхностнаго наблюдателя, который видитъ въ Гэдѣ одну сухую разсудочность. На самомъ дѣлѣ, Гэдъ — типъ идеяного энтузиаста par excellence: страстная борьба за убѣжденія составляетъ суть его природы. Отсюда его нетерпимость: „великий инквизиторъ колективизма“, „Торквемада въ пленѣ“, „тиранъ“, „Далай-Лама“, — всѣ эти названія, дававшіяся ему столько разъ его врагами, выражаютъ именно это фа-

натачное отношение Гэда къ тому, что онъ считаетъ истиной. Идейный фанатизмъ принимаетъ особенно рѣзкія формы у Гэда еще потому, что онъ представляетъ собою личность съ сильно развитыми, не скажу эгоистическими, но индивидуалистическими инстинктами. Проповѣдникъ строя, основанного на гармоніи, онъ въ то же время типичный сынъ современного общества, основанаго на борьбѣ и вырабатывающаго у всѣхъ насть органы нападенія и защиты. У Гэда эти органы развиты въ высокой степени; только вмѣсто того, чтобы упражнять ихъ въ борьбѣ за материальное существованіе, онъ пускаеть ихъ въ ходъ при отстаиваніи своихъ убѣждений, т. е. на почвѣ, где его сильно проклинивающійся индивидуализмъ сливаются съ общественной страстью. Гэдъ высокомѣренъ, Гэдъ властолюбивъ, Гэдъ ревниво оберегаетъ свой авторитетъ главы партіи; борьба противъ него является въ его глазахъ „грѣхомъ противъ Духа Свята“. Истина и онъ,— это тѣлесная оболочка истины,—сливаются для него самого въ одно цѣлое. Но было бы интересно прослѣдить, не является ли такая психологія общей психологіей воожаковъ партій въ современномъ обществѣ, при чёмъ разница замѣчается лишь въ степени напряженности, съ какой проявляется этотъ личный элементъ. Интересно было бы также анализировать то вліяніе, которое ученики оказываются на своего признаннаго учителя и которое заставляетъ послѣдняго принимать, если можно такъ выражаться, обязательную интеллектуальную позу и застывать въ іератическомъ выраженіи незыблемости и непогрѣшимости.

Какъ бы то ни было, на службу идеяного фанатизма Гэдъ отдалъ свою рѣдкую энергию, поражающую у француза не только своею напряженностью, но постоянствомъ: Гэдъ пылаеть, но далеко не тѣмъ скоро потухающимъ соломеннымъ огнемъ, который воспламеняетъ его соотечественниковъ въ экстренные минуты и вскорѣ оставляетъ по себѣ лишь кучу пепла. Жаръ Гэда, это—продолжительное пламя горна, дѣйствующее даже на тугу плавкія вещества. На службу же идеи Гэдъ отдалъ свою личную карьеру и вѣшніе материальные успѣхи, имѣющіе такое значеніе для средняго француза. Въ то время, какъ большинство прежнихъ друзей и знакомыхъ Жюля Гэда изъ буржуазіи, всѣ эти Ивы Гюйо, Массары и прочіе „ех-непримиримые“ враги современного общества пристроились или къ буржуазному правительству, или къ буржуазной оппозиціи и достигли обезпеченностіи и мѣщанскаго благополучія, Гэдъ остался прежнимъ Гэдомъ. У него была на рукахъ семья (Гэдъ женился еще въ 70-хъ годахъ), и ему приходилось зарабатывать для своихъ кусокъ хлѣба не легкимъ трудомъ. Но никогда Гэдъ не поступился ни на юту своими убѣжденіями въ интересахъ личнаго или семейнаго процвѣтанія. Его слово, его перо служили прежде всего „дѣлу“, т. е. партіи, душою которой онъ былъ и отчасти остается и тѣ-

перъ, ибо пока не видишь молодыхъ, могущихъ замѣнить его. А когда обстоятельства складывались такъ, что приходилось выбирать между личными выгодами и идеей, онъ безъ всякаго колебанія жертвовалъ своими интересами. Бывали,—и нерѣдко,—такіе періоды въ жизни Гэда, когда его мебель описывалась домохозяиномъ за невыносимость квартирной платы, и когда у главы партіи не было нѣсколькихъ су въ карманѣ, чтобы возвратиться ночью на конѣ съ публичного собранія въ рабочемъ предмѣстіѣ. И, однако, Гэдъ тщательно и цѣлыми годами скрывалъ эти стороны своего личного существованія, порою отъ близкихъ друзей, пока, наконецъ, мало-по-малу не стала известна имъ, а черезъ нихъ и публикѣ, жизнь этого солдата идеи, чей фанатизмъ и чья колючая, высокомѣрная, властолюбивая индивидуальность возбуждали ненависть въ противникахъ, но создавали „великому иезуиту колективизма“ и прочныя симпатіи среди единомышленниковъ.

Нарисовавъ этотъ портретъ Гэда, остающійся почти неизменнымъ съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ глава французского марксизма окончательно опредѣлился въ политическомъ и общественномъ смыслѣ, т. е. съ начала 80-хъ годовъ, мы остается только дополнить его нѣсколькими фактами послѣдующей біографіи Гэда, возвращаясь къ тому моменту, когда мы оставили его. При этомъ, какъ я уже сказалъ раньше, я буду говорить по возможности о немъ самомъ, а не о партіи, исторія которой не можетъ собственно найти мѣста здѣсь.

Мы остановились на томъ времени, когда Гэдъ откололся отъ умѣреннаго большинства рабочей партіи, которой онъ наклеилъ ярлыкъ „поссибилистовъ“. По обыкновенію неудача не обезкураживаетъ его, какъ успѣхъ придаетъ лишь больше энергіи его дѣятельности. И онъ съ жаромъ бросается въ агитацию рука объ руку съ Лафаргомъ и Девиллемъ, перенося центръ тяжести изъ Парижа, гдѣ преобладали поссибилисты, въ провинцію, гдѣ почва была еще не почата. Къ этому времени относятся первыя га-дистскія организаціи рабочихъ въ центрѣ и на сѣверѣ. Мы уже видѣли, что во время одной изъ такихъ агитационныхъ поѣздокъ въ центральную Францію, Гэдъ и Лафаргъ подвергаются судебному преслѣдованію и приговорены къ 6-ти мѣсячному тюремному заключенію, которое и отбываютъ въ Sainte-Pelagie. Пользуясь этимъ вынужденнымъ досугомъ, Гэдъ составляеть съ Лафаргомъ комментаріи къ программѣ рабочей партіи (выше мы цитировали эту работу) и уже одинъ перепѣздаєтъ отдѣльной брошюрой свои статьи противъ Полля Леруа Больё, появившіяся въ „L'Égalité“ 1881 – 1882. Характеръ этихъ рѣзкихъ, но остроумныхъ „уроковъ профессору“, пущенныхъ въ отдельномъ изданіи подъ заглавиемъ „Коллективизмъ въ Collège de France“ (гдѣ

читаль политическую экономию Леруа Больё), ярко выступает уже въ слѣдующихъ строкахъ введенія:

Если я перензаю свои статьи теперь, пользуясь досужимъ временемъ, которымъ наградилъ меня окружной судъ, то дѣлаю это, — надо ли, впрочемъ говорить о томъ? — не съ тѣмъ, чтобы еще разъ справить триумфъ надъ забытымъ противникомъ, но единственно съ цѣлью установить тогъ фактъ, что противъ нашихъ колективистическихъ и коммунистическихъ выводовъ легче найти судей и тюремщиковъ, чѣмъ аргументы *).

Въ этой брошюре, которая даже буржуазными врагами считается удачнымъ полемическимъ памфлетомъ, резюмирующимъ на нѣсколькихъ страницахъ возраженія противъ громоздкой критики Леруа-Больё, Гэдъ разбираетъ, насколько несомнѣстимъ, — какъ то думаетъ этотъ экономистъ. — колективизмъ съ „справедливостью“, съ „полезностью“, со „свободою“ и съ „семьею“. Авторъ-полемистъ стоитъ все время на точкѣ зрѣнія необходимости развитія человѣчества и, такъ, напр., заканчиваетъ отдѣль о семье и самую брошюру:

Свобода и достоинство отношеній между полами, освобожденными отъ экономической и меркантильной стороны; равное мускульное и мозговое развитіе ребенка, всѣхъ дѣтей; широкое и независимое потребленіе,—всѣ эти *desiderata* будуть осуществлены для всѣхъ мужчинъ и для всѣхъ женщинъ великой человѣческой семьи, которую образуетъ собой общество, примирившееся съ самимъ собой внутри общей собственности и общаго труда. Но эти же требования совершенно недоступны для того маленькаго общежитія, какимъ является индивидуальная семья.

И не то, чтобы мы, — повторяемъ еще разъ, — должны были поднять нашъ ломъ на это многовѣковое убѣжище нашего рода. Но какъ человѣческій зародышъ, дошедший до извѣстной степени развитія, отрывается отъ заключающихъ его нѣдръ организма, ставшихъ недостаточными, такъ подобный же разрывъ совершился между развитымъ человѣчествомъ и нѣдрами семьи, не могущей заключать его болѣе въ себѣ, не удушая **).

Очень интересны и характерны для литературныхъ пріемовъ Гэда возбуждавшія въ свое время большой шумъ статьи, которые онъ печаталъ въ срединѣ 80-хъ годовъ въ газетѣ „Le Cri du Peuple“ покойного Валлэса и издалъ, выѣстѣ съ кої какими другими статьями, всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ подъ заглавиемъ „Соціализмъ со дня на день“. Это рядъ короткихъ и энергичныхъ передовицъ, носящихъ — то забавные, то свирѣпые заглавія „Богиня рента“, „Да здравствуетъ голодъ!“, „Обворованые воры“, „Счастливаго путь, господа акціонеры!“, „Славно ревешь, оселъ!“ и т. д. и отзывающихся съ опредѣленной точки зрѣнія на всѣ вопросы дня. Я сдѣлаю выдержку изъ статьи „Богиня рента“, чтобы дать читателю понятіе о манерѣ Гэда-писателя:

... Государственный долгъ — или рента — есть, дѣйствительно, идеальный класса, который намѣренъ все потреблять, ничего не производя, потому что —

*) Jules Guesde, *Le Collectivisme au Collège de France*; 1883, стр. 1 (цитирую по парижскому изданію 1900 г.).

**) Ibid., стр. 27.

№ 1. Отдѣль II.

согласно очень вѣрному замѣчанію Карла Маркса—, онъ даётъ непроизводительнымъ деньгамъ значение воспроизводящейся цѣности, не обрекая ихъ, сверхъ того, на рискъ и замѣшательство, нераздѣльные отъ ихъ промышленного употребленія или даже частнаго ростовщичество».

Для рантѣи нѣтъ ни града, ни филоксеры, ни кризиса, ни войны. Его доходъ—и поэтому-то, безъ сомнѣнія, комиссія по пересмотру налоговъ вычеркнетъ его изъ списка облагаемыхъ доходовъ—парить выше всякихъ промышленныхъ, торговыхъ и земледѣльческихъ пертурбаций, которыя не могутъ ни на юту коснуться его.

Къ своему политическому Седану Франція можетъ прибавить Седанъ экономический—а рентъ какое дѣло! Франція могла бы даже исчезнуть совсѣмъ какъ государство — рента не пострадала бы отъ этой национальной смерти. Государство-хищникъ—или палачъ—не преминуло бы, какъ это было при хищническомъ присоединеніи Эльзаса-Лотарингіи, взять на себя уплату по процентамъ французского государственного долга.

Въ недосыгаемой сфере своихъ купоновъ, рантѣи царить, дѣйствительно, какъ Богъ—единый, истинный Богъ. По крайней мѣрѣ, до того дня, когда—новый тиранъ-пролетаріатъ, бросая свои легіоны на легіоны, возьметъ приступомъ капиталистическое небо и покончить со всѣми религіями—включая и въ особенности религію ренты *).

Я прошу читателя обратить вниманіе на характерную черту этого стиля, выражающуюся даже въ своеобразной системѣ препинанія. Фраза Гѣда течетъ быстро и ровно, но онъ часто прерываетъ ее короткими вводными предложениями и словами и всегда заключаетъ ихъ въ два тире — — . Эти тире, которыми испещрены статьи Гѣда, останавливаются на себѣ взоръ читателя и напоминаютъ ядовитыя паузы въ рѣчахъ Гѣда: — — разъ! два! — — разъ! два! словно ударъ кинжала въ противника, и снова неустанная борьба съ нимъ вплотную...

Вѣрный своей тактикѣ неумолимаго отдаленія пролетаріата отъ буржуазіи, Гѣдъ (какъ и Лафаргъ) во время буланжистскаго кризиса ни за что не хотѣлъ вступить даже во временную коалицію съ демократической буржуазіей для защиты республики отъ цезаризма, — какъ то было сдѣлано поссибилистами. Въ союзѣ съ бланкистами, группировавшимся вокругъ Вальяна (часть бланкистовъ перешла, какъ известно, съ „генераломъ“ Эдомъ на сторону Буланже), рабочая партія выпустила въ самый разгаръ выборной агитации, а именно въ августѣ 1889 г., манифестъ „къ избирателямъ“, въ составленіи资料 которого одну изъ самыхъ дѣятельныхъ ролей игралъ, конечно, Гѣдъ.

Въ этомъ манифестѣ, сильно отражающемъ взгляды Гѣда (и Лафарга) и лишь отчасти подправляемомъ воззрѣніями болѣе чуткаго въ политическомъ смыслѣ Вальяна, надо различать два элемента. Съ одной стороны, это, конечно, желаніе сохранить въ чистотѣ формулу классовой борьбы пролетаріата противъ всей

*) Jules Guesde, *Le Socialisme au jour le jour*; Парижъ, 1899, стр. 11—12.

буржуазіи. Но, съ другой, это скрытое и тѣмъ не менѣе очень реальное опасеніе пойти прямо въ разрѣзъ съ политическимъ настроениемъ увлеченныхъ буланжизмомъ массъ. Замѣтите, дѣло ишlo въ данный моментъ не о какомъ-либо союзѣ, а о времененной коалиціи съ буржуазными республиканцами съ определенной цѣлью воспрепятствовать цезаристскому союзу д' Etat. Несколько же было тактично одной половиной фразы призывать массы „сохранить во что бы то ни стало республику“, а другой половиной бросать безразлично всѣ фракціи буржуазіи въ одинъ ящикъ съ нечистотами и приглашать „избирателей“ бороться однаково какъ противъ буланжистовъ, такъ и противъ ихъ противниковъ? Прибавлю, что, говоря о манифестѣ, мы касаемся эпохи,—а именно лѣта и осени 1889 г.,—когда националистическое движение уже видимо остановилось на одномъ уровнѣ передъ тѣмъ, какъ идти на убыль. Но въ теченіе предшествующихъ лѣтъ и особенно 1888 г., когда буланжизмъ обнаруживалъ поразительную способность распространенія, Гедъ съ товарищами уклонился отъ прямой борьбы съ Буланже и, развивая свое обычное соціалистическое міровозрѣніе, странно умалчивалъ о злобѣ дня, раздиравшей на враждебныя партіи всю Францію. Была ли, однако, эта тактика прямой политической трусостью? Но Геда отнюдь нельзя упрекать въ отсутствіи рѣшительности. Разгадка такой двусмысленной политики заключалась, наоборотъ, въ томъ, что абстрактная прямолинейность его міровоззрѣнія всегда поддерживала въ немъ иллюзію, будто достаточно развивать въ „четвертомъ сословіи“ классовое сознаніе противоположности его экономическихъ интересовъ — интересамъ имущихъ и правящихъ, чтобы сами трудящіяся массы выводили затѣмъ уже отсюда всѣ необходимыя политическія и моральные послѣдствія. Конечно, въ концѣ концовъ рабочій классъ и долженъ будетъ сдѣлать эти выводы. Но весь вопросъ въ томъ, когда? А между тѣмъ такие политические кризисы, какъ буланжизмъ, требуютъ немедленно политического же отвѣта отъ массъ, ибо при неблагопріятномъ исходѣ могутъ разрушить самую почву для открытой борьбы классовъ, замѣнивъ свободныя учрежденія цезаристскими. „Пускай народъ увлекается буланжизмомъ,—такъ можно формулировать тогдашнее настроеніе Геда,—не будемъ прямо идти противъ этой политической нелѣпости; будемъ, наоборотъ, насыщать его идеями колективизма и рано или поздно онъ самъ пойметъ пустоту своего мишурного идола и тогда самъ завоюетъ себѣ лучшее будущее путемъ сознательной борьбы со всѣмъ современнымъ строемъ“. А въ результатѣ то странное, половинчатое поведеніе Геда въ эпоху буланжизма, когда лишь союзъ съ бланкистами Вальяна вывелъ французскихъ марксистовъ изъ состоянія политического безразличія среди бурь, поднятыхъ „синдикатомъ недовольныхъ“, которые группировались съ разными цѣлями вокругъ „браваго

генерала". Хорошо, что буланжистское движение кончилось разгромомъ националистовъ: иначе „рабочая партія“ несла бы тяжелую историческую ответственность за это невмѣшательство въ борьбу между цезаризмомъ и демократіей. Такимъ образомъ, партійный страхъ передъ „избирателями“ не столько въ смыслѣ непосредственного результата выборовъ, сколько въ смыслѣ дальнѣйшей судьбы колективистической пропаганды въ массахъ сумели смылое сердце Гэда на рубежѣ 80-хъ и 90-хъ годовъ.

Я теперь перехожу къ такой полосѣ въ жизни Гэда, когда его увлеченіе результатами этой пропаганды заставило, наоборотъ, его временно стать эволюціонистомъ и даже измѣнить временно же взгляды на всеобщую подачу голосовъ. Я оставляю въ сторонѣ тѣ колебанія Гэда въ отношеніи къ этому принципу въ началѣ его дѣятельности, какъ главы партіи. Анархисты, съ одной стороны, поссибилисты—съ другой не разъ забавлялись, отмѣчая хотя бы тотъ фактъ, что тотъ самыи Гэдъ, который „предоставлялъ выборныхъ мѣста геморроидамъ буржуа“, на выборахъ 1881 г.ставилъ свою кандидатуру въ Рубэ, и при томъставилъ ее, не смотря на формальное обѣщаніе не дѣлать этого, подписанное имъ вмѣстѣ съ другими сотрудниками ліонской газеты „L' Emancipation sociale“. На это можно было бы отвѣтить, что дѣло шло о частной попыткѣ „превратить всеобщую подачу голосовъ изъ орудія дураченія въ орудіе освобожденія пролетаріата“, согласно самой программѣ рабочей партіи, составленной при участіи Маркса (см. выше)...

Нѣтъ, мы возьмемъ взгляды Гэда въ періодъ его почти пятилѣтняго пребыванія въ палатѣ депутатовъ 1893—1898 г., куда онъ вошелъ вмѣстѣ съ другими почти пятидесятью соціалистами разныхъ фракцій. Этотъ успѣхъ соціализма на законодательныхъ выборахъ (20-го августа—3-го сентября 1893 г.) вмѣстѣ съ одновременнымъ почти захватомъ колективистами муниципальныхъ соѣттовъ такихъ большихъ городовъ, какъ Лилль, Рубэ, Марсель, долженъ былъ, конечно, придать ярко оптимистическую окраску взглядамъ Гэда. Онъ даже предложилъ друзьямъ принять участіе въ сенатскихъ выборахъ, дотолъ возбуждавшихъ презрительную усмѣшку крайнихъ партій, и обѣщалъ—не сбывающееся—торжество соціалистовъ и въ этой кампаніи. Одинъ изъ историковъ рабочаго движенія во Франціи такъ изображаетъ тогдашнее настроение Гэда:

Гэдъ былъ въ особенности упоенъ побѣдой; онъ уже вѣрилъ, что находится наканунѣ торжества; приведенный въ состояніе экзальтациіи испытанными имъ преслѣдованіями, лихорадочно работою всей своей жизни, цѣликомъ отданной на пропаганду и, кроме того, истощенный болѣзнью и нетерпѣливо ожидавшій момента увидѣть величія дѣла, которыя подготовлялись въ

исторії, онъ страдалъ недостаткомъ, общимъ всѣмъ апостоламъ, а именно: онъ постоянно надѣялся на окончательный кризисъ. Онъ вѣчно ждалъ революціи. Въ теченіе двадцати лѣтъ онъ вѣрилъ, что она придетъ въ дыму баррикадъ и среди грохота динамитныхъ взрывовъ; теперь, послѣ избирательныхъ успѣховъ 1893 г., онъ вообразилъ, что ее могло бы начать большинство въ стѣнахъ парламента. Онъ разсуждалъ логично и просто: „въ предшествующей палатѣ нась не было и дюжинъ. Теперь нась цѣлыхъ сорокъ. Пусть только поддержится эта прогрессія, и въ 1897 г. мы будемъ въ числѣ ста шестидесяти *).“

Оставляя въ сторонѣ слегка ироническое отношеніе автора этой характеристики къ Гэду, мы можемъ сказать, что въ общемъ розовое настроеніе главы рабочей партіи въ серединѣ 90-хъ годовъ передано у Галеви близко къ дѣйствительности. „Право на ружье“ отступало теперь въ представленіи Гэда передъ избирательнымъ бюллетенемъ. Онъ неоднократно развивалъ предъ враждебно настроенной оппортунистской палатой ту мысль, что рабочій классъ, опираясь на всеобщую подачу голосовъ и совершенно легальнымъ путемъ, осуществить великий общественный переворотъ. Онъ подчеркивалъ перспективу этого эволюціоннаго рѣшенія грандіознаго соціального вопроса. Въ рѣчи, произнесенной 22-го ноября 1895 г., Гэдъ торжественно заявлялъ:

Нѣть, не при помощи налога, какова бы ни была его форма, пролетаріатъ завладѣеть зданіемъ капитализма, которое рушится теперь со всѣхъ сторонъ; толькъ ключъ отъ него, который вѣсъ умоляли не давать намъ, въ нашихъ рукахъ, и издавна въ нихъ. Его намъ вручили наши парижскіе братья, тѣ, что въ 1848 г. вырвали, цѣною революції, всеобщую подачу голосовъ у цензовой буржуазіи. Они дали намъ его, и мы сохранимъ его, и мы не позволимъ ни прямо, ни косвенно снова отобрать его. Да! при помощи политическихъ правъ обездоленныхъ, при помощи политическихъ правъ пролетаріата, но мѣрѣ того, какъ онъ выучится пользоваться имъ, мы проникнемъ во внутрь правительства вашего старого сгнившаго общества, и скоро мы будемъ въ состояніи во имя закона, который сегодня диктуете вы, а который завтра продиктуемъ мы, преобразовать режимъ анархіи, давящій на всѣхъ и несущій необезпеченность всѣмъ, и замѣнить его режимомъ всеобщаго счастія и всеобщей свободы.

Вотъ нашъ ключъ, и мы не требуемъ другого (*рукописканія на крайней лѣвой*).

Я очень хорошо понимаю, что шестѣвіе впередъ пролетаріата, который знаетъ, какой методъ дѣйствія употреблять и какой цѣли достигать, ужасаетъ тѣхъ, — что отчаянно цѣпляются за погибающій строй; я очень хорошо понимаю, что многие изъ нихъ предпочли бы, чтобы рабочій классъ бросился въ прямую борьбу, какъ бросался нѣкогда во дни инсуррекціи, повертыавшійся противъ него. Такъ нѣть-же! довольно кровопусканій! Рабочіе слишкомъ часто сражались и погибали за другихъ, за реформы, проносившіяся надъ ихъ головами. Отнынѣ ихъ кровь принадлежитъ ихъ же классу, принадлежитъ всему человѣчеству, и мы скучимся и мы должны скучиться на эту кровь. Нѣть! вы не заставите насъ пасть подъ ружейными выстрѣлами, какъ въ Фурми, не заставите насъ слѣпо разбиться о буржуазное государство,

*) Daniel Halévy, *Essai sur le mouvement ouvrier en France*; Парижъ, 1901, етп. 223.

которое во всѣхъ своихъ частяхъ организовано такъ, чтобы раздавить безоружный народъ. Мы не атакуемъ его прямымъ насилиемъ и съ фронта, мы не выйдемъ изъ легальности. Васъ убеть сама эта ваша легальность: ея намъ достаточно въ борьбѣ противъ васъ (*рукописанія на крайней лѣвой* *).

Три года спустя Гэдъ снова перешелъ на старую точку зрѣнія, которая, впрочемъ, въ сущности не покидала его совсѣмъ и тогда, когда онъ былъ увѣренъ въ быстромъ распространеніи коллективизма среди массъ. Его не оставляла и тогда мысль въ томъ, что „буржуазное государство“ не дастъ трудящимся массамъ возможности восторжествовать легально. Онъ и тогда ставилъ дилемму (на засѣданіи 20-го ноября 1894 г.) буржуазному большинству, поддерживавшему республиканскій по имени, но реакціонный по духу кабинетъ Шарля Дюпюи:

„Всѣ революціи были навязаны и вынуждены, всѣ онѣ дѣло партій, стоящихъ у власти.

Являетесь ли вы одною изъ этихъ партій, которая желають ускорить революцію, заставить насъ произвести ее?

Въ этомъ пунктѣ мы къ вашимъ услугамъ... Мы хоть сейчасъ готовы написать: „здесь покоятся прахъ“ на развалинахъ современнаго порядка или безпорядка; перо и бумага на готовѣ у насъ.

Но если, наоборотъ, вы хотите быть просто-на-просто республиканскимъ правительствомъ, хотя и не раздѣляющимъ нашей точки зрѣнія, но понимающимъ, что у насъ все же есть общая почва, почва уже совершенныхъ реформъ, почва уже провозглашенныхъ правъ, наконецъ, почва свободы, которая существуетъ и должна существовать для всѣхъ, тогда мы могли бы направиться эволюціоннымъ путемъ (*évolutivement*) къ исходу изъ пустыни и къ мирному вступленію въ обѣтованную землю. Но въ вашихъ рукахъ находятся и война, и миръ. Скажите же, что вы за миръ или скажите, что вы за войну! (*рукописанія на различныхъ скамьяхъ крайней лѣвой* *) .

Съ новою энергию Гэдъ сталъ на прежнюю точку зрѣнія, отметая самую возможность дилеммы и провозглашая рѣзкія формулы 80-хъ годовъ, въ моментъ великаго кризиса, который въ дѣлѣ Дрейфуса разорвалъ Францію на двѣ части, какъ десять лѣтъ назадъ ее разорвалъ на двѣ части кризисъ буланжизма. У всѣхъ на памяти разнообразныя перипетіи этого мірового дѣла, произведшаго самую удивительную перетасовку партій; и я упомянуть лишь нѣкоторыя обстоятельства, касающіяся Гэда. Въ статьѣ о Жоресѣ я указалъ читателю, что въ началѣ агитациіи Гэдъ былъ рѣшительно за вышательство соціалистовъ въ борьбу между реакцией и демократіей. Изъ его устъ вырвалась даже въ то время яркая фраза, дѣлающая честь этому властному, но отнюдь не мелко самолюбивому человѣку: „за то я васъ и люблю такъ, Жоресь, что у васъ за словомъ слѣдуетъ дѣло“. Она была произне-

*) Напечатано въ двухтомномъ сборникѣ парламентарныхъ рѣчей Гэда: Jules Guesde, *Quatre ans de lutte de classe à la Chambre*; Парижъ 1901, т. I, стр. 216—218.

**) Ibid., стр. 127—128.

ена Гедомъ въ тотъ моментъ, когда, по совѣту его, Жорэсъ интерpellировалъ министерство Мелина по поводу махинацій генерального штаба. Увы! нѣсколько мѣсяцевъ спустя, послѣ выборовъ 8-го и 22-го мая 1898 г., на которыхъ соціализмъ не сдѣлалъ почти никакихъ успѣховъ и потерялъ двухъ воожаковъ, какъ Жорэсъ и Гедъ, а антисемитская и націоналистская демагогія одержала нѣсколько частныхъ побѣдъ, — послѣ этихъ, говорю, выборовъ Гедъ рѣшительно сталъ центрекъ агитації соціалистовъ, и подъ его преобладающимъ вліяніемъ былъ составленъ манифестъ „рабочей партії“ по дѣлу Дрейфуса, напоминающій или, лучше сказать, крайне усугубляющій тактическую ошибку гедистовъ во время буданжизма. Въ то время, какъ вся страна была охвачена ожесточенной борьбой между общественными прогрессомъ и общественной реакцией, національный совѣтъ рабочей партіи обращался съ слѣдующимъ воззваніемъ къ „Рабочимъ Франції“:

„Пролетаріямъ нечего дѣлать въ этой битвѣ, которая отнюдь не ихъ и въ которой сталкиваются между собой Буадзффры и Трапье, Кавенъяки и Ивы Гюйо, Пельѣ и Галлиффа. Ихъ дѣло лишь извѣтъ отмѣтить удары и повертьвать противъ общественного порядка—или безпорядка—скандалы военной Панамы, прибавляющіеся къ скандаламъ финансовой Панамы...“

„Въ новомъ кризисѣ, который испытываютъ правящіе классы, намъ нечего быть ни эстергазистами, ни дрейфусистами, но мы должны остаться партіей класса, который знаетъ и ведеть лишь классовую борьбу за освобожденіе труда и человѣчества...“

„Рабочіе Франції, соціалисты, къ орудіямъ же, только къ вашимъ оружию и—пли на все, что не вашъ классъ и не ваше дѣло! *)“

Этотъ языкъ военныхъ бюллетеиней и приказовъ плохо скрывалъ ту партійную робость, которая снова, какъ десять лѣтъ тому назадъ, овладѣла сердцемъ лично неустрешимаго Геда. Послѣ временнаго увлечения успѣхами соціализма въ массахъ и надеждой на быстрое проникновеніе всеобщей подачи голосовъ идеалами рабочей партіи, Гедъ испытывалъ сильное разочарованіе. Масса, вско-
ыхнутая демагогами шовинизма, не обнаруживала на выборахъ 1898 г. желанія идти съ такой же возрастающей охотой за кол-
лективистами, съ какой двинулись за ними ея непочатые слои въ 1893 г. Очевидно, наступала остановка въ симпатіяхъ трудяща-
гося населенія къ соціалистамъ. И Гедъ снова сталъ на свою
прежнюю точку зренія: будемъ пропагандировать коллективизмъ,
и прочая приложатся намъ съ течениемъ времени; нечего рисковать изъ за какого-то дѣла Дрейфуса организацией пролетариата.

Къ сожалѣнію, эти расчеты оказались невѣрными, и невѣрными потому, что если коллективизмъ не хотѣлъ заняться дѣломъ Дрейфуса, то дѣло Дрейфуса занималось коллективизмомъ. Я хочу этимъ сказать, что скоро во Франціи вся политическая жизнь

*) Манифестъ отъ 24-го июля 1898 г. въ сборникѣ *Onee ans d'histoire socialiste*, стр. 74—76, *passim*.

стала вертеться вокруг этого явления, становившагося не только национальнымъ, но и интернациональнымъ. Кто не высказывалъ такъ или иначе за него, тот обрекалъ себя на политическое бездѣствие,—состояніе, грозящее самыми серьезными неудобствами всякой живой партіи. Мне нечего напоминать еще разъ о томъ, какъ крупнейшая тактическая ошибка Гэда, — къ которой присоединился на сей разъ и Вальянъ, но не ослабляя ее своимъ политическимъ чутьемъ, какъ во времена буланжизма, а еще отягощая,—подготовила почву для тактической же ошибки Жорэса, который, оставаясь въ дѣлѣ Дрейфуса безъ поддержки гэдистовъ и бланкистовъ, пошелъ для союза въ сторону буржуазіи и кончили теоріей „сотрудничества классовъ“. Отнынѣ дружная работа такихъ выдающихся представителей соціализма, какъ Жорэсъ и Гэдъ, смѣнилась страстной борьбой между ними и ихъ направлѣніями. Совмѣстная дѣятельность всѣхъ соціалистическихъ фракцій противъ буржуазіи въ періодѣ 1893—1898 гг. уступила мѣсто междуусобной войнѣ среди соціалистовъ. И лишь въ послѣднее время, цѣною всяческихъ усилий и апелляціи къ интернациональному соціализму, оба лагеря братьевъ-враговъ пытаются заключить миръ и устранить этимъ мирнымъ договоромъ вредную трату парализующихся борьбою силъ. Надо-ли говорить, что во время этой борьбы уже старѣющій, уже изломанный обычно болѣзнью Гэдъ всетаки сохранилъ темпераментъ фанатического солдата идеи? Еще совсѣмъ недавно, во время знаменитой дуэли на Амстердамскомъ конгрессѣ съ могучимъ противникомъ, онъ производилъ своей страстной, почти истерической импровизацией рѣчью противъ Жорэса впечатлѣніе человѣка, для которого общественная дѣятельность и личное существованіе слились въ одно неразрывное цѣлое...

Было бы, конечно, возможно, анализируя рѣчи Гэда за послѣдніе годы, показать теоретическія и практическія противорѣчія между этой полосой его жизни и непосредственно ей предшествовавшей. Было бы возможно подчеркнуть такія преувеличенія и заостренія его взглядовъ, которые возбуждаютъ недоразумѣнія даже среди людей, въ общемъ стоящихъ на его точкѣ зрѣнія,—напр., его неловкія фразы, касающіяся буржуазной республики, какъ наиболѣе безжалостной формы классового господства. Но все это, съ одной стороны, объясняется психологическимъ закономъ реакціи противъ утвержденій противника, рисующаго, наоборотъ, въ черезчуръ идиллическому освѣщеніи буржуазную республику. Съ другой, эти промахи, ошибки и увлечениія не могутъ закрывать отъ взглядовъ безпристрастного наблюдателя своеобразную мощь фигуры Гэда, которую можно не любить, по зовѣтно ненавидѣть, но нельзя не уважать. Этотъ теоретический материалистъ обладаетъ душой пламеннааго идеалиста.

Н. Е. Кудринъ.

Изъ Англіи.

I.

„Англійское земледѣліе погибаетъ!“ Такъ константируютъ оди-
наково и фитрaderы, и протекціонисты. „Земледѣліе въ Англіи
убито конкуренціей иностранцевъ“—продолжаютъ протекціони-
сты. Съ каждымъ годомъ потребленіе англійской пшеницы умень-
шается, а ввозъ хлѣба изъ-за границы увеличивается. Приведу вдѣсь
таблицу, показывающую потребленіе въ Англіи пшеницы мѣстной
и привозной за пятьдесятъ лѣтъ. Цифры показаны въ тысячахъ
бушелей.

Годы.	Потребленіе мѣст- ной пшеницы.	Потребленіе при- возной пшеницы.	Всего.
1853	81774	50706	132480
1854	94812	36364	131176
1855	122679	25944	148623
1856	103637	42258	145895
1857	113607	32701	146308
1858	128548	44226	172774
1859	114069	40870	154939
1860	91908	60696	152604
1861	81341	69209	150550
1862	95824	95108	190932
1863	115661	58638	174299
1864	132680	54724	187407
1865	117577	49148	166725
1866	97942	55981	153923
1867	79068	73522	152590
1868	88420	68363	156783
1869	118259	84217	202476
1870	99833	67131	166964
1871	90495	81752	172247
1872	83332	89588	172920
1873	79291	95912	175203
1874	84198	92055	176253
1875	94858	112572	207430
1876	72313	96862	169175
1877	74257	118644	192901
1878	84850	111708	196558
1879	75910	137944	213854
1880	48610	128475	177085
1881	66417	134486	200903
1882	67663	151236	218899
1883	73663	160593	234258
1884	72012	124920	196932
1885	74950	154183	229133
1886	68200	124197	192397
1887	61777	149395	211172
1888	69416	149504	218920
1889	68730	146238	214968
1890	69734	152758	222492
1891	69596	165744	235340
1892	64567	176421	240988
1893	52436	173319	225755

Годы.	Потребление местной пшеницы.	Потребление привозной пшеницы.	Всего.
1894	49441 тысячи буш.	179362 тысяч буш.	228803
1895	48952	194061	248013
1896	40057	184417	224474
1897	51852	164643	216495
1898	56319	174371	230690
1899	66289	181313	247602
1900	56772	182547	239319
1901	47873	187243	235116
1902	49519	200986	250505
1903	48826	217535	266361 **)

Протекционисты милятся еще съ тѣмъ, что часть привозного хлѣба идетъ изъ британскихъ колоній; но ввозъ изъ-за границы кажется имъ чуть ли не личнымъ оскорблениемъ. Слѣдующая таблица показываетъ, откуда идетъ хлѣбъ, привозимый въ Англію.

Годы.	Изъ Соедин. Штатовъ.		Изъ Аргентин.		Изъ Россіи.		Изъ Австро- Венгрии.		Изъ осталь- ныхъ госу- дарствъ.		Изъ британ- скихъ колон.	
	Тоннъ.	Тоннъ.	Тоннъ.	Тоннъ.	Тоннъ.	Тоннъ.	Тоннъ.	Тоннъ.	Тоннъ.	Тоннъ.	Тоннъ.	Тоннъ.
1899	3011000	576000	126000	72000	108000	1032000						
1900	2871000	938000	225000	81000	212000	606000						
1901	3343000	415000	129000	56000	135000	975000						
1902	3248000	227000	331000	48000	270000	1272000						
1903	2337000	712000	864000	57000	289000	1578000 **)						

Такимъ образомъ, колоніи доставляютъ только около 25% хлѣба, потребляемаго въ Англіи. Иностранныя государства отправляютъ въ Англію въ три раза больше пшеницы, чѣмъ колоніи. И эта цифра растетъ съ каждымъ годомъ. Съ каждымъ годомъ цѣны на пшеницу падаютъ. Въ 1830 г. четверть пшеницы (Quarter, т. е. мѣра въ 480 англійскихъ фунтовъ или 13 пудовъ) стоила въ Англіи 64 ш. 3 пенса, въ 1840 г.—66 ш. 4 пенса, въ 1850 г., послѣ отмены хлѣбныхъ налоговъ,—40 ш. 3 пенса, въ 1903 г.—26 ш. 9 пенсовъ.

Въ Англіи акръ пшеницы обходится фермеру въ 7—8 фунтовъ, въ Америкѣ 1 ф.—4 ф. 4 ш. ***). Такимъ образомъ, повидимому, теряется совершенно надежда на возрожденіе земледѣлія въ Англіи.

Рядомъ съ этими фактами нужно сопоставить цифры, показывающія, сколько людей занято земледѣльческимъ трудомъ въ Англіи. По свѣдѣніямъ, добытымъ всеобщими переписями, такихъ людей въ Англіи и въ Уэльсѣ было:

*) „Daily Mail“. Year Book, 1905, p. 278. См. также „Whitaker's Almanac“, 1905, p.p. 338—349.

**) По отчетамъ „London Gazette“ за 1904 г. См. также „D. M.“ Year Book, 1905, p. 284.

***) Report issued by the Foreign Office.

Въ 1851	1904687
" 1861	1803049
" 1871	1423854
" 1881	1199827
" 1891	1099572
" 1901	988340

Другими словами, переписи констатируют все больше и больше усиливющееся бѣгство населения изъ деревень въ города. Въ деревняхъ остаются только старики, калѣки и слабоумные, у которыхъ нѣтъ никакой надежды на успѣхъ въ городѣ. По отчетамъ, публикуемымъ Board of Trade, видно, что за послѣднія двадцать лѣтъ чаще всего банкротятся фермеры. Земли переходятъ отъ арендаторовъ фермеровъ къ лэндлордамъ, и нивы обращаются въ пастбища. Въ 1866 г. въ Англіи было 11.148,814 акровъ постоянныхъ пастбищъ, а въ 1903 г.—16.984,495 *). Увеличеніе это—на счетъ нивъ. Въ 1866 г. подъ пшеницей было 8.850,394 акра, а въ 1903 г.—1.497,257 акровъ. Англійскій фермеръ не можетъ держаться больше, не смотря на интенсивность культуры. Средній урожай пшеницы съ акра земли составляетъ:

Во Франціи	20 бушелей
Въ Германии	18 "
" Россіи.	12 "
" Австріи	16 "
" Венгрии	12 "
" Италии.	12 "
" Швеціи	20 "
" Норвегіи	25 "
" Даніи	25 "
" Голландіи	23 "
" Бельгії	24 "
" Соедин. Штат.	24 "
" Австралії	10 "
" Англіи	33 бушеля **).

Какъ относятся къ этимъ фактамъ протекціонисты и фритрэдеры, напрягшіе теперь въ борьбѣ всѣ усилия?

II.

Протекціонисты утверждаютъ, что виновникомъ гибели англійскаго земледѣлія является свободная торговля.

„Въ теченіе шестидесяти лѣтъ мы держимся экономической системы, которая была принята нашими дѣдами и отцами, когда условия въ Англіи были совершенно иными,—говорить вождь протекціонистовъ.—Мы дозволяемъ теперь иностранцамъ привозить къ намъ все, что они производятъ (хотя то же самое мы и сами могли бы производить) и не беремъ съ нихъ ни фартина по-

*) Agriculture and Tariff Reform, 1904, p. 29.

**) Ib., p. 31—32.

шиль. Наши конкуренты ничего не расходуютъ на поддержаніе порядка, который приносить имъ такія громадныя выгоды. И въ то же самое время иностранные народы, широко пользующіеся нашей щедростью и великодушіемъ, не впускаютъ безпошлино къ себѣ ничего изъ того, что мы производимъ. Если наши торговцы прѣѣзжаютъ со своими товарами къ вѣмпамъ или къ французамъ, то должны платить пошлины, т. е. обязаны на свой счетъ поддерживать государственный порядокъ" *). Свободная торговля убила земледѣліе, какъ убиваетъ британскую фабричную промышленность,— говорять протекціонисты. Правда, вредное вліяніе системы долго не сказывалось, наоборотъ даже, повидимому, Англія благоденствовала. Но все это, по мнѣнію протекціонистовъ, объясняется слѣдующимъ. Въ продолженіе тридцати лѣтъ послѣ введенія свободной торговли земледѣліе за границей не дѣлало никакого прогресса. Поля на „дикомъ западѣ“ въ Америкѣ не были еще вспаханы. Ввозъ хлѣба въ Англію изъ-за границы не былъ еще особенно великъ. Иностранные тогда не имѣли ни достаточнаго капитала, ни искусствъ работниковъ, ни хорошихъ машинъ,— говоритъ Чэмберленъ.— Но теперь все измѣнилось. Иностранные добыли деньги, нашли ловкихъ работниковъ и научились дѣлать отличныя машины. Сперва они снабдили собственные внутренніе рынки всѣмъ необходимымъ, а потомъ стали присыпать свои фабрикаты къ намъ, въ Англію, причиняя этимъ громадные убытки британскимъ производителямъ и работникамъ“. Больше всѣхъ отъ свободной торговли пострадали англійскіе фермеры и сельскіе работники.

Факты не совсѣмъ подтверждаютъ положенія, высказанныя Чэмберленомъ. Во-первыхъ, никогда сельскіе работники въ Англіи не переживали такихъ отчаянныхъ моментовъ, какъ въ началѣ XIX вѣка, въ эпоху расцвѣта протекціонизма. Тогда сельскій работникъ былъ совершенно безправнымъ существомъ, зависѣвшимъ всецѣло отъ фермера, сквайра и попа. Работникъ питался чернымъ хлѣбомъ и картофелемъ, жилъ вмѣстѣ со свиньями. Мясо онъ видѣлъ у себя на столѣ разъ въ недѣлю, чай считалъ роскошью. Теперь въ Англіи черный хлѣбъ неизвѣстенъ, мясо составляетъ значительную часть питанія. Семья сельского работника потребляетъ теперь, въ общемъ, 7,2 анг. ф. (т. е. около 8 русскихъ ф.) мяса въ недѣлю. У городскихъ рабочихъ потребление мяса больше на 2,1 ф. въ недѣлю. Чай, сахаръ, сыръ, масло и варенье тоже фигурируютъ ежедневно на столѣ „ходжа“ (сельскаго работника). Живеть онъ теперь въ коттеджахъ въ 3 комнаты, одѣвается тепло и чисто. Дѣти его ходятъ въ школу, потому-что власть сквайра и попа исчезла. Если „ходжъ“ бѣжитъ теперь изъ деревни въ городъ, то не потому, что въ деревнѣ

*) Speech delivered by Chamberlain, Welbeck, on August 4-th, 1904.

теперь хуже, чѣмъ шестьдесят лѣтъ тому назадъ, а потому, что въ городѣ большие заработки и большая независимость, чѣмъ въ деревнѣ. „Ходжъ“ получаетъ теперь меньше, чѣмъ его товарища въ городѣ, но онъ получаетъ больше, чѣмъ сельскіе работники въ странахъ, гдѣ существуетъ протекціонизмъ. Слѣдующая таблица показываетъ заработную плату въ деревнѣ:

Годы	въ Англіи	во Франціи	въ Германіи	въ С. Штат. *)
1850	9 ш. 6 п. въ нед.	9 ш. — въ нед.	8 ш. 6 п. въ нед.	— 16 ш. въ нед.
1870	15 . — .	12 . 6 . ,	10 . 6 . .	1 ф. — "
1880	17 . 6 . ,	14 . — .	12 „ 6 . .	1 , 5 „ .

Съ тѣхъ порь заработка платы сельскихъ работниковъ почти фиксирована. Англійскій „ходжъ“ получаетъ абсолютно больше, чѣмъ немецкій или французскій сельскій работникъ. Кромѣ того, его заработка платы, по причинѣ свободной торговли, имѣть большую покупательную способность: въ Англії хлѣбъ, мясо, чай, сахаръ, платье—дешевле, чѣмъ на континентѣ.

Итакъ, положенія, высказываемыя протекціонистами, не подтверждаются фактами. Возвратимся, однако, къ тому толкованію, которое даетъ Чэмберлэнъ фактамъ, приведеннымъ въ началѣ письма.

„За послѣднія тридцать лѣтъ площадь, занятая пашнями всякаго рода, уменьшилась на три миллиона акровъ. Пастбища увеличиваются насчетъ нивъ. Все это, прежде всего, имѣть громадное значеніе для сельскаго работника, потому что означаетъ уменьшеніе спроса на его трудъ. Живой инвентарь уменьшился за 30 лѣтъ на два миллиона головъ. Капиталъ фермеровъ, по разсчетамъ сэра Роберта Гиффена, уменьшился на 200 мил. ф. ст. Каковъ выводъ изъ всего этого? А тотъ, что въ деревнѣ теперь меньше работы. За 30 лѣтъ число „рукъ“ въ деревнѣ уменьшилось на 600.000.. Не было еще пророка столь несчастливаго въ своихъ предсказаніяхъ, какъ Кобдэнъ,—продолжаетъ Чэмберлэнъ въ другомъ мѣстѣ.—Кобдэнъ предвѣщалъ, что отмѣна хлѣбныхъ налоговъ увеличитъ спросъ на трудъ сельскихъ работниковъ. Сбылись ли предсказанія? Половина всѣхъ сельскихъ рабочихъ теперь безъ работы. Кобдэнъ увѣрялъ, что свободная торговля не обратить въ пастбище ни одного акра нивы и не уменьшитъ производительность полей даже на бушель. Между тѣмъ, Англія производить теперь на шестьдесятъ миллионовъ бушелей меньше, чѣмъ раньше. Кобдэнъ утверждалъ, что доходы фермера не пострадаютъ, и что онъ всегда получитъ хорошую цѣну за свою пшеницу. Кобдэнъ не предвидѣлъ, что цѣнность ея будетъ ниже 45 шил. за четверть. Онъ предсказывалъ, что высокій фрахтъ, достигающій 10 ш. 6 п. за четверть, образуетъ своего рода существенный протекціонизмъ для защиты на англій-

*) Agriculture and Tariff Reform, 1904, p. 45.

скихъ рынкахъ туземнаго хлѣба отъ заграничнаго. Между тѣмъ, съ развитиемъ пароходства доставка четверти хлѣба изъ Аргентины или Соединенныхъ Штатовъ стоитъ не полтине, а только исколько пенсовъ. Пшеница стоитъ теперь 26 шил. за четверть. При такихъ цѣнахъ не выгодно съять ее" *).

Талантливый ораторъ, который такъ часто и такъ радикально мѣнялъ свои убѣжденія и постоянно дѣлалъ предсказанія, которые всегда оправдывались... наоборотъ, — очень строгъ къ Кобдэну. Чтобы нанести фритрѣдерству рѣшительный ударъ, ораторъ упрекаетъ знаменитаго борца пятидесятыхъ годовъ тѣмъ, чего тотъ никогда не говорилъ.

Кобдэнъ не дѣлалъ предсказаній, которыхъ ему теперь называются протекціонистами. Свободная торговля была принята потому, что ее считали крайне выгодной для британскихъ интересовъ, а не потому, что Кобдэнъ обѣщалъ что нибудь или предсказывалъ... Ни въ одной изъ рѣчей Кобдэна во время борьбы противъ хлѣбныхъ налоговъ нѣтъ ни одного предсказанія, что сдѣластъ другія государства, когда Англія введетъ свободную торговлю. Никогда ни Кобдэнъ, ни Пиль не утверждали во время борьбы, что и другія страны послѣдуютъ примѣру Великобританіи. Правда, въ упомянутомъ, въ 1846 г., когда министерство обѣщало отмѣнить хлѣбные налоги, Кобдэнъ заявилъ вскорѣ, что фритрѣдерство увлечетъ и другія страны. Но это еще не означаетъ, какъ говорятъ теперь протекціонисты, что вся борьба противъ хлѣбныхъ налоговъ основывалась Кобдѣномъ на одномъ аргументѣ: на обѣщаніи, что и другія государства, по примѣру Англіи, отмѣнятъ таможенные пошлины" **).

Теперь протекціонисты стараются убѣдить сельскихъ работниковъ, что они прямо заинтересованы въ возвращеніи къ протекціонизму. Сквайры и попы, которые когда-то такъ донимали "ходжа", воспылали вдругъ необыкновенной нѣжностью и заботливостью къ нему. "Свободную торговлю вводили, не спрavляясь съ мнѣніемъ и интересами сельскихъ работниковъ, которые тогда не имѣли права голоса... Теперь все измѣнилось: сельскій работникъ можетъ подавать свой голосъ на выборахъ". Ораторъ убѣждаетъ "ходжа" стоять за налогъ на хлѣбъ. Протекціонизмъ означаетъ повышение цѣнъ на пшеницу. Это обстоятельство поведетъ къ тому, что фермеры снова найдутъ выгоднымъ для себя пахать и съять. А въ такомъ случаѣ будетъ большой спросъ на сельскихъ работниковъ. Развѣ будетъ спросъ, то повысится и заработка плата. Выводъ: 1) англійское земледѣліе можетъ быть спасено пошлинами на хлѣбъ, 2) если "ходжа" желаетъ повышенія заработной платы, мы должны голосовать на выборахъ за доро-

*) Welbeck speech, см. Times, August 5-th, 1904.

**) Facts versus Fiction, издания Кобдѣновскаго клуба. 1904, р. 15—16.

той хлѣбъ. „Что лучше,—спрашиваютъ протекціонисты,— имѣть ли дешевый хлѣбъ и пустой карманъ, или дорогой хлѣбъ и мнозе денегъ въ кошелькѣ, чтобы купить все“?

Исторія Англіи въ началѣ и серединѣ XIX вѣка не свидѣтельствуетъ, однако, о томъ, что дорогой хлѣбъ сопровождается полнымъ кошелькомъ у работниковъ. Вотъ, напр., только что вышедшая книга, составленная изъ воспоминаній старыхъ работниковъ о временахъ протекціонизма. „Соль тогда стоила двадцать одинъ шиллингъ за бушель,—пишетъ восьмидесятичетырехлѣтній сельскій работникъ Чарльзъ Робинсонъ.—Когда у насъ убивали свинью, то полтуши нужно было отдать за соль, чтобы заготовить вiproкъ другую половину... Хлѣбъ тогда стоилъ 1 ш. 3 пенса за ковригу въ четыре фунта. За унцъ чая платили $6\frac{1}{2}$ пенсовъ, а за фунтъ сахара—восемь пенсовъ. Да еще то было тростниковый сахаръ, мокрый до того, что ковыряли мы его ложечкой“. Теперь фунтъ сахара стоитъ $2\frac{1}{2}$ пенса, фунтъ чая—1 шил. и пр. Другой старый работникъ Джозефъ Баддингтонъ вспоминаетъ: „Въ шестнадцать лѣтъ я получалъ 2 ш. 6 п. въ недѣлю (1 рубль 20 коп.). Потомъ ушелъ въ другую деревню, за 2 ф. 10 шил. въ годъ. Въ девятнадцать лѣтъ я получалъ въ годъ 4 фунта 15 шил. Въ двадцать четыре года фермеръ предложилъ мнѣ 6 ш. 6 п. въ недѣлю. Въ то время это считалось отличнымъ заработкомъ. Слышишь я, сквайръ говорилъ недавно, что шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ на 6 ш. 6 п. можно было купить столько же, сколько теперь на 23 шил. Въ 1845 г. четырехфунтовая коврига стоила 1 ш. 4 пенса, скверный сахаръ 9 пенсовъ, коринка—6 пенсовъ. А въ 1899 г., до бурской войны, за хлѣбъ мы платили 3 пенса, за сахаръ 2 п., за коринку для пуддинга—2 п. Такъ что теперь на шесть шиллинговъ можно накупить то, за что мой отецъ платилъ 1 ф. 3 ш. Но въ то время мы, сельскіе работники, мало могли привередничать насчетъ ёды. Питались мы рѣпой, ячменными лепешками да клецками изъ отрубей. Хорошій бѣлый хлѣбъ, какой ёдимъ теперь, тогда считался роскошью, какъ ростбифъ. Многіе работники тогда и не знали, что такое свѣжее мясо. Они только изрѣдка ёли конченое сало да солонину“. Работникъ Барнардъ вспоминаетъ: „Если мы тогда черный хлѣбъ, да еще такой скверный, что онъ никогда не выпекался, садился въ печи и выходилъ лепешками. Надрѣзанный хлѣбъ черезъ день покрывался плѣсенью, и запахъ отъ него былъ тяжелый“.

„Хлѣбъ и соль стоили дорого,—пишетъ старикъ Геффель,—вѣроятно, потому, что безъ нихъ работники не могъ обойтись. Деревенская лавочка торговала плохо, да и то больше на книжку, потому денегъ у насъ было мало. Богатѣть только сквайръ. Въ нашей деревнѣ мясникъ убивалъ только одну корову въ недѣлю, причемъ продавалъ полтуши, а другую часть отвозилъ въ городъ. Теперь жителей въ деревнѣ гораздо меныше, а между тѣмъ уяс-

никъ рѣжетъ въ недѣлю двухъ коровъ, да, кроме того, еще овей и овецъ". — Въ то время „ходжю“ жилось такъ плохо,—вспоминаетъ стариkъ Джэкобсъ, — что только и слышно было про бунты въ деревняхъ, про поджоги стоговъ и фермъ, про смертные казни и про ссылки въ Австралию. Помню я, предсѣдатель суда въ Винчестерѣ обратился къ присяжнымъ и просилъ ихъ судить пост роже, потому что „сельские работники всѣ до одного воры и разбойники“. Судья этотъ потомъ вызывалъ къ помѣщи камъ, убѣждая ихъ соединиться противъ „чумы“, т. е. насы. На фермѣ, гдѣ я работалъ, каждый день говорили, что того или другого товарища увезли въ тюрьму“. Не многимъ лучше была тогда доля „ходжа“, который уходилъ изъ деревни на фабрику въ городъ. „Моя старшая сестра уходила на ткацкую фабрику очень рано,—вспоминаетъ Джорджъ Олдфилдъ.—Какъ только май исполнилось девять лѣтъ, опредѣлили на фабрику и меня. Всю жизнь буду я помнить про то время! Вставали мы въ пять часовъ утра и шли на фабрику. Въ восемь дѣжался перерывъ на полчаса, затѣмъ другой такой же—въ 12 часовъ. Потомъ работали до четырехъ и послѣ короткаго перерыва въ нѣсколько минутъ—до $8\frac{1}{2}$ ч. Такимъ образомъ мы, девятилѣтнія дѣти, работали $12\frac{1}{2}$ часовъ въ сутки за 4 шил. въ недѣлю. На человѣка въ семье приходилось, въ общемъ, по 1 ш. 2 п. въ недѣлю... Спали тогда по нѣсколько человѣкъ въ одной постели“ *). Нашего крестьянина или фабричного это, конечно, поразить не можетъ. Джорджъ Олдфилдъ съ ужасомъ, напр., отмѣчаетъ, что въ семье одно одѣяло приходилось на два человѣка. Такой фактъ можетъ поразить англійского работника, привыкшаго къ удобной постели и къ постельному бѣлью, но не крестьянина, спящаго на полу, безъ простыней, и покрывающагося не одѣялами, а верхнимъ платьемъ. Но нужно стать при оцѣнкѣ этихъ фактовъ на англійскую точку зрѣнія. Слѣдуетъ знать, что Джорджъ Олдфилдъ описываетъ условія жизни ткачей въ Ланкаширѣ. Какъ измѣнились тамъ эти условія за 70 лѣтъ! Теперь семья ланкаширскихъ ткачей зарабатываетъ отъ 3—10 фунтовъ въ недѣлю. Живутъ тамъ работники въ удобныхъ коттеджахъ, въ 4—5 комнатъ. Въ домахъ можно найти піанино, мягкую мебель, ковры, маленькие библіотечки. Протекціонистамъ тамъ трудно убѣдить работниковъ, что свободная торговля—гибельна для нихъ.

*) The Hungry Forties. London. 1904, p.p. 18—274 (изданіе T. Fisher Unwin).

III.

Посмотримъ, что отвѣчаютъ фритрэдеры протекціонистамъ, когда послѣдніе констатируютъ плачевное положеніе земледѣлія въ Англіи.

„Совершенно нелѣпо говорить о гибели земледѣлія, — заявляетъ Кобденовскій клубъ. — Въ англійской деревнѣ мы разли-чаемъ три элемента: землевладѣльца, арендатора-фермера и сель-скаго работника. Землевладѣлецъ (the sleeping partner, по термино-логіи Кобденовскаго клуба) и фермеръ дѣйствительно сильно по-страдали въ послѣднія двадцать пять лѣтъ вслѣдствіе паденія цѣнъ на сельскіе продукты. Рента значительно понизилась, хотя, главнымъ образомъ, въ земледѣльческихъ округахъ Англіи, а не тамъ, гдѣ лежатъ пастваща. Нужно помнить однако, что рента сильно повысилась въ 1855—1875 г.г. Врядъ ли гдѣ-нибудь въ Англіи арендная плата на землю пала ниже, чѣмъ была пять-десять лѣтъ тому назадъ. Прибыль фермеровъ тоже сильно по-низилась въ послѣдніе годы. Значительная часть нивъ обращена въ пастваща. Все это такъ. За то третій элементъ деревни, сельскіе работники особенно выиграли отъ замѣнѣнія протекціо-низма фритрэдерствомъ. Не только повысилась заработка плата, но понизилась, параллельно съ этимъ, стоимость платы и пищи. Не подлежитъ сомнѣнію, что благосостояніе сельскихъ работни-ковъ теперь на 50 проц. лучше, чѣмъ 25 лѣтъ тому назадъ, и на 100 проц. лучше, чѣмъ въ 1846 г.

Вѣрно, что число сельскихъ работниковъ уменьшилось. Час-то утверждалось, что „ходжа“ гонить изъ деревни отсутствіе заработка и затруднительное положеніе фермеровъ. Но въ дѣ-ствительности мы видимъ нечто другое,—продолжаетъ Кобденов-скій клубъ *). Сельскіе работники уходятъ въ городъ потому, что разсчитываются на болѣе высокіе заработки на фабрикѣ, на желѣзной дорогѣ, въ полиціи и пр. Исходъ изъ деревни, начав-шійся въ періодѣ между 1870 и 1880 г.г., прежде чѣмъ пали цѣнны на хлѣбъ, вызвалъ повышеніе заработной платы на фер-махъ. Это обстоятельство усилило затруднительное положеніе фермеровъ. Стоимость производства возросла. Фермеры принуж-дены были возможно больше экономничать и сокращать число работниковъ. Превращеніе пашенъ въ пастваща въ значительной степени объясняется повышеніемъ стоимости труда и пониже-ніемъ производительности земли. Но уменьшеніе числа сельскихъ работниковъ нельзя объяснить только сокращеніемъ площиади паш-тной земли. Значительная экономія въ живомъ труде была вы-

*) Cobden Club's Reply. Rained and threatened trades. 1904, p.p. 58—62.
№ 1. Отдѣль II.

гадана на фермахъ всякаго рода путемъ введенія сельскохозяйственныхъ машинъ. Побужденіемъ къ соблюденію экономіи явилось повышение заработной платы и исходъ изъ деревни въ городъ.

Процессъ превращенія пашенъ въ пастбища сократилъ, конечно, производительность земли. Но очень легко преувеличить вліяніе процесса,— объясняютъ экономисты Кобденовскаго клуба. Мѣрой пониженія является разница между производительностью земли подъ плугомъ и когда она обращена въ лугъ. Нужно помнить, что 3%, площади Англіи всегда были пастбищемъ. Въ 1871—75 гг. площадь пастбищъ измѣрялась 10.460,000 акровъ, а пашенъ 13 460,000 акровъ. Съ тѣхъ поръ пашни уменьшились на 2.500.000 акровъ. Пятая часть обрабатываемой земли превращена была въ луга. Площадь, занятая раньше пастбищемъ, увеличилась, такимъ образомъ, на 25 проц. Потеря страны отъ этого процесса, — говорятъ кобденисты, — измѣряется разницей между цѣнностью продуктовъ, доставляемыхъ этой землей раньше и теперь. При нынѣшнихъ цѣнахъ разница эта не больше, чѣмъ 3—4 ф. ст. на акръ. Хотя потеря эта на первый взглядъ кажется значительной, но она уравновѣшивается громадной выгодой, извлекаемой всѣмъ населеніемъ Англіи изъ паденія цѣнъ на пищевые продукты всякаго рода. Выиграли также фабриканты, имѣющіе теперь возможность покупать дешево сырье продукты для обработки.

Выгода, получаемая страной отъ свободной торговли, на много миллионовъ превышаетъ потери вслѣдствіе уменьшенія производительности земли.

Въ настоящее время вліяніе ренты и рабочаго рынка создало известную систему разновѣсія въ земледѣльческихъ округахъ Англіи. Всюду есть желающіе арендовать фермы. Въ некоторыхъ графствахъ является даже больше желающихъ, чѣмъ свободныхъ фермъ. Это показываетъ, что есть еще способные къ земледѣльческому труду люди, увѣренны, что можно съ выгодой вложить свой капиталъ и трудъ въ деревнѣ. Земля въ Англіи обрабатывается еще. Число лошадей, коровъ и мелкаго скота значительно увеличилось. Я приведу здесь нѣсколько цыфъ, показывающихъ живой инвентарь въ Англіи и Ирландіи. Цыфры взяты изъ статьи проф. Джэйса Лонга, помѣщенной въ годичномъ обзѣвъ *Manchester Guardian*.

ВЪ АНГЛІИ:

	1904.	1903.
Лошадей	1,560,236	1,537,154
Круп. рог. скота .	6,860,352	6,704,618
Овецъ	25,207,174	25,639,797
Свиней	2,861,644	2,686,561

ВЪ ИРЛАНДИИ:

Лошадей	608,811 .	595,746
Муловъ	29,941 .	29,795
Ословъ	244,167 .	243,241
Круп. рог. скота .	4,677,132 .	4,664,112
Овецъ	3,827,884 .	3,944,604
Свиней	1,315,523 .	1,383,516
Козъ	290,918 .	299,120 *)

Въ послѣдніе годы значительно увеличиваются огородничество и садоводство. При наличности этихъ условій,—продолжаютъ кобдэнисты,—хотя можно пожалѣть нѣкоторыхъ фермеровъ, потерпѣвшихъ убытки вслѣдствіе паденія цѣнъ,—приходится только порадоваться улучшенію положенія сельскихъ работниковъ. Совершенно непонятно, какъ можно говорить, будто вообще землемѣдѣліе въ Англіи убито.

Совершенно вѣрно,—говорятъ фритрэдеры,—что Кобдэнъ не думалъ, что интересы фермеровъ пострадаютъ отъ введенія свободной торговли. Предположенія его подтвердились въ теченіе тринацати лѣтъ. Послѣ отмѣны хлѣбныхъ налоговъ цѣнность земли увеличилась параллельно съ возрастаніемъ благосостоянія населенія. Такъ продолжалось до 1878 г., когда цѣны начали падать; процессъ этотъ наблюдается до настоящаго времени. Не одна только Англія страдаетъ теперь отъ землемѣдѣльческаго кризиса. Чувствуется онъ также въ Германіи, Франціи и, въ особенности, въ восточныхъ штатахъ Сѣверной Америки.

Если бы Кобдэнъ предвидѣлъ паденіе цѣнъ на хлѣбъ и понижение ренты, взгляды его на свободную торговлю, навѣрное, не измѣнились бы. Онъ часто повторялъ, что высокая рента является главной причиной землемѣдѣльческихъ кризисовъ и отнюдь не можетъ служить показателемъ благосостоянія. Въ одной изъ своихъ рѣчей онъ заявилъ, что понизилъ ренту въ своей вотчинѣ въ Суссексѣ и уѣдилъ помѣщиковъ послѣдовать его примѣру. Если бы Кобдэнъ могъ предвидѣть, что случится черезъ тридцать лѣтъ послѣ отмѣны хлѣбныхъ налоговъ,—продолжаютъ фритрэдеры,—онъ еще съ большею настойчивостью сталъ бы проповѣдывать необходимость земельныхъ реформъ, которая настойательно рекомендовалъ тогда. Преобразованія эти должны были ввести въ Англіи мелкое землевладѣніе. Въ такомъ случаѣ, исходѣ изъ деревень не принялъ бы массового характера, какъ теперь. Во всякомъ случаѣ,—заканчиваютъ кобдэнисты,—система свободной торговли существуетъ въ Англіи шестьдесятъ лѣтъ. Населеніе привыкло имѣть дешевую пищу и платить по недорогой цѣнѣ. Было бы чистыи безумiemъ мнѣять все это теперь. Искусственное повышеніе цѣнъ неминуемо поведетъ за собою пониженіе заработной платы и ухудшеніе положенія рабочаго класса.

*) „The Year's Agriculture“. *The Manchester Guardian*, Saturday, December 31, 1904, p. 43,

Быть можетъ, читатели вспомнятъ любопытное, колоссальное изслѣдованіе Райдера Хаггарда „Rural England“, о которомъ я писалъ въ *Русскомъ Богатствѣ* въ 1902 г. *). Авторъ—протекціонистъ. Онъ думаетъ, что налоги на хлѣбъ помогли бы фермерамъ стать на ноги, но, въ то же время, полагаетъ, что это средство непримѣнно. „Ходжъ“—смиренъ, но есть одно, что заставило бы его начать бунтовать. И это — дорогой хлѣбъ. Возвращеніе къ протекціонизму создало бы въ Англіи аграрную революцію,—по мнѣнію Райдера Хаггарда. Тѣ явленія, о которыхъ вспоминаетъ одинъ изъ авторовъ цитированной выше книги *The Hungry Forties*, — не только вполнѣ возможны при возвращеніи къ дорогому хлѣбу, но примутъ вѣроятно болѣе организованный и болѣе грозный характеръ.

IV.

Итакъ, серьезные изслѣдователи полагаютъ, что налогъ на хлѣбъ непрактичное средство для возрожденія англійскаго земледѣлія. Протекціонисты предлагаютъ налогъ въ 2—5 шиллинговъ на четверть иностранной пшеницы. Врядъ ли англійскіе фермеры выиграли бы что нибудь отъ этого. Ихъ конкурентами на англійскомъ рынке явились бы немедленно канадскіе и австралійскіе фермеры. Теперь, когда они встрѣчаются съ конкурентами изъ Соедин. Штатовъ, Россіи и Аргентины, они посыпаютъ шесть миллионовъ четвертей пшеницы. Когда же конкуренты будутъ устраниены пошлиной (колоніальные продукты будутъ избавлены отъ нея), Канада и Австралія заполнятъ своею пшеницей англійскій рынокъ. Англійскіе фермеры будутъ сметены.

Конечно, имъ все равно, кто вытѣснить ихъ: колоніальные ли конкуренты, или иностранцы. Налогъ на хлѣбъ принесъ бы выгоду только Канадѣ и Австраліи, но не спасъ бы англійскихъ фермеровъ.

Посмотримъ на другіе проекты, предлагаемые для спасенія англійского земледѣлія. Многіе изъ нихъ сводятся къ замѣнѣ нынѣшней системы землевладѣнія другой и къ введенію класса мелкихъ фермеровъ-собственниковъ **). Начнемъ съ проектовъ протекціонистовъ.

Въ 1896 г. министерство Розбери назначило комиссію для изслѣдованія причинъ паденія земледѣлія въ Англіи. Коммісія собрала богатый матеріалъ и намѣтила рядъ реформъ, изъ которыхъ осуществлена только очень незначительная часть. Къ вожалѣнію, совершенно вѣрно,—читаемъ мы въ официальномъ отчетѣ,—что со времени послѣдняго изслѣдованія положеніе

*) См. очеркъ „Земля“ въ моей книжкѣ „Англійскіе этюды“.

**) См. тамъ же.

земледѣлія ухудшилось. Фермеры переживаютъ очень тяжелый кризисъ. Они понесли значительныя потери въ капиталѣ и получаютъ очень небольшіе доходы; правильнѣе было бы сказать,— никакихъ доходовъ. Большая часть фермеровъ разорена, остальные еле-еле сводятъ концы съ концами. Количество сельскихъ работниковъ уменьшается, несмотря на то, что населеніе Англіи быстро возрастаетъ. Тамъ, где фермеры держатся еще, обуславливается это слѣдующими причинами: уменьшеніемъ ренты, экономіей въ работѣ, паденіемъ цѣнъ на удобренія и на привозный кормъ для скота, а также на всѣ продукты, не производимые на фермѣ. Чтобы снять и вести ферму, требуется теперь меньше капитала, чѣмъ въ былое время высокихъ цѣнъ и значительной ренты. Земельная реформа, проведенная парламентомъ въ 1896 г. (Agricultural Rating Act, о которомъ см. упомянутый очеркъ „Земля“), принесла нѣкоторое облегченіе фермерамъ, но многое еще остается сдѣлать. Образованіе должно быть такъ же общедоступно для сельского населенія, какъ и для городского. Фермерамъ необходимо соединиться въ союзы съ целью улучшить качество молочныхъ продуктовъ и чтобы возможно скорѣе и дешевле доставлять эти продукты на рынокъ. Кооперациѣ необходима также для приобрѣтенія сообща лучшаго удобренія, корма для скота и сѣмянъ. Пониженіе желѣзнодорожныхъ тарифовъ на сельскіе продукты явится значительнымъ облегченіемъ для земледѣлія *). Мы пришли также къ заключенію, что большую пользу принесъ бы законъ, который обеспечилъ бы

*.) Нѣсколько фактовъ выясняютъ значеніе этихъ словъ. Перевозка грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ въ Англіи обходится дороже, чѣмъ гдѣ бы то ни было на континентѣ. Доставить тонну угля за сто миль по желѣзной дорогѣ стоитъ въ Америкѣ 1 ш. 8 п., въ Бельгіи — 2 ш. 10 п., въ Германіи — 3 ш. 8 п., Въ Англіи — 7 ш. 6 пенсовъ. Доставить тонну яблокъ изъ Фольксстона въ Лондонъ (сто верстъ съ лишнимъ) стоитъ 1 ф. 14 ш. 1 п.

изъ Калифорніи въ Лондонъ . . . 15 ш. 8 п.

2) Перевозка тонны говядины:

изъ Ливерпуля въ Лондонъ . . .	2 ф. —	ш. —	п.
„ Аргентины	—	11 ,	5 .

3) Доставка тонны яицъ:

изъ Голуэй (въ Ирландіи) въ Лондонъ .	4 ф. 14 ш. —	п.	
„ Даніи въ Лондонъ	1 ,	4 . —	
„ Россіи въ	1 ,	2 . —	
„ Нормандіи въ Лондонъ	— ,	16 ,	8 .

4) Доставка тонны сливъ, яблокъ или грушъ:

изъ Куинборо въ Лондонъ (65 верстъ) .	1 ф. 5 ш. —	п.	
„ Флешинга (въ Голландіи)	— ,	12 ,	6 .

5) Доставка тонны желѣзныхъ издѣлій:

изъ Бирмингама въ Лондонъ . . .	— ф. 10 ш. 9 п.		
„ Германіи	— ,	4 ,	9 .

(См. книгу George J. Wardle, „Nationalization of Railways“, 1904, p. p. 28 и дальше).

права арендатора: фермеръ долженъ получить полное вознаграждение за сдѣланныя имъ улучшения. Такой законъ поощрялъ бы фермеровъ вкладывать капиталъ въ арендуемые ими участки.

„Мы полагаемъ,—продолжаетъ комиссія,—что при соотвѣтствующихъ реформахъ земледѣліе можетъ держаться въ Англіи, не смотря на низкія цѣны. Оно въ состояніи приносить прибыль фермерамъ, хотя, быть можетъ, не такую высокую, какъ раньше... Въ нѣкоторыхъ графствахъ, гдѣ почва и положеніе не благопріятны, земледѣліе такъ сильно пострадало, что надежды на возрожденіе его крайне слабы. Если доходы фермера зависятъ только отъ урожая пшеницы, цѣны на которую сильно упали, и если, къ тому же, онъ не можетъ сократить свои расходы по найму рабочихъ,—то, очевидно, долженъ наступить моментъ, когда арендаторъ не будетъ въ состояніи платить ренту и обрабатывать землю. Э тотъ именно моментъ наступилъ уже въ юго-восточной части Эссекса. То же случилось бы и во многихъ другихъ мѣстахъ, если бы землевладѣльцы и арендаторы не предприняли большихъ жертвъ для предотвращенія катастрофы. Когда средства у этихъ фермеровъ истощатся, то, если пшеница не повысится въ цѣнѣ, большая площадь пахатной земли превратится въ грубая пастбища, представляющія очень малую цѣнность... Положеніе земледѣля не можетъ быть улучшено дальнѣйшимъ пониженіемъ ренты, все равно, добровольнымъ или принудительнымъ. Измѣненіе арендныхъ условій тоже не принесетъ радикального облегченія. Въ нѣкоторыхъ графствахъ рента уже такъ низка, что ея не хватаетъ на поддержаніе усадьбы, службы и дренажа. Дальнѣйшее пониженіе арендной платы было бы прямо не выгодно для фермера. Не подлежитъ сомнѣнію, что во многихъ мѣстахъ мелкие фермеры могли бы отлично продержаться; но въ тѣхъ графствахъ, гдѣ земледѣліе теперь совершенно убито, по нашему мнѣнію, и мелкие фермеры ничего не сдѣлали бы. Землевладѣльцы отнюдь не налагають тягостныхъ условій на мелкихъ фермеровъ и не желаютъ ихъ терять *). Законодательство, которое повело бы за собою сокращеніе доходовъ лэндлорда, было бы скорѣе не выгодно для арендатора... Тяжелое положеніе земледѣлія обусловливается, главнымъ образомъ, паденiemъ цѣнъ, которое, въ свою очерь, вызвано соперничествомъ иностранцевъ. Такъ какъ условія эти продолжаютъ существовать, то слѣдуетъ ожидать дальнѣйшаго превращенія пашенъ въ пастбища“. Среди подписавшихъ протоколъ мы видимъ имена извѣстнаго статистика сэра Роберта Гиффена, Ултера Лонга, Чэплина и др.

Комиссія рекомендовала однако нѣкоторыя мѣры: поправки въ актѣ относительно аренды земли, особое министерство земле-

*) Всѣ факты, добытые Лигой для націонализациі земли, противорѣчать этому утвержденію. Землевладѣльцы, наоборотъ, крайне неохотно сдаютъ мелкие участки и ставятъ при этомъ зачастую невозможныя условія.

дѣлія, улучшеніе школы въ деревнѣ, дешевый и легкій кредитъ для фермеровъ и т. д.

Въ концѣ 1904 г. появился проектъ „Can we grow wheat profitably“ (Можемъ ли мы съ выгодой для себя съять пшеницу?), написанный известнымъ въ Англіи хозяиномъ-практикомъ Картью (I. K. Carthew), откровеннымъ защитникомъ налога на хлѣбъ. Авторъ констатируетъ вначалѣ известные уже намъ факты относительно паденія земледѣлія въ Англіи. „Въ то время, какъ производство главного продукта питания сократилось въ такой устрашающей степени,—говорить авторъ,—населеніе Великобританіи увеличилось на 10 милл., т. е. на 30 проц. На вопросъ: „Чѣмъ объясняется паденіе англійскаго земледѣлія?“ — отвѣтить очень легко: пониженіе цѣнъ на хлѣбъ обусловливается развитіемъ земледѣлія въ сѣверной и южной Америкѣ, въ Австраліи и въ Индіи, а также болѣе легкимъ и быстрымъ сообщеніемъ. И хотя населеніе на земномъ шарѣ увеличивается съ каждымъ годомъ, производительность земли въ различныхъ странахъ возрастаетъ еще быстрѣе. Мы имѣемъ тутъ законъ Мальтуса, но только на *съворотѣ*.

„Не нужно удивляться,—продолжаетъ авторъ,—почему англійская пшеница цѣнится на 4—5 шил. дешевле иностранной. Первая содержитъ въ себѣ болѣе влаги, чѣмъ вторая. Мука изъ англійской пшеницы вбираетъ менѣе влаги, даетъ меньшій припекъ, чѣмъ привезенная съ континента, поэтому не такъ выгода для булочниковъ. Англійская мука содержитъ также меньше клейковины. Хлѣбъ изъ нея хотя вкусенъ и душистъ, выходитъ размѣромъ меньше и не такъ пріятенъ для глаза, какъ хлѣбъ, выпеченный изъ привозной муки“.

Увеличеніе площиади пастбищъ идетъ на счетъ сокращенія пашень. Фермеры говорятъ, что „трава вытѣсняетъ пшеницу“ (grassed out), выгоняя въ то же время работниковъ изъ деревень. Съ опустѣніемъ деревни,—продолжаетъ Картью,—въ ней становится также меньше работы для слесаря, кузнеца, плотника, каменщика, шорника, колесника и пр. Меньше клиентовъ имѣютъ также булочникъ, мясникъ, продавецъ бакалеи, портной, сапожникъ и др. *). Можетъ ли быть улучшено положеніе деревни?—спрашиваетъ авторъ: существуютъ ли какія нибудь средства, примененіе которыхъ вызвало бы обратную тягу изъ города въ деревню? Да,—отвѣтываетъ Картью,—средство есть, хотя и нѣсколько дорогое, но за то основательное. Необходимо путемъ высокихъ налоговъ на хлѣбъ такъ искусственно повысить цѣны на пшеницу, чтобы фермерамъ было выгодно культивировать ее. Про-

*) Упомянутая уже книга *The Hungry Forties* констатируетъ обратные факты. Несмотря на тягу въ городъ, деревенскіе лавочники, булочники и мясники, вслѣдствіе улучшенія положенія „ходжа“, торгуютъ теперь бойчѣ, чѣмъ шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ.

такционисты робко говорятъ о налогахъ въ 2 — 4 шил. на четверть. Картю категорически заявляетъ, что такой ничтожный налогъ не дастъ никакихъ результатовъ. „Четыре шиллинга на четверть,—говорить авторъ,—составить только шесть пенсовъ на бушель. Это подниметъ цѣны на пшеницу *всего только* на 10—15 проц. Каждый фермеръ скажетъ, что это мало. Налогъ въ четыре шиллинга дастъ только фермерамъ возможность дышать свободнѣе, но отнюдь не расширить запаски. Безъ этого же не будетъ ни большаго спроса на трудъ сельскихъ работниковъ, ни необходимости увеличить живой инвентарь. Не вполнѣ достаточенъ также налогъ въ 8 шиллинговъ на четверть, хотя это увеличило бы производительность земли на 50 проц. Чтобы англійское земледѣліе прочно стало на ноги, — продолжаетъ Картю,—необходимо, чтобы цѣны на пшеницу поднялись до 40 шиллинговъ за четверть. Другими словами, необходимъ налогъ на хлѣбъ въ размѣрѣ двѣнадцати шиллинговъ на четверть. Осуществленіе такой „реформы“ привлекло бы обратно изъ городовъ въ деревню, по расчету Картю, 350.000 сельскихъ работниковъ, ремесленниковъ и лавочниковъ съ семьями, т. е. около 1.750.000 человѣкъ. Въ городахъ тогда стало бы легче жить, оживились бы многія отрасли промышленности. Правда, такой налогъ обошелся бы потребителямъ въ 18 мил. ф. ст., но за то земледѣліе въ Англіи расцвѣло бы“ *).

Подобная экономическая фантазія, не смотря на заманчивость ихъ для нѣкоторыхъ, — имѣютъ одно неудобство: они не выдерживаютъ даже самой синхордитальной критики. Въ самомъ дѣлѣ: „оживленіе деревни“, т. е. обогащеніе фермеровъ основывается на откровенномъ грабежѣ всего населенія. Такъ какъ англійские работники имѣютъ теперь право голоса и отлично понимаютъ, что такое дорогой хлѣбъ, — то министерство, которое дерзнуло бы выставить на выборахъ программой такую безумную реформу, какая желательна Картю, было бы политически похоронено навсегда. Если бы торійское министерство вадумало ввести такой налогъ, не обратившись предварительно къ странѣ за полномочіями,—оно создало бы рядъ мятежей, какъ въ Бирмингемѣ въ тридцатыхъ годахъ. Налогъ на хлѣбъ убилъ бы много отраслей промышленности, пользующихся мукой, крупой или крахмаломъ, какъ сырымъ продуктомъ. Нагляднымъ примѣромъ является налогъ на сахаръ. Англія присоединилась къ брюссельской конференці, потому что торійское министерство желало помочь вѣстъ-индскимъ сахарозаводчикамъ. Предполагалось, что продуктъ въ Англіи не увеличится отъ маленькаго налога. Въ дѣйствительности оказалось, что сахаръ поднялся на 80 проц. Это обстоятельство отразилось на цѣломъ рядѣ фаб-

*) „Can we grow wheat profitably?“, р.р. 2—28.

риеъ, пользующихся сахаромъ, какъ сырымъ продуктомъ (шоколадные фабрики, конфетные, бисквитные и пр.; заводы, приготавляющія машины и жестянки для упомянутыхъ фабрикъ). Повышение цѣнъ на сахаръ вызвало рядъ банкротствъ фабрикантовъ. Десятки тысячъ работниковъ очутились на улицѣ; теперь судьба ихъ—сильно беспокоитъ многихъ въ Англіи.

Проектъ Картью неосуществимъ также вслѣдствіе конкуренціи Канады и Австралии. Картью—имперіалистъ, т. е. стоитъ за сліяніе метрополіи съ колоніями въ одинъ экономической микрокосмъ. Метрополія должна перерабатывать сырье, доставляемое колоніями, а колонисты явятся покупателями этихъ фабрикатовъ. Чтобы самоуправляющіяся колоніи присоединились къ имперскому центральному, необходимо сдѣлать имъ уступки. Канадскіе и австралійскіе фермеры, конечно, не должны будуть платить пошлины, когда пришлютъ свой хлѣбъ въ Англію. А если такъ, то у англійскихъ фермеровъ явятся страшные конкуренты, которые въ одинъ годъ захватятъ весь внутренній рынокъ. Канадскимъ фермерамъ выгодно теперь культивировать пшеницу, доставлять ее въ Англію и продавать по 26—28 шил. за четверть. Можно представить себѣ, какимъ поощреніемъ для Канады явился бы законъ, въ силу которого цѣны на пшеницу поднялись бы въ Англіи до 40 шил. Всѣ пустующія еще земли въ Ассиніобой и Манитобѣ были бы быстро вспаханы. И въ настоящее время „ходжъ“, любящій землю, переселяется въ Канаду, куда его привлекаютъ высокая заработка плата (25 долларовъ въ мѣсяцъ) и даровая раздача земельныхъ участковъ въ 60 акровъ. Если бы хлѣбные налоги въ Англіи прошли, канадское правительство предложило бы „ходжу“ еще болѣе выгодные условия. Началась бы усиленная тяга не изъ города въ деревню, а изъ города и деревни за океанъ, въ Канаду. Черезъ два года дѣвственные преріи колосились бы богатою жатвой, а въ октябрѣ—колossalные пароходы, нагруженные пшеницей, потянулись бы на востокъ, въ Глааго и въ Ливерпуль. Что стасть тогда съ англійскими фермерами?

V.

Другой характеръ носить проектъ, предложенный проф. Фэйрфаксомъ Колмели—„To Replace the Old Order“ *). Авторъ начинаетъ съ категорического заявленія, что „система лэнддордизма отжила совершенно свой вѣкъ“. „Всѣ партіи согласны, что опустѣніе деревни представляетъ серьезную опасность для Англіи. — говорить онъ дальше... — Чѣмъ привлекательнѣе мы

*) „The independent Review“, December, 1904.

одѣлаемъ города, тѣмъ болѣе будуть пустѣть деревни. Съ другой стороны, если условія въ деревнѣ улучшатся, то тяга ро^{tanto} остановится... Разумные люди всѣхъ партій, съ другой стороны, понимаютъ, что протекціонизмъ не можетъ возродить земледѣлія въ Англіи и не въ силахъ сдѣлать его экономическимъ базисомъ Англіи, какъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Подобное возрожденіе было бы возможно только при искусственномъ по-вышеніи цѣнъ на хлѣбъ, что принесло бы съ собою хроническій голодъ массъ и промышленную катастрофу въ городахъ... Силой вещей мы доведены до слѣдующаго: или намъ надлежитъ полѣдовать примѣру фрітредерской Даніи и протекціонистской Фландріи, т. е. замѣнить наши большія фермы—молочными фермами и огородаами, основанными на принципахъ мелкаго хозяйства и кооперации, или оставить все по старому, что поведеть къ полному опустѣнію деревнї".

За послѣдніе годы методъ доставки пищевыхъ продуктовъ въ Англіи совершилъ измѣнія, методы земледѣльческіе измѣнились очень мало, и земельная система не измѣнилась совершенно. Система, составлявшая когда-то нашу гордость, — говорить *Independent Review*, — теперь превратилась для насъ въ каторгу. Въ области земледѣлія Англіи необходима теперь большая эластичность и большее разнообразіе: нужны разнообразіе въ размѣрахъ фермъ и эластичность въ методахъ агрікультуры. Необходимо также перенесеніе нѣкоторыхъ отраслей промышленности изъ городовъ въ деревнї. Настоятельно необходима независимость. Наиболѣе талантливые и энергичные люди ищутъ независимости въ городѣ, потому что не желаютъ оставаться въ деревнѣ, гдѣ морально чувствуется еще вліяніе старинной феодальной системы. Необходимо создать независимое положеніе мелкихъ фермеровъ. Старинныя градаціи на сквайровъ, крупныхъ фермеровъ и зависимыхъ сельскихъ работниковъ — теперь совершенно отжили свой вѣкъ. Система эта въ значительной степени способствовала гибели англійской деревнї, такъ какъ вызвала тягу въ городъ... До послѣдняго времени консервативные сквайры не допускали мелкихъ фермеровъ въ свои вотчины. Ренту гораздо легче собирать, когда земля сдана десятку крупныхъ арендаторовъ, чѣмъ когда она разбита на множество мелкихъ участковъ. Государство, по мнѣнію *Independent Review*, должно теперь вмѣшаться и оказать давлеіе на помѣщиковъ.

Дважды въ исторіи Англіи государство вмѣшивалось и измѣняло систему землевладѣнія. Въ первый разъ это случилось, когда монастырскія земли, подъ предлогомъ общественной пользы, передали лэндлордамъ; во второй разъ, — когда помѣщикамъ отдали общины земли, опять подъ тѣмъ же самымъ предлогомъ. Въ пользу помѣщиковъ, на которыхъ желала опереться королевская власть, ограбили аббатства и общины. Теперь общество, — продо-

жаеть *Independent Review*, имѣть право требовать во имя народнаго блага, чтобы лэндлорды возвратили землю. Если это еще не сдѣлано въ Англіи; если въ городахъ мы видимъ землю, не обложенну налогомъ, то только потому, что лэндлорды все еще имѣютъ преобладающее влияніе въ парламентѣ *). Дальше журналъ приводить не новые мотивы, почему общество вправѣ национализировать землю. „Собственность земельная отличается отъ всѣхъ другихъ формъ собственности“. Во - первыхъ, исторически полная собственность на землю—сравнительно недавнаго происхожденія. Эта форма совершенно неизвѣстна въ древней Англіи. Средніе вѣка не знали абсолютной земельной собственности. Тогда признавались только извѣстныя права, строго ограниченныя постановленіями общинъ. Во - вторыхъ, земля абсолютно необходима для всѣхъ другихъ предпріятій, и имѣется она только въ определенномъ количествѣ. „Можно изготовить еще машины, но нельзя изготовить еще землю. Можно выписать изъ Канады хлѣбъ, но нельзя сдѣлать тоже самое относительно земли. Англія имѣеть мало земли, а потому пользоваться ею должны всѣ. Если же вся земля будетъ принадлежать только немногимъ владѣльцамъ, облеченнымъ правомъ не допускать на нее фабрикантовъ, мелкихъ фермеровъ или просто отдыхающихъ людей, то раса неизбѣжно выродится физически и морально. Она неминуемо подпадетъ подъ игосперва монополистовъ, а потомъ — непріятеля. Все дѣло только-во времени“ **).

Но какимъ образомъ нанести ударъ монополистамъ, въ рукахъ которыхъ теперь вся земля? Какъ заселить деревни независимыми мелкими фермерами? Профессоръ Файрфэксъ Колмели намѣщаетъ аграрную программу для радикального министерства. Въ первую голову идеть вознагражденіе фермеровъ за всѣ сдѣланныя ими улучшенія на своихъ участкахъ (*Tenant Right*). „Законодателямъ надлежитъ не только ввести мелкое землевладѣніе и поощрить огородничество, но необходимо также содѣйствовать введенію болѣе прогрессивныхъ пріемовъ на большихъ фермахъ. Большия фермы должны быть раздѣлены на мелкие участки, но *Tenant right* побудить всѣхъ фермеровъ дѣлать всевозможныя улучшенія. По дѣйствующему нынѣ закону (*Agricultural Holdings Act*) вознагражденіе, получаемое фермерами за улучшенія, — до смѣшного недостаточно. Для выясненія, какое вознагражденіе имѣеть право получить отъ лэндлорда фермеръ, слѣдуетъ ввести особые третейскіе суды, но главнымъ образомъ аграрная реформа радикального министерства должна заключаться въ введеніи мелкихъ хозяйствъ. „Намъ необходима,—говорить *Independent Review*,—раса мелкихъ фермеровъ, объединенныхъ въ

*) *Independent Review*, December, 1904, p. p. 320—324.

**) *Ibid.*, p. 324.

кооперативные союзы, снабжающих городъ фруктами, овощами и молочными продуктами". Эти мелкие фермы будут существовать рядомъ съ большими фермами. Такимъ образомъ, отчасти разрѣшился вопросъ о сельскихъ работникахъ въ крупныхъ хозяйствахъ: дѣти мелкихъ фермеровъ будутъ искать подобная занятія по близости. Реформа должна дать всѣмъ сельскимъ работникамъ возможность имѣть клочокъ земли воалъ своего коттеджа, послѣдствиемъ чего явится большая экономическая независимость „ходжа“. Онъ не такъ уже будетъ находиться во власти своего хозяина. Только сознаніе своей независимости и надежда на лучшее будущее могутъ удержать „ходжа“ отъ переселенія въ городъ.

Въ послѣдніе годы были сдѣланы очень удачныя попытки ввести въ Англіи подобныя мелкія хозяйства *). Чтобы процессъ шелъ быстрѣе,—говорить Фэйрфэксъ Колмели,—необходимо дать городскимъ и сельскимъ совѣтамъ право принудительного отчужденія земли. Въ послѣднее время не разъ бывало, что помѣщики наотрѣзъ отказывали совѣтамъ графства, желавшимъ купить землю для мелкихъ хозяйствъ. Въ настоящее время сквайръ имѣеть еще слишкомъ много вліянія въ сельскихъ совѣтахъ. Когда избиратели—сельские работники—пріобрѣтутъ независимость, сельские совѣты станутъ болѣе демократичны. Городскіе и сельскіе совѣты должны скупить землю и сдавать ее въ аренду мелкими участками. Полное право на землю не желательно, такъ какъ это возродитъ только лэндлордизмъ. Теперь помѣщики не хотятъ сдавать землю небольшими участками. Когда же городскіе и сельскіе совѣты получать право принудительного отчужденія и когда, такимъ образомъ, лэндлордамъ будетъ грозить опасность совершенно разстаться съ своими вотчинами,—они охотнѣе будутъ вступать въ договоры съ мелкими фермерами. Цѣль аграрной реформы, такимъ образомъ, во всякомъ случаѣ будетъ достигнута.

Реформа должна коснуться также жилищъ въ деревнѣ. Иные лэндлорды выстроили для сельскихъ работниковъ хорошіе коттеджи и поддерживаютъ ихъ въ порядкѣ. Другіе помѣщики не дѣлаются этого — по нежеланію или по отсутствію средствъ. Въ такомъ случаѣ о коттеджахъ для сельскихъ работниковъ должны заботиться сельскіе и графскіе совѣты.

Дальнѣйшимъ пунктомъ новой аграрной программы является демократическое министерство земледѣлія, которое должно служить „мозгомъ обновленной земледѣльческой Англіи“. Демократическое министерство имѣло бы въ своемъ распоряженіи для соціальныхъ опытовъ богатый матеріалъ: обширныя коронныя земли.

*) „The Villages of the Future“, р. 398 и дальше. Особенно удачны опыты въ Ланкаширѣ. Въ очеркѣ „Земля“ („Англійскіе силуэты“, стр. 346—377) читатель найдетъ подробности.

Мелкіе фермеры, чтобы удержаться, должны заключать между собою союзы и артели. Безъ кооперацій система мелкихъ хозяйствъ не дастъ никакихъ результатовъ. Союзы эти необходимы, чтобы сообща покупать машины, затѣмъ—для кредита и для успѣшной доставки продуктовъ на рынокъ. Мелкій фермеръ иногда затрачиваетъ на то, чтобы продать на рынокъ овцу, столько же времени, сколько крупный фермеръ — для продажи цѣлаго стада. Уходить время, которое можетъ быть затрачено производительно въ полѣ или въ огородѣ. Путемъ участія въ кооперативномъ союзѣ мелкій фермеръ сбережетъ время, обеспечить себѣ выгодный рынокъ и удобную доставку туда своихъ продуктовъ. Принципъ взаимопомощи долженъ быть широко примѣненъ въ мелкихъ хозяйствахъ. Коопераціи будутъ дѣйствовать воспитательнымъ образомъ на мелкихъ фермеровъ. Черезъ несколько лѣтъ, когда вырастетъ въ деревнѣ новая раса, привыкшая къ независимости и къ взаимной помощи, будетъ умѣстно сдѣлать слѣдующій шагъ: ввести въ деревнѣ кооперативное владѣніе землей *). Въ настоящее время въ Великобританіи существуетъ цѣлый рядъ кооперативныхъ фермъ. Мы имѣемъ простые союзы мелкихъ фермеровъ для совмѣстной продажи продуктовъ. Успѣшнѣе всего такие союзы идутъ въ Ирландіи. Кооперативный принципъ на молочныхъ фермахъ примѣненъ тамъ былъ впервые въ 1889 г. Въ 1890 г. тамъ было только одно кооперативное общество мелкихъ фермеровъ, въ 1891—17, а къ концу 1900 г.—412. Въ августѣ 1901 г. всѣхъ обществъ было уже 470. Они объединили 54000 мелкихъ фермеровъ. Въ 1900 г. ирландскія кооперативныя молочные отправили въ Англію масла на 700.000 ф. ст. „Ростъ этихъ кооперацій объясняется тѣмъ, что сообща можно завести лучшія машины для приготовленія масла. Продуктъ, доставляемый кооперативными ирландскими молочными, такъ хорошъ, что на него громадный спросъ, вслѣдствіе чего участники союза получаютъ отличные барыші“ **).

Затѣмъ мы имѣемъ также кооперативная земледѣльческія фермы, принадлежащія громаднымъ потребительнымъ обществамъ. Наиболѣе замѣчательны въ этомъ отношеніи двѣ фермы: Кэтерингская и Вуличская, близъ Лондона. Когда-то я подробно описалъ ихъ въ *Русскомъ Богатствѣ*. Я указалъ тогда, почему отдельные земледѣльческія коопераціи въ Англіи терпѣли долго неудачу и почему Кэтерингская ферма, имѣющая обеспеченный рынокъ, такъ прочно стала на ноги. Всѣ успѣшнѣя англійскія кооперативныя фермы имѣютъ, приблизительно, такое происхожденіе. Возникаетъ потребительное общество. Разростаясь, оно становится производительно-потребительнымъ. Для удовлетворенія соченовъ

*) Indep. R. XII, 1904, p. 332.

**) Encyclopedia Britannica, „The New volumes“, v. XXVII, p. 230.

является более выгоднымъ самому обществу заняться изготавлениемъ платья, башмаковъ, печениемъ хлѣба и пр. Въ концѣ-концовъ, когда значительная часть населенія города принимаетъ участіе въ кооперативномъ движеніи, возникаютъ кооперативныя фермы. Такъ было въ Кэтерингѣ, который на $\frac{9}{10}$ —кооперативный городъ. Кооператоры имѣютъ мастерскія, въ которыхъ работницами и директорами являются сочлены, лавки, цѣльныя улицы коттеджей, наконецъ, громадную ферму. Мы видимъ тамъ вольный союзъ двухъ колоніальныхъ кооперацій, послѣдствіемъ чего явился еще болѣе обширный обеспеченійный рынокъ. Въ Кэтерингѣ частные предприниматели вступали года три тому назадъ въ бой съ коопераціями, для разгрома которыхъ лавочники и лэндлорды составили лигу. Многіе фабриканты присоединились къ лигѣ и разсчитали работниковъ, состоявшихъ членами хотя бы потребительного общества. Домовладѣльцы отказывали кооператорамъ отъ квартиръ. „Лига“ обратилась за средствами къ лавочникамъ всей Англіи; но на помощь къ кооператорамъ явились остальные англійскія коопераціи и щедро поддержали деньгами. Разсчитанные рабочіе стали членами производительного общества. Для лицъ, которымъ лэндлорды отказали въ квартирѣ, кооперація выстроила цѣлую улицу (Liberty Street, т. е. улицу Свободы). Въ концѣ-концовъ, кооперація побѣдила. Такимъ образомъ, земельная реформа, которую рекомендуетъ *Independent Review*, въ общемъ, испытанное уже въ Англіи средство, которое дало очень хорошия результаты.

Всѣ намѣченные пункты аграрной программы не могутъ встрѣтить сильного сопротивленія въ парламентѣ. Нельзя сказать этого о проектѣ обложения налогомъ необработанной земли, который предлагается Фэйрфэксъ Колмели. Противъ такого налога встанетъ вся палата лордовъ. Между тѣмъ, какъ доказывается авторъ, такой налогъ абсолютно необходимъ, если имѣть въ виду широкую аграрную реформу. „Незаработанное приращеніе“ (*the Unearned increment*) составляетъ колоссальную сумму. Въ одномъ Лондонѣ за 30 лѣтъ оно достигло 77 миллионовъ рублей. „Лэндлорды не работаютъ, не рискуютъ и не экономизируютъ: они богатѣютъ во снѣ. Исходя изъ принципа соціальной справедливости,—нужно прийти къ заключенію, что лэндлорды не имѣютъ никакого права на „незаработанное приращеніе“ *). Англійскіе экономисты не перестаютъ доказывать, что налогъ на землю всегда существовалъ, покуда лэндлорды не захватили въ свои руки парламенты. Въ своей книгѣ „Шесть вѣковъ труда и зарплатной платы“ Торольдъ Роджерсъ показываетъ, какимъ образомъ съ течениемъ времени лэндлорды свалили всѣ государствен-

*) J. S. Mill, „Principles of Political Economy“. Book v., Chapter II, § 5 (стр. 492 изданія 1865 г.).

ные расходы съ себя на плечи коммонаровъ, хотя получили землю именно на условіяхъ — покрывать государственные расходы. Такимъ образомъ, введение земельнаго налога было бы только напоминаніемъ о неисполненному обязательствѣ.

„До тѣхъ поръ, покуда необработанная земля не будетъ обложена прогрессивнымъ налогомъ,—говоритъ проф. Файрфаксъ Колмели, — лэндлордъ явится всегда врагомъ мелкаго фермера“. Теперь сквайры находятъ болѣе выгодны для себя прогонять фермеровъ съ земли и превращать пашни и луга въ верещаки. „На этихъ верещакахъ разводятъ куропатокъ. Поля потомъ сдаются для охоты англійскимъ и американскимъ миллионерамъ. Налогъ на необработанные земли покончитъ со всѣмъ этимъ.“

„Наступившій вѣкъ ознаменуется колоссальной борьбой между интересами общества и отдельныхъ монополистовъ,—говорить *Independent Review*.—Одна и та же борьба происходитъ теперь въ Европѣ и въ Америкѣ. Англичане, вместо того, чтобы монтировать противъ себя новыхъ монополистовъ путемъ возвращенія къ покровительственнымъ тарифамъ, должны разгромить монополію лэндлордовъ, которая является первопричиной опустѣнія деревни и возможнаго вырожденія расы... Улучшеніе материальнаго положенія „ходжа“ и развитіе его путемъ новыхъ демократическихъ школъ—пробудить дремлющее самосознаніе его. Покуда „ходжъ“ не можетъ еще оправиться отъ вѣкового господства надъ нимъ сквайра и попа. Но пусть онъ почувствуетъ свою независимость, и тогда новая жизнь начнется въ опустѣвшей деревнѣ“ (*).

Я приводилъ только аграрныя программы практиковъ, т. е. проекты такихъ реформъ, которые, по мнѣнію составителей, могутъ быть предложены парламенту и приняты въ любой моментъ. Наряду съ этимъ существуютъ въ Англіи проекты радикальные, основанные на полномъ уничтоженіи личнаго права на владѣніе землей. Такіе проекты тщательно выработаны двумя лигами націонализациіи земли: Фабіанскими обществою и вождемъ независимой рабочей партіи—Кейръ Гарди. Объ этихъ проектахъ—въ другой разъ.

Діонео.

*) *Ind. R.* XII, 904, p. 334.

Внѣ закона.

Къ исторіи цензуры въ Россіи.

I.

Русскій писатель „средней руки“ Пименъ Коршуновъ, изображенный Щедринымъ въ разсказѣ „Похороны“, предлагалъ для памятника на своей могилѣ слѣдующую эпитафию: „Литература освѣтила ему жизнь, но она же напоила ядомъ его сердце“. Обстоятельства дѣйствительно сложились такъ, что для честнаго русскаго писателя, не отдаляющаго собственныхъ интересовъ отъ интересовъ литературы, страстно любящаго ее и въ ней ищущаго свѣтла жизни—та же страстно любимая литература служить неизыкаемымъ источникомъ терзаній и не устаетъ на каждомъ шагу отравлять своему поклоннику жизнь, часто обращая ее въ какое то сплошное мученіе. Весьма характернымъ симптомомъ такого взаимоотношенія литературы и работниковъ пера съ вѣнчаної стороны является то обстоятельство, что „Уставъ о цензурѣ и печати“, опредѣляющій положеніе русской литературы и русскаго писателя, въ „Сводѣ Законовъ“ помѣщается посрединѣ между „Уставомъ о паспортахъ и бѣглыхъ“, съ одной стороны, и „Уставомъ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій“ съ другой, при чмъ дальше слѣдуютъ не менѣе знаменательные уставы—„о содержавшихся подъ стражей“ и „о ссыльныхъ“ (т. XIV). Это близкое и столь выразительное сосѣдство и на положеніе литературы налагаетъ какъ бы свой особый отпечатокъ и служить провиденціальнымъ указаніемъ судьбы русскаго писателя, переходящаго въ порядкѣ постепенности всѣ этапы недовѣрія и подозрительности и зачастую оканчивающаго свою тернистую дѣятельность подъ попечительнымъ дѣйствіемъ послѣдняго изъ помѣщенныхъ въ XIV томѣ „Свода“ уставовъ.

Тяжелая доля русскаго писателя—его необеспеченнность, неувѣренность въ завтрашнемъ днѣ, зависимость отъ крайне измѣнчивыхъ виѣнныхъ вѣяній, даже случайныхъ настроеній, и необходимость къ нимъ приспособляться, прибѣгая къ рабьему эзоповскому языку въ вопросахъ, составляющихъ часто суть жизни—всѣмъ достаточно хорошо известна. Это положеніе—въ нѣкоторомъ родѣ напоминающее пребываніе на вулканѣ, въ каждый данный моментъ готовомъ къ изверженію и грозящемъ гибеллю и полнымъ уничтоженіемъ результатовъ тревожной и мучительной работы. Извѣстны всѣмъ также и тѣ послѣдствія, которыхъ вытекаютъ для русской литературы изъ такого положенія работни-

ковъ пера: случайный выборъ темъ, недоговоренность и вообще неувѣренность тона, оторванность отъ жизни и ея насущнѣйшихъ запросовъ и т. п.

Повторяю, все это является общезвѣстнымъ фактамъ и, конечно, не удивитъ никого. Но, быть можетъ, весьма многіе изъ читателей придутъ въ крайнее изумленіе, если имъ сказать, что существуетъ у настѣ категорія писателей въ полномъ смыслѣ слова отверженныхъ, которые могли бы позавидовать даже положенію на кратерѣ грозящаго изверженіемъ вулкана, — а между тѣмъ такая категорія дѣйствительно существуетъ, однимъ уже фактомъ своего существованія представляя великолѣпную иллюстрацію къ положенію русской печати вообще. Писатели, имѣющіе несчастіе принадлежать къ упомянутой категоріи, не обладаютъ даже той слабой возможностью высказываться на эзоповскомъ языке, какой не лишены русскіе писатели; имъ пресѣчены всѣ пути воздействиія на общество, у нихъ чуть ли не въ буквальномъ смыслѣ „урѣзанъ языкъ“, и потому даже горемычная доля русскаго писателя для нихъ представляется завиднымъ положеніемъ, достиженіе котораго означало бы полвый переворотъ всѣхъ установившихся въ области ихъ дѣятельности отношеній. Продолжая наше сравненіе, можно сказать, что писатели этой категоріи не чувствуютъ у себя подъ ногами уже решительно никакой почвы, имѣя пребываніе чуть ли не въ воздухѣ. Нужно замѣтить при этомъ, что рѣчь идетъ о литературныхъ представителяхъ не какого-нибудь мелкаго инородческаго племени, осужденного, какъ любятъ выражаться иные публицисты, неумолимымъ ходомъ исторіи на вымирание и исчезновеніе. Это представители многомиллионнаго народа, составляющаго въ общей жизни Россіи весьма крупное слагаемое и имѣющаго всѣ основанія надѣяться на развитіе въ будущемъ. Впрочемъ, выраженіе „литературные представители многомиллионнаго народа“ звучитъ горькой пронією по отношенію къ людямъ, способнымъ завидовать даже судьбѣ тѣхъ писателей, сердца которыхъ литература держитъ въ состояніи хронического отравленія. Трудно и вообразить, до какой степени отчаянія нужно дойти, чтобы рѣшиться на это.

Читатель, знающій въ чемъ дѣло, уже, конечно, догадался о какой литературѣ и какихъ писателяхъ идетъ рѣчь, а читателю, продолжающему изумляться и недоумѣвать, я сейчасъ скажу, что намѣренъ говорить объ украинской литературѣ и ея представителяхъ — украинскихъ писателяхъ. Въ силу нѣкоторыхъ обстоятельствъ, русская пресса почти не касается украинского вопроса; очень рѣдко также удѣляетъ она милостыню своего вниманія и украинской литературѣ. „При современномъ состояніи русской словесности,—писалъ нѣкогда проф. А. А. Котляревскій,—когда каждый вопросъ ея находитъ даровитыхъ и надежныхъ истолкователей, опытный глазъ не можетъ не прымѣтить страннаго на стра-

ницахъ ея пробѣла: до сихъ поръ не воздано должное младшей сестрѣ и спутницѣ русской литературы — словесности малороссійской или украинской; изслѣдователи ставили въ тѣни вѣсъ ея явленія или вовсе не упоминали о нихъ, считая ихъ незначительными случайностями^{**}). Пробѣль, казавшійся извѣстному слависту страннымъ еще въ 50-хъ годахъ прошлого столѣтія, не устранинъ и въ настоящее время, и украинскій вопросъ и теперь находится все въ томъ же положеніи. До сихъ поръ не только „не воздано должное“ украинской литературѣ, но даже вопросъ о ней сравнительно рѣдко возбуждается на страницахъ русской periodической печати, подвергаясь лишь систематическому извращенію и травлѣ въ реакціонной части прессы. Тѣ же немногочисленны замѣтки, которая отъ времени до времени появляются и въ прогрессивныхъ органахъ, носятъ чисто случайный, отрывочный характеръ, не давая сколько-нибудь полного и цѣльного представленія о предметѣ. Чѣмъ же объясняется такое дѣйствительно странное явленіе? Почему литература тридцатимилліоннаго народа^{**}), уже сто лѣтъ тому назадъ написавшая на своемъ знамени требованія прогрессивнаго демократизма, достигшая, по свидѣтельству компетентныхъ лицъ, значительныхъ успѣховъ, исчисляющая свои periodические изданія за границей десятками, обладающая тамъ же солидными научными органами, знакомство съ которыми считается обязательнымъ для ученыхъ изслѣдователей русской исторіи и жизни, — почему эта литература остается неизвѣстной и незамѣтной въ Россіи, гдѣ живетъ главная часть украинскаго народа? Отчего не только такъ называемая широкая публика, но зачастую даже лица, берущія ее просвѣщать въ этомъ отношеніи, или совершенно ничего объ украинскомъ вопросѣ не знаютъ, или почерпаютъ свои свѣдѣнія изъ источниковъ крайне сомнительной достовѣрности — въ родѣ реакціонныхъ изданий, пользующихся у насъ, какъ извѣстно, монополіей обсужденія славянскихъ отношеній? Отвѣтъ на поставленные вопросы можетъ быть данъ изложеніемъ судьбы украинской литературы и отношеній къ ней со стороны русскаго общества и правительства.

Странная вообще судьба постигла украинскую литературу. Въ началѣ своего существованія, въ теченіе первой половины прошлого столѣтія, она раздѣляла общую долю русской литературы и, подвергаясь одинаковымъ бичамъ и скорпионамъ, почти не вызывала специальныхъ мѣропріятій. Переживъ періодъ мрачной реакціи 40-хъ и 50-хъ годовъ, она въ началѣ 60-хъ стояла уже на разsvѣтѣ новой жизни; вдали заманчиво рисовались перспек-

^{*)} А. А. Котляревскій. Сочиненія, т. I, стр. 13.

^{**)} Проф. Грушевскій. Очеркъ исторіи украинскаго народа. Спб. 1904, стр. 2. Авторъ насчитываетъ всего 34 миллиона украинцевъ, занимающихъ площадь въ 750 тысячъ кв. километровъ.

тивы плодотворной дѣятельности на пользу родного народа. Но вдругъ — какое-то чисто сказочное превращеніе, необъяснимая метаморфоза, цѣлая сѣть недоразумѣній, заподозриваний и прямыхъ доносовъ со стороны специалистовъ этого дѣла, затѣмъ взрывъ вулкана, одинъ, другой — и все, казалось, погребено было подъ развалинами... Проходить, однако, десятки лѣтъ, развалины понемногу начинаютъ оживляться, покрываться зеленью, но изъ подъ нея всетаки уродливо торчать безобразные контуры обломковъ, части которыхъ ежеминутно обрушаются и при своемъ паденіи уничтожаютъ зеленѣющую жизнь. Представьте положеніе работниковъ, которымъ поручено возвѣдать и привести въ культурное состояніе эти развалины, и вы поймете положеніе украинскаго писателя, поставленнаго не только виѣ закону, но даже виѣ „временныхъ правилъ о печати..“

II.

Появленіе украинскихъ писателей на горизонте русской литературы было встрѣчено представителями послѣдней двоякимъ образомъ. Въ то время, какъ на страницахъ „Вѣстника Европы“, редакціи Каченовскаго, украинскія произведения Артемовскаго-Гулака, Боровиковскаго и др. мирно уживались рядомъ съ произведеніями своихъ русскихъ товарищѣй и встрѣчались съ сочувственными заявленіями самой редакціи,—въ другой части представителей русской литературы замѣтно было недоумѣніе, временами сопровождаемое невинными насмѣшками, но иногда переходившее и въ прямо таки враждебное отношеніе. Весьма любопытно, что къ этой части, кроме людей неглубокой проницательности—въ родѣ Сенковскаго, принадлежали и нѣкоторые лучшіе представители современного русского общества. Устами Бѣлинскаго оно произнесло суровый приговоръ надъ украинской литературой, находя ее не только излишнимъ, ненужнымъ, но и прямо таки вреднымъ явленіемъ. „Хороша литература, которая только и дышитъ, что простонародью крестьянскаго языка и дубоватостью крестьянскаго ума!“ *)—вотъ реюме взглядовъ Бѣлинскаго по данному вопросу, выраженное собственными словами знаменитаго критика.

Причины такого отношенія къ украинской литературѣ представителей русской интеллигентіи отчасти видны изъ сочиненій Бѣлинскаго, отчасти могутъ быть выведены изъ общей позиціи, занятой въ то время нѣкоторыми изъ видныхъ украинскихъ писателей. Многіе тогда, какъ и Бѣлинскій, были ошибочно убѣждены, что на языкѣ простонародья нельзѧ выражить тѣхъ понятій, которыхъ господствовали въ кругу просвѣщенного общества и

*) Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго, Спб. 1896, т. II, стр. 906.

распространеніе которыхъ въ ихъ чистомъ и цѣльномъ видѣ яв-
лялось единствено желательнымъ. Съ этой точки зренія украин-
ская литература, исходящая до народа языкомъ, тѣмъ самымъ
наминуемо должна была понижать и свое идеиное содержаніе, не-
позволительно вульгаризировать его, къ „простоватости“ изложенія
присоединяя и „дубоватость“ идей. Съ другой стороны, существова-
вали опасенія, что появленіе особой литературы для украин-
ского народа способно подействовать раздражающимъ образомъ
на тѣ сферы, которая пресловутое „единство“ выставляли, какъ
офиціальный догматъ государственной жизни Россіи, и вызвать
этимъ экстренные мѣропріятія противъ литературы вообще. Въ на-
стоящее время, полагаю, нѣтъ надобности говорить о томъ, на-
сколько украинскіе писатели оказались повинными въ пониженіи
идейного уровня литературы. Вся исторія украинской литературы от-
мѣчена одной красною нитью—демократическимъ направленіемъ, со-
чувствіемъ къ „униженнымъ и оскорблennымъ“ и вѣрностью вели-
кимъ идеаламъ гуманности. Еще болѣе очевиднымъ является не-
причастность украинскихъ писателей къ появленію экстренныхъ
мѣропріятій, которая всею своею тяжестью упала именно на нихъ.
Поэтому, оставляя безъ вниманія два первыхъ пункта обвиненій,
перехожу прямо къ третьей причинѣ, вызвавшей враждебное от-
ношеніе къ украинской литературѣ со стороны передовой русской
интеллигенціи. Этой причиной, въ которой дѣйствительно нѣкото-
рая доля вины лежитъ и на украинцахъ, могла быть извѣстная близ-
ость нѣкоторыхъ изъ нихъ къ элементамъ, представляемымъ тогда
въ русской общественности различными „Маяками“ и „Москви-
тянинами“. Основываясь больше на личныхъ дружескихъ отно-
шенияхъ между Погодинымъ и Шевыревымъ, съ одной стороны, и
Максимовичемъ или Квиткой съ другой—эта близость служила
тѣмъ не менѣе плохой рекомендацией въ глазахъ русскихъ про-
грессистовъ, такъ какъ порождала подозрѣнія и въ духовной,
идейной близости и налагала на украинское движение реакцион-
ную окраску. Русскіе прогрессисты того времени, замѣчая эту
внѣшнюю близость, считали все украинское движение реакцион-
нымъ, а потому не заслуживающимъ ни симпатіи, ни сочувствія,
ни тѣмъ болѣе поддержки. Союзъ съ какимъ-нибудь Бурачкомъ
(редакторъ „Маяка“) былъ въ самомъ дѣлѣ компрометирующімъ,
но теперь съ полной достовѣрностью можно сказать, что онъ по-
коился всесѣло на недоразумѣнії, на взаимномъ заблужденіи от-
носительно истинной духовной физіономіи каждого изъ союзни-
ковъ. Вѣдь стоитъ только сравнить уставъ извѣстнаго Кирилло-
Меѳодіевскаго братства съ пропитанными духомъ офиціальной
народности и московской исключительности заявленіями предста-
вителей славянофильства, чтобы ясно видѣть, какая глубокая, въ
сущности, пропасть раздѣляла союзниковъ. Идеаломъ украинцевъ
была вольная семья славянскихъ народностей, свободная федера-

ція славянськихъ государствъ, основанная на самой широкой автономії отдѣльныхъ народовъ; догматомъ славянофиловъ—сліяніе „славянскихъ ручьевъ“ въ „русскомъ морѣ“, подчиненіе, ассимиляція. Сближающимъ обстоятельствомъ было лишь общее направлениe ихъ дѣятельности—интересъ къ славянству, но дороги не только не совпадали, но были прямо противоположны. Пока это не выяснилось, пока славянофили въ своихъ симпатіяхъ къ славянскимъ народностямъ не обнаружили рѣзко-московской окраски и не исключили изъ числа достойныхъ своего сочувствія украинской народности, до тѣхъ поръ этотъ, основанный на чисто виѣшнѣмъ обстоятельствѣ и на ідейномъ недоразумѣнії, союзъ могъ существовать. Но иллюзія ідейной близости разъялась, какъ дымъ, какъ только союзники лучше узнали другъ друга и недоразумѣніе разъяснилось. А произошло это очень скоро. Уже въ 50-хъ годахъ молодые украинцы рѣшительно отказываются отъ участія въ Аксаковскомъ „Парусѣ“ и устами Кулиша такъ мотивируютъ свой разрывъ съ недавними союзниками: „Парусъ“ у своему универсалі перелічив усі народности, тільки забув про нашу, бо ми, бач, дуже однакові, близькі родичі: якъ наш батько горів, такъ іхъ грівся! Не годиться мені давати свої вірші підъ „Парус“ і того ради, що його надуває чоловікъ, котрий вступився за князя любителя хлости“ (*). Эти характерные слова Кулиша ясно указываютъ на причины разрыва: во-первыхъ, славянофилами обнаружена была уже московская исключительность, не признававшая за украинцами права на національное существование, и во-вторыхъ, оскорблено въ послѣднихъ нравственное чувство солидарностью Аксакова съ какимъ то любителемъ тѣлесныхъ наказаній. Роли теперь радикально м'яняются: недавние союзники, т. е. люди, тяготѣвшіе къ разнаго рода „Маякамъ“, превращаются въ злѣшихъ враговъ, а подозрительно и враждебно настроенные прежде прогрессисты, убѣдившись, что украинцы вовсе не реакціонеры и что союзъ ихъ съ противоположными общественными элементами былъ однимъ лишь недоразумѣніемъ, начинаютъ относиться къ украинскому движению съ сочувствіемъ. Добролюбовъ, Чернышевскій, Тургеневъ и др. какъ въ личныхъ, такъ и въ литературныхъ отношеніяхъ къ украинцамъ стоять уже на совершенно иной почвѣ, чѣмъ Бѣлинскій.

Эпоха великихъ реформъ, обновившая русское общество и возбудившая сильный подъемъ общественныхъ силъ, не прошла безслѣдно и для украинцевъ. События предыдущаго периода—раз-

*) Чалый—Жизнь и произведения Т. Шевченка, Кіевъ, 1882, стр. 136
Переводъ: „Парусъ“ въ своей программѣ перечислилъ всѣ народности, забытой оказалась только наша, потому что, видите ли, мы слишкомъ близкіе родственники: по пословицѣ—„як наш батько горів, такъ іхъ грівся“! Не пристало мнѣ давать свои стихи подъ „Парусъ“ еще и по той причинѣ, что его надуваєтъ чловікъ, защищавшій князя, любителя розги“.

громъ Кирилло-Меѳодіевскаго братства, арестъ и ссылка Шевченка, Кулиша и другихъ руководителей молодого движенія—отозвались на дѣлѣ весьма плачевно; послѣдствіемъ ихъ былъ первый десятилѣтній антрактъ въ исторіи украинскаго движения. Периодъ съ 1847 по 1856 г. былъ самымъ безплоднымъ временемъ,—впрочемъ, не для однихъ только украинцевъ. Но 60-е годы принесли облегченіе и для нихъ. Впервые выступаютъ они, какъ партія, имѣющая свою программу и свой органъ печати, какимъ была „Основа“; новая струя обозначается и въ литературѣ, освѣживъ послѣднюю произведеніями, получившими общее признаніе со стороны русскаго общества, на что указываетъ хотя бы фактъ перевода украинскихъ разсказовъ Марка Вовчка на русскій языкъ Тургеневымъ, или восторженный отзывъ о нихъ Добролюбова. Подъ вліяніемъ освободительныхъ и просвѣтительныхъ идей того времени, украинцы особенное вниманіе обратили на просвѣщеніе народа, дѣйствуя рука объ руку, въ одномъ направленіи съ лучшими представителями русскаго общества *). На Украинѣ, въ Кіевѣ, Полтавѣ и другихъ городахъ, открываются первыя въ Россіи воскресныя школы, въ которыхъ преподаваніе велось на родномъ языке; издаются народныя украинскія книги, составляются учебники и т. п. Даже правительство въ то время признавало необходимымъ обращаться къ украинскому народу съ законодательными актами на его родномъ языке. Положеніе 19 февраля было переведено, „съ Высочайшаго соизволенія“, Кулишемъ на украинскій языкъ и уже начато печатаніемъ; къ此刻ю, это огромнаго практическаго и принципіальнаго значенія дѣло не было доведено до благополучнаго конца, благодаря какимъ-то недоразумѣніямъ между переводчикомъ и правительствомъ.

*) Въ 1862 г. С.-Петербургскій Комитетъ грамотности возбуждалъ ходатайство о введеніи преподаванія въ народныхъ школахъ на Украинѣ—на украинскомъ же языке. Тотъ же комитетъ издалъ „Списокъ русскихъ и мало-российскихъ книгъ, одобренныхъ для народныхъ учителей и школъ и для народнаго чтенія“ (1862), и въ этомъ спискѣ число рекомендуемыхъ украинскихъ книгъ равнялось числу русскихъ; впрочемъ, изъ 5-го изданія „Списка“, вышедшаго въ 1867 г., когда направление Комитета и по данному вопросу, и вообще измѣнилось, украинскія книги уже исключены (эти свѣдѣнія заимствую изъ крайне рѣдкой книги г. Протопопова „Исторія С.-Петербургскаго Комитета грамотности“, Спб., 1898, стр. 79—84, 276—283). Съ другой стороны и въ отношеніяхъ къ различного рода явленіямъ литературы и жизни также замѣчается солидарность между русскими и украинскими дѣятелями. Припомнить одинъ характерный эпизодъ. Когда въ 1858 г. по поводу юдофобскихъ выходокъ петербургской „Иллюстраціи“ русскіе писатели выступили съ колективнымъ протестомъ противъ недостойной печатного слова травли евреевъ, то этотъ протестъ былъ поддержанъ и украинскими писателями, напечатавшими въ либеральномъ тогда „Русскомъ Вѣстникѣ“ соотвѣтственное заявленіе и съ своей стороны. Протестъ подписанъ Костомаровымъ, Кулишемъ, Маркомъ Вовчкомъ, Номисомъ и Шевченкомъ.

венної комісією, і оть українського перевода положенія уціліли толькож коректурні листи.

Но медовому місяцю українського руху въ Россії суждено было имѣть весьма кратковременное существование. Уже въ 1862 г. прекращается „Основа“, — исторія ея еще не написана, но есть основанія думать, что на прекращеніе ея имѣли вліяніе и общія неблагопріятныя вѣянія, присутствіе которыхъ уже тогда смутно чувствовалось въ воздухѣ; въ 1863 г. запрещена газета „Черниговскій Листокъ“, приближающаяся по своему направленію и программѣ къ „Основѣ“, при чемъ редакторъ „Ч. Листка“, известный украинскій поэтъ Глѣбовъ, высланъ администривнымъ порядкомъ изъ Чернигова. Воскресные школы начинаютъ быстро таять, возбудивъ подозрѣнія въ неблагонадежности; издавае на украинскомъ языке учебниковъ и другихъ книгъ для народного чтенія затрудняется; многіе украинцы (Чубинскій, Конисскій, Стронинъ и др.) подвергаются ссылкѣ. Не доставало еще вначалѣ только ярлыка, который бы можно было наклеить на украинское движение; не было еще слова, которымъ бы формулировались скрытые пока подозрѣнія и обвиненія, но скоро и это настоящее слово было найдено — „сепаратизмъ“, „польская интрига“. Всемогущій тогда Катковъ, онъ же и изобрѣтатель магическихъ словъ, облачается въ тогу спасителя находящагося въ опасности отечества и грознаго изобличителя „коварной іезуитской интриги“, считая необходимымъ принести даже публичное покаяніе въ томъ, что самъ въ нѣкоторомъ родѣ содѣствовалъ ей „послабленіемъ“ *). Съ этого именно момента вокругъ украинского движения и начинаетъ накопляться и наростать мало по малу та куча недоразумѣній, та путаница понятій, которая остается нераспутанной и до настоящаго времени. Плодомъ этой путаницы и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма характернымъ образцомъ ея является слѣдующее отношеніе министра внутреннихъ дѣлъ, извѣстнаго Валуева, которое, въ виду его общественнаго интереса, приводимъ цѣликомъ.

„По Высочайшему повелѣнію. Секретно. Отъ министра внутреннихъ дѣлъ министру народнаго просвѣщенія. 18 іюля 1863 г., № 364.

„Давно уже идутъ споры въ нашей печати о возможности существованія самостоятельной малороссійской литературы. Пово-домъ къ этимъ спорамъ служили произведения нѣкоторыхъ писателей, отличавшихся болѣе или менѣе замѣчательнымъ талантомъ или своею оригинальностью. Въ послѣднее время вопросъ о малороссійской литературѣ получилъ иной характеръ, вслѣдствіе обстоятельствъ чисто политическихъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ интересамъ собственно литературнымъ. Прежнія про-

*) Мих. Лемке—Эпоха цензурныхъ реформъ 1859 — 1865 годовъ. Спб., 1904. Стр. 301.

изведенія на малороссійскомъ языѣ имѣли въ виду лишь обра-
зованные классы южной Россіи, нынѣ же приверженцы малорос-
сійской народности обратили свои виды на массу непросвѣщенную,
и тѣ изъ нихъ, которые стремятся къ осуществленію своихъ по-
литическихъ замысловъ, принялись, подъ предлогомъ распростране-
нія грамотности и просвѣщенія, за изданіе книгъ для перво-
начального чтенія, букварей, грамматикъ, географій и т. п. Въ
числѣ подобныхъ дѣятелей находилось множество лицъ, о пре-
ступныхъ дѣйствіяхъ которыхъ производилось слѣдственное дѣло
въ особой комиссіи.

„Въ С.-Петербургѣ даже собираются пожертвованія для изданія
дешевыхъ книгъ на южно-русскомъ нарѣчіи. Многія изъ этихъ
книгъ поступили уже на разсмотрѣніе въ с.-петербургскій цен-
зурный комитетъ. Не малое число такихъ же книгъ представ-
ляется и въ кievской цензурный комитетъ. Сей послѣдній въ осо-
бенности затрудняется пропускомъ упомянутыхъ изданій, имѣя
въ виду слѣдующія обстоятельства: обученіе во всѣхъ безъ изъятія
училищахъ производится на обще-русскомъ языѣ и употребленіе
въ училищахъ малороссійского языка нигдѣ не допущено; самый
вопросъ о пользѣ и возможности употребленія въ школахъ этого
нарѣчія не только не рѣшенъ, но даже возбужденіе этого вопроса
принято большинствомъ малороссіянъ съ негодованіемъ, частѣ
высказывающимся въ печати. Они весьма основательно доказы-
ваютъ, что никакого особеннаго малороссійского языка не было,
нѣтъ и быть не можетъ, и что нарѣчіе ихъ, употребляемое про-
стонародiemъ, есть тотъ же русскій языкъ, только испорченный
влияніемъ на него Польши; что обще-русскій языкъ также пони-
тенъ для малороссовъ, какъ и для великороссіянъ, и даже гораздо
понятнѣе, чѣмъ теперь сочиняемый для нихъ нѣкоторыми мало-
россами, въ особенности поляками, такъ называемый, украинскій
языкъ. Лицъ того кружка, который усиливается доказывать про-
тивное, большинство самыхъ малороссовъ упрекаетъ въ сепара-
тистскихъ замыслахъ, враждебныхъ въ Россіи и гибельныхъ для
Малороссіи.

„Явленіе это тѣмъ болѣе прискорбно и заслуживаетъ вниманія,
что оно совпадаетъ съ политическими замыслами поляковъ и
едва ли не имѣ обязано своимъ происхожденіемъ, судя по руко-
писямъ, поступавшимъ въ цензуру, и по тому, что большая часть
малороссійскихъ сочиненій дѣйствительно поступаетъ отъ поля-
ковъ. Наконецъ, и кievский генераль-губернаторъ находитъ опас-
нымъ и вреднымъ выпускъ въ свѣтъ рассматриваемаго нынѣ ду-
ховною цензурою перевода на малороссійскій языкъ Нового
Завѣта.

„Принимая во вниманіе, съ одной стороны, настоящее тревожное
положеніе общества, волнуемаго политическими событиями, а съ
другой стороны имѣя въ виду, что вопросъ объ обученіи гра-

мотностя на мѣстныхъ нарѣчіяхъ не получиль еще окончательнаго разрѣшенія въ законодательномъ порядкѣ, министръ внутреннихъ дѣлъ призналъ необходимымъ, впредь до соглашенія съ министромъ народнаго просвѣщенія, оберъ-прокуроромъ св. синода и шефомъ жандаріевъ относительно печатанія книгъ на малороссійскомъ языке, сдѣлать по цензурному вѣдомству распоряженіе, чтобы къ печати даволялись только такія произведенія на этомъ языке, которая принадлежать къ области изящной литературы; пропускомъ же книгъ на малороссійскомъ языке какъ духовнаго содержанія, такъ учебныхъ и вообще назначаемыхъ для первоначального чтенія народа, пріостановиться. О распоряженіи этомъ было повергаемо на высочайшее государя императора возврѣніе и его величеству благоугодно было удостоить оное монаршаго одобренія.

„Сообщая вашему превосходительству о вышеизложенномъ, имѣю честь покорнейше просить вѣсть, м. г., почтить меня заключеніемъ о польскѣ и необходимости дозвolenія къ печатанію книгъ на малороссійскомъ нарѣчіи, предназначенныхъ для обученія простонародья.

„Къ сemu неизлишнимъ считаю присовокупить, что по вопросу этому, подлежащему обсужденію въ установленномъ порядкѣ, я нынѣ же вошелъ въ сношеніе съ генералъ-адъютантомъ княземъ Долгоруковымъ и оберъ-прокуроромъ св. синода.

„Не лишнимъ считаю присовокупить, что кіевскій цензурный комитетъ вошелъ ко мнѣ съ представленіемъ, въ которомъ указываетъ на необходимость принятія мѣръ противъ систематическаго наплыва изданій на малороссійскомъ нарѣчіи“ *).

Приведеннымъ распоряженіемъ, за которымъ ясно видна грозная фигура Каткова, вопросъ объ украинскомъ движениі переносился исключительно на политическую почву. Для большаго впечатлѣнія, но совсѣмъ не кстати, къ нему пристегнута была и пресловутая „польская интрига“, — говорю „не кстати“ потому, что именно польские землевладѣльцы на Украинѣ особенно были встревожены новымъ движениемъ, проникательно усматривая въ немъ „гайдамаччину“, и даже посыпали кому слѣдуетъ доносы на „хлопомановъ“ **). Точно такимъ же образомъ, т. е. однимъ взмахомъ канцелярскаго пера разрѣшенье былъ и научный вопросъ о происхожденіи

*) Цитирую по книжѣ г. Лемкѣ „Эпоха цензурныхъ реформъ 1859—1865 годовъ“, стр. 302—304. Послѣдній абзацъ приписанъ собственноручно Валуевымъ послѣ подписи.

**) Въ 1861 г., напр., послѣдовалъ цѣлый рядъ доносовъ и жалобъ польскихъ помѣщикъ на украинскихъ писателей; были даже предложения срыть могилу Шевченка подъ Каневомъ, а тѣло его перенести въ другое мѣсто (см. статью г. Билька „Тревога надъ свѣжей могилой Шевченка“ въ „Кievskoy Starinѣ“, 1886 г., апрѣль). Любопытно, что польские Катковы въ Галичинѣ приписываютъ возникновеніе украинскаго національнаго движенія „московской интригѣ“ и „московскимъ рублямъ“!...

и развигій „такъ называемой“ украинской рѣчи, „сочиняемой въ особенности поляками“... Но не смотря на свою ясную до очевидности внутреннюю несостоятельность, распоряженіе Валуева осталось на долго руководящимъ актомъ въ отношеніяхъ правящихъ сферъ къ украинской литературѣ. Не помогло даже и то обстоятельство, что противъ запретительныхъ мѣръ высказался тогдашній руководитель министерства народного просвѣщенія Головинъ, стоя исключительно на основѣ педагогическихъ и практическихъ соображеній. „Сущность сочиненія, мысли, изложенные въ ономъ,—писалъ Головинъ въ своей отвѣтной запискѣ,— и вообще учение, которое оно распространяетъ, а отнюдь не языкъ или нарѣчіе, на которомъ написано, составляютъ основаніе къ запрещенію или дозволенію той или другой книги, и стараніе литераторовъ обработать грамматически каждый языкъ или нарѣчіе и для сего писать на немъ и печатать—весьма полезно въ видахъ народного просвѣщенія и заслуживаетъ полнаго уваженія. Посему министерство народного просвѣщенія обязано поощрять и содѣствовать подобному старанію“. Повторивъ сию мысль о томъ, что запрещать книги можно лишь за мысли, но не за языкъ и совершенно основательно посовѣтовавъ жаловавшемуся на наплыv украинскихъ сочиненій кievскому цензурному комитету просить... объ усиленіи личного состава цензоровъ, Головинъ заключаетъ свое мнѣніе такъ: „требованіе же комитета, чтобы приняты были мѣры противъ систематического наплыва изданій на малороссийскомъ языке, я нахожу совершенно неосновательнымъ“*).

Тѣмъ не менѣе „совершенно неосновательное“ требованіе было исполнено и это отразилось самымъ плачевнымъ образомъ на молодомъ, еще не успѣвшемъ окрѣпнуть движениі. Первымъ послѣдствиемъ распоряженія Валуева было воспрещеніе всѣхъ произведеній на украинскомъ языке, не относившихся „къ области изящной литературы“, какъ, напр., готовые учебники по математикѣ, географії, физикѣ, космографіи и другія научно-популярныя сочиненія. Къ издателямъ и авторамъ ихъ, „разсудку вопреки, на перекоръ стихіямъ“, предъявлено было обвиненіе, что они заботятся о букваряхъ, граматкахъ и географіяхъ лишь для видимости, „чодъ предлогомъ распространенія грамотности и просвѣщенія“, а на самомъ дѣлѣ этими невинными заглавіями прикрываютъ самые злокозненные цѣли, подготовляя въ грамматической формѣ грозные средства для потрясенія основъ государственности... Неудивительно, что, благодаря такой проницательности, сумѣвшей усмотрѣть интригу въ букварѣ и математикѣ, число украинскихъ книгъ послѣ 1863 года сразу па-

*) М. Лемке, Эпоха цензурныхъ реформъ, стр. 305. Курсивы принадлежать подлиннику.

даєть до смішної по своїй ничтожності цифри, при чемъ были годы, какъ, напр., 1866, когда не появилось ни одной украинской книжки *). „Фактически, — говоритъ г. Лемке въ своей книгѣ, — предѣлы, предоставленные Валуевымъ малорусской литературѣ, такъ сузились, что положительно не оставалось мѣста здоровой народной книгѣ“ **). Особенно замѣчательна судьба перевода на украинскій языкъ Нового Завѣта, о которомъ упоминается и въ отношеніи Валуева. Рассматривавшая переводъ духовная комиссія аттестовала его, какъ „вѣрный подлиннику и выполненный хорошо“; академіи наукъ писали, между прочимъ: „Евангеліе, переведенное на малороссійское нарѣчіе Морачевскимъ, есть въ высшей степени трудъ замѣчательный и полезный. Малороссійское нарѣчіе въ немъ, можно сказать, блестательно выдерживаетъ испытаніе этого рода и уничтожаетъ всякое сомнѣніе, многими питаемое, въ возможности выразить возвышенныя чувства сердца. Нѣть сомнѣнія, что переводъ Евангелія Морачевского долженъ сдѣлать эпоху въ литературномъ образованіи малороссійского нарѣчія“ *). Наконецъ, и министръ народного просвѣщенія Головинъ съ своей стороны, объяснивъ приведенный въ отношеніи Валуева отрицательный отзывъ кievскаго генералъ-губернатора „какою-то неопытною канцелярскою ошибкою“, высказываетъ за разрѣшеніе перевода: „Духовное вѣдомство имѣть священную обязанность распространять Новый Завѣтъ между всѣми разноплеменными жителями имперіи на всѣхъ языкахъ, и истиннымъ праздникомъ нашей церкви бы толькъ день, когда мы могли бы сказать, что въ каждомъ домѣ, избѣ, хатѣ и юртѣ находится экземпляръ Евангелія на языкѣ, понятномъ обитателямъ. Министерство народного просвѣщенія, съ своей стороны, всемѣрно старается о распространеніи въ своихъ училищахъ, и черезъ нихъ въ народѣ, книгъ духовнаго содержанія, печатаетъ ихъ въ числѣ десятковъ тысячъ экземпляровъ, и въ ряду этихъ книгъ Новый Завѣтъ на мѣстномъ нарѣчіи долженъ бы занимать первое мѣсто. Посему малороссійскій переводъ Евангелія, исправленный духовною цензурою, составить одно изъ прекраснѣйшихъ дѣлъ, которыми ознаменовано нынѣшнее царствованіе, и министерство народного просвѣщенія должно желать этому дѣлу скорѣйшаго и полнаго успѣха“ ***). Къ этимъ отзывамъ остается лишь добавить, что аттестованный учеными

*) См. Комарова М., Бібліографичний покажчик нової української літератури при альманахѣ „Рада“ (Кіевъ, 1883), стр. 469, и Протопопова „Історія С.-Петербурзькаго Комитета грамотності“, стр. 282.

**) Лемке. Эпоха цензурныхъ реформъ, стр. 306.

***) Огоновскій проф. Исторія литературы рускои, Львовъ, 1889, ч. II, отд. I, стр. 136.

****) Лемке Эпоха цензурныхъ реформъ, стр. 305 — 306.

академиками, какъ эпохальный, а киевскимъ генераль-губернаторомъ, какъ „опасный и вредный“ — переводъ Морачевскаго до сихъ поръ остается въ рукописи. Мало того, съ 60-хъ годовъ и до послѣдняго времени неоднократно толкались въ двери подлежащихъ вѣдомствъ и другіе переводчики Св. Писанія на украинской языку (Кулишъ, Г.Г. Лободовскій и Пулюй), но двери эти продолжаютъ оставаться наглухо закрытыми. Такимъ образомъ, при существованіи переводовъ Евангелія на языкахъ всѣхъ народовъ Россіи, распространеніе его на одномъ лишь украинскомъ и въ XX столѣтіи по прежнему считается кому-то опаснымъ и для кого-то вреднымъ, а „одно изъ прекраснѣйшихъ дѣлъ“, по выражению Головнина, все еще ожидаетъ своего разрѣшенія...

III.

Исключительныя обстоятельства того тревожнаго времени и самый характеръ украинскаго національнаго движенія, находившагося тогда въ первыхъ фазахъ своего развитія, много способствовали тому, что валуевское распоряженіе сопровождалось видимымъ „успѣхомъ“. Не забудемъ, что, съ одной стороны, то былъ моментъ начала глухой реакціи, на время потерявшей было свою силу, но теперь вновь поднимавшей голову,—моментъ, когда съ освободительными и просвѣтительными теченіями весьма удобно было вести борьбу, особенно, если приврѣть ихъ покрываломъ „сепаратизма“, „польской интриги“ или чего-нибудь другого въ томъ же родѣ. Лучшая часть русскаго общества направляла всѣ свои усилия противъ надвигавшейся реакціи; силы шли на эту борьбу и потому фактъ запрещенія какихъ-то тамъ учебниковъ, не смотря на всю его вопіющую несправедливость, казался слишкомъ мелкимъ, имѣющимъ исключительно мѣстное значеніе, не заслуживающимъ серьезнаго вниманія. Съ другой стороны, часть общества, непосредственно заинтересованная въ данномъ вопросѣ и отдававшая себѣ ясный отчетъ во всѣхъ послѣдствіяхъ такой его постановки, была слишкомъ бѣдна количественно, чтобы противопоставить запрещенію широко организованную положительную дѣятельность, даже въ доволеныхъ предѣлахъ. Собственно говоря, въ началѣ 60-хъ годовъ украинской интеллигенціи еще не существовало; были отдѣльные интеллигенты или, въ лучшемъ случаѣ, небольшіе кружки лицъ, уяснившихъ себѣ все значеніе украинскаго національнаго движенія, но они были безсилы создать широкое общественное мнѣніе по данному вопросу, такъ какъ въ массѣ общества всетаки оставалось довольно равнодушнымъ къ нему и слабо реагировало на совершившійся фактъ. Указанными условіями и объясняется то обстоятельство, что ограничительное распоряженіе 1863 года оставило такой

глубокій слѣдъ въ исторії украинской общественности, породивъ ту пустую дыру, которая можетъ быть названа вторымъ антрактомъ въ развитіи украинского движенія.

Антрактъ продолжался до начала 70-хъ годовъ, которое означалось постепеннымъ усиленіемъ украинскаго движенія, при чмъ центръ его изъ Петербурга, какъ было въ 60 хъ годахъ, переносится на Украину, преимущественно въ Киевъ. Валуевское распоряженіе, отнявъ средства работать надъ просвѣщеніемъ народа, оставило всетаки въкоторую возможность вообще научной работы, которая, не задаваясь непосредственными практическими цѣлями, подводила бы итоги предыдущимъ изысканіямъ въ области украинскаго вопроса и искала бы новыхъ данныхъ для его обоснованія и справедливаго практическаго разрѣшенія. Въ этомъ смыслѣ 70-е годы представляютъ весьма важный моментъ въ исторії украинскаго движенія. Въ 1872 г. состоялось въ Киевѣ открытие Юго-западнаго отдѣла Императорскаго русскаго географическаго общества, кратковременное существование котораго означалось напряженной и весьма плодотворной дѣятельностью по всестороннему изученію края, населенного украинскимъ народомъ. Немнogo раньше (1869—1870 г.г.) была совершина знаменитая этнографическая экспедиція Чубинскаго, по отзыву историка, составившага „одно изъ замѣчательнѣйшихъ предпріятій, какія только были сдѣланы въ нашей этнографії“ *). Въ Киевѣ сосредоточивается рядъ научныхъ силъ, какъ проф. В. Б. Автоновичъ, Драгомановъ, П. И. Житецкій, Кистяковскій, К. И. Михальчукъ, А. А. Русовъ, Чубинскій и мн. др., соединившихъ крупныя ученыя заслуги и широту воззрѣній съ весьма опредѣленнымъ направленіемъ въ области украинскаго национального движенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ и на арену художественнаго творчества выступаютъ лица, опять таки пріобрѣвшія повсемѣстную почетную известность своими крупными дарованіями; изъ нихъ назовемъ И. С. Левицкаго, Н. В. Лисенка, Шанаса Мырного и недавно скончавшагося Старцѣкаго. Въ области собственно художественнаго творчества эти дѣятели раздвигаютъ и расширяютъ рамки украинской литературы, возвышая ее со степени исключительно простонародной литературы до высшихъ проявленій художественнаго творчества, но свято сохранивая духъ прогрессивнаго демократизма, завѣщанный украинской литературѣ Шевченкомъ. Жизнь расширила даже рамки въ той специальной области, которой коснулось ограничительное распоряженіе 1863 г.: популярные произведения исторического, юридического и естественно-научнаго содержанія, предназначенные для народнаго чтенія, просачиваются сквозь щели Валуевскаго распоряженія и выходятъ въ Киевѣ въ гораздо большемъ числѣ, чмъ раньше въ Пе-

*) Пыпинъ. Исторія русской этнографіи. Спб. 1891. Т. III, стр. 349.

тербургъ. Казалось, что за фактической отмѣнной ограниченій украинскій вопросъ будетъ разрѣшенъ дружными усилиями украинскихъ ученыхъ, художниковъ и популяризаторовъ въ единственномъ и желательномъ направлениі; казалось, что плодотворность украинскаго національного движенія въ области изученія и удовлетворенія народныхъ нуждъ уже практическимъ путемъ выяснена и доказана, а вмѣстѣ съ тѣмъ устранена и возможность примѣненія какихъ бы то ни было ограничительныхъ мѣропріятій въ будущемъ. Но надъ головами участниковъ движения уже скоплялись грозныя тучи, не замедливши разразиться новымъ ударомъ. Оживленіе украинскаго движенія, хотя бы въ формѣ научной и литературной дѣятельности, вызвало оживленіе и среди другихъ общественныхъ элементовъ, которые характеризуясь своею внутреннею импотенцією, обладаютъ за то громадною виѣшнею силою при отсутствіи правильно обезпеченныхъ формъ общественной жизни и правового порядка. Не чувствуя себя въ силахъ бороться съ ненавистными теченіями открыто, или понеся въ открытой борьбѣ пораженіе, эти элементы всегда прибегаютъ, въ качествѣ подсобныхъ способовъ, къ помощи постороннихъ вѣдомствъ, пользуясь доношеніями, инсинаціями, закулисными вліяніями, нашептываніемъ, кому слѣдуетъ, о неблагонадежности и тому подобными средствами. Такъ было и въ данномъ случаѣ. Змѣйный шипъ по поводу „украинофильской пропаганды“ все усиливался, сосредоточиваясь, по обыкновенію, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и нѣкоторыхъ специальныхъ органахъ, въ родѣ курьезной памяти „Вѣстника Юго-Западной и Западной Россіи“ Говорского, пока въ 1876 году не увѣнчался полнымъ успѣхомъ. Въ этомъ году „временно“ былъ закрытъ Юго западный отдѣлъ р. имп. географического общества, уже не возобновившійся, не смотря на многократныя по этому поводу ходатайства; особенно энергичныя лица, приоснованные къ отдѣлу, были взяты на замѣчаніе, или принуждены даже совсѣмъ оставить Кіевъ (Чубинскій, напр., долженъ былъ переселиться въ Петербургъ, Драгомановъ—уѣхать за границу). Одновременно произведено было и увѣнчаніе зданія въ намѣченномъ направлении, воплотившееся въ форму слѣдующаго краткаго, но многозначительного документа, пользующагося весьма большой популярностью за границей *), но мало известнаго въ Россіи.

*) Недавно онъ возбудилъ, напр., оживленная пренія въ французскомъ парламентѣ по запросу одного изъ депутатовъ. Въ Вѣнѣ съ прошлаго года издается на нѣмецкомъ языке специальный журналъ „Ruthenische Revue“, поставивший своей задачей ознакомление западно-европейской публики съ украинскимъ движениемъ и вызвавший большой интересъ среди европейскихъ ученыхъ, писателей и политиковъ. Интересная анкета по поводу ограничительного распоряженія 1876 г., предпринятая редакціей „Ruthenische Revue“, дала уже цѣлый рядъ, опубликованныхъ въ названномъ журналь,

„Государь Императоръ 30 минувшаго мая высочайше повелѣть
согласилъ:

1. Не допускать ввоза въ предѣлы имперіи безъ особаго разрѣшенія главнаго управлѣнія по дѣламъ печати какихъ бы то ни было книгъ и брошюре, издаваемыхъ на малороссійскомъ нарѣчіи.

2. Печатаніе и изданіе въ имперіи оригинальныхъ произведеній и переводовъ на томъ же нарѣчіи воспретить, за исключеніемъ лишь:

а) историческихъ документовъ и памятниковъ и

б) произведеній изящной словесности,

но съ тѣмъ, чтобы при печатаніи историческихъ памятниковъ безусловно удерживалось правописаніе подлинниковъ; въ произведеніяхъ же изящной словесности не было допускаемо никакихъ отступленій отъ общепринятаго русскаго правописанія и чтобы разрѣшеніе на печатаніе произведеній изящной словесности давалось не иначе, какъ по разсмотрѣніи въ главномъ управлѣніи по дѣламъ печати,—и

3) Воспретить различныя сценическія представлѣнія и чтенія на малорусскомъ языке, а также печатаніе на таковомъ же текстовъ къ музыкальнымъ нотамъ” *).

Читатель навѣрное помнить Щедринскую шуточную „комиссію объ искорененії“, которая, съ Божіей помощью искоренивъ „и то, что служитъ начальству огорченіемъ, и то, что приносить ему утѣшеніе“, пришла, въ концѣ концовъ, къ заключенію, что ничто не будетъ надлежащимъ образомъ искорено, покуда не будетъ искоренена... литература“ („Круглый годъ“). Конечно, говоря вообще, такое заключеніе въ своемъ буквальномъ видѣ есть преувеличеніе, геніальная карикатура. Но то, что для литературы вообще могло осуществиться лишь въ геніальной фантазіи сатирика, то для украинской литературы совершилось въ дѣйствительности. Въ самомъ дѣлѣ, что иное представляетъ собою распоряженіе 1876 года, какъ не попытку полнаго, совершенного искорененія украинской литературы, какъ не осужденіе ея на смертную казнь? Поставить литературу подобныя рамки—значитъ лишить ее всякаго смысла и значенія, свести къ нулю ея вліяніе, такъ какъ съ прекращеніемъ тѣснаго взаимодѣйствія между литературой и жизнью будуть обрѣзаны соединяющія ихъ нити, по которымъ совершается обмѣнъ живительныхъ соковъ, питающихъ и поддерживающихъ литературу. Развѣ можетъ существовать — разумѣется, существо-

ствѣтовъ, среди которыхъ имѣются цѣнныя мнѣнія Момзена, Бьернестрана-Бьерисона, Чэмберлена (историка), проф. Броуニングа, Леруа-Болье и многихъ другихъ извѣстныхъ дѣятелей.

*) Грушевскій, проф. Очеркъ истории украинскаго народа, стр. 354.

вать плодотворно, а не влакти лишь жалкое существование — литература, осужденная пытаться, выражаясь изысканнымъ терминомъ приведенного распоряженія, одними произведеніями „изящной словесности“, но лишенная уже права, напр., касаться этихъ произведеній въ критическихъ статьяхъ, такъ какъ послѣднія мудрено, конечно, подвести подъ рубрику „изящной словесности“? Ограничить литературу предѣлами „изящной словесности“ — все равно, что предоставить человѣку пытаться исключительно пирожнымъ, бланманже и прочими дессертными деликатесами, отнявъ у него кусокъ обыкновенного пшательного хлѣба. Съ изданіемъ подобныхъ ограниченій уже само собою устраивается примѣненіе крайнихъ мѣръ — въ родѣ тѣхъ, какія предлагалъ одиѣ изъ членовъ Щедринской комиссіи: „одну часть произведеній литературы сжечь рукою палача, а другую потопить въ рѣкѣ, литераторовъ же водворить въ уѣздный городъ Мезень“ („Круглый годъ“), — такъ какъ ни сожигать, ни топить, ни водворять уже будеть, по всейѣ вѣроятности, нечего и некого. Въ дѣятельности почти каждого изъ украинскихъ писателей мы найдемъ перерывы, свидѣтельствующіе о томъ, что никакая человѣческая энергія не въ состояніи выдержать такого положенія, въ которое поставило украинскую литературу распоряженіе 1876 г. Чтобы не быть головнымъ, я приведу лишь одинъ примѣръ, заимствованный изъ автобіографіи небезызвѣстнаго украинскаго поэта Щоголева. Упомянувъ о мытарствахъ, испытанныхъ имъ на зарѣ своей литературной дѣятельности и заставившихъ его „сломать“ свое перо, Щоголевъ затѣмъ продолжаетъ: „Старшие изъ моихъ дѣтей — дочь и сынъ высокаго художественнаго закала и глубокой души — живя лѣтомъ на дачахъ среди простонародья, знали разговорный малорусскій языкъ и стали просить меня писать для нихъ. Я и писалъ имъ до 1878 года“. Затѣмъ было не до того: дочь и сынъ Щоголева почти одновременно умираютъ послѣ продолжительной болѣзни, и поэтъ замѣчаетъ: „писать было не для кого, и я опять ничего не написалъ въ теченіе почти 4-хъ лѣтъ“ и т. д. *). Приведенная нами „интимная исповѣдь“ незауряднаго поэта съ виду весьма спокойна, но я не знаю словъ съ болѣе страшными для писателя значеніемъ, какъ эти спокойныя, скучныя на подробности замѣчанія. Писать исключительно для своихъ дѣтей и, когда этихъ единственныхъ читателей не стало, поставить крестъ надъ свою литературную дѣятельностью — это ли не ужасъ, это ли не трагизмъ для писателя? Не кажется ли, что это лишь сонъ, невозможный ни въ какой дѣйствительности? Но, къ сожалѣнію, подобные случаи не были сномъ и даже не совсѣмъ исключительнымъ явленіемъ; и у сопѣдшихъ со сцены, и у нынѣ дѣйствующихъ еще украинскихъ писателей найдется многое произве-

*) „Кievская Старина“, 1904 г., кн. X, отд. II, стр. 9.

дений, написанныхъ „для себя“ и по написаніи запрятанныхъ въ ящикъ письменного стола, съ слабой надеждой, что они черезъ десятокъ—другой лѣтъ дойдутъ таки до читателя *). Словомъ, самая пылкая фантазія не могла бы придумать большаго, чымъ то, что совершается въ действительности, благодаря распоряженію 1876 г. Факты гоненій на украинскую рѣчъ, практикуемыхъ въ особенно широкихъ размѣрахъ нашими школами различныхъ вѣдомствъ, родовъ, видовъ и типовъ, являются настолько обычными, что перестали уже обращать на себя вниманіе, какъ вполнѣ нормальное явленіе. Опять приведу лишь одинъ примѣръ, относящийся ко времени всеобщей переписи 1897 г. Большое сочиненіе въ переписныхъ листкахъ возбудила тогда графа о родномъ языке „Бурлака“. Въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній въ Киевѣ ученики начали было записывать роднымъ языкомъ украинскій, но бдительное начальство быстро положило конецъ такому неумѣстному обнаружженію своей национальности. На возраженія учениковъ, что они говорять по-украински, съ дѣтства слышать эту рѣчъ, впитали ее съ молокомъ матери и потому считаютъ ее для себя родной—послѣдовалъ характерный отвѣтъ: „вы воспитываетесь въ русскомъ учебномъ заведеніи и потому роднымъ языкомъ вашимъ долженъ быть русскій“. На ряду съ этимъ, нѣсколькимъ болгарамъ и сербамъ, хотя они воспитывались въ томъ же русскомъ заведеніи, разрѣшено было заполнить графу о родномъ языке сообразно ихъ желанію. Благодаря такой бдительности начальства, понятія не имѣвшаго о цѣляхъ переписи, часто получалось иѣчто въ высокой степени уродливое, когда, напр., изъ двухъ родныхъ братьевъ одинъ записывалъ роднымъ языкомъ украинскій, а другой „долженъ быть“ записать русскій. Зная практику, можно съ увѣренностью сказать, что приведенный случай принудительного заполненія графы о родномъ языке былъ на Украинѣ не исключительнымъ, а типическимъ и что дѣло всецѣло зависѣло отъ личныхъ вкусовъ и взглядовъ лица, завѣдавшаго даннымъ переписнымъ участкомъ. Но возвращаюсь къ прерванному изложенію дальнѣйшихъ судебъ украинской литературы.

*) Напечатанная въ 1903 г. „Кievskoy Стариной“ повѣсть г.г. Мыриного и Билька „Пропаща сыла“ написана, какъ видно изъ редакціонной помѣтки, еще въ 1875 г.; другая повѣсть тѣхъ же авторовъ „За водою“, написанная въ 1883 г., до сихъ поръ не могла быть напечатанной; замѣчательное произведеніе Свидницкаго „Люборацкі“, появившееся въ Kievѣ въ 1901 г., закончено авторомъ въ 1862 г. и т. д., и т. д. Подробный мартирологъ погибшихъ писателей и ихъ произведеній занялъ бы слишкомъ много мѣста.

IV.

Единственной формой, какую оставило украинской литературѣ распоряженіе 1876 года, и до сихъ поръ остается беллетристическая. Въ этой формѣ должно высказываться все, что занимаетъ, интересуетъ и волнуетъ украинскаго писателя. Не говоря уже о томъ, насколько вообще является узкой въ данномъ случаѣ всякая напередъ опредѣленная, строго указанная форма, было бы большими заблужденіемъ полагать, что, по крайней мѣрѣ, беллетристика пользуется относительной свободой и получаетъ право болѣе или менѣе безпрепятственнаго обращенія въ публикѣ. Выше указаны были случаи, изъ которыхъ видно, что даже беллетристическимъ произведеніямъ приходится десятками лѣтъ вылеживаться подъ спудомъ, выжидая благопріятнаго момента, когда, наконецъ, станетъ возможнымъ ихъ появленіе въ печати. Вообще же говоря, при примѣненіи распоряженія 1876 г. на практикѣ, сейчасъ же обозначились двѣ прямо противоположныя тенденціи. Съ одной стороны—цензурное вѣдомство пользовалось распространительнымъ толкованіемъ министерскаго распоряженія, не допуская къ печати книгъ, имъ не воспрещенныхъ, и руководствуясь исключительно личнымъ усмотрѣніемъ; съ другой—жизнь постоянно, хотя и съ трудомъ, съ замѣтными скачками и неровностями, раздвигала указанныя рамки и принуждала цензурное вѣдомство нарушать распоряженіе, допуская различныя исключенія и извѣятія. Въ результатѣ, въ отношеніяхъ цензурнаго вѣдомства къ украинскимъ произведеніямъ возникълся полный хаосъ, при которомъ ясное понятіе о правахъ и обязанностяхъ замѣняется ничѣмъ не сдерживаемымъ проявленіемъ личныхъ взглядовъ, вкусовъ и настроеній чиновъ цензурнаго вѣдомства. Сегодня разрѣшается популярная брошюра, воспрещенная по смыслу распоряженія абсолютно,—завтра же зачеркивается невинный разсказъ, подъ который, какъ говорится, иглы не подточишь и который, къ довершению всего, уже раньше былъ разрѣшаемъ къ печати; сегодня заграницыя изданія пропускаются въ сотняхъ экземпляровъ, а завтра—старателльно вычеркивается даже въ научныхъ статьяхъ и указателяхъ всякая ссылка на заграницыя изданія, а галицкихъ русиновъ запрещается именовать иначе, какъ русскими. Что можно, чего нельзя—угадать вѣтъ никакой возможности. Этотъ хаосъ понятій, сопровождающій борьбу между жизнью и буквой распоряженія 1876 г., лучше всякой критики обнаруживаетъ истинную его цѣну; о томъ же свидѣтельствуютъ и положительныя приобрѣтенія, сдѣланныя украинскимъ движеніемъ прямо вопреки ограниченіямъ.

Первая и наиболѣе основательная брешь была пробита въ

послѣднемъ (третьемъ) пунктѣ знаменитаго распоряженія 1876 г. воспрещавшемъ, какъ извѣстно, „различныя сценическія представленія и чтенія на малорусскомъ языке, а также печатаніе на таковомъ же текстовъ къ музыкальнымъ нотамъ“. Чѣмъ было вызвано послѣднее запрещеніе, за что постигла такая печальная участъ тексты къ нотамъ—рѣшительно неизвѣстно, тѣмъ не менѣе на первыхъ порахъ запрещеніе примѣнялось неукоснительно и приводило къ любопытнѣйшимъ результатамъ. Въ Киевѣ, напр., для того, чтобы напасть на афишу публичного концерта украинскія пѣсни должны были быть переведеными на... французскій языкъ, и пѣвецъ народную пѣсню „дощик, дощик капае дрібненький“ исполнялъ въ такомъ видѣ:

La pluie, la pluie,
Qui tombe doucement...
Je pensais, je pensais,—
C'est un Zaporogue, maman!

Воображаю положеніе пѣвца и слушателей, когда имъ преподнесли съ эстрады всѣмъ извѣстную пѣсенку въ семъ одѣяніи странномъ! И дѣйствительно, по свидѣтельству очевидца, „поднялся сначала неимовѣрный хохотъ, а затѣмъ бурный протестъ и требованіе народнаго текста“ *), послѣ чего, разумѣется, сдѣлалось невозможнымъ исполненіе украинскихъ пѣсень даже и въ французскомъ переводѣ. Этотъ, что называется, пересолъ былъ ужъ слишкомъ очевиденъ, и потому невѣдомо за что пострадавшіе тексты къ нотамъ первыми возстановлены въ своеіь несомнѣнномъ правѣ—скромно занимать подобающее мѣсто подъ нотными знаками.

Точно такъ же отмѣнено жизнью и запрещеніе украинскаго театра, хотя подлежащія вѣдомства уступили не безъ колебаній и нѣкоторой борьбы. Разрѣшав украинскіе спектакли, на первыхъ порахъ ставили *conditio sine qua non*, чтобы въ одинъ вечеръ исполнялось столько же актовъ и на русскомъ языке, сколько ихъ было на украинскомъ. Если шла, скажемъ, пятиактная украинская пьеса, то въ противовѣсь ей, для обеззараживания, такъ сказать, украинскіе артисты должны были ставить и пятиактную русскую. Предстояла крайне трудная дилемма: или совершенно отказатьться отъ постановки украинскихъ пьесъ, или затягивать спектакли до разсвѣта, чего, очевидно, никакіе актеры и никакая публика не могла бы выдержать. Выходъ изъ такого затруднительного положенія былъ найденъ нѣсколько неожиданный, но тѣмъ не менѣе дѣйствительный. Были придуманы особыя русскія „пьесы“, каждый актъ которыхъ продолжался минутъ пять,—букава распоряженія этимъ удовлетворилась. Затѣмъ пошли еще

*) М. Старицкій „Къ біографії Н. В. Лисенка“, Кіевская Старина, 1903 г. декабрь, стр. 470.

уступки, и въ настоящее время къ украинскимъ спектаклямъ предъявляется лишь одно требование — ставить съ украинской пьесой русскій водевиль; вотъ почему этотъ неизбѣжный придатокъ, извѣстный въ широкой публикѣ подъ специальнымъ именемъ „Отче наша“, украшаетъ афишу каждого украинского спектакля, часто лишь на афишѣ и оставаясь. Сказанное относится исключительно къ постановкѣ уже разрѣщенныхъ пьесъ, а отнюдь не къ самому разрѣшенію, которое продолжаетъ носить всѣ черты случайности и самаго придиличаго чтенія между строками...

Этимъ пока и исчерпываются всѣ наиболѣе существенные уступки въ отношеніи украинской литературы. Въ остальномъ дѣло ограничилось лишь тѣмъ, что иногда—очень рѣдко—допускаются къ печати научно-популярныя произведенія для народа, больше прикладнаго характера и особенно подъ беллетристическими соусомъ (огородничество, наприм., въ беллетристической формѣ!). Кромѣ того, подлежащія вѣдомства смотрѣли иногда сквозь пальцы на ввозъ украинскихъ изданій изъ-за границы, усиливая въ другое время свою бдительность до такой степени, что всякая книжка, хотя бы къ политикѣ и никакого отношенія не имѣющая, хотя бы и съ специфическимъ запахомъ „Московскихъ Вѣдомостей“, останавливалась предъ предѣломъ, его же не прѣдѣши.

Но если цензурное вѣдомство оказывалось крайне тугимъ на уступки и соглашалось на нихъ весьма неохотно, лишь послѣ долгой борьбы съ требованиями жизни, то въ противоположномъ направлениіи, въ сторону еще большихъ ограниченій, оно обнаружило весьма замѣтную податливость. Благодаря этому, распространительное толкованіе распоряженія 1876 г. въ еще болѣе ограничительномъ смыслѣ, всегда находило самое широкое примѣненіе и самую искреннюю готовность. Прежде всего, по буквальному его смыслу переводы на украинскій языкъ беллетристическихъ произведеній *не воспрещены*; между тѣмъ практика почти не знаетъ разрѣшенія переводовъ, за исключеніемъ лишь тѣхъ, неизвѣстныхъ цензурирующему лицу произведеній, которыхъ помѣчены неопределеннѣмъ словомъ „переспѣв“, съ умолчаніемъ при этомъ имени настоящаго автора. Различными украинскими переводчиками въ разное время представлялись въ цензуру переводы произведеній Шекспира, Шиллера, Гете и другихъ классиковъ, и все это признано было вреднымъ и не подлежащимъ разрѣшенію къ печати. Еще недавно изъ III-го тома сочиненій г. Панаса Мирного выѣзжанъ переводъ „Короля Лира“; переводъ „Тартюфа“ также безслѣдно исчезъ изъ собранія произведеній г. Самійленка, равно какъ и переводъ „Слова о полку Игоревѣ“ г. Мирного, кстати сказать—существующій въ нѣсколькихъ изданіяхъ другихъ украинскихъ переводчиковъ. Переводъ извѣстнаго фран-

чускаго разсказа „Послѣдніе дни Гуды“ первоначально бытъ запрещенъ, какъ любезно объяснилъ цензоръ, на томъ основаніи, что „содержитъ въ себѣ (догматическая (!) неточности“, и прошелъ лишь значительно позже, безъ обозначенія имени автора, въ III-мъ томѣ сочиненій Конисскаго (переводчика), между тѣмъ какъ появленіе его въ русскомъ переводѣ на страницахъ журнала для юношества („Міръ Божій“), повидимому, ничыхъ ревнивыхъ подозрѣній не возбудило. Сборники переводовъ на украинскій языкъ произведеній Пушкина и Гоголя не прошли даже во время юбилейныхъ торжествъ, посвященныхъ памяти этихъ писателей, когда на разные лады цитировалось и комментировалось известное изреченіе Пушкина: „и назоветъ меня всякий сущій въ ней языкъ“ (очевидно, поэтъ не догадался прибавить: кроме украинскаго). Число подобныхъ примѣровъ можно бы увеличить почти до бесконечности, но и приведенные достаточно ярко характеризуютъ тотъ порядокъ вещей, при которомъ Шекспиръ, Шиллеръ, Пушкинъ и Гоголь оказались въ числѣ абсолютно неразрѣшаемыхъ авторовъ.

Такое же вполнѣ безпощадное отношение замѣчается и въ другой области, опять таки распоряженіемъ 1876 г. не затронутой,—въ области дѣтской литературы. По поводу одного сборника разсказовъ для дѣтей, цензоръ далъ слѣдующій характерный отзывъ: „сборникъ, очевидно, предназначается для дѣтскаго чтенія, но дѣти должны учиться по-русски“,—и этого оказалось достаточнымъ, незыблемое основаніе для запрещенія найдено. Принципъ: „дѣти должны учиться по-русски“ примѣняется до того неукоснительно, что всѣ представлявшіяся въ цензурѣ хрестоматіи (напр. „Читанка“, „Перший спонок“, „Од льоду до льоду“, „Веселка“ и др.) и даже отдельныя стихотворенія и разсказы, разъ предполагалась пригодность ихъ для дѣтскаго чтенія, безусловно воспрещаются. Благодаря лишь особому ходатайству, и то въ видѣ исключенія, разрѣшено было въ 1895 г. новое изданіе весьма популярныхъ „Байок Глібова“, при чемъ исключено всетаки 19 басенъ и между исключенными находились: „Лебедь, Щука і Рак“, „Дві бочки“, „Зозуля і Півень“, „Гава і Лисиця“, „Осел і Соловей“, „Лисиця і Виноград“ и др., знакомство съ которыми по Крылову обязательно для каждого школьнаго. Мы не говоримъ уже о школѣ, положеніе которой въ данномъ отношеніи представляется вполнѣ безнадежнымъ, но даже дома украинскія дѣти лишены возможности читать книги, по своему языку наиболѣе приспособленныя къ ихъ пониманію. „Дѣти должны учиться по-русски“—этотъ принципъ какимъ-то проклятиемъ тяготѣть надъ отверженными дѣтьми, принужденными жертвовать своимъ развитиемъ и облегченiemъ учебной страды въ честь „невѣдомаго бoga“ административной подозрительности. Съ какими трудностями приходится бороться въ дѣлѣ воспитанія украин-

скихъ дѣтей сообразно съ основнымъ требованіемъ всякой разумной педагогіи, показываетъ слѣдующій фактъ. Одно весьма известное въ украинской литературѣ лицо для своей дочери должно было составлять специальные учебники, переписывая ихъ печатными буквами. Я видѣлъ эти печатанные отъ руки книжки. Своимъ невиннымъ видомъ онѣ представляютъ въ сущности такой страшный обвинительный актъ противъ настоящей системы, краснорѣчивѣе которого трудно что-нибудь и представить. Думаю, что въ свое время эти дѣтскія книжки, существующія въ единственномъ экземпляре, займутъ въ качомъ-нибудь музѣ вѣсмь видное мѣсто, какъ памятникъ системы, по непонятнымъ соображеніямъ лишающей „единаго отъ малыхъ сикъ“ наиболѣе нормального средства развитія и утоленія духовной жажды...

Исключивъ, такимъ образомъ, изъ области дозволенного для украинской литературы („произведенія изящной словесности“) переводы художественныхъ произведений, а также всю беллетристику для дѣтского возраста, получимъ, что отмежеванный ей рамки вмѣщаются лишь оригиналную беллетристику общаго характера. Но практика, руководящаяся исключительно личнымъ усмотрѣніемъ, на каждомъ шагу сокращаетъ и суживаетъ и безъ того тѣсныя рамки. Беллетристическая произведенія самаго невиннаго характера, вдобавокъ часто уже печатавшіяся раньше съ разрѣшеніемъ той же цензуры, вдругъ оказываются запрещенными при попыткахъ вновь переиздать ихъ. Ни въ какомъ случаѣ невозможно заранѣе опредѣлить, каковы требования цензуры, чтобы по крайней мѣрѣ избѣгать того, что можетъ вызвать запрещеніе... Не останавливаясь на частныхъ случаяхъ непонятныхъ запрещеній, такъ какъ это отняло бы слишкомъ много времени и мѣста, попытаюсь опредѣлить лишь общія тенденціи, какими руководствуются лица цензурнаго вѣдомства въ отношеніи украинской литературы, насколькъ, конечно, эти общія тенденціи могутъ быть уловлены по тѣмъ въ высшей степени капризнымъ слѣдамъ, какіе носятъ побывавшія въ цензурѣ рукописи. Безусловно воспрещаются даже легкія намеки на отношенія общественнаго характера, особенно, если данное произведеніе изображаетъ интеллигентную среду, или касается—*horribile dictu*—отношеній между интеллигенціей и народомъ. До самого послѣдняго времени такія произведенія или запрещались прѣликомъ, или же вычеркивались слова „пан“, „піп“ и т. п. О какихъ-либо несправедливостяхъ, притѣсненіяхъ и обидахъ даже совершенно частныхъ лицъ, но на общественной подкладкѣ, объ антагонизмѣ классовъ или иныхъ общественныхъ группъ невозможно говорить даже въ самыхъ мягкихъ и умѣренныхъ выраженіяхъ; тѣмъ болѣе относится къ заповѣдной области всякое обсужденіе национального вопроса. Лицамъ цензурнаго вѣдомства, повидимому, представляется, что украинскій языкъ имѣетъ особенноеумъ, е

лишь одному присущее свойство—напитывать горючимъ матеріа-
ломъ и взрывчатыми веществами самые невинные предметы, разъ на этомъ языкѣ касаются общественныхъ отношеній. Изъ
одного, напр., рассказа выброшена цензоромъ невинная жанровая
картина, юмористически изображающая разногласіе священника съ прихожанами по поводу платы за требы,—то, что въ
подобныхъ разсказахъ, напр., г. Потапенка встречается на каждомъ
шагу. Сатира, бичующая отрицательныя стороны самихъ же
украинцевъ, не имѣть вовсе права на существованіе, и потому
собраніе произведеній извѣстнаго украинскаго поэта-сатирика
г. Самійленка возвратилось изъ цензуры въ неизнаваемомъ видѣ.
Вездѣ придирчивый глазъ видѣтъ какіе-то намеки, символы и
аллегоріи, доходя въ этомъ отношеніи до гіркулесовыхъ стол-
повъ подозрительности, до того, что уничтожаются описанія...
весны, такъ какъ и въ нихъ, въ этихъ описаніяхъ, усматривается,
вѣроятно, опасная аллегорія. Въ виду указанной наклонности къ
всему прикидывать символическое толкованіе, даже извѣстная 22
статья „устава о цензурѣ и печати“ *) звучить горькой ироніей и
обидной насмѣшкой по отношенію къ украинскимъ произведеніямъ,
въ которыхъ сплошь и рядомъ подвергаются гоненію слова, слова,
слова. Одно время, напр., въ сильномъ подозрѣніи почему-то на-
ходилось и потому особому гоненію подвергалось слово „козакъ“
и я лично помню такие, напр., случаи изъ этой эпохи козако-
гонительства. При описаніи одного изъ дѣйствующихъ лицъ ав-
торъ разсказа употребилъ фразу: „у його були довгі вуса,—
такі вуса я бачив на малюнках у запорожськихъ козаківъ“,—эта
фраза о длинныхъ запорожскихъ усахъ оказалась зачеркнутой;
въ другомъ мѣстѣ уничтожено буквально слѣдующее: „я пішовъ
у хату й почав читати „Сагайдачного“ (заглавіе извѣстнаго ро-
мана г. Мордовцева). Часто это изумительное гоненіе на отдѣль-
ные слова основывается, повидимому, лишь на томъ, что зна-
ченіе данного слова смутно представляется цензурирующимъ
лицомъ. Такъ, напр., въ стихотвореніи Шевченка „До Основя-
ненка“ во всѣхъ изданіяхъ „Кобзаря“ есть между прочимъ чет-
веростишие:

Чи такъ, батьку отамане?
Чи правду співаю?
Ex, як би то! Та що ѹ казатъ,—
Кебети не маю.

Отсутствуютъ подчеркнутыя строки лишь въ кіевскомъ сбор-
нику „Викъ“ (изд. 1902 г.), потому что оказалась зачеркнутой

*) Цензоры должныствуютъ главнѣйше обращать вниманіе свое на духъ и направленіе книгъ, не останавливаясь на частныхъ неисправностяхъ, требующихъ только небольшой перемѣны, и на словахъ или отдѣльныхъ выра-
женіяхъ, когда самая мысль не предосудительна и не противна правиламъ Устава“.

алосчастная „кебета“, въ переводѣ на русскій языкъ буквально означающая „талантъ“, „способность“. Очевидно, цензору, на этотъ разъ читавшему „Викъ“, данное слово напомнило что-нибудь иное, менѣе невинное, или и совсѣмъ ничего не напомнило, и онъ, изгоняя неизвѣстное слово, руководствовался исключительно излишней осторожностью: а вдругъ эта неизвѣстная „кебета“ означаетъ что-нибудь опасное, въ родѣ того „жупела“ и „металла“, которыхъ такъ боялась купчиха Островскаго?.. Промышливая записную книжку кіевскаго украинскаго книгоиздательства „Викъ“, въ которую для памяти заносились вся представляемыя въ цензуру рукописи, я почерпнулъ оттуда весьма поучительныя цифры. За періодъ съ 1895 по 1903 годы книгоиздательствомъ представлено въ цензуру 230 отдѣльныхъ названий рукописей; изъ нихъ появилось въ печати лишь 80, т. е., около $\frac{1}{3}$ всего количества. Остальные или цѣлкомъ запрещены, или подверглись такой мучительной операциіи съ обильнымъ кровопроліяніемъ, что выпускъ ихъ въ свѣтъ въ разрѣшенномъ видѣ явился абсурдомъ. Чтобы уяснить себѣ въ достаточной степени значение приведенныхъ цифръ, необходимо еще принять во вниманіе и то, что издатели были, разумѣется, осведомлены о цензурныхъ порядкахъ и потому сами прилагали старанія къ тому, чтобы рукописи имѣли по возможности благонадежный видъ. И всетаки въ окончательномъ результатѣ ихъ старанія оказались чѣмъ-то въ родѣ попытокъ наполненія бездонной бочки Данайды: $\frac{2}{3}$, представленнаго матеріала исчезло безслѣдно. Подлинно—удобнѣе велбуду сквоэѣ игольныя уши пройти и даже богатому въ царствіе Божіе внiti, нежели украинской книгѣ благополучно миновать вся лежащія на ея пути преграды! Иныхъ результатовъ, разумѣется, и не могло быть, если встрѣчаются непреодолимыя препятствія къ упоминанію о такихъ невинныхъ предметахъ, какъ усы, хотя бы и длинные, хотя бы и запорожскіе, или если воспрещается приводить заглавіе романа, напечатаннаго, конечно, съ надлежащаго разрѣшенія. Если Бѣлинскому не было прощено какое-то пустячное выраженіе на счетъ „шапки-мурмолки“, то онъ всетаки могъ утѣшать себя тѣмъ, что прошли его статьи о Пушкинѣ; на долю же украинскаго писателя не остается такого утѣшенія, ибо если изъ рукописей безвозвратно исчезаютъ „довгі вуса“ и тому подобные пустяки, то и статьи, напр., о Котляревскомъ заранѣе слѣдовало считать какъ бы несуществующими даже въ сборникѣ, посвященномъ памяти этого писателя. Въ самомъ дѣлѣ, въ сборникѣ „На вичну память Котляревскому“, вышедшемъ недавно въ Кіевѣ, о виновника торжества напоминаютъ лишь три стихотворенія да библиографическій указатель его произведеній, сиротливо ютящійся среди беллетристики; нѣсколько статей о Котляревскомъ, помѣщенныхъ первоначально въ сборникѣ, исчезли въ напрасныхъ

шопыткахъ проскользнуть сквозь игольныя уши... Дальше этого, дальше знаменитыхъ „длинныхъ усовъ“, въ данномъ направлениі идти уже, конечно, некуда; большаго не смогла бы сдѣлать и Щедринская комиссія, предлагавшая, какъ извѣстно, „одну часть произведеній литературы сжечь рукою палача, а другую потопить въ рѣкѣ, литераторовъ же водворить въ уѣздный городъ Мезень“. Остается, быть можетъ, сдѣлать только послѣдній шагъ и, объявивъ государственнымъ преступленіемъ произнесеніе всякаго украинскаго слова, упрятать въ ту же Мезень и тридцать миллионовъ народа, говорящаго этимъ столь опаснымъ по самому существу своему языкомъ, хотя и несущаго при этомъ всѣ возложенія на него повинности. Впрочемъ, даже такимъ проектомъ неголовного переселенія украинцевъ никого не удивишь: документально установлено, напр., что онъ совершенно серьезно обсуждался одно время, по крайней мѣрѣ, относительно украинского духовенства, и въ половинѣ 60-хъ гг. шла дѣятельная переписка между различными вѣдомствами по этому поводу. Предполагалось украинское духовенство переселить въ великоруссскія губерніи, замѣнивъ его лицами великорусского происхожденія. Всякая фантазія меркнетъ предъ этимъ маленькимъ эпизодомъ изъ настоящей дѣйствительности!..

V.

Но и сказаннымъ до сихъ поръ дѣло ограниченія украинской литературы еще не вполнѣ исчерпывается. Среди послѣдствій постановленія 1876 г. первое мѣсто по своей тяжести занимаетъ полное воспрещеніе какихъ бы то ни было periodическихъ органовъ и изданій на украинскомъ языку. Я просилъ бы своихъ russkikhъ товарищѣй отрѣшиваться на моментъ отъ дѣйствительности и представить примѣрно такую картину: на всей небольшой шири Россіи, отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды, исчезли вдругъ изъ обращенія не только басни Крылова, сочиненія Пушкина и Гоголя, Шекспира и Шиллера, но и всѣ russkie газеты, всѣ журналы, всѣ periodические изданія... не стало даже „Московскихъ Вѣдомостей“, а изъ „подозрительного бельэтажа“, что на Страстномъ, раздаются лишь разухабистые мотивы подъ аккомпанементъ балалайки. Думаю, что какъ бы ни напрягали свое воображеніе russkie писатели и читатели, набросанной сейчасъ картины они представить себѣ просто не въ состояніи. Непремѣнно цѣльность и выдержанность картины будетъ нарушена тѣмъ, что въ какомъ-нибудь уголкѣ, хотя бы онъ назывался и Страстнымъ бульваромъ, вытекнется газетный листъ, хотя бы и испещренный хорошо извѣстнымъ постнымъ шрифтомъ „Московскихъ Вѣдомостей“ и украшенный соответствующимъ шрифту заглавіемъ. Безъperi-

одицескихъ изданий, безъ газетъ мы не въ состояніи представить себѣ сколько-нибудь культурнаго общества; даже россійскій обыватель, систематически устраивающій травли на корреспондента и собственоручно его избивающій, продолжаетъ все-таки почитывать свою газету; даже Сквозникъ-Дмухановскій, мечущій громы въ „щелкоперовъ“ и „бумагомаракъ“, заглядываетъ, по крайней мѣрѣ, въ полицейскія извѣстія; даже Щедринскіе генералы, очутившись внезапно на совершенно необитаемъ островѣ, усаждали свой досугъ чтеніемъ „Московскихъ Вѣдомостей“, откуда и почерпали весьма назидательныя кулинарныя свѣдѣнія, въ родѣ: „взявъ живого налима, предварительно его высѣчь; когда же отъ огорченія печень его увеличится“... и т. д. Словомъ, исчезновеніе періодической печати въ представленіи русскаго, да и всякаго иного, писателя и читателя было бы равносильнымъ, примерно, тому, что время вдругъ прекратило свое теченіе, т. е., совершенно невозможнымъ. Но для украинцевъ невозможное оказывается не только возможнымъ, но и составляетъ вполнѣ обыкновенное явленіе. Ни одного періодического органа, не смотря на всѣ просьбы и ходатайства, до сихъ поръ не удалось получить; мало того—не разрѣщаются даже слабые намеки на періодическая изданія. Мнѣ опять припоминается случай изъ своей личной практики. Задумавъ издать серію произведений украинскихъ писателей, я предполагалъ дать ей общее заглавіе „Українська Бібліотека“, но на разрѣшеныхъ цензурою выпускахъ этой серіи упомянутое общее заглавіе оказалось вычеркнутымъ. Полагая, что такая участіе постигла заглавіе изъ-за подвергающагося временами гоненію слова „українська“, я уполномочилъ своего знакомаго ходатайствовать о разрѣшениі замѣнить запрещенное заглавіе другимъ—„Наша Бібліотека“; на это послѣдовалъ характерный отвѣтъ: „почему же наша? лишь бы не ваша?“ сопровождаемый также отказомъ. Такъ какъ мы всетаки не догадывались и просили разрѣшенія назвать серію хотя бы просто „Бібліотекой“, то намъ весьма не двумысленнымъ образомъ дано было понять, что всякое общее заглавіе напоминаетъ о періодическомъ изданіи, а потому... выводъ предполагался яснымъ самъ собою. Въ прошломъ извѣстенъ цѣлый рядъ ходатайствъ о разрѣшениі періодическихъ органовъ на украинскомъ языке, но въ украинскихъ лѣтописяхъ сохранились лишь имена этихъ неродившихся существъ. Въ послѣднее время, подъ вліяніемъ толковъ о „веснѣ“, надежды опять возродились и вновь разными лицами и изъ различныхъ городовъ представлено около десятка подобныхъ же ходатайствъ. Въ газетахъ сообщалось уже, что нѣкоторыя изъ нихъ постигла прежняя участіе, т. е., они признаны не подлежащими удовлетворенію; отклонено и ходатайство пишущаго эти строки о разрѣшениі издавать въ Кіевѣ газету и журналъ „Вік“. Къ сожалѣнію, главное управлѣніе по дѣламъ печати при отказахъ не

считаетъ нужнымъ сообщать объ основаніяхъ, по которымъ данное ходатайство постигаетъ та или иная участь; поэтому мы лишены возможности узнать, что послужило причиной отказа въ каждомъ данномъ случаѣ—личная ли непригодность лица, возбуждавшаго ходатайство, или же продолжающееся принципіально-отрицательное отношеніе къ вопросу о существованіи украинской періодической печати. Послѣднее въ эпоху провозглашенаго „дѣвѣрія“ къ обществу въ особенности было бы непослѣдовательнымъ и необъяснимымъ, тѣмъ болѣе что такой образъ дѣйствій не находитъ себѣ оправданія даже въ распоряженіи 1876 г. Въ самомъ дѣлѣ, это распоряженіе о періодическихъ органахъ на украинскомъ языкѣ совершенно умалчиваетъ и толковать такое умолчаніе въ отрицательномъ смыслѣ является такимъ же произвольнымъ дѣйствіемъ, какъ воспрещеніе переводовъ и дѣтской литературы. Распоряженіе 1876 г. само по себѣ уже составляетъ изъятіе изъ общаго правила и потому примененіе его должно ограничиваться лишь точно указанными случаями, не подвергаясь распространительному толкованію. Такимъ образомъ, если даже стоять на точкѣ зрѣнія упомянутаго распоряженія, нѣть основаній для воспрещенія періодическихъ изданій на украинскомъ языкѣ, по крайней мѣрѣ въ рамкахъ „изящной словесности“; мы не говоримъ уже объ иной точкѣ зрѣнія, предъявляемой самой элементарной справедливостью и логикой дѣйствительной жизни...

Но какъ бы то ни было, періодическихъ органовъ на украинскомъ языкѣ, газетъ и журналовъ, въ Россіи нѣть; украинскій народъ и въ этомъ отношеніи имѣеть privilegium odiosum предъ всѣми прочими обитателями Россіи, такъ какъ съ разрѣшеніемъ періодическихъ изданій литовцамъ *) онъ остался въ настоящее

*) Въ 1863 г. издано было запрещеніе, отмѣненное лишь нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, употреблять въ произведеніяхъ литовской письменности латинскій алфавитъ и правописаніе, замѣнивъ ихъ русскими (Подробнѣе объ этомъ см. въ статьѣ г. Ирпенскаго „Литовскій алфавитъ и малорусская литература“, Южныя Записки, 1904 г. № 35). Любопытно, что даже Н. Милютинъ ожидалъ отъ этой мѣры „плодотворныхъ политическихъ результатовъ“ (см. „Изъ записокъ Никотина“ въ „Русской Старинѣ“ 1903 г. кн. III, стр. 501), но дѣйствительность доказала противное. Считаемъ нелишнимъ здѣсь отмѣтить, что подобное же запрещеніе научнымъ путемъ выработанного правописанія тяготѣетъ и надъ украинской литературой: на разрѣшенныхъ рукописяхъ часто красуется надпись: „печатать разрѣшается подъ условіемъ соблюденія правилъ правописанія русскаго языка“, кстати сказать, не передающаго особынностей украинской фонетики и потому вносящаго массу путаницы въ украинскую книгу. Прибавлю къ этому, что Академія наукъ находитъ возможнымъ употреблять въ своихъ изданіяхъ только запрещенное для частныхъ лицъ украинское правописаніе, очевидно по научнымъ соображеніямъ. Въ силу указанного запрещенія для ученыхъ людей создалась въ своемъ родѣ монополія—правильно писать по-украински, что недоступно обыкновеннымъ смертнымъ...

время единственнымъ, лишеннымъ права имѣть свою прессу. Если русскому писателю и читателю трудно представить себѣ такое положеніе, въ некоторомъ родѣ напоминающее знаменитое древнеримское aqua et igni interdictio, то послѣдствія его, я думаю, представляются легче. Вполнѣ понятно, что литература, при отсутствіи постоянныхъ органовъ печати, развиваться правильно не можетъ, такъ какъ она окажется лишенной тѣхъ средствъ, которыя соединяютъ ее постоянными, неразрывными нитями съ публикой, съ читателями. Книга, если бы даже ей не ставилось никакихъ преградъ—не то, что журналъ, она не можетъ вполнѣ замѣнить журнала; книга ожидаетъ, пока читатель придетъ къ ней, тогда какъ журналъ, газета сами идутъ къ читателю, находить его въ постоянными ударами въ одну точку, постояннымъ дѣйствиемъ въ одномъ направленіи служать лучшимъ средствомъ распространенія извѣстныхъ идей. Беря въ руки данный журналъ или газету, мы всегда знаемъ приблизительно, что мы тамъ встрѣтимъ, и въ нихъ ищемъ отвѣта на тѣ вопросы, какіе предъявляютъ къ намъ современность. Какъ средство общенія писателя съ читателемъ, литературы съ жизнью, periodическая печать играетъ огромную, незамѣнимую роль. Безъ periodической печати становится совершенно невозможнымъ это живое взаимодѣйствіе литературы и жизни, это тѣсное общеніе писателя съ читателемъ, которое необходимо, какъ вода для рыбы, какъ кислородъ для дыханія — для развитія литературы. Нѣть взаимодѣйствія, нѣть общенія — нѣть и развитія: литература и жизнь будутъ идти не совпадающими путями, а бресть порознь, не оказывая другъ на друга замѣтного вліянія или низвода его до minimum'a,—при чемъ болѣе страдательной стороной окажется, разумѣется, литература, лишенная читательныхъ соковъ. Народъ, не имѣющій своей печати, несомнѣнно проигрываетъ въ культурномъ отношеніи, отстаетъ въ своемъ развитіи, такъ какъ онъ лишенъ могучаго средства распространенія знаній и вообще культурнаго воздействи... Но, возвращаясь, нѣть украинской печати — это, можетъ быть, и очень прискорбно, однако есть печать русская, которая вполнѣ замѣняетъ ее и восполняетъ, возстановляя взаимодѣйствіе между культурными теченіями и жизнью. Я не думаю, конечно, отрицать огромнаго значенія русской печати между прочимъ и для украинскаго народа; тѣмъ не менѣе полагаю, что она не можетъ выполнить того, что ей не подѣ силу, не можетъ замѣнить вполнѣ печати на языкѣ родномъ для народа, такъ какъ не только по языку, но отчасти и по интересамъ есть и будетъ всегда въ значительной степени чужой ему. Я особенно радъ, что въ подтвержденіе этого положенія могу сослаться на замѣчательныя слова писателя, который долгое время стоялъ „на славномъ посту“ русской литературы и котораго, поэтому, никто не заподозритъ въ умаленіи ея значенія. „Передо мной,—пишетъ

въ одномъ мѣстѣ „Записокъ профана“ незабвенный Н. К. Михайловскій,—лежитъ номеръ сербскаго журнала, на заглавномъ листѣ котораго напечатано: „Отацбина. Книжевность, наука, друштвени животъ. Свеска за іул. 1875“. Очень вѣроятно, что народъ сербскій этой Отацбины не читаетъ, но, можетъ быть, по крайней мѣрѣ, иногда является въ ней нечто и для „свинопаса“ ионятное. Замѣните отацбину отечествомъ и этотъ смѣшной на русское ухо дружественный животъ — общественной жизнью, и вы положите непреодолимую преграду для распространенія знаній и просто грамотности въ народѣ. Наука, искусство, просвѣщеніе, цивилизациѣ будуть идти сами по себѣ, народъ—самъ по себѣ, не оплодотворяя другъ друга“ *). На Украинѣ этотъ экспериментъ сдѣланъ: соотвѣтственные народные термины замѣнены „отечествомъ“, „общественной жизнью“ и послѣдствія получились именно тѣ, о которыхъ говорить Н. К. Михайловскій: наука, искусство, просвѣщеніе, цивилизациѣ идутъ сами по себѣ, народъ—самъ по себѣ, не оплодотворяя другъ друга. По наблюденіямъ другого русскаго писателя, Станюковича, украинцы „культурнѣе великороссовъ: нравы у нихъ мягче, отношенія къ женщинѣ лучше, но за то по развитию, такъ сказать, по умственности, куда ниже великороссовъ. Грамотныхъ я встрѣчалъ очень мало, а весь кругозоръ ихъ недалекъ отъ кругозора дикихъ“ **). Конечно, такія послѣдствія вызваны не однимъ только отсутствіемъ печати на родномъ языке. Тутъ дѣйствовали соединенными силами многія условія, среди которыхъ и отсутствіе печати, и школа съ ея „обрученіемъ“ и другими чуждыми началъ здравой педагогіи тенденціями, и кое-что иное вносило по каплѣ своего меда. Но обсужденіе всѣхъ этихъ условій выходитъ изъ предѣловъ моей задачи, и я говорю пока только о печати.

VI.

Таково положеніе, которое создали для украинской литературы распоряженія 1876 г. Неудивительно, поэтому, что и послѣдствія его также носятъ характеръ исключительности, отразившись на состояніи литературы и положеніи ея работниковъ самымъ плачевнымъ образомъ. Они вызвали среди писателей и читателей всеобщую растерянность, пріостановку въ работе и отчаяніе въ будущности своего дѣла, такъ какъ не оставляли, повидимому, никакого выхода и осуждали все движение на вѣрную, хотя и медленную, смерть. Выше я приводилъ свидѣтельство одного изъ украинскихъ писателей, что „писать было

*) Н. К. Михайловскій. Сочиненія, Спб., 1897, т. III, стр. 886.

**) Станюковичъ. Картины современныхъ нравовъ. „Русская Мысль“, 1896, январь, 208.

не для кого", и могъ бы назвать еще десятки именъ писателей, въ дѣятельности которыхъ 1876 годъ положилъ болѣе или менѣе продолжительный перерывъ. На Украинѣ опять воцарился новый антрактъ, повидимому—послѣдній, въ теченіе котораго украинская литература должна была, послѣ нѣкоторой агоніи, прекратить свое существованіе.

Но... опять приходитъ на память одинъ эпизодъ изъ дѣятельности Щедринской комиссіи по искорененію литературы. Когда комиссія пришла къ извѣстному читателямъ заключенію о необходимости совершенного упраздненія литературы, сатирикъ произнесъ блестящую защитительную рѣчь, звучащую вмѣстѣ съ тѣмъ обвиненіемъ и вызовомъ по адресу людей, рѣшившихся на такое безразсудное дѣло; привести эту рѣчь будетъ весьма умѣстнымъ и въ настоящемъ случаѣ. „Милостивые государи! — сказалъ защитникъ,— вамъ, конечно, небезызвѣстно выраженіе *scripta manent*. Я же подъ личною за сie отвѣтственностью присовокупляю: *semper manent, in secula seculorum!* Да, господа, литература не умретъ! не умретъ во вѣки вѣковъ! А посему, какъ бы намъ съ нашей комиссіей не осрамиться. Все, что мы видимъ вокругъ насъ, все въ свое время обратится частью въ развалины, частью въ навозъ — одна литература вѣчно останется цѣлою и непоколебленною. Одна литература изъята отъ законовъ тлѣнія, она одна не признаетъ смерти. Не смотря ни на что, она вѣчно будетъ жить и въ памятникахъ прошлаго, и въ памятникахъ настоящаго, и въ памятникахъ, будущаго. Не найдется такого момента въ исторіи человѣчества, про который можно было бы съ увѣренностью сказать: вотъ моментъ, когда литература была упразднена. Не было такихъ моментовъ, нѣть и не будетъ" („Круглый годъ“). Не былъ такимъ моментомъ для украинской литературы и 1876 г. и „не смотря ни на что“—она осталась жить, своюю испытанную жизнеспособностью представляя прекрасную иллюстрацію къ приведеннымъ словамъ сатирика и лучшее ихъ фактическое подтвержденіе. Ужъ кажется, приняты были всѣ мѣры къ ея прекращенію, ужъ кажется, и примѣнялись онѣ безъ послабленія, сжимая временами тиски до полнаго ихъ со-прикосновенія — а она, эта сжимаемая литература, не только не умерла, но возрождалась каждый разъ, подобно фениксу изъ иепла, даже прогрессировала и развивалась, дѣлая свое дѣло, хотя, конечно, не въ томъ объемѣ и не съ тѣми результатами, какіе были бы возможны и желательны. Проходили годы и десятилѣтія, въ теченіе которыхъ процессъ агоніи долженъ былъ, повидимому, закончиться естественнымъ концомъ, а между тѣмъ мы съ изумленіемъ замѣчаемъ, что ничего подобнаго не случилось и литература продолжаетъ жить и послѣ нанесенного ей, казалось, смертельный удара. На защиту ея встала сама жизнь, которая въ свое время и вызвала ее изъ небытія, и она съ честью

вышла изъ безпримѣрно тяжелаго испытанія и съ надеждой смотритъ въ будущее. Капля по каплѣ долбитъ эта осужденная на смерть литература камень препятствій, капля по каплѣ просачивается во всѣ поры народнаго организма, подготовляя и обеспечивая ему національное возрожденіе въ будущемъ. Слова сатирика: „какъ бы намъ съ нашей комиссіей не осрамиться“— оказались пророческими. Этому были, разумѣется, вполнѣ определенные причины.

Распоряженія 1876 г., сравнительно съ предшествовавшимъ ему Валуевскимъ распоряженіемъ 1863 г., относятся къ украинской литературѣ съ неизмѣримо болѣею прямолинейностью и суровостью. Тогда какъ тамъ замѣчаются всетаки иѣкоторыя колебанія и нерѣшительность, да и самыя мѣропріятія предлагаются лишь въ видѣ временнай мѣры („пріостановиться“), — здѣсь мы имѣемъ дѣло съ типической повелительной формой, не обнаруживающей уже ни сомнѣній, ни колебаній („воспретить“...). Тѣмъ не менѣе, — я это рѣшительно утверждаю, — послѣднее по времени и болѣе суровое по существу распоряженіе оказалось, въ сущности, еще менѣе дѣйствительнымъ, нежели предыдущее. Дѣло въ томъ, что распоряженіе 1876 г. упало уже на иную почву, встрѣтило иѣсколько подготовленныя силы и потому первоначальная растерянность недолго продолжалась. Дѣйствительность показала, что строгое и неуклонное, вполнѣ послѣдовательное проведеніе принципа полнаго упраздненія литературы на практикѣ немыслимо. Извѣстно вѣдь, что всякое естественное теченіе, встрѣчая преграды и препятствія на прямомъ пути, направляется въ обходъ, по линіи наименьшаго сопротивленія, ищетъ выходовъ и мало по малу ихъ находитъ. Такъ было и въ данномъ случаѣ. Уже иѣсколько лѣтъ спустя по изданію распоряженія 1876 г., жизнь отмѣнила иѣкоторые его пункты, стоявшіе въ наиболѣшемъ противорѣчіи съ ея требованиями, а въ періодъ 1881—83 гг. сдѣлала даже иѣкоторый запасъ литературныхъ произведеній, какъ бы предчувствуя, что наступающе за симъ время окажется въ полномъ смыслѣ „временемъ лютымъ“, когда уже не будетъ возможности что-нибудь дѣлать. Такое время дѣйствительно наступило и до конца 90-хъ годовъ стоялъ самый глухой періодъ, когда вся литературная продукція украинской печати въ Россіи выражалась цифрой въ иѣсколько десятковъ тощенькихъ брошюрокъ, не дававшихъ ровно никакого представленія ни о литературныхъ силахъ, ни о дѣйствительномъ ростѣ украинской литературы, ни о направленіяхъ среди украинскихъ писателей. Съ ужасомъ и недоумѣніемъ когда-нибудь впослѣдствіи, когда получать извѣстность всѣ факты изъ этого недавняго прошлаго, остановится историкъ украинской общественности предъ этимъ мрачнымъ періодомъ. Но тиши, да гладь, да Божья благодасть существовали только наружно; въ дѣйствительности же дви-

жение обнаружилось тамъ, гдѣ лишь смутно подозрѣвали его возможность авторы распоряженія 1876 г. Выходъ былъ найденъ: украинскіе писатели, силою вещей поставленные въ законъ, сдѣлали еще шагъ впередъ въ томъ же направленіи, по которому толкало ихъ упомянутое распоряженіе, и совсѣмъ ушли изъ-подъ его дѣйствія, перенесши свою дѣятельность въ родную Галичину.

Этотъ край, заселенный въ значительной части также украинскимъ народомъ, до половины 70-хъ годовъ мало привлекалъ къ себѣ россійскихъ украинцевъ, и потому сношенія съ нимъ до этого времени ограничивались лишь отдѣльными личностями какъ съ той, такъ и другой стороны. Клерикально-бюрократически-буржуазное направленіе, господствовавшее тогда среди галицкой интеллигентіи, ея отсталость во всѣхъ отношеніяхъ и реакціонно-обスクрантное отношеніе къ народу представлялись украинцамъ до такой степени непривлекательными, что они ограничивались лишь общими выраженіями симпатіи къ своимъ закордоннымъ братьямъ, благо при этомъ была хоть какая-нибудь возможность работать дома. Но вотъ эта возможность исчезла, и съ этого времени Галичина привлекаетъ общее вниманіе среди украинцевъ: центромъ украинского движения становится Львовъ — здѣсь сосредоточиваются всѣ литературныя силы съ обѣихъ сторонъ Збруча, здѣсь вырабатываются литературныя и иныя традиціи, которые будутъ сохранены до того, надѣемся, недалекаго времени, когда и въ Россіи сдѣлается возможнымъ украинское печатное слово и свободное обнаруженіе національного движенія. Галичина и въ настоящемъ сыграла, по выражению проф. Грушевскаго, роль резервуара для украинской народности, — ту роль, какая принадлежала ей на зарѣ исторіи, когда этотъ край даваль пріютъ украинскому населенію, отступавшему подъ натискомъ тюркскихъ кочевниковъ на западъ.

Съ перенесенiemъ дѣятельности украинцевъ въ Галичину и подъ сильнымъ ихъ вліяніемъ, возникаетъ и тамъ національно-демократическое движение, неразрывно связанное съ именами Драгоманова, Конисскаго и Франка; это движение постепенно усиливается и въ настоящее время охватываетъ большую часть мѣстной интеллигентіи. Появляются научныя, литературныя и др. общества *) и органы печати, питающіеся притокомъ какъ мѣстныхъ силъ, такъ и приливающихъ изъ россійской Украины; во всѣхъ сферахъ культурной жизни ведется дѣятельная работа, свидѣтельствующая о жизнеспособности осужденного у насъ на смерть направленія. Я не имѣю въ此刻е времени возможности

*) Самое видное мѣсто между обществами безспорно занимаетъ извѣстное Львовское „Наукове Товариство імені Шевченка“; на русскомъ языке наиболѣе полный обзоръ его дѣятельности сдѣланъ проф. Грушевскимъ въ „Журналѣ министерства народнаго просвѣщенія“ за 1904 г. кн. III, стр. 117 — 148.

останавливаться на всѣхъ проявленіяхъ указанного движения въ Галичинѣ и подчеркиваю лишь одну его черту: получая постоянное питаніе изъ русской Украины, Галичина въ свою очередь оказываетъ громадную поддержку и украинцамъ, такъ какъ даетъ возможность найти здѣсь точку приложения для своихъ силъ, выброшенныхъ за бортъ на родинѣ.

Но если для поддержки существованія литературы исходъ украинцевъ изъ Россіи имѣть громадное значеніе, то для развитія какъ литературы вообще, въ ея цѣломъ, такъ и отдѣльныхъ писателей,—указанное обстоятельство должно считаться не всѣма благопріятнымъ. Каждый писатель имѣть въ виду извѣстную аудиторію, извѣстный кругъ читателей, къ которымъ онъ обращается со своимъ словомъ; чтобы вліять на эту аудиторію, онъ долженъ избирать, во-первыхъ, интересные для нея предметы и выработать, во-вторыхъ, опредѣленные пріемы, чтобы читатели понимали его, что называется, съ полуслова. Только при этихъ условіяхъ возможна тѣсная связь между писателемъ и читателемъ, обеспечивающая первому болѣе или менѣе глубокое вліяніе на свою аудиторію. Если мы вспомнимъ теперь первый пунктъ распоряженія 1876 г., запрещающей ввозъ въ Россію всѣхъ изданныхъ за границей украинскихъ книгъ, то поймемъ, что именно та аудиторія, на которую ближайшимъ образомъ только и можетъ разсчитывать украинскій писатель и запросы которой ему извѣсты лучше — для него почти не существуетъ; его произведеніямъ суждено обращаться преимущественно среди читателей, выросшихъ въ иной политической и общественной атмосфѣрѣ и потому предъявляющихъ иные запросы къ литературѣ и живущихъ часто обособленными интересами. Разумѣется, при подобныхъ условіяхъ меньше шансовъ на то, что и литература вообще, и отдѣльные писатели въ частности вполнѣ использовать все свое дарованіе и вліяніе. Многія произведенія, попадая на не совсѣмъ подходящую почву, останутся не вполнѣ понятными; другія, имѣющія по преимуществу мѣстный интересъ, и совсѣмъ не могутъ появиться; многое должно облекаться въ слишкомъ академическія, далекія отъ жизни формы, избѣгая по возможности конкретныхъ случаевъ, заимствованныхъ изъ мало извѣстной большинству читателей обстановки. Въ результатѣ — некоторые отрасли литературы, напр., публицистика, не могутъ совершенно развиваться, другія — значительно проигрываютъ и также задерживаются въ своемъ развитіи, а отдѣльные писатели принуждены избѣгать всѣма, можетъ быть, для нихъ въ данный моментъ интересныхъ темъ, или придавать имъ не вполнѣ подходящую форму. Эти фатальные условія — источникъ задержки въ развитіи литературы и гибели, въ цѣломъ или въ части, отдѣльныхъ талантовъ. Легко вообразить, чтосталось бы самымъ сильнымъ талантамъ при подобныхъ обезпложивающихъ, такъ сказать, усло-

віяхъ. Въ этомъ отношеніи даже положеніе русскаго писателя,—того самого писателя, которому литература напоила сердце ядомъ,—представляетъ громадную разницу. Русскій писатель все-таки можетъ въ большинствѣ случаевъ высказать, хотя бы и заоповскимъ языкомъ, то, что онъ находитъ нужнымъ и полезнымъ въ данное время,—для украинскаго же эта возможность относится всецѣло къ области сладкихъ, но безплодныхъ мечтаний; русскій писатель имѣть свою аудиторію, своихъ читателей, которые иногда съ нетерпѣніемъ ожидаютъ всякаго нового произведенія любимаго писателя,—для украинскаго же составъ читателей замыкается тѣснымъ кругомъ членовъ собственной семьи (припомните Щоголева!) или же въ лучшемъ случаѣ расплывается до полной потери всякихъ опредѣленныхъ очертаній. А вѣдь писатель не для собственнаго только самоуслажденія „писывается“; онъ имѣть жгучую потребность въ томъ, чтобы выстраданныя имъ произведенія читались, и его слово попадало на надлежащую почву. При отсутствіи же этихъ условій, украинскому писателю предстоитъ грозная альтернатива: или уйти съ родного поля и стать работникомъ на соѣднѣмъ, или же совершенно забросить перо, истощивъ силы въ безплодныхъ попыткахъ борьбы противъ неумолимаго рожна. И сколько ихъ, этихъ жертвъ своего тяжелаго положенія, имена ихъ же Ты, Господи, самъ вѣси, насчитываетъ украинская литература за все время своего горемычнаго существованія! Сколько погибло талантливыхъ силь, замолкавшихъ на время особенно обострившихся цензурныхъ гоненій, или же и совсѣмъ сломившихъ свое перо!.. Разумѣется, болѣе энергичныя натуры выдерживаютъ всѣ испытанія и терпѣливо продолжаютъ идти своимъ тернистымъ путемъ, но во что имъ это обходится и какими жертвами, въ видѣ ненужной потери и растраты силъ, для литературы это сопровождается—легко понять, припомнивъ все до сихъ поръ мною сказанное. Существуетъ, кроме того, разница и въ чисто материальномъ отношеніи. Русскій писатель, благодаря тому, что трудъ его оплачивается, можетъ быть только писателемъ, всѣ свои силы и время посвящая одной литературѣ,—украинскій же прежде всего долженъ быть учителемъ, врачомъ, чиновникомъ, корректоромъ и т. д., и только остатокъ своихъ силъ и времени можетъ отдавать литературѣ. Исключительное положеніе послѣдней создало такой порядокъ, что литературный трудъ не оплачивается совершенно и ничего, кроме непріятностей, треволненій и огорченій, не даетъ украинскому писателю, лишенному, къ сожалѣнію, завидной доли древнихъ—питья амброзію и нектаромъ.. Я не говорю уже о разницѣ въ душевномъ настроеніи, съ одной стороны—человѣка, сознавшаго себя полезнимъ работникомъ, и съ другой—употребляющаго бездну хлопотъ, времени и энергіи на то, чтобы наполнять бездонную бочку цензурныхъ Данайдъ. Вѣдь это одно въ состояніи

остановить всякое развитие. Говорять часто, что украинская литература не дарить своихъ почитателей замѣчательными произведеніями, — допустимъ, что это такъ, хотя такое мнѣніе и не вполнѣ справедливо. Но я просилъ бы указать литературу, которая при подобныхъ условіяхъ была бы въ состояніи давать замѣчательные произведенія. Я думаю, что отнюдь не этому слѣдуетъ удивляться, а скорѣе тому, что находятся еще люди, прилагающіе свои силы къ разработкѣ запретной области. Вѣдь если русскому писателю литература и нацоила сердце ядомъ, то не забудемъ, что она же всетаки и освѣтила ему жизнь, тогда какъ на долю украинскаго, кромѣ безпримѣснаго яда, не осталось ровно ничего, и тѣмъ большаго удивленія заслуживають эти попытки вырваться изъ сплошь отравленой атмосферы и создать хотя бы проблески свѣта среди непроглядной тьмы...

VII.

Въ заключеніе нельзя не обратиться къ вопросамъ: кому нужно, для кого можетъ быть выгодно и полезно это исключительное положеніе, созданное для украинской литературы? Кто собственно заинтересованъ въ томъ, чтобы украинскій народъ былъ лишенъ самого элементарнаго человѣческаго права — говорить о себѣ и для себя на своемъ родномъ языкѣ? Рассматривая эти вполнѣ умѣстные, въ виду ихъ важнаго значенія, вопросы, мы, къ глубокому своему изумленію, не можемъ на нихъ отвѣтить положительно.

Говорить, напр., что денационализація не-государственныхъ народностей полезна государственной, — въ данномъ случаѣ великорусскому народу, въ интересахъ котораго будто бы и совершаются приведеніе къ одному знаменателю всѣхъ этихъ финновъ, латышей, литовцевъ, поляковъ, украинцевъ, грузинъ, армянъ и проч., и проч., и проч. Но въ чёмъ выражается эта польза, — будеть ли обитатель, скажемъ, Тульской губерніи, чувствовать себя счастливѣе и меньше ощущать тяготы своего настоящаго существованія, если, допустимъ, кievляне, полтавцы, тифлисцы или варшавяне станутъ изъясняться точно такъ же, какъ и этотъ тульскій обыватель? Очевидно, послѣднему это обстоятельство не можетъ доставить ровно никакого реальнаго счастья, кромѣ, можетъ быть, чисто платонического удовольствія, что вотъ, молъ, наша веяла. Но, можетъ быть, это нужно для всего великорусскаго народа, взятаго въ его цѣломъ? Опять таки народъ этотъ имѣть столько реальныхъ нуждъ, столько жгучимъ насущныхъ потребностей, которая настоятельно ждутъ удовлетворенія, что ему, право, никогда и думать о какой-то своей руссификаторской якобы миссіи, навязываемой ему обитателями всевозможныхъ „подозритель-

ныхъ бельэтажей". Ссылка на народъ является въ данномъ случаѣ напрасной клеветой на него.

Говорить еще, что литературное раздѣленіе можетъ вредно отозваться на развитіи русской литературы, уменьшивъ число ее работниковъ и потребителей. Подобное мнѣніе, конечно, справедливо въ буквальномъ смыслѣ, потому что, если бы Гоголь писалъ по-украински, то русская литература лишилась бы одного изъ замѣчательнѣшихъ своихъ дѣятелей, и если бы украинскіе читатели имѣли свою печать, то число потребителей русской несомнѣнно бы нѣсколько понизилось. Тѣмъ не менѣе, я полагаю, что это съ виду справедливое мнѣніе отзывается весьма вульгарнымъ пониманіемъ задачъ литературной дѣятельности и также содержитъ клевету — на этотъ разъ уже на русскую литературу, которая, по крайней мѣрѣ, въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей, съ негодованіемъ отвергаетъ унизительную роль чужеядного растенія. Русская литература имѣть достаточно своихъ собственныхъ силъ и слишкомъ широкое поле дѣятельности, чтобы предъявлять претензіи на захватъ чужихъ владѣній. Да и эти „чужія владѣнія“ не были бы, конечно, ограждены китайской стѣной, и лучшія произведенія русской литературы всегда вызывали бы такой же живой интересъ среди украинскихъ читателей, какъ вызываютъ и теперь. Пониженіе сказалось бы, такимъ образомъ, только въ отношеніи посредственныхъ и плохихъ произведеній, а объ этомъ едва ли стоитъ особенно жалѣть, такъ какъ не на нихъ клиномъ сошлась русская литература и не въ ихъ распространеніи она заинтересована. Но если бы въ количественномъ отношеніи русская литература даже и проиграла отъ уменьшения работниковъ и потребителей, то въ качественномъ она несомнѣнно бы выиграла при свободномъ обмѣнѣ достоинія различныхъ литературъ и утилизациіи всѣхъ тѣхъ силъ, которая въ настоящее время погибаютъ неиспользованными. Да, наконецъ, литература менѣе всего нуждается въ томъ, чтобы привлекать къ ней кого бы то ни было за шиворотъ: есть у нея свои собственные средства распространенія, которыхъ гораздо сильнѣе подневольного привлечения.

Говорить, далѣе, что ограничительные мѣры предпринимаются въ интересахъ самихъ же украинцевъ, чтобы отвлечь ихъ отъ пустой, вредной и не имѣющей будущности затѣи, предохранить ихъ силы отъ напрасной траты и направить эти силы на общую работу. Къ этому мнѣнію весьма часто примыкаютъ тѣ „очень совѣстливые и честные“, по словамъ одного изъ одесскихъ публицистовъ, люди, которые „совершенно замалчиваютъ эти (национальные) вопросы, лелеѧ въ душѣ идеальъ единства, подавленія одной націей другихъ, надѣясь, что эту не особенно пріятную работу совершаютъ иные не совсѣмъ чистые люди, и что послѣ ихъ необходимой, но грязной работы, возможно будетъ приступить, на-

конецъ, къ осуществлению идеала человѣческой справедливости* *). Отождествленіе Молоха съ приносимой ему жертвой, какъ въ данномъ случаѣ, кромѣ нѣкоторой чисто-логической несообразности, никакой клеветы, конечно, не составляетъ, но оно содержитъ нѣчто худшее: конунстvenное оправданіе всякаго насилия какимъ-нибудь болѣе или менѣе свѣтлымъ идеаломъ. Въ подобныхъ оправданіяхъ во время бно почерпала основанія для своей дѣятельности инквизиція, сквозь пламя священныхъ костровъ проводившая заблудшихъ къ вѣчному спасенію; на нихъ же строили свою противообщественную работу іезуиты, возведшіе въ догматъ извѣстный принципъ: „цѣль оправдывается средствами“, и соперничать съ этими кровавыми дѣятельностями исторіи „очень совѣстливымъ и честнымъ“ людямъ совершенно не къ лицу. Оправданіе страданій интересомъ самихъ же страдальцевъ или это, въ своемъ родѣ, *reservatio mentalis*, молчаливое одобрение по адресу „не совсѣмъ чистыхъ“ исполнителей „необходимой, но грязной работы“ съ затаенною мыслью воспользоваться ея плодами для свѣтлыхъ идеаловъ справедливости въ будущемъ — въ нравственномъ отношеніи хуже открытаго насилия. Но оно, кромѣ того, столь же несостоятельно на практикѣ. Имѣеть ли будущность украинская литература, или же она представляетъ пустую и праздную затѣю — этотъ вопросъ для насть уже решенъ жизнью, такъ что всякая насильственная задержка въ ея развитіи представляется намъ прямымъ ущербомъ для интересовъ украинскаго народа, а вмѣсть съ тѣмъ и всего человѣчества. Но даже съ точки зренія сомнѣвающихся слѣдуетъ предоставить ей полную свободу, такъ какъ только этимъ путемъ скорѣе и решительнѣе будетъ обнаружена ея несостоятельность, тогда какъ при господствѣ ограниченій и полумѣръ данный вопросъ долго еще не получить точнаго решенія, и существованіе, допустимъ, „большого человѣка“ затягнется несомнѣнно на болѣе продолжительное время, чѣмъ при полной свободѣ. Что касается безполезной якобы траты силъ, то я позволю себѣ только одинъ вопросъ: развѣ этой траты теперь не совершаются? Развѣ то, о чемъ у насть все время шла рѣчь, не является одвой огромной, сплошной тратой народныхъ силъ, осужденныхъ на вынужденное бездѣліе, на искусственное бесплодіе? Предупрежденіе проблематической траты силъ путемъ дѣйствительной траты ихъ — это ли разумное решеніе вопроса и не напоминаетъ ли оно поступка того мудреца, который позволилъ улетѣть изъ рукъ синицѣ въ чайніи благъ отъ свободно парящаго въ небѣ журавля?...

Чаше всего, однако, ограничения, направленные противъ отдельныхъ національностей, оправдываются государственными инте-

*) Изгоевъ — „Хроника внутренней жизни“, Южныя Записки, 1904 г., № 40, стр. 29.

ресами: цѣлостью, могуществомъ, безопасностью и тому подобными, дѣйствительно, важными нуждами государства. Переходя къ этому наиболѣе щекотливому обоснованію запретительныхъ мѣропріятій, я прежде всего спросилъ бы, въ чемъ заключаются положительные интересы государства въ отношеніи своихъ гражданъ? Конечно, въ томъ, чтобы эти граждане или обыватели—какъ кому угодно — исправно платили подати, проливали, гдѣ потребуется, свою кровь и вообще исполняли всѣ предписанныя закономъ государственные повинности; въ этомъ, и только въ этомъ, и заключаются дѣйствительныя, реальныя требованія государства къ своимъ гражданамъ. Мышасть ли отдельность языка и развитіе собственной литературы какой-нибудь народности болѣе или менѣе исправно уплачивать причитающіяся съ ней подати, проливать кровь и т. п.? Нѣтъ, не мышаетъ, что, между прочимъ, достаточно убѣдительно доказывается и настоящими событиями на востокѣ, гдѣ всѣ народности несутъ одинаково тяжелыя жертвы. Въ этомъ и вся суть государственныхъ задачъ и интересовъ, такъ какъ сказкамъ о сепаратизмѣ не вѣрять, должно быть, даже и тѣ, кто временами къ нимъ прибываетъ съ цѣлью попугать, кого слѣдуетъ, финляндской, польской, украинофильской или еще тамъ какой интригой. Вѣдь отъ добра добра не ищутъ, это—общее правило и всѣмъ людямъ одинаково свойственная черта. Наоборотъ, не менѣе общимъ правиломъ можно считать и обратное положеніе, а именно, что неосновательные стѣсненія естественныхъ влечений въ состояніи лишь вызвать поиски того добра, въ которомъ данному лицу отказано: сепаратизмъ питается лишь стѣсненіями, является послѣдствіемъ ихъ, а отнюдь не причиной. Въ неоднократно цитированной мною запискѣ ministra Головнина, бывшаго свидѣтелемъ примѣненія ограничительныхъ мѣръ въ 40-хъ годахъ къ Финляндіи, содержится очень любопытное на этотъ счетъ замѣчаніе. „Я былъ тогда, — пишетъ министръ, — свидѣтелемъ негодованія, которое возбудила эта мѣра въ лицахъ, самыхъ преданныхъ правительству, которыхъ оплакивали ону, какъ политическую ошибку. Враги правительства радовались этому распоряженію, ибо оно приносило большой вредъ самому правительству“ *). Нечего и говорить, что одинаковые причины всегда и вездѣ производятъ одни и тѣ же послѣдствія.

Но гдѣ же еще можетъ быть искомый Молохъ, которому вѣдь жертвы всетаки приносятся? Неужели только въ жалкомъ и пустомъ тщеславіи по поводу того, что количество говорящихъ русскимъ языкомъ увеличилось на десятокъ, сотню или даже тысячу человѣкъ? Если это такъ, то стоять ли ради такихъ пустяч-

*) Лемке М.—Эпоха цензурныхъ реформъ, стр. 306.

ныхъ результатовъ практиковать массу стѣсненій и лишать много-миллионное населеніе свободного обнаруженія своихъ силъ? Едва ли эта малоцѣнная овчинка стоять выдѣлки, не говоря уже о томъ, что плохую услугу оказываютъ русскому языку его неумѣренные поборники, дѣйствуя насилиемъ, и, конечно, великій, по выраженію Тургенева, русскій языкъ въ подобныхъ услугахъ никогда не нуждался и не нуждается.

Итакъ, хотя загадочная картина съ надписью „гдѣ Молохъ?“ нами въ концѣ концовъ и разгадана, но самого Молоха, при всей реальности приносимыхъ ему жертвъ, въ наличности не оказывается, въ какомъ-нибудь реальномъ воплощеніи онъ не существуетъ, — это не болѣе, какъ фантомъ, созданный разстроеннымъ воображеніемъ нѣкоторыхъ потомковъ Аракчеева. Украинскій народъ сталъ жертвой прискорбной ошибки, фатального недоразумѣнія, которая длятся, однако, слишкомъ долго, уже въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ поглощая въ значительной степени духовныя силы страны и вызывая все новыя и новыя осложненія. Запретительныя мѣры по отношенію къ украинской литературѣ, какъ и множество другихъ, всецѣло относятся къ числу такихъ, „которые не принося никакой существенной пользы тѣмъ, ради которыхъ это дѣлается, вмѣстѣ съ тѣмъ наносятъ огромныя лишенія людямъ, къ которымъ они примѣняются“ („Русскія Вѣдомости“, 1904 г., № 271), по глубоко справедливому замѣчанію бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ, кн. Святополкъ-Мирскаго. Но не принося никому никакой пользы, подобныя мѣры наносятъ неисчислимый вредъ и при томъ не только тѣмъ, къ кому они примѣняются, но и тѣмъ, ради кого это дѣлается, подобно тому какъ рабство въ одинаковой степени развращаетъ и раба, и господина. Добро бы еще, если бы эти никому ненужныя и для всѣхъ вредныя ограничительныя и запретительныя мѣры оказывались въ самомъ дѣлѣ дѣйствительными, а то вѣдь и въ этомъ отношеніи они доказали уже полное свое безсиліе и вовсе не привели къ искорененію украинской литературы. Выводъ отсюда можетъ быть только одинъ: отиѣна исключительного положенія, созданного распоряженіемъ 1876 г. для украинской литературы, какъ и вообще всѣхъ подобныхъ мѣръ, представляется прямо необходимой въ общихъ интересахъ. Существуетъ въ нѣкоторыхъ сферахъ предразсудокъ, что считаться въ такихъ случаяхъ съ необходимостию и сознавать свои ошибки — значитъ ронять свой престижъ, обнаруживать слабость власти, и этотъ предразсудокъ часто стоитъ на дорогѣ къ хорошимъ цѣлямъ. Нечего и говорить, насколько онъ не основателенъ: сознанная ошибка уже перестаетъ быть ошибкой, такъ какъ за сознаніемъ слѣдуютъ мѣры къ исправленію и устраненію ея печальныхъ послѣдствій. Вѣдь не надо забывать, что *scripta manent, semper manent, in secula seculorum*, и что на основаніи этихъ не подверженныхъ тлѣнію и уничто-

жению seripta истории — рано ли, поздно ли — но непременно вынесет свой неприятный приговор...

Сергей Ефремовъ

Брандмейстеръ Осиповъ.

Красавецъ мужчина въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ — ему всего 42 года. Владѣлецъ капитального трехъэтажнаго дома въ Житомирѣ. Привлеченъ къ суду „по соучастію въ поджогахъ съ корыстными цѣлями“ — за плату въ иѣсколько сотъ рублей. Когда онъ говорить свое „послѣднее слово“ присяжнымъ засѣдателямъ, публика замѣтно взмолнивна. Многіе плачутъ. Но улики несомнѣнны, и судъ выносить приговоръ: трехгодичная каторга.

Въ отзывахъ печати, далеко не дружелюбно настроенной къ подсудимому, весьма ясно сквозила сочувственная нотка: Приговоръ мягокъ, преступленія оцѣнены гораздо ниже ихъ дѣйствительной стоимости. Но осужденнаго — жаль. Это несомнѣнно талантливый человѣкъ, прекрасный работникъ, огневая натура. И лишь невыносимыя, проклѣтыя условія жизни развратили его, сдѣлали преступникомъ и привели къ фатальному концу.

Кто осужденный? Судя по газетнымъ сообщеніямъ, его отецъ въ раннемъ дѣтствѣ былъ отнятъ у семьи „мѣрами полиції“, и на этомъ основаніи крещенъ и названъ „кантоnistомъ“. По имени восприемника, ему дали фамилію: „Осиповъ“. Сынъ этого Осипова, Иларіонъ, мальчикомъ попалъ въ Кіевъ. Цовидимому, у него не было ни родныхъ, ни пристанища, ни, разумѣется, хлѣба. Здѣсь, въ 1880 г., его впервые судили за кражу пальто. Судъ призналъ воровство доказаннымъ. И, такимъ образомъ, 18-лѣтній Иларіонъ Осиповъ, сынъ кантониста по происхожденію и мѣщанинъ по паспорту, превратился въ „извѣстнаго полиціи вора“.

Кличка: „извѣстный воръ“, т. е. записанный въ участковыхъ книгахъ, весьма часто употребляется полицейскими протоколами. И весьма немногіе знаютъ, въ какія исключительныя, интимныя отношенія къ полиція ставить она человѣка, особенно, если этотъ человѣкъ обладаетъ иѣкоторымъ умомъ и острою наблюдательностью. Съ одной стороны, попавшій въ списки воровъ, хотя бы изъ-за нужды и голода, всецѣло зависитъ отъ полиціи: она вольна допустить его къ честному труду, но вольна и не допускать. Съ другой — прежде чѣмъ сдѣлаться „воромъ“, человѣкъ такъ или иначе соприкасался съ „преступной средой“, знаетъ ее и можетъ, въ случаѣ надобности, сдѣлать полезныя для сыска указанія.

Въ реферахъ о гомельскомъ процессѣ упоминался, между прочимъ, нѣкій свидѣтель Мурашко. Собственно въ „погромное дѣло“ онъ не внесъ ничего, особо примѣчательнаго. Но въ показаніяхъ его есть характерная подробность. Онъ, видите ли, „недавно находился подъ судомъ за кражу“, а затѣмъ „по порученію полиціи ходилъ опознавать евреевъ, которые производили „русскій погромъ“, т. е. совершаи одинъ изъ важнѣйшихъ актовъ предварительного слѣдствія.

Такого же рода свидѣтель выступалъ въ декабрѣ 1904 г. по дѣлу нѣкоего Кривуши. Фамилія этого свидѣтеля — Голлендеръ. Въ 1897 г., если вѣрить его собственнымъ словамъ, онъ отсиживалъ свой срокъ въ тюрьмѣ, а раньше былъ сыщикомъ. Въ настоящее же время онъ — „агентъ кіевскаго сыскнаго отдѣленія“.

Забѣгая значительно впередъ, приведу аналогичный случай изъ житомирскаго процесса.

Въ Житомирѣ Осиповъ „завѣдывалъ“, между прочимъ „сыскными агентами“. Въ числѣ сыщиковъ былъ какой-то Рейхисъ, „отъявленный воръ и мошенникъ“, „принесшій населенію, какъ выражался Осиповъ, много пользы“. Объ этомъ Рейхисъ свидѣтель Константиновъ, помощникъ пристава 1 части, показалъ слѣдующее:

— Онъ былъ заподозренъ въ кражѣ и арестованъ. Но вскорѣ я освободилъ его по просьбѣ Осипова. Въ тотъ же день Осиповъ позвалъ меня къ себѣ въ гости. Не зная расположения комнатъ, я попалъ не въ общую гостиную, а въ какую-то другую комнату. И вдругъ вижу Рейхиса, голаго, растрепаннаго... Я шарахнулся въ сторону и поспѣшилъ выйти. Навстрѣчу шелъ Осиповъ. Онъ сказалъ мнѣ, что пригласилъ Рейхиса для получения разныхъ свѣдѣній...

Нѣть резона удивляться легкости, съ какою совершаются переходы отъ аванія: „извѣстный полиціи воръ“ къ должности: „агентъ сыскнаго отдѣленія“. Рейхисы, по нѣкоторымъ соображеніямъ, незамѣнны. Имъ нечего терять, они готовы идти, куда угодно, и ни къ чему не обязываются, ибо ихъ чрезвычайно удобно возвращать въ „первобытное состояніе“, т. е. въ тюрьму. И только свойственная Осипову осторожность побудила его примѣнить къ новому подчиненному крайнюю мѣру пресѣченія — раздѣтъ до гола.

Въ началѣ своей карьеры Осиповъ также побывалъ въ шкурѣ Рейхиса. Наказаніе за кражу почему-то миновало его, и почти тотчасъ послѣ суда онъ оказывается писцомъ въ канцеляріи кіевскаго предводителя дворянства. Это — первая загадка въ исторіи Осипова: какъ извѣстно, на службу въ предводительскія канцеляріи люди принимаются лишь послѣ очень тщательныхъ спра- вокъ о прошломъ, а справки даетъ прежде всего полиція... Тыхъ загадокъ мы потому встрѣтимъ не мало.

Въ качествѣ писца, Осиповъ дѣлаетъ рядъ подлоговъ на по-чтовыхъ денежныхъ повѣсткахъ. Установлено, что по 6 повѣсткамъ съ подложными подписями ему удалось получить деньги. И въ 1881 г., все еще несовершеннолѣтній, Иларіонъ Осиповъ вновь „предстаетъ предъ зерцаломъ суда“ и приговаривается къ 8-и-сичному тюремному заключенію. На этотъ разъ, если не ошибаюсь, онъ наказаніе отбылъ.

Затѣмъ мы видимъ Осипова на разныхъ поприщахъ: онъ то числится на службѣ въ кievской бойнѣ, то состоять подъ судомъ за клевету, но связей своихъ съ полицейскими сферами не теряетъ, и, нѣсколько лѣтъ спустя, ему удается получить крупное повышение по службѣ: его назначаютъ урядникомъ въ Уманскій уѣздъ. Конечно, въ его служебный формуляръ не вносится ни судимость за кражу, ни тюрьма за подлоги. Въ виду заслугъ, извѣстныхъ, разумѣется, не намъ, а начальству, „все прежнее“ было, такъ сказать, предано забвѣнію.

II.

Есть остроумная народная басенка, какъ одинъ котъ задумалъ въ монахи поступить.

- Котъ Василій,—спрашивала мышь изъ норки,—ты постригся?
- Постригся, Евлампьюшка, постригся...
- И посхимился?
- И посхимился...

Мышь обрадовалась и выбѣжала изъ норы. Котъ ее сцепалъ.

— Схимникъ Василій,—пищала мышь,—вспомни: тяжкій грѣхъ тебѣ скоромиться...

— Я и не скоромлюсь,—отвѣтилъ котъ.—Я разслѣдую, не ѣла ли ты хозяинскаго сала.

Въ этомъ отвѣтѣ кота, который, не взирая на иноческій санъ, мышку во здравіе скушалъ, весьма тонко подмѣчена бытовая черта, уцѣльвшая отъ временъ стародавнихъ по нынѣшній день. Ради иллюстраціи рѣшаюсь еще разъ уклониться въ сторону и напомнить негромкое, но заслуживающее вниманія „судебное дѣло“. Разматривалось оно 31 октября 1903 г. въ екатеринославскомъ уѣздномъ съѣзда.

Мѣщанинъ Стародубцевъ заочно назвалъ полицейского пристава с. Запорожья-Каменскаго г. Сытина „хабарникомъ“. Преставъ возбудилъ дѣло по обвиненію въ клеветѣ. Пропутешествовавъ по разнымъ инстанціямъ, дѣло попало въ съѣздъ. Свидѣтели Стародубцева съ рѣдкимъ єдинодушіемъ показывали, что г. Сытинъ береть взятки.

— Когда не было денегъ,—говорилъ, напримѣръ, торговецъ Пастуховъ,—я давалъ Сытину вещами. Такъ: два покрывала, а

черезъ полгода два ковра, черезъ годъ еще два ковра, штуку клеинки и 8 аршинъ сѣраго кастрона на шинель, черный сатинъ на мундиръ и 18 аршинъ шелковаго муару, рыбу изъ Москвы, да еще двѣ ковровыя дорожки,—etc.

Съѣздъ выслушалъ показанія, однако нашелъ, что для него, какъ „судебно-административнаго учрежденія“, „голословныя показанія свидѣтелей“ убѣдительной силы не имѣютъ. По мнѣнію съѣзда, занесенному въ приговорѣ, „доказать лихомиство пристава Сытина Стародубцева могъ лишь представлениемъ такого судебнаго приговора, коимъ бы Сытинъ былъ признанъ виновнымъ въ лихомиствѣ, или опредѣленіе начальства по сему предмету“.

На этомъ основаніи Стародубцевъ былъ признанъ виновнымъ въ клеветѣ (по 136 ст. уст. о наказ.) и приговоренъ къ высшей мѣрѣ наказанія, т. е. къ трехмѣсячному аресту.

Для человѣка, который не принадлежитъ къ сословію котовъ, живущихъ среди мышей, такое рѣшеніе непонятно. Онъ, пожалуй, изумится даже:

— Зачѣмъ въ такомъ случаѣ съѣздъ затруднялъ себя допросомъ свидѣтелей?

Между тѣмъ, мотивы съѣзда, при всей ихъ юридической необоснованности, не лишены своеобразной логики. Представьте, что приставъ Сытинъ далъ тому же, къ примѣру, Пастухову „въ морду“. Это дѣйствіе можетъ быть рассматриваемо или какъ „драка“, или какъ общерусская форма внушенія. Пастуховъ, которому больно, естественно склоненъ считать полученную имъ плюху дракой. Но, разумѣется, „судебно-административное учрежденіе“ совершенно не можетъ согласиться съ потерпѣвшимъ, ибо установить субъективные признаки, какими различается драка отъ внушеніяполномочно лишь начальство Сытина, а не какой-то Пастуховъ, лицо, безусловно, частное.

Точно такъ же и относительно „муаровъ“, „сatinovъ“, „ковровыхъ дорожекъ“ и пр. предметовъ. Безспорно, они могутъ быть взяткой. Но могутъ быть и общепринятой въ Россіи данью почтенія и преданности полицейскому начальству. Обыватель, по невѣжеству своему, пожалуй, скажетъ: „взятка“. Но не можетъ же съѣздъ, самъ себя называющій „судебно-административнымъ учрежденіемъ“, руководиться самозванной „квалификаціей“ какого-нибудь Пастухова или Стародубцева. Различие между взяткой и данью преданности весьма тонко. Уловить его можетъ лишь начальство, а въ случаяхъ, когда и начальство сомнѣвается, судебная палата.

Эти взгляды „судебно-административныхъ учрежденій“ Осиповъ постигъ въ совершенствѣ и слѣдовалъ имъ безуокоризненно. Приступая къ исполненію обязанностей урядника, онъ былъ уже окончательно сложившимся человѣкомъ. Его „лексиконъ“ состоялъ наполовину изъ словъ, отъ которыхъ, какъ кто-то фигулярно

выразился, стыдливо разбегались даже собаки. Но Осиповъ употреблялъ эти слова лишь при объясненіяхъ съ „мужичьемъ“, дабы укоренить въ простонародъѣ уваженіе къ власти. Съ „людьми почище“ онъ и разговаривалъ деликатнѣе. Поэтому его считали не „сквернословцемъ“, но человѣкомъ, который умѣеть энергически объясняться съ обывателями.

Осиповъ не стѣснялся дать „въ морду“. У него даже оказалась своеобразная страсть допрашивать арестованныхъ и „ошибочно сѣвъ“. „Не одна нагайка—передаютъ „Одес. Нов.“—была имъ истрепана о голыя спины подозрѣваемыхъ“. Его еще въ чинѣ урядника постигло „несчастіе“, какъ выразилась та же одесская газета: „онъ кого-то побилъ, а тотъ взялъ и умеръ отъ побоевъ“. Однако, Осиповъ не преступалъ тѣхъ крайнихъ предѣловъ, за которыми урядницкая расправа начинаетъ приводить въ содроганіе самыхъ закоренѣлыхъ „администраторовъ“. Поэтому трупъ убитаго былъ просто преданъ землѣ, какъ жертва роковой случайности, въ которой никто не виноватъ. Гдѣ пьютъ, тамъ и льютъ; гдѣ внушаютъ, тамъ и до смерти забиваются. Противъ этого естественного закона вещей ничего не подѣлаешь.

У Осипова сложилась привычка жить широко, съ такимъ комфортомъ, на какой не хватало не только скромнаго жалованья урядника, но и обычной дани обывательского почтенія. Словомъ, это былъ такой же урядникъ, какъ и многие другіе, выдѣлявшійся изъ толпы лишь своею энергию, распорядительностью, расторопнностью, да широтою натуры. Казалось, судьба готовила ему рядъ дальнѣйшихъ повышеній по службѣ и въ заключеніе мирную смерть въ должности исправника или полиціймейстера. Но, на бѣду Осипова въ югоzapадномъ краѣ сохранились еще, кроме „судебно административныхъ учрежденій“, учрежденія просто судебныя.

Случилось такъ, что Осипову подъ руку попали деньги, которыхъ надо было передать какому-то крестьянину Славиковскому. Осиповъ поступилъ съ ними достаточно ловко, чтобы дѣло не напоминало откровенную кражу. Но всетаки получилась „незаконная выемка“. „Выемка“, сверхъ чаянія, огласилась, попала въ судъ. А судебныя власти, вместо того, чтобы прекратить эту „непріятность“, дали ей законный ходъ.

Видимо, возмущенный постороннимъ вмѣшательствомъ, и желая поддержать престижъ администраціи, бывшій кіевскій губернаторъ Томара немедленно далъ Осипову повышеніе по службѣ, т. е. назначилъ „и. д. помощника полицейскаго пристава города Умані“. Губернаторское заступничество настолько окрылило Осипова, что онъ, въ порывѣ усердія, уже слишкомъ неосторожно и бурно подвергъ аресту, между прочимъ, мѣщанина Хайкельсона и попалъ подъ судъ по новому „дѣлу о заключеніи подъ стражу безъ всякихъ достойныхъ уваженія причинъ“.

Со стороны судебныхъ властей это вышло еще „нетактичное“: изъ-за какого-то „жид“ подрывалось уваженіе къ правительству чиновнику. Г. Томара выступилъ вторично и направилъ Осипова съ лестнымъ рекомендательнымъ письмомъ къ волынскому губернатору Трепову. Блестящая аттестація заразѣ обеспечивала радушный пріемъ, и, такимъ образомъ, Осиповъ получилъ новое повышеніе — сдѣлался помощникомъ полицейского пристава губернского города Житомира.

Здѣсь онъ довольно быстро завязалъ сердечно-дружескія отношенія съ полиціймейстеромъ Насвѣтовымъ. И, какъ игрокъ, которому вскружило голову сдѣлать счастье, сталъ играть „вой“, не стѣсняясь.

Но сначала нѣсколько словъ о Насвѣтовѣ.

III.

По словамъ „Кievskoj Gazety“ *), Насвѣтовъ началъ полицейскую службу въ Житомирѣ человѣкомъ весьма скромныхъ достатковъ. Черезъ 15 лѣтъ, въ 1903 г., онъ былъ отстраненъ отъ должности, по распоряженію генералъ-губернатора.

Мнѣ лично, при разговорѣ съ житомирцами, приходилось слышать сравненія между Насвѣтовымъ и бывшимъ радомскимъ полиціймейстеромъ Кириченкомъ, который въ свое время сумѣлъ совмѣстить званіе „начальника поліції“ съ обязанностями атамана организованной шайки воровъ и въ концѣ концовъ ухитился таки попасть подъ судъ по обвиненію въ 670 преступленіяхъ.

Думаю, однако, что эти сравненія не выдерживаютъ критики. Начать съ того, что служба Насвѣтова протекала безъ трагическихъ эффектовъ; и оставилъ онъ ее довольно мирно, собственникомъ нѣсколькихъ крупныхъ имѣній, общую стоимость которыхъ сотрудникъ „Южн. Зап.“ опредѣляется до 1.000.000 руб. Правда, противъ Насвѣтова, когда онъ былъ полиціймейстеромъ, возбуждались судебныя дѣла „о незаконномъ пріобрѣтеніи имѣній“. Но это не помѣшало ему утвердиться въ правахъ собственности. Приказъ же объ увольненіи его „Kiev. Gazeta“ ставила въ причинную связь съ „недостачей довольно порядочной суммы денегъ“, по поводу которыхъ прислана была въ Житомирѣ изъ Киева „особая ревизіонная комиссія“. Куда недостающее дѣлось, пополнено ли, и кѣмъ — это невѣдѣмъ. Однако Насвѣтовъ безпрѣятственно живетъ на покой, мирно поживаю плоды трудовъ своихъ. Значитъ, и съ этой стороны между нимъ и Кириченкомъ очень мало общаго.

Онъ быстро оцѣнилъ способности Осипова и посовѣтовалъ

*) № 232, 1903 г.

ему оставить гласное прохождение полицейской службы и сдѣлаться брандмейстеромъ. Совѣтъ этотъ обнаруживаетъ въ Насвѣтова и осторожность, и житейскую сообразительность. Положеніе полицейского чиновника, состоящаго подъ судомъ, въ достаточной мѣрѣ шатко. Какъ бы медленію ни шло предварительное слѣдствіе, и какъ бы ни снисходительны были суды, все же рано или поздно рѣшеніе должно состояться. При самомъ счастливомъ исходѣ дѣла закончится приговоромъ объ отстраненіи отъ должности. И тогда что? Гораздо благоразумнѣе воспользоваться тактикой генерала Дятятина: когда ему на маневрахъ поручили привезти обозъ незамѣтно для „непріятеля“, онъ блестяще выполнилъ задачу... за три дня до начала маневровъ.

Въ этомъ смыслѣ должность брандмейстера — сущій кладъ. Съ одной стороны, она якобы полицейская, а съ другой — яко бы не полицейская. Такъ что, если судъ будетъ настаивать: „отрѣшите такого-то полицейского чиновника“, имѣется полное основаніе отвѣтить:

— Такой-то чиновникъ отрѣшень за 3 года до приговора и нынѣ состоить брандмейстеромъ.

Впослѣдствіи такъ оно и случилось. Осиповъ, какъ умный человѣкъ, понялъ Насвѣтова и принялъ его предложеніе. Но, разумѣется, его чисто полицейская служба не прекратилась:

— Ко мнѣ,—съ гордостью говорилъ онъ на судѣ, — обращалась и полиція, обращалось и жандармское управлѣніе, обращался и бывшій прокуроръ. Я по ночамъ не спалъ, вѣдь политические розыски.

Кромѣ завѣдыванія сыскными отдѣломъ и посильныхъ трудовъ по охранному отдѣленію, Осиповъ былъ произведенъ въ базарные старости и въ старости извозчиковъ, состоялъ кассиромъ по благотворительному сбору съ театральныхъ билетовъ. Исполнялъ и экстренные порученія: „за дешевую цѣну покупалъ дичь для важныхъ обѣдовъ“, отыскивалъ „спеціалистовъ по стрижкѣ болонокъ“, продавалъ лоттерейные билеты (однажды въ два дня выручилъ 500 р.) и вообще оказывалъ помощь благотворительнымъ дамамъ, побуждалъ населеніе къ „торжественнымъ встрѣчамъ высокопоставленныхъ лицъ“ *). Занимался и другими дѣлами, но о нихъ рѣчь впереди.

Какія узы соединяли Насвѣтова съ Осиповымъ, въ подробностяхъ уяснить трудно. „Южн. Зап.“ глухо упоминаютъ, что „лихорадочная полицейско-коммерческая дѣятельность (Насвѣтова) захватила и Осипова“. Т. е., надо догадываться, Осиповъ помогалъ своему начальнику заниматься „скупкою и перепродажею имѣній“. Какъ ни облегчены административныя спекуляціи исключительными законами о земельной собственности въ юго-

*). „Южн. Зап.“

западномъ краѣ, какъ ни быстро наиболѣе проворные администраторы становятся здѣсь собственниками обширныхъ помѣстій, но, конечно, расторопный помощникъ, вродѣ Осипова, не можетъ быть лишнимъ. Къ сожалѣнію, печатью слишкомъ мало выяснено, какую именно помощь оказывалъ Осиповъ своему начальнику въ этомъ дѣлѣ.

Нѣсколько опредѣленіе указания „Кiev. Газ.“. Распоряжаясь городскимъ пожарнымъ фуражемъ, Осиповъ „выращивалъ насвѣтовскихъ свиней“ и лошадей. Въ городской пожарной кузницѣ Насвѣтова дѣлались и ремонтировались, по распоряженію Осипова, фаэтоны, брички, бѣгунки... Изъ числа пожарныхъ служителей Осиповъ снабжалъ Насвѣтова поваромъ, кучеромъ, мамкой (?) и нянью (?), которымъ платилъ жалованье городъ. Но эти услуги — несомнѣнно, мелочь: Насвѣтова могъ имѣть ихъ и отъ всякаго другого брандмейстера.

Къ разряду такихъ же мелочей надо отнести „исторію“, разсказанную „Одес. Нов.“. Но она гораздо характернѣе и заслуживаетъ, чтобы на ней остановиться подробнѣ.

IV.

Обнаружился „какой-то недостатокъ какихъ-то общественныхъ денегъ“. „Недостатокъ“ былъ бесспоренъ, и канцелярія лишь никакъ не могли сосчитать, сколько именно не хватаетъ. То выходило больше, то меньше. И чѣмъ усерднѣе работали писцы, тѣмъ неопределеннѣе становилась сумма.

Не умѣю объяснить, произошло ли это отъ оплошности цензоровъ, или по другой причинѣ, но въ газетахъ появились „намеки“. Возникла „опасность огласки“. Подсчетомъ недостающихъ денегъ надо было торопиться. Нѣкоторымъ лицамъ, а въ томъ числѣ и Насвѣтову, грозила непріятность.

И вотъ тутъ Осипову пришла въ голову блестящая, хотя и не новая мысль. Ее когда-то использовалъ, между прочимъ, попечитель казанского учебнаго округа Магніцкій. Какъ известно, онъ объявлялъ себя спасателемъ отечества отъ вольномыслия и, ради торжества православія и самодержавія, требовалъ „публично разрушить“ ввѣренный его попеченію казанскій университетъ. И лишь впослѣдствіи, когда Магніцкій запутался въ престолонаследственныхъ осложненіяхъ 1825 г., открылось, что спасатель отечества есть мелкій плутъ. Крики о вольнодумствѣ помогали ему незамѣтнѣе красть казенные деньги.

Магніцкій былъ уволенъ высочайшимъ приказомъ безъ прошенія и давнѣмъ-давно почіетъ въ гробу. Но методъ его живъ и весьма остроумно использованъ Осиповымъ.

Въ минуту, когда дѣло о недостачѣ общественныхъ денегъ

приняло наибольшее острые формы, у Осипова вдруг оказался на лицо оркестр балалаечниковъ: понимаете—„национальный великорусский инструментъ“. Музыканты, правда, изъ пожарныхъ, но одѣты „въ национальные великорусские костюмы“: на каждомъ—плосовые штаны, кумачевая рубаха и шапка временъ тишайшаго царя Алексія Михайловича. Ну, словомъ, „маскарадъ“ почти такой же, какъ и въ капеллѣ „знаменитаго русскаго баяна“ г. Агренева-Славянскаго. Начальству, разумѣется, не надо было объяснять, что осиповскіе балалаечники представляютъ „серебряный обrusительный факторъ для пограничной волынскій окраины“. И этотъ „факторъ“ созданъ находчивымъ брандмейстеромъ прямо таки изъ ничего—засчетъ какихъ-то „остатковъ общественныхъ суммъ“, тѣхъ самыхъ, о которыхъ шла бесплодная переписка въ канцелярияхъ.

Сразу стало ясно, что житомирское „дѣло о недостаткахъ“ совершенно аналогично пошехонскому недоразумѣнію по поводу пропавшихъ рукавицъ, которая за поясомъ. Конечно, оно тотчасъ прекратилось. Осиповъ за его „чисто-русскую инициативу“ получилъ благодарность, а балалаечники стали предметомъ особыхъ заботъ начальства. Оркестръ, со своимъ основателемъ во главѣ, назначался въ командировки, уѣзжалъ на гастроли въ Бердичевъ. Доктринеры скажутъ, что должность брандмейстера обязывала Осипова безвыѣздно жить въ Житомирѣ, но вѣдь надо же понимать, что, когда предъ нами „широкая и плодотворная задача обрушенія края“, тогда... etc.

Надо ли говорить, что житомирскіе граждане получили наибольшую порцію обrusительной музыки? Оркестръ сдѣлся необходимой принадлежностью „лѣтняго сада“. И начальство, нужно полагать, искренно радовалось, видя, какое высоко-художественное наслажденіе испытываетъ публика по слуху „Камаринскаго мужика“, „Барыни“ и другихъ истинно-русскихъ мотивовъ. Исполняемыхъ на истинно русскомъ инструментѣ: „апплодировать—поясняютъ „Одес. Нов.“—было почти обязанностью“.

Балалаечникамъ платилось по 10—15 рублей за вечеръ изъ средствъ „городского общественного управлѣнія“. Оно и послѣдовательно: разъ такое высоко-патріотическое предпріятіе возникло на общественные деньги, поддерживать его надо тоже за счетъ общественный. Для сбора добровольныхъ пожертвованій на оркестръ выставлена была даже кружка. Впрочемъ, изъ нея однажды Осиповъ удосужился вытащить деньги. Куда онъ дѣлъ—неизвѣстно... Во всякомъ случаѣ история о балалаечникахъ свидѣтельствуетъ, до какой степени брандмейстеръ былъ разносторонне-полезный Насѣтову человѣкъ.

V.

Съ своей стороны, и Насвѣтовъ оказывалъ подчиненному многочисленныи услуги. Сначала скажу нѣсколько словъ о „мелочахъ“.

Какъ я уже упоминалъ, на Осипова было возложено „взимать благотворительный сборъ съ театральныхъ билетовъ“, этимъ онъ воспользовался для разныхъ коммерческихъ дѣлишекъ подъ предлогомъ служенія „богинѣ Мельпоменѣ“. Онъ участвовалъ даже въ качествѣ пайщика въ постройкѣ одного изъ частныхъ театровъ. По случаю прїѣза Шаляпина, самолично сѣлъ въ кассу прода-вать билеты. „Публика ломилась въ театръ. За билеты платили втрое больше“, и всетаки сборъ оказался неполнымъ — „недо-ставало нѣсколькихъ сотъ рублей“ *). Осипову высказали по этому поводу удивленіе.

— Возмутительный городъ! — согласился онъ. — Помилуйте: Ша-ляпинъ не взялъ полнаго сбора! Только въ Житомирѣ можетъ это случиться...

Въ этомъ остроумномъ отвѣтѣ вопросъ о недостачѣ денегъ въ кассѣ, разумѣется, потонулъ.

Самое взиманіе благотворительного собора дало богатую пищу для анекдотовъ. Между прочимъ, въ моментъ ареста у Осипова, въ печкѣ нашли много пепла отъ свѣже сожженной бумаги. На вопросъ прокурора, откуда эта пепель, Осиповъ объяснилъ суду:

— Я завѣдывалъ контролемъ билетныхъ корешковъ въ город-скомъ театрѣ и въ театрѣ „Аркадія“. Послѣ каждого спектакля я отбиралъ корешки и передавалъ ихъ полиціймейстеру, кото-рый просматривалъ ихъ и возвращалъ мнѣ, а я сжигалъ ихъ.

Ну, а разъ Насвѣтовъ контролировалъ Осипова, безъ анекдо-товъ обойтись трудно.

За услуги по выкорымкѣ свиней и лошадей, полиціймейстеръ не требовалъ, чтобы пожарные находились при обоихъ. Наоборотъ, онъ самъ откомандировалъ ихъ „на разнаго рода работы по благоустройству“ Народнаго сада, Житняго базара и др. мѣсть. Деньги за эти работы получалъ, конечно, Осиповъ, а пожарнымъ за сверхъ-урочныи обязанности милостиво выдавалось „на чай“. Когда Насвѣтову жаловались на такія дѣла, онъ „только улы-бался добродушно“ *), словно говоря:

— Какіе пустяки!

Къ разряду „пустяковъ“ относится и то, что житомирскіе „ба-зарные торговцы и торговки до сихъ поръ вспоминаютъ съ ужа-

*). Одес. Нов.**.

). Киевск. Газ..

№ 1. Отдѣль II.

сомъ" поставленного надъ ними полиціей старосту Осипова. „Пустяки" и не меньшій ужасъ извозчиковъ, которыхъ Осиповъ, по долгу биржевого старосты, избивалъ немилосердно.

Но вотъ не „пустяки", даже съ полицейской точки зренія: Житомиръ нѣсколько лѣтъ назадъ былъ посыщенъ великимъ княземъ Владиміромъ Александровичемъ. Посытитель осмотрѣлъ, въ числѣ другихъ учрежденій, пожарную комавду и пожертвовалъ въ ея пользу 60 рублей. Деньги вручены были Осипову и по этой причинѣ дѣлисъ неизвѣстно куда. Пожарные пожаловались. Сумма, правда, небольшая, ни въ какое сравненіе съ доходами отъ концерта Шаляпина и другихъ побочныхъ статей идти не можетъ, но источникъ ея обязывалъ полицію „выполнить патріотический долгъ" и „принять строжайшія мѣры".

Насвѣтовъ, „выполняя патріотический долгъ", всѣ зависящія отъ него средства употребилъ, чтобы дѣло о велиокняжескихъ деньгахъ не попало въ судъ. Имъ, наряду съ прочими жалобами на Осипова, занялась какая-то „особая комиссія житомирскаго губернскаго правленія". Въ день разбора, 12 февраля 1902 г., полиціймайстеръ „выступилъ въ качествѣ свидѣтеля" и „самоотверженно стоялъ за своего подчиненнаго" *). Роль защитника и свидѣтеля ему блестяще удалась, и сейчасъ мы увидимъ, до какой степени благопріятенъ для Осипова былъ приговоръ „особой комиссіи".

Спустя 3 мѣсяца послѣ ея засѣданія, состоялся приговоръ судебнай палаты по одному изъ до житомирскихъ дѣлъ. Осиповъ былъ приговоренъ къ отрѣшенію отъ должности, опредѣленіе палаты вошло въ законную силу и было сообщено житомирскому начальству. Начальство „приняло къ свѣдѣнію" и только. Тогда прокуроръ сталъ требовать исполненія приговора, но, по словамъ свидѣтеля Яновицкаго, нынѣшняго житомирскаго полиціймайстера, „исполненіе долго тормозилось... Объ этомъ хлопотали Насвѣтовъ и губернаторъ". Наконецъ, вмѣшался старшій предсѣдатель судебнай палаты, и пришлося „отрѣшить", но, какъ свидѣтельствуетъ тотъ же г. Яновицкій, „по ходатайству губернатора", Осиповъ былъ немедленно принятъ на службу „по вольному найму". Онъ остался по прежнему брандмейстеромъ, лекокмейстеромъ, балалаймейстеромъ, базармейстеромъ и проч., и проч., и проч. Администрація исполнила приговоръ въ точности, но на бумагѣ.

А пока шла переписка между палатой и полиціей, возникло новое „дѣло"—опять по жалобѣ пожарныхъ. Собственно, пожарные многократно пытались жаловаться и въ большинствѣ случаевъ „по поводу мордобоязія". Объ этомъ сообщалось Осипову, Осиповъ немедленно урезонивалъ смутъяна, т. е. прогонялъ со

*) „Кiev. Газ.", № 232, 1903 г.

службы и не платилъ жалованья, чѣмъ, обыкновенно, жалобы и ограничивались. Но на этотъ разъ указывались неурядицы по хозяйственной части. Городская управа рѣшилась „разслѣдовать“ и открыла слѣдующее.

Городъ выдавалъ содержаніе 57 пожарнымъ служителямъ. Въ натурѣ ихъ оказалось 45, включая и тѣхъ, которые приставлены были исключительно для домашнихъ услугъ полиціемейстера Насвѣтову. Такъ какъ каждому пожарному полагалось въ мѣсяцъ жалованья 12 р., то „безгрѣшный доходъ“ брандмейстера составлялъ ежемѣсячно 144 р., а въ годъ до 1.800 р. Но не всѣ получали полное жалованіе. Большинству Осиповъ платилъ 7, 8, 9 иногда 11 руб.

„Овесъ покупался щедро, но пожарные лошади имѣли такое же представление о немъ, какъ слѣпой о солнцѣ“ (*). За то свиной заводъ Насвѣтова откармливается очень жирно.

Лошадей на бумагѣ покупали каждый годъ. Въ дѣйствительности, всѣ лошади оказались старыя. Въ пожарной кузницѣ изготавлялись экипажи не только Насвѣтovу, но и Осипову и др. лицамъ. За чей счетъ покупался матеріалъ для этихъ экипажей,—„выяснить не удалось“. Всѣ извозчицы лошади, по распоряженію Осипова, подковывались въ той же пожарной кузницѣ. Это должно бы давать доходъ, но такового не было.

Не лишена интереса подробность, о которой говорилъ на судѣ, какъ свидѣтель, поставщикъ фуража для пожарныхъ лошадей г. Перминовъ:

— Я,—показывалъ онъ,—обнаружилъ подлогъ со стороны Осипова. Онъ написалъ подложную квитанцію, что я ему долженъ 952 руб. Я привлекъ его къ ответственности.

Но чѣмъ кончилось это дѣло, г. Перминову не удалось узнать. Оно „не найдено“, хотя, по удостовѣренію суда, „слушалось въ административномъ засѣданіи и было прекращено“. Докладъ о результатахъ разслѣдованія былъ составленъ и „положенъ подъ сукно“. Въ печати о немъ не могло появиться свѣдѣній, потому что Осиповъ былъ „persona gratissima для мѣстной газеты“, какъ выражились „Южн. Записки“. Городской голова и гласные какъ бы не рѣшались касаться столь деликатнаго дѣла. Причины понять не трудно. Во-первыхъ, это было бы бесполезно: если старшій предсѣдатель судебной палаты не добился исполненія приговора, то что-же могло сдѣлать „городское общественное управление“? А во-вторыхъ, „трогать“ Осипова было вообще не безопасно.

Мы подходимъ къ наиболѣе характерному штриху осиповской эпопеи—къ дѣятельности „по раскрытию преступлений уголовныхъ и политическихъ“.

(*). Одес. Нов.

VI.

Какъ приводились Осиповыми житомирскіе жители къ отбы-
ванію политической повинности, не выяснено ни судомъ, ни га-
зетами. Судомъ потому, что Осиповъ былъ обвиняемъ лишь въ
поджогахъ, которые, по административной терминологии, не имѣютъ
отношенія къ „охраненію государственной безопасности и обще-
ственного спокойствія“. Въ печати же лишь проскользнули
глухіе намеки, что кулаки брандмейстера не слишкомъ разли-
чали разницу между „мордой“ политической и „мордой“ уг-
оловной.

Правда, въ Житомирѣ и даже въ Киевѣ ходить много легендъ.
Рассказываютъ, напр., что одного жандармскаго офицера Осиповъ,
искореняя, по его порученію, крамолу, сумѣлъ лишить разныхъ
мелкихъ золотыхъ и серебряныхъ вещей,—въ общей сложности
рублей на 300, при чёмъ, по одной версіи, кражу совершилъ
самъ Осиповъ, а по другой—его агенты. Но, конечно, на досто-
вѣрность изустныхъ преданій положиться трудно. Основательнѣе
предположить, что въ анекдотахъ, передаваемыхъ „на ушко“,
дѣйствительность сильно прикрашена, если не извращена.

Гораздо болѣе извѣстно, какъ Осиповъ „раскрывалъ уголовныя
преступленія“. На этой сторонѣ суду поневолѣ пришлось оста-
новиться, такъ какъ Осиповъ, въ качествѣ брандмейстера и по
соглашенію съ домовладѣльцами, бралъ на себя лишь общую
организацію поджоговъ, поджигали же, по его указаніямъ, поли-
цейские сыщики и шпионы.

Одного сыщика я уже упоминалъ. Это—Рейхисъ, арестован-
ный по подозрѣнію въ кражѣ и освобожденный отъ суда и на-
казанія лишь потому, что его услуги понадобились Осипову. По
словамъ прокурора, этотъ Рейхисъ „даже весьма похожъ“ на
одного изъ поджигателей.

Другого, Мармерштейна, Осиповъ на судѣ характеризировалъ
такими словами:

— Отъявленный воръ и мошенникъ, босякъ, шарлатанъ и
суетнеръ... Не составлять протокола о немъ за поджогъ я, дѣй-
ствительно, просилъ, потому что Мармерштейнъ обѣщалъ отслу-
жить...

Мармерштейнъ отзывался объ Осиповѣ по существу такъ же, но
въ выраженияхъ, гораздо болѣе почтительныхъ. Однажды онъ у
свидѣтеля Бебчука занялъ рубль, но на слѣдующій день возвра-
тилъ деньги и сказалъ:

— Больше я уже не буду нуждаться. Я буду богатымъ: я
буду агентомъ Осипова.

— Я,—рассказывалъ г. Бебчукъ на судѣ,—сталъ убѣждать его

не связываться съ Осиповымъ: попадешь на каторгу, а онъ бу-
детъ въ сторонѣ.

— Осиповъ?!—отвѣтилъ Мармерштейнъ.—Осиповъ сила! Оси-
повъ все можетъ!..

Слѣдователю же онъ говорилъ, что Осиповъ, поручая поджи-
гать дома, совѣтовалъ „побольше вытягивать денегъ...“ Послѣд-
нее приказаніе Мармерштейнъ выполнялъ въ точности и даже
обворовывалъ домовладѣльцевъ прежде, чѣмъ учинить поджогъ.

Были еще названы на судѣ сыщики Гендлеръ и Шендеръ.
Но о нихъ извѣстно лишь, что Осиповъ пытался давать имъ изъ
тюрьмы письменныя инструкціи, какъ и о чёмъ надо показывать
на предварительномъ слѣдствії.

Но, разумѣется, у завѣдывающаго сыскнымъ отдѣломъ было
не только четыре помощника. Достаточно упомянуть свидѣтель-
ское показаніе тюремнаго надзирателя Садовскаго:

— Арестанты жаловались, что Осиповъ забиралъ себѣ льви-
ную долю, а имъ не давалъ почти ничего.

Понятнѣе говоря, — назначеніе житомирскихъ агентовъ было
не только въ томъ, чтобы поджигать. Вообще сыскная дѣя-
тельность Осипова напоминаетъ исторію о двухъ братьяхъ-цы-
ганахъ: одномъ — благочестивомъ, а другомъ — бродягѣ. Братья
были смертельными врагами. Бродяга шатался неизвѣстно гдѣ, а
благочестивый усердно молился Богу и обладалъ чудеснымъ да-
ромъ—безошибочно указывать, гдѣ спрятана уворованная лошадь
или украденное изъ кѣти добро... Агенты Осипова крали. Они
же и находили похищенное. Это на житомирскомъ языкѣ назы-
валось: „раскрывать преступленія“.

Частью уворованное находилось—и за это Осиповъ получалъ
отъ начальства признательность; частью исчезало... за то Оси-
повъ, нисколько не стѣсняясь, торговалъ сапогами, самоварами,
перстнями, простыми и драгоценными камнями и другими ве-
щами, „происхожденія неизвѣстнаго“, но по цѣнѣ дешевой.

Отнюдь не слѣдуетъ предполагать, будто въ Житомирѣ только
и воровъ было, что сыщики Осипова. Находились, конечно, пред-
приниматели—одиночки, не принадлежавшіе къ организаціи. Та-
кихъ конкурентовъ Осиповъ любилъ ловить и въ особенности—
допрашививать. Нѣть надобности подробно говорить о выбитыхъ
при этомъ зубахъ, изуродованныхъ членахъ и пролитой крови...
Словомъ, тюрьма была полна обиженныхъ или при допросѣ, или
при дѣлѣ добычи. И Осипова, когда ему пришла пора самому
„сѣсть въ замокъ“, понадобилось прятать: арестанты съ пол-
ною откровенностью заявляли, что они желаютъ усѣсть „лихо-
дѣя“ и въ цѣляхъ добиться до него устроили даже „два серье-
зныхъ бунта“. Самъ Осиповъ умолялъ присяжныхъ помиловать
его, потому что обвиненіе будетъ равносильно смертному при-
говору:

— Вѣдь арестанты меня убъютъ,—говорилъ онъ.

Характеръ сыскныхъ дѣлъ Осипова не былъ тайной и для вѣтюремныхъ жителей Житомира. Это видно уже изъ показанія г. Бебчука, который предупреждалъ Мармерштейна, что знакомство съ Осиповымъ закончится каторгой. Другой свидѣтель, г. Перминовъ объяснилъ суду:

— Я часто видалъ Осипова среди своры жуликовъ и зналъ, что онъ коноводъ всѣхъ мошенниковъ.

А товары, которые продавалъ Осиповъ, покупали всѣ.

— Я самъ одинъ разъ купилъ, — признался нынѣшній полиціймейстеръ Яновицкій. — И Насвѣтовъ покупалъ. И полковникъ Арщеневскій „примѣрялъ въ театрѣ кольцо“, которое продавалъ брандмейстеръ.

Секретарю городской полиціи, г. Златковскому, Осиповъ „раза два показывалъ“ свои товары, а Насвѣтовъ, покупавшій эти товары, даже „упрекалъ Осипова и предлагалъ ему лучше заниматься своимъ дѣломъ, чтобы про него не распространяли различныхъ темныхъ слуховъ“. Значитъ, „слухи“ доходили и до полиціймейстера... почему онъ не пожелалъ разслѣдовать ихъ — это загадка. На судѣ прокуроръ предложилъ г. Яновицкому вопросъ:

— И вы находили нормальными, что Осиповъ торговалъ?

— Да, находилъ, — отвѣтилъ г. Яновицкій: — Осиповъ былъ очень дѣятеленъ, времени было много, и онъ наполнялъ до-суги...

На первый взглядъ можетъ показаться страннымъ: полиціймейстеръ предлагалъ „заниматься своимъ дѣломъ“, котораго, кстати, у Осипова было слишкомъ много, а помощникъ полиціймейстера „находилъ“, что Осипову надо хоть чѣмъ-нибудь „заполнить досуги“... Противорѣчіе, однако, легко объяснить.

Нельзя сомнѣваться, что Осиповъ занимался сыскомъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ и самъ онъ, и обвинительный актъ, и „частныя лица“, и полицейскіе чины. Такъ, секретарю полиціи Златковскому известно, что „большая часть раскрытий преступлений сдѣлана Осиповымъ“, что Насвѣтовъ зналъ сыскныхъ агентовъ, что Осипову было „поручено заниматься сыскомъ“, такъ какъ „онъ слыть энергичнымъ человѣкомъ“. Приставу 1 части Куйярову тоже „извѣстно“, что „Осипову Насвѣтовъ поручалъ раскрытие преступлений“. „Извѣстно“ это и помощнику пристава Константинову и т. д. Тѣмъ не менѣе, нынѣшній полиціймейстеръ Яновицкій официально удостовѣрилъ,—и это письменное удостовѣреніе было оглашено судомъ послѣ совершенно ясныхъ свидѣтельскихъ показаній — что, во первыхъ, сыскного отдѣленія въ Житомирѣ не существуетъ, а во вторыхъ, „содѣствовалъ ли Осиповъ раскрытию преступлений и сдѣлалъ ли онъ какія-нибудь раскрытия,—полицейскому управлению неизвѣстно“...

Секрѣтъ въ томъ, что сыскной отдѣль въ Житомирѣ суще-

ствуетъ „негласно“. Это бываетъ: недавно „Приднѣпр. Край“ обнаружилъ въ Бердянскѣ такое же негласное „отдѣленіе по раскрытию преступниковъ“. О немъ „официально“ сдѣлалось известно, лишь когда бывшій главный сыщикъ изнасиловалъ въ участкѣ дѣвушку и, несмотря на всѣ принятыя начальствомъ мѣры, попалъ подъ судъ. Но въ Житомирѣ ни Осиповъ, ни его агенты въ качествѣ сыщиковъ къ суду не привлекались. Значить, „негласное“ не могло сдѣлаться „гласнымъ“, и потому полицейское управление, нисколько не насилия своей канцелярской совѣсти, сумѣло удостовѣрить, что ему „ничего неизвѣстно“.

Въ рѣчи прокурора, напечатанной „Волынью“, это удостовѣреніе совершенно игнорировано, какъ черезчуръ ужъ „официальное“. Но г. Яновицкій игнорировать не могъ. Памятую о своей официальной бумагѣ, онъ поневолѣ забылъ обѣ исполненіи брандмейстеромъ Осиповымъ такихъ обязанностей, которыхъ даже отдаленаго касательства къ пожарному дѣлу не имѣютъ.

Нужно, однако, замѣтить, что „удостовѣреніе“, состряпанное житомирскою поліціей, есть существенно необходимый для нея актъ. Вѣдь если бы она признала сыскное отдѣленіе, то рядъ обнаруженныхъ на судѣ фактовъ обязывалъ администрацію возбудить новыя дѣла, а это могло привести лишь къ новымъ непріятностямъ и осложненіямъ. Значить, долгъ службы понуждалъ прибѣгнуть къ такому же тактическому приему, какой примѣнѣнъ былъ къ послужному списку Осипова: въ этомъ документѣ оказался записаннымъ лишь приговоръ судебнай палаты, и ни однимъ словомъ не упоминались подлоги и кражи. Причину понять легко: правда, подлогъ и кража признана судомъ, но они должны быть „официально неизвѣстны“, потому что иначе самое нахожденіе Осипова на гласной полицейской службѣ противорѣчило бы канцелярской этикѣ.

VII.

— Бывало, увижу Осипова возлѣ какого-нибудь дома,—показывалъ свидѣтель Шериновъ,—и ужъ знаю, что завтра здѣсь будетъ пожаръ. Обѣ этомъ, кромѣ меня, зналъ помощникъ брандмейстера Шпаковскій. Я говорилъ члену городской управы и гласнымъ: „вотъ они, наши защитники, каковы“!... Я говорилъ Осипову: „смотрите, попадетесь“. А онъ мнѣ предлагалъ: „сожгите, говорить, свои домики“...

Эта общая характеристика интересно дополнена показаніями свидѣтелей-пожарныхъ:

„Осиповъ часто приказывалъ разрушать постройки во время тушенія пожаровъ. Иногда такія разрушенія производилъ уже по прекращеніи пожара“. Былъ и такой случай: „когда горѣлъ

смоляной заводъ, еврей за угломъ далъ брандмейстеру деньги, и тогда воротили пожарныхъ и стали ломать". „Иногда онъ прекращалъ поливку горѣвшаго зданія, какъ бы съ цѣлью дать ему сильнѣе разгорѣться. А иногда, оставляя въ покой горѣвшее зданіе, приказывалъ поливать соседнія постройки". „Часто ломали мебель, картины, зеркала, выбрасывали ихъ изъ оконъ, когда въ комнатѣ не было и слѣда огня". Осиповъ съ болѣшимъ раздраженіемъ говорилъ: „эти сукины сыны, охотники, не дадутъ никогда сгорѣть дому".

Подъ „охотниками" разумѣются дружинники вольно-пожарного общества.

„Однажды, когда обозъ мчался на пожаръ, гдѣ впослѣдствіи обнаружены были явные признаки умышленного поджога, Осиповъ вдругъ остановилъ всѣхъ и нѣсколько минутъ бранилъ пожарныхъ за то, что они допустили охотника сѣсть на линейку, хотя это всегда разрѣшалось и разрѣшается вольнопожарными". „Бывали случаи, что на пожарахъ заставали бензинъ, керосинъ и послѣ этого горѣвшее зданіе ломали"...

Всего пожаровъ, на которыхъ Осиповъ дѣйствовалъ загадочно, прокуроромъ насчитано 11. Это на основаніи судебнаго слѣдствія; повидимому, полиція знаетъ ихъ больше. Слѣды поджоговъ, болѣе или менѣе явныхъ, обнаруживались весьма нерѣдко. Полицейскіе чины приступали къ разслѣдованію, возгорались дѣла, такъ сказать, и затѣмъ почему-то „гасли", исчезая невѣдомо куда.

На пожарахъ часто присутствовалъ Насвѣтовъ и самъ губернаторъ. Осиповъ всячески старался доказать, что горѣвшіе дома ломались „по приказанію начальства". Относительно губернатора это ему мало удалось, но и прокуроръ согласился, что „въ одномъ случаѣ" поломка производилась, дѣйствительно, по приказанію полиціймейстера. Даже до крайности осторожному г. Яновицкому „одинъ разъ показалось, что напрасно разрушали стѣну".

Только „показалось"!.. „Официально" же ничего не было известно, и Осиповъ, пожалуй, до сихъ поръ служилъ бы по вольному найму, если бы не досадное, но совершенно случайное обстоятельство.

Житомирскій житель и отставной подполковникъ Абрамовичъ выстроилъ себѣ домъ. Подрядчикъ не сумѣлъ потрафить на его вкусъ. Абрамовичъ былъ очень недоволенъ постройкой; собирался продать ее, но покупателей не находилось. Какъ-то на вокзалѣ онъ, встрѣтившись съ Осиповымъ, замѣтилъ:

— Вотъ хорошия дома горѣть, а моя дрянь не горитъ.
— А вы хотите, чтобы вашъ домъ сгорѣлъ? — спросилъ Осиповъ.
— Отчего-жъ не хотѣть! — отвѣтилъ Абрамовичъ, но тутъ ему

надо было садиться въ вагонъ. И на этомъ разговоръ прекратился.

Затѣмъ Абрамовичъ сѣвшиль, буда требовалось. Вернулся въ Житомиръ и, спустя нѣкоторое время, снова встрѣтился съ Осиповымъ. Теперь брандмейстеръ заговорилъ первымъ:

— Наступила зима,—сказалъ онъ,—самое удобное время. Пора бы и приступить...

Абрамовичъ, если вѣрить ему, долго не соглашался, но Осиповъ сумѣлъ убѣдить его, что отъ поджога никто, кроме страхового общества, не пострадаетъ,—это, во-первыхъ, отъ Абрамовича ничего не требуется, кроме согласія: подожгутъ другіе. За всю „работу“ брандмейстеръ назначилъ 25 рублей поджигателю и 500 руб. себѣ. Абрамовичъ торговался и, наконецъ, порѣшили на слѣдующемъ: 200 р. въ моментъ заключенія договора авансомъ, а 300 р. по полученіи страховой преміи.

Тогда Абрамовичъ повысилъ страховку съ 5000 до 8000 руб., и, дѣйствительно, отъ него „ничего больше не потребовалось“. Только разъ въ присутствіи Осипова ему послышался въ соседней комнатѣ шорохъ. Онъ хотѣлъ было посмотретьть, что тамъ такое, но Осиповъ его остановилъ:

— Тамъ приготовляютъ,—объяснилъ онъ.

Въ заранѣе назначенный срокъ, ночью 16 февраля 1903 г. произошелъ пожаръ. Онъ оказался не изъ удачныхъ и былъ скоро потушенъ. Обнаружились явные слѣды поджога, полиція начала „дѣло“, но оно, по обыкновенію, „умерло“. Абрамовичъ безпрепятственно получилъ „премію“, соразмѣрно убыткамъ,—3500 р., однако жаловался и помощнику брандмейстера („жуликъ вашъ Осиповъ“), и самому брандмейстеру.

— Паршиво,—себойзновалъ Осиповъ.—Вижу, что паршиво... Ну, ничего. Мы это поправимъ. Изъ Вильны выпишемъ поджигателя: артистъ своего дѣла!..

Неожиданно Абрамовичъ получилъ предложеніе „сочинить“ второй поджогъ—отъ „помощника агента второго Россійскаго страхового общества Азриеля Гроссмана“. Старикъ, больной и не совсѣмъ нормальный психически, Абрамовичъ передалъ обѣ этомъ брандмейстеру. Осиповъ ничего не имѣлъ „противъ такой комбинаціи“:

— Хорошо, дѣйствуйте, а я помогу. Послѣ вы мнѣ заплатите рублей 100—150.

Не лишено интереса, что между нѣкоторыми страховыми агентами и Осиповымъ, повидимому, существовали довольно дружественные отношенія: агенты Плотницкій и Meerсонъ „представляли его даже къ наградамъ за успѣшное тушеніе пожаровъ“. А по словамъ „Одес. Нов.“, однажды Осиповъ, встрѣтивъ въ театрѣ сотрудника „Волыни“, сказалъ ему:

— Знаете, мнѣ предлагаютъ агентуру по страхованию отъ

огня. Вотъ, если бъ мы съ вами вмѣстѣ стали работать, такъ сказать—печать и брандмейстеръ!.. Вѣдь кучу денегъ нагребли бы.

Абрамовичъ принялъ предложеніе Гросмана, и тотъ прислалъ къ нему въ качествѣ поджигателя... сыщика Мармерштейна. Мармерштейнъ выманивалъ у „клиента“ деньги, потомъ просто обокралъ его. Въ концѣ концовъ Абрамовича совершенно сбили съ толку, и онъ, не шутя, сталъ подозрѣвать, что всѣ эти Мармерштейны, Гросманы, Осиповы — не что иное, какъ „шайка соціалистовъ“. Послѣднему слову отставной подполковникъ русской службы, повидимому, такъ же придавалъ сугубо страшный смыслъ, какъ гомельскій исправникъ слову: „демократы“.

„Отправлю заказнымъ, — между прочимъ, писалъ Абрамовичъ своей „незаконной“ женѣ Еленѣ Трояновской,— а то перехватить письмо, если они, дѣйствительно, „соціалисты“.

Однако, „приготовленія“ были закончены. Абрамовичу доложили, что „все готово“, и онъ уѣхалъ на время въ Бердичевъ.

Въ его отсутствіе, часовъ около 11 вечера 5 июня домъ подожгли. Но... тутъ и произошло то непредвидѣнное обстоятельство, которое погубило Осипова: надо же было случиться, что едва начавшійся въ комнатахъ запертаго и пустого дома пожаръ привлекъ вниманіе вышедшаго въ это время изъ своей квартиры юриецкаго чиновника Куркушевскаго.

Куркушевскій обнаружилъ должную распорядительность: немедленно послалъ за пожарными, выломалъ двери и вбѣжалъ внутрь. Всюду было разбросано сѣно и спички, слышался сильный запахъ керосина. Огонь только что разгорался, и его удалось тотчасъ затушить „домашними средствами“. Куркушевскій сталъ „обеспечивать доказательства поджога“, какъ вдругъ всыхнула чердачъ сразу въ двухъ мѣстахъ. Какъ разъ въ эту минуту прибыли пожарные. Брандмейстеру оставалось лишь немедленно прекратить огонь и „констатировать“, что и на чердачъ кто-то сдѣлалъ обширныхъ приготовленія къ поджогу.

Возникло, такимъ образомъ, новое дѣло. Вполнѣ вѣроятно, что оно такъ же прекратилось бы, какъ и прежнія; по крайней мѣрѣ, Насвѣтовъ не очень интересовался имъ и лишь упрекнулъ дружески Осипова:

— Въ результатѣ вашей без tactности (!) является много не довольства.

Досадно было, что мѣстная газета неудавшійся пожаръ описала правильно, но и это бы не бѣда. Бѣда въ томъ, что Абрамовичъ и его жена оказались совершенно неподготовленными къ поджигательскимъ операциямъ. Газетное сообщеніе такъ подѣстновало на Елену Трояновскую, что она явилась къ судебному слѣдователю и рассказала, по какой причинѣ возникъ первый пожаръ 16 февраля, и по какой — второй. Такъ же поступилъ и

мужъ: онъ немедленно вернулся въ Житомиръ и прямо съ вокзала поѣхалъ къ слѣдователю „съ половиною“, т. е. подтвердилъ и дополнилъ еще неизвѣстное ему показаніе Троицкой... „Шило“ получилось такое, котораго ни въ какомъ „мѣшкѣ“ не спрячешь.

Осторожнѣе другихъ поступилъ Азриль Гросманъ. Пронюхавъ, что „клиентъ опростоволосился“, онъ благоразумно ретировался въ Кишиневъ. Троицкая не замедлила сообщить объ этомъ слѣдователю, тѣмъ не менѣе Гросманъ „скрылся и не разысканъ“. Гдѣ онъ находится—„неизвѣстно“ даже полиціи, и дѣло объ его участіи въ поджогахъ „выдѣлено въ особое производство“.

Но Осиповъ продолжалъ гордо разѣзжать по городу. Кажется, онъ еще вѣрилъ въ свою „звѣзду“, и какъ знать, быть можетъ, у него на это имѣлись основанія. Въ сущности переговоры о поджогѣ велись очень тонко: они были извѣстны лишь Абрамовичу, но Абрамовичъ — обвиняемый, ему надо выгораживать себя. Могла знать кое-что Троицкая, но она тоже заинтересованное лицо: „сожительница обвиняемаго“. Много зналъ Гросманъ, но онъ „скрылся“. Зналъ Мармерштейнъ и прочие агенты, но за ихъ скромность можно было ручаться, да и самъ Мармерштейнъ не тревожился и такъ же спокойно обиталъ въ Житомирѣ, какъ и его патронъ. Наконецъ, у Осипова были другія средства устранить свидѣтелей, если бы таковые нашлись. Средства эти оказались дѣйствительными даже тогда, когда Осиповъ сидѣлъ въ тюрьмѣ. Въ чемъ они заключались—скоро увидимъ.

Впрочемъ, на всякий случай, онъ приказалъ Мармерштейну: „Немедленно сообщи мнѣ, если тебя арестуютъ“, и тѣмъ пока ограничился. Удара ждать было неоткуда. Не могъ же Осиповъ предполагать, что онъ, скромный брандмейстеръ, который служить „по вольному найму“, будетъ устраненъ отъ должности телеграфнымъ приказомъ самого генераль-губернатора. Ибо гдѣ видано, чтобы брандмейстеры назначались или увольнялись по распоряженію высшей въ краѣ власти. А если это и случается, то въ общезнѣстномъ и разъ навсегда опредѣленномъ порядкѣ: генераль-губернаторъ запросить губернатора, губернаторъ-полиціймейстера... Пока этихъ предварительныхъ сношеній не было, значитъ—особо беспокоиться не о чёмъ.

Увы! произошло именно полное нарушеніе „разъ навсегда установленнаго порядка“. Совершенно неожиданно, черезъ двѣ недѣли послѣ второго пожара въ домѣ Абрамовича, послѣдовалъ изъ Киева приказъ отъ устраниніи Осипова, потомъ Насѣтова. Осиповъ и Мармерштейнъ были заключены подъ стражу,—и мы вступаемъ въ окончательную и сплошную полосу загадокъ.

VIII.

Начать хотя бы съ Мармерштейна. Онъ, повторяю, былъ арестованъ, исправно содержался въ мѣстахъ предварительного заключенія, но на судъ полиція не могла его доставить: оказалось, „скрылся и не разысканъ“. Куда, какъ, почему.—„официально неизвѣстно“: обвинительная власть узнала объ исчезновеніи Мармерштейна уже въ судебномъ засѣданіи. Какъ водится, она неукоснительно приняла мѣры, т. е. ходатайствовала, чтобы дѣло о скрывшемся было „выдѣлено въ особое производство“. Конечно, ея ходатайство уважено, дѣло будетъ разсмотрѣно *ad calendas graecas*: когда Мармерштейнъ отыщется...

Другой сыщикъ, Рейхисъ, также „скрылся и не разысканъ“. Итого исчезнувшихъ—трое, включая сюда и Гросмана. Все, какъ на подборь,—лица, состоявшія въ интимныхъ отношеніяхъ съ полиціей и, несомнѣнно, имѣвшія что разскажать суду.

Много имѣть разскѣзать суду и помощникъ брандмейстера Шпаковскаго. Его оглашенный на судѣ показанія слѣдователю „Волынъ“ резонно назвала тяжкимъ обвинительнымъ актомъ противъ Осипова, но къ разбору Шпаковскаго явиться не могъ, ибо той вполнѣ законной причинѣ, что онъ былъ отравленъ и умеръ. Какъ это случилось, пробовалъ объяснить свидѣтель Перминовъ.

— Я не могу, не могу!—говорилъ онъ, волнуясь и размахивая руками.—Шпаковскій убить, отравленъ... Въ саду „Аркадія“ какой-то жуликъ подошелъ къ буфету...

„Тутъ Перминовъ былъ остановленъ предѣдателемъ, который предложилъ не касаться этого вопроса“ (*).

Справедливость требуетъ добавить, что, какова бы ни была смерть Шпаковскаго, она произошла мѣсяцемъ шесть спустя послѣ ареста Осипова. Осиповъ въ это время находился въ тюрьмѣ.

Кое-что можно бы узнать отъ Насвѣтова. Но за день до разбора дѣла въ „Волынѣ“ появилась замѣтка: „Главный свидѣтель, игравшій въ созданіи тайнъ города Житомира первенствующую роль, вѣроятно, не явится“.

Замѣтка оказалась пророческой: Насвѣтovъ, дѣйствительно, не явился. Судъ его оштрафовалъ на 25 руб., что, впрочемъ, для „владѣльца почти миллионнаго состоянія“ не такъ ужъ больно. Чеяvка важныхъ свидѣтелей, обыкновенно, служить поводомъ отложить дѣло. Между прочимъ, по этой причинѣ тянется вѣсѣлье лѣтъ и никакъ не можетъ разрѣшиться процессъ бывшаго помощника черкасскаго исправника Солчинскаго, обвиняемаго сразу по 6 статьямъ улож. о наказ. Освѣдомленные люди боятся,

*) „Волынъ“.

что Солчинский и умретъ, не дождавшись разбора. Но ему легко ждать: онъ на свободѣ. Осиповъ же безвыходно, съ 23 июля 1903 г. по 29 октября 1904 г., сидѣлъ въ тюрьмѣ, и съ неудавшимся судебнаго засѣданія могъ быть отправленъ только въ тюрьму. Поэтому трудно допустить, чтобы Насѣтовъ подвергся наказу въ интересахъ своего бывшаго подчиненнаго. А почему оны предпочелъ не явиться, это—повторю, загадка.

Свидѣтельница Елена Троицкая объяснила, по какой причинѣ она не рѣшалась заблаговременно сообщить начальству предполагавшихъ поджогахъ:

— Я боялась Гросмана и Осипова, такъ какъ меня, навѣрное, убили бы.

Къ разбору дѣла она вовсе было не явилась. Судь распорядился „доставить ее приводомъ“. Доставили, но свидѣтельница на всѣ вопросы отвѣчала двумя словами:

— Ничего не помню..

Стали читать ея показанія на предварительномъ слѣдствіи. Она выслушала.

— Вы припоминаете?—спросилъ предсѣдатель.—Все ли такъ было?

— Кажется,—начала было Троицкая, но тотчасъ же поправилась:—не знаю, не помню... -

— Наконецъ, ее спрашиваютъ:

— Вы ничего не помните... А скажите, не было ли въ послѣдніе дни такого случая: не приходилъ ли къ вамъ кто нибудь и не уговаривалъ ли измѣнить показанія, данные на предварительномъ слѣдствіи?..

— Нѣтъ.

— Не было?

— То есть, да... уговаривалъ...

— Что же онъ вамъ говорилъ?

— Не помню...

Вышивается предсѣдатель:

— Кто просилъ васъ измѣнить показанія?

Троицкая молчать.

— Кто просилъ васъ не показывать?

— Нѣтъ... никто... не просилъ...

— Да вы первый пожаръ помните?

— Я ужъ говорила, что ничего не помню...

Чувствуется чья-то незримая рука, которая частью парализовала, частью затруднила роль суда. Кому-то, очевидно, кое-что известно объ этихъ вынесудебныхъ вліяніяхъ... Но что именно? Судебное слѣдствіе опредѣленного отвѣта не даетъ. Остаются легенды, но онѣ ужъ слишкомъ во вкусѣ „тайны мадридскаго двора“. Упомяну лишь одну, для примѣра. За часъ до ареста Осипова

отравилась его жена — говорить, стрихниномъ. Что побудило ее на этот шагъ, Богъ вѣсть, но легенда добавляетъ:

— Не отравилась, но ей дали стрихнинъ, потому что много знала...

Это чудовищно, нелѣпо, отлично подтверждаетъ старую истину, что чѣмъ безмолвнѣе типографскіе станки, тѣмъ беспощаднѣе работаютъ языки...

Въ тюрьмѣ Осиповъ устроился не совсѣмъ плохо. Сначала его поселили даже въ собственномъ кабинетѣ смотрителя, и при томъ довольно комфортабельно. Потребовалось особое вмѣшательство прокурора, чтобы „съ мѣщаниномъ Осиповымъ“ поступлено было, какъ „съ обыкновеннымъ арестантомъ“, но и послѣ этого онъ имѣлъ возможность посыпать свидѣтелямъ письменныя инструкціи. Явилось какое-то таинственное „лицо“, которое „пожелало взять Осипова на поруки съ обезспеченіемъ въ 25.000 р.“. Устанавливались и давали себя чувствовать связи между Осиповымъ и его вѣтюремными друзьями. Въ Житомирѣ не разъ возникали слухи, что „брандмейстеръ выпущенъ“, „брандмейстеръ на свободѣ“...

Но, быть можетъ, ни на чѣмъ съ такою очевидностью не сказалась тяжѣсть виѣсудебныхъ вліяній, какъ на результатахъ предварительного слѣдствія. Первоначально, если вѣрить газетнымъ извѣстіямъ, дѣло задумывалось, сравнительно, широко: возникало обвиненіе „въ соучастиіи въ поджогахъ и укрывательствѣ краденаго“ *). Былъ произведенъ обыскъ въ квартирѣ Осипова. „Обнаружились въ значительномъ количествѣ какіе-то футляры отъ колецъ, браслетовъ, цѣпочекъ“... А послѣ 15-месячной слѣдственной работы получилось всего лишь „обвиненіе въ склоненіи другихъ лицъ учинить поджоги дома Абрамовича“.

Но, конечно, даже обвинительный актъ не могъ выдѣлить одно событие изъ общей массы служебныхъ подвиговъ Осипова: слѣдователю поневолѣ пришлось упомянуть и о другихъ поджогахъ, и о томъ, что дѣла о нихъ не начинались или прекращались, и что Мармерштейнъ, будучи сыщикомъ, былъ и поджигатель, и совершалъ кражи и пр. Еще меньше могло выдѣлить единичный фактъ гласное и состязательное судебное слѣдствіе. Чтобы доказать участіе Осипова въ двухъ лишь поджогахъ, понадобилось коснуться картины житомирскихъ пожаровъ вообще, упомянуть, что „подсудимый“ за 4 года службы на скромное жалованье брандмейстера сумѣлъ построить трехъэтажный домъ; потребовалось характеризовать и сыщиковъ, и отношенія между Осиповымъ и начальствомъ...

— Оставленіе Осипова на свободѣ,—говорилъ, напр., прокуроръ,—представляетъ серьезную опасность для общества, такъ

*) См., напр., „Нов. Время“ 24 іюля 1903 г.

какъ надѣяться на защиту со стороны высшаго административнаго начальства общество не имѣть никакихъ оснований. Осиповъ обладаетъ способностью гипнотизировать начальство, которое вообще не замѣчаетъ его неправильныхъ дѣйствій...

— Но вѣдь меня,—возразилъ, на это Осиповъ,—не обвиняютъ во многихъ преступленіяхъ, меня обвиняютъ лишь въ одномъ дѣлѣ...

Какой выводъ отсюда сдѣлало жигомирское общественное мнѣніе? Единственный возможный: спустя нѣсколько дней послѣ приговора суда, въ „Волынѣ“ появилась слѣдующая замѣтка:

„7 ноября вечеромъ по городу распространились слухи, что Осиповъ выпущенъ изъ тюрьмы и находится въ пивной Каца по Киевской улицѣ. Прохожіе робко посматривали въ дверь это пивной, но войти туда не рѣшались. Слухъ о томъ, что Осипова въ концѣ концовъ освободятъ, очень прочно держится въ народѣ..“

Другими словами, обывателъ убѣжденъ, что и на этотъ разъ „административное начальство“ поступило вопреки приговору суда. Въ переводѣ на парламентскій языкъ это означаетъ:

— Хоть Осиповъ и осужденъ, но „чиновныя власти“ въ Житомирѣ отнюдь не стали пользоваться большимъ довѣріемъ населенія.

Впрочемъ, такъ разсуждаютъ не въ однѣ Житомирѣ. Извѣстный кронштадтскій полиціймейстеръ Шафровъ тоже осужденъ. Однако, потребовалось увѣрять Россію, что онъ на службѣ по вѣдомству Краснаго Креста не состоить...

А. Петрищевъ.

Случайные замѣтки.

Новая «Ковалевщина» въ Костромѣ. Понятное возбужденіе, вызванное въ русскомъ обществѣ „дѣломъ“ закаспійскаго генерала, далеко еще не улеглось, какъ уже несутся новыя извѣстія о по-другому того же характера, пожалуй, еще болѣе яркомъ. На этотъ разъ мѣстомъ дѣйствія являются уже не „чудные уголки“ подвѣдомственной генералу Усаковскому окраинной области, а центръ Россіи, гор. Кострома. Вотъ что пишутъ по этому поводу въ мѣстной подцензурной газетѣ „Костромской Листокъ“ *):

„Жизнь нашего города въ послѣдніе дни преподноситъ неожиданные сюрпризы, которые и безъ того уже запуганаго и загнаннаго обывателя въ конецъ ошеломляютъ и

*) Заемствуемъ изъ „Южнаго Обозрѣнія“ отъ 15 дек.

вызываютъ вполнѣ справедливыя нареканія и сътвомія. „Сюризы“, прежде не выходившіе изъ стѣнъ ресторановъ и гостиницъ, завоевываютъ себѣ мѣсто въ общественныхъ собраніяхъ и мѣстныхъ учрежденіяхъ, какъ, напр., театръ, почта и т. п. Мы сообщали уже о происшествіи въ „Московской“ гостиницѣ. Всльдь за этимъ мы получили письмо о подобномъ же случаѣ въ мѣстномъ почтовомъ отдѣленіи и, наконецъ, къ крайнему нашему сожалѣнію, должны отмѣтить возмутительный фактъ, имѣвшій мѣсто 5 декабря въ городскомъ театрѣ, глубоко взволновавшій все общество. Суть дѣла въ слѣдующемъ. Въ одномъ изъ антрактовъ въ городскомъ театрѣ по адресу прогуливавшейся съ юношой молодой дѣвушкѣ однимъ изъ присутствовавшихъ была допущена какая-то пошлость. Вспыхнувшій отъ нанесенного дѣвушкѣ оскорблѣнія, юноша потребовалъ отъ оскорбителя извиненій, но, встрѣтивъ вмѣсто этого издѣвателство, ~~измененіе~~ и попытку быть выдраннѣмъ за уши, далъ накалу пощечину.

Послѣ этого разыгралась безобразная сцена, когда чрезъ фойе и на лѣстницѣ театра бѣжалъ за юношой съ обнаженнымъ оружіемъ получившій пощечину; послѣднему, однако, не удалось догнать юношу, скрывшагося домой. Фактъ этотъ вызвалъ глубокое волненіе среди присутствующихъ въ театрѣ, при чёмъ *некоторые рѣшиительно заявляли, что безъ оружія въ карманѣ теперь нельзя никуда показаться*.

Такимъ образомъ, здѣсь рѣчь идетъ уже не о единичномъ на-
силіи: тутъ уже терроризированъ цѣлый городъ. Продолженіе этой изумительной исторіи, однако, еще поразительнѣе. Въ той же газетѣ напечатано извѣстіе о томъ, что, послѣ происшествія въ театрѣ, къ одному изъ представителей мѣстнаго общества, подъ предлогомъ дѣловыхъ объясненій, явились въ квартиру четыре офицера и нанесли ему грубое оскорблѣніе. „Случай этотъ,— прибавляетъ газета,— стоящій въ связи съ цѣлымъ рядомъ прямыхъ безчинствъ, имѣвшихъ мѣсто за послѣднее время, какъ въ отношеніи беззащитныхъ стариковъ, такъ и дѣвушекъ изъ поченныхъ семействъ, глубоко взволновалъ и возмутилъ мѣстное общество“. Другія газеты даютъ болѣе точныя указанія и комментаріи. Оказывается, что „четыре героя“, такъ храбро расправляющіеся со стариками, явились къ отцу того самаго юноши, который заступился за дѣвушку въ театрѣ, съ чудовищнымъ требованіемъ: „прислать сына въ офицерское собраніе для порки (Н) или—драться на дуэли“.

Итакъ, здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ однимъ закаспійскимъ генераломъ, а съ цѣлой группой военныхъ, съ цѣлымъ „офицерскимъ собраніемъ“ (неужели это правда?). Если вскрыть взгляды

которые оказались въ этомъ почти невѣроятномъ инцидентѣ, то получится слѣдующій своеобразный кодексъ поведенія:

1) Всякій офицеръ имѣеть невозбранное право отпускать по адресу любой дѣвушки разныя „пошлости“ и оскорбительныя замѣчанія, при чемъ никто изъ близкихъ не въ правѣ заступиться за оскорблennую.

2) Если же кто-нибудь за нее заступится, то г. костромской офицеръ имѣеть право надрать ему уши, а заступникъ не въ правѣ прибѣгнуть къ самооборонѣ физическими средствами.

3) Если онъ всетаки прибѣгнетъ къ самооборонѣ, и отпускающій пошлости офицеръ потерпить при этомъ уронъ, то послѣдній долженъ обнажить оружіе и убить противника.

4) Если и это не удалось, то уже офицерское собраніе (!) береть дѣло въ свои руки, и его посланцы избиваютъ беззащитныхъ старииковъ родственниковъ...

Этотъ силлогизмъ кажется намъ до того поразительнымъ, что мы ждали опроверженія; мы ждали, что въ газетахъ появится разъясненіе въ томъ смыслѣ, что хоть офицерское собраніе тутъ ни при чёмъ. Вѣдь единственно разумный и единственno достойный выходъ для людей, понимающихъ, что значитъ слово *честь*,—состоять лишь въ немедленномъ очищении своей среды отъ проявленій хулиганства. Все послѣдующее въ этомъ безобразномъ происшествіи явилось естественнымъ послѣствіемъ непристойнаго поведенія офицера, оскорбившаго дѣвушку. Въ этомъ и только въ этомъ, на взглядъ всякаго не ослѣпленного человѣка, могло состоять истинное оскорблѣніе „корпораціи“. Честь корпораціи не въ кулакѣ и не въ полосѣ желѣза. Эта честь въ томъ, чтобы никто не могъ обвинить члена корпораціи въ безчестномъ поведеніи, роняющемъ достоинство всякаго порядочнаго человѣка. Развѣ это можно сказать о данномъ членѣ корпораціи,—она уже оскорблена именно своимъ товарищемъ. И неужели общество офицеровъ въ Костромѣ держится иного взгляда? Неужели оно полагаетъ, что позоръ непристойнаго поведенія искупается успѣшной дракой, а восстановленіе чести корпораціи достигается тѣмъ, что вся она выражаетъ солидарность съ виновникомъ пошлого скандала и требуетъ у отца выдачи сына на позоръ и истязаніе въ своемъ „собраніи“.

Недавно въ „Руси“ было напечатано письмо генерала Кириллева по поводу Ковалевскаго дѣла. „Онъ — не нашъ,— пишетъ ген. Кириллѣвъ въ этомъ письмѣ, — разъ навсегда — не нашъ!“ *). Хотѣлось бы думать, что этотъ голосъ не останется одиознымъ, что и въ военной средѣ есть умы, не ослѣпленные столь чудовищно извращенными понятіями о сословной чести, и есть сердца,

*). „Русь“. Заимствуемъ изъ „Ниж. Листка“, отъ 21 дек. 1904 г.

способныхъ биться негодованіемъ на подвиги Ковалевыхъ закаспийскихъ и Ковалевыхъ костромскихъ...

У насъ теперь много говорятъ, много пишутъ, много на-
дѣются и много благодарятъ за обѣщаніе восстановленія „полной
силы закона“, для всѣхъ доступнаго и для всѣхъ равнаго... Мы
ждемъ съ величайшимъ интересомъ, въ какой формѣ и скоро ли
почувствуютъ на себѣ эту „силу закона“ тѣ господа, которые
полагаютъ, что оружіе дано имъ для того, чтобы безнаказанно
оскорблять русскихъ дѣвушекъ и избивать въ „отечествѣ“ безза-
щитныхъ стариковъ. Вѣдь иначе — это уже полное разложение
элементарныхъ гражданскихъ понятій, своего рода — „военная
анархія“.

Вл. Кор.

В. И. Ковалевскій и семейное начало въ дворянскомъ банкѣ.
Имя В. И. Ковалевскаго, бывшаго товарища министра финансовъ, въ
послѣднее время довольно часто мелькаетъ въ ежедневной прессѣ,
въ связи съ разными мотивами болѣе или менѣе „судебно-юри-
дического“ свойства. Въ самое послѣднее время, уже въ концѣ
декабря, одна изъ саратовскихъ газетъ огласила прошеніе г-на
Ковалевскаго, перепечатанное затѣмъ чуть не всѣми русскими
газетами. Въ этомъ прошеніи рѣчь идетъ объ „уничиженіи дара“.
Вскорѣ послѣ появленія этихъ интересныхъ газетныхъ извѣстій,
В. И. Ковалевскій обратился въ „Биржевые Вѣдомости“ съ пись-
момъ, въ которомъ говорить, между прочимъ,—что его „семей-
ные отношенія, казалось бы, не могутъ быть предметомъ общ-
ственного интереса“ и что „опубликованіе прошенія, до разсмо-
трѣнія его на судѣ, представляется совершенно необычнымъ“.

Намъ кажется, что въ этомъ упрекѣ по адресу печати г-нъ Ковалевскій далеко не вполнѣ правъ. Разумѣется, до семейныхъ
отношеній, чьихъ бы то ни было, печати, вообще говоря, дѣла
мало, но... судебная дѣла, хотя бы и на семейной подкладкѣ, по
общему правилу становятся достояніемъ гласности. Что касается
до „преждевременности“ опубликованія, то и это давно уже стало
обычаемъ, и не совсѣмъ понятно, что В. И. Ковалевскій видѣть
въ этомъ предосудительного. Всякая исковая просьба, подаваемая
въ современный судъ, тѣмъ самымъ направляется къ оглашенію,
такъ какъ не всегда же двери нашего суда закрываются передъ
гласностью. Такимъ образомъ, оглашеніе искового прошенія до
суда не представляетъ, въ сущности, ничего необычнаго, ни-
чего такого, что подающій прошеніе могъ бы считать для себя
непредвидѣнной непріятностью или нарушеніемъ своего права.

Разумѣется, сущность дѣла, заинтересовавшаго всю русскую
печать, совсѣмъ не въ семейныхъ отношеніяхъ, и мы всѣльчимъ
изъ него лишь тѣ черты, въ которыхъ эти отношенія неразрывно

переплелись съ общественной дѣятельностью бывшаго крупнаго администратора. А именно:

Въ августѣ 1898 года В. И. Ковалевскій приобрѣлъ крупное имѣніе, при чёмъ, изъ какихъ то видовъ, довольно распространенныхъ въ бюрократической средѣ, въ которые мы, однако, входить не намѣрены, — имѣніе было приобрѣто на имя брата жены г-на Ковалевскаго, И. Н. Лихутина. Послѣдній, со стороны своей „общественной дѣятельности“, представляетъ фигуру тоже довольно яркую, а отчасти даже нѣсколько пеструю. Когда то, еще въ 70-хъ годахъ онъ судился по нечаевскому процессу, но съ тѣхъ поръ искупилъ сторицею „заблужденіе молодости“ полезной дѣятельностью по „финансовой части“. Дѣятельность эта, хотя и не офиціальная, была известна многимъ и значительно способствовала процвѣтанію отечественной промышленности въ разныхъ ея отрасляхъ. Теперь онъ явился номинальнымъ владельцемъ огромнаго имѣнія („Полоцкое“), которое, какъ объясняетъ г. Ковалевскій, было куплено имъ (Ковалевскимъ) за 685 тыс. рублей, „скопленныхъ отчасти на долгой государственной службѣ, отчасти же благодаря его кредиту“... „При покупкѣ имѣнія на немъ, кроме долга нижегородско-самарскому банку, образовался еще долгъ срочный, до 1 февраля 1899 года“. Долгъ этотъ былъ погашенъ, благодаря ссудѣ въ 160 тыс. рублей, которыми г. Ковалевскаго любезно снабдилъ известный нефтепромышленникъ Нобель. Этотъ долгъ, при всей любезной готовности подвѣдомственнаго министерству финансовъ Нобеля, разумѣется, не могъ не стѣснять г-на товарища министра финансовъ. И вотъ, „чтобы отдать долгъ и поставить имѣніе въ лучшія финансовые условия (желаніе тоже вполнѣ понятное), я началъ,—говорить В. И. Ковалевскій,—хлопотать о скорѣйшей выдачѣ ссуды подъ имѣніе изъ дворянскаго банка“. Тутъ, конечно, есть маленькая неточность: собственно „началъ хлопотать“, по крайней мѣрѣ формально, г-нъ Лихутинъ, такъ какъ для банка, какъ и вообще „для свѣта“, юридическимъ владельцемъ имѣнія былъ только г-нъ Лихутинъ. Къ сожалѣнію, г-ну Лихутину, не смотря на его финансовая способности, ссуда была разрѣшена только въ суммѣ 377,100 рублей. Этого было достаточно для уплаты щекотливаго долга Нобелю, но мало „для улучшенія финансовыхъ условій имѣнія“. Тогда, — лаконически поясняетъ г-нъ Ковалевскій,— „въ моихъ интересахъ и благодаря моимъ заслугамъ на государственной службѣ“ ссуда повышена до 633 тысячъ. Кромѣ того, въ виду тѣхъ же заслугъ В. И. Ковалевскаго или, какъ говорить онъ самъ въ исковомъ прошеніи, „опять по указаннымъ выше причинамъ — совершение и утвержденіе купчей крѣпости (И. Н. Лихутинымъ, замѣтьте!) совершено было безъ высканія въ казну крѣпостной пошлины“... Этотъ фазисъ — самый, разумѣется, любопытный въ дѣлѣ, и тутъ-то становится особенно ясно

насколько г. Ковалевский не правъ, полагая, что его „семейныя отношения“ ни въ какой мѣрѣ не интересны и не прикосновены для общественной любознательности. Но вѣдь они такъ тѣсно переплелись съ мотивами банковскими, что... очевидно, подлежали точной банковской расцѣнѣ, и г-нъ Лихутинъ, юридический владѣлецъ, получаетъ двойную ссуду, благодаря заслугамъ... В. И. Ковалевскаго! Если судъ сумѣеть вскрыть ту официальную форму, въ которой „заслуги В. И. Ковалевскаго“ явились въ правленіе банка въ качествѣ ходатаевъ для увеличенія ссуды И. Н. Лихутину, то, несомнѣнно, мы получимъ любопытную страничку изъ области не только патріархальныхъ семейныхъ отношеній, но также... патріархально-банковского уваженія къ семейнымъ узамъ высокопоставленныхъ лицъ.

Таково это небольшое дѣло, всплывшее на свѣтъ Божій во всей своей наивной непосредственности. Тѣмъ, что г. Ковалевский съ такой подкупашей откровенностью рисуетъ передъ нами его характерныя особенности, мы опять обязаны чисто семейнымъ обстоятельствамъ. Финансовыя способности г-на Лихутина проявились на этотъ разъ въ нежелательномъ для В. И. Ковалевскаго направлениі. Тогда онъ „перевелъ имѣніе на жену“, а теперь пытается уничтожить судомъ этотъ „даръ“, вслѣдствіе неблагодарности его получившей...

Въ своемъ письмѣ въ „Биржевые Вѣдомости“ г. Ковалевскій старается ослабить впечатлѣніе имъ же нарисованной картины. По его словамъ,—увеличеніе ссуды и сбавка крѣпостныхъ пошлинь не представляютъ ничего особеннаго и необычнаго. „Газетами,—пишетъ онъ,—была подчеркнута выдача мнѣ ссуды подъ залогъ имѣнія въ значительно увеличенномъ размѣрѣ по всеподданнѣйшему докладу. Всеподданнѣйшій докладъ отнесился лишь къ повышенію ссуды на 15% (75% вместо 60 проц. съ оцѣнки)“. Тутъ, однако, является вѣкоторое недоумѣніе. Если И. Н. Лихутину ссуда разрѣшена была только въ 377.100 р., а затѣмъ она была „въ интересахъ и за заслуги В. И. Ковалевскаго“ повышена до 633.600 р., то, по простому ариѳметическому расчету, повышение это составляетъ не 15, а цѣлыхъ 69 процентовъ. Мы, разумѣется, не думаемъ, что В. И. Ковалевскій, опытный финансовый администраторъ, можетъ такъ грубо ошибаться въ расчетѣ. Вѣрѣте, что тутъ мы имѣемъ дѣло съ результатами того парадоксальнаго положенія, въ которомъ г-нъ Ковалевскій очутился передъ задачей суда—съ одной стороны, и передъ лицомъ гласности—съ другой. Для суда нужно доказать фактическую принадлежность имѣнія самому просителю. И тутъ выступаютъ, какъ доказательство, его личныя заслуги, повысившія ссуду до размѣровъ, совершенно не доступныхъ для обыкновенного смертнаго И. Н. Лихутина. А передъ лицомъ гласности—влияніе тѣхъ-же

заслугъ сокращается до размѣровъ, пожалуй, уже возможныхъ и для обыкновеннаго смертнаго.

Какъ бы то ни было, исковое прошеніе г-на Ковалевскаго вскрываетъ передъ нами любопытную черту нашей „финансовой внутренней политики“. Мы узнаемъ, что одной изъ задачъ дворянскаго банка является также „вознагражденіе заслугъ“ высокостоящихъ въ финансовой администраціи лицъ, и что въ своей дѣятельности это учрежденіе синходитъ до котировки родственныхъ отношений фактическихъ заладчиковъ имѣній...

Было бы несправедливо „бросать за всю эту аферу упрекъ по адресу одного г-на Ковалевскаго“, — говорить одна изъ столичныхъ газетъ („Наша Жизнь“). Это совершенно вѣрно. Уже та безоглядная откровенность, съ какой г-нъ Ковалевскій рассказалъ самъ финансовые подробности этой операциі,—показываетъ, что въ той средѣ, которая для г-на Ковалевскаго является привычной, подобный дѣла не считаются чѣмъ-то экстраординарнымъ. Все это, очевидно, „въ порядке вещей“, и становится нѣсколько нѣкоторымъ лишь съ той минуты, какъ подвергается широкой огласкѣ.

О. Б. А.

Продолженіе дѣла ген. Ковалева и д-ра Забусова. Тѣ изъ нашихъ читателей, которые обратили вниманіе на замѣтку объ этомъ дѣлѣ въ предыдущей книжкѣ „Русск. Богатства“, помнятъ, вѣроятно, въ великолѣпный совѣтъ ген. Усаковскаго, начальника Закаспійской области: знакомиться съ „положеніемъ края“ по газетамъ, издающимся въ этой благословенной области. Совѣтъ превосходный! Если бы слѣдовать ему съ надлежащою строгостью, то русская печать и русское общество даже не подозрѣвали бы о „случайѣ“ съ ген. Ковалевымъ и докторомъ Забусовымъ: обѣ газеты, издаваемыя въ подвѣдомственной ген. Усаковскому области, — надо думать, случайно и безъ всякихъ воздѣйствій—даже не зажнулись о дикомъ поступкѣ ген. Ковалева и о происходившемъ въ Тифлисѣ судѣ надъ этимъ генераломъ!

Очень можетъ быть, что и самъ генералъ Ковалевъ, приступая къ своей знаменитой отнынѣ кампаніи противъ безоружнаго доктора, находился подъ вліяніемъ той же aberracciї: ему могло казаться, что и вся Россія есть безгласная пустыня, въ которой его молодецкая команда, а за ней свисть розогъ и вопли беззащитной жертвы прозвучатъ безъ всякаго отголоска. Если это такъ,—то, по крайней мѣрѣ, на сей разъ расчетъ оказался ошибоченъ: имя генерала Ковалева пріобрѣло широкую извѣстность не только за предѣлами благодатной „подвѣдомственной области“, но и за предѣлами Россіи. Отнынѣ это имя навѣки внесено въ бытовую исторію нашего отечества.

А пока можно сказать безъ преувеличеній, что все русское образованіе общество слѣдить за ковалевскимъ дѣломъ съ не-

остывающимъ интересомъ. Въ газ. „Русь“ появилась, между прочимъ, горячая статья С. Елпатьевскаго („Мы требуемъ суда“), резюмирующая общее настроение не одиныхъ врачей, но всѣхъ, кому дороги интересы человѣческаго достоинства и правосудія... Въ послѣдніе дни стало извѣстно, что судъ все-таки будетъ. По жалобѣ потерпѣвшаго и его повѣренного д-ра Забусову возстановленъ срокъ для подачѣ жалобы, и дѣло будетъ вновь разсмотрѣно въ главномъ военномъ судѣ. Когда это произойдетъ, мы, разумѣется, вернемся еще къ этому дѣлу, съ его загадочной дикостью. А пока—всѣхъ интересуетъ вопросъ: какъ могло случиться, что потерпѣвшій не былъ вызванъ въ тифлисскій судъ ни какъ истецъ, ни какъ свидѣтель?

На это отчасти отвѣчаетъ главный прокуроръ военнаго суда ген.-лейт. Н. Н. Масловъ. Въ разговорѣ съ сотрудникомъ газ. „Русь“ онъ объяснилъ обстоятельство, вызвавшее такое волненіе во всемъ русскомъ обществѣ,—простой ошибкой мелкаго чиновника главнаго военнаго суда („и, какъ на грѣхъ, чиновника самого аккуратнаго и добросовѣтнаго“), который, получивъ исковое прошеніе повѣреннаго д-ра Забусова,—завелъ обѣ немъ отдѣльное дѣлопроизводство (!!), вместо того, чтобы ввести его въ производившееся уже дѣло. По поводу этой роковой „ошибки“ газеты вспомнили традиціоннаго стрѣлочника, единственнаго виновника всякихъ „крушений“ (въ данномъ случаѣ настоящаго „крушения правосудія“). Во всякомъ случаѣ, это объясненіе оставляетъ място для нѣкоторыхъ вопросовъ: какъ же могли не замѣтить судьи и военный прокуроръ, во время самого производства, этого отсутствія потерпѣвшаго, который вѣдь является и важнейшимъ изъ свидѣтелей? Какъ они не замѣтили того обстоятельства, что въ дѣлѣ остались только г. Ковалевъ и его подчиненные, сами въ значительной степени виновные въ происшедшемъ?

Этотъ вопросъ сотрудникъ „Руси“ предложилъ тоже генералу Маслову. „Видите ли,—отвѣтилъ послѣдній,—г. Забусовъ, разсказавъ подробно обѣ обстоятельствахъ дѣла, ничего не могъ выяснить о причинахъ и мотивахъ преступленія. Генераль же Ковалевъ не только не отрицалъ факта своего преступленія, но и въ наложеніи подробностей его совершенно совпадалъ съ показаніемъ потерпѣвшаго. Слѣдовательно, вызовъ послѣдняго на судъ явился бы, какъ я понимаю мотивы мѣстной военно-судебной администраціи, только лишнимъ мученіемъ для него, заставляя его еще разъ переносить публично испытанныя терзанія, не принося никакой пользы процессу“ *)...

Ген. Масловъ оговорился въ началѣ своей бесѣды съ сотрудникомъ „Руси“, что онъ еще недостаточно освѣдомленъ относительно всѣхъ подробностей тифлисскаго суда, и намъ кажется,

*) „Русь“, 19 дек. 1904 г., № 348.

что въ его объясненіи „мотивовъ военно-судебной администрації“ есть дѣйствительно мѣсто для значительныхъ недоумѣній. Во-первыхъ, далеко нельзя сказать, чтобы „признанія“ ген. Ковалева совпадали съ показаніями потерпѣвшаго: послѣдній рѣшительно настаивалъ на жестокомъ истязаніи, что ген. Ковалевъ и его подчиненные столь же рѣшительно отвергали. Судъ согласился съ показаніями виновныхъ. Но вѣдь еще вопросъ,—получился ли бы тотъ же результатъ, если бы на судѣ были не только истязатели, но и жертва истязанія и ея свидѣтели... Напрасны также были опасенія суда—причинить вызовомъ д-ра Забусова „излишнія мученія“ потерпѣвшему. Явка въ качествѣ свидѣтеля изъ другого судебнаго округа, какъ извѣстно, необязательна, и, значитъ, д-ръ Забусовъ могъ самъ уклониться отъ „излишняго мученія“, если бы нашелъ это нужнымъ. Какъ бы то ни было, является несомнѣннымъ, что докторъ Забусовъ, въ своихъ столкновеніяхъ съ военной средой, пострадалъ дважды: одинъ разъ отъ безпримѣрной жестокости ген. Ковалева, въ другой—отъ не менѣе безпримѣрной деликатности военнаго суда...

Нужно-ли прибавлять, что правосудію не нужно ни того, ни другого, а нужно одно „нелицепріятіе“, и что все русское общество съ нетерпѣніемъ ждетъ разрѣшенія вопроса: возможно ли „возстановленіе силы закона“ въ сословно-военномъ судѣ хотя бы въ столь вопіющемъ случаѣ?

О. Б. А.

Гомельская судебная драма. Недавно въ газетѣ „Новое Время“ (№ 10830) появилось извѣстіе слѣдующаго содержанія: „Въ субботу, 20 ноября, во всей Россіи судебное вѣдомство, да и все русское общество... чествовало 40-лѣтіе судебной реформы. Было по этому случаю отслужено молебствіе въ залѣ засѣданій разбирающаго гомельское дѣло особаго присутствія кіевской палаты. На молебствіе ни одинъ изъ указанной (ранѣе) группы участниковъ адвокатовъ не явился. Тотчасъ по окончаніи молебна и открытии засѣданія они всѣ появились и заняли свои мѣста. Среди участниковъ этой неприличной школьннической демонстраціи находился и г. Зарудный, сынъ Сергея Ивановича Заруднаго, одного изъ славѣйшихъ дѣятелей судебнай реформы, непосредственнаго участника въ составленіи судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 года“...

Оказалось, что сообщеніе корреспондента „Нового Времени“, какъ это, впрочемъ, обычно для корреспондентовъ этой газеты „изъ черты осѣдлости“,—мягко выражаясь,—страдаетъ неточностью: Александръ Сергеевичъ Зарудный въ это самое время лежалъ тяжко больной въ Полтавѣ. Значитъ, корреспондентъ юдофобской газеты видѣть г. Заруднаго въ судѣ не могъ, не могъ и констатировать его участіе въ „демонстраціи“. Онъ писалъ это a priori. Иначе сказать: корреспондентъ зналъ впередъ,

что, если бы А. С. Зарудный, „сынъ одного изъ славнейшихъ дѣятелей судебной реформы“, былъ въ то время въ Гомелѣ, то и онъ отдѣлился бы отъ гомельской магистратуры въ празднованіи годовщины.

Недавно г. Танъ, извѣстный писатель, посыпалъ Гомель и далъ въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ отчетъ о своихъ впечатлѣніяхъ. „Когда,—пишетъ онъ,— съ моего корреспондентскаго стула, съ лѣвой стороны у окна, поближе къ судейской эстрадѣ, я разсматриваю группу подсудимыхъ, расположенную прямо противъ меня, я вижу ее раздѣленной на двѣ отличныя другъ отъ друга части.

„Части эти—ариеметически равны. Быть можетъ, ближе къ истинѣ будетъ сказать, что они уравнены для сохраненія ариеметического безпристрастія.

„Нѣсколько человѣкъ посудимыхъ выдѣлены изъ дѣла и временно отпущены судомъ. Теперь и русскихъ, и евреевъ на скамьѣ подсудимыхъ одинаково по 35 человѣкъ. Принципъ ариеметического равенства проводится судомъ и въ другихъ случаяхъ. Напримѣръ, въ послѣдній день засѣданія 11 „наиболѣе важныхъ“ обвиняемыхъ, содержавшихся до того подъ стражей въ теченіе 15-ти мѣсяцевъ, иаконецъ, отпущены на временную свободу. Двое русскихъ и въ respondentъ къ нимъ двое евреевъ освобождены безъ поручительства. Остальные семеро, всѣ евреи, должны были представить по 1,000 рублей залога. Впрочемъ, справедливость требуетъ прибавить, что изъ подсудимыхъ, освобожденныхъ по окончаніи предварительного слѣдствія, русские должны были представить имущественное поручительство въ 100, 200 р., а евреи—наличный залогъ въ 1,000 р. каждый.

„Евреи-подсудимые сидѣтъ на лѣвой сторонѣ. Они меныше ростомъ и худощавѣе, „умѣренного тѣлосложенія и умѣренного питания“, какъ сказано въ протоколахъ медицинскаго осмотра. Среди нихъ много черноволосыхъ, хотя попадаются также русыя и совсѣмъ блокурыя головы. Значительное большинство совсѣмъ молодые юноши, почти подростки, 22-хъ, 18-ти, даже 16-ти лѣтъ. У нихъ безбородыя лица, блѣдныя, истощенные наслѣдственнымъ недобѣданіемъ и заключеніемъ въ тюрьмѣ, но глаза ихъ глядѣть открыто и какъ-то особенно независимо. Все это—подмастерья ремесленныхъ мастерскихъ города Гомеля, столяры, кожевники, цортные, нѣсколько приказчиковъ, два-три учащихся. Они обвиняются въ томъ, что, выражаясь словами обвинительнаго акта, „приняли участіе въ публичномъ скопищѣ, соединенными силами учинившемъ насилия надъ разными лицами христіанскаго населенія“, прибавлю, въ то время, когда лица христіанскаго населенія занимались разгромомъ еврейскихъ жилищъ и избѣженіемъ ихъ обитателей. Эти тщедушные

подростки представляют предъ лицомъ суда ту самую „Гомельскую самооборону“, которой приписано столько смѣлыхъ, почти сверхъестественныхъ дѣйствій. Въ ночь съ 1-го на 2-е сентября, непосредственно вслѣдъ за погромомъ, русское населеніе предмѣстій Гомеля, выдѣлившее большинство громилъ, именно отъ нея ожидало ночнаго нападенія и мести. Желѣзодорожными жандармами былъ принесенъ слухъ, будто въ Лубенскомъ лѣсу, въ 3 верстахъ отъ города, скрыто 7 тысячъ евреевъ демократовъ. Послана была по-лурота солдатъ, которая сначала встрѣтила толпу громилъ, направлявшихся къ городу, и пропустила ихъ съ миромъ, а потомъ нашла 3—4-хъ евреевъ, скрывавшихся въ болотѣ изъ боязни погрома”...

Такимъ образомъ, въ Гомель создалось странное положеніе: евреи трепетали передъ христіанами, христіане боялись евреевъ. Изъ города были разосланы гонцы въ ближайшія деревни съ извѣстіями о томъ, что евреи собираются бить христіанъ, и деревни двинулись на городъ, въ то самое время, когда евреи на чердахахъ и подвалахъ дрожали за свою жизнь...

Теперь и тѣ, и другіе сидятъ на скамьяхъ въ одной и той же залѣ суда.

„Русскіе подсудимые сидѣть на правой сторонѣ. Они крѣпче тѣломъ, выше ростомъ, свѣтлѣе волосомъ. Большой частью это — тоже молодежь, спокойнаго и безобиднаго вида, хотя два-три лица выдѣляются низкимъ лбомъ и непріятнымъ выраженіемъ. Все это — огородники, каменщики, желѣзодорожные рабочіе. Есть и нѣсколько лохматыхъ, растерзанныхъ фігуръ, два золотаря, одинъ босякъ. Это — грабители и мародеры, которые пришли на погромъ, привлеченные легкой неожиданной наживой. Отношенія между обѣими группами подсудимыхъ вполнѣ дружелюбны. Въ первые мѣсяцы предварительного слѣдствія, когда большинство было заключено въ тюрьмѣ, они были помѣщены въ отдѣльныя камеры, но въ концѣ концовъ соединились и перемѣшались. Я видѣлъ на судѣ во время перерывовъ, какъ подсудимые, Іосель Хайкинъ и Андрей Яцкевичъ, стояли, обнявшись, въ углу залы и о чѣмъ то горячо бесѣдовали. У дешеваго буфета въ передней комнатѣ русскій и еврей торопливо пили чай изъ одного стакана, передавая его другъ другу. Необходимость проводить въ судѣ цѣлые недѣли и мѣсяцы лишала ихъ возможности заработать себѣ пропитаніе, и они должны были составлять въ складчину пятакочекъ, чтобы заплатить за стаканъ чая. Общая нужда объединила ихъ и, кроме того, въ тюрьмѣ и во время суда они имѣли возможность ближе узнать другъ друга”...

Суду предстояла благородная и высокая роль довершить это объединение, распространить его далеко за предѣлы судебной залы.... Этого можно было достигнуть, во-первых—выяснениемъ, широкимъ и беспристрастнымъ, тѣхъ предшествовавшихъ условий, которые поставили въ Гомель одну часть населения противъ другой и заставили тѣхъ самыхъ людей, которые теперь мирно уживаются въ тюремныхъ камерахъ,—кинуться другъ на друга, какъ звѣри... Судьба подсудимыхъ евреевъ и русскихъ однаково требовала выясненія этихъ условій и роли тѣхъ „истинныхъ виновниковъ“, которые по словамъ и тѣхъ и другихъ,—отсутствуютъ на скамье подсудимыхъ, и только нѣкоторые изъ нихъ являются въ судебную залу въ качествѣ свидѣтелей и потомъ снова уходить на свободу“...*) Этого именно добивалась „группа защитниковъ“ и въ томъ числѣ А. С. Зарудный, сынъ одного изъ славнѣйшихъ дѣятелей судебнай реформы. Этого, безъ сомнѣнія, добивались бы теперь и сами „славнѣйшіе дѣятели“, имена которыхъ все еще поминаются юдофобской печатью и юдофобствующими дѣятелями суда 40 лѣтъ спустя.

Но гомельскій судъ, со своимъ предсѣдателемъ, г-нъ Котляревскимъ, посмотрѣлъ на дѣло иначе. Вместо того, чтобы беспристрастно добиваться истины, показывая, что для правосудія „вѣсть еллинъ ни іудей“, г-нъ предсѣдатель, гласно, публично, при открытыхъ дверяхъ, употребляетъ всѣ усилия для того, чтобы „не допустить“ освѣщенія дѣла со всѣхъ сторонъ и чтобы „нѣкоторыя лица“, которыхъ не угодно было затронуть составителю обвинительного акта,—остались вѣ предѣловъ судебнаго освѣщенія. Намъ еще придется, вѣроятно, вернуться къ этому знаменитому отнынѣ процессу, и мы не будемъ предвосхищать наиболѣе яркія черты этой „дѣятельности“ г-на предсѣдателя. Здесь мы отмѣтимъ только одинъ эпизодъ, закончившійся уходомъ группы защитниковъ.

Давалъ показанія свидѣтель Андрей Шустовъ. Это русскій, политическій заключенный; онъ не громила и не потерпѣвшій отъ погрома, значитъ, „настоящій“ свидѣтель. Какъ известно, и по судебнѣмъ обычаямъ, и даже по закону первая часть судебнаго допроса формулируется въ общей формѣ: что вамъ известно по настоящему дѣлу? Свидѣтель говоритъ, что знаетъ, и только когда онъ кончить или явно не умѣть разсказать связно,—начинается допросъ судомъ и сторонами. На этотъ разъ, однако, едва г. Шустовъ началъ разсказъ съ 29 августа, какъ г-нъ предсѣдатель потребовалъ, чтобы свидѣтель перешелъ прямо къ 1 сентября. Повидимому, связный разсказъ о томъ, что происходило 29 августа, совсѣмъ не входилъ въ разсчеты гомельскаго суда и могъ повредить той „истинѣ“, которую судъ рѣшилъ во что бы

*) Тань. Р. Вѣд.

то ни стало вынести изъ дѣла. И вотъ г-нъ предсѣдатель не только запретилъ (въ прямое нарушение ст. 718 уст. уг. судопр.) свидѣтелю говорить, что ему известно по дѣлу „съ 29 августа“, но... это почти невѣроятно, но это такъ—высалъ свидѣтеля изъ залы засѣданій, какъ будто зала этихъ засѣданій была не судь, а какая-то казарма, въ которой, какъ главная цѣль, преслѣдовалась стилистическая стройность изложенія и дисциплина свидѣтелей...

Но и этого еще оказалось мало. Когда защитникъ Соколовъ сталъ возражать противъ этого распоряженія, при чёмъ, какъ показалось г-ну предсѣдателю, сдалъ это слишкомъ повышеннымъ голосомъ, то г. Котляревскій... высалъ также и защитника...

Послѣ этого товарищи оскорбленного Соколова попросили перерыва, и затѣмъ между ними и г-мъ предсѣдателемъ произошелъ слѣдующій діалогъ:

Заш. Винаверъ.—Господинъ предсѣдатель. Я хочу сдѣлать заявленіе отъ имени защиты и гражданскихъ истцовъ. Два слишкомъ мѣсяца мы сидимъ здѣсь, стремясь всѣми силами пролить свѣтъ на сложное и тѣжелое дѣло, — отыскать правду.

Предсѣдатель.—Виновать, г. повѣренный. Прошу васъ вложить сущность вашего заявленія, вашу петицію.

Винаверъ.—Моя петиція такъ тѣсно связана съ тѣмъ, что я хочу сказать, что я не могу отдать ею; нельзя меня обязать сказать въ одной фразѣ то, что я могу сказать только въ пяти фразахъ. Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ мы стараемся исполнить нашу обязанность—освѣтить дѣло... На нашихъ подзащитныхъ заведено чудовищное обвиненіе, и мы хотѣли доказать, что обвинительный актъ...

Предсѣдатель.—Виновать, я не могу допустить критики обвинительного акта до преній.

Винаверъ.—Все то время, которое мы провели здѣсь, мы ни разу не обнаруживали неуваженія къ принципамъ суда, мы слишкомъ глубоко вѣрили въ эти принципы, въ могучую силу закона въ нашемъ стремленіи найти правду. Мы встрѣчали массу стѣсненій, мы пережили незаконные стѣсненія нашихъ правъ, памятая, что не въ однѣхъ стѣнахъ этого зала заключено правосудіе Россіи, что существуетъ еще судь, которому принадлежитъ послѣднее слово въ этомъ дѣлѣ. Но мы натолкнулись на такія стѣсненія, которыхъ посягаютъ на нашу честь и достоинство. Въ лицѣ присяжного повѣренного Соколова намъ нанесено оскорблѣніе...

Предсѣдатель.—Господинъ повѣренный, я прошу васъ не критиковать состоявшееся постановленіе, такъ какъ,

въ противномъ случаѣ, мнѣ придется напомнить вамъ о мѣрахъ, которыя я вынужденъ буду принять.

Винаверъ.—Вамъ не придется принимать противъ меня мѣры, такъ какъ мы покинемъ залъ. Я утверждаю, что распоряженіемъ вашимъ оскорблено наше человѣческое достоинство, такъ какъ каждый изъ наскъ въ положеніи Соколова поступилъ бы такимъ же образомъ. Мы считаемъ невозможнымъ при такихъ условіяхъ продолжать защиту, мы испытываемъ огромную тяжесть отъ необходимости послѣ двухъ мѣсяцевъ труда покинуть дѣло, мы сознаемъ ответственность предъ нашими подзащитными, которыхъ оставляемъ теперь безпомощными. Но есть моменты, когда чувство оскорбленія человѣческаго достоинства оказывается сильнѣе даже сознанія ответственности. Мы не можемъ продолжать,—уходимъ. Мы увѣрены, что никто наскъ не осудить и прежде всего не осудить наскъ наша совѣсть,—мы уходимъ съ чистой совѣстью изъ той залы, въ которой столько настрадались.

Винаверъ безсильно опускается на мѣсто. Публика потрясена.

За Винаверомъ дѣлаетъ заявленіе *Слюзбергъ* (представитель гражданскаго иска).

„Мы несли всѣ мучительныя трудности, сопряженныя съ участіемъ въ настоящемъ дѣлѣ, не для взысканія денегъ, не для отягченія участія подсудимыхъ христіанъ — мы ихъ считаемъ несчастными,—а для раскрытия истины, въ этомъ мы усматривали священную нашу задачу. Въ томъ же заключается не менѣе святая задача защитниковъ подсудимыхъ евреевъ. Удаленіе товарища Соколова, съ полнымъ достоинствомъ выполнившаго эту задачу, мы позволяемъ себѣ считать незаслуженною карою, а опасеніе возможнаго примѣненія ея къ намъ, при такихъ же условіяхъ, лишаетъ наскъ увѣренности въ дальнѣйшемъ. Уходя, позволяемъ себѣ высказать увѣренность, что никто, не исключая особаго присутствія, не скажетъ, что мы не стремились раскрыть всю истину, пролить полный свѣтъ на дѣло.

Къ заявленіямъ этимъ присоединяются *Красильщиковъ* и *Мариолинъ*. *Куперникъ*, со слезами въ голосѣ, говоритъ:

— Съ грустью и огорченіемъ присоединяюсь я къ сдѣланнымъ заявленіямъ, но прежде, чѣмъ вмѣстѣ со своими товарищами оставить дѣло, надъ которымъ всѣ мы такъ много трудились и страдали, оставить подсудимыхъ безъ защиты, лично отъ себя, какъ старшій среди моихъ товарищѣй, пережившій всѣ перипетіи въ исторіи суда, я сдѣлаю послѣднюю попытку спасти дорогое намъ дѣло. Я прошу палату подвергнуть пересмотру мѣру, принятую про-

тивъ товарища Соколова. Тогда и защита найдетъ возможнымъ довести до конца свою работу: быть можетъ, мои младшіе товарищи со мной не согласятся, но я считаю долгомъ старого человѣка и адвоката сдѣлать все, что въ моихъ силахъ, чтобы самому исполнить долгъ и дать возможность другимъ его исполнить. Безъ Соколова мы продолжать дѣла не можемъ. Соколовъ поступилъ совершенно корректно. Тутъ простое недоразумѣніе. Верните Соколова, и тогда всѣ мы будемъ продолжать наше дѣло.

— Мы терпѣли личныхъ оскорблений, — говоритъ Рамнеръ, — доколѣ было возможно, но сегодня мы столкнулись съ обстоятельствомъ, изъ которого не видимъ обычнаго законного выхода. Въ лицѣ товарища Соколова мы всѣ чувствуемъ себя, какъ люди и адвокаты, тѣжко оскорбленными и вынуждены оставить залъ засѣданія...

Съ точки зреінія профессиональной этики, — прибавляетъ Гамерманъ, — адвокатъ не можетъ ставить себя въ положеніе, при которомъ къ нему примѣнялись бы мѣры, свидѣтельствующія о его неприличномъ поведеніи на судѣ. Оставаясь въ предѣлахъ корректнаго исполненія своихъ обязанностей, нашъ товарищъ подвергся оскорбительному взысканію... Каждый изъ насъ столь же незаслуженно можетъ оказаться въ томъ же положеніи.

„Палата удаляется на совѣщеніе, и черезъ часъ выносить опредѣленіе, коимъ оставляеть въ силѣ удаленіе Соколова.

„Задѣтники евреевъ уходятъ. Публика поднимается и, апплодируя, уходитъ вслѣдъ за защитой. Среди подсудимыхъ движенье. Предѣдатель дѣлаетъ распоряженіе удалить всю публику“...

А. С. Заруднаго въ это время все еще не было въ Гомель. Но, безъ сомнѣнія, корреспондентъ „Нового Времени“ могъ бы съ полнымъ основаніемъ и a priori присоединить къ удалившимъ его имя, такъ же, какъ и имя его славнаго отца.. Полагаемъ, что величавыя тѣни творцовъ судебной реформы, если бы они присутствовали въ этой залѣ, удалились бы изъ нея вмѣстѣ съ „группой адвокатовъ“, такъ какъ, несомнѣнно, что въ ней вѣялъ не духъ судебныхъ уставовъ, а развѣ духъ инквизиціоннаго пристрастія и чуждой правосудію исключительности.

Вл. Кор.

Н О В Ы Я К Н И Г И.

„Война и душа народа“. Стихотворения И. В. Борисенка. Выпуск I-ый. Москва. 1904 г.

Сборникъ г. Борисенка состоитъ всего только изъ семи стихотворений. Чтобы воспѣть „войну“ и одновременно разъяснить „душу народа“, это очень немного, конечно. Но за то этого оказалось вполнѣ достаточно, чтобы въ стихотвореніяхъ г. Борисенка опредѣлились и типовые черты нашихъ пѣвцовъ войны, и индивидуальная особенность г. Борисенка, какъ одного изъ такихъ пѣвцовъ. Типовые черты, это — полное пренебреженіе живыми нуждами воспѣваемаго народа, разъ рѣчь идетъ о войнѣ. Нельзя сказать, чтобы г. Борисенко совсѣмъ забылъ о нихъ:

Неправда, горе, нищета
Кругомъ...

говорится въ одномъ изъ его стихотвореній. Но все это сразу исчезаетъ изъ памяти автора, когда ему приходится „воспѣть“ войну. — Не оказывается ни горя, ни нищеты, ни неправды „кругомъ“; оказывается одинъ только „избытокъ силъ“. Русскій народъ представляется поэтическому взору автора чѣмъ то въ родѣ застоявшагося породистаго рысака, котораго можно спасти только своевременной „тратою“ силъ:

Апатія и лѣни подняли вѣжды,
Мы бури ждемъ въ восторженной надеждѣ:
Избытокъ силъ насъ истомилъ давно...

Для одного изъ своихъ стихотвореній г. Борисенко взялъ своеобразный эпиграфъ: „Истина только одна; правда все то, что согласно съ дѣйствительностью“. Относительно г. Борисенка правильно было бы сказать, что истина все то, что согласно съ даннымъ стихотворениемъ.

Но это типовые черты апологетовъ войны вообще: тамъ, где начинается рѣчь о войнѣ, кончается нормальная логика сужденій и начинается „поэтическое“ вдохновеніе:

Проснешься ты, по волѣ Провидѣнья,
Во всей красѣ твоихъ народныхъ силъ,
Святая Русь, на кличъ войны засыпной!
Уже звучитъ „ура“ грозой отвѣтной
Изъ края въ край...

„Уже звучитъ: ура“ — г. Борисенко больше ничего не нужно, чтобы предчувствовать побѣду.

Личные особенности г. Борисенко, какъ пѣвца, пребывающаго мысленно „въ станѣ русскихъ воиновъ“, слѣдующія. Еще недавно онъ былъ, по его собственному признанію, „безгласнымъ трупомъ“. Это—во-первыхъ. Во-вторыхъ, онъ написалъ стихотвореніе на гибель „Петропавловска“, въ которомъ нѣтъ ничего, кроме риторики; это сообщаетъ ему оригинальность даже въ ряду остальныхъ баяновъ настоящей войны. Въ-третьихъ, г. Борисенко живеть въ Москвѣ, въ домѣ, около которого происходитъ „остановка трамвая“, о чёмъ г. Борисенко сдѣлалъ соотвѣтствующую ремарку на обложкѣ своего сборника, въ интересахъ своихъ будущихъ посѣтителей.

Н. Н. Вильде. Катастрофа и др. Москва. 1904.

Въ разсказѣ „Романъ Софы Михайловны“ герояня нѣсколько разъ слышитъ, какъ „бродячіе неаполитанцы“ поютъ „Addio, bello Napoli“. Авторъ, очевидно, не дослышалъ: Napoli—женскаго рода, и въ популярной пѣснѣ поютъ: „addio, la bella Napoli“. Разсказъ „Вьюга“ начинается словами: „Это называется мать, сударь мой!—сказалъ Максимъ Аркадьевичъ, взявъ конемъ короля у Ивана Дмитрича“. Авторъ, очевидно, не знаетъ, что короля въ шахматахъ не берутъ: „on ne prend le roi, m me aux ´echecs“... Въ разсказахъ „Padrona“ и „Романъ Софы Михайловны“ дѣйствуютъ два старыхъ итальянскихъ графа; живутъ они въ разныхъ мѣстахъ, одинъ имѣть домикъ на курортѣ, другой въ глухомъ городкѣ; оба бѣды, но одинъ побѣдилъ. Одна черточка удивляетъ своимъ случайнѣмъ сходствомъ: оба графа почему-то ходятъ въ голубой венгеркѣ. Вероятно, авторъ случайно видѣлъ какого-то итальянскаго графа въ голубой венгеркѣ—и ужъ не утерпѣлъ, обобщилъ венгерку и обоихъ графовъ нарядилъ въ нее.

Это микроскопическія мелочи, но онѣ характерны; онѣ выдаютъ одну господствующую черту разсказовъ г. Вильде; эта черта—сочинительство. По первому впечатлѣнію, эти разсказы живы, литературы, занимательны. Читаешь—и все время хочется знать: что будетъ дальше. Для газетнаго фельетона лучшаго не выдумаешь: немножко приключеній, немножко психологіи, немножко романтики, немножко сентиментальности—и газетный читатель съ удовольствіемъ отдохнешь на этомъ беллетристическомъ интермеццо отъ тягостныхъ впечатлѣній верхней половины газетнаго листа. Но когда эти самые разсказы собраны въ книжку, и ихъ перечитываешь одинъ за другимъ, ихъ интересъ падаетъ. Ихъ психологія банальна и условна, ихъ сентиментальность отдаетъ прозой, ихъ выдумка спита бѣлыми нитками и выдастъ себя. Разсказъ „Вьюга“: въ бурную зимнюю ночь, когда въ старомъ помѣщичьемъ домѣ два избитыхъ жизнью пріятеля, хозяинъ и докторъ, отпѣваются въ дружескомъ разговорѣ свое прошлое и настоящее, къ нимъ стучится съ просьбой пустить переждать

вьюгу изящная молодая женщина. И хозяинъ — „старый Донъ-Жуанъ“, оставшись вдвоемъ съ своей неожиданной гостью, вдругъ рассказываетъ ей печальную исторію своей единственной любви, изъ которой видно, что онъ совсѣмъ не Донъ-Жуанъ, а, наоборотъ — неудачникъ, любившій только разъ въ жизни и покинутый въ этой любви. Рассказъ „Padrona“: красивая хозяйка трактиричка въ маленькомъ итальянскомъ городкѣ сдѣлалась предметомъ исканій двухъ друзей-офицеровъ; всѣ страдали бы, но ловкая радгопа удовлетворяетъ обоихъ, пока ея любовныя комбинаціи не открылись, и друзья не уступили свои мѣста новой парѣ поручиковъ. Рассказъ „Катастрофа“: во время свадебной поѣздки молодыхъ супруговъ на пароходѣ пожаръ, во время которого героянно спасаетъ — не влюбленный мужъ, совѣстившій съ животной любовью животное себѧлюбіе, но случайный знакомый морской докторъ. Послѣ этого она разошлась съ мужемъ и лишь ради ребенка остается его номинальной женой; докторъ влюбился въ нее, въ доктора влюбилась ея сестра. И когда она, уставъ отъ одиночества, тоже чувствуетъ отвѣтное влечение къ доктору, оказывается, что онъ умеръ. И такъ далѣе. Возможно все это? — да, конечно: чего на свѣтѣ не бываетъ. Но дѣло не въ этой абстрактной возможности, при которой всетаки нѣть убѣдительности, нѣть впечатлѣнія жизни. Авторъ бойкій и неглупый рассказчикъ, но чтобы быть художникомъ, ему недостаетъ главнаго: онъ ни на мгновеніе не внушаетъ вѣры въ то, что разсказываетъ о дѣйствительномъ, о бытомъ. Преобладающимъ остается впечатлѣніе: да, это живо разсказано, но это не пережито, этого не было, это выдумано.

Генрихъ Ибсенъ. Полное собрание сочинений. Переводъ съ датскаго А. и П. Ганзенъ. Изд. С. Скирмуна. Москва. 1904. Томы III и VII.

Новое изданіе Ибсена, предпринятое г. Скирмунтомъ, выходитъ въ переводѣ гг. Ганзенъ. Каждая пьеса сопровождается отдельной сводно-критической статьей и литературными kommentariями. Это составляетъ особую цѣнность нового изданія Ибсена.— Русские читатели всѣ, конечно, знаютъ по наслышкѣ о знаменитомъ норвежскомъ писателѣ, но въ дѣйствительности знакомыхъ съ нимъ далеко не такъ много. Это отчасти понятно.

Помимо нерѣдкихъ экскурсій въ область таинственного и неясного, существенной помѣхой для читателя Ибсена является недостаточное разграничение реального и символического элементовъ въ его пьесахъ. Оговоримся, что мы отнюдь не противъ всякаго символизма въ принципѣ, хотя и считаемъ, что *при одинаковыхъ условіяхъ* реализмъ и конкретное изображеніе цѣннѣе символического уже въ силу простой экономіи въ труда, который нужно затратить для уразумѣнія писателя. При господствѣ символовъ всякое произведеніе представляеть въ большей или мень-

шай степени алгебраическую задачу, которую надо не только разрешить, но и предварительно—разгадать необходимый путь решения. Съ этой точки зрења символизмъ намъ представляется излишнимъ въ случаяхъ, когда его можно избѣжать,—какъ, напр., въ „Дикой уткѣ“, безъ всякаго ущерба для цѣнности драмы... Но за то, конечно, символическое произведение, какъ всякая абстракція и всякое отвлеченіе, рѣшаетъ не частный случай въ частныхъ условіяхъ, а выясняетъ цѣлую категорію однородныхъ явлений въ условій частного характера. Таково, напр., освѣщеніе вопроса о всякой реформаторской дѣятельности, которое дано Ибсеномъ въ „Строитель Сольнесѣ“... Наконецъ, въ „Женщина съ моря“ введеніемъ фигуры „Неизвѣстнаго“, символизирующаго въ жизни человѣка роль того, что кажется безвозвратно утраченнымъ и невозможнымъ, Ибсенъ сумѣлъ придать живую конкретность соотвѣтственнымъ душевнымъ движеніямъ,—далъ читателю возможность вложить свою руку въ душевныи раны Эллиды. И потому, какъ ни колетъ глазъ фигура „Неизвѣстнаго“ (особенно—на сценѣ), мы всетаки должны признать ее художественно-законной и необходимой, пока кто-нибудь другой не сумѣеть нарисовать душевную драму „Женщины съ моря“ съ такой же яркостью, какъ это сдѣлалъ Ибсенъ, но оставаясь въ рамкахъ чистаго реализма.

Недостатокъ Ибсена, какъ было уже замѣчено, въ недостаточно рѣзкомъ разграничении области реального и символического въ его пьесахъ: читатель не всегда знаетъ, съ чѣмъ онъ имѣть дѣло въ данный моментъ—съ символомъ или съ реальнымъ фактомъ („Строитель Сольнесѣ“). Иногда цѣлые фигуры оставляютъ читателя въ такомъ недоумѣніи; такова, напр., фигура старухи-крысоловки въ „Маленькомъ Эйольфѣ“, заманивающей ребенка-кальку въ море. Читатель до самаго конца не знаетъ, имѣть ли онъ дѣло съ реальнымъ явлениемъ (гипнозъ), или съ символизацией (влеченіе къ невозможному).

Все это очень усложняетъ положеніе читателя,—особенно, русскаго, привыкшаго къ кристальной ясности у крупныхъ художниковъ нашего слова. Но читатель вполнѣ вознаграждается за всѣ трудности, которыя онъ преодолѣлъ при чтеніи Ибсена. Не только художественной красотою отдѣльныхъ подробностей и цѣлыхъ пьесъ, въ родѣ „Бранда“, но и общей всему творчеству Ибсена глубиной содержанія. Въ рѣчи, сказанной имъ норвежскимъ студентамъ, Ибсенъ замѣтилъ, что на поэтахъ лежитъ „та же обязанность“, какъ и на всѣхъ: „уяснить себѣ и другимъ случайные и вѣчные вопросы“, характеризующіе переживаемое время... Это и составляетъ „задачу жизни“ Ибсена. Всю жизнь онъ занятъ то постановкой вопросовъ, то решеніемъ ихъ: гдѣ же источникъ необходимой человѣку „гармоніи между собой и міромъ“ и въ частности—съ окружающей его коллективною жизнью?... Роясь полвѣка въ человѣческой душѣ, онъ ищетъ все одного и того же:

чего не хватаетъ современному человѣку, чтобы не чувствовать себя искаженнымъ; что мѣшаетъ ему „стать самимъ собой“; что мѣшаетъ мечтѣ Бранда:

...изъ обрывковъ душъ,
Обломковъ жалкихъ духа—восоздать
Вновь нѣчто цѣльное...

чтобы Творецъ „могъ узнатъ“ въ современномъ человѣкѣ „вѣнецъ своего творенія“. — Въ этомъ стремлениі къ цѣльности и гармоніи съ самимъ собой и міромъ—высшее человѣческое благо, но на пути его — и огромная сложность современной жизни, и неустранимая противорѣчія въ величинахъ собственной души *).

Новый переводъ Ибсена, два тома котораго лежать передъ нами, долженъ, несомнѣнно, расширить кругъ читателей, обязанныхъ Ибсену художественнымъ и интеллигентуальнымъ—если такъ можно выразиться—наслажденіемъ... Сводно-критическія статьи и литературные комментаріи, о которыхъ выше упоминалось, предъ посланная переводчиками каждой отдельной пьесѣ, помогутъ читателю безъ особаго труда разобраться, что важно въ данной пьесѣ и мимо чего можно пройти, какъ мимо досадной помѣхи,—сосредоточившись лишь на томъ, что по справедливости сдѣлало Ибсена „властителемъ думъ“, — міровымъ соперникомъ нашего Л. Н. Толстого. Нельзя не цокальть, между прочимъ, что гг. переводчики для своихъ литературныхъ сводокъ не воспользовались ничѣмъ, что появлялось объ Ибсенѣ на русскомъ языке: для русскихъ читателей это представляло бы не только существенный интересъ, но и существенную выгоду, позволяя обратиться при желаніи къ первоисточнику.

„Брандъ“ и „Комедія любви“, которые въ прежнемъ изданіи Юровскаго были даны въ прозаическомъ переводаѣ, нынѣ переведены гг. Ганзенъ въ стихотворной формѣ; обѣ пьесы выиграли, не смотря на нѣкоторую тяжеловатость стиха... Впрочемъ, къ специальной оценкѣ перевода гг. Ганзенъ мы еще вернемся, по мѣрѣ выхода слѣдующихъ томовъ „полнаго собранія сочиненій Ибсена“.

К. Скальковскій. За годъ. Спб. 1905 г.

Всякій разъ, послѣ появленія новой статьи г. Скальковскаго, страницы газеты, которую онъ украшаетъ своими произведеніями, въ теченіе нѣсколькихъ дней пестрятъ опроверженіями, поправками, возраженіями. Иногда съ нимъ спорятъ — есть еще такие, которые берутъ его въ серьезъ,—но чаще его просто поправляютъ: онъ пишетъ воспоминанія, и его поддержанная память измѣняетъ ему; не можетъ же онъ знать, какая изъ выдумокъ, имъ

*) Подробнѣе объ этомъ—см. статью: „Задача жизни у Ибсена“, помѣщенную въ этой же книгѣ „Русского Богатства“.

сообщаемыхъ, будетъ опровергнута — надо ужъ писать все, тамъ разберутъ... И онъ пишетъ, печатаетъ и даже собираетъ свои статьи въ книги, потому—сообщилъ онъ недавно,—что газетная бумага недостаточно прочна; а онъ разсчитываетъ пройти въ потомство.

Пусть проходитъ. Давая новымъ гласнымъ шутовскія характеристики, онъ иаходить возможнымъ опредѣлить К. К. Арсеньева слѣдующимъ образомъ: „Почетный академикъ, котораго твореній никто, однако, не видаль даже на полкахъ книжныхъ магазиновъ“. Охотно вѣримъ, что г. Скальковскому незнакома литературная дѣятельность К. К. Арсеньева: его невѣжество равно его развязности. Охотно вѣримъ, что его книги расходятся быстрѣе, чѣмъ книги К. К. Арсеньева: это мѣра нашей культурности. Но представимъ себѣ, что произведенія г. Скальковскаго, предустмотрительно перенесенные авторомъ на прочную бумагу, въ самомъ дѣлѣ, пройдутъ вѣковъ завистливую даль и попадуть въ руки далекому потомку: какое представление онъ вынесетъ объ авторѣ? Книга называется „За годъ“ — и въ ней собраны статьи за тотъ страшный годъ, когда родина автора переживала одну изъ тягостнѣйшихъ эпохъ своей исторіи, когда кровь его согражданъ лилась рѣками. Что интересовало въ это время автора, на что онъ находилъ возможныи обращать свое просвѣщенное вниманіе?

„Какая прелестъ — восклицаетъ онъ о г-жѣ Преображенской—ея новыя варіаціи въ „Пахитѣ“ по выразительности, граци и законченности... Конецъ варіаціи изображаетъ родь маленькаго чрезвычайно граціознаго канканчика на носкахъ. Говорять, что балерина сочинила его сама, видѣвъ раньше во снѣ! Шаловливые, однако, сны у г-жи Преображенской“. Они, конечно, не болѣе шаловливы, чѣмъ порханія нашего популярнаго „помѣщѣ *d'état de chez Maxime*“, какъ великолѣпно прозвалъ его остроумный фельетонистъ. Кому, какъ не ему, судить о граціозности канканчиковъ. Но надо бы избрать для этого болѣе подходящій моментъ. Иначе можно превзойти Гримо-де-ла-Ренъера, который—по словамъ г. Скальковскаго — описывая французскую революцію, говорить о террорѣ: „грустное время, когда на рынке нельзя было найти ни одного порядочнаго тюрбо“.

Конечно, фигура г. Скальковскаго сложилась достаточно давно, чтобы русскій читатель могъ въ ней найти какую-либо новую черточку. Но всетаки—какая устойчивость духовныхъ интересовъ. Вотъ поистинѣ сохранившійся старецъ. На склонѣ лѣтъ онъ, какъ и слѣдуетъ, охотно, хотя не всегда кстати, обращается къ воспоминаніямъ. Остановившись въ Вѣнѣ „не для одного созерцанія роскошныхъ формъ, которыя, страннымъ образомъ, сочетаются у вѣюкъ съ тонкими и изящными attaches“, онъ вспоминаетъ, что жилъ здѣсь во время всемірной выставки съ по-

койнымъ Н. К. Михайловскимъ. Что значить „жиль съ Н. К. Михайловскимъ“—въ одномъ городѣ или въ одномъ отелѣ — не видно. Во всякомъ случаѣ въ эти памятные г. Скальковскому дни Н. К. Михайловский, очевидно, имѣлъ случай хорошо изучить своего знакомаго: не прошло и года, какъ онъ въ „Литературныхъ замѣткахъ“ 1874 г. остановился съ должнымъ вниманіемъ на облике г. Скальковского. Онъ отибчалъ его „Путевыя впечатлѣнія“, гдѣ „въ каждой страницѣ звучитъ до комизма назойливаяnota: о, я бѣдовый, я фолионъ! я знаю цѣну „нервическаго дрожанія бедеръ“, знаю, что значитъ пропорціональность частей женскаго тѣла и т. д.“. Онъ спрашивалъ: „почему г. Скальковский, не довольствуясь своей міровой славой въ качествѣ автора „Суэзскаго канала“, также стремится казаться фолиономъ? Откуда это возрожденіе старыхъ грѣховъ съ приправою серьезности и дѣловитости? Думаю, что соотвѣтственный соціально-психологический анализъ далъ бы въ результатѣ: отсутствіе всякаго присутствія“. Какъ видѣть читатель, такъ было тридцать лѣтъ назадъ, такъ оно и теперь. До сихъ поръ впечатлѣнія, выносимыя изъ всякаго произведенія г. Скальковского, въ конечномъ итогѣ укладываются въ заключительное восклицаніе Н. К. Михайловского: „Читатель, я хотѣлъ васъ свести въ балаганъ. Но мы попали въ своего рода собачью пещеру, въ которой долго оставаться нельзя,—задохнешься“.

Бруно Эмиль Кенигъ. Черные кабинеты въ Западной Европѣ.
Пер. съ нѣм. Я. М. Шабазъ. Изд. М. Н. Прокоповича. Москва. 1905.

Исторія есть великая утѣшительница. Какъ известно, не такъ давно московскій почтамтъ, уличенный въ массовомъ уничтоженіи частныхъ писемъ, выяснилъ, что проходящія чрезъ него письма читаются не всѣ, а только подозрительныя. Если мы обратимся къ исторіи, то увидимъ, что это большой успѣхъ: въ восьмидесятыхъ годахъ восемнадцатаго столѣтія предшественникъ нынѣшняго московскаго почтъ-директора Пестель въ донесеніи генеральному губернатору говорилъ: „совершенно удостовѣрить могу, что ничего замѣчанія достойнаго чрезъ вѣренный моей дирекціи почтамтъ безъ уваженія пройти не можетъ“. Въ этомъ достойномъ безсмертія афоризмѣ лучше всего, конечно, случайное словечко „уваженіе“. Оно даетъ намъ возможность, пользуясь словаремъ московскаго почтъ-директора, сказать, что и нынѣ частная корреспонденція пользуется надлежащимъ „уваженіемъ“.

Исторію этого „уваженія“ европейскихъ правительствъ къ тайнѣ довѣряемыхъ имъ писемъ попытался изобразить нѣмецкій почтовый чиновникъ Кенигъ. Его книга знакома нашимъ читателямъ; вскорѣ по выходѣ въ свѣтъ ея второго изданія на страницахъ нашего журнала („Русское Богатство“ 1892 г., августъ) было

дано ея изложение, сжатое, но въ известной части болѣе полное, чѣмъ то, что теперь представлено русской читающей публикѣ въ качествѣ перевода. Эти проблѣы перевода, необъясненные и необъяснимые, тѣмъ болѣе удивительны, что въ пропущенныхъ главахъ заключается если не самая забавная, то несомнѣнно самая поучительная часть книги Кенига, менѣе анекдотическая и болѣе близкая къ современности. Дѣло въ томъ, что создать настоящую исторію изъ тѣхъ обрывковъ разнородныхъ и полудостовѣрныхъ свѣдѣній, которыми располагалъ авторъ, ему не удалось. Но на ряду съ разрозненными рассказами о почтовыхъ застѣнкахъ доброго старого времени, о техникѣ тайного распечатыванія чужихъ писемъ и приемахъ почтоваго шпионства, на ряду съ анекдотами о прежнихъ европейскихъ Шпекинихъ—подчасъ весьма высопоставленныхъ—авторъ привелъ также сухо-дѣловые, но весьма любопытные стенографические отчеты о преніяхъ по интересующему насъ предмету въ германскомъ рейхстагѣ начала семидесятыхъ годовъ прошлаго вѣка. Именно этихъ главъ—ими занята значительная часть подлинника—мы не находимъ въ русскомъ переводѣ. Между тѣмъ, если книга Кенига издана у насъ не для сообщенія случайныхъ свѣдѣній, а съ воспитательными цѣлями, то именно въ этихъ пропущенныхъ главахъ сосредоточены наиболѣе вѣсіе удары противъ почтоваго шпионства. Какъ было сказано, эти пренія въ молодомъ германскомъ рейхстагѣ показали съ полной очевидностью, какъ различны возврѣнія на реальныя—не абстрактно теоретическія—права личности у обывателя, съ трудомъ добивающагося осуществленія правъ, въ теоріи давно безспорныхъ, и у представителей власти, даже изъ весьма либеральныхъ. Но эти пренія показали также, какіе успѣхи достигнуты въ охранѣ этихъ правъ, какъ высоко стоитъ идея неприкосновенности частнаго письма въ правосознаніи современного культурнаго человѣка, какъ энергично вступаются за охрану этого права личности даже представители тѣхъ партій, въ политику которыхъ когда-то почтовое шпионство занимало видное мѣсто.

Указаніемъ на этотъ досадный проблѣ мы не хотимъ сказать, что все остальное въ книгѣ Кенига лишено интереса. Наоборотъ, даже ея анекдоты поучительны. Но поучительнѣе ея историческихъ предположеній и курьезовъ—духъ, ее проникающій. Припомнимъ, что Кенигъ—только простой, слегка будирующей и незначительный нѣмецкій почтовый чиновникъ. И однако—какъ глубоко проникнута его нехитрая книжка сознаніемъ своихъ правъ, самоуваженіемъ, убѣждениемъ, что посагательство на малѣйшее проявленіе моей личности есть посагательство на самую личность. Вотъ лучшій плодъ той культуры, блага которой такъ энергично отстаивали великие предшественники маленькаго Кенига.

Надо, однако, напомнить о томъ его союзникѣ, который явился,—правда, подъ вліяніемъ той же культуры, но со стороны. „To чего не могли достигнуть ни юристы, ни различные конституціи,—рассказываетъ авторъ,—было достигнуто, благодаря огромному почтовому обмѣну, разросшемуся въ миллионы разъ; именно это обстоятельство и ограничило дѣятельность „черныхъ кабинетовъ“.

Такимъ образомъ, если „уваженіе“ московского почтамта перешло отъ всей корреспонденціи, проходящей чрезъ это полезное учрежденіе, къ письмамъ немногихъ избранниковъ, то въ этомъ тоже виноватъ обыватель,—но уже виноватъ не своимъ качествомъ, а только количествомъ. Правда, мы не такъ беспокоимъ начальство, какъ нѣкоторые варвары; у насъ въ 1897 году число почтовыхъ отправлений дошло всего до пяти на человѣка (въ Японіи—12, въ 1903 году—17); но всетаки вѣдь и у насъ за годъ проходитъ черезъ почту до трехъ четвертей миллиарда почтовыхъ отправлений: какъ справиться съ этой необъятной массой неудивимыхъ письменныхъ разговоровъ, изъ коихъ въ каждомъ, быть можетъ, таится злоумышленіе...

Главные дѣятели и предшественники судебнай реформы.
Подъ редакціей К. К. Арсеньева. Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 1904 г.

По условіямъ нынѣшняго момента нашей общественной жизни, въ дни воспоминанія о минувшемъ сорокалѣтіи судебнай реформы общее вниманіе было менѣе всего сосредоточено на заслуженныхъ дѣятеляхъ этого великаго законодательного акта. Думали и говорили не столько о прошломъ, сколько о будущемъ. Если и вспоминали прошлое, то останавливались не на первыхъ свѣтлыхъ его страницахъ, а на печальной исторіи послѣдней четверти вѣка, преобразовавшей реформу, чтобы поставить на ея мѣсто судебный строй, недалекій отъ дoreформеннаго. Незачѣмъ жалѣть объ этомъ мимолетномъ невниманіи къ дѣятелямъ прошлаго; оно есть лучшій даръ вниманія къ дѣлу ихъ жизни; мы забыли на время о нихъ, потому что слишкомъ поглощены были борьбой за живое осуществленіе ихъ завѣтовъ. Но въ этой борьбѣ память о нихъ есть лучшее знамя,—и оттого нельзѧ безъ глубокаго сочувствія отмѣтить красивое и содержательное изданіе, только что вышедшее въ свѣтъ подъ редакціей и съ предисловіемъ К. К. Арсеньева. Книга даетъ тридцать отдѣльныхъ очерковъ, посвященныхъ характеристикѣ какъ непосредственныхъ участниковъ судебнай реформы, авторовъ этого законодательного акта и практическихъ работниковъ, наполнившихъ живымъ содержаніемъ его прогрессивныя нормы, такъ и писателей, обличеніями „неправды черной“ подготовившихъ въ общественномъ сознаніи мысль о неизбѣжности преобразованія.

Съ фигурами шести ближайшихъ дѣятелей реформы—Заруднаго, Ровинскаго, Стояновскаго, Буцковскаго, Замятнина, Ковалевскаго—познакомилъ читателей А. О. Кони, всегда заботившійся объ увѣковѣченіи и популяризациіи этихъ именъ въ нашемъ „лѣнивомъ и не любопытномъ“ обществѣ. Н. В. Давыдовъ въ очеркѣ, посвященномъ императору Александру II, какъ участнику въ судебнѣй реформѣ, указываетъ на уваженіе самого инициатора этого замѣчательнаго законодательнаго акта къ его основнымъ начальамъ. Онъ напоминаетъ разсказъ одного изъ первыхъ дѣятелей новаго суда П. Н. Обнинскаго о томъ, какъ въ 1876 году во время слѣдствія по знаменитому Струсберговскому дѣлу, наслѣдникомъ было доложено государю относившееся къ этому процессу ходатайство, а государь отвѣтилъ: „это дѣло суда и не намъ съ тобой въ него вмѣшиваться“. Къ сожалѣнію, въ статьѣ о защитникахъ не разсказана съ должной подробностью исторія отставки этого первого министра юстиціи при реформированномъ судѣ... Этотъ судъ былъ въ слишкомъ живомъ противорѣчиѣ съ общей обстановкой, чтобы произвести коренное преобразованіе въ правосознаніи и оставаться неприосновеннымъ. Но свидѣтелями глубокаго переворота, вызваннаго имъ въ рядѣ правовыхъ отношеній, могутъ служить произведенія писателей, характеристики которыхъ посвящены четыре заключительные очерка: Капниста, Гоголя, И. Аксакова, Салтыкова. Кратко, но содержательно и выразительно предисловіе редактора, по убѣждѣнію котораго, „привести къ желанной цѣли новый пересмотръ судебнѣхъ уставовъ можетъ только при обстановкѣ, напоминающей время ихъ составленія—только какъ часть цѣлаго цикла преобразованій, продолжающихъ и завершающихъ великія реформы императора Александра II“.

Д-ръ Хмѣлевскій.—Патологический элементъ въ личности и творчествѣ Фридриха Ницше. Киевъ, 1904.

Вѣроятно, нѣть другого современнаго писателя, который представлялъ бы такой интересъ для психіатра, какъ Фридрихъ Ницше. И это прежде всего потому, что патологический элементъ личности Ницше развился не послѣ того, когда основные пункты его міровоззрѣнія были уже выработаны (какъ это случилось, напримѣръ, съ Огюстомъ Контомъ), а, наоборотъ, вполнѣ современъ выработкѣ этого міровоззрѣнія, ибо почти вся литературная дѣятельность Ницше совпадаетъ съ тѣмъ временемъ, когда онъ несомнѣнно былъ боленъ. Поэтому для психологовъ и психіатровъ возникаетъ трудная, но интересная задача: анализировать ученіе Ницше и опредѣлить, какіе элементы являются въ данномъ случаѣ интегральной частью его особаго, оригинальнаго міровоззрѣнія, особой исключительной точки зреінія, съ которой Ницше рассматриваетъ міровые явленія, и какіе элементы являются слу-

чайными, наносными продуктами болезненного состояния мыслителя. Такъ, напримѣръ, такой цитулярный и характерный пунктъ ученія Ницше, какъ концепція „сверхъ-человѣка“, вполнѣ гармонируя со всѣмъ остальнымъ ученіемъ Ницше, въ то же время, несомнѣнно, заключаетъ въ себѣ и элементы, объясняемые лишь маниакальнымъ возбужденіемъ философа.

Къ сожалѣнію, однако, психиатрія въ настоящее время еще не достигла такого совершенства, при которомъ она могла бы съ полнымъ успѣхомъ выполнить подобную тонкую работу. А сверхъ того, случай Ницше представляетъ еще нѣсколько особенныхъ затрудненій. Во первыхъ, нельзя съ точностью сказать, былъ ли Ницше по своей организаціи „дегенерантомъ высшаго порядка“; во-вторыхъ, не вполнѣ можно опредѣлить значеніе тѣхъ болезненныхъ явлений (какъ, напр., продолжительныхъ и тяжелыхъ ингреней), которыя наблюдались у Ницше до возникновенія его главной болѣзни; наконецъ, въ-третьихъ, самая та болѣзнь, которая довела Ницше до слабоумія и смерти, т. е. прогрессивный параличъ представляетъ въ клиническомъ отношеніи много неясностей. Существуетъ даже мнѣніе, что самое теченіе этой болѣзни въ послѣднее время начало видоизмѣняться. „Прогрессивный параличъ, говоритъ нашъ авторъ (стр. 33), какъ болѣзнь, повидимому, въ послѣднее время подвергся эволюціи. Классическая картина прогрессивного паралича съ маниакальнымъ состояніемъ, съ нелѣпымъ бредомъ величія, частыми перемѣнами настроенія—встрѣчаются все рѣже и рѣже“. А случай Ницше былъ, къ тому же, случаемъ *атипического* прогрессивного паралича: онъ представлялъ много своеобразностей. Даже самая продолжительность его болѣзни, равная, по Мебусу, 19 годамъ, является необычною, ибо средняя продолжительность прогрессивного паралича равна 3—4 годамъ.

Такимъ образомъ, предъ нашимъ авторомъ была весьма трудная задача. Какъ онъ съ нею справился? Нашъ авторъ, вполнѣ компетентный врачъ, далъ толковую исторію болѣзни Ницше. Но вѣдь задача была не клиническая: предстояло дать не исторію болѣзни Ницше, а анализъ его произведеній, т. е. нужно было открыть, какіе элементы ученія Ницше (и насколько) являются продуктомъ его болезненного состоянія. Для этого нужно было такое глубокое проникновеніе въ творчество Ницше, которого нашъ авторъ не обнаружилъ. Онъ ограничился нѣсколькими мелкими замѣчаніями въ родѣ, напримѣръ, того, что, отмѣтивши фактъ злоупотребленія Ницше хлораломъ, прибавилъ: „Возможно, что „чувство ненависти“ (къ людямъ), о которомъ говорятъ Ницше, относится къ индивидуальному дѣйствію хлорала“ (стр. 22). Затѣмъ авторъ, анализируя труды Ницше, приходитъ, напр., къ тому выводу, что книга „Такъ говорить Заратустра“ написана „въ

состоянії маніакальнай экзальтациі” (стр. 26), а книга „Къ генетології морали“ написана „въ періодъ реміссіі“ (стр. 28).

Мы не ставимъ въ упрекъ автору, что онъ не сдѣлалъ того, чего онъ, очевидно, и не могъ сдѣлать, что онъ не далъ глубокаго анализа творчества Ницше. Мы имѣли въ виду лишь одно— указать читателямъ „Р. Б.“, что они могутъ найти въ брошюре д-ра Хмѣлевскаго: они могутъ найти тамъ лишь толковое изложение исторіи болѣзни Ницше и освѣщеніе не столько нѣкоторыхъ идей философа, сколько его манеры излагать эти идеи, ничего больше они тамъ не найдутъ.

Гаральдъ Геффдингъ. Философскія проблемы. Пер. съ нѣмецкаго. Г. А. Котляра. М. 1904.

Новое сочиненіе извѣстнаго датскаго философа должно быть причислено къ типу тѣхъ „введеній въ философію“, которыя въ послѣднее время стали особенно часто появляться.

Авторъ дѣлаетъ общій обзоръ поля философскаго изслѣдованія. Онъ признаетъ существованіе четырехъ основныхъ философскихъ проблемъ: „1) проблема природы явленій сознанія (психологическая проблема); 2) проблема правильности познанія (логическая проблема); 3) проблема природы бытія (космологическая проблема), и 4) проблема оцѣнки (этическо-религіозная проблема)“. Затѣмъ авторъ задаетъ вопросъ: „можно ли эти четыре проблемы свести къ одной основной проблемѣ“, и отвѣчаетъ: „что это возможно, доказывается, иначе кажется, то значеніе, которое имѣть при обсужденіи каждой изъ нихъ вопросъ объ отношеніи между непрерывностью и прерывностью явленій. Въ этомъ отношеніи выражается глубочайшій интересъ, какъ личности, такъ и науки. Какъ въ той, такъ и въ другой области наиболѣе характернымъ является... стремленіе къ связи и единству, а съ этой точки зренія все прерывное является препятствиемъ, устранить которое необходимо. Съ другой же стороны, именно прерывность (различие времени, степени, места, качества, индивидуальности) есть то, что и въ области науки и въ области личной жизни вноситъ новое содержаніе, освобождаетъ скрытые силы и ставитъ великія задачи“ (стр. 5).

Характерною особенностью рассматриваемаго нами изслѣдованія является то обстоятельство, что авторъ не стремится дать намъ цѣльную, гладкую, законченную систему. Онъ говорить: „Идеалъ былъ бы достигнутъ, если бы удалось доказать полную гармонію всего нашего опыта, непрерывное цѣлое, около кото-раго объединились бы, согласно собственнымъ своимъ законамъ, все специальные эмпирическія области. Но... такое законченное мировоззреніе невозможно и въ извѣстномъ смыслѣ содержитъ въ себѣ внутреннее противорѣчіе. Ни одна изъ специальныхъ эми-

рическихъ областей не есть нѣчто законченное; непрерывно возникаютъ какъ новый опытъ, такъ и новые загадки; наше стремящееся къ обобщенію мышеніе каждый разъ наталкивается на новые задачи. Такъ какъ наше познаніе совершается всегда черезъ сопоставленіе и сравненіе, то всякий цѣльный образъ, чтобы стать предметомъ законченного познанія, долженъ быть бытъ сопоставленъ съ чѣмъ-нибудь отличнымъ отъ него: только тогда онъ могъ бы достичь полной опредѣленности; но если бы было что-либо, отъ него отличное, то онъ не былъ бы цѣльнымъ образомъ" (стр. 68—9).

Поэтому, при изслѣдованіи всѣхъ своихъ проблемъ, авторъ наталкивается на антиноміи, „ирраціональное отношеніе“, которое и считается имъ символическимъ выраженіемъ дѣйствительности. Онъ говоритъ: „Тотъ фактъ, что познаніе не можетъ быть законченнымъ, можетъ стоять въ связи съ тѣмъ, что бытіе само не закончено, не готово, а такъ же находится въ состояніи непрерывнаго возникновенія, какъ отдѣльная личность и познаніе. Оно, быть можетъ, скрываетъ въ себѣ также одновременный дисгармоніи, которая и дѣлаютъ невозможнымъ для него образовать гармоническое цѣлое“ (стр. 69).

Вопросъ о классификації всегда имѣть двойственное значеніе. Если классификацію рассматривать просто, какъ лишь методологічный пріемъ, тогда она имѣть второстепенное значеніе, и каждый изслѣдователь можетъ создавать классификації *ad hoc*, сообразуясь съ удобствомъ изслѣдованія. Но если придавать классификації болѣе строгое значеніе, если рассматривать ее, какъ орудіе познанія сущности классифицируемыхъ явлений, тогда о свободѣ созданія системы классификаціи не можетъ быть и рѣчи. Придавая классификації это послѣднее, болѣе строгое значение мы думаемъ, что сдѣланное нашимъ авторомъ распределеніе проблемъ не вполнѣ удачно. Существуютъ лишь двѣ основныя проблемы: проблема бытія и проблема познанія. Выставлять въ первую линію проблему сознанія значитъ дѣлать нѣкоторый предварительный заемъ изъ обѣихъ этихъ основныхъ проблемъ. Выставлять же въ первую линію проблему опѣнки нельзя потому, что предварительно надлежитъ решить вопросъ о томъ, что такое тѣ нормы, на основаніи которыхъ мы дѣлаемъ опѣнку. Извѣстно, что однимъ изъ важнейшихъ вопросовъ современной философіи является вопросъ объ отношеніи между „существующимъ“ и „должнымъ“: вопросъ объ автономіи нормъ. Кто не признаетъ за нормами того исключительного значенія, которое придаютъ имъ, напримѣръ, кантіанцы, тотъ и будетъ рассматривать проблему опѣнки, какъ вторичную проблему. Но, во вскомъ случаѣ, каково бы ни было мнѣніе изслѣдователя, очевидно, что поднимать вопросъ объ автономіи нормъ можно лишь послѣ уясненія вопросовъ о бытіи и познаніи.

Какъ мы видимъ, нашъ авторъ устанавливаетъ единство четырехъ проблемъ, вводя вопросъ объ отношеніи между непрерывностью и прерывностью. Этимъ онъ косвенно даетъ перевѣсъ проблемы познанія надъ проблемой бытія. Конечно, начинать нужно съ проблемы познанія уже потому одному, что философія есть видъ познанія; однако, если не смотрѣть на вопросъ о познаніи, какъ на самодовлѣющій, замкнутый въ себѣ вопросъ, то сейчасъ же возникаетъ вопросъ о познаніи, какъ одноть изъ проявлений бытія, и, такимъ образомъ, вопросъ о бытіи выступаетъ на первый планъ. Тутъ снова становится яснымъ неудобство выдѣленія вопроса о сознаніи, какъ основного, независимаго вопроса.

Климатологія въ связи съ климатотерапіей и гигіеной.
А. Класовскаго, заслуженнаго профессора Новороссійскаго университета. Одесса 1904.

Брошюра нашего извѣстнаго метеоролога, проф. Класовскаго, затрагиваетъ весьма интересный и мало изученный вопросъ. Человѣческій организмъ погруженъ въ среду атмосферныхъ явлений, явлений свѣтовыхъ, тепловыхъ, электрическихъ, явлений измѣнчивой влажности воздуха и его давленія. Всѣ эти явленія, несомнѣнно, играютъ весьма значительную роль въ вопросѣ о нормальному отправлѣніи нашего организма, но, къ сожалѣнію, мы должны признать, что въ настоящее время медицина еще очень мало можетъ пользоваться указаніями метеорологіи.

Иногда мы даже не знаемъ, въ чёмъ, собственно, слѣдуетъ искать причину извѣстныхъ гигіеническихъ явлений. Такъ, напр., южный берегъ Крыма извѣстенъ своимъ цѣлебнымъ вліяніемъ на ракитъ (англійская болѣзнь): онъ и излѣчиваетъ, и предупреждаетъ ракитъ. Казалось бы, это легко объяснить свѣтомъ и тепломъ, присущими климату южнаго берега. Однако, дѣло объясняется не такъ просто. „Если-бы, говорить докторъ Бѣлокуръ, одной инсоляціи было достаточно для уничтоженія ракита, то въ Бухарѣ мы бы никогда не наблюдали этой болѣзни. Между тѣмъ, съ достовѣрностью извѣстно, что ракитъ въ Бухарѣ распространѣнъ эпидемически“ (цитата по Класовскому, стр. 5).

Дѣлались попытки опредѣлить связь между колебаніями климатическихъ условій данной мѣстности и развитиемъ въ ней болѣзней. Но, конечно, это слишкомъ сложный вопросъ, чтобы решить его единичными наблюденіями. Докторъ Ассманнъ сдѣлалъ болѣе широкую попытку: онъ пытался „прослѣдить ходъ распространенія инфлюэнзы 1899-го года и господствовавшихъ, въ соотвѣтствующій періодъ, метеорологическихъ условій“ (стр. 7).

Однако, для достиженія прочныхъ результатовъ нужна совмѣстная работа очень многихъ лицъ. Поэтому большое значеніе можетъ имѣть приложенный къ брошюре проф. Класовскаго

„проектъ программы климатическихъ исслѣдований для цѣлей климатологии и бальнеологии“.

Пользуясь указаниями такого компетентнаго человѣка, какъ проф. Класовскій, множество образованныхъ лѣтъ можетъ заняться собираниемъ данныхъ, которые, послѣ соответствующей обработки, могутъ послужить основой для прочныхъ выводовъ.

С. А. Котляревскій. Ламениз и новѣйшій католицизмъ.
М. 1904.

Книга г. Котляревскаго представляетъ не только историко-литературный, но и большой современный интересъ. Возрожденіе воинствующаго католицизма въ XIX в., его почти сказочный расцвѣтъ въ эпоху, когда именно, казалось бы, его пѣсни окончательно спѣта, — фактъ не только высоко интересный по своей исторической загадочности, но и огромнаго политическаго значенія,—фактъ, съ каковымъ тѣсно связаны будущія судьбы Европы. Достаточно вспомнить современную протестантскую Германію, гдѣ, не смотря на свое численное меньшинство, католики представляютъ самую сильную партію въ рейхстагѣ; Бельгію, гдѣ всѣ усиливъ прогрессивныхъ партій разбиваются о могучую коалицію католиковъ, фактически управляющихъ страной и упорно отказывающихся народу въ самой насущной избирательной реформѣ; наконецъ, Францію, которая на нашихъ глазахъ едва спаслась отъ всеобщаго заговора католическаго *status in statu* и вынуждена была прибѣгнуть къ мѣрамъ, скорѣе напоминающимъ политику конвента, чѣмъ увѣренной въ своей моціи республики...

Две основныя черты особенно характерны для новѣйшаго католицизма. Первая — безповоротное торжество самого крайняго ультрамонтанства, которое, воскресивъ теократическіе идеалы средневѣковья, поставивъ папство въ положеніе единаго и непогрѣшимаго повелителя церкви и уничтоживъ послѣдніе слѣды церковной самостоятельности отдельныхъ странъ, придало необыкновенную силу и единство и безъ того уже достаточно совершенной организаціи универсальной церкви. Другая — примиреніе и тактический союзъ со свободой и новыми политическими учрежденіями Западной Европы. Римская церковь жаждала воспитывать юношество, захватить въ свои руки печать, организацію массъ, наконецъ, управлѣніе обществомъ: все это могла дать свобода, надлежащимъ образомъ использованная. Такимъ-то образомъ во многихъ католическихъ странахъ рядомъ съ лозунгомъ „католицизмъ“ на ультрамонтанскомъ флагѣ явилось и священное слово „свобода“. Въ настоящую минуту, когда мы пишемъ эти строки, католическая Бельгія щумно ликуетъ по поводу 25-ти лѣтія провозглашенія свободы преподаванія, а во Франціи клерикалы во имя свободы протестуютъ противъ закрытія конгрегацій... И, дѣйстви-

тельно, свободѣ, какъ солнцу, которое одинако свѣтить надъ праведными и грѣшными, католицизмъ въ XIX в. больше всего обязанъ своимъ грандіозными завоеваніями. Правда, при первомъ удобномъ случаѣ клерикалы готовы продать свободу первому, кто обѣщаетъ больше выгода, какъ это случилось съ католической партией въ Франціи въ президентство Бонапарта, или воспользоваться ею для разрушенія того самаго строя, которому они всѣмъ обязаны, какъ это мы видимъ въ современной Франціи, но какъ тактическимъ оружиемъ, когда это нужно, ихъ церкви умѣть пользоваться свободой съ необыкновеннымъ совершенствомъ.

Каждое новое крупное теченіе обыкновенно имѣеть своего пророка-энтузиаста, съ именемъ которого оно связано, какъ бы далеко оно впослѣдствіи ни уклонилось отъ первоначальныхъ идей своего вдохновителя... По странной ироніи исторіи, пророкомъ нового курса католицизма въ XIX в. суждено было стать никому иному, какъ Ламенна. Этотъ человѣкъ, который въ зрѣломъ возрастѣ пришелъ къ убѣжденію, что католицизмъ кореннымъ образомъ противорѣчитъ идеаламъ человѣчества, что католицизмъ и свобода непримиры, авторъ *Paroles d'un croyant*, потрясавшій Европу своей пламенной проповѣдью свободы и соціальной справедливости,—этотъ человѣкъ былъ провозвѣстникомъ тѣхъ саныхъ принциповъ, которые легли въ основаніе догмы и политики обновленнаго католицизма. Это онъ со свойственнымъ ему одному пламеннымъ краснорѣчіемъ и прямолинейной логикой воскресилъ идеалы Григорія VII, провозгласилъ католицизмъ единой истиной рода человѣческаго и папу его непогрѣшимымъ главой, которому одному принадлежитъ верховное управление міромъ. Это онъ, послѣ недолгаго увлеченія идеей абсолютной католической монархіи, руководимой церковью, имѣлъ мужество перейти на другую сторону и на знамени церкви рядомъ со словомъ „католицизмъ“ поставить слово „свобода“,—лозунгъ, который въ періодъ его принадлежности къ церкви лежалъ въ основаніи всей его публицистической и общественной дѣятельности. Подъ этимъ лозунгомъ онъ объединилъ фалангу даровитыхъ и энергичныхъ людей, создавшихъ могущественную клерикальную партію, которая шагъ за шагомъ отвоевала для церкви школу, конгрегацію, политическую силу,—все, о чёмъ могло только мечтать ультрамонтанство.

Но самъ Ламенна падъ жертвой своего мятежнаго энтузиазма. Католицизмъ, прибѣгая подъ сѣнь свободы, признавалъ право на ие исключительной своей монополіей. Ламенна требовалъ ее для всѣхъ, для всѣхъ мнѣній, для всѣхъ вѣрованій. Церковь отвергла его, но сумѣла по своему использовать его великій публицистический талантъ. Его апологія католицизма — до сихъ поръ краеугольный камень ея догмы. Его лозунгъ „свобода“—главнейший тактическій пріемъ, ея могущественное оружіе тамъ, где она топится или борется за преобладаніе. Его призывъ къ активной со-

цальной деятельности вывелъ ее на путь организаціи массъ подъ флагомъ католического соціализма...

Личность Ламениэ поэтому тѣснѣйшимъ образомъ связана съ судьбой новѣйшаго католицизма. Съ этой точки зрѣнія авторъ разбираемой монографіи трактуетъ своего героя.

„Жизнь Ламениэ для него прежде всего важна, какъ страница изъ истории великой религіозной и общественной организации — католической церкви... Она интересна для него прежде всего тѣмъ, что пережитый имъ индивидуальный процессъ отражаетъ эволюцію новѣйшаго католицизма и освѣщаетъ загадочное на первый взглядъ противорѣчіе — торжество въ церкви теократіи и борьба за свободу, консервативный обликъ и движение въ сторону соціалистическихъ программъ и идеаловъ“.

Уже за одинъ выборъ темы подобного рода можно было быть благодарнымъ г. Котляревскому. Ни личность Ламениэ, ни эволюціи католической церкви въ XIX ст. не были у насъ предметомъ изслѣдованія, хотя на европейскихъ языкахъ имѣется не мало превосходныхъ монографій объ этихъ предметахъ. Нужно отдать справедливость автору: онъ внесъ въ свой трудъ и много эрудиціи, и научную добросовѣстность, и любовь къ своей темѣ, и, наконецъ, сумѣлъ сдѣлать свою книгу интересной для широкаго круга читателей. Въ предѣлахъ его специальной задачи, г. Котляревскому удалось не только дать достаточно детальную и широко освѣщенную на фонѣ эпохи біографію и характеристику литературной и общественной карьеры Ламениэ, но и въ значительной мѣрѣ выяснить эволюцію современного католицизма, пониманіе которой столь важно именно въ настоящее время. За всѣмъ тѣмъ во многихъ отношеніяхъ рассматриваемый трудъ автора одинаково не удовлетворитъ ни специалиста, ни обыкновенаго читателя. Прежде всего по отношенію къ Ламениэ. Въ такой сложной личности, какъ этотъ послѣдній, нельзя отдѣлить мыслителя и дѣятеля отъ его оригинальной психической индивидуальности, являющейся главнымъ ключомъ къ пониманію его духовнаго облика и эволюціи. Мы не говоримъ тутъ специально о такъ называемой душевной драмѣ Ламениэ,—хотя и ее обходить въ большой монографіи совсѣмъ не слѣдовало,—а о тѣхъ коренныхъ особенностяхъ его душевнаго склада, которые создали то, что настѣльше всего поражаетъ въ этой яркой, столь сложной и выѣстѣ съ тѣмъ цѣльной фигурѣ великаго энтузиаста. Революціонный темпераментъ Ламениэ, одинаково остававшагося вѣрнымъ себѣ и тогда, когда онъ пламенно отстаивалъ божественный авторитетъ папы, и когда онъ столь же пламенно отрекся отъ него во имя разума и соціальной справедливости, остался совершенно выѣмъ анализа автора. Онъ считаетъ психическую загадку Ламениэ вполнѣ решенной уже Сентъ-Бевомъ, видѣвшимъ сущность психологіи его въ „единствѣ воли и разума, запечатлѣннаго вѣрой“. Къ этой ничего не объясняющей формулы авторъ считаетъ

только необходимымъ подыскать „историческую“ основу, которую онъ счастливо находитъ, если отбросить риторику его фразы, не больше и не меньше, какъ... въ католицизмѣ. Но католицизмъ и даже „единство воли и разума, запечатлѣнаго върой“ были не у одного только Ламенна, они были и у Монталамбера, и у Лаламордера, да и у цѣлой массы католическихъ единомышленниковъ Ламенна. Въ чём же тогда психическая индивидуальность именно этого послѣдняго, толкнувшаго его одного по совершенно особому пути? Въ одномъ только мѣстѣ авторъ пытается самостоятельно искать психическую основу эволюціи Ламенна и находитъ ее въ томъ, что сначала наивный, мало знакомый съ дѣйствительностью романтизма, Ламенна, въ концѣ концовъ, постепенно позналъ глубокую пропасть, отдѣляющую идеалы церкви отъ печальной дѣйствительности, и прозрѣлъ; остальное, моль, все понятно. Но если дѣло такъ просто, почему опять таки прозрѣлъ только Ламенна, а не Монталамберъ, Лакордеръ и мн. другие люди тоже недюжинные, видѣвшіе и знаящіе то же, что и Ламенна, и, однако, въ рѣшительный моментъ предавшіе своего учителя при всемъ ихъ „единствѣ разума и воли“.

Что касается другого героя книги, колективнаго католицизма, то г. Котляревскій противъ него погрѣшилъ еще болѣе.

Эволюція католицизма въ XIX в. стоитъ у него какъ бы совершенно изолированной отъ прошлыхъ судебъ римской церкви. Совершенно справедливо указавъ на тѣсную связь между эволюціей церкви и соціальнымъ и умственнымъ переворотомъ, произведеннымъ французской революціей, авторъ совершенно упустилъ изъ виду еще болѣе тѣсную связь современнаго католицизма съ той великой реакцией, которую испытала церковь послѣ другой великой революціи, чисто духовной, революціи—реформаціи. Развѣ энтузіазмъ ультрамонтанства, эта удивительная политика приспособленія къ вѣнчанимъ условіямъ дѣятельности, эта страстная борьба за овладѣніе умами путемъ школы, печати, конгрегаций, комплотовъ и интригъ и, наконецъ, это упорное стремленіе къ политическому господству,—развѣ всѣ эти черты не прямое продолженіе политики, усвоенной римской церковью послѣ реформаціи?

Если бы авторъ вспомнилъ объ этомъ, онъ, быть можетъ, совершенно иначе взглянулъ бы на эволюцію новѣйшаго католицизма. Онъ понялъ бы, во 1-хъ, что вся практика „новаго“ курса церкви съ его либерализмомъ и соціализмомъ сводится къ старой испытанной методѣ приспособленія въ борьбѣ за самосохраненіе, и ни къ чemu болѣе, и, во 2-хъ,—и это самое важное,—что за вынѣшнимъ духовнымъ подъемомъ церкви можетъ послѣдовать такая же, если не болѣе сильная волна мертваго упадка, какая постигла ее въ XVIII в., потому что и рационализмъ, или тотъ „псевдо-позитивизмъ“, надъ которымъ иронизируетъ авторъ, еще

не совсѣмъ приказалъ долго жить и можетъ еще современемъ сказать кое-что въ свое оправданіе. Не лишнее было бы такъ же хоть мимоходомъ остановиться на „динамикѣ“ либерально-соціальныхъ тенденцій римской церкви, самое поучительное проявленіе которой такъ легко было прослѣдить на исторіи послѣднихъ десятилѣтій во Франціи, Бельгіи и Германіи: для пониманія проблемъ католицизма это очень важно.

Правильному возврѣнію автора на роль и будущее католицизма мѣшаеть какой-то странный не то „идеализъ“ *sui generis*, не то романтизъ, лишающій его въ решительную минуту необходимаго мужества и сводящаго его съ пути ученаго на тропу риторизма и безнадежныхъ противорѣчій.

Онъ считаетъ, напримѣръ, католицизмъ по самой природѣ своей *неизмѣннымъ*; онъ полагаетъ, что „идея прогресса для него недопустима“ и что въ этомъ заключается „величайшій антагонизмъ между нимъ и современнымъ обществомъ“, а вслѣдъ за этими категорическими утвержденіями онъ цитируетъ прогрессивную программу американскихъ католиковъ, которая кореннымъ образомъ противорѣчить догмату „неизмѣнности“. Г. Котляревскій выходъ изъ этого противорѣчія находитъ въ томъ, что это уже „почти“ не католицизмъ, а американізмъ, какъ будто дѣло въ названіи, а не въ самомъ фактѣ возможности глубокихъ измѣненій въ основѣ католицизма.

Вынужденный признать, что развитіе свободы кореннымъ образомъ неблагопріятно для католицизма, авторъ грустно задумывается надъ старой дилеммой между вырожденіемъ католическихъ народовъ и гибеллю католицизма и въ видѣ исхода изъ нея, спрашивается: „возможно ли для католицизма порвать окончательно съ прошлымъ, сохранивъ лишь вѣчный религіозный порывъ (?)“, увидѣть въ свободѣ не средство, а цѣль“ и т. д. Подобный вопросъ показываетъ, что такую возможность авторъ допускаетъ. Какъ же примирить это съ его же утвержденіемъ о „вѣчной неизмѣнности“?

Еще болѣе странно отношеніе автора къ вопросу о католическомъ соціализмѣ. Ставя вопросъ о томъ, являются ли соціальные эксперименты католической церкви ея заслугой, или лишь результатомъ простой необходимости, авторъ сначала не считаетъ для себя возможнымъ дать категоріческій отвѣтъ. Но это не мѣшаеть ему сейчасъ же, вслѣдъ за этимъ дать такой глубокомысленный и ясный отвѣтъ: съ одной стороны, соціальная политика являлась необходимостью для церкви, во съ другой — „по пути соціального благосостоянія цѣли католической церкви на иѣкоторомъ протяженіи — короткомъ или далекомъ это другой вопросъ — или параллельно интересамъ трудящихся массъ“ (довольно ясно и опредѣленно?). Впрочемъ, черезъ нѣсколько строкъ авторъ поправляется и выражается съ большей опредѣленностью: „осуществ-

вление духовного правления католической церкви заключало бы въ себѣ и измѣненіе самыхъ тяжелыхъ соціальныхъ условій современной жизни, правда, съ потерей того, что западно-европейскія общества считаютъ своими неотчужденными культурными благами".

Интересно, на чёмъ основываетъ ученый авторъ это утверждение? Не на примѣрѣ ли папской области, миссіонерскихъ колоній въ Парагваѣ или на исторіи Испаніи?

Два слова еще по поводу предисловія, по меньшей мѣрѣ, претензіознаго. Въ одномъ мѣстѣ авторъ съ апломбомъ третируетъ философскія попытки выясненія вопроса объ отношеніи личности къ обществу. Въ другомъ тонко инсинуируетъ по адресу покойныхъ экономическихъ материалистовъ. Въ-третьемъ, онъ гордо отрекается отъ „мимопозитивистовъ, для которыхъ религіозная жизнь общества является предметомъ, недостойнымъ вниманія, и торжественно заявляетъ, что онъ, авторъ, не отказывается отъ мыслей и чаяній о будущей (?) религіозной жизни Россіи...“ Между тѣмъ, не смотря на всѣ претензіи автора, его собственный трудъ, ни въ методологическомъ, ни въ идеиномъ отношеніи не представляетъ собою ничего оригинального.

Основная его идея—влияніе Ламенна на новый курсъ католицизма—впервые высказанная Ренаномъ, давно уже стала общимъ мѣстомъ...

Сборникъ чтенийъ съ волшебнымъ фонаремъ въ школѣ и дома. — Труды комиссии по устройству чтений для учащихся педагогического общества, состоящаго при Московскомъ университѣтѣ. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1904.

Домашнее и школьное чтеніе учащихся, какъ известно, подвержено очень строгому контролю. Главная задача контроля состоитъ въ томъ, чтобы черезъ книгу въ среду учащихся не прошло „вредное направлѣніе“. Что такое „вредное направлѣніе“, опредѣлить не совсѣмъ легко. Вреднымъ признается, напр., употребленіе учащимися тетрадокъ съ изображеніемъ Льва Толстого. Вреднымъ признано съ прошлаго года пользованіе Евангеліемъ въ церковно-приходскихъ школахъ, и, вмѣсто него, тамъ читаются псалтыри. Вреднымъ оказывается и изображеніе казни Шугачева на свѣтовыхъ картинахъ. Вообще, „вреднаго“ въ книгахъ и въ картинахъ такъ много, что единственнымъ вполнѣ надежнымъ средствомъ противъ этого зла было бы примѣненіе давно рекомендованной Фамусовымъ мѣры: „забрать всѣ книги бы, да сжечь“, прибавивъ къ нимъ заодно ужъ всякия прозрачныя и непрозрачныя картины. Но сей идеалъ недостижимъ. „Сжечь гимназію и упразднить науки“, какъ то сдѣлалъ во время оно глуповскій градоначальникъ Архистратигъ Стратилатовичъ Перехватъ-Залихватскій, въ наше время уже нельзя, и поневолѣ приходится прѣѣхать къ полумѣрамъ: изъять изъ школы Евангеліе, запретить

обществу грамотности издать для народа „Письмо о купцѣ Калашниковѣ“, которую, однако, не воспрещено издавать всякому желающему, отбирать отъ подписчиковъ по деревнямъ газету („Вятскую“), въ которой цензоръ не все дозволяетъ перепечатывать даже изъ „Правительственного Вѣстника“, не дать хода учрежденію просвѣтительного общества, проектъ устава которого подписанъ извѣстившими академиками, сенаторами, писателями и т. д., и т. д. Вообще средства для постепенного „упраздненія наукъ“ болѣе, чѣмъ много. Въ числѣ ихъ не послѣднее мѣсто, если не по эффектности, то по вѣрности дѣйствія, занимаетъ ограниченіе чтенія учащихся специальнымъ каталогомъ разрѣшенныхъ для такого чтенія книгъ. Не входя въ оценку достоинствъ этого каталога, можно сказать одно, что цѣли своей онъ достигаетъ отлично: учащиеся не пользуются школьнimi библіотеками, какъ обѣ этомъ свидѣтельствуетъ само школьнное начальство. Само собой разумѣется, что такой фактъ меныше всего говорить о томъ, чтобы у учащихся совсѣмъ не было потребности въ чтеніи. Потребность эта существуетъ, убить ее нельзя никакими циркулярами, но потребность эта не удовлетворяется той наличностью книгъ, которыхъ рекомендуются пресловутыми каталогами.

Лежащий передъ нами „Сборникъ“ педагогического Общества, имѣеть, видимо, цѣлью дать въ руки учащимся въ средней школѣ такую книгу, которая, удовлетворяя ихъ любознанательности и способствуя обогащенію ихъ знаній, не могла бы въ то-же время возбудить по отношенію къ себѣ подозрѣнія о „вредномъ направленіи“. Если такое предположеніе вѣрно, то цѣль эта „Сборникомъ“ вполнѣ достигается. Содержаніе сборника очень разнообразно. Здѣсь помѣщены біографіи и характеристики Глинки (Грузинскаго), Жуковскаго (Бѣльскаго), Рембранда (Романовъ), первопечатника Ивана Федорова (Кизеветтеръ), немецкихъ гуманистовъ и обскурантовъ XVI вѣка (Моравскаго), статьи о землетрясеніяхъ (Павловъ), о горѣніи (Реформатскій) и о растеніяхъ скаль и песковъ (Барковъ). Какъ видно изъ этого перечия, статьи, помѣщенные въ „Сборникѣ“, касаются преимущественно такихъ темъ, о которыхъ въ нашей средней школѣ (въ гимназіяхъ въ особенности) учащимся приходится слышать очень мало, между тѣмъ какъ знакомство съ ними является почти обязательнымъ для всякаго образованнаго человѣка. Самое изложеніе статей вполнѣ доступно для пониманія учащихся, читаются они легко, а масса умѣло подобранныхъ и довольно хорошо исполненныхъ иллюстрацій значительно способствуетъ оживленію текста. При самомъ придирчивомъ отношеніи трудно найти въ какой-либо статьѣ какой-нибудь элементъ „вреднаго направленія“, почему надо надѣяться, что ученый комитетъ министерства народнаго просвѣщенія не закроетъ передъ этой книгой дверей свое го „дозволительнаго“ каталога. Ручаться, однако, за это нельзя...

Извѣстны примѣры, когда и дозволенные и одобренные книги въ послѣдствіи признавались подлежащими исключенію. Такъ, напр., сказка въ стихахъ Можаровскаго „Лиса Патрикѣевна“ цѣлыхъ двадцать пять лѣтъ допускалась къ чтенію не только „про себя“, но даже вслухъ, была одобрена въ четырехъ изданіяхъ, а какъ вышло пятое изданіе, напечатанное безъ перемѣнъ съ предыдущихъ, тутъ и случился съ ней грѣхъ: открыли въ ней, наконецъ, „вредное направленіе“ и велѣли изъять изъ всѣхъ городскихъ и сельскихъ училищъ.

Новые книги, поступившія въ редакцію.

(Значащія въ этомъ спискѣ книги присылаются авторами и издателями въ редакцію въ одиномъ экземплярѣ и въ конторѣ журнала *не продаются*. Равнымъ образомъ контора не принимаетъ на себя комиссіи по пріобрѣтенію этихъ книгъ въ книжныхъ магазинахъ).

- Вл. Гильяровскій.** Забытая тетрадь. Изд. 3-е. М. 1901. Ц. 1 р.
- Стихотворенія Е. К. Кристи.** Одесса. 1905 г. Ц. 1 р.
- Зеленый сборникъ стиховъ и прозы. Книгоизд. „Шелканово“. Спб. 1905. Ц. 1 р. 50 к.
- А. Ф. Радченко.** На распуты. Стихотворенія. Спб. 1905. Ц. 60 к.
- Полное собраніе сочиненій **С. Г. Фруга**. Т. III—VI. Изд. журн. „Европейская жизнь“. Спб. 1904.
- А. Крандлевская.** То было раннюю весной. Изд. С. Скирмунта. М. 1905. Ц. 1 р.
- Ея же.** Ничтожные. Изд. С. Скирмунта. М. Ц. 1 р.
- Ганя Хмурковъ. Романъ. **Г. Т. Мурова.** Томскъ. 1904.
- Муравей.** Повѣсть. Т. II. Казань. 1903. Ц. 1 р.
- Н. Н. Вильде.** Катастрофа. Романъ. М. 1904. Ц. 1 р.
- В. Сирошевский.** Собраніе сочиненій. Т. I. Изд. 2-е Глаголева. Спб. 1904. Ц. 1 р.
- Станиславъ Шибышевскій.** Сыны земли. Ром. въ 3-хъ частяхъ. Единственный, разрѣзанный авторомъ переводъ Е. Троповскаго. Книгоизд. „Скорпионъ“. М. 1905. Ц. 50 к.
- Генрихъ Ибсенъ.** Полное собр. сочиненій. Переводъ А. и П. Ганзенъ. Т. III. Изд. С. Скирмунта. М. 1904. Ц. 1 р. 50 к.
- Торъ Гедбергъ.** Гергартъ Гrimъ. Драматич. поэма. Перев. А. Ганзенъ. Изд. С. Скирмунта. М. 1905. Ц. 50 к.
- Гольгеръ Драхманъ.** Тысяча одна ночь. Драма-сказка Перев. А. Ганзенъ. Изд. С. Скирмунта. М. 1905. Ц. 50 к.
- А. И. Фаресовъ.** Въ одиночномъ заключеніи. Изд. 3-е. Спб. 1905. Ц. 1 р.
- К. Н. Боженко.** На войну. Изд. „Донской Рѣчи“. 1904. Ц. 5 к.
- Э. Волля.** Штурмъ мельницы. Изд. Л. А. Мукосѣва. Н.-Новгородъ. 1904. Ц. 10 к.
- Н. Вернардъ.** За маму, за папу. Спб. 1903. Ц. 30 к.
- I. Енинорогъ.** Дѣячки Софоній и Сасоній. М. 1905. Ц. 25 к.
- Евгenia de-Tурже-Туржанская.** Сапожникъ. Очеркъ. М. 1905. Ц. 7 к.
- Издание Н. Глаголева: **Вацлавъ Сирошевскій.** Кули. Ц. 8 к. — **Его же.** Боксеръ. Ц. 4 к. — **Его же.** Чукчи. Ц. 7 к. — **Танъ.** Землепроходъ. Ц. 8 к. Спб. 1904.
- Н. Вернардъ.** Разсказы и воспоминанія. Изд. 2-е. Спб. 1904. Ц. 1 р.
- Елизавета Дьяконова.** Дневникъ русской женщины. М. 1905. Ц. 1 р. 50 к.
- Дневникъ **Елизаветы Дьяконовой** на высшихъ женскихъ курсахъ. М. 1905. Ц. 1 р. 75 к.
- А. М. Федоровъ.** На востокъ. Очерки. Спб. 1904. Ц. 1 р. 20 к.
- Черезъ Алай и Памиръ. Очерки пу-

тешествій. *Б. Тагієва-Рустамъ-Бекъ.* Изд. „Дѣтскаго Ченія“. М. 1905. Ц. 15 к.

Арнольдъ Арфель. Долой женщины (Записки моего друга). М. 1905. Ц. 1 р.

Сборникъ „Родника“. Въ пользу сиротъ воиновъ, павшихъ въ русско-япон. войнѣ. Спб. 1905. Ц. 1 р. 25 к.

А. К. Бороздинъ. Литературные характеристики XIX в. Т. II. Вып. ч. Изд. М. Пирожкова. Спб. 1905. Ц. 1 р. 75 к.

I. Шерръ. Иллюстрированная всеобщая история литературы. Пер. подъ ред. П. Вейнберга. Изд. С. Скирмунта. М. 1905. Т. I—II. Ц. 6 р.

В. О. Саводниковъ. Къ вопросу о Пушкинскомъ словарѣ. Спб. 1905. Ц. 1 р. 75 к.

Баронъ **Н. В. Драйденъ.** Материалы къ исторіи русскаго театра. Изд. Бахрушина. М. 1905. Ц. 1 р. 50 к.

Н. Блловерстнй. Записки учителя. Изд. М. Пирожкова. Спб. 1905. Ц. 75 к.

А. Н. Фаресовъ. Очерки умственныхъ и политическихъ движений въ Россіи. Спб. 1905. Ц. 2 р.

А. Шумахеръ. Императоръ Александръ II. Исторический очеркъ. Изд. 4-е. Спб. 1905. Ц. 1 р.

Ч. Вѣтрицкій (Вас. Е. Чешинъ). Т. Н. Грановский и его времена. Историч. очеркъ. Изд. 2-е. Книгоизд. О. Н. Поповой. Спб. 1905. Ц. 1 р. 60 к.

Южная Русь. Очерки, изслѣдованія и замѣтки. **Александры Ефимен-но**. Т. I. Спб. Ц. 2 р.

Е. Щепкина. Членія по русской исторіи въ XVIII в. Вып. I. Государственный строй. Спб. 1905. Ц. 1 р. 20 к.

Очерки по исторіи Германіи въ XIX в. Т. I. Происхожденіе современной Германіи. Пер. съ нѣмецкаго **В. Базарова** и **И. Степанова**. Изд. С. Скирмунта. М. 1905. Ц. 2 р.

Иллюстриров. библиотека „Нивы“: Всеобщая исторія. Соч. проф. **О. Леве-ра** въ 4-хъ томахъ. Спб. 1905. Вып. I. Ц. 1 р.

Русская печать и цензура въ прошломъ и настоящемъ. Статьи **Вл. Ровенберга** и **В. Якушинина**. Изд. М. и С. Сабашниковыхъ. М. 1905. Ц. 1 р.

А. А. Пановъ. Сахалинъ, какъ колонія. Очерки колонизациіи и современного положенія Сахалина. М. 1905. Ц. 1 р.

Книгоиздательство Т-ва «Просвѣще-

ніе»: Жизнь природы. Картины физическихъ и химическихъ явлений. Соч. д-ра **Вильгельма Мейера**. Пер. съ нѣмецкаго А. Р. Кулишера, подъ ред. проф. Н. А. Гезехуса. Вып. I—4. Спб. Ц. 50 к. за выпускъ. *Его же.* Земля и жизнь. Сравнительное землевѣдніе. Соч. проф. **Ф. Ратченъ**. Т. I. Вып. 11—13. Спб. 1905. Ц. 50 к. за выпускъ.

Издание подвижного музея учебныхъ пособій: **А. Бремъ.** Тундра, ея растительный и животный міръ. Пер. съ нѣмецкаго Е. Елачича. Спб. 1905 г. Ц. 15 к. **Е.**

Елачичъ. Какъ животныя защищаются отъ своихъ враговъ. Спб. 1905. Ц. 20 к.

Нс. Вл. Богословскій. Вопросы жизни. Спб. 1905. Ц. 2 р. 50 к.

А. Пороховщикова. Мировая задача нашихъ дней. Спб. 1904. Ц. 10 к.

Бунто Фишеръ. Исторія новой философіи. Лейбницъ, его жизнь, сочиненія и ученіе. Пер. съ нѣмецкаго Н. Н. Полилова. Изд. **Д. Е. Жуковскаго**. Спб. 1905. Ц. 4 р.

Образовательная библиотека. — **Гаральдъ Геффдингъ.** Философскія проблемы. Переводъ съ нѣмецкаго є. Капелюша. Издательство О. Н. Поповой. Спб. 1904. Ц. 40 к.

Проблемы женщины. **Георга Гроуден-зера**. Пер. В. Л-ва, Спб.

Карлъ Родбертусъ Ягечовъ. Сочиненія. Вып. I. Къ освѣщенію соціального вопроса. Пер. съ нѣмецкаго пр. М. Н. Соболева. Изд. Н. Глаголева. Спб. 1904. Ц. 1 р. 25 к.

Вернеръ Зомбартъ. Современный капитализмъ. II т. Пер. съ нѣмецкаго. Изд. Д. С. Горшкова. М. 1905. Ц. 2 р.

С. М. Житковъ. Формула денежнаго обращенія. Спб. 1905.

Образовательная библиотека. **П. Л-фарръ.** Американскіе тресты. Пер. И. М. Биллика. Книгоизд. О. Н. Поповой. Спб. 1905. Ц. 40 к.

Ог. де-Винкъ. Среди фланандскихъ рабочихъ. Пер. съ французскаго З. Кочетковой. Изд. ред. „Образование“. Спб. 1904. Ц. 50 к.

І. Долгихъ. Экономическое значеніе и будущее мелкаго хозяйства. Рига. 1905. Ц. 1 р. 50 к.—*Его же.* Работа коровъ въ ея историч. развитіи и экономическомъ значеніи. Рига. 1904. Ц. 1 р.

К. Н. Янковскій. Правила и порядки государств. сберегательныхъ кассъ. Варшава. 1905. Ц. 50 к.

Промышленность. Пер. съ нѣмец-

каго Е. Н. Каменецкой. Изд. 2-е. М. И. Водовозовой. Спб. 1905. Ц. 1 р. 75 к.

Г. И. Ланинъ. Хозяйственно-экономические очерки и наблюдения. Вып. I и II. Астрахань. 1904. Ц. по 75 к.

Н. Н. Авиновъ. Къ вопросу о взаимныхъ отношенияхъ губернскихъ и уездныхъ земствъ. Изд. "Саратовской Земской недѣли". 1904. Ц. 50 к.

Денежный отчетъ комитета по оказанию помощи пострадавшему отъ беспорядковъ еврейскому населению г. Кишинева. Кишиневъ, 1904.

Промышленность и техника. Книгоиздат. Т-ва „Просвѣщеніе“. Т. VIII. Спб. Ц. вып. 50 к.

Е. И. Аренсъ. Русскій флотъ. Историч. очеркъ. Спб. 1904. Ц. 20 к.

Баронъ Ф. М. Коссинскій. Состояніе русскаго флота въ 1904 г. Спб. 1904. Ц. 10 к.

Къ вопросу организации корпуса флотскихъ офицеровъ. Севастополь. 1904.

Подводные лодки, ихъ устройство и исторія. Состав. **Н. И. Адамовичъ.** Изд. Базлова. Спб. 1905 г. Ц. 1 р. 25 к.

Конкретная метода преподаванія нумерации на ариѳметической машинѣ. **I. З. Аракадянъ.** Баку. 1903. Ц. 15 к.

Педагогический ручной трудъ. Составилъ **И. К. Карелль.** Спб. 1905. Ц. 1 р. 50 к.

В. О. Крижъ. Первая грамота. Изд. И. Ф. Жиркова. М. 1905. Ц. 30 к.

Е. А. Чебышева - Дмитриева. Вопросы начальной школы и педагогические очерки. Спб. 1905. Ц. 1 р.

Труды подкомиссии по вопросу о введеніи преподаванія статистики въ курсъ среднихъ учебн. заведеній. Спб. 1904. Ц. 30 к.

Педагогическая мысль. Издание коллегіи Павла Галагана. Подъ ред. проф. Сикорского и пр.-доц. Гливенко. Вып. II. Киевъ. 1904. Ц. 1 р.

А. Е. Флеровъ. Указатель книгъ для дѣтскаго чтенія. Изд. кн. маг. К. И. Тихомирова. М. Ц. 1 р. 50 к.

В. Корнаковъ. Краткій практическій курсъ геометрическаго черченія и землемѣрія. Спб. 1904 г. Ц. 50 к.

Начала геометріи. Сост. **Дж. Ройтманъ.** Спб. 1905. Ц. 40 к.

В. О. Крижъ. О классномъ чтеніи въ сельской школѣ. Изд. И. Ф. Жиркова. М. 1904. Ц. 10 к.

К. А. Литвиненко. Систематическій сводъ правилъ русскаго правописанія. М. 1904. Ц. 60 к.

I. З. Аракадянъ. Для учителей и родителей конкретная метода преподаванія курса ариѳмѣтики. Баку. 1904. Ц. 40 к.

Н. Н. Авиновъ. Опытъ программы систематического чтенія. М. 1905. Ц. 20 к.

Т. Лубенецъ. Программы предметовъ, преподаваемыхъ въ одноклассныхъ и двухклассныхъ народныхъ училищахъ. Киевъ. 1905. Ц. 25 к.

И. И. Мещеренскій. Какъ устраивать сады при народныхъ школахъ. Изд. 6-е. Спб. 1904. Ц. 30 к.

Курсъ гигиены для среднихъ учебныхъ заведеній. Составили врачи **А. А. Черевновъ** и **В. Д. Черевновъ.** Спб. 1905. Ц. 1 р.

Современная клиника. Д-ръ **Д. М. Успенскій.** Т. III. Основы органотерапии. Спб. 1905. Ц. 40 к.

Популярная гигиена зубовъ. **Г. И. Чилингъ.** М. 1904. Ц. 60 к.

Отчеты санитарныхъ врачей С.-Петербургскаго Губерн. Земства за 1903 г. Спб. 1904.

Г. И. Задера. Медицинские дѣятели въ произведенияхъ А. П. Чехова, Росговъ-на-Дону. 1905. Ц. 50 к.

А. И. Ефимовъ. Сифилисъ въ русской деревнѣ. Казань. 1902.

Рудъ Брэ. Право на материнство. Пер. съ нѣм. Н. Коршъ. М. 1905. Ц. 40 к.

Водолѣченіе. Составилъ **М. Коньтчукъ.** Полтава. 1904. Ц. 10 к.

Отчетъ о дѣятельности педагогического общества. Годъ VI. М. 1904.

Нашата конституція. Общедоступно изтълкувана отъ Ив. Ст. Визиревъ. Пловдивъ. 1904. Ц. 1.30 л.

Dott. Giovanni Bergamasco. Biologia delle mesembryanthemaceae. Napoli. 1904.

Хроника внутренней жизни.

9 января въ Петербургѣ.

I.

Бывают дни и бывают события, въ которыхъ, какъ въ фокусѣ, сосредоточивается значеніе самыхъ глубокихъ сторонъ данной исторической минуты. Разгадать ихъ,—значить найти вѣрное направление для самыхъ, быть можетъ, опредѣляющихъ шаговъ ближайшаго будущаго. Не разгадать, отвѣтить слишкомъ спѣшно и неправильно,—значить дать ошибочный отвѣтъ на роковую загадку сфинкса. А вѣдь такой отвѣтъ, если вѣрить мудрости древнихъ,—значитъ возможность гибели.

Таково, по нашему глубокому убѣждѣнію, значеніе январскихъ событий въ Петербургѣ.

22 января мы узнали изъ газетъ, что кн. Святополкъ-Мирскій оставилъ постъ министра внутреннихъ дѣлъ. Газеты всѣхъ отъинковъ провожаютъ его болѣе или менѣе сочувственными напутствіями. Русскій человѣкъ со вздохомъ вспоминаетъ первые дни „эпохи довѣрія“... И кажется, что это было уже такъ давно... Тогда же телеграфъ разнесъ по всей Россіи извѣстіе о томъ, что Н. В. Муравьевъ оставляетъ постъ министра юстиції. Никакихъ словъ довѣрія русское общество отъ Н. В. Муравьевъ никогда не слыхало, и никакихъ вздоховъ за него на новое мѣсто служенія, въ далекій Римъ, вѣроятно, не понесется... Но все же и эта перемѣна въ другое время вызвала бы много волненія и поставила бы много вопросовъ... Куда должна направиться наша юстиція, исходившая 40 лѣтъ назадъ отъ идеи законности, для всѣхъ обязательной и для всѣхъ равной, и теперь, послѣ сорока лѣтнаго странствованія въ пустыняхъ бюрократическихъ извращеній, вынужденная начать „новый исходъ“ изъ гомельскихъ и кишиневскихъ сессій, изъ закрытыхъ помѣщеній цавловскихъ и иныхъ сектантскихъ дѣлъ—по направлению... опять все къ тому же желанному равенству всѣхъ и „къ охраненію силы закона“... Наконецъ, въ газетахъ появляются отчеты о засѣданіяхъ и намѣреніяхъ комитета министровъ по осуществленію идей, изложенныхъ въ указѣ 12 декабря... Правда, языкъ этихъ сообщеній далеко нельзя назвать удобопонятнымъ, а его опредѣленія легко условимыми.. Но все же въ другое время они вызвали бы самые оживленные комментаріи, среди которыхъ, по старой привычкѣ россійской прессы и общества „къ надеждамъ славы и добра“,—было бы очень много фимиамовъ и восторговъ...

Теперь все это проходитъ какъ-то незамѣтно и глухо, безъ привычныхъ отголосковъ... Ни отставка кн. Св.-Мирскаго, завершающая программу „довѣрія“, не вызываетъ естественныхъ огорченій, ни отъѣздъ Н. В. Муравьевъа, ни даже гласныхъ сообщеній комитета министровъ—не окрыляютъ надеждъ... И это потому, что это вдругъ стало въ глазахъ общества незначительнымъ и незаважнымъ...

Въ одномъ разсказѣ нашего геніального писателя, Л. Н. Толстого, („Казаки“) есть образъ, очень идущій къ нашему теперешнему настроенію. Герой его ёдетъ степными дорогами на почтовыхъ по направлению къ Кавказу. Гдѣ-то вдали его ждутъ кавказскія горы, о которыхъ онъ, житель равнинъ, слышалъ такъ много шаблонныхъ отзывовъ, что ему, скептику, начинаетъ казаться, что никакихъ, въ сущности, горъ, способныхъ вызывать такія впечатлѣнія, совсѣмъ нѣтъ на свѣтѣ... Всюду та же ровная степь, томительная и скучная, съ однообразнымъ и бѣднымъ про-сторомъ и съ туманною мглою... А если появятся неровности, то... только для подтвержденія старой истины, что ничего въ сущности рѣзко отступающаго отъ этой плоской равнины и быть не можетъ...

Читатель помнить, навѣрное, то ощущеніе рѣзкаго перваго подъема, можно сказать, пожалуй—удара по первамъ, который пришлось пережить толстовскому герою, когда, проснувшись на утро, онъ увидѣлъ, что дорога его, еще бѣгущая по степи, уже упирается вдали въ необычно наломанныя очергания горныхъ громадъ... И дальше все время его впечатлѣнія уже разстилаются у ихъ подножія. Онъ продолжаетъ вспоминать свое прошлое, столицу, знакомыхъ, а въ душѣ все стоитъ одинъ припѣвъ... „А горы!“... Читатель помнить, вѣроятно, и впечатлѣніе этого припѣва, шероховатаго, рѣзкаго, не укладывающагося ни въ какой ритмъ остальныхъ ощущеній, которымъ Толстой выразилъ смущенное состояніе духа своего равниннаго жителя... „А горы!“.

Передо мной все время, всѣ эти дни и въ ту минуту, когда я пишу эти строки,—стоитъ неотвязно этотъ образъ геніального художника... И мнѣ кажется, что теперь всѣ впечатлѣнія отъ нашего „общественного дня“ такъ же разстилаются у подножія чего-то необычного, большого, мрачнаго, встающаго туманной громадой угрупомъ диссонансовъ надъ равнинами нашей жизни... И надъ всѣми,—надъ отставками и перемѣнами министровъ, надъ извѣстіями съ театра войны, надъ „предначертаніями“ комитета министровъ высится этотъ угрупомъ фонъ, залегая въ душѣ не-отвязнымъ припѣвомъ... „А девятое января 1905 года“...

Да, это девятое января поднялось надъ однообразiemъ нашей „равнинной исторіи“, надъ ея буераками и оврагами, надъ холмиками „довѣрія“ и извилинами бюрократической реакціи—какъ первый крутой изломъ нашего горизонта, за которымъ, быть мо-

жеть, въ загадочномъ туманѣ уже рисуются другіе—и выше, и обрывистѣе, и круче...

И невольно взглѣдъ приковывается къ этому явлѣнію съ естественнымъ желаніемъ—разглѣдѣть, опредѣлить очертанія, найти перевалы и дороги...

II.

Но разглѣдѣть нелегко...

Такъ ужъ сложились традиціи и привычки нашей жизни, что, какъ только въ ней появляется что-нибудь значительное, что-нибудь съ необычайнымъ и, быть можетъ, угрожающимъ значеніемъ,—то первымъ и самымъ насущнымъ лозунгомъ дня провозглашается молчаніе, вместо свободного обсужденія, освѣщенія и критики. Теперь мы всѣ уже видимъ и даже въ „преднаречаніяхъ“ комитета министровъ встрѣчаемъ авторитетное признаніе,—что „осуществленіе полной силы закона“, для всѣхъ равнаго, есть насущнѣйшая потребность страны, и его отсутствіе является одной изъ причинъ нашихъ теперешнихъ бѣдствій. Но когда, въ видѣ института земскихъ начальниковъ, въ нашу злополучную жизнь вводилось начало прямо противоположное, начало яко бы отеческой власти одного сословія надъ другимъ, лишившее многомиллионное крестьянское населеніе всякихъ гарантій правосудія,—то первое, что было признано необходимымъ,—это ограниченіе права печати обсуждать и подвергать критикѣ новое учрежденіе... И только во всемъ,—начиная съ частнаго злоупотребленія того или другого высокопоставленного лица до общаго явленія, какъ „усиленная охрана“, отмѣняющая даже наличную силу существовавшихъ еще признаковъ законности.

Тоже и по отношенію къ „рабочему вопросу“, который вообще признавался выдумкой либеральной печати, пока онъ не всталъ передъ обществомъ во всемъ своемъ великомъ и трудномъ значеніи. То же, въ частности, и по отношенію къ событиямъ 9 января.

Прошло около двухъ недѣль, и мы не имѣемъ еще ни полной картины рокового событія, ни его размѣровъ. Пока у насъ есть лишь официальное сообщеніе первыхъ дней,—уже по своей спѣшности страдающее неполнотой, односторонностью и, конечно, неизбѣжнымъ пристрастіемъ,—и нѣсколько отрывочныхъ дополненій того же происхожденія... Однако, при всѣхъ этихъ свойствахъ, даже и этихъ официально-сухихъ сообщеній достаточно, чтобы рисуемое ими событіе поднялось мрачною тѣнью надъ всѣми другими злобами нашего и безъ того далеко не безъоблачнаго дня...

Изъ этого сообщенія мы узнаемъ прежде всего, что „въ Петербургѣ, въ началѣ 1904 года, по ходатайству нѣсколькихъ ра-

бочихъ фабрикъ и заводовъ былъ утвержденъ уставъ „С.-Петербургскаго Общества фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ“, имѣвшаго цѣлью удовлетвореніе ихъ духовныхъ и умственныхъ интересовъ и отвлеченіе рабочихъ отъ преступной пропаганды“.

Въ послѣдней фразѣ курсивъ принадлежитъ намъ, и мы позволимъ себѣ остановиться на ея значеніи. Итакъ, фабричное общество было основано, кромѣ обычныхъ органическихъ потребностей рабочей среды,—еще съ специально-политической цѣлью; другими словами, органическія потребности рабочей среды и естественное стремленіе къ ихъ удовлетворенію,—отдавались подъ особое воздействиѳ бирократически-полицейскаго начала и должны были служить также и полицейскимъ цѣлямъ. Этотъ опытъ уже не первый: изъ многихъ другихъ правительственныхъ сообщеній, появлявшихся въ разное время, мы знаемъ о такой же попыткѣ въ Москвѣ и другихъ городахъ. Особенно ярко послѣдствія такого сочетанія проявились, какъ всѣмъ извѣстно, два года назадъ въ Одессѣ, и въ газетахъ, среди арестованныхъ за „безпорядки“ лицъ, значились имена людей, до тѣхъ порт несомнѣнно пользовавшихся поощреніемъ и покровительствомъ официальныхъ сферъ. Въ этомъ, очевидно, есть нечто знаменательное, на что въ то время не было обращено достаточнаго вниманія. Пресса пыталась отмѣтить эту черту и ея значеніе, чреватое многими неожиданностями для обѣихъ сторонъ, но, разумѣется, не она виновата въ скучности и неполнотѣ этого освѣщенія...

Теперь эту любопытную черту мы встрѣчаемъ въ самомъ начальѣ официального сообщенія. При этомъ мы вспоминаемъ невольно, какъ еще недавно „Московскія Вѣдомости“, а за ними „Свѣтъ“ и „Гражданинъ“ радостно оповѣщали о возникновеніи благонамѣренныхъ рабочихъ организаций, инициаторы которыхъ встрѣчали радушный приемъ въ тѣхъ самыхъ сферахъ, которые незадолго отрицали самое существованіе рабочаго вопроса и возлагали всѣ упованія на добровольное патріархально-отеческое попеченіе гг. фабрикантовъ. Мы помнимъ также, что одинъ изъ московскихъ рабочихъ представителей этого столъ своеобразно начинавшагося „истинно-русскаго“ рабочаго движенія—окрылился до такой степени, что со столбцовъ газеты извѣстнаго „московскаго патріота“ г-на Грингунта сталъ преподавать заблудшему въ либерализмѣ русскому обществу уроки благонамѣренности и патріотизма.

Но рабочая среда—не кружокъ этихъ „инициаторовъ“, которые по недоразумѣнію говорили отъ ея имени и давали радужныя обѣщанія, и „рабочій вопросъ“—не мелкая служебная подробность той или другой полицейской политики. Для рабочей среды, въ первыя минуты, быть можетъ, искренно увлеченной заманчивыми перспективами, это—не игра и не праздничная феерія, а самый насущный жизненный вопросъ, къ решенію которого она стремится съ суровой правдивостью и понятнымъ нетерпѣніемъ. И

воть, всякий разъ, когда дѣло отъ эффектныхъ демонстрацій и гарунъ-аль-рашидовскихъ частностей переходить къ общимъ на-
большимъ вопросамъ рабочей жизни,—точка же вскрывается
внутренній разладъ не естественного союза: рабочая масса тре-
буетъ исполненія обѣщаній и замѣтнаго реальнаго измѣненія условій
её существованія. Въ этомъ ея главная и единственная цѣль.
По цѣль „союзной“ администраціи совсѣмъ другая. Центръ тя-
жести „общаго дѣла“ она видитъ лишь въ эффектныхъ оказа-
тельствахъ массовой покорности и довѣрчиваго „упованія“... И
всегда эти оказительства даны, если можно даже съ примѣсью
нѣкоторыхъ угрозъ по адресу „либеральной части общества“,—
то административный союзникъ склоненъ считать свою задачу
исполненной... Бѣда лишь въ томъ, что въ его распоряженіи нѣть
второй формулы, которая могла бы уничтожить разъ вызванный
надежды... И очень скоро феерія переходитъ въ трагедію, и,
вместо громовъ бутафорскихъ, надъ сценой начинаютъ раздаваться
раскаты настоящей грозы...

III.

Обращаемся къ дальнѣйшему изложению событий.

Итакъ, одною изъ пѣлей общества являлась „борьба съ крамо-
лой“. Повидимому, дѣло начиналось при хорошихъ предзнамено-
ваніяхъ, такъ какъ во главѣ новой организации стало духовное
лицо, священникъ о. Георгій Гапонъ съ самыми лучшими реко-
мендациами.

Мы позволимъ себѣ нѣсколько остановиться на этой замѣча-
тельной личности, которая теперь выставляется одними, какъ на-
стоящее исчадіе ада, въ другихъ, быть можетъ, вызываетъ мисти-
ческое удивленіе. Нѣть сомнѣнія, что и то, и другое далеко отъ
истины. Священникъ Гапонъ является лишь однимъ изъ тѣхъ „про-
виденціальныхъ людей“, которые порой въ бурные періоды какъ-то
вдругъ обнаруживаются на поверхности общественной жизни. Все
ихъ значеніе въ томъ, что и ихъ личныя добродѣтели, и ихъ недо-
статки, вообще всѣ стороны ихъ личности совпадаютъ по тону съ
господствующимъ настроеніемъ среды, усиливая это настроеніе,
какъ резонаторы усиливаютъ звуки...

Газеты даютъ о немъ слѣдующія свѣдѣнія. Уроженецъ Пол-
тавской губерніи, мѣстечка Бѣлики, Кобелякскаго уѣзда, о. Геор-
гій Гапонъ родился въ простой семье украинскаго казака. По-
ступивъ въ полтавскую семинарію, окончилъ въ ней курсъ не
безъ нѣкоторыхъ отклоненій. Страстная, импульсивная натура и
склонность къ шероховатой несдержанной правдивости создавали
ему много затрудненій, и онъ былъ исключенъ. Но затѣмъ, по-
видимому, онъ пережилъ столь же порывистые прихоты смире-

нія, которые привлекли къ нему благосклонное покровительство покойного полтавского епископа Илларіона. Онъ былъ опять принятъ въ семинарію, гдѣ, благодаря незауряднымъ способностямъ, блестящѣ окончилъ курсъ. Вѣроятно, въ періодъ увольненія, Георгій Гапонъ для заработка участвовалъ въ статистическихъ работахъ земскаго бюро, но это было недолго и, кажется, прочной связи съ тѣмъ называемой „интеллигентной средой“ у этого своеобразнаго человѣка не завязалось. Затѣмъ, благодаря протекціи епископа Илларіона, по окончаніи семинаріи и послѣ женитьбы, о. Гапонъ получилъ мѣсто въ кладбищенской церкви. Смерть любимой жены вызвала новый поворотъ въ его жизни. Онъ рѣшился началя поступить въ монахи, но потомъ опредѣлился въ духовную академію.

Здѣсь, въ столицѣ, онъ опять обратилъ на себя вниманіе въ вышихъ духовныхъ сферахъ, получилъ мѣсто священника въ пересыльной тюрьмѣ и, наконецъ, былъ избранъ и утвержденъ предсѣдателемъ нового общества рабочихъ, съ его двойственной задачей и со всѣми вскрывшимися впослѣдствіи противорѣчіями разнородныхъ стремленій его „учредителей“...

Нѣтъ ничего легче, какъ окрашивать человѣка какимъ-нибудь однимъ, простымъ и слишкомъ опредѣленнымъ цвѣтомъ, и мы слишкомъ часто прибѣгаємъ къ такимъ одноцвѣтнымъ квалификаціямъ, какъ „злодѣй, лицемѣръ и крамольникъ“. Но, какъ на примѣрѣ вѣтшней войны, мы видимъ, что апіорныя патріотическія квалификаціи противника оказались совершенно негодными къ употребленію и къ руководству, такъ и въ осложненіяхъ внутреннихъ полезнѣй искать истину, чѣмъ успокаиваться на лубочныхъ шаблонахъ. Несомнѣнно, что фигура священника Гапона, метавшагося въ страстныхъ порывахъ между семинарскими мятежами и покаяніями, изъ статистики переходившая къ алтарю и отъ алтаря на площадь,—представляетъ психологію необыкновенно сложную и не укладывающуюся въ простыя клички.

И именно двойственный характеръ того „рабочаго движенія“, о которомъ мы говорили выше, является наиболѣе подходящей атмосферой для расцвѣта подобныхъ натуръ: здѣсь является просторъ одновременно и для гуманныхъ стремленій, удовлетворяющихъ порывамъ неуравновѣшанной филантропіи бывшаго семинарскаго строптивца, и для его смиренія, ведущаго „къ благополучію массъ“ путями, предначертанными свѣтскимъ начальствомъ съ благословеніемъ начальства духовнаго. Повидимому, здѣсь находить примиреніе всѣ стороны неустойчивой натуры, и вдобавокъ она начинаетъ еще дышать атмосферой какихъ-то таинственныхъ стремленій того великаго цѣлого, которое носитъ название человѣческой толпы и живетъ особеною коллективною жизнью.

Нѣтъ необходимости непремѣнно отрицать искренность первоначальныхъ начертаній, чтобы понять конечная противорѣчія,

залогъ которыхъ лежалъ уже въ вѣдрахъ самой организаціи... Эти противорѣчія вскрылись, и бурная натура довершила оставленное. Св. Гапонъ сталъ отголоскомъ широкаго массового движения, увлекающій массу и самъ ею увлеченный...

IV.

„По мѣрѣ своего распространенія,—говорить далѣе офиціальное сообщеніе,—на всѣ фабричные раіоны Петербурга,—общество стало заниматься обсужденіемъ существовавшаго на отдѣльныхъ фабрикахъ и заводахъ отношенія между рабочими и хозяевами, а затѣмъ, въ декабрѣ минувшаго года, побудило рабочихъ Путинловскаго завода вмѣшаться въ вопросъ объ увольненіи съ завода четверыхъ рабочихъ...“ Извѣстія этого краткаго изложенія мы не можемъ, разумѣется, судить о всей дѣятельности общества и о томъ предварительномъ броженіи въ его средѣ, которое привело къ началу стачекъ. Мы видимъ только, что общество рабочихъ приступаетъ къ обсужденію вопросовъ рабочей жизни, то есть имѣніе тѣхъ вопросовъ, для которыхъ оно и основано. Долгая, трудная и обширная практика такихъ обществъ за границей показываетъ, что какими сложными запутанностями приходится имѣть дѣло рабочимъ организаціямъ и какія учрежденія способны поставить эти вопросы на нейтральную почву, на которой вѣдется подсчетъ взаимно перепутавшихся интересовъ. При этомъ бываютъ случаи, когда уступаютъ рабочіе, и бываетъ, наоборотъ, что уступаютъ фабриканты. И въ процессѣ этой замкнутой борьбы въ разныхъ областяхъ жизни, медленно и трудно, но все же рабочій вопросъ подвигается къ решенію, и страсти до извѣстной степени разряжаются нормально. Роль государства, помимо, конечно, общей политики, въ случаяхъ этихъ частныхъ столкновеній противоположныхъ интересовъ, сводится на то, чтобы дать имъ закономѣрныя формы и поддерживать процессъ въ извѣстномъ, законномъ, такъ сказать, руслѣ... Наша практика, по общимъ причинамъ и по общимъ свойствамъ нашего уклада,—особенно бѣдна такими формами, которыя создавали бы нейтральную почву для разумныхъ соглашеній подъ авторитетной эгидой прочной законности, обязательная сила которой просигралась бы одинаково надъ данными общественными группами. По самымъ свойствамъ нашей жизни, массы, во-первыхъ, слишкомъ ясно чувствуютъ, что „сила закона“ фактически и на всякомъ шагу давить на чашки вѣсовъ въ пользу ихъ болѣе сильныхъ противниковъ. А съ другой стороны, практика новѣйшей „рабочей политики“, получившей начальство въ зубатовскихъ организаціяхъ Москвы, слишкомъ неосторожно и легкомысленно обнадеживала массы, что въ одинъ прекрасный день безконтрольное и несвязанное законами административное

умострѣніе можетъ перейти на ихъ сторону, и тогда внезапными благодѣтельными приказами начальства соціальный вопросъ, такъ трудно поддающійся даже усовершенствованнымъ формамъ европейскаго строя, — будетъ разрѣшень легкъ, просто, внезапно и безповоротно нашей „патріархальной“ бирократіей... Но, разумѣется, съ другой стороны, и фабрикантамъ, въ совершенномъ согласіи съ существующимъ значительно обетшальнымъ законодательствомъ, — даются обѣщанія, что интересы „священной собственности“ и капитала останутся неприкосновенны и получать твердую, строгую и полную охрану...

И вотъ, надъ взволнованной и безъ того поверхностью русской жизни вздымаются эти волны противоположныхъ надеждъ и противоположныхъ стремлений... И въ то время, какъ и тѣ, и другія одинаково ждутъ своего *полного* разрѣшенія отъ всесильной бирократіи, — послѣдняя видитъ, что единственная ея собственная цѣль, которую одну только она ищетъ въ этомъ столкновеніи огромныхъ и все болѣе обостряющихся интересовъ, — то есть мас-совые оказательства благонамѣренной покорности и упованія, что эта цѣль безнадежно исчезаетъ... И надъ ареной недавняго единенія водворяется не феерія, а трагедія...

IV.

„Требованія рабочихъ,—говорить официальное сообщеніе,—постепенно возрастили...“. Правда, это возстаніе было все еще довольно скромно: помимо требованія о возвращеніи ихъ товарищей, они предъявили еще требованія объ измѣненіи порядка назначенія рабочѣнки работъ и увольненія рабочихъ. „Мѣры увѣщанія со стороны фабричной инспекціи оказались безуспѣшными, и къ стачкѣ, подъ вліяніемъ агитациіи, присоединились поголовно рабочіе нѣкоторыхъ другихъ заводовъ Петербурга; затѣмъ стачка стала быстро распространяться, охвативъ почти всѣ фабрично-заводскія предприятия столицы, при чемъ, по мѣрѣ распространенія стачки, возрастили и требованія рабочихъ“...

Все это совершенно понятно и, можно сказать, даже совер-шенно обычно въ такомъ явленіи, какъ рабочая стачка, которая всегда предъявляетъ требованія сокращенія рабочаго дня и регу-лированія распѣнокъ... Нѣть на свѣтѣ ни одного рабочаго общес-тва, открываемаго хотя бы и на законнѣйшихъ основаніяхъ, ко-торое не ставило бы себѣ этихъ цѣлей. Между тѣмъ, уже въ этомъ изложеніи официального документа читатель чувствуетъ, что настроеніе его какъ бы уже измѣнилось и, разъ выступили тѣ или другія „требованія рабочихъ“, то все остальное уже раз-сматривается, какъ преступление. Здѣсь сказалось опять гибель-но, къ сожалѣнію, привычное у насъ настроеніе. Мы готовы плато-

нически примириться со всемъ, что составляетъ принадлежность развитой гражданственной жизни. Свобода печати?.. у насъ есть много приверженцевъ свободы печати даже въ высшихъ сферахъ, и князь Мещерскій приводилъ недавно восторженные отзывы объ этомъ прекрасномъ предметѣ нѣсколькихъ покойныхъ министровъ. Мы не сомнѣваемся, что эти отзывы были совершенно искрени, но опасаемся, что „освобожденная печать“ рисовалась при этомъ въ умахъ говорившихъ въ видѣ кроткой овечки, которая, уже изъ благодарности за свое освобожденіе отъ цѣпей, будетъ слѣдоватъ за освободителями на шелковой ленточкѣ и по временамъ кротко и благодарно лизать освободившую ихъ руку, издавая лишь ласкающее слухъ мелодическое блеяніе...

Разумѣется, безжалостная дѣйствительность всегда разрушаетъ эти прекраснодушныя мечтанія. Печать, только почувствовавъ первые признаки облегченного режима, по самому органическому свойству гласности — немедленно стремится стать независимыю факторомъ общественной жизни, и нерѣдко благодушному освободителю ея приходится встрѣтить первому все неудобство рѣзкаго, хотя и оздоровляющаго вѣянія... И совершенно такъ же широкая рабочая организація, кѣмъ бы и съ какими бы цѣлями она ни была основана,—немедленно и неизѣбѣжно становится орудіемъ для выраженія настоящихъ жизненныхъ нуждъ среды и считается только съ ними; а если отъ нея ждали другого и если ей самой подавались надежды, не вытекавшія изъ жизненныхъ соотношеній и свойствъ дѣйствующихъ въ обществѣ силъ, то совершенно понятно, что для обѣихъ сторонъ наступаетъ разочарованіе. Администрація не находить покорной массы, готовой покорно ограничиться однимъ упованіемъ на свѣтлое будущее, рабочая масса страстно требуетъ дѣйствительного удовлетворенія своихъ наболѣвшихъ требованій...

На этой почвѣ двухъ разностороннихъ разочарованій и разыгрываются дальнѣйшія событія. „Требованія рабочихъ, — говорить правительственное сообщеніе,—въ письменномъ изложеніи, составленномъ въ большинствѣ случаевъ Гапономъ, были распространены среди рабочихъ. Первоначально они касались мѣстныхъ для отдельныхъ фабрикъ и заводовъ вопросовъ, затѣмъ перешли къ вопросамъ общимъ: о 8-часовомъ рабочемъ днѣ, обѣ участіи рабочихъ организацій въ разрѣшеніи спора между рабочими и хозяевами. Хозяева охваченныхъ стачкой промышленныхъ заведеній, собравшись на совѣщаніе, признали, что удовлетвореніе нѣкоторыхъ домогательствъ рабочихъ должно повлечь за собой полное паденіе русской промышленности“ (!), другія требования могли бы быть удовлетворены только при помощи законодательства, которое распространило бы ихъ на всѣ конкурирующія отрасли производства равнomoѣрно, наконецъ, трети “могли бы быть частью удовлетворены въ мѣрѣ посильной для

каждаго отдельного предпріятія", но фабриканты отказались "вести обь нихъ переговоры съ организаціей стачечниковъ во всей совокупности".

Сначала стачка не сопровождалась нарушениемъ порядка. Но затѣмъ, по словамъ официального сообщенія, "къ агитации, которое вело Общество фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ, присоединились подстрекательства подпольныхъ революціонныхъ кружковъ, а съ 8 января и само вышеупомянутое общество, со священникомъ Гапономъ во главѣ, перешло къ пропагандѣ явно революціонной. Въ этотъ день священникомъ Гапономъ была составлена и распространена петиція отъ рабочихъ на Высочайшее имя, въ которой уже, на ряду съ пожеланіемъ обь измѣненій условій труда, были изложены дерзкія требованія политического свойства".

Такъ, самимъ ходомъ веций, наврѣвали элементы петербургскихъ событий. Весь экспериментъ логически былъ законченъ. На сцену выступили "факты". Когда-нибудь, быть можетъ даже въ скоромъ времени,—исторія дастъ намъ трагическая черты того настроенія, въ которомъ находился Петербургъ наканунѣ 9-го января, когда всѣмъ было известно, что массы рабочихъ готовятся назавтра представить свою петицію... Къ явленіямъ подобного рода уже давно привычны общества, живущія развитой гражданской жизнью, и тамъ есть формы, въ которыхъ могло бы отлиться это петиціонное движение, безъ экстренного нарушенія порядка и безъ трагическихъ событий. Но наша жизнь, только мечтающая о "единеніи власти съ народомъ" и о формахъ этого единенія, была застигнута врасплохъ огромнымъ, небывалымъ движениемъ, охватившимъ сотни тысячъ рабочаго населенія... И весь взволнованный предстоящей драмой Петербургъ сознавалъ, что наша суровая "практика" не выдвинетъ ничего, кроме привычныхъ "воздѣйствій..."

Дальше мы будемъ точно слѣдовать официальному изложению событий, въ надеждѣ, что и оно дастъ читателю, особенно русскому читателю, привычному къ условностямъ официального стиля,—достаточно яркую картину петербургской трагедіи.

"Фанатическая пропаганда,—говорить все то же правительство,—которую въ забвѣніи святости своего сана велъ священникъ Гапонъ, и преступная агитация злумышленныхъ лицъ возвудили рабочихъ настолько, что они 9-го января огромными толпами стали направляться къ центру города. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ между ними и войсками вслѣдствіе упорного сопротивленія толпы подчиниться требованію разойтись, а иногда даже нападенія на войска, произошли кровопролитные столкновенія. Войска вынуждены были произвести залпы: на Шлиссельбургскомъ трактѣ, у Нарвскихъ воротъ, у Троицкаго моста, по 4-й линіи, на Маломъ проспектѣ Васильев-

скаго острова, у Александровскаго сада, на углу Невскаго проспекта, на улицѣ Гоголя, у Полицейскаго моста и на Казанской площади. На 4-й линии Васильевскаго острова толпа устроила изъ проволокъ и досокъ три баррикады, прикрыла красный флагъ; изъ оконъ соседнихъ домовъ въ войска были брошены камни и произведены выстрѣлы; у городовыхъ толпа отнимала шашки и вооружалась ими, разграбила оружейную фабрику Шаффа, похитивъ около 100 стальныхъ клиновъ, которые, однако, были большою частью отобраны. Въ 1-мъ и во 2-мъ участкахъ Васильевской части толпой были порваны телефонные проводы, опрокинуты телефонныя столбы; на зданіе 2-го полицейскаго участка Васильевской части произведено нападеніе, и помѣщеніе участка разбито. Вечеромъ на Большомъ и Маломъ проспектахъ Петербургской стороны разграблено 5 лавокъ. Общее количество потерпѣвшихъ отъ выстрѣловъ, по свѣдѣніямъ, доставленнымъ больницами и пріемными покоями, къ 8-ми часамъ вечера, составляетъ убитыхъ 76 человѣкъ, въ томъ числѣ околоточный надзиратель, раненыхъ 233 человѣка, въ томъ числѣ тяжело раненъ помощникъ пристава и легко ранены рядовой жандармскаго дивизіона и городовой. На 10-е января къ охранѣ города приняты мѣры, которыя были приняты 9-го числа"...

V.

Такъ заканчивается это первоначальное сообщеніе о событияхъ, еще небываломъ въ новѣйшей русской исторіи по характеру и по размѣрамъ. Всякий, для кого названія петербургскихъ площадей и улицъ не простой отвлеченный терминъ, представить себѣ это кольцо, въ которое стягивались огромныя и безоружныя рабочія массы, направлявшіяся отъ окраинъ къ центру. Не трудно также представить въ воображеніи это море людей, двигавшихся нерѣдко съ женщинами и дѣтьми... Мѣстами впереди несли иконы и хоругви. И въ заключеніе по всему этому кольцу въ разныхъ мѣстахъ вспыхнули огни ружейныхъ залповъ, и мостовая обагрилась родною кровью...

Мы не станемъ воспроизводить подробностей ужасающей картины. Она, можетъ быть, скоро будетъ возстановлена „нелицепріятной исторіей“... Не станемъ также устанавливать ея истинные размѣры. Для этого нѣтъ еще полныхъ свѣдѣній, хотя въ официальныхъ „Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства“ уже появились именные списки убитыхъ и умершихъ отъ ранъ, тоже еще не полные, но уже значительно превысившіе первоначальные цифры... *). Все это можетъ расширить размѣры, но не

*) См. „Новое Вр.“ отъ 22 января. По иностраннымъ свѣдѣніямъ, даже съ соотвѣтствующими поправками, число убитыхъ простирается отъ 500 до 1000 человѣкъ.

изменить характеръ самой картины... По весьма понятнымъ причинамъ мы воздерживаемся также отъ оценки всего происшедшаго...

Вѣдомство огромное, тяжкое, непоправимое. Мрачнымъ признакомъ, грознымъ предзнаменованиемъ оно стало на рубежѣ, который долженъ быть обозначить переломъ застоявшейся русской жизни, начало ея новой эры... Такъ мало прожито съ тѣхъ поръ, когда начались много обѣщавшіе разговоры о единеніи и довѣріи, и такъ много пережито до этихъ выстрѣловъ и кавалерійскихъ атакъ на улицахъ столицы...

Вся русская жизнь представляется намъ какъ бы остановившейся въ раздуміи и ужасѣ, точно сквозной богатырь, передъ которымъ на распутьи всталъ внезапно грозный призракъ. Куда идти дальше?.. И идти ли?.. И можно ли вѣрить въ будущее и можно ли повторять недавнія еще радостныя формулы?..

Неужели все это можетъ стать опять вопросомъ?

Трагедія нашей жизни за послѣднія десятилѣтія состоить въ безсиліи всѣхъ попытокъ разорвать волшебный кругъ бюрократической реакціи. Когда въ устающемъ обществѣ водворяется наружное спокойствіе, то его безнадежное молчаніе принимается за признакъ благоденствія и довольства. И тогда мы слышимъ, что никакія реформы не нужны, потому что все обстоитъ благополучно... И даже именно потому все благополучно, что никакихъ „реформъ“ на горизонтѣ не видно. А когда же наружное благополучіе переходитъ въ признаки недовольства и тревоги, то первыя же попытки реформъ немедленно прекращаются, потому что они признаются несвоевременными. Не нужно—потому, что еще все спокойно... Нельзя, потому что уже начинается броженіе,—такова философія нашей новѣйшей исторіи, такова альфа и омега бюрократического творчества...

А между тѣмъ — жизнь не ждетъ... Въ ея глубинахъ назрѣваютъ не находящія исхода потребности... Давно уже изъ боязни живой работы у насъ прекращены не только попытки аграрныхъ реформъ, но даже статистика, — необходимая подготовительная стадія всякой серьезнай работы. Мы то слышали убаюкивающія сказки о „патріархальности“ русского капитализма, устранившего необходимость коренныхъ реформъ фабричного законодательства, то видѣли попытки запречь молодое рабочее движение въ полицейскую колесницу. И все время мы встрѣчали боязнь передъ развивающимся сознаніемъ народныхъ массъ и передъ естественнымъ ихъ стремлениемъ къ организаціи для правомѣрного отстанванія своихъ интересовъ... Между тѣмъ какъ это растущее сознаніе является лучшимъ залогомъ спокойнаго общественнаго развитія и общественнаго здоровья, если только отнестись къ нему правдиво и искренно...

И вотъ, наша жизнь стала похожа на гигантскій котелъ, въ № 1. Отдѣль II.

которомъ закипаетъ сдавленная живая сила, требующая законнаго исхода. Но—лишь только мы пытаемся открыть предохранительный клапанъ, какъ рѣзкій шумъ вырывающагося пара пугаетъ нашихъ машинистовъ, они торопятся опять закрыть и даже замазать всѣ щели... И когда послѣ этого наступаетъ тишина, лишь изрѣдка нарушаемая глухими внутренними толчками, то это принимается за признаки благополучія и безопасности...

И вотъ... еще одинъ опытъ... И неужели клапаны опять будуть закрыты?

Жизнь не ждетъ. Передъ русскимъ обществомъ и передъ русскимъ народомъ все явственнѣе встаетъ загадка его существованія, и возврата уже нѣтъ и быть не можетъ.

Это ясно, и что касается русского общества, то оно созналось безповоротно!

Вл. Короленко.

О Т Ч Е ТЪ

Новторы редакції журнала „Русское Богатство“.

На сооруженіе памятника на могилѣ Николая Константиновича Михайловскаго поступило:

Отъ Л. М. Рейнгольдъ, изъ С.-Петербургага—3 р.

Итого . . . 3 р. — к.

А всего съ прежде поступившими 2.665 р. 04 к.

На стипендію имени Николая Константиновича Михайловскаго:

Отъ NN—1 р., отъ друга и товарища Д. И. Мочальскаго, изъ Москвы—10 р.

Итого . . . 11 р. — к.

А всего съ прежде поступившими 884 р. 65 к.

Въ капиталъ имени Николая Константиновича Михайловскаго при „Литературномъ Фондѣ“:

Отъ Тараниковой, изъ Одессы—3 р.

Итого . . . 3 р. — к.

А всего съ прежде поступившими 193 р. 48 к.

На устройство народной школы имени Николая Константиновича Михайловского:

Отъ „Упрямца“, изъ Екатеринослава—2 р., отъ А. Митяновой, изъ Шадринска—5 р., отъ Е. Долинской, изъ Нальчика—1 р., отъ политическихъ администр.-ссыльныхъ Евгения и Екатерины Поповыхъ, изъ Среднеколымска—6 р. 50 к., отъ политического администр.-ссыльного Игоря Будиловича, изъ Среднеколымска—1 р., отъ политического администр.-ссыльного Вартана Гарагулянца, изъ Среднеколымска—50 к., отъ Г. А. Ротинянца, изъ Тифлиса—2 р., отъ А. М. Сухомлиной, изъ Одессы—3 р.

Итого . . . 21 р. — к.

А всего съ прежде поступившими 262 р. — к.

На издание сборника, посвященного памяти Николая Константиновича Михайловского:

Отъ В. Буйницкаго, изъ Екатеринбурга—1 р. 50 к., отъ доктора М. А. Щеглова, изъ Тулы—2 руб., отъ А. С. Типольть, изъ Тулы—1 р., NN, изъ Тулы—2 р.

Итого . . . 6 р. 50 к.

А всего съ прежде поступившими 10 р. — к.

На издание бесплатного сборника для публичныхъ библиотекъ и народныхъ школъ, посвященного „вѣчной памяти великаго заступника народнаго Николая Константиновича Михайловскаго“:

Отъ И. И. Годлевского, изъ Челябинска—1 р., А. М. Сухомлиной, изъ Одессы—3 р.

Итого . . . 4 р. — к.

А всего съ прежде поступившими 5 р. — к.

На устройство школы имени Гл. И. Успенского въ д. Сябринцахъ, Новгородской губ.:

Отъ Г. А. Ротинянца, изъ Тифлиса—2 р.

Итого . . . 2 р. — к.

А всего съ прежде поступившими 3.554 р. 76 к. *)

*) Изъ этой суммы 3.509 р. 26 к. 20 февраля 1904 г. за № 6201 переведены черезъ Государственный Банкъ въ Новгородскую губернскую земскую управу.

На сооружение памятника на могилѣ Гл. И. Успенского:

Отъ А. Томской, изъ С.-Петербурга—5 р., отъ В. Я. Е. изъ С.-Петербурга—10 р.

Итого . . . 15 р. — к.

На приобрѣтеніе въ общественную собственность части усадьбы Некрасовыхъ въ Гречневѣ, Ярославскаго уѣзда, для устройства тамъ школы и библіотеки въ память 25-лѣтія со днія смерти Н. А. Некрасова:

Отъ священника И. Егорова, изъ Обдорска—1 р.

Итого . . . 1 р. — к.

А всего съ прежде поступившими 413 р. 35 к.

На изданіе сборника въ память 25-лѣтія со днія смерти „великаго пѣвца народа-раба“, Н. А. Некрасова:

Отъ И. И. Годлевскаго, изъ Челябинска—1 р.

Итого . . . 1 р. — к.

На учрежденіе высшей народной школы имени гр. Л. Н. Толстого:

Отъ К. В. Овчинникова, изъ Тифлиса—1 р., отъ г. Бушуева, изъ Усть-Гарышской прист.—1 р. 50 к.

Итого . . . 2 р. 50 к.

А всего съ прежде поступившими 160 р. — к.

Открыта подписка на 1905 г. на слѣдующія изданія:

Крымскій Курьеръ

(тринадцатый годъ изданія).

Газета выходитъ ежедневно и даетъ читателямъ разнообразный материалъ для чтенія, имѣя въ виду интересы не только местныхъ обывателей, но и пріѣзжей курортной публики.

Цѣна: на годъ 7 р., 6 мѣс. 4 р., 3 м. 2 р. 50 к., 1 м. 1 р.
Адресъ: г. Ялта, контора „Крымскаго Курьера“.

Редакторъ-издательница Н. Р. Лупандина.

Восходъ и Книжки Восхода,

періодическія изданія, посвященная еврейской жизни, исторіи и литературу.

Содержаніе газеты: руководящія статьи по всѣмъ текущимъ вопросамъ еврейской жизни въ Россіи и за границей, хроника всѣхъ новѣйшихъ извѣстій, корреспонденціи изъ провинціи и за границы, сенатская и судебная практика по еврейскимъ дѣламъ (сенатскіе указы), юридич. бесплатная консультація (отвѣты на юридические вопросы подписчиковъ въ особомъ отдѣлѣ), обзоры еврейской, русской и польской печати, фельетонъ (рассказы и проч.), провинціальный отдѣлъ, критика и библіографія.

Подписная цѣна на „Восходъ“ съ „Книжками Восхода“ 10 р. въ годъ (допускается разсрочка: при подпискѣ—4 р., къ 1-му марта—3 р.. и къ 1 июля—3 р.); на газету (безъ „Книжекъ“) 7 р. (въ разсрочку: при подпискѣ—3 р., къ 1 марта—2 р. и къ 1 июля—2 р.).

„Книжки Восхода“ выходять ежемѣсячно въ размѣрѣ до 10 печатныхъ листовъ. Повѣсти и рассказы изъ еврейской жизни, стихотворенія и популярн. научные статьи по истории, литературѣ, религіи, философіи, критикѣ, вопр. общественной жизни. Цѣна 12 книгъ 3 р.

Подписаніе на газету съ „Книжками“ получаются при „Книжкахъ Восхода“: С. М. Дубновъ. Всеобщая история евреевъ, на основаніи новѣйшихъ научныхъ изслѣдованій. Книга III: новое и новѣйшее время (1498—1900).

Адресъ: С.-Петербургъ, Лиговская, 36.

Ежедневная газета (13-й годъ изданія)

Дальній Востокъ,

подъ редакціей Е. А. Пановой.

Въ газетѣ „Дальній Востокъ“ имѣются слѣдующіе отдѣлы:
 1) общія распоряженія правительства, касающіяся Сибири, мѣропріятія областной (приамурской) администраціи, 2) телеграммы, 3) статьи по мѣстнымъ вопросамъ, 4) хроника областной жизни, 5) судебная хроника, 6) театръ и музыка, 7) корреспонденціи, 8) внутренняя и заграничная хроника, 9) литература азіатскаго востока (Китай, Корея и Японія), 10) фельетонъ, 11) смѣсь, 12) справочный отдѣлъ, 13) объявленія.

Цѣна: на годъ 10 р., 6 мѣс. 6 р., 3 мѣс. 3 р. 50 к., 1 мѣс. 1 р. 50 к.

Адресъ: г. Владивостокъ, Приморской области.

Голосъ Юга,

органъ политической, экономической и литературный.

Считая возможно широкое развитіе земскаго самоуправлінія одной изъ важнейшихъ нуждъ народно-хозяйственной жизни нашего отечества, редакція газеты будетъ внимательно слѣдить за жизнью Земской Россіи.

При этомъ особое внимание будетъ удѣлено земскимъ интересамъ Юга.

Въ экономической и общественной областахъ редакція всегда будетъ стоять за интересы труда, за всестороннее и гармоническое развитіе личности и за свободу ея.

Современная идеология просвѣщенного общества носитъ типическія черты все болѣе и болѣе растущаго вниманія къ вопросамъ философскаго идеализма, поэтому редакція отведеть на страницахъ своего органа, по возможности, видное мѣсто для обсужденія проблемъ идеализма, преимущественно въ ихъ отношеніи къ общественной жизни.

Желая, по возможности, широко организовать литературно-критический отдѣль, редакція намѣрена оцѣнивать беллетристическая произведенія съ точки зрѣнія полной гармоніи между идеально-этическимъ и эстетическимъ содержаніемъ ихъ.

Цѣна: на годъ 8 р., 6 мѣс. 4 р. 50 к., 3 мѣс. 2 р. 50 коп. 1 мѣс. 85 коп.

Адресъ: г. Елисаветградъ, Б. Перспективная ул., д. 25.

Редакторъ-издатель А. И. Селевинъ

Сибирскій Вѣстникъ,

ежедневная газета политики, литературы и общественной жизни.

Въ газетѣ принимаютъ участіе и обѣщаю свое сотрудничество слѣдующія лица: М. И. Боголѣбовъ, П. В. Вологодскій, Р. Л. Вейсманъ, Д. Д. Вольфсонъ, Г. А. Вяткинъ, А. А. Кауфманъ, Д. А. Клеменцъ, В. Г. Короленко, Г. Н. Потанинъ, г. Реусъ (псевдонимъ), Рефлекторъ (псевдонимъ), В. И. Семевскій, Николай Степнякъ (псевдонимъ), М. Тумановъ (псевдонимъ), И. И. Тыжновъ, И. А. Фрязиновскій, Е. В. Фуксъ, М. В. Швецова, С. П. Швецовъ, А. Н. Шипицинъ, Власъ Ярцевъ (псевдонимъ) и друг.

Цѣна: на годъ 7 р., 6 м. 3 р. 65 к., 3 м. 1 р. 95 к., 1 м. 65 к.

Адресъ: г. Томскъ, Ямской пер., д. Орловой.

Литературная и политическая газета

Амурскій Край

(6-й годъ издания). Выходитъ три раза въ недѣлю.

Цѣна: на годъ 9 р., 6 мѣс. 5 р., 1 мѣс. 1 р.

Подписька принимается въ конторѣ редакціи въ г. Благовѣщенскѣ, по Зейской ул., между Графской и Никольской, д. Мокина.

Редакторъ-Издатель Г. Я. Климчоглу.

Сибирскій Листокъ

(15-й годъ изданія).

Программа „Сибирскаго Листка“ расширена отдельными: 1) Статьи и извѣстія по бытовымъ, общественнымъ и научнымъ вопросамъ. 2) Фельетонъ, беллетристические очерки и рассказы. 3) Внутреннія извѣстія, корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ. 4) Разныя извѣстія изъ газетъ.

Выходитъ въ Тобольскѣ два раза въ недѣлю.

Цѣна: на 1 годъ—5 руб., на $\frac{1}{2}$ года—2 руб. 75 коп., на 3 мѣс.—1 р. 50 к.

Цѣна объявлений: за строку петита на первой страницѣ—20 коп., на послѣдней—10 коп.

Подписка и объявленія принимаются въ Тобольскѣ; въ конторѣ редакціи (на горѣ, Большая ул., д. М. М. Емельяновой).

Редакторъ-издательница *М. Н. Касторина.*

Русскій Врачъ,

органъ, основанный въ память *В. А. Манассеина*,
подъ редакціею проф. *В. В. Подвысоцкаго* и д-ра *С. В. Владиславлева*.

Четвертый годъ изданія.

1) Статьи оригинальные по всѣмъ отраслямъ теоретической и клинической медицины, а также общественной и частной гигиены, съ рисунками и таблицами. 2) Статьи по вопросамъ врачебного быта. 3) Письма изъ Россіи и Западной Европы о текущихъ научныхъ, врачебно-бытовыхъ и общественно-медицинскихъ вопросахъ. 4) Рефераты о заграничныхъ и русскихъ работахъ по всѣмъ отраслямъ медицины. 5) Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ обществъ, съездовъ и конгрессовъ. 6) Рецензіи русскихъ и иностранныхъ книгъ по медицинѣ и гигиенѣ. 7) Корреспонденціи и письма въ редакцію, касающіяся вопросовъ врачебного быта. 8) Мелкія извѣстія, новости, слухи и хроника врачебной жизни. 9) Жизнеописанія и некрологи выдающихся лицъ на поприщѣ медицины. 10) Списокъ защищенныхъ диссертаций въ русскихъ медицинскихъ факультетахъ. 11) Служебная назначенія и перемѣщенія врачей по военному и по гражданскому вѣдомствамъ. 12) Приложение: Краткое содержаніе текущей медицинской литературы русской и иностранной за истекшіе недѣли и мѣсяцы.

Журналъ выходитъ еженедѣльно по субботамъ.

Цѣна: на годъ 9 р.

Адресъ: *С.-Петербургъ, Невскій пр., д. 14, книжный магазинъ О. А. Риккеръ.*

Саратовскій Листокъ

(43-й годъ изданія).

Газета выходитъ съ иллюстраціями.

Цѣна: на годъ 8 р., $\frac{1}{2}$ г. 4 р. 50 к., 3 м. 3 р., 1 м. 1 р. 20 к.
Объявленія: на 1-й страницѣ 20 к. за строку пятига на 3-й
и 4-й по 70 к.

Адресъ: г. Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Оневорге.

Редакторъ-издатель П. О. Лебедевъ. Издатель Ц. П. Горизонтовъ.

Каспій

(25-й годъ изданія).

Въ 1905 году „Каспій“ въ г. Баку ежедневно будетъ выходить въ увеличенномъ форматѣ по прежней программѣ газеты литературий, общественной и политической, съ особымъ нефтянымъ отдѣломъ.

Цѣна: на годъ 8 р. 50 к., $\frac{1}{2}$ года 5 р., 3 мѣс. 3 р., 1 мѣс.
1 р. 50 к. За границу: на годъ 13 р.; 6 мѣс. 7 р.; 1 мѣс. 2 р.

Адресъ: г. Баку, Николаевская ул., д. Тагіева.

Редакторъ-издатель А. М. В. Топчібашевъ.

Большая ежедневная общественно-литературная и коммерческая газета съ иллюстраціями

Южный Телеграфъ.

Редакція и контора въ Ростовѣ на-Дону.

Вступая въ четвертый годъ изданія, „Южный Телеграфъ“ значительно расширяетъ свои задачи и, кроме широко поставленного мѣстнаго отдѣла, преслѣдуєть цѣли, связанные съ обслуживаніемъ всѣхъ районовъ юго-востока европейской Россіи съ губерніями и областями Сѣвернаго Кавказа включительно.

Съ этой цѣлью редакціе организованы отдѣленія и агентуры во всѣхъ пунктахъ наибольшаго распространенія „Южнаго Телеграфа“.

Общественно-литературная жизнь, какъ иностранная, такъ и русская—въ фельетонахъ, статьяхъ, корреспонденціяхъ, а равно и въ фактическомъ изложеніи, захватывается „Южнымъ Телеграфомъ“ во всѣхъ обычныхъ газетныхъ отдѣлахъ и по программѣ большихъ повременныхъ изданій.

Значительная часть сообщеній газетой получается по телеграфу.

Въ иллюстрированныхъ приложенияхъ помѣщается, кроме видовъ, рисунковъ и портретовъ общаго и военнаго характера, также и карикатуры на мѣстныя и краевые темы.

Ежедневно торгово-промышленный и справочный отдѣлы.

Цѣна: на годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 3 мѣс. 2 р.

Редакторъ-издатель И. Я. Александровъ.

Черноморское Побережье,

ежедневная общественная, экономическая и литературная газета, издается въ г. Новороссийске.

Какъ и въ предыдущіе годы, „Черноморское Побережье“ будетъ стремиться ко всестороннему освѣщенію жизни того района, имъ котораго оно носить.

На всѣхъ пунктахъ побережья (Анапѣ, Геленджикѣ, Джанхотѣ, Архипоосиповѣ, Береговой, Веселой, Туапсе, Сочи, Хостѣ, Адлерѣ, Гаграхѣ, Сухумѣ, Гудаутахѣ, Поти и др.) и въ Кубанской области (Екатеринодарѣ, Майкопѣ, Армавирѣ и во всѣхъ станицахъ) имются постоянные специальные корреспонденты.

Цѣна: на годъ—7 р., на 6 мѣс.—4 р., на 3 мѣс.—2 р. 50 к., на 1 мѣс.—1 р. За границу: на годъ 14 р., на 6 мѣс. 8 руб., на 3 мѣс. 5 р., на 1 мѣс. 2 р. 50 к.

Редакторъ-издатель Ф. С. Леонтьевичъ.

Ежедневная газета (кромѣ дней послѣ праздничныхъ)

Асхабадъ,

вѣстникъ литературы, политики, торговли, промышленности и мѣстной общественной жизни.

Цѣна: на годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р. 50 к., на 3 мѣс. 3 р., на 1 мѣс. 1 р. 25 к., за границу 12 р.

Подписка принимается въ г. Асхабадѣ, въ конторѣ редакціи газеты „Асхабадъ“.

Единственная въ Ковенской губерніи ежедневная политическая, общественная и литературная газета

Ковенскій Телеграфъ

(второй годъ изданія).

Цѣна: на годъ 6 р., $\frac{1}{2}$ года 3 р., 3 мѣс. 1 р. 80 коп., 1 мѣс. 60 коп.

Адресъ: г. Ковна, Николаевскій пр., д. Левинсона.

Редакторъ-издатель Ю. Блюменталъ.

Полтавскій Вѣстникъ,

ежедневная общественно-литературная газета.

Цѣна: на годъ 6 р.; на $\frac{1}{2}$ года 4 р. 10 к., на 3 мѣс. 2 р. 40 к., на 1 мѣс. 85 к.

Подписка принимается въ г. Полтавѣ, въ конторѣ „Полтавскаго Вѣстника“, Кобелякская ул. Плата за объявленія: на 4-й страницѣ 10 коп. за строку петита, на 1-й страницѣ—20 коп.,

ДОНЪ

Со 2-го февраля 1905 года „Донъ“ начнетъ 38-й годъ своего изданія. Просуществовавъ такой долгій срокъ, газета тѣмъ самымъ доказала прочность своихъ связей съ жизнью того провинциального района, отголоскомъ котораго она служила больше трети столѣтія. Поэтому, открывая подписку на 1905 годъ, редакція ограничивается лишь указаніемъ этого факта безъ всякихъ объясній: что можно будетъ сдѣлать для улучшенія газеты—то будетъ сдѣлано.

Цѣна: на годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 3 мѣс. 2 р. 50 к., на 1 мѣс. 1 р.

Адресъ: г. Воронежъ.

Редакторъ-издатель В. Веселовскій.

Орловскій Вѣстникъ,

ежедневная газета общественной жизни, политики, литературы и торговли.

Цѣна: на годъ 7 р., за границу 14 р. Допускается разсрочка съ платой не менѣе 1 рубля въ мѣсяцъ до выплаты всей суммы.

Подписка принимается въ конторѣ „Орловскаго Вѣстника“: Г. Орель, Зиновьевская улица., д. 2.

Редакторъ-издатель А. И. Аристовъ.

Большая ежедневная съ полной программой, выходящая въ Баку,
газета

Бакинскія Извѣстія

(четвертый годъ изданія).

Въ газетѣ обѣщали участіе: Н. Ф. А—фъ, Н. П. Ашешовъ, Е. З. Бараповъ, П. А. Берлинъ, В. Богучарскій (В. Я. Яковлевъ), Мг. Броунъ, Л. К. Бухъ, Х. С. Варданянъ, О. А. Васильевъ, Д. Ведребиссели (Д. К. Маліева), Ю. А. Веселовскій, В. С. Вайншаль, К. Воиновъ, Вѣди-Азъ, Горичъ, М. М. Гутманъ, В. А. Евангулова, Б. И. Ивинскій (Б. Борскій), А. С. Изгоевъ, М. В. Кечеджи-Шаповаловъ, Н. П. Козаренко, А. Н. Котельниковъ, М. Меликъ-Шахназаровъ, Мечтатель (Ѳ. Ѳ. Трозинеръ), А. И. Новиковъ, Н. А. Падаринъ, А. Б. Петрищевъ, Конст. М. Пономаревъ, Н. С. Семеновъ, С. С. Семеновъ, Орестъ Семинъ, А. С. Скларь, М. А. Славинскій, М. Ф. Славинская, д-ръ Л. Соколовскій, Ю. Стекловъ, В. Ѳ. Тотоміанцъ, А. Ю. Финнъ, Б. И. Харитоновъ, Г. И. Шрейдеръ, И. И. Шрейдеръ, Эненъ, Эхо и друг.

Газета имѣть собственныхъ корреспондентовъ въ крупныхъ городахъ Кавказскаго края, а также въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и за границей.

Цѣна: на годъ 8 р. 50 к., на 6 мѣс. 5 р., на 3 мѣс. 3 р., на 1 мѣс. 1 р. 50 к.

Редакторъ-издатель Н. А. Гриневъ.

Полтавщина,

ежедневная литературно-политическая, экономическая и общественная газета.

Основная задача газеты—содействовать развитию культурной и экономической жизни Полтавской губерніи путемъ выясненія ея духовныхъ запросовъ и материальныхъ нуждъ.

Особое внимание газета будетъ удѣлять дѣятельности земства и городского самоуправления, а также работѣ учрежденій, возникшихъ на почвѣ общественной самодѣятельности, такъ какъ самое широкое развитіе этой дѣятельности газета считаетъ необходимымъ условіемъ для культурного роста населенія и правового самосознанія личности.

Въ области экономическихъ вопросовъ и явленій первое место будетъ отведено выясненію условій правильного развитія труда и въ частности положенія сельского хозяйства, какъ основного промысла губерніи, на успѣхахъ котораго виждется благополучіе главной массы населенія.

Уясненіе и защита національныхъ особенностей Полтавской губерніи, по скольку послѣднія не противорѣчатъ правильно понимаемымъ началамъ государственности, будутъ являться одной изъ основныхъ задачъ газеты, такъ какъ духовное развитіе и культурное преуспѣяніе народа мыслимы только при свободномъ проявленіи его національныхъ чертъ и особенностей.

Цѣна: на годъ 6 р., 6 мѣс. 3 р. 50 к., 3 м. 2 р., 1 м. 75 к.

Адресъ: г. Полтава, Александровская ул., д. Фишберга.

Редакторъ-издатель *В. Я. Головня.*

Царицынскій Вѣстникъ

(Восьмой годъ изданія).

Газета „Царицынскій Вѣстникъ“, какъ въ 1904 году, будетъ выходить ежедневно, кроме послѣвоскресныхъ о послѣпраздничныхъ дней, по той же программѣ.

Цѣна: на годъ 6 р., $\frac{1}{2}$ года 4 р., 3 мѣс. 2 р. 70 к., 1 мѣсяцъ 1 р.

Адресъ: Царицынъ, въ редакцію „Царицынского Вѣстника“, Астраханская ул., д. Жигмановскаго.

Редакторы: Е. Д. Жигмановский, Е. Г. Жигмановская.

Приволжскій Край,

вечерняя газета, издающаяся въ Саратовѣ.

Цѣна: на годъ 5 р., 6 мѣс. 3 р., 3 мѣс. 1 р. 75 к., 1 мѣс. 60 коп.

Объявленія впереди текста 15 коп.; послѣ текста—15 к.

Кронштадтский Вѣстникъ

Вступивъ въ 44-й годъ своего существованія, морская и городская газета „Кронштадтскій Вѣстникъ“ будеть по прежнему, прежде всего, служить морскому дѣлу, которому она посвятила свое изданіе, не забывая въ то же время интересовъ и нуждъ Кронштадта — какъ города, военнаго и коммерческаго порта и крѣпости.

Въ газетѣ сотрудничаютъ специалисты по всѣмъ отраслямъ морского дѣла.

Въ теченіе года въ газетѣ помѣщаются много разныхъ статей научно-техническаго содержанія.

Газета выходитъ: по воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ.

Цѣна: на 1 годъ — 7 руб. 50 к., на 6 мѣсяцевъ — 4 руб., на 3 мѣс. — 2 р. 25 к., на 1 мѣс. — 85 коп. За границу на годъ 11 р., на 6 мѣс. — 6 руб. и на 3 мѣс. — 3 руб.

Подписка принимается: Въ Кронштадтѣ въ конторѣ редакціи.

Редакторъ-издатель Ф. Тимофеевскій.

Астраханскій Листокъ

Газета издается по обширной программѣ, съ иллюстрациями, подъ редакціей В. И. Склабинскаго.

Редакція стремится доставить читателямъ: своевременные и разнообразныя общія и мѣстныя извѣстія; отклики на текущія события; свѣдѣнія изъ судебныхъ и административныхъ сферъ; постоянный фельетонъ общественной жизни гор. Астрахани, Астраханской губерніи и Волго-Каспійскаго района; библиографію; оригиналную и переводную беллетристику; новости науки и искусствъ; новости судоходства; астраханская свѣдѣнія торгово-промышленного характера; сім'и и пр. Телеграммы.

Въ отдѣлѣ Торговля и Промыселъ даются подробная описанія и свѣдѣнія по кредиту, рыбному, нефтяному, шерстяномъ, лѣсному, бондарному и пр. дѣламъ, о персидскихъ товарахъ и о фрахтахъ.

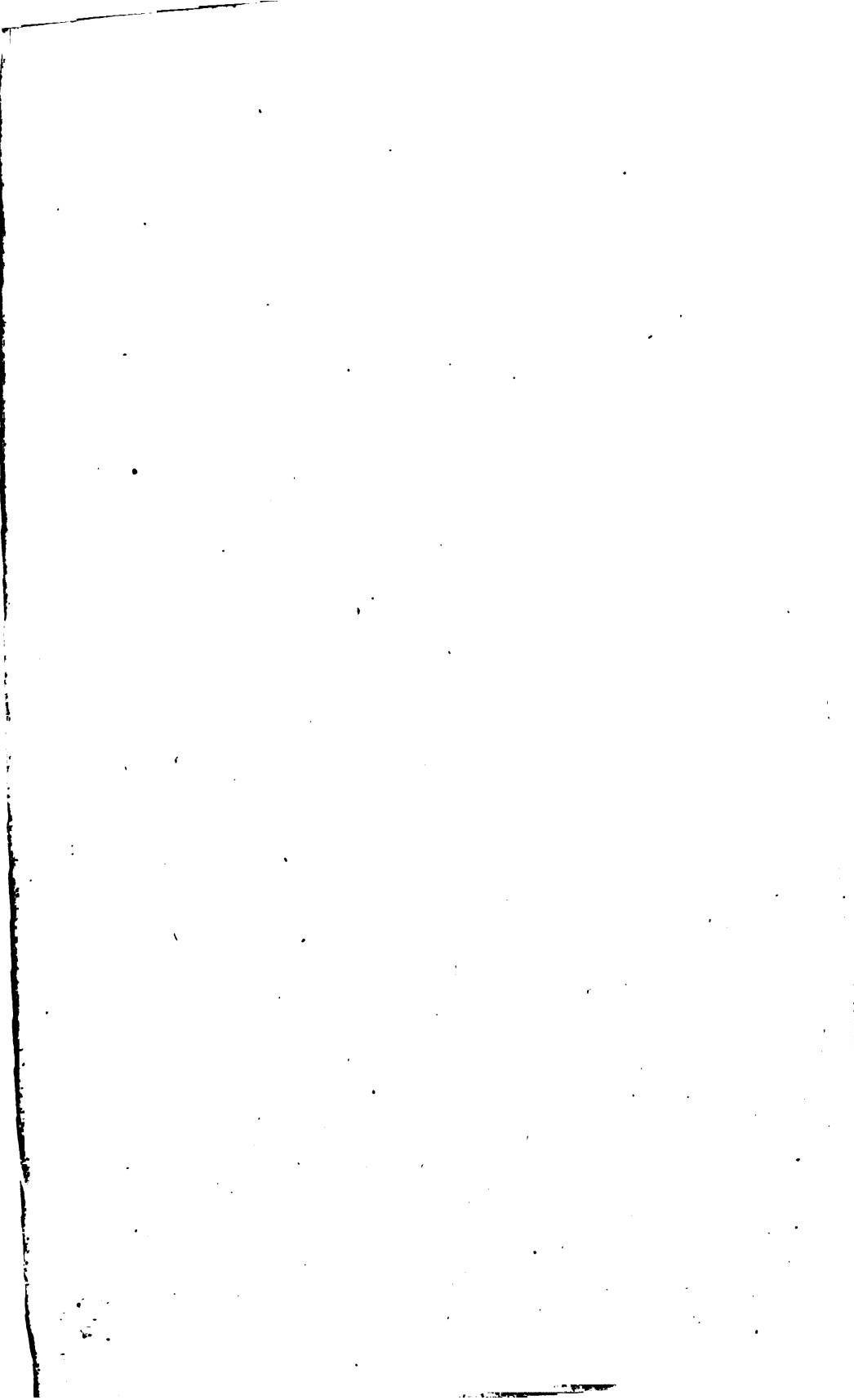
Плата за объявленія со строки петита: передъ текстомъ 20 к., послѣ текста 10 коп.

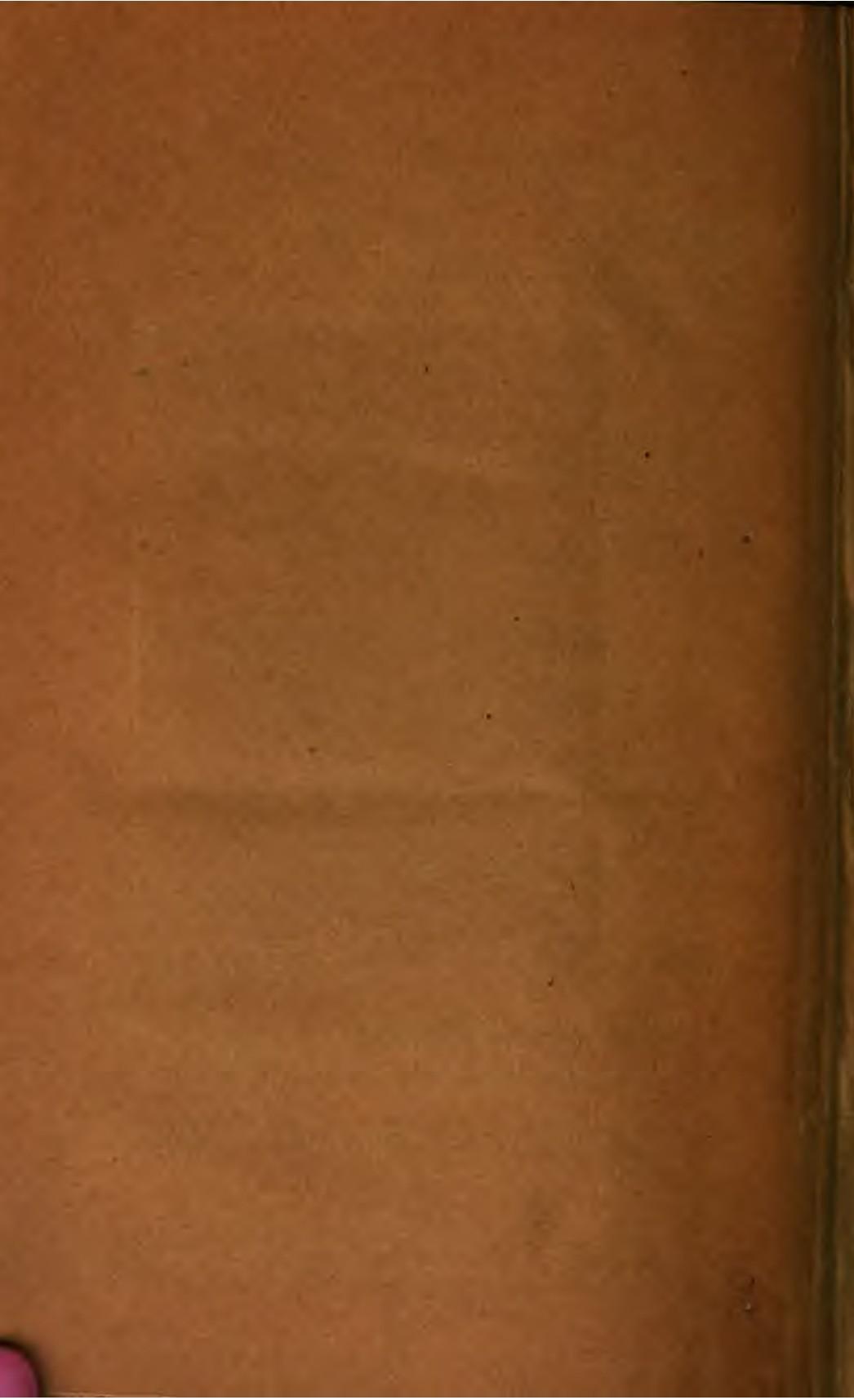
Цѣна: на годъ — 7 р. 50 к., на $\frac{1}{2}$ г. 5 р. — на 3 мѣс. 3 р. 25 коп. — 1 мѣс. — 1 р. 25 к.

Подписка принимается исключительно въ Астрахани въ конторѣ „Астраханск. Листка“, по Ахматовской улицѣ, домъ Агамжанова.

Редакторъ-Издатель: Вл. Г. Еороленко.

Дозв. цена. Спб., 28 января 1905 г. Типографія Н. Н. Клобукова. Лиговская, 84.





This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.

Please return promptly.

WIDENER

MAY 9 1999

CANCELLED

וועי צוויי [2] וואכען, פאר יעדען איברגיען
טאגן וועט מען סזוען באזאהלען איין [1]
סענט. ביכער טזען געהאלטען ווערטען
ריין.